

РУССКИЕ
ПОВЕСТИ
XIX ВЕКА
20-х ~ 30-х годов

ТОМ ВТОРОЙ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА ЛЕНИНГРАД
1980**

**Подготовка текста и примечания
профессора**

Б. С. М Е Й Л А Х А

**Иллюстрации
художника**

И. С. А С Т А П О В А

Н. А. Полевой

1796 ~ 1846

**РАССКАЗЫ РУССКОГО
СОЛДАТА**



Богатыри! Неприятель от вас дрожит — да, есть неприятели больше — больше и богадельни — проклятая немогузнайка, намека, догадка, лживка, лукавка, краснословка, краткомолвка, двуличка, вежлива, бестолковка клячка, что бестолково выговаривать: край, прикак, афок, ваиркак, рок, ад и проч. и проч. — стыдно сказать.

Поучение Суворова солдатам.

РАССКАЗЫ РУССКОГО СОЛДАТА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КРЕСТЬЯНИН

«А что, мужичок, как ты поживаешь?» — «А что, родимый, неча господя гневить; не без милости от господя; день прошел, так и до нас дошел...»

Кажется, это было в 1817 или 1818 году. Мне надобно было ехать в Острогожск и Воронеж; я жил тогда в Курске. До сих пор между настоящими русскими купцами нет обычая ездить на почтовых. Только со времени учреждения дилижансов купцы для езды между Петербургом и Москвою оставили вольных ямщиков и извозчиков. Но в других местах России повсюду они ездят еще на *вольных*, то есть нанимают условною ценою пару, тройку лошадей на некоторое расстояние, где извозчик сменяется, или *сдаст* ездока другому; тот везет его опять известное расстояние и сдает третьему. Так от Тамбова, от Херсона можете доехать в Архангельск, в Казань, в Смоленск. Этот порядок езды идет издревле, с того времени, когда еще не было на Руси ни почтовых лошадей, ни подорожен, и до сих пор сохраняется он между купцами, несмотря на большие неудобства. Главное неудобство то, что ныне, с потерю многих старинных обычаев, потерялись между нашими ямщиками и извозчиками верность данного слова и взаимная честность, по которой за цену, условленную, например, в Харькове, они свято довозили ездока до Москвы и до Вологды. Изменить ее никто не осмеливался. Какой-нибудь ямщик серпуховский, нарушив святость договора, никогда не смел бы потом отправить с своей стороны проезжего в Харьков: в Белгороде каком-нибудь проезжего, отправленного по договору ямщика, нарушителя своего слова, не повезли бы далее, потому что молва из уст в уста провозглашала бы *нечестным* нарушителя по всей дороге; старики положили бы повсюду: по договору такого-то проезжих не возить, и — на тысяче верстах никто не дерзнул

бы взять сдачу от негодяя. Все это теперь утратилось; бедный проезжий подвержен по дороге всяческим обманам, притеснениям; у него забирают вперед деньги, заставляют его прибавлять, надоедают ему требованиями на водку, везут худо и без русских поговорок, которые услышите от каждого мужика и которых не найдете ни в каком словаре... Да, вы найдете их в книге Пауля Якоба Марпергера «*Moscowitischer Kaufmann*»,¹ изданной в Любеке в 1723 году. Автор приложил необходимые для путешественника слова и разговоры на русском и немецком языках. Он был мастер говорить по-русски, как видим из этих разговоров; он уверяет, например, что «*покарауль мои сани*» по-русски говорится: *stoi taem gdié phzanie stoid*; что *stote ghotsjes potché mutot tawar?* значит: «*что просишь ты за этот товар?*»; что *Jachotssju tebié piathog aregchie dam* — «*я тебе дам оплеуху*» и проч. Вот он, приводя одну русскую дорожную поговорку, сказывает, что по-немецки это переводится: *fahre geschwind* (*поезжай скорее*). Без этого *fahre geschwind* вольные ямщики везут вас, как пресное молоко. «Ведь мы не почтовые, а вольные!» — говорит вам ямщик на крик ваш: «*пошел*» и невольно заставляет вспомнить пословицу: «воля не холя, а добра коня портит». Однакож купцы соглашаются лучше терпеть всякое притеснение, платить дороже, спорить, шуметь, кричать, а не едут на почтовых лошадях. Тут много причин. Во-первых, купец обыкновенно едет целым домом; иногда везет с собой товар, всегда деньги и кучу постелей, подушек, ковров, полстей, подстилок, одеял, запасов, припасов, на дождливое время шинель, на холодное тулуп, на морозное шубу; и кроме того, дюжину коробок, коробков, сулеек, погребцов, чемоданов, фляжек, кульков, сум и проч. и проч. Нередко четверо, часто трое, никогда менее двух *хозяев* не сидит в этом подвижном доме, называемом *повозкою*, укрытом, обшитом, обитом сукном, холстиной, кожей, рогожами, обгороженном, загроможденном сзади, и спереди, и на передке коробами и всякою всячиною. Какой почтовый ямщик повезет, даже свезет с места эту громаду — ямщик, привыкший запрягать свою тощую клячу лычком и ремешком, ставить последнюю копейку ребром и столь же мало думающий: снесет ли он завтра свою голову, сколь мало помышляющий о том, как побережь ему седока и свою лошадь! Давай такому ямщику седока лихого, у которого вся поклажа сжалась в маленький чемоданчик, на защиту против ветра и непогоды всего только какой-нибудь клоч сукна или лоскуток бурки; давай ему курьера, который, зацепив трубку зубами, имеет непостижимую способность усидеть на веревочке, и не только усидеть, но и выспаться, пока остов телеги.

¹ «Московский купец» (ред.).

без подстилки, без крыши, летит на гору и под гору, тощие клячи несутся скорее вихря и ямщик в дырчатом балахоне, иногда в шапке летом, в шляпе зимою, закатывает, хлещет бичом сплеча и в каком-то упоении поет во все горло: «*Ах! Да западала! Частым ельничком, ох! Все березничком, ох! Да зарастала! Ну! Ну! Ну!*» — Заметьте, когда встретится вам в дороге эта отчаянная гоньба и вместе с нею повозка на вольных — разница между ними такая же, какая между толстым откупщиком и отчаянным посетителем питейного дома. Почтовый ямщик награждает свою плохую наружность тем, что во всю прыть мчится мимо дорожного барина — огромной повозки, запряженной тремя огромными лошадьми, с дюжим ямщиком в красной рубахе, с тремя колокольчиками на дуге, с медными бляхами и погремучками на сбуе. Спорым, но тихим и ровным шагом ступают между тем лошади вольного; из повозки его выставляется борода купеческая, пробужденная мимолетным визгом, и из подушек красноватое лицо глядит: кто это промчался мимо, и уже вдали, в облаках пыли? — Во-вторых, тяжело ездить на вольных нашему брату, не дорожному, домоседу, но легче купцу, который по одной дороге из Москвы в Харьков, Ростов, к Макарью, из Вологды, Курска в Москву едет в сороковой раз, иногда ездит по два, по три раза в год. Ему все знакомо по дороге; его везде знают, принимают, растворяют пред ним ворота; кланяются ему, ведают его имя и имена отца его и дедушки его; перед ним ставят хлеб, соль; все дородные хозяйки и хорошенькие их дочери известны ему по именам; он знает, где надобно побережься, где остановиться, где побраниться, где подарить, поласкать. Вот он, например, на постоялом дворе в какой-нибудь *Лопасне, Ивановке, Липцах, Красной слободе*; перед ним на столе кипит огромный самовар, лежит московский калач, расставлены гжельские чашки, кулек с икрой, балыком, сайкою — ведь постных дней у нас две трети в году. И краснея и потея, в светлице *старого знакомого*, ямщика, он располагается господином, пьет, ест, закусывает, шутит, говорит, договаривается, спорит; и он и хозяин называют друг друга *приятелями, знакомыми*, величают по имени, по отчеству; оба клянутся, что сказывают *крайнюю и последнюю* цену, указывают на образ Николая чудотворца, ссылаются на худые кормы; хозяин спорит, что *обрезные червонцы*, какими платит проезжий, совсем не в ходу; тот утверждает, что везде их берут, что других денег теперь в целой Москве нет. И вот они поспорили, уверились, что нашла коса на камень, утвердились во взаимном уважении к ловкости и уму один другого и, наконец, поладили; повозка подкатилась, и купец беспечно залег в свои подушки и перины до нового знакомого, где переменяет он лошадей с прежними обрядами, спорами, уговорами, божбою. Возможно ли

вообразить такого ездока, приехавшего на почтовую станцию, где 14-го класса смотритель сухо, без всяких возражений ответит ему: «*Нет лошадей!*», а смотрительша в чепчике и запачканном длинном платье, пользуясь задержкою, предложит тощий кофе, пока общипанный почтовый староста, почесывая голову, спорит, что урода, повозку приезжего, с места не стянут три лошади и что на трех седоков велено по указу припрягать четвертую лошадь... Где поэзия самовара, ласковой хозяйки, калачей, сайки, икры? Вы знаете, что на почтовой станции надобно все покупать у смотрителя, а без того...

Но — я чувствую, что к старости становишься болтлив, особенно вспоминая что-нибудь из своей молодости: начал о том, как мне надобно было лет семнадцать или шестнадцать тому ехать из Курска в Острогжск, а заговорил об ямщиках, о почтовых станциях. Впрочем, лишнее слово, только бы не в осуждение ближнего, право, не беда. Люблю широкий, просторный рассказ, где всякой всячине свободно лечь и потянуться. А притом, может быть, не всякому знакомо то, что я рассказывал, и я докончу, как пошел рассказ мой, тем, что таким-то образом до сих пор сохраняется у нас на Руси особенное братство ямщиков и проезжих, с своими тайнами, не меньше *ложных* тайн какой-нибудь Шотландской Звезды. В каждом городе значительном есть особые Ямские, где живут ямщики и где у них свой мир, свои нравы, обычаи, обряды. В Москве таких Ямских слобод несколько: *Тверская, Переяславская, Рогожская* и проч. Подите туда: это не Москва, это какой-то особенный город; иначе дома построены, иначе люди живут, одеваются, говорят; это такие уголки в Москве, где всего более сохранилось донные *русской старины*, хотя и там уже дома перестраиваются и старая Русь пропадает вместе с появлением бритья бород, рестораций, французских хлебов, немецкого платья и гильдейского честолюбия. Но отсюда выходят все эти бесчисленные, бесконечные обозы; отсюда выезжают купеческие вольные тройки; здесь теснятся все приезжающие в Москву ямщики и извозчики; здесь можете подрядить тысячу телег хоть до Одессы и до Архангельска; можете нанять извозчика куда угодно — только не далее пределов русского царства и не в царство небесное. Вам дадут тройку жирных огромных лошадей, и если у вас нет своей повозки, то и с огромною ямщицкою повозкою, укутанною рогожами, с резным задком у кибитки, выложенным разноцветною фольгою, и повезут вас в *Питер, Курск, Смоленск, Володимир*, останавливаясь на своих особенных станциях и минуя почтовые. Ехавши в Курск, вы проедете мимо Подольска и остановитесь в *Лопасне*; ехавши в Петербург, мимо Черной Грязи, в селе *Чашиково* — 40 верст от Москвы; здесь ямщик даст *вдохнуть* своим лошадям и повезет вас до *Клина*, а от

Клина на свежей тройке вас доставят *не кормя* в Тверь и *поставят* в условленный час, по договору, в тамошнюю Ямскую, минуя замаранный тверской *город Милан*, где с тощим животом вы любуетесь на изображения из Шекспировых трагедий и не можете решить: что тут хуже — чай, кофе или обед?

Ямские слободы, сказал я, есть у нас во всех значительных городах; но ямщики некоторых городов особенно славятся своими лошадьми, своим достатком, своею ездою. Таковы ямщики *московские, коломенские*; ямщики *курские* также знамениты. Любо посмотреть на их опрятные высокие дома с кровлями почти перпендикулярными, с раскрашенными окнами, с крытыми обширными дворами, где все завалено кибитками, ободьями, рогожами, колодами, детярными бочками, телегами и где останавливаются обозы и иногда тесно бывает от возов и лошадей; любо посмотреть и на самих ямщиков, крепких, сильных, здоровых, рыжебородых, под пару их дюжим лошадям, которые могут выехать 80, 100 верст в сутки, которых хозяин бережет и лелеет, как друзей. Странна жизнь ямщика: спокойно сидит он у ворот своего дома в кругу соседей на прилавочке, толкует, дремлет после сытного обеда или отдыхает, проглотивши дюжины две чашек чаю, — приходит человек, и через два часа ямщик уже помолился богу, надел дорожный зипун, простился с родными; и через несколько часов еще он уже катит на тройке своей по Московской, Арзамасской, Воронежской дороге или тихо переступает подле *обоза*, который отправился в Бердичев, в *Адесту*, в *Липецк*, если угодно, или *Бериславль*, *Королевец*. Прежде, когда многие курские купцы торговали за границу, Лейпциг, Бреславль, Кенигсберг были знакомы курским ямщикам так же близко и коротко, как их соседка, Коренная ярмарка. Мне случилось видать и возвращение ямщиков домой. Ничего, никто не кричит от радости, от удивления о том, что отец, брат, сын воротился после полугодового отсутствия. Спокойно убирают, поят лошадей, и, сытно пообедавши, прохрапевши часов пять с дороги, ямщик, между прочим только, рассказывает товарищам, сидя вечером у ворот, и то если спросят его: «*А што, таго, где ты бывши?*» — рассказывает, что он *ездил* в Одессу, а оттуда *наняли* его в Николаев; потом *довелось* в Астрахань; там *вышла работа* в Эривань, а оттуда он *взялся свезти* ездока на *долгих* в Тетюши, из Казани *наложил* товар до Москвы и потом через Рязань приехал домой. Другие не дивятся нисколько, а через сутки, пожалуй, приезжий ямщик наймется опять хоть в *Аршаву* (Варшаву).

На *долгих*. — Знаете ли, что это такое? Это значит, что вас договариваются в положенный срок довести от одного места до другого на одних и тех же лошадях, останавливаясь ночевать и *кормить* лошадей по дороге. Кому некуда спешить,

такая езда, особливо летом, особенно в обществе добрых товарищей, беспечна и весела. Так, на ярмарки большею частию купцы ездят на долгих, и иногда собирается их по 10-ти, по 20-ти троек. В таком случае останавливаются ночевать и обедать обыкновенно вне селений, где-нибудь под лесом, на берегу реки, и — тут полный досуг русскому духу и дорожному досугу! Все забыто — и барыш и убыток; разводят огонь, накупают припасов, варят, жарят, кипятят самовары; на разостланных коврах, тюфяках, под *ташами*, разбитыми в виде палаток, идет ужин, обед; затем следует отдых; кто поет, кто спит, кто спорит, говорит, и часто хор стариков:

Склонитесь, веки,
Все, и со человеки,
К Российской державе,
Ко восточной главе,
Сушей ныне
Во благостыне —

сливается с хором молодежи:

Вы метитесь, улицы,
Вы метитесь, широкие;
Становитесь, города,
Города с пригородочками,
Теремы с притеремочками!

Наступает ночь. Огонь погас, все убрано, снесено в повозки; проезжие крепко спят в повозках, закрытые рогожами и кожами; брезжит восток раннею зарею; ямщики напоили лошадей, впрягли, и с словом: «*Господи, благослови!*» повозки катятся с спящими седоками до первого места, где снова останавливается поезд кормить лошадей, а седоки обедать, прокачавшись, как в колыхали, 35, 40 верст.

Все это изменяется теперь. Но так бывало еще за 20 лет. Я помню это.

Вот, когда мне в 1817 или 1818 году надо было отправиться в Острогжск, — впрочем, не привести бы мне на память читателям эту поездку того немецкого путешественника, который ездил когда-то на своем веку из Данцига в Штольпе и после того 40 лет рассказывал об этом... Спешить мне было некуда, и я решился ехать на долгих. Притом мне надобно было нанять надежного, доброго ямщика, потому что со мной было много денег, а ехал я один. Отправляюсь в Ямскую слободу. Положение этой слободы и вообще Курска прелестно. Город стоит на горе, которую обтекает река Тускорь, и с некоторых мест взор обнимает пространство, усеянное деревеньками, селами, перелесками, нивами, верст на 20-ть. Если вы будете в Курске, советую вам пойти на берег Тускори к бывшему Троицкому монастырю и полюбоваться оттуда видом на

Стрелецкую слободу, окрестности ее и скат под гору к Тускори. Не менее хорош вид и на Ямскую слободу, которая раздвинулась по луговой стороне реки на Коренской дороге.

Но поспешим рассказом. Мне попался здоровый, плечистый рыжий ямщик, взялся ездить со мною, сколько мне угодно, и на другой день в огромной повозке, прочной, крепкой, набитой свежим сеном, запряженной тройкою лошадей, с парюю колокольчиков на дуге, покатались мы с *Васильем* — так звали моего ямщика. Помню это красное лицо, эти плечи, эту голову, где *между глаз* могла поместиться *калена стрела*. Василий был человек лет 50-ти, веселый, словоохотный, большой мастер петь заунывные песни; он выпивал едва не полштофа зеленъ вина для аппетита и никогда не бывал пьян; ел он ужасно, не спрашивал, что ему давали есть, смотрел только на *количество*, а не на *качество*, мог пить пиво, хлебать молоко, есть рыбу и кислую капусту, пить чай в одно и то же время. Обед оканчивался у него ковшом воды не менее знаменитого Торова рога скандинавской Эдды. После того он ложился спать под повозку, спал, храпел, как Илья Муромец. Но удивительно: этот же человек не знал устали в работе, мог не спать сутки, сидя на передке, верно просыпался, когда надобно было поить лошадей, задавать им овса, и за них готов был он сам отказываться от сна, пищи и питья; и не жаловаться и петь песню под голос своего тощего желудка. Смело можно было при нем не бояться разбойника, оставить повозку, уйти вперед, отстать или спать без просыпа. Василий был удивительно *бывалый человек*; вообразите, что он побывал даже в Париже, подрядившись из Лейпцига в 1814 году везти какие-то казенные снаряды. Он рассказывал... но прочитайте статейные донесения старинных русских послов, например из Италии, о том, как: «Город Флоренск безмерно строен, согражден палатами превысокими, а столпов превысоких, сажен по 50-ти и больше, во Флоренске шесть. А кирпичи, или *мечети*, зело стройны, и иную делают уже лет 20-ть, а еще делать лет 20-ть, все камень аспид, трут пилами. А стоит город меж великими и высокими горами; а длина градскому месту и с уездом верст 13-ть, а то всё горы. А извычай у жителей такой: мужи и жены честные и дети, ходят все в *скуратах*, сиречь в личинах всяких цветов. Да казали нам казенные палаты, палата с сосудами одно — золотыми и с вещами драгими, кресла княжие с камнем драгим и с жемчугом большим, жемчуг иной в орех есть...» Вот на это приходили и рассказы Василия о *Паризии* и *Леонтьеве* (Париже и Лионе), *Нунции* и *Тавлери* (Нанси и Тюльери). Он сказывал за диво, что французские мужики носят *башмаки деревянные* и называют их *суботы*. Вообще по-французски говорил он довольно порядочно; сказывал мне, что французы называют хлеб

пень, масло *быр*, воду *ох*; что самая злая брань, если скажешь француззу: *Наполеон капут*; что по-французски: *жисонпранпо* значит: «не знаю ничего» (*je ne comprends pas*). «Хороши земли, — заключал он, — да все нехристь, бес их знает, какая; и кто погонится за барышом да поедет в ту сторону, в руках у него будет много, а в кармане ничего». Надобно знать, что путешествия бедного Василья за границу кончились встречею на обратном пути с башкирами, которые от нечего взять отняли у него все деньги и обменяли лошадей его на клячи, так что он едва мог доехать до святой Руси, и то в казенном обозе.

Мы выехали с ним из Курска рано утром; погода была прекрасная, начало июля, небо яхонтовое, поля изумрудные, нивы золотые. Дорога шла между селениями, полями, рощицами; народ был рассыпан по полям; все казалось мне таким веселым, счастливым, цветущим, потому что я сам был молод, здоров, весел, как птица небесная, и готов видеть в каждом человеке друга. Печаль скользила у меня тогда по сердцу, как ласточка нижет мимолетом по земле, а радость выглядывала из-за каждого кусточка и качалась на каждом васильке между хлебными колосьями. Встречи с сельскими помещиками, с их барынями и барышнями, с лихими кирасирами, квартировавшими тогда в Курской губернии, с купцами, ехавшими с Старо-Оскольской ярмарки, — все это было предметом моего любопытства, наблюдений, забавы, знакомства и проч. и проч.

Надобно сказать однакож, что места, по которым мы проезжали, были в самом деле большею частию удивительно милые. Природа не являлась тут в грозном величии какого-нибудь Кавказа, какой-нибудь Сибири; но зато, как кокетка, наряжалась она в пестрые луга, тенистые рощицы, убиралась живописными селениями, смотрелась в зеркальные речки и змеистые ручейки, расстилалась полосатыми жатвами, загоралась алою, палевою, оранжевою зарею, засыпала под покрывалом ночи, сплошь унизанным золотыми звездами. Помню местоположение *Стужина*, маленького селения, верст 40 от Старого Оскола, — что за прелесть! В длинной лощине, крутоберегой, обросшей кустарником, вьется серебряная речка, и по ней разбросаны хижинки; с обеих сторон дорога в гору, и на этих горах, как шахматы, белеют, желтеют, пестреют бесконечные поля с хлебом. Там лениво тянется обоз малороссиян на волах; здесь раздается песня поселянина; там природа бросила перелесок; здесь человек выставил шпиц церкви и кровлю своего сельского дома. Как нарочно, темная туча всходила вдалеке, и молния дрожала в ней и рисовала свои огненные узоры, когда с другой стороны еще ярко светило солнце между облаками; и эти облака обрисовывали собою вокруг солнца исполинские снеговые горы с позолоченными и раскрашенными вершинами. Но еще лучше

положение небольшого городка Старого Оскола, где на горе, смотря на реку и на окрестности при заходящем солнце, я, как умел тогда, долго любовался и мечтал, почитая себя поэтом, потому что читал Жуковского, сам кропал плохие стихи и плакал за романами Монтольё и Августа Лафонтена. И в дорогу с собой взял я, помнится, «Мальвину» да что-то делилевское: мне хотелось перевести ее... Какой вздор не взойдет в молодую голову!..

Вечером на третий день мы остановились ночевать верстах в 70-ти за Старым Осколом в деревне *Становой*, уже в Воронежской губернии. Это была обширная малороссийская деревня с вымазанными глиною, выбеленными известкою хатами, с малороссийскими нравами и обычаями, и я попал в самое шумное сборище усатой *гетманщины*. У хозяина, где мы остановились, продавали горелку; был какой-то праздник, и что за разгулье, за пляски, за разговоры! На меня сначала посматривали косо, как на *москаля*; но вскоре меня полюбила *казацкая душа*, когда я принялся хвалить ее, разговаривать с нею, потчевать стариков чаем, табаком, сам рассказывать о Хмельницком все, что читал об нем у Голикова и Рубана, а еще более с любопытством слушать рассказы других. Помню, что моя любезность обратила на себя особенное внимание старого казака *Никиты Шимченка*, с длинными усами, в высокой казацкой шапке, с гордою поступью, с седым *чубом* на голове. Он пил со мною чай, говорил о старине, о переселении острогожских казаков в эту сторону, заставил даже какого-то скрипача петь и играть, других плясать.

К удивлению моему, Шимченко был даже большой грамотей, восхищался «Энеидою» Котляревского и наизусть читал мне из нее множество мест.

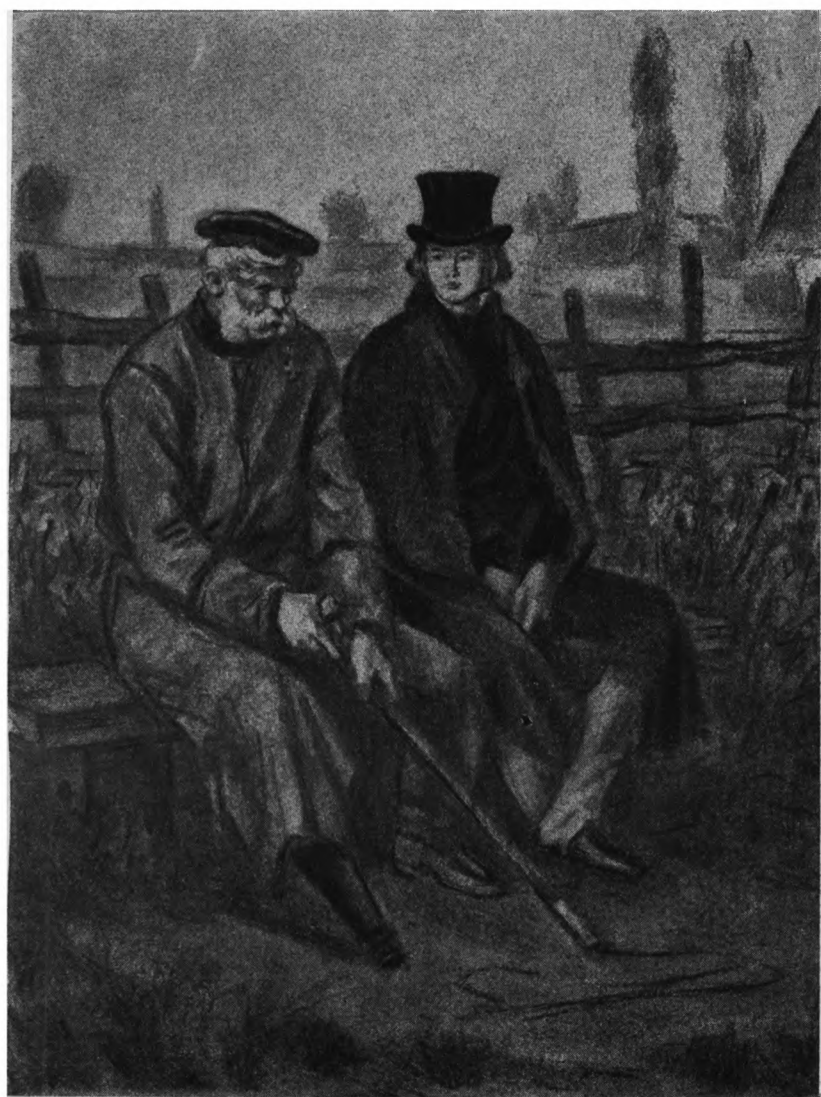
Солнце было еще высоко, когда мы приехали; досыта наговорившись и наслушавшись, я отправился с «Моими безделками» в руках насладиться зрелищем заходящего солнца и гулять по деревне; таков был тогда обычай у всякого, кто почитал себя поэтом; ходил, гулял — наконец сел у ворот одной хаты и размышлялся о счастье простой сельской жизни, слыша песни, шум и говор в хате и по улице, видя всюду веселые толпы народа, с гудками и дудками ходившие по улице. Подле меня неожиданно поместился какой-то сосед не малороссиянин, и я обрадовался, увидя *земляка* на чужой стороне. Это был отставной солдат, седой безногий старик на деревяшке; изношенная ленточка с Георгиевским крестом, добрый, веселый вид его, ласковый привет всех проходивших мимо его, что показывало, как уважала его целая деревня, — все это расположило меня к беседе с добрым инвалидом. Он без памяти рад был, встретя такого ласкового, приветливого земляка, и беспрестанно называл меня *вйше благородие*.

Я узнал от моего собеседника, что он родом из Курской губернии, из однодворцев, был отдан в военную службу, долго служил, потерял ногу в Финляндии, воротился на родину, оставил ее, бродил в разных сторонах и наконец поселился в Становой, где исправляет должность волостного писаря, по воскресеньям заменяет должность звонаря и певчего в ближнем селе и решился окончить странническую жизнь свою между здешними обывателями. «Весь хохлацкий народ, ваше благородие, и добрее русского; только не тронь их казацкой хвостовни; да и прост, ваше благородие, хоть по виду и кажется такой смышленный, важный».

Бесконечный разговор завязался, наконец, между нами. Здравый, простой ум, какой-то философско-комический взгляд на все в мире, особливо рассказы о том, где бывал, что видел, что перенес мой инвалид, заняли у нас несколько часов. Уже свечерел, потух день; прекрасная летняя ночь наступила, ночь тихая, мсячная, теплая, после дождя, бывшего днем, а мы все еще разговаривали. Он подробно рассказал мне всю свою историю, все свои похождения. То, увлеченный живостью своего рассказа, вставал он, вытягивался, маршировал, забывая о своей деревяшке; то чертил палкой на песке расположение лагерей, желая дать мне понятие о битвах и сражениях, где бывал; то в унынии умолкал, набивал свою *люльку*, тянул из нее дым и в разлетавшихся облаках дыма, казалось, видел прежние, разлетевшиеся дымом годы своей юности.

Добрый старик! Тебя, верно, нет уже теперь в здешнем мире! Если беседа со мною, тогда юным, беззаботным жителем света, усладила твою душу, зато и твои рассказы сильно врезались в мое сердце. И теперь еще ясно могу я представить себе твои седые волосы, твой кровью купленный крест; слышу еще, кажется, стук твоей деревяшки, твой голос; вижу твои выразительные телодвижения, огонь, сверкавший в глазах твоих, когда ты рассказывал мне о гибельных битвах, и слезу, появляющуюся в глазах твоих при воспоминании о родных, некогда близких твоему сердцу; грустную улыбку, с какою смотрел ты на свое состояние, и улыбку радости, с какою говорил ты об успокоении костей своих в недрах матери земли...

Желал бы я передать другим что-нибудь из твоих рассказов; но тронут ли они других так, как трогали меня? Чем заменить твой вид, твой взгляд, твои движения, твоё простое красноречие сердца? Прибавляя что-нибудь *искусственное*, я только обезображу твоё добродушное повествование; но могу ли и *пересказать* так, как говорил ты; могу ли заменить твои поговорки, прибавки, побасенки, и ~~этот~~ смех сквозь слезы,



и эти слезы сквозь смех, что так удивляло меня, еще не понимавшего, как можно плакать и смеяться в одно время! И прежде того видал я, что сквозь дождевые тучи светило солнце и радугой перепоясывало полнеба, отражаясь в дожде, падавшем сквозь лучи солнечные. Я не знал тогда, что это всего более похоже на слезы и улыбку человека.

В ближней роще свистал и щелкал соловей; коростель скрипел в отдалении поля; лягушки дробили голоса в своем болотном концерте; заря потухала на одном краю неба и загоралась на другом; иногда глухо раздавался голос кукушки в лесу; люди редели, засыпали. Мой инвалид говорил мне:

— Вы знаете, что у нас в Курской губернии есть много дворян больших помещиков, а еще больше мелких. Есть целые деревни, и большие деревни, где все жители дворяне, и у них, у сотни человек, десять крестьян, и эти крестьяне служат всем поочередно. Наконец, есть еще у нас что-то такое, не дворяне, не крестьяне, а так, *сам крестьянин и сам барин*, и называется *однодворец*. Говорят, будто это остатки каких-то прежних дворян, потому что у многих однодворцев есть свои крестьяне. Я называл себя однодворцем, как мы все себя называли, а впрочем, право, мы не ведали, что это такое значит, так как мелкое дворянство, жившее вокруг нас, знало о себе одно, что с них *рекрутинь не бывает*. Впрочем, эти высевки дворян жили в таких же хатах, как и мы; так же одевались, так же пахали, сеяли, косили, жали, как все мы; ели по-нашему и пили по-нашему. Одна только бывала беда с ними связываться, что, подравшись на весельи, мы просто мирились на другой день, а дворяне наши непременно подавали просьбу в *бесчестьи*. Кроме того, все у нас было общее, и согласное, и одинаковое; ссорились и дрались мы на межах одинаково, потому что и наши и дворянские поля были пестрее рябой рожки и перерезаны в такие мелкие ремешки и клинушки, что разобрать их не удалось бы самому домовому дедушке, не только земскому суду. После каждой просьбы между нами начинался, однакож, суд, делался судебный осмотр; оканчивалось тем, что выигравший тяжбу должен был продать свой участок для оплаты расходов по суду; на продаже напивался весь мир крещеный, подымалась на весельи новая ссора, за ней драка, и — дело оканчивалось новою тяжбою.

Так жили мы, и дворяне и однодворцы, под одним небом божьим, жили изо дня в день, и весело, не думая о завтрашнем дне; и житье наше так нам всем нравилось, что — поверите ли — многие из наших дворян, прослужив много лет в военной службе, возвращались поручиками, даже капитанами на ро-

дину, надевали старые свои зипуны и принимались снова за плуг и соху. Вот было житье: подыми, встряхни, перевероти и вывороти — ничего не выпадет, ни из души, ни из головы, ни из кармана, кроме гроша на вино да краюшки хлеба на сегодняшний день! И чего ж вам больше? Был ли у нас в оный год неурожай, есть нечего — мы занимали у других; отдавали, когда потом хлеб родился, а ведь у бога не положено, чтобы неурожай был всякий год? И так, барыш и убыток, веселье и горе, сытое брюхо и голодное ездили у нас на одних санях. Ну что же, если не было у нас ничего в запасе, ни лишнего хлеба, ни лишней коровы, ни лишнего гроша, — да на что запас? Мы думали так: «Если бог создал какого человека, так, верно, в то же время испек для него и краюшку хлеба, которою ему надобно пропитаться в мире; и заботься ли, не заботься ли этот человек, а той краюшке от него не отбегайся ни на краю мира». Приходило горе — на утеху было у нас то, о чем давно сказано, что оно *веселит сердце человека*; приходила радость — всякий просто радовался изо всех сил. А впрочем, ведь и в городах и везде кто плачет, кто скачет; один родится, другой умирает; кто родится, кричит; кто умер, тот молчит. Валилась ли избушка, хозяин подпирал ее жердинкой, говоря: «С меня станет; с мой век простоят, а там, как сам свалюсь и она развалится, так строй новую, кто захочет». У кого не оставалось ни кола, ни двора, ни поля, ни избы, тот нанимался у других, а стар становился, к работе негоден — ну, просил милостыни и был уверен, что сыт будет, потому что ни из одной хаты не говроили у нас: «*Бог подаст*», а подавали, кто что смог. Когда нам нечего было делать, мы ничего не делали либо спали, а в праздники ходили мы хороводами по деревне, и проезжий какой-нибудь богач, раздумавшись в своей карете, как, поди, завидовал нашему счастью и веселью, слушая наши веселые песни!

Нас было в семье двое. Старший брат Василий да я, Сидор, покорный слуга вашего благородия. Василий был старше меня десятью годами, сын от первой жены. Старику отцу вздумалось жениться на старости, когда первая жена его умерла; от другой жены родился я. Мне и трех лет не было, когда сам старик переселился на божью ниву. Василий с моей матерью стали хозяйничать, — плохое хозяйство, правда, у старой бабы да у молодого парня — ну, что делать! Зато Василья женили рано, и жена его, здоровая баба, работала за трех. Зато с ней была такая беда, что рожала она за трех: в несколько лет у Василья было полдюжины ребят, а им каждый обед надобно было полдюжины ломтей хлеба.

Пока все это так и сяк делалось, я рос своим чередом, и о моем ребячестве многого сказать вам не приходится. Сколько

запомню, так сперва лежал я в лубяном коробе, повешенном на палку подле печи, и кричал почти целый день, потому что меня некому было унимать, да и некогда. Потом ползал я по грязной избе и, взбираясь на лавку, падал, ушибался, плакал; тут высаживали меня на улицу, где, взбираясь на завалину, опять падал я, ушибался и плакал. Иногда подходили ко мне корова, коза, теленок, и, боясь их, я кричал из всех сил, так что слышно было на другом конце деревни. Соседи сидели подле своих хат или шли мимо, да я хоть раскричусь — никому дела до меня не было. Единственным защитником моим была старая хромоногая собака Жучка, с которою делились мы иногда куском хлеба, вместе лежали на солнышке и вместе защищались от коров, телят, козлов, коз и свиней, а в награду я бил Жучку и любовался, как она визжит и ласкается ко мне.

Как уцелел я, как не упал в колодец, который был вырыт подле нашего дома, сруб незакрытый, вровень с землею, как не выклевал мне глаза гусь какой-нибудь или не забодала меня корова, как не сторел я подле печки и как не раздавили меня возом, когда я выползал на средину улицы и сидел в грязи или играл пылью и пугал мимоходящих куриц и петухов — право не знаю. Но, видно, сам бог хранит крестьянского сына, потому что мы все так росли, как рос я; и потом видал я, что везде наша братья, крестьяне, растут таким образом и вырастают.

Я поднялся на ноги, начал ходить, просить не ревом, но словами, и тут уж мне стало жить и лучше и легче.

Надобно знать вашему благородию, что во всей деревне нашей считалось дворов с двадцать пять. Все эти дворы были вытянуты под одну кривую линию в два ряда, так что составляли собою улицу, которая, как пьяное капральство, повихиваясь на обе стороны, шла по кособогу в лог, где текла маленькая речушка, глинистая, тинистая, почти пересыхавшая летом; но весною она разливалась и затопляла весь лог, так что до самой осени грязь не пересыхала у нас, особливо у гати, обсаженной ивами, где беспрестанно вязли лошади проезжающих и где проезжающие ругали нашу деревню на чем свет стоит. Все дома у нас были черные избы, закоптелые от дыма, покрытые соломою, которую стаскивали мы с крыш в голодный год для корма скотины, а потом подновляли на зиму, если было чем подновить. У редкого двора была огорожа или крытый сарай кругом двора; почти каждый дом был четырехугольный сруб с маленькими двумя окнами на улицу, с пестрыми вокруг них рамками и с пузырем или с обломками стекла, так запачканных, что ночь начиналась в избах наших двумя часами ранее, а оканчивалась двумя часами позже настоящей божьей ночи. К такому срубам приплетались сени, где летом спали мы и держали ско-

тину, где висели у нас веники для бани, стояли кадки, кадушки, лежали дрова — тоненький хворост, который рубили мы в небольшой роще недалеко от нашей деревни. Затем с другой стороны ворот торчала мазаная плетушка для скотины; далее, сзади, был небольшой навес из тычинок, покрытый соломой, для лошадей; затем далее назад пятились овин и гумно, низенькие мазанки с соломенной крышею; и все это окружено было поскотиной из палок, и те часто сжигали мы, потому что в дровах терпели большую нужду; соломы едва доставало у нас скотине; гречневую шелуху мы съедали сами, подмешивая с лебедой да с мякиной и посыпая мукой, а другого топлива мы не знали, потому что ничего не слыхали мы об этом от своих стариков. На дворах мы не только не чистили, а еще старались умножить грязь и навоз, потому что этим только и успевали мы вырастить что-нибудь на полях, куда весной свозили все, что накоплялось во дворах наших за целый год.

Во всей деревне только у двоих было по три лошади да по три коровы; у многих других по две, по одной, и, наконец, у остальных — ничего не было, кроме рук да ног. Такие обыкновенно отдавали свои участки другим либо обрабатывали их *помочью*, то есть ставили вина, поили всех, заставляли пахать, жать, косить, а потом платили половиною сборки хлеба целовальнику за ссуду вином на целый год. Поля наши были все чересполосные; работать на них уходили мы за две, за три версты, но меняться участками не думали, хоть у иного чужой участок был подле двора, а свой через болото, за рекой, подле дальнего леса. Покос был у нас особенно богатый: поемный луг с осокою, половину которой скашивали соседи, за что каждую осень дрались мы с ними и заводили тяжбы. Право не знаю, как еще мы умели платить подати, особенно когда приходилось в иное время лето проработать за поправкою дорог и мостиков по дорогам. У нас, впрочем, почиталось это за отдых. Мы уходили на дороги целыми семьями, вырывали себе землянки, спали в них без просыпа, а между делом заваливали кое-где ямы землею, вместо переделки мостиков обтесывали на них бревешки, и, заплатив положенное исправнику, получали мы позволение воротиться домой, не думая о том, что с первым обозом и первым дождем вся наша поправка как не бывала, а дома сидит у дверей голод и зубами пощелкивает.

Ремесла у нас не было никакого; да и что стали бы мы делать? У нас не было даже липки, с которой можно было содрать лычко да сплести лапоть. Бабы и девки ткали холстину на рубахи, сукно на зипуны отцам и мужьям и на понявы себе, а дети ходили в обносках отцовских и материнских.

Как теперь вижу свою благословенную родину, хоть и давно оставил ее: на голой степи по кособогу несколько избу-

шек, общипанных, как после пожара; кругом ни леска, ни перелеска, а только поля с плохим хлебом; подле реки несколько землянок, где мылись мы грязною водою; глинистая гать с ветлами; грязь по колено по улице, а зимою все занесено снегом, который едва отчищен у входа каждой избушки и привален грудями к стенам ее: без этого мы замерзли бы от холода, и случалось, что в бесснежные холодные зимы только на печи было и спасенье. В стороне торчала у нас ветряная мельница, как будто подсмеиваясь, что у нас ей нечего молотить, а с другой стороны бродило около деревни несколько десятков коров, коз, баранов и свиней, тощих, как мышь в приказной избе, где кроме бумаги и приказным закусить нечем. Въезжайте в деревню — не говорю зимой, когда все спряталось в конурки под снег, или в рабочую пору, когда по всем избам могли прогуливаться воры, не опасаясь, чтобы им сыскалось что-нибудь унести, хотя хозяев и хозяек никого нет дома, кроме полудюжины дрыхлых стариков и старух — этот запоздалый на свете народ домовничал и грелся на солнышке, потому что кровь его уже не грела, а двигаться силы у него не было. Но и в такую пору, когда все жители бывали в деревне, вы встретили бы по улице только баб и девок, в рубахах и понявах, босых, замаранных; сидя у ворот, они пряли или бродили по грязи, крича и загоняя коров и свиней; мужики у нас подле ворот своих сиживали мало: они все собирались обыкновенно у питейного дома, который всегда был чисто-начисто обметен от снега, обставлен лавочками и украшен елками. Там собирались мы ссориться, мириться, судить об общественных делах, пока мальчишки в отцовских старых шапках, в каких-нибудь обрезках отцовских тулупов и зипунов бегали, дрались и кричали по улице; вечером весь этот народ засыпал, кто где успел лечь или свалиться, а поутру просыпался всякий там, кто где с вечера лег, и вел снова день до вечера, а за одним днем другой день, а за другим третий и так далее. Но поверите ли? Плохо было наше житье — нечего сказать, — а так много у человека есть способности веселиться его жизнью, что весь этот народ веселился, смеялся, боялся смерти и не хотел умирать, словно богач какой-нибудь, у которого в Петербурге либо в Москве большой дом на большой улице! Да и состоянием своим были мы недовольны, думаете вы? Да, как не так! Попытайся-ка кто-нибудь уговорить нас переселиться в другое место, где будет много хлеба и денег, да житье иное, — ну! На этакое злодея мы готовы были просьбу подать не только земскому суду, но самому соседке под печкой! Попытайся-ка кто-нибудь и не на это, а на то только, чтобы уговорить нас жить не по-старому, — и места бы не нашел этаким советник, что со мной самим случилось впоследствии. Уговорить моих земляков перестроить дома получше, жить

почище, ходить поопрятнее и вместо питейного дома чаще заглядывать в церковь божью или поучить чему-нибудь детей своих — страху господню, началу премудрости, например, — за это расплатился бы дорого тот, кто стал бы об этаких невидальщинах говорить!

Надобно сказать, однакож, к похвале моих земляков, что в числе старинных преданий, которым они верили и которых нарушать не смели, были такие предания, каких дай бог всякому и каких, бродя после того по свету, иногда не встречал я и в больших городах. Несмотря на то, что нередко половине деревни приходилось складывать зубы на полку и забывать о старинной привычке обедать каждый день непременно; что нередко приходилось снимать крышу с домов для скотины, а самим есть, что кому бог на сердце положит, — пешеход в глухую полночь мог пройти с кульком золота по нашей деревне, и никто не тронул бы его. Мы не считали за грех драться за межу, пропивать свою последнюю копейку либо просить милостыни, а никто из нас никогда не вздумал бы воспользоваться добром своего ближнего. Мы не ведали ни одной заповеди по катехизису, но по преданию знали мы, что не добром нажитое впрок нейдет; что за душу христианскую тяжел ответ богу. «Ребята, дело нечисто!» — говорил какой-нибудь старик на мирской сходке, и — дело осуждали общим голосом.

Такова была моя родина, так жили, так мы были, а чтобы лучше растолковать вашему благородию все дело, так расскажу я вам мое собственное в крестьянстве житье-бытье.

Когда начал я ходить, и бегать, и говорить, зимой, примером сказать, день начинался у меня обыкновенно тем, что просыпался я рано, когда еще до света, с лучиной в светце, мать моя принималась топить печку. Мне было холодно, лежа на печи, простывшей во время ночи, и еще мне страх как хотелось есть; я начинал хныкать и просить хлеба и, наконец, сползал с печи, потому что дым, расстилаясь облаком, мог задушить меня на печи. Матери и брату не было никакой обо мне надобности: он занимался своим хозяйством, а она топила печь, начинала варить и на мои слезы и жалобы отвечала только: «Молчи, чертенок!» Наконец я до того каждый раз надоедал всем, что мне давали несколько толчков и кусок хлеба, заворачивали меня в старую шубу и садили меня в угол на лавке. Тут я засыпал и просыпался, когда уже дыму в избе не было, становилось тепло и на столе стояли пустые, но горячие щи. Мы усердно принимались за них, и наевшись, забывал я горе, шумел, дрался с Жучкой и с кошкой, опять надоедал всем так, что мне давали оплеуху, напяливали на меня обрезок отцовской шубы, отцовские старые сапоги, старую его шапку и выгоняли меня из избы вон. Я шел на улицу, где уже толпа мальчишек

дралась, бегала, шумела, кидалась снежками, мерзла, плакала, согревалась, опять мерзла, и я возвращался только вечером, совсем ооченелый, отогреваться, дремать и просить есть. Опять принимались мы за пустые щи, и меня закидывали вместо полена на печку, где спал я, пока на другой день не начинали вставать, ходить, топить печь и дым не стогнал меня с печи. Летом перемены в моем житье бывало немного. Только просыпался я не от дыма; и без шубы, в одной рубашке и босой прямо уходил на улицу, откуда только голод гнал меня домой.

Но знаете ли, ваше благородие, что при такой жизни кто из нас не умирал, тот был здоров и крепок, как из железа скван; лет трех, четырех уже начал я помогать в работе, водил лошадь на водопой, сидел на возу и правил, когда возили весной навоз на пашню, таскал дрова в избу и вскоре заменял мать и брата во многом, возился с детьми, бесился с ними, ушибал их, заводя в шалости. Признаться сказать, когда я подрост, то никто в деревне не сравнивался со мной в работе, в ухаживаньи за молодыми девками, да никто не равнялся и в проказах. Сталкивать в грязь пьяных стариков, подбивать глаза старшему себя, пугать баб из-за угла, лихо плясать с девками и бурлацкую песнь петь — все это было Сидоркино дело. Только одного не любил я — зеленáго вина, и за то целовальник первый не влюбил меня. Второй не влюбил меня староста, по особливым причинам.

Не знаю как, вздумалось мне, будто можно жить не так, как все мы, грешные, жили: Насмотрелся ли я на других людей, ездивши в Корочу на базары и проезжая по большим деревням, только денег своих в питейный дом я не носил; и когда не был в хоровах или в поле на какой-нибудь работе, то работал дома, плел тын вокруг двора, ладил телегу, снаряжал соху. Старики только покачивали головою, говоря: «Да что он? Умнее всех, что ли, хочет быть?» А молодые товарищи особенно не влюбляли меня за то, что у них ничего не было, а у меня начали появляться то новая шляпа, то новая рубаха, то красный кушак.

Все еще беда-то была бы не велика, что староста, целовальник и товарищи меня не жаловали: у красных девушек был я в особенной милости, больше всех других, прочих; с двумя крепкими кулаками не боялся я никого; а когда староста высылал меня лишний раз на дорогу либо чаще других наряжал в подводу — я молчал, потому что плеть обуха не перестегает. Навязалось на меня совсем другое горе.

В ближней деревне жила одна красотка, дочь тамошнего крестьянина. Ну, ваше благородие, дело прошлое, а право, что за красотка такая была эта Дуняша — кровь с молоком и такая же работница, как и дородница! Отец ее был мужик довольно зажиточный, и хоть дочерей был у него почти целый десяток,

однакож за каждую давал он по корове да по 50-ти рублей денег, хоть сам жил не лучше нашего и ходил в зипуне хуже моего.

Проклятое это дело — сердечная зазноба! Хоть мы и не умели любить так, как любят бары да горожане, но сказать вам правду, будто взбеленился я, узнавши Дуняшу. Пропала охота работать, не пилося, не елось, все хотелось быть с ней, глядеть на нее, шутить, говорить с нею. Дивился я тут двум вещам: тому, извольте видеть, что и прежде я видал ее, да ничего особенного не чуял на сердце. Но один раз как-то песню, что ли, она запела: *«Не белы-то снега»* — тьфу, пропасть! Так вот и кольнуло меня в самое сердце, и повесил я нос, и с тех пор, словно напущенное, стала она мерещиться мне и во сне и наяву. А вторая-то вещь, ваше благородие, что с тех пор, как она мне приглянулась, стал я перед ней дурак дураком — ни песни спеть, ни слова вымолвить! Со всеми другими, бывало, откуда бодрость берется, поешь, пляшешь, целуешься, будто вот жил, — а с ней... куда тебе! И взглянуть не смеешь... Ребята наши стали замечать, что я отчего-то, бог весть, грущу; стали говорить, что я то и дело хожу в соседнюю деревню и забываю даже коней напоить — сижу, уткнувши глаза в землю, будто мокрая курица, так что в эту пору баба могла меня обидеть, а я слова не сказал бы ей. После узнал я, что и с Дуняшей сделалось то же самое, такая же невзгода, и подруги стали сперва шептать, потом говорить, а потом уж и кричать во все горло, что девка наша кого-нибудь полюбила. Эти слухи дошли до отца ее, мужика сердитого и строгого.

— Дунька! — сказал он своей дочери, — что ты затеяла такое? Знаешь ли ты, что у тебя уж есть жених?

Жених этот был сын старосты нашей деревни — нечего молвить, лихой малый, зато и первый буня и первый пьяница из всей деревни. Только меня и боялся этот сорванец, даром что у отца его была хата лучше других, а у меня, кроме удали, в кармане хоть выпись, а хата держалась на курьих ножках, и в той жили мы вместе с братом. Дуняша испугалась отцовских речей; руки у нее опустились; она не посмела сказать ни одного слова напротив, а только заплакала.

— Плакать-то я не мешаю — слезы вода, особливо женские, — продолжал старик, — а если затеешь что-нибудь непутное — береги спину!

Легко приказывать, да подумали бы: легко ли исполнять, — вот в чем дело зависит. На другой день в Дуняшиной деревне был праздник; мы все собрались туда; начали хороводы, запели песни: есть ли, нет ли хлеб, а пиво вари и гостей зови — этаким был у нас общий обычай, просим не погневаться! Дуняша вышла в хоровод такая грустная, такая печальная и вселилась будто поневоле, и вот вижу я, что Дуняши нет; без нее

мне белый свет не взмилил! Бегу и ищу ее и нахожу, что она сидит на берегу пруда под тыном, смотрит на воду и плачет навзрыд. Меня самого такое горе взяло, как будто каждая слезинка ее кипятком капала прямо на мое сердце.

— Дуняша! — сказал я. Она испугалась, а у меня откуда слова взялись; подошел я к ней, присел подле нее, хоть она и отодвигалась от меня. — Что ты смотришь на пруд, глаз не спускаешь? Или у тебя что-нибудь недоброе на уме?

— Доброе ли, недоброе ли, тебе что за дело? Хочу благословиться да в пруд кинуться.

— Что ты, Дуняша, отчего?

— Да оттого, что жить не хочется.

— Да отчего тебе жить не хочется?

— А тебе на что?

— А на то, что бросимся вместе, — и мне житье надоело.

— А отчего тебе житье надоело?

— Да оттого, что я люблю тебя, Дуняша, а отец твой тебя за меня едва ли выдаст.

Она заплакала, и вот пошли у нас разговоры, и вот я узнал, что Дуняша любит меня так, как я сам люблю ее, — ну, то есть, очень шибко любит. Слово за слово, у меня сердце хотело из-под ребер выпрыгнуть от радости.

— Чем сдуру топиться нам с тобой, так лучше попробуем сперва: авось твой отец над нами смилосердится. — И начал я ей говорить так, что она и грусть забыла. Лукавый соблазнил меня — крепко обнял я Дуняшу и поцеловал раз, два, три.

Извините, ваше благородие: много этому лет прошло, а все помнится; и кажется, будто радостнее этого времени для меня во всю жизнь мою не было.

Мы и забыли с Дуняшей, что кроме нас еще есть люди на белом свете, да еще и злые люди.

— Не плачь же и не кручинься, Дуняша, — говорил я ей. — Завтра же пришло я к тебе сватов. Брат и мать у меня противиться не станут; мы с тобой у них не даром хлеб станем есть. Ну! И у отца твоего дети все девки, сыновей нет; захочет он меня к себе в дом принять, так лучше меня, конечно, не найдет работника. Да я в кабалу к нему пойду хоть на десять лет!

В это время громкий смех раздался за нами — гляжу: из-за тына смотрит старостин сын и с ним еще человек пять таких же сорванцов... Дуняша ахнула и чуть в воду не свалилась со страха. Меня словно жаром обдало, да так и взорвало. Будто сумасшедший бросился я на моего злодея; он ударился бежать; я догнал его.

— Слушай, — говорил я, схватив его за ворот, — если ты скажешь хоть кому-нибудь о том, что ты видел, так не быть тебе живому!

— Убьешь, так в Сибирь пойдешь, а пока жив, всем рассказывать стану, — кричал он.

Я отвесил ему оплеуху; он мне отвечал тем же; началась драка, товарищи его закричали, сбежался народ. Едва разняли нас, и проклятый пьяница все высказал. Отец Дуняшин всплеснул руками, народ захохотал, и напрасно говорил я старику и приводил бога во свидетели, что Дуняша чиста, как голубь небесный, что я только поцеловал ее.

— Целовать без людей, под тыном — да чорт вас тут разберет! — кричал старик, — иное дело целоваться при добрых людях, в хороводе, а коли девка за углом шепчется с молодым парнем, так в это время ее ангел хранитель плачет и улетает от нее!

Староста наш вступился за побои своего сына; но увидев, что отец Дуняши отправился домой, я бросил старосту, убежал из толпы и успел прибежать к отцу Дуняши, когда он только что вошел в свою избу. Дуняша сидела в углу и плакала.

— Стой, Панфил Артемьич, — вскричал я, — слушай: если ты тронешь дочь свою хоть синим волосом, так вот тебе бог порукой, что я волоска в бороде твоей не оставлю!

Старик остановился; я упал перед ним на колени и начал говорить, как я люблю Дуняшу, как она меня любит, начал просить его благословения на свадьбу.

— Тебе жениться на моей дочери, голь отпетая, тебе?

— Что хочешь, Панфил Артемьич: возьми меня в работники, закабали меня, не давай приданого!

— Слушай, Сидор, — сказал старик, — вот я тебе образ со стены сниму, что моей дочери за тобой не бывать уж и по тому одному, как ты меня избил.

Тут Дуняша вскочила, бросилась в ноги отцу и сказала:

— Если ты меня, батюшка, за него не выдашь — руки сама на себя наложу, а за другого не пойду!

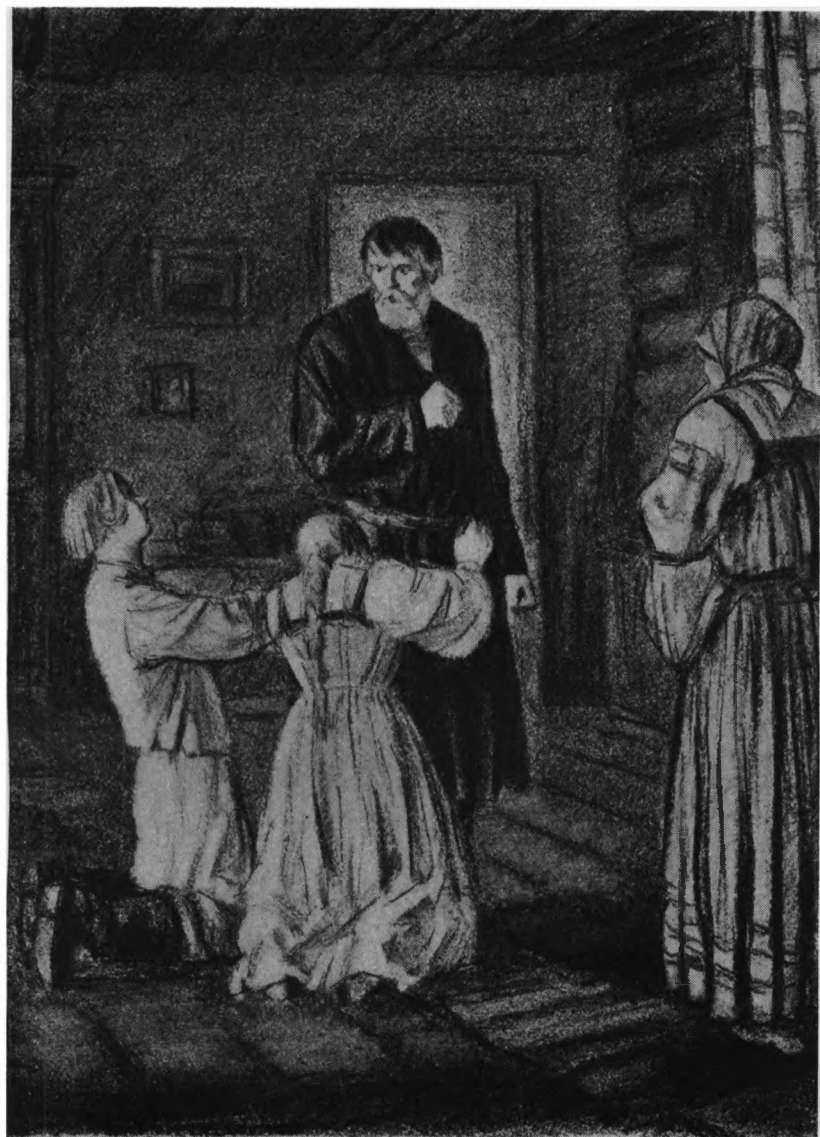
— Смеешь ты мне говорить, — вскричал отец, — да я убью тебя!

— Прежде меня убей! — вскричал я.

Вдруг старик остановился, схватил дочь за руку, толкнул ее ко мне и вскричал:

— Так на — вот тебе ее, коли хочешь — женитесь, где хотите, живите, как хотите, — только с этого часа нет на вас моего родительского благословения; будьте вы прокляты отныне и до века; пусть у вас дети будут проклятые; не сойди ни дождь, ни роса на ваше поле, ни божье благословение в вашу семью!

Мать Дуняши вступилась было за нее; но старик чуть не зашиб ее кочергой; напрасно мы плакали, стояли на коленях, клялись в своей честности и добродетели.



— Вон отсюда, проклятая! — кричал старик и ничего не слушал.

— Что же, Дуняша! — сказал я, — отцовское проклятье не подтверждает господь, если оно несправедливо. Пойдем!

Она была как помешанная; я взял ее под руку и повел в свою деревню. Дуняша не сопротивилась, только рыдала. Мы пробрались тихонько по загородам, удаляясь от народа, который с песнями и смехом возвращался в нашу деревню. Но горе забежало вперед нас и ждало нас на родительском пороге. Мать моя знала уже обо всем, не согласилась принять дочь, проклятую отцом, разругала ее и меня, затворила дверь и сказала, что если я не оставлю Дуняши, так не будет мне места ни в отцовской хате, ни в материнском сердце.

Что станешь делать! Сели мы на улице; я молчу, Дуняша плачет.

— Не благословляют люди, благословит бог! — сказал я наконец. — Дуняша! Ты одно теперь у меня на свете, а я одно у тебя, — пойдем!

Дуняша повиновалась, прижимаясь ко мне, как испуганная птичка. Я вспомнил, что у меня есть старый дядя в деревне за пять верст, и решил идти к нему. Дядя этот слыл между всеми крестьянами человеком гулливым, но добрым и богатым, любил меня и помогал нам кое-чем. К нему явился я теперь с своею бедною невестою, повалился в ноги, рассказал все дело. Старик и сам женился в молодости тайком; увез свою невесту у богатого мужика. Ведь это между крестьянством часто бывает. Что же ты будешь с богатыми мужиками делать: не отдают дочерей добром! Дядя прослезился, смотря на нас, и сказал жене своей:

— Старуха! Ведь детей-то у нас нет? Примем-ка мы сирот, оставленных людьми! — И он принял меня и Дуняшу, сыграл свадьбу, и мы поселились у него.

Как отца, стал я почитать дядю, как мать, стала почитать Дуняша тетку; покоя не знал я, работая в поле и в доме. Что же? Казалось, старика бог благословлял за его милосердие. У кого поле выбивало градом — у него зеленело и желтело оно под богатою жатвою — смотреть любо. Под рукою Дуняши масло и молоко прибывало, как у сарептской вдовицы, у которой Илья пророк жил, а копейка раздувалась в грош сама собою и кликала к себе гривну. Старик не мог налюбоваться нами; старуха у него была превздорная кропотунья, но мы все терпели. Да как и не терпеть? Ведь мы любили, а с любовью и горе лучше нелюбовной радости...

Но — велико дело благословение отцовское, ваше благородие, и горе тому человеку, которого не благословит отец либо мать! Бог судья, праведно или неправедно кто проклинает детей своих, а всякое проклятие тяжело лежит на совести сына

и дочери! Несмотря на привольную жизнь, ласку дяди, на то, что добрые люди вступались за нас и общий голос обвинял и мать мою и тестя за их немилость, — жизнь Дуняши была тяжкая. Иную ночь всю напролет не спала она, бедная, и, засыпая, твердила: «Прости, прости меня, родной батюшка!» Иной день плакала без всякой причины, говоря, что ей ни пить, ни есть не хочется и что сердце ее словно змея сосет. Я сокрушался, глядя на нее, хоть она еще дороже была для меня за свое горе. Ведь она от меня, за любовь мою страдала. Прошел год, прошел другой, бог не благословлял нас детьми. И это казалось нам наказанием Божиим. Надобно вам сказать, что в это время мать моя со мной помирилась. Брат Василий, оставшись без меня один, смотался на работе, но ничто не шло у него впрок; крепко начал он держаться чарки; что день, то хуже становилось его и материно житье. И вот однажды мать сама пришла ко мне, поплакала со мной, простила меня и стала звать к себе, чтобы на старости лет не покинуть ее. Дядя слышать не хотел; подарил ей пять рублей, обещал помогать брату, но меня не отпускал. Ослушаться его мне было нельзя, по все мне казалось, будто я неправ против матери и брата, оставляя их на невагоды одних. Истинно, иногда дума такая, бывало, найдет, что ничему не рад! Мне казалось иногда, что и люди поглядывают на меня и на Дуняшу, переговаривают, подсмеиваются, шепчутся, осуждают нас. Нечистая совесть плохое дело... Дуняша сохла, худела... Напрасно налагал я на себя обеты, подавал милостыню, призывал знахарей — ничто не пособляло.

Но бог обрадовал нас великою радостью. Дуняша сделалась беременна, родила. Вы еще молоды, ваше благородие, не женаты и не знаете, как весело и как вместе тяжело отцовскому сердцу, слыша первый крик своего ребенка. Все мы без памяти веселились. Мне так и мерещилось, что с этого часа все мои беды кончились. Только Дуняша плакала и горевала. «Ох! — говорила она, — не на радость родился ты, бедный! Чует ретивое, что на тебя обрушится дедушкино проклятие!» Я утешал, уговаривал ее. Но дядя приготовил ей утешение лучше моего. В тот день, как были у нас крестины и все пировали у нас, даже сам батюшка священник изволил пожаловать, дядя вводит в избу... Кого бы вы думали? — Отца Дуняши...

Позвольте, ваше благородие, утереть слезку-дуру; выкатилась из сердечного, левого глаза и не спросилась у меня...

— Зачем ты привез меня сюда? — говорил старик; но я и Дуняша были уже у ног его, а дядя подавал ему внука. Старик задрожал, бросился на лавку. Отец священник вступился за

нас; все окружили его. Он ревел навзрыд, как старая баба. — Ох, Дунька, Дунька! — говорил он, — много ты горя навела на меня, много седины высушила на голове моей, много родной крови испортила! Не знал я прежде, как сильно я люблю тебя, и что если и сниму я отцовское проклятие, будешь ли ты от этого счастлива? Чем заплатишь ты богу за мои слезы? Ну, да бог вас простит, а я прощаю!

Великая радость была после того. Да только знает ли человек, что будет с ним на другой день! Все мы расстались здоровы, веселы, а на завтра добрый дядя мой уже не проснулся. Жил как христианин, умер как праведник; рука — видно хотел перекреститься — так и замерла у него на лбу с сложенным крестом... С ним умерло и счастье мое...

Старуха тетка сделалась хозяйкою и на старости лет, — седина в голову, а бес в ребро, — не прошло полугода, сосваталась на молодом парне, бобыле безродном, вышла за него, и нам житья не стало от нового хозяина. Между тем мать и брат звали нас к себе, и в один день услышали мы от тетки приказ — опростать место, помолились и поехали на мою родину. Худо пошло тут дело. У матери и брата Василья не было ни хлебца пылинки, ни живой животинки; изба как решето, хоть сей — да сеять-то было нечего! Сначала нас ласкали, думая, что мы успели пожить у дяди, а как увидели, что мы ни с чем приехали, так все и опрокинулось на Дуняшу! И без того ей, бедняжке, нелегко было привыкать ко нраву свекрови — тяжеленек был — не тем помянуть покойницу...

Ну, ваше благородие, прошло тут времени немного, не успел еще я и одуматься, как беде да горю пособить, затевал то и се, думал так и сяк... вдруг сделался нездоров наш мальчишка. Какой славный был, здоровяк, красивый... Начала ходить по деревне оспа и пристала к нашему Федюше — так его звали. Этого мало: у Дуняши самой не было еще оспы; и к ней пристала окаянная. Три дня сидел я в сенях, в отгородке, подле жены и подле сынишки, а на четвертый день — где был мой здоровый красивый Федя! Оспа искривила, изуродовала его, и бог взял его к себе, чтобы не оставался он калекой на сем свете и не указывали бы на него злые люди, приговаривая: «Видишь, каково отцовское-то проклятие!»

Тяжко было мне сколачивать гроб моему дитятке и на своих руках нести его в могилку. Закопал я его в общую нашу мать, сыру землю, горько заплакал, утер слезы и воротился. Зачем? Затем, чтобы видеть, как умирает Дуняша! На нее страшно было поглядеть; она была без памяти. В ту пору ехал через нашу деревню уездный лекарь. Выбежал я к нему, просил, молпл посмотреть жепу мою; он пришел, взглянул, махнул рукой и сказал:

— Э! Пиши пропало! Не вставать ей!

— Да уж хоть бы скорее бог прибрал — уши простонала, — примолвила мать моя.

Я пошел из избы точно ошалелый, и в первый раз пришло мне тогда в голову: «Пойду, напьюсь пьян, авось забуду горе!» Подле питейного дома нашел я большую толпу, и волостного старосту, и заседателя. Шумят, кричат. Я не вслушивался в их речи, велел дать себе полштофа сивухи, сел в стороне, начал пить — и хмель-то не берет! Погода стояла пасмурная, сырая. Я глядел на небо, и мне казалось, что и господь милосердный на меня гневается, посылая мрачное небо в день моего несчастья...

Тут начал я вслушиваться в спор и крик мирской сходки и услышал, что речь идет о рекрутской очереди с нашей деревни.

— Оканчивай скорее, разбойники! — кричал заседатель, стуча об стол, поставленный подле питейного дома. — Не то перекую полдюжины, половине деревни обрею бороды, всех повезу в город!

Брат Василий кричал пуще других, потому что на нашу семью выпадал рекрут, как понял я из всей этой сумятицы.

Надобно знать вашему благородию, что в то время рекрутская раскладка была темнее дремучего леса. Теперь совсем не то, а ведь это было давно. И сами подьячие не умели тогда хорошенько разбирать, потому что считали по пальцам да по биркам. Василий спорил, что староста налагает на нас; кончилось тем, чем оканчивались у нас все споры, — дракою. За Василья принялось много рук. В это время сидел я и думал: «Да не божий ли голос слышишь ты, Сидор? Ведь уж твоей жизни краше этого не бывать, какова она теперь? Дунише не вставать с смертного одра, а без нее что ты будешь? И где надежда, чтобы вам поправиться как-нибудь? Замени своей головой доброго человека — послужи матушке государыне», — тогда еще царствовала ее императорское величество государыня императрица Екатерина Алексеевна. — Если и неправо наклепывают на нас очередь — не сегодня, так завтра: ты избавишь от солдатства брата и племянников. А останешься ты в деревне — видимое дело, что сопьешься ты с круга и будешь позором целого мира...»

— Стой! — вскричал я, бросаясь в толпу и расталкивая мужиков, — стой! Бери меня, если целый мир говорит, что с нас очередь рекрутская!

Заседатель выпучил глаза, а мужики в один голос закричали:

— Вестимо, что за вами очередь — вот тебе бог порукой! Иди, Сидорка, коли некого нанять!

У Василья брызнули слезы из глаз; он обнял меня и завопил:

— Ох! Очередь-то за нами; да ведь я для того спорил, чтобы ты успел убежать да спрятаться, — а ты сам в руки отдаешься!

— Если мир православный не лжет, — промолвил я, — так прятаться нечего; видно, так богу угодно!

— Да с кем же я-то останусь: один я какой работник; мачеха стара, жена пьяница, дети малы — не растут, бесенята!

— Работник был бы я и без того плохой, — отвечал я, — прощай, брат! Похорони только Дуняшу мою, когда приберет ее бог, а обо мне не заботься!

— Ну, полно растабарывать! Тот, что ли, это мужик? Отвечай, да куй его! — вскричал заседатель.

— Не надобно, не убегу, — сказал я.

— Да, не убежишь! Знаем мы вашу братью, охотников! Теперь-то с пьяных глаз ты ладно говоришь, а как протрясет тебя дорогой, так и будешь, словно коза, вытараща глаза, в лес смотреть!

— Я не пьян.

— Да коли есть уж такая *поведенция*, чтобы рекрута ковать, так как же ты смеешь противиться приказанию начальства, негодяй?

— Ребята! — сказал я, подумавши. — Куйте меня хоть по рукам и по ногам, только дайте мне сходить проститься с женою.

— Позволяется! — вскричал заседатель и принялся за штоф, а я пошел домой, и за мной поплелась вся мирская громада.

Мать уже слышала о моем решении, выбежала ко мне навстречу, бросилась на шею, заревела:

— Ох ты, мое милое дитятко! На кого ты меня покидаешь; я не любишь ты родной матушки, коли сам идешь охотою в службу царскую!

— Не охотой иду, а потому, что очередь наша, матушка; и не брату же Василью идти, когда у него детей куча, а у меня бог прибрал последнего!

— Так за этих-то бесенят идешь ты, мое дитятко? Да подави их всех горой; да лопни они, собаки; да чтобы им и на том свете части не было! И какая наша очередь? Кто говорит?

— Я говорю, — отвечал староста, подпираясь обеими руками, — и мир говорит!

— А вот я тебе дам очередь, вор ты, пьяница, разбойник, копокрад! — Последнее взбесило старосту; но мать моя уже

вцепилась ему в бороду, крича: — Помогите, православные, управиться с вором, с разбойником!

Кто шумел, кто бранился, кто пел, кто смеялся в это время. Я выцпал кос-как старостину бороду из рук матери, уговаривал старуху. Она повалилась на землю, редела и причитала, а я пошел в хату. В сенях встретил я много баб и старух; они голосили нараспев, попивая сивуху; в углу старая ведьма кроила саван. Ничего не чувствовал я в это время, даже и не плакал, хоть и понимал, что это значит покойника. Теперь, даже теперь мне горше, когда вспоминаю об этом, а право, тогда легче было!

— Что, — спросил я, — что такое? Аль Дуняша отдала душу богу?

— Нет еще; да уж только что дышит, — отвечали мне.

Тихо подошел я к подмосткам, где лежала она навзничь, бледная, худая, изуродованная оспою, и едва дышала, без памяти и без словеси... И это была моя Дуняша, моя красивая здоровая лебедка, звездочка из двух деревень!

— Прощай до свиданья, — прошептал я, — прощай, моя душечка! Не видала ты со мной красных дней, да не видал их и я и не увижу... Ох! Куда-то приведет меня господь — когда-то и меня успокоит он, как тебя успокаивает.

Ничего не слыхала она, ничего не чувствовала.

— Готов! — отвечал я, слыша, что меня зовут с улицы; вошел в избу; помолился в землю перед иконою, поклонился еще раз Дуняше и опрометью бросился в телегу, крича: — Пошел, ступай!

Мужики заорали, зашумели; все было готово; явился и заседатель; мы пустились в путь. Брат Василий, и мать моя, и детишки Василья гнались за телегой, крича:

— Пстой, дитятко! Пстой, брат! Пстой, дядюшка! Простись еще раз с нами; прими еще благословение!

— Надобно остановиться, сковать его, — кричал заседатель.

— Там остановимся, у кабака; вы выпьете на дорогу, а меня скуют!

— Ну, так вези ж до ближней деревни, — кричал заседатель, — свяжи покамест кушаками!

Мы пустились за его повозкой; за нами староста и отдаточные выборные. Вся деревня столпилась на улице, и я увидел, что не совсем-то худую память по себе оставляю, хоть и жил горемыкой.

— Прощай, Сидорка! Прощай, брат! — кричали со всех сторон, становились на колеса телеги и обнимали, целовали меня, как будто все были закадычные друзья мои.

— Ребята! Не поминайте лихом! — говорил я.

Тут мать и брат догнали меня и повисли у меня на шее. Едва могли оттащить старуху, которая голосом вопила:

— Заройте меня скорее в мать сыру землю! Засыпьте мои ясные очи песком рассыпчатым! Ходите по моей могилке, топчите мое ретиво сердце!

Мы выехали из деревни, и — вскоре родина моя скрылась в вечернем тумане — и ничего у меня не осталось на белом свете, кроме горя моего, спутника моего неразлучного!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СОЛДАТ

Субординация, экзерциция, послушание, обучение, дисциплина, ордер воинский, чистота, здоровье, опрятность, бодрость, смелость, храбрость, победа, слава, слава, слава!

Суворов.

Если бы вы меня спросили, ваше благородие, каково мне было тогда и потом, когда привезли меня в город и когда совершилась моя судьбина, когда сделался я царским слугой вековечным, — ведь я не сказал бы вам, что мне слишком было тошно. Нет! Прежде, когда слышал я отцовское проклятие, произнесенное над Дуняшею, когда беспринято брел я с нею домой от дяди, когда потерял своего сынишку — тогда — ох! тогда куда как плохо мне приходилось! И оттого, полагаю, было мне очень плохо, что я еще худо свыкся тогда с горем: оно приходило гостить ко мне, как наш брат, солдат, приходит на временный постой и — ничего не бережет у обывателя; легче, когда он поселится на постоянной квартире; тогда и он к другим и другие к нему как-то привыкнут. Ведь ко всему привыкнуть можно, правое слово ко всему. И много значит, когда уж нельзя воротиться назад. Горе сделалось у меня жильцом бесповоротным, и — все мне было равно после этого, меньше ли, больше ли оно.

Я воображал себе: как тяжело было бы мне переносить все, что со мной сделалось, если бы надобно было мне хоть что-нибудь оставлять на белом свете и жалеть хоть о чем-нибудь, так, как другим моим товарищам! Нас было свезено в город много; несколько дней продолжался прием, и каждый день приводили нас к Казенной палате, где мы лежали на солнышке,

пока по очереди водили нас в приемную. Вокруг нас собиралась толпа народа. Чего смотрел этот народ? Бог их ведает! В чужестранных землях видал я после того, что народ сбегается глядеть, как казнят вора либо разбойника. Этакое страшное зрелище, — думал я, — не приведи господи видеть! И не понимал я, какую утеху в этом находят другие? Пусть бы хоть казнили, учились страху божию в этой страшной расплате за преступление; а то случалось мне замечать, что вора вешают, а другие тут же в пароде из карманов кошельки таскают...

Так и вокруг нас собирался народ, не знаю, право, зачем, а только ни на одном лице не видал я никакого чувства сострадания и милосердия, ни одна слезинка не падала ни из чьего глаза на нашу горькую участь. Смотрели на нас эти народы, да и только тебе, как будто смотрят на *куръез*. Не диво, что мы сами скоро пригляделись, как вдруг бледнел товарищ, когда его выкликали по имени; как матери, сестры, отцы и братья становились на колени, пока вели его в палату, и молились господу, чтобы он помиловал их; как старуха мать падала потом без памяти, когда раздавалось в палате: «Лоб!» и это страшное слово переходило из уст в уста по лестнице и передавалось в народ; и как потом начинался вой и плач, когда нового рекрута выводили с забритым лбом, накинув на него солдатскую шинель; и дюжина рук хваталась за него, как за мертвого, и дюжина голосов высчитывала свои прошлые радости и свое прежнее счастье...

Да, если бы люди понимали все, что перенес солдат с тех пор, как жребий выпал ему служить отечеству, до тех пор, когда царь-государь его пожалует, скажет ему *спасибо* за его верную службу и выпустит его на покой, так на руках бы носили они каждого служивого. Диво ли, что и наш брат, солдат, иногда вымещает на православных свою невзгоду, когда видит он, как равнодушно православные смотрят на слезы его матери, как не скажут ему слова ласкового, когда он для чести и добра их отрекается от всего света белого? Чье солдатское сердце не растаяло бы, как снег весной, когда ему сказал бы хоть *один* добрый человек: «Брат, приятель! Не кручинься: таков, видно, твой жребий, чтобы послужить отечеству за церковь божию, за батюшку государя, за свою братию христиан! Не кручинься, что тебе пришлось отстаивать грудью землю русскую! Царь тебя будет миловать и миловать. Воротишься ты потом на свою сторону, так мы успокоим твою старость, и найдешь ты, что жена твоя тебя дожидается, дети малые твои подросли на твое утешенье, а земляки твои тебя чествуют и заслушиваются твоих рассказов о том, где бывал ты, что видал ты, как бил ты врагов поганых сильного царства

русского»... Слышит ли когда-нибудь солдат подобное слово? А еще жалуются, что *иногда*, с сердцов, солдаты расплачиваются по-своему... Рассудите-ка поближе...

Ну, да толковать много не стану, ваше благородие, как закричали и в мой черед: «Лоб!» и забрили мне лоб и дали мне шинель солдатскую — носи, не изнашивай, летом не зябни, зимой не потей...

Тяжело мне стало, когда одним словом навсегда зарешилась участь моя и земляки мои раскланялись со мной, обнялись в последний раз, понесли челобитье брату, поклон матери и могилам сына да жены; когда остался я один-одинехонек, без родных, без приятелей, без приветов людского, так что если бы я умер на другой день, так, кроме церкви божией, меня и помянуть было бы некому: она всем мать!

Грустно мне было потом, когда я вошел в солдатскую казарму и видел тысячу человек и ни одного знакомого лица.

Тяжко, грустно, но не плакал я. И когда потом вытянули меня, как тростинку, заставили поднять ногу прямо, глаза откинуть направо на сердитого капрала с усами и с фухтелем, — я переродился, казалось мне. Вся прошедшая жизнь вылетела из меня при команде: «*Слушай!*», вылетело и всякое помышление о будущем. Новое житье-бытье началось у меня, не крестьянское, а солдатское. Я дивился даже теперь тому: как и о чем люди плачут, когда видел, что рекруты, провожая матерей и отцов своих, плакали? Но и для меня слезы еще не пересохли в то время...

Месяца три продержали нас, добрых молодцов, в одном месте и потом отправили нашу партию в дальний город. Когда выступили мы да грянули песню, горе сваливалось с души, будто скорлупа с яйца. Э! Была не была! Начали мы знакомиться друг с другом, дружитья да ладить, пересказывать да пошмеиваться.

— Ты откуда?

— Оттуда-то.

— Что, у тебя остались мать, жена?

— Никого, брат, не осталось. Весь тут, как видишь; младший брат; хотел было жениться; да жеребий благословил в царскую службу по очереди.

— А у меня и жена и трое деточек дома; да жене воля на все четыре стороны: жили мы как кошка с собакой; а деточки и без меня вырастут у старика дедушки.

— А меня, братцы, заело зеленое вино да гульба молодецкая! Государю люди надобны; заменил собой доброго человека; пошел охотой; деньги взял, и те прогулял разом; у солдата хлеб даровой, одежда не купленная, хаты не нанимай! Все трын-трава!

И громкая песня, которой выучили нас старые служивые, грянула:

Как под дождичком трава,
Так солдатска голова —
Весело служит, не вянет,
Службу царску бойко тпнет!

Мы перешли два перехода, и вот однажды привалили мы к берегу. «Давай перевоза!» По реке с другой стороны плывут к нам два парома, и на них возы и обозы, всякий народ и скот. Мы разлеглись на берегу, ждем, отдыхаем. Смотрю издали: что это мне кажется? Ну, точно моя Дуняша: ее рост, ее лицо, ее одежда; перекрестился, отворотился — опять гляжу. Так у меня на сердце и зашевелилось. Да разве мертвые воскресают и в наше время? Эх! Не напоминай старого, чего не воротить! Паром ближе — что ты будешь делать! Ну, точно Дуняша! Да, уж это она — ретивое меня не обманет; я ее узнаю и в царстве небесном между тысячами тысяч! Поднялся, бегу к берегу, смотрю: и она меня заметила и узнала, протянула руки... Река глубокая текла между нами — сам я не чувствовал, как вошел в воду по колени, по пояс, чуть не по горло. Дуняша кричала, рвалась; ее насильно удерживали, пока мои товарищи кричали мне с берега, что я утону, а капрал, испугавшись, думал, что я с ума сошел, хочу с горя топиться, и — размахивая руками, бегал он по берегу, будто курица с утятами... Но я не утонул, достал паром рукой, вскочил туда — да, это была Дуняша; она так крепко обняла меня, хоть я был мокрехонек... и плакала и смеялась...

Тут паром привалил к берегу. Капрал схватил меня за ворот и сердито закричал:

— Как смел ты, бездельник, беспокоить твоего начальника, причинять ему огорчение? Ведь я думал, что ты в реку бросился, хочешь утопиться!

— Виноват, ваше почтение! Жена.

— Какая у солдата жена, кроме ружья! Мочить в воде, портить казенную амуницию... Вот я тебя научу к жене бросаться...

— Что делать, ваше почтение! Без вины виноват. Она у меня такая красавица, так любили мы друг друга...

— Красавица! — Капрал взглянул на Дуняшу и расхохотался.

Она стояла подле меня, испугавшись, дрожа. Я взглянул на нее и сам немного опешил: вместо прежней моей дородницы я увидел худую рябую бледную бабу. Так перевернула ее оспа, что Дуняша сделалась дурна, и стара, и подслеповата, и, едва оправясь от болезни, была она еле в чем душа дер-

жится; и она же верст пятьдесят прошла пешком, только бы со мной повидаться...

— Ну, для ради такой красавицы избавляешься от фухтеля! — сказал капрал, засмеялся и отошел в сторону, а я стал вглядываться в Дуняшу, вгляделся и увидел, что она все прежняя Дуняша: те же глаза, тот же голос; ряба немножко, бледна немножко, да зато как же она меня любит, — и я обнял ее, как прежде обнимал. И как вспомнил я тогда все минувшее, подумал, как она меня любит, подумал, что из могилы пришла она — проститься со мною... так слезы у меня и полились из обоих глаз, и такие едучие, что твоя сера горючая! Извольте видеть, они, видно, были застарелые, потому что я не плакал с самого отъезда из дому.

— Так ты не разлюбил меня, голубчик мой, светик мой, за то, что я стала нехороша?

— Тебя разлюблю я, моя душенька? Да разве красоту твою любил я? Да ты и теперь мне кажешься красавицей!

И право, не лгал я: она мне казалась такой красавицей, бог весть отчего, право не лгу, хоть другие и говорили, что она ряба и некрасива...

— Как же ты оставил меня! Зачем ты закабалил себя в рекруты!

— Очередь пришла послужить царю-государю, Дуняша. Видно, так богу было угодно. Не бойся — увидимся весело! Ворочусь капралом, подожди.

— А сколько ждать? Нет! Сердце вешует, что в последний раз я тебя вижу! Прости, мое ненаглядное сокровище! Видно, господу угодно было, чтобы допустить меня еще раз с тобой проститься. А для меня уж и саван сшили и гроб сколотили. Не знаю, дотащусь ли домой! Ну, да все равно: прилягу где-нибудь на дороге, и прими меня, господи! Зачем ворочусь я домой, когда нет тебя со мною? Теперь тебя и золотой казною не выкупишь из царской службы, а дожидаться, пока ты сам вернешься... много воды утечет... И слез-то мне бог не дает — нечем мне моего горя смочить...

Так посидели мы, поговорили, поплакали. Капрал позволил Дуняше идти со мною до первого города, где положена была остановка. И тут в последний раз стало мне опять радостно, опять весело.

Но если радость является не так, как добрый жилец, а временной гостьей, лучше бы она совсем не приходила! И добрый булат, когда его то в огне покалишь, то в холодную воду сунуть, то опять в огонь, то еще в воду, — теряет свою крепость, а человек тоже: обтерпевшись в горе, он свыкается с ним, и уж ничего нет хуже этих заплаток радости на ветхом

рубище печали и горести... Да, видите, не по нашему замышлению дело делается...

Мы пошли с ночлега, и Дуняша пошла со мною; успевала, бедняжка, за нашей солдатскою ходьбою, хоть несла мешок с дорожным запасом. Но ее сил не стало далее; полумертвая упала она, когда мы остановились. Я испугался.

— Не бойся, дружочек мой, — говорила она, — ничего — ведь это с радости. Вы здесь останетесь дня на три — успею отдохнуть — ничего!

— Мне нечем и попотчевать тебя, душа моя. Право, копейки за душою нет!

— У меня есть. Возьми, вот тут в мешке два рубля медью; я заложила свой сарафан праздничный, — ведь тебе в дорогу годится, а мне на что?

Дуняша рассказала мне, что она как будто сквозь сон слышала мой голос, когда я с нею прощался; и когда после того не стало меня слышно, а все завопили и заголосили обо мне, ее как будто кто приподнял да встряхнул; она опомнилась и спросила: где я? Рассказали ей правду без утайки — и к чему скрываться было? Ведь уж рано или поздно узнает — шила в мешке не утаишь; что сделалось, того не воротишь. Но она долго слушала ничего не понимая и потом об одном только стала думать: «Допусти, господи, еще раз повидаться с ним до моей смерти!» На третий день начала она вставать, но долго еще не могла ходить. Тесть мой приказывал ей не пускаться в дорогу. «Дальние проводины, лишние слезы!» — говорил он. Но Дуняша узнала, что нас погонят по дороге верстах в пятидесяти, и тихонько ушла, никому не сказавшись.

На третий день объявили нам дальний поход; сдали нас партионному офицеру. Дуняше нельзя было идти с нами, да и сил ее не достало бы — да и куда же идти...

Тут — грешный человек! — раскаялся я, что так скоро решил свою участь, особливо когда рассудил да раздумал, что Дуняша не переживет разлуки со мною. Темнее осенней ночи показалась мне будущая судьба моя. Я подумал даже — страшно сказать! — не убежать ли мне? Но потом начал я молить бога отогнать от меня злые помышления. И куда убежал бы я? Разве в воду? И что же потом? Посрамление и гибель временная и мука вечная! «Нет, Сидор! — думал я, — за богом молитва, а за царем служба не пропадают! Чему быть, тому не миновать!»

Не знаю: счастьем или несчастьем назвать то время, когда я прощался с Дуняшей. Конечно, это прощанье значило все равно, что разбередить рану, которая было задохлась, онемела и замерла; но опять и то, что мне как-то отраднее стало, когда подумал я, что мог еще раз проститься с Дуняшей; что она

жива еще, а пока она жива, так есть еще кому на свете помнить обо мне, и богу помолиться, и душу помянуть. А уж это верно, что на том свете душе человеческой легче, когда ее поминает здесь родная душа и к богу молитву об ней посылает, вынужденную слезами сердечными, как жемчугом крупным, перекатным.

Ну, а Дуняша моя почти радовалась, прощаясь со мною. В деревне нашей наговорили ей, будто староста и заседатель несправедно отдали меня в солдатство; что если похлопотать да потратить, так меня воротят, где бы я ни был. И еще более: если бы мог я поставить за себя рекрута, так и по очереди отданного все еще меня воротят. Дура Дуняша всему этому верила и не могла нарадоваться, только о том и говорила, хотела просить отца своего, хотела продать все, что у нее было, итти в работу сама. «Лишь бы знать-то мне, где ты будешь; пиши ко мне, мой дружок, почаще, а уж я либо добьюсь того, что тебя воротят, сама пойду в губернию, стану просить самого губернатора, либо — не переживу»...

Она сдержала свое последнее слово... Я не хотел печалить ее, не спорил; но когда пришлось мне обнять ее в последний раз — было это на большой дороге — наш отряд вышел за город и дожидался офицера своего — случился праздник какой-то большой — и много карет и дрожек ехало мимо нас на гулянье за город, и пешеходы шли туда, и все были так разряжены, так веселы — и всякий ехал с своею женою, с своими детьми — и разносчики толпой бежали за гуляющими... Обнявши свою Дуняшу, чувствуя, что это в *последний* раз, — ох! как невыносимо было, ваше благородие, тяжко песказанно, так, что я, грешный человек, готов был возроптать тогда на милосердного господя...

«Одна малая частица того, что стоят эти кареты и коляски, — думал я, — выкупила бы меня, сделала богатым и счастливым, соединила меня с Дуняшею». И я готов был упасть на колени перед этими богачами, которые, смеясь и радуясь, такие здоровые, такие веселые, ехали мимо и не думали даже и поглядеть на нас, — я готов был вымалывать у них у каждого хоть по немногу их счастья... Но — ударили, забили в барабан, и мы отправились в поход; мне нельзя было и оглянуться, посмотреть: стоит ли еще Дуняша и смотрит ли на меня...

Два, три перехода, даже до самого прихода в полк, чуть было не наложил я на себя руки, и не один раз, вертя в руках ружье мое, думал я: «Только пошевелить курок, и — поминай, как звали!» Мне казалось иногда ночью, что лукавый стоит подле меня и шепчет мне это в уши; но я вставал, крестился, и демонское обаяние проходило от креста и молитвы. Я оглядывался вокруг себя, видел своих товарищей, видел, что я не

один... Не диво, коли солдаты крепко стоят друг за друга: их связывает одинакая участь; их дружит общая судьбина, общая дума, что нет у них ни отцов, ни матерей, ни роду, ни племени, ни впереди надежды, ни назади памяти — приютиться негде, завидовать некому, думать не о чем, лег — свернулся, встал — встряхнулся — весь тут! Солдат, божий человек, один, как солнышко на небе у царя небесного...

Я писал к Дуняше; ответа не было; посылал и со вложением письма — не было вести с родины. Потом перестал я писать; прошел год, прошло два, прошло три — перестал и думать. И когда об этаких вещах думать солдату! Ученье, смотр, переход, дневка, остановка; маршируй с одного края матушки-России в другой; неси, нянчай неизменного товарища, ружье солдатское; стой на карауле; потом чистись да ладься на ученье... Говорят, будто есть у богачей какая-то особая болезнь — *скука*. Под солдатскую бы я суму всякого, кто хандрит да с жиру бесится, — поверьте, что все забудет и развеселится и выздоровеет. Оно не то, изволите видеть, что *развселится*, а рад будет покою, как нежданному доброму гостю, рад будет отдыху, как сестре родимой. Как бы рассказать вам о солдатском житье-бытье? Жаль, что не умею, а не можете ли вы представить себе, ваше благородие, что солдат человек, у которого душа перешла в ружье, а сердце бьется в патроне. Оттого штык ему брат родимый и не выдает солдата — послушней жены любимой, вернее брата крестового; а пуля слуга его самая верная: куда пошлют ее — слушается, летит прямехонько и скорехонько, скорее мысли человеческой...

Несколько лет не получал я писем от Дуняши; не знал ничего, что делается на родине; жил с ружьем, на ружье и ружьем, не видя ничего, кроме казарм да ученья, смотра да командира; и от всего этого стал я совсем другой человек: походил на такого человека, у которого переменили руки, ноги и голову и приставили ему другие ноги, железные, другие руки, медные, другую голову, с мозгом, вместо прежней, мужичьей, без мозгу. Не хвастая скажу, что сделался я лихой солдат, так что меня ставили в пример товарищам; командиры меня любили; товарищи слушались; палка реже других гуляла по моей спине. Без палки нельзя, ваше благородие, истинно нельзя, так, как, не побивши жены, чем докажешь, что любишь ее в самом деле — ну, то есть очень любишь?

Когда, изволите видеть, приставили мне другую голову, как я докладывал вам, увидел я, что был я мужиком большая дурачина и что наука посягает уму и разуму. Вот и принялся я учиться и скоро выучился грамоте, так что

никто лучше моего не умел написать рапортчики, и меня произвели в унтер-офицеры.

Но кто век свой провел в казарме да на ученьи, тот еще *плохой солдат, в половину солдат, в четверть солдат*, как говорил наш отец Суворов. Нет! Для полного солдата надобно побывать в походе, помыкаться на чужой стороне, окуриться порохом, поджариться на огне. Слыша рассказы старых товарищей, куда как мне хотелось поработать штыком, повидать чужой стороны, отведать духа басурманского, чем пахнет штык, когда свалишь им полдюжины. Особливо был у нас в полку один старый служивый, лихой фельдфебель, еще с Румянцевым под Кагулом бывал и с Суворовым на Измаил шел. Вот как, бывало, начнет Зарубаев рассказывать, так у нас слюнки текут. Рассказал бы я вам, да где — только испортишь рассказ Зарубаева! Ведь дело мастера боится.

— А что, Зарубаев, — иногда спрашивали мы его, — как ты думаешь: скоро ли опять начнется война? Скоро ли опять выпустят царскую армию на неприятеля?

— А бог весть! — говаривал он. — При нашей матушке государыне мы почти беспрестанно дрались, да тогда были на то *резоны*. Видите: с одной стороны были тогда татары, с другой турки, с третьей персияне, с четвертой шведы, с пятой поляки, с шестой прусаки, с седьмой китайцы. Государыня и подумала: «Ну, хорошо, пока еще они боятся да пока мы готовы, стоим с ружьем в руках. Да ведь на всякого мудреца бывает довольно простоты. Задумаешь отдохнуть, положишь ружье, вздремнешь, а они как все вдруг нагрянут, так вот тебе и раз; рук-то у меня всего двое!» Она и начала, знаете, исподтиха, приосанилась, приоправилась и гворит прежде всего турецкому султану: «Послушай, султан: не вели ты татарам крымским шалить!» А татары-то, знаете, жили тогда в Крыму, туда на полдень от Курска, и к ним по степи нельзя было пройти; а они то и дело на лошадях переедут через степь, да и давай грабить, жечь, рубить; ни церкви божией не оставят, ни младенца не пощадят, за ноги да об угол. А как соберутся мстить им за кровь неповинную христианскую да за церкви божии, так они гикнут, да только их и видели, улетят на своих лошадях, и следа по ковылю да по степи не сыщешь. Ну, а султан их похваливает да девок себе берет, которых татары увезут из России, — ведь он Махметовой веры, и у них вина не пьют, а жен хоть сотню держи. Этакие болваны: не знают вкуса в вине, не знают и того, что и с одной женой горе берет, а с сотней так просто со света беги! Оттого у них такой содом бывает между женами, что султан сам не рад, и дела ему делать некогда, и на войну он не ездит — все сидит у себя да женские сплетни и ссоры разбирает. Вот султан отвечает: «Нет, Кате-

рина Алексеевна, я татар не уйму, саламалык (по-турецки, то есть, не хочю)!» А государыня говорит: «Уйми», а он говорит: «Нет, не уйму!» — «Так постоянной же, — сказала государыня, — вот я тебя проучу, копченая ты борода, Саламалык Махметович! Ведь у тебя и Царьград-то твой чужой; ты ведь его у греков взял, когда православного царя Константина убил. Отдай ты мне Крым, Очаков, Измаил, Бендеры, Кафу — и...» — начали ему сотни две городов. «Да, как бы, дескать, не так, то есть тово воно, как оно, изволишь видеть!» — отвечал султан. Но не успел он трубки докурить, не успел оглянуться, ан уж наши генералы, Румянцев, Потемкин, Панин, и пошли, да и пошли! Да ведь как пошли: султан собрал было тьму тьмущую басурманов, а они как начали да начали — куда тебе! Только иверни полетели! А особливо отец наш, граф Александр Васильевич Рымникский, так он с ними просто шутил. Под Кинбурхом было у него тысячи две солдатишек, и то уж так, кое-чего; а турков пришло сто кораблей, полнехоньки народу, и вышли они на берег. Ему и говорят: «Ваше превосходительство! Турки пришли», а он говорит: «Хорошо!» — и сам будто спит. Опять говорят: «Ваше превосходительство! Турки уж батарею построили». А он говорит: «Хорошо!» — и только себе. Ну, уж еще пришли, говорят: «Вставайте, ваше превосходительство! Все турки вышли на берег и корабли назад поотпущали; хотят с чесноком нас съесть!» Как он вскочит — ажно он и не спал — да как запоеет петухом — турки так и дрогнули — и пошла писать! Да ведь так расчесал, что они сдуру-то в море бросались, хотели до Царьграда вброд перейти, и достались на закуску морским рыбам! А что было еще под Измаилом, так и рассказывать страшно! А под Очаковым, в самый николин день? Сам я там не был, а слышал, что там ядра в пушках замерзали, огонь застывал, снегом стреляли, из льду лестницы на стены делали. Вот услышал шведский король и говорит: «Матушка государыня! Не тронь моего друга, султана турецкого, а не то отдай мне три города!» Знаете песню:

Пишет, пишет король шведский
К государыне в Москву:
«Ты, великая государыня,
Отдай три города мои —
Первый Ригу, второй Ревель,
Третий славный Петербург;
А не отдашь ты их мне,
Походом пойду;
Развоюю твою Россию,
Тебя самое в полон полоню!

«Вы думаете, государыня его и послушалась? Да, держи карман! И король шведский разъярился, пришел к самому

Петербургу и открыл баталию на море, так что в Петербурге окна дрожали. Адмирал Чичагов — дай бог ему царство небесное! — так отделал его, что и самого адмирала шведского взяли. А между тем через моря далекие, через аглицкую землю, через Средиземное и через Белое море в грецкую землю пришел наш адмирал Алексей Григорьевич Орлов — этакий молодчина, чуть не в сажень — и хотел взять самый Царьград. И как начал палить, так султан уж не шутя испугался, выслал своих корабельщиков, говорит: «Идите вы, мои верные корабельщики, возьмите этого Орлова живьем, а не то я вам всем головы поотрублю!» Корабельщики поклонились султану и пошли. Но как увидели русские корабли — душа в пятки ушла, — они и давай бежать. А русский адмирал с ними шутить не захотел, загнал их в какую-то гавань и послал одного хитреца, а того угораздило — зажечь море; все турки так живьем и сгорели! И такая была возня, что от Царяграда до земного пупа да до Ерусалима земля тряслась, а в итальянскую землю от кораблей огарки летели. Тут султан взметался, и жены все к нему приступили; говорят: «Мы тебя башмаками откозыряем, если ты не помиришься с русскими!» Он еще было послал к персидскому шаху, да к польскому королю, да к китайскому булдыхану просить помощи. Китайцы, знаете, тоже басурманы, живут за Сибирью, к Индейскому морю — народ узкоглазый, делают чай, вот что бары наши пьют по утрам; а впрочем, не воинский народ, и домы-то у них бумажные, а пушки стеклянные, ружья глиняные. Булдыхан и говорит султану: «Рад бы я тебе, приятель дорогой, помогать, да видишь: мне далеко, и у меня русские купцы чаю покупать не станут». А шах говорит: «Пожалуй, помогу!» И послал он войско в Грузию, что между Синим да Черным да Хвалынским морем, где стоит город *Железные ворота*; еще, говорят, Александр Македонский его строил — была стена от моря до моря, да теперь развалилась. Государыня послала туда графа Зубова, и он так пугнул персиян, что они убежали за Араратские горы, на которых Ноев ковчег остановился, такие, слышь ты, горы, что как взглянешь на вершину, шапка свалится, и там на верхушке никогда снег не тает. Вот и остались у султана только поляки — народ задорный, ну-таки и храбрый — в старые годы, при царях, и Москву было завоевал, да русский мясник один собрал мужичков и дубьем прогнал их. Поляки и зашевелились. *«О вшистки дьяблы! Ратоваць за мостана султана!»* (Зарубаев был мастер говорить на всех языках.) Государыня и думает: «Хорошо — поколотили мы турков, татар, шведов, персиян; но что другие подумают? Ведь этак, дескать, кой чорт — русские бьют, бьют, да и до нас добьются? А народу еще много басурманского: агличане, француз, немцы, итальянец, и бог

ведает — как песка морского, у бога народов бесчисленно. Хоть и храбры мои русские, да ведь против целой земли господней не станешь». Она и послала к цесарцу да к пруссаку. А тогда в Пруссии был король Федор Федорович, невелик ростом, головка небольшая, глаза ястребиные, коса в аршин, да умен и такой храбрый, что семь лет дрался со всеми соседями, и уж кое-как русские же пособили — всех было завоевал! И говорит ему государыня: «Любезный брат, король прусский! Пойдем, уйдем поляков; возьмем их царство и разделим». Тот и рад. Государыня послала Суворова — вот тогда-то было взятие Праги, о чем я вам прежде рассказывал. И Польши не стало; и государыня взяла себе сорок городов с пригородками, двадцать четыре дала прусскому, а четырнадцать цесарскому императору. Тогда видит султан, что худо, взмолился уж не Махмету, а русской императрице, давай кланяться, просить мира; и с ним помирились, хорошо помирились, так, что если бы еще раза два этап помириться, то султанское величество маршируй через море в эфиопскую землю, а нам подавай все, чем прежде владели греки. Да ведь оно и праведно: греки нам отдали и свою веру православную; и последняя греческая царевна вышла за нашего царя Ивана; и на гробе царя Константина, который с матерью Еленю нашел крест животворящий, — вот, что праздник воздвиженья, — написано мудрыми людьми, что некогда русские завладеют Царьградом; и в Царьграде есть ворота в стене, закладенные турками, сквозь которые русские пройдут в Царьград. Эти ворота заколдованы были одним немцем; да что устоит против силы честнаго и животворящего креста господня? Перекрестись да штыком! Посмотрим, устоит ли!»

Так или похоже на это рассказывал нам Зарубаев, и мы, бывало, сидим вокруг него и целые ночи прослушиваем, как он рассказывает. Этаким был солдат, чудо, с каменною грудью, с золотым языком — златоуст, да и только! И обо всем был мастер говорить. Некоторые из нас, новичков, станут, бывало, спрашивать его:

— Как же, Зарубаев, не бояться смерти? И хорошо бы оно, пошел да подрался, но ведь пуля-то не свой брат; а как ногу либо руку оторвут — больно; да и страшно смотреть, когда крошат человека, будто битое мясо готовят, а кровь черпают, будто за здоровье выпить хотят?

— Ох! Вы трусы, дряни! — говорил он. — Да не все ли равно: когда-нибудь умирать надобно? Не лучше ли умереть вдруг, без боли и болезни, нежели изнывать да кряхтеть и чихнуть полгода? Да знаете ли, что на ядре, которым унесет вас из здешнего мира, вы перелетите прямо в царство небесное? Ведь церковь святая говорит: *«Больше сея любви нет, елисе душу*

свою положить за ближнего», и она во веки веков поет большую панихиду за всех православных воинов, на брани за веру и отечество убиенных. А слава-то какая, а честь-то какая? Командир скажет: «Ай да молодец был!» А государь скажет: «Этаких молодцов у меня осталось немного!» Так дождется ли такого слова какой-нибудь гарнизонная крыса, если и сбережет свою дурную башку до отставки, сидя на печи в казарме? Страшно! Вишь что выдумали! Оно, коли хотите, и страшно сначала, а там, как заговорят пушки да затрезвонят барабаны, — так и страх будто с гуся вода, — так и лезешь вперед, так руки и чешутся на басурмана...

Но ни об чем не говаривал Зарубаев столь хорошо, как о графе Суворове, с которым служил долго, которого видел в Польше и в Туретчине... Но полно пересказывать вашему благородию чужие рассказы; лучше скажу о том, что сам я видал. Вот изволите видеть, прошу о внимании: однажды сию я в канцелярии; слышу такой шум, крик; бегу, смотрю: толпой все высыпали из казармы; офицеры обнимаются, солдаты в кружке около Зарубаева.

— Что такое сделалось?

— Ура! — кричит он. — Радуйся, Сидор! Давно хотел ты понюхать из пушечной табакерки солдатского табаку да померяться лбом с ядром, кто крепче, — радуйся! Мы идем в поход!

Тут узнали мы, что приехал курьер, и через три дня мы выступаем, и что батюшка наш граф Александр Васильевич нами начальствует. Вечером Зарубаев уже все узнал и рассказал нам, что мы не за себя будем драться, а за цесарского императора, и с таким народом, с которым еще не дирались — с французом! Не умел он растолковать, за что дело стало, а только слышал, что французы, невесть с чего, вдруг разъярились, начали всех колотить, и пруссаков, и агличан, и цесарцев, так что не взмилелся никому белый свет. И цесарский император взмолился нашему императору: «Ой, батюшка, отец родной, Павел Петрович, государь всероссийский! Смилуйся! Еще-таки управлялся я с французом, пока не было у него генерала Бонапартё, а этот меня совсем загонял. А теперь Бонапартё уехал за море бить эфиопов; а у тебя есть старик Суворов; пришли его, ради Христа!» Император и позвал тотчас Суворова и сказал: «Ну, Александр Васильич! Виноватого бог простит. Поди, спасай царей! Вот тебе моя армия. Надеешься ли?» — «Попытаюсь, — отвечал старик, — да с таким царем, как ты, почто не спасти!» Вот Суворов поклонился, велел заложить кибитку и поехал и нам велел итти на французоз за цесарскую страну в итальянскую землю.

Не стану вам рассказывать, ваше благородие, как мы радовались, как мы пошли, шли, шли, всю цесарскую землю пере-

шли. Нагляделся я чудес и диковинок. Города каменные, домою по семи один на другой настроены, улицы узкие, сивухи русской и в помине нет, все виноградное вино да пиво; дороги, как улицы, мощеные — и грязи-то бог им не дает. Ну, а народ добрый, простой — только захоти, так и обманешь; и все бормочут по-своему — чудный такой язык! Хорошо еще, что Зарубаев нас подучил их языку, и мы так, бывало, и режем. Скажешь: *«тринкать»* и укажешь на рот — и несут тебе вина; выпьешь, скажешь: *«гут!»*, а немец и рад, и смеется, и начнет тебе лепетать; а ты только подговариваешь ему: *«гут я — то есть: «хорош я»*; да уж если надоест очень, так и промолвишь: *«Ты, немец, гут, а я, русак, гутее, а Суворов еще гутее»*. Тогда, бывало, немец снимет шляпу и поклонится: *«О, Субаров»*. Но итальянская земля, ваше благородие, еще мудренее: у них вместо нашей березы и сосны — лимоны да померанцы; и зимы нет — такая земля, что не благословил ее бог снегом, и прокатиться на санях некогда и негде — и все такая теплынь, что потеешь, потеешь, бывало, да и тыфу ты, пропасть какая! Девки у них хороши, только все басурманки, поклоняются римскому папе и против русских дородностью не будут.

Вот мы ждем не дождемся, когда встретимся с французами; и потрушивали мы немного, хоть надеялись на бога и на Суворова. «Не знаю, ребята, — говорил нам Зарубаев, когда мы у него спрашивали, — нечего на душу греха брать, не знаю, что за народ, не случалось драться. А уж что они хуже русских, за то голову прозакладую, хоть они матушку-репку пой!» Кручинило нас и то, что мы еще не видали нашего Суворова.

Будто теперь смотрю — было в апреле месяце, через три дня после Егорья, почью подняли нас с лагеря. Был тогда у нас генерал Петр Иванович Багратион; выстроил нас в ряды; сам выехал перед фронт — нос такой большой, голос резкий, мужественный; начал говорить; мы закричали: «Рады стараться!» Сам он кликнул охотников, и пошли мы все. Ночь хоть глаз выколи; подошли к реке... Как бишь она?.. *Адд, Едд*, забыл... Залегли мы все на берегу, и начали наши инженеры мост мостить. Французы и не заметили этого, а мы к свету как грянем по мосту да на них... То-то пошла потеха! Кто бежит, кто дерется, кто кричит: «Пардон!» Тут и страх пропал. «Эхе! — говорил Зарубаев, смотря на пленных, — да этот народ хуже турка, а еще туда же, лезет драться с русскими!»

Но это было только цветочки. Скоро узнали мы, что французы лихой народ. Было это в мае месяце, жара такая, а вместо отдыха мы ходили взад да вперед, по-немецки, потому что немцы до тех пор не бьются, пока не выберут места, откуда

можно отступить, если сила не возьмет, — уж такая у них повадка. Старику Суворову не нравилось это, но что делать! Назвался груздем, так полезай в кузов. Наконец выбралась душа на свободу: слышат немцы, что отовсюду идет француз, испугались, а Суворов и начал по-русски — повел нас прямо. Тут в первый раз я видел Суворова.

Все мы стояли в строю, и я глаза проглядел — так хотелось видеть этого отца солдатского, и я представлял его себе еще выше нашего Багратионова. Вот и слышу, ревет: «Ура!» И мы крикнули, и едет... Ах ты, господи боже! Из див диво: стариченцо, худенький, седенький, маленький, в синей шинели, без кавалерий, на казацкой лошади; поворачивается в седле направо, налево, а за ним генеральства гибель. Но как он подъехал, как заговорил, так я и узнал: отчего солдаты его любят? Все поняли мы, о чем говорил он, и так сладко и так умильно говорил он, что когда он снял шляпу, начал молиться Николаю чудотворцу, мы готовы были и плакать и смеяться — подавай по десяти на одного! Уж не по приказу, а от души кричали мы: «Ура!»

На другой день рано утром вывели нас, молодцов, поставили. Солнышко только что всходило. Посмотрю кругом — туман, полки, артиллерия. «Где ж неприятель?» — думал я и узнал, что дело не то, как ночью мы перешли по мосту. Сперва началась жарня на левой стороне, словно гром, так и перекачивается. И вот вспыхнула деревенька направо, там налево; туман пронесло — пожар разгорался, пальба кренчала. Тут я, правду сказать, почуял пушечную лихорадку, стою и дрожу. Особенно когда вдалеке пошли в атаку и нам видно было, как один из русских полков бежит, за ним гонятся французские уланы и гусары, а другого и не видно стало вдалеке — он, как печь, горел в дыму, в полыме от беглого огня. Тут поволокли мимо нас раненых, изувеченных — они стонут, воют; иной ползет и просит: «Приколите, ребята!» Наконец дошла очередь и до нас; в первый раз услышал я, как запели ядра над нашими головами, и нас стало вырывать целыми десятками. Мы дрогнули, особенно наша братия, небывальщина, — боязно, хочется посторониться от неожиданного гостя — да иной наклонится, а его и следу нет — кровь, мозг брызгали со всех сторон! А между тем нам кричат одно: «Держи строй! Смыкайся!» Зарубаев стоял подле меня; пальба ревела так, что уж ничего не было ни слышно, ни видно, — только будто из темной тучи впереди сверкал огонь, а грому от пушек потому не было слышно, что кругом все скаталось в гром — земля дрожала — свету преставленья!

— Сидор! — сказал мне Зарубаев. — Ты дрожишь?

— Виноват, приятель, дрожу!

— Дурак! Если на котором ядре твоя смерть написана, от того ядра ты нигде не спрячешься, а которое не тебе назначено, так всегда пролетит мимо! — В это время над головой загудело у нас ядро — я неволей присел, а Зарубаев захохотал. — Кланяйся, посылай весточку на родимую сторону; уж оно далеко.

Не успел докончить он слова, как меня всего обсыпало землей, сшибло с ног, я упал, вскочил, шухаю: цело ли ружье — цело! Слышу знакомый голос... Зарубаев лежал подле меня. Я наклонился к нему.

— Ну, Сидор, прощай, брат! — сказал он. — Учись умирать по-солдатски — видишь; как! Твори молитву, вытянись в последний раз, явись к богу молодцом, и как спросят на перекличке у господина, отвечай: «Лег за матушку Россию и за веру православную...» Господи помилуй!..

Кровь текла из него и душила его... Тут, видим, сам Багратион наш выскакал, командует: «Вперед!» Все рванулось вперед, и не знаю, как вам сказать, ваше благородие: крик, пальба, бежишь, спотыкаешься на мертвого, топчешь живого — барабаны, пушки, треск, стон — вдруг шаркнули в нас картечью; слева хватили гусары — народ валится один на другого — я упал; на меня попадала целая грудка товарищей — слышу, как ездят через нас лошади... Но — жив, опять тихо, тихо — я выкарабкался и вижу, что немного наших егерей стоят, заряжают ружья — впереди наши русские открыли пушечную пальбу, такую, что не приведи господи — куда устоять — ветром несло дым на французскую сторону, и французы бежали к реке, а вдогонку их провожали ядрами! Как одурелый, бросился я к товарищам. Нам тотчас скомандовали, примкнули нас к другому полку, велели рассеяться, итти вправо, в огонь, где горела деревня, — мы бросились через сады... Что за сады такие: лимоны, померанцы, виноград, все, что у нас господина в оранжереях да в теплицах берегут! И поверите ли: весь страх у меня тогда пропал — точно как на кулачном бою — только допусти, господи, до врага-собаки — у! — и в огонь и в воду! Французы сильно стреляли из-за огородов; мы ломали огорожи, лезли. Ох! Была тут потеха — натешилась душа! Чего тратить казенные патроны! Ближе к делу — прямо через загорожку да штыком... Сробеет! Ведь не русский!

Но тут увидели мы однакож, как говорили после и самые старые солдаты, что французы мастера драться. Ведь с самим графом Суворовым три дня тогда дрались они; а потом, разумеется, побежали, давай бог ноги! Еще бы с Суворовым да русскому уступить!

Таково было первое дело, где я попался в самую суматоху и вышел цел. И это меня так ободрило, что потом, истинно

я не похвастал бы перед Зарубаевым, если бы сказал, что не кланяюсь ядрам. Но Зарубаева уже не было на белом свете — жил славно и умер славно! Мы все жалели об нем... О себе бы лучше пожалеть... Что за радость теперешняя моя жизнь: с деревяшкой маюся, а Зарубаев уж лет двадцать, как отслужил богу и государю, да и спокоен. Рвалось у меня сердце, когда потом поганый француз пришел к нам на святую Русь; когда слышал я, как он запленил матушку-Москву, ограбил соборы православные, поругался святым иконам, — хотел было хоть в фурлейты проситься... Ну, и без меня управились. Не одобровал француз проклятый, замерз в наших русских снегах! Хорошо было ему драться в тепле, в итальянской да в немецкой земле...

Проходил здесь отставной солдат, поразговорились мы, и порассказал он мне обо всем... Эх! Не было меня старика, как батюшка наш царь Александр Павлович давал баталию под Липским — с горя плакать хочется! Что наши суворовские баталии перед этим побоищем? Игрушки! Ведь одних пушек было, ваше благородие, 2000! И надобно было дать такую баталию, чтобы порешить этого колдуна Бонапартё. Недаром его боялись цесарцы.

Правда ли, ваше благородие, будто теперь отправили его за море, за окуян, на кипучую морскую пучину? Что-то не верится! Ведь, наше место свято, говорят, он антихрист, и скоро настанет кончина мира, и он опять выйдет? Смотреть на мир и на людей, так кажется, это неправда: люди каковы были, таковы и есть; и знамений пришествия антихристового, о юторых читал я в книге преосвященного Стефана Яворского, еще нет.

А знаете ли, ваше благородие, что я видел Бонапартё, ей-богу не лгу, видел, как вас теперь вижу. Извольте, я вам расскажу. Если бы мне стать рассказывать все, что видать случалось, где я бывал, что слышал, — ночи-то мало бы мне было, а оно и без того уж не рано. Вот уж и *Сохатый* на небе хвост поворотил, и *Кычиги* шарахнулись на утро...

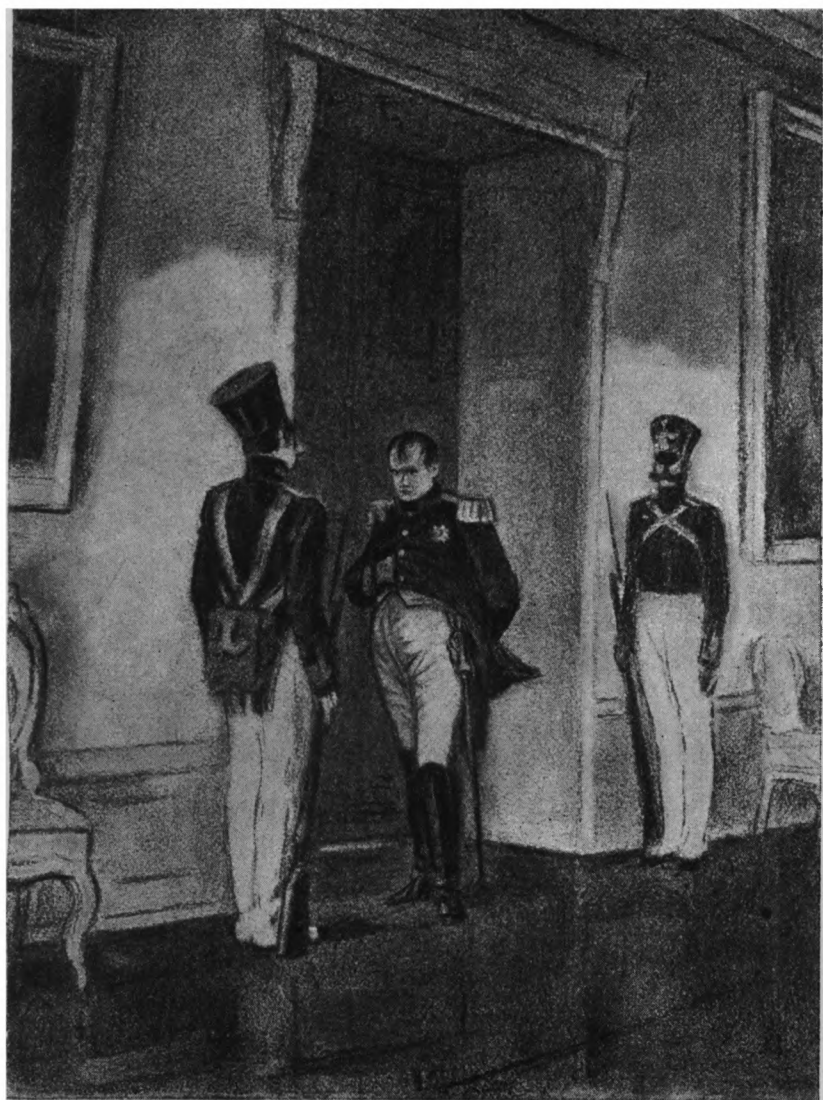
Поплакали все мы, солдатушки, как услышали потом о кончине графа Суворова, упокой господи его душу! После того полно драться — заржавели ружья, заплесневел порох. Лет шесть прошло, как воротились мы в Россию. Наше дело солдатское, не нам рассуждать; но как слышали мы разговоры командиров и начальников, так иногда, бывало, толкуем между собою — так и рвется ретивое! Этакую волюность взяли себе эти французы! Забыли, как бегали перед Суворовым, и, смотри пожалуй, воротился Бонапартё из Эфиопии — уж он и *император* — уж и Цесарию взял за себя — и пруссака смял — и Италию заполонил! Наконец ударили поход — слава

тебе, царю небесный, утешителю, душе истинный, что внушил такую мысль православному царю земному! Пошли мы по знакомой дороге в немецкую землю, опять с нашим генералом Багратионовым, суворовским ученичком...

Вы, конечно, слышали, ваше благородие, обо всем, что происходило и в цесарскую и в прусскую войну, до самого замирения под Тильзитовым? Говорят, будто были у цесаря изменщики, а я так думаю по своему дурацкому рассуждению: грех да беда на кого не живет. Если Бонапартё и не антихрист, так все-таки он колдун. Что он был заговорен от пули, в этом уж меня ничто не уверит. Этак выдумали: *не заговорен!* Да как бы он укрылся от двадцати народов, пока еще не покорил их, когда каждый человек из этих народов целил в него чем попало?.. Не мое дело толковать об этом, смекайте сами. А вот видите.

Когда наш генерал Леонтий Леонтьевич Бениксонов показал Бонапартё, что русак не пруссак и что зимой русский еще лучше дерется, по пословице, что русскому здорово, то немцу смерть, и наоборот, Бонапартё рад был помириться и такой лисой прикинулся, что наш великий император Александр Павлович поверил ему. Любо, дорого было смотреть, как они тогда помирились. Такой диковинки долго не увидит другой, какую мы тогда видели. Народ, который пришел драться и губить друг друга, и бог весть откуда пришел, — тут было десятка полтора разных народов, — вдруг поладил, помирился, обнимался. Небольшая текла тут речушка, Неман. Александр Павлович сказал Бонапартё: «Твоя сторона, Бонапарт, будет левая, а моя правая; ты будто там хозяйничай, а я будто здесь; ты ко мне приходи в гости на эту сторону, а я к тебе стану приходить на ту. И коли уж друг, так друг: ты не бери с собой стражи, и я не стану брать с собой». Бонапартё сказал: «Ладно, государь император Александр Павлович! Изволь, будь потвоему!» И начались такие пиры, гулянья, что на одном пире по двадцати королей да королев бывало.

Наш полк славно отличился в последних делах, а в награждение велено было нам содержать караулы у самого государя императора. Однажды стою я с товарищем на часах у самого входа в ту комнату, из которой входят к императору... Уж, разумеется, поджилки дрожат, ваше благородие: император Александр Павлович был такой добрый до солдат, да ведь *император*, то есть *земной бог*, ваше благородие, нельзя не побояться, хоть рад душу за него положить! Смотрю: двери, что против меня прямо, растворились настежь; наш русский генерал какой-то вытянулся в струночку и разговаривает с каким-то генералом — ну, этот не наш, да и не пруссак; приятелей пруссаков мы уж по мушдиру различать научились — нет,



не пруссак, да и такой неуклюжий, плотный, невысокий; и мундир на нем такой чудный: брюхо все наружи, без перетяжки, и по краям обложено белыми широкими выпушками; шляпка предлинная; в руках шляпенка маленькая, низенькая; сапожищи такие страшные, за колено. Поговорил с генералом нашим да через комнату к нашей двери, скоро, скоро таково. Вижу, что особа должна быть высокая; сделал честь ружьем. Он остановился да на меня, прямо таково, уставил глаза... Ну, поверите ли, ваше благородие: так вот морозом обдало всего — волосы подстрижены в кружок, лицо такое медное, а глаза... Ах ты, господи! Дня три потом мерещились они мне, такие страшные, так и сверкают, как будто уголь черные, красные, желтые — и бог знает какие! Будто кто-то шепнул мне, и я тотчас подумал: «Ведь это сам Бонапартё!» А он мне, не с того слова, указывает на дверь, что к государю-то, и говорит, так скоро, скоро, как будто сердито, или бог уж его знает — да и на каком языке, господь ведает, — он, чай, все языки знал, а слышалось мне, будто по-русски: «Тут император?» А я таково скоро: «Тут, ваше императорское величество!» Он усмехнулся и прямо туда, подошел, да потихоньку и стучит в дверь. Дверь отворилась. Сам император наш Александр Павлович показался в дверях и как увидел того, что пришел-то, будто удивился: «А!» — да и заговорил с ним по-ихнему. А этот сам заговорил — лопочет, лопочет императору что-то, да все таково скоро, — а император-то все этак ему руку трясет да кланяется, и оба, знаете, так будто улыбаются, и ушли в кабинет и дверь заперли.

Это был сам Бонапартё.

Тут прибежало много генеральства, и нашего и всякого, и начали бегать по зале, говорят между собой; а один с такой звездицей ко мне и говорит: «Лампърёр?» Ну! Уж я смекнул, что не может выговорить хорошенько: «император», и говорю: «Там, ваше превосходительство, в кабинете». А один из наших генералов подошел ко мне, да и шепчет: «Дурак! Ведь это король!» А почему мне было знать: тогда королей-то собралось в одном месте не один десяток. Все они ушли опять и двери затворили. Через час времени этак выходят и наш император и Бонапартё; что-то смеются и все говорят; тот все лопочет скоро, скоро, а наш император только подговаривает: «вуй, вуй!» И стали ходить по комнате — и пошли вместе, сели на лошадей и поехали вместе. Наш государь, знаете, молодец собой, такой красивый, высокий, дородный, да и одет-то уж как... А на того посмотрю с искоса и думаю: «Ох ты, окаянный! Так это ты-то Бонапартё? Штучка невеличка, да куда бойка, — да каким ты шутком одет...» Право так, ваше благородие, право так...

После того вскоре нам сказан был поход в Россию, только не туда, где я бывал до тех пор, а все на полночь. Шли мы, шли; спрашиваем: «Господи! Да будет ли конец? Неужели нашей матушке-России и предела нет?» Ваше благородие! Бывали ль вы туда, дальше за Петербург? Вот уж сторона! Мы шли в эту сторону через нашу немецкую землю, да через чухонскую, да через латышскую и пришли за Балтийское море в северные горы, где нам объявили, что началась война с шведом. Зима была такая холодная, а сторона, какой я еще и не видывал — гора на горе, все каменные; река выше реки: течет, течет, упадет с камня, да опять течет будто река, и опять упадет с камня, и опять течет. Целая крепость вырублена там из камня, с пушками, и с стенами, и с воротами. Дороги все были занесены снегами, и как мы шли походом, так впереди лошадей сорок тянули перед нами деревянный треугольник, а то и проходу не было — снег по груди; лес со всех сторон; увидишь деревушку, так в ней неприятель; руки мерзнут, да делать нечего — заряджай да работай штыком по колено в снегу. Стойкий народ эти шведы; куда лихи драться — уж не попросит пardона; та только на них беда, что народу-то у них мало. Кажется, наши генералы были молодцы: Багратионов, Кульнев, — а часто бывало, Кульнев закусит свои длинные усищи да только зубами скрипит, а взять нельзя — жжется!

В этой стороне наслужил я недолго, ваше благородие, и шведская пуля подписала мне отставку. Недаром есть поверье, что уж если кто долго служит и в поле бывает, да у него хоть немного крови не выпустят, так ему не сдобровать: либо положит свою голову, либо расплатится дорого! Так сбылось и со мною. Хранил меня бог до тех пор; ранен я не был ни одного раза, хоть комплекта три товарищей переменял, и иногда, бывало, посмотришь: немного, немного остается моих первоначальных командиров и приятелей! А в это время — уж пусть бы на сраженьи, и сердце бы не болело — а то... поди ты, устерегись, когда уж рок такой придет, — заблудящая *пуля-дура*, как говаривал наш батюшка Суворов, разжаловала меня в инвалиды.

Шведы засели в одной деревне, стояли ловко; наконец мы выбили их штыками, разделили на три отряда, и генерал приказал нам гнать их по трем дорогам, отнюдь не давая соединяться. С утра до вечера наша рота преследовала один отряд; изморились мы до смерти. Шутка ли: верст десять что шаг, то остановка; что пригородок, то стрелок; что дерево, то пуля; что загородка, то работа штыку! Наступила ночь. Мы остановились ночевать в маленьком селении, оттуда все жители убежали; распорядились мы по-своему — развели огни; кто варил и ел, что найти успели; другие стояли на отводных караулах,

на ведетах; третьи повалились, кто где смог; неприятеля не было нигде вблизи, но нам не велено было раздеваться. Прошло не знаю сколько времени, — вдруг — тарара! тарара! — заговорил барабан — вставай! Неприятель! Все поднялось, схватилось за ружье; слышим вприсонках — пили-паф, пили-паф! Перестрелка. Мы выбежали из избы, где спали, — ночь темна, как вороново крыло, — бросаемся на улицу, глядим — сверкает огонь из-за огородки, уж в самой деревне — и там, и тут, и здесь! Как прошел, откуда взялся неприятель? У страха глаза велики, да спасибо, русский солдат страха-то в глаза не видывал — только первую дурь надобно было нам стряхнуть.

— Ребята! — закричал капитан. — Не стрелять! Засветите деревню — не трать пороху — штыками очищать, где засел неприятель, — вздор! Это забеглый народ какой-нибудь!

Тотчас затеплилась деревня, будто свечка восковая, мы пошли на выстрелы — стрельба умолкала, утихала, — при свете пожара увидели мы, что в разные стороны бегут там швед, там другой, — скоро вся рота наша выступила из деревни, — светло было, хоть деньги считай... И в самом деле оказалось, что это десятка два шведов сбились с дороги, деваться им было некуда, и они решились врасплох схватить нас — такие сорванцы! И успели бы, да не на тех напали. Казаки, бывшие при роте, пустились за бегущими. Но я уж не видал, как расплачивались товарищи с забияками за нечаянную тревогу.

Когда бросились мы на выстрелы, вижу с полдесятка шведов: за забором полуразломанным стояли они и метили вдоль улицы; огонь изменил им, и от пожара протянулись длинные тени их по снегу. Туда, на забор, через забор — бац! Пули застряли — чувствую, что-то тепло в ноге, хоть и не больно, — штыком повалил я одного шведа, но другой хватил меня прикладом по голове — я упал и тут только увидел, что сапог у меня полон крови и снег весь покраснел подо мною; товарищи бежали по двору за бегущими. Я хотел подняться, не мог, упал, а в это время с обеих сторон жарко загорелись строения; бревна падали; забор пылал. Я хотел кричать, но ничего не было слышно от треска огня, барабанного боя, пальбы; и наконец все затихло — ничего не стало слышно — огонь окружал меня со всех сторон — снег таял подо мною от жара — я полз на руках, волоча ногу за собою, и скользил в крови и снегу. Наконец перетащился я через огарки и бросился на улице в груды снега, чтобы затушить шинель свою. Думаю: «Вот тебе — подстрелили, да еще и изжарить хотят, собачьи дети!» Тут стало мне холодно; я дрожал и, наконец, потерял память...

Когда я опомнился, то увидел, что уже день; что нас трое лежат в чухонских санях; чухонец погоняет лошадь, а казак

погоняет и его и лошадь. Весь я был как разбитый; санишки такие тесные, длинные, словно гроб, и мне привелось лежать в самом низу, товарищ мой сверху был такой тяжелый, что я не мог пошевелиться; чувствовал, как пальцы у меня захватывало морозом, а простреленная нога горела, будто головешка. Кое-как вытащил я руку, ощупал верхнего товарища — он охолоделый, мертвый. Я начал кричать казаку и чухне, чтобы выкинуть этого тяжелого товарища. Чухна оглянулся и не отвечал ничего; а казак кричал только: «Молчи! Недалеко!»

Ну, Сидор! Терпи, будь молодцом! Ведь уж что сделалось, того не воротить. Умереть все равно. Читай-ка: «Отче наш» да «Верую».

Нас привезли в полк и сдали в госпиталь.

— Как? Еще! — вскричал лекарь, когда меня втащили в комнату и положили на кровать.

— Этак их ночью-то перепятали! — Он закурил трубку, подлил из бутылки в стакан свой, стоявший перед ним на столике, хватил добрую и сперва подошел к одному из привезенных со мною.

— Ну! С этим толковать нечего — ему надобен не я, а надобно царство небесное! Эй, неси вон!

— Ну! Ты что? — Он подошел к другому.

— Ба! Это швед — погоди, приятель, дай сперва пособить своему...

Он подошел ко мне:

— Что у тебя?

— Нога, ваше благородие.

— Только бы не голова, а ногу приставим. Да у тебя обе ноги целы?

— В левой, кажись, пуля — смертно болит!

— Еще солдат не без чего, а хнычет!

— Больно, ваше благородие!

Лекарь осмотрел мою ногу, поднял голову, крикнул, оборотился к помощнику.

— Эй! Инструмент, бинтов! — закричал он.

— Ваше благородие!

— Что ты?

— Аль хотите отрезать?

— Разумеется. Видишь, как ты надурил: ведь нога-то твоя ни к чорту не годится!

— Помилуйте, ваше благородие! Заставьте вечно богу молить: вылечите так.

— Трусишь?

— Не трушу, но какой я без ноги царский слуга, — вылечите так!

— Садись! Что много калякать! — Он засучил рукава. — Эй! Инструменты!

Уж если б можно было, дал бы я этому живодеру оплеуху, да сил-то не было. Я решился в последний раз показать себя молодцом. Куда больно было: словно жилы тянули из меня; а как начала пила скрипеть по кости, всякий волосок у меня становился дыбом на голове, будто плясать собирался.

Бух! Нога отвалилась. — Прощай! Поминай, как звали. Наш полковник вошел в это время.

— Еще операция? — вскричал он, сердито смотря на лекаря. — Слушайте: вы будете отвечать мне за вашу охоту резать руки и ноги без толку... Да что это? Ты, Сидоров?

— Я, ваше высокоблагородие!

— Эх, жаль, брат, жаль тебя, жаль молодца!

— Жаль, ваше высокоблагородие, того, что не удалось умереть молодцом.

Полковник поцеловал меня в голову, отвернулся, вынул червонец и отдал мне.

Как было не порадоваться, видя такую честь?

С полгода провалялся я в госпитале и вместо двух ног вышел из него с полутора-ногой да с деревяшкой в придачу.

На даровых подводах привезли нашу братию, калек, в Петербург. Мне предложили место инвалидное в Петербурге, но я просил отпуска на родину. И вот подписали мне указ: бороду брить, милостыни не просить. Первое-то так, а второе-то как бог велит.

Видите, ваше благородие, — пока лежал я в госпитале, делать-то было мне нечего, я раздумывал все про старое и все вспоминал, что со мной бывало с самого ребячества. Вспомнил я родину, мать, брата, Дуняшу; вспомнил, что уж лет дюжину и в голову мне не приходило, — вся эта старая дрянь вдруг полезла мне в помышление, и так захотелось мне повидать родное пепелище, и показалось мне, будто Дуняша моя еще жива и обрадуется мне, и мать жива, и брат жив. Штыком работать нет способа, а за сохой ходить еще смогу, хоть на моих полутора ногах. Долг исполнен; верою и правдою отслужил Сидор государю и отечеству; можно ему отдохнуть.

Милостивые командиры надавали мне денег, так что купил я себе лошаденку с телегой и отправился домой.

Долго ехал я, ехал — видел и Москву. Наконец однажды под вечер завидел вдаль деревнишку родную, остановился, стал оглядываться. Как будто я и не выезжал; как будто лет пятнадцать, которые прошатался я по белу свету, только вчера совершились! Так же солнышко садилось за дальний лесок;

так же ночь подымалась слева черною тучею; так же вечерняя птичка щебетала, словно прежде. Деревня наша была прежняя: те же дома, та же грязь, тот же питейный дом с елками, и так же толпится подле него народ, как прежде! Мне сильно захотелось повидаться со всеми поскорее, поздороваться со знакомыми, спросить о своих, и я прямо привернул к питейному.

— Здорово, ребята! — вскричал я.

— Здорово, служивый! — отвечали мне.

Я посмотрел на народ — кой чорт! Никого не узнаю: все новые рожи! Я и забыл, что прошло пятнадцать, двадцать лет. Кто был в мое время старик — того уже не было на свете; кто был молодец — тот поседел и состарился; кто бегал мальчишкой — тот уже давно был женат, и у него бегали мальчишки.

— Что ты смотришь, служивый? — спросили у меня.

— Да смотрю: нет ли из вас знакомых?

— Знакомых? А ты откуда? Из Корочи, что ль?

— Нет, подальше.

— Аль из Курска?

— Нет, еще подальше.

— Куда ж ты плетешься?

— Домой.

— А где твой дом?

— Да где найду добрых людей, а родина моя здесь.

— Здесь? Как так? — Меня окружили.

— Тыфу пропасть! Ни одного старого знакомого. Аль все перемерли?

— Да ты кто такой?

— Сидор бывал, Карпушкин сын.

— Сидор! Будто это ты? — вскричал какой-то седой старик.

— Да, я. А ты кто?

— Эвось! Не узнал Фомки Облепихина!

— Будто это ты, Фомка, лихач, кулачник, забияка?

— Будто это ты, Сидорка, разбойник, плясун, песенник?

Мы глядели друг на друга.

— Так ты воротился домой?

— Да вот видишь — плясать уж не смогу; проплясал, брат, ногу!

— Да ты стар-старьем — этакие усищи седые; да и ка-лека...

Сели мы на лавочку.

— Ну что: жива мать?

— Нет, брат! Через год после тебя скончалась.

— А брат Василий?

— Нет, брат, — прибрал бог!

— А детишки его? Чай, уж теперь мужичье стали?

— Да какие детишки?

— Как: какие? Их было у него с косой десяток.

— Парней никого нет. Девки замуж выданы.

— Кто ж теперь в нашем доме живет?

— Кто? Да на постое летом ласточка, а зимой вьюга гостит.

У меня долго недоставало сил спросить о Дуняше моей.

— Ну, а где ж моя Дуня?

— Какая Дуня?

— Да жена моя, дуралей!

— Как ты все это помнишь, Сидор! Да ведь она умерла, кажется, еще при тебе? Что-то не пригадаю я хорошенько.

Пока мы разговаривали, все другие отошли от нас, и никому до меня дела не было.

— Пойдем ко мне. У меня баба все тебе припомнит и расскажет. Им ведь от нечего делать балясы точить, — а много, брат, времени прошло — куда много!

Мы отправились с Фомой. Старуха его все припомнила и рассказала.

Я узнал, что Дуняша моя едва могла воротиться домой и скончалась на руках моей матери.

— Умирая-то, все еще говорила она, будто тебя не в очередь в рекруты отдали, и все еще толковала, как она пойдет просить за тебя губернатора, — да и отправилась с этим в дорогу немного подальше Курска.

Тут словно напущенное обрушилось на нашу семью: вскоре умерла мать; Василий худел, беднял, заливал горе зеленым вином, наконец таскался по миру с ребятишками и умер под тыном у питейного дома; девок побрали добрые люди по рукам и повыдавали замуж, а ребятишки кто умер с худобы, кто разбрелся бог весть куда, так что и слуху нет; избушка, где мы жили, развалилась. Скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается, однакож в двадцать лет успеет много его надеяться. Вся почти деревня переменяла хозяев, раза два горела, строилась, но опять была она попрежнему, и хозяева такие же, как прежде, только не те, что прежде были.

Напрасно старался я узнать: нет ли хоть кого-нибудь из племянников в живых и куда они раздевались... У мужика память коротка: что за неделю сделалось, он не помнит, — а двадцать лет? Куда тебе! Коли хозяин дома умер под забором — о домочадцах не спрашивай. «Аще не господь созиждет дом, всеу трудяется зиждущий, и аще не господь хранит град, всеу бдит стрегий!»

— Варвара! — говорил я жене Фомкиной. — Не можешь ли ты указать мне на кладбище могилы Дуняшиной?

— А! — отвечала Варвара. — Какой ты затейник, Сидор, — будто ты вчера ушел из нашей деревни: спрашиваешь о том, что за 20-ть лет делалось, будто это за неделю было! Ну кто теперь из тех, кто твою Дуняшу помнит, остался в деревне? А кто и остался, куда припомнить: где ее положили? На кладбище — говорить нечего об этом, — а чтобы найти могилу, так рассуди ты сам: сколько после того похоронено народу, — чай, раза три перерывали его сплошь от одного конца до другого...

Тут почувствовал я, что на концах усов моих что-то мокро, — схватил рукой — слезы капали из глаз моих и падали на мои седые усы.

Хозяева поужинали и ложились спать. Я сказал им, что залягу в своей тележке; но я не лег спать, а пошел бродить по деревне.

Ночь была светлая, ясная; все звездочки небесные высыпали, как солдаты на генеральный смотр. На земле было тихо, так что листочек не шелухнется, а на небе еще тише; люди спали мертвым сном, и мне казалось, что я пришел из могилы, с того света выходец, лет через сотню, не нахожу уж ни родных, ни привета. И все умерли в моей родине, умерли все, кого знавал я прежде, — умерли дети их, умерли внуки; я бродил по опустелому домовищу, где когда-то жил я, жили и другие со мною.

Прибрел я, наконец, и к домишку своему. Да видно было, что он был теперь уж не *мой* и не *наш*, а *божий*. Пустырь с полынью, крапивой, лопушиником; и на нем избушка, кровля провалилась, окон нет, вся покривилась, держится на гнилых бревнах, избоченясь, будто смеется и плясать хочет.

Так грустно стало мне... Пойду лучше туда, где есть знакомые жильцы! Здорово, родные! Шевелись, ленивый народ! Выходи на свиданье! Вставай, узнавай Сидора, Федя! Дуня! Мать! Брат!

Но они не шевелились и молчали. До страшного суда определено было им, единожды навсегда, молчать. Тут и горе и радость, все тут, все присмирело и улеглось. Садись на могилу, думай и толкуй себе, что хочешь.

Варвара правду мне говорила, что кладбища я не узнаю. И мертвые, как живые будто, провели это время в суете мирской: все у них было взрыто, перерыто, будто друг у друга отнимали они дома; старые кресты сваливались, новые ставились.

На другой день отслужил я панихиду, подал по душе матери, брата, жены, сына и стал думать, что мне с собой делать?

Мне только оставалось *дожить*. Калека безногий! Не мне уж было, одинокому сироте, думать о том, *как* дожить!

Участок поля, который некогда принадлежал нам, был продан давным-давно братом Васильем за штоф вина. Заво-

доть тяжбу с земляками — солдатское ли дело? Да и к чему мне участок? Да и какво стануть смотреть после того на меня? Ну, да и чем мне выиграть тяжбу, коли правду сказать?

По милости царской хлеб насущный у меня был. Подумал, подумал я...

Когда на другой день расходился я по деревне, таково грустливо стало мне...

Ну и то, ваше благородие, как увидел я, что за народ мои земляки! Никто ничего не слушал, что я им рассказывал; никто не слыхал ни о батюшке Суворове, ни о Бонапартё, ни о Финляндии, ни об немецкой земле... Пропадите вы... И я запряг свою лошадь и поехал к тестю.

Его давно уж не было на белом свете. Дуняшины сестры были такие старухи...

И бродил я потом по чужбине, пока нашел приют здесь, далеко от своей родины. А таким, изволите видеть, образом нашел я его, что нечаянно встретил полкового нашего священника; а ему приятель был священник ближнего села; и этот священник принял меня, видя, что я бегло разбираю церковные книги. Начал я звонить на колокольне, читать апостол в церкви, петь на клиросе. За то взъелся на меня дьячок — хоть я не отнимал у него ни кутьи, ни хлеба. А будто в церкви божией петь да читать запрещено всякому, кто хочет? Священник рад был мне пособить — да ему не ссориться же за меня с дьячком? Тогда открылось место писаря в становой. Спасибо, отец Алексей постарался; меня определили, и поселился я здесь между добряками хохлацкими. Право, хороший народ, ваше благородие. И так вот усердно слушают, когда что-нибудь им рассказываешь. Здесь теперь редкий мальчишко не знает о Суворове. А это все я им порассказал!

Иногда мне кажется, будто нога у меня еще цела, будто я могу пошевелить ее пальцами, подымать, двигать ее. Так иногда мне кажется, будто все, что бывало со мною на белом свете, был сон, что я все еще попрежнему мужик и со мною Дуняша, и Федя, и мать... Иногда мне кажется, будто все еще я солдат, с батюшкою Суворовым в царской земле, либо с Петром Ивановичем Багратионовым в прусской стороне, либо с генералом Кульневым в этой снеговой чухонской стороне, которую поглядел я, да расплатился за то ногой...

Вот и Петра Иваныча Багратионова нет; и старого генерала Розембергова нет — какие были молодцы — и генерала Кульнева нет — царство им небесное, вечная память! Отцы были солдатские!..

А уж жаль, что эта окаянная деревяшка не дала мне воли идти под матушку-Москву...

Однакож поздно, ваше благородие! Заговорил я вас. Спокойной ночи желаем и здравия желаем — отвел я с вами душу — поговорил...

И он заковылял на своей деревяшке; вдали раздавался голос его; он пел: «Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурей, к тихому пристанищу притек, воию ти»...

Голос умолк. Все затихло. Еще долго сидел я на том месте, где слышал его рассказы, — мне было так грустно... Но в двадцать лет грусть непродолжительна — это легкий ветерок, который рябит прозрачное лоно вод и через мгновение разлетается под небесами песенкой птички...

Антоний Погорельский

1787 ~ 1836

**ЛАФЕРТОВСКАЯ
МАКОВНИЦА**



ЛАФЕРТОВСКАЯ МАКОВНИЦА

Лет за пятнадцать пред сожжением Москвы недалеко от Проломной заставы стоял небольшой деревянный домик с пятью окошками в главном фасаде и с небольшою над средним окном светлицею. Посреди маленького дворика, окруженного ветхим забором, виден был колодезь. В двух углах стояли полуразвалившиеся амбары, из которых один служил пристанищем нескольким индейским и русским курам, в мирном согласии разделявшим укрепленную поперек амбара вежу. Перед домом из-за низкого палисадника поднимались две или три рябины и, казалось, с пренебрежением смотрели на кусты черной смородины и малины, растущие у ног их. Подле самого крыльца выкопан был в земле небольшой погреб для хранения съестных припасов.

В сей-то убогий домик переехал жить отставной почталион Онуфрич с женою Ивановною и с дочерью Марьею. Онуфрич, будучи еще молодым человеком, лет двадцать прослужил в поле и дослужился до ефрейторского чина; потом столько же лет верою и правдою продолжал службу в московском почтамте; никогда, или, по крайней мере, ни за какую вину, не бывал штрафован и наконец вышел в чистую отставку и на инвалидное содержание. Дом был его собственный, доставшийся ему по наследству от недавно скончавшейся престарелой его тетки. Сия старушка при жизни своей во всей Лафертовской части известна была под названием *Лафертовской Маковницы*; ибо промысл ее состоял в продаже медовых маковых лепешек, которые умела она печь с особенным искусством. Каждый день, какая бы ни была погода, старушка выходила рано поутру из своего домика и направляла путь к Проломной заставе, имея на голове корзинку, наполненную маковниками. Прибыв к заставе, она расстилала чистое полотенце, перевертывала вверх дном корзинку и в правильном порядке раскладывала свои маковники. Таким образом сидела она до вечера, не предлагая никому своего то-

вара и продавая оный в глубоком молчании. Лишь только начинало смеркаться, старушка собирала лепешки свои в корзинку и отправлялась медленными шагами домой. Солдаты, стоящие на карауле, любили ее; ибо она иногда потчевала их безденежно сладкими маковниками.

Но этот промысл старушки служил только личиною, прикрывавшею совсем иное ремесло. В глубокий вечер, когда в прочих частях города начинали зажигать фонари, а в окрестностях ее дома расстилалась ночная темнота, люди разного звания и состояния робко приближались к хижине и тихо стучались в калитку. Большая цепная собака, Султан, громким лаем провозглашала чужих. Старушка отворяла дверь, длинными костяными пальцами брала за руку посетителя и вводила его в низкие хоромы. Там при мелькающем свете лампы на шатком дубовом столе лежала колода карт, на которых, от частого употребления, едва можно было различить бубны от червей; на лежанке стоял кофейник из красной меди, а на стене висело решето. Старушка, предварительно приняв от гостя добровольное подаяние, — смотря по обстоятельствам — бралась за карты или прибегала к кофейнику и к решету. Из красноречивых ее уст изливались рекою пророчества о будущих благах, — и упоенные сладкою надеждою посетители при выходе из дома нередко вознаграждали ее вдвое более, нежели при входе.

Таким образом жизнь ее протекала покойно в мирных сих занятиях. Правда, что завистливые соседи называли ее за глаза колдуньей и ведьмою; но зато в глаза ей низко кланялись, умильно улыбались и величали бабушкою. Такое к ней уважение отчасти произошло оттого, что когда-то один из соседей вздумал донести полиции, будто бы Лафертовская Маковница занимается непозволительным гаданием в карты и на кофе и даже знает с подозрительными людьми! На другой же день явился полицейский, вошел в дом, долго занимался строгим обыском и, наконец, при выходе объявил, что он не нашел ничего. Неизвестно, какие средства употребила почтенная старушка в доказательство своей невинности; да и не в том дело! Довольно того, что донос найден был неосновательным. Кажется, что сама судьба вступилась за бедную Маковницу; ибо скоро после того сын доносчика, резвый мальчик, бегая по двору, упал на гвоздь и выколол себе глаз; потом жена его нечаянно поскользнулась и вывихнула ногу; наконец, в довершение всех несчастий, лучшая корова их, не будучи прежде ничем больна, вдруг пала. Отчаянный сосед насилу умилил старушку слезами и подарками, — и с того времени все соседство обходилось с нею с должным уважением. Те только, которые, переменяя квартиру, переселялись далеко от Лафертовской части, как, например: на Пресненские пруды, в Хамов-

ники или на Пятницкую, — те только осмеливались громко называть Маковницу ведьмою. Они уверяли, что сами видели, как в темные ночи налетал на дом старухи большой ворон с яркими, как раскаленный уголь, глазами; иные даже божжились, что любимый черный кот, каждое утро провожающий старуху до ворот и каждый вечер ее встречающий, не кто иной, как сам нечистый дух.

Слухи эти, наконец, дошли и до Онуфрича, который по должности своей имел свободный доступ в передние многих домов. Онуфрич был человек набожный, и мысль, что родная тетка его свела короткое знакомство с нечистым, сильно потревожила его душу. Долго не знал он, на что решиться.

— Ивановна! — сказал он, наконец, в один вечер, подымая ногу и вступая на смиренное ложе, — Ивановна, дело решено! Завтра поутру пойду к тетке и постараюсь уговорить ее, чтоб она бросила проклятое ремесло свое. Вот она уже, слава богу, добывает девятый десяток; а в такие лета пора принести покаяние — пора и о душе подумать.

Это намерение Онуфрича крайне не понравилось жене его. Лафертовскую Маковницу все считали богатою, и Онуфрич был единственный ее наследник.

— Голубчик! — отвечала она ему, поглаживая его по наморщенному лбу: — сделай милость, не мешайся в чужие дела. У нас и своих забот довольно: вот уже теперь и Маша подрастает; придет пора выдать ее замуж, а где нам взять женихов без приданого? Ты знаешь, что тетка твоя любит дочь нашу; она ей крестная мать, и когда дело дойдет до свадьбы, то ни от кого иного, кроме ее, ожидать нам милостей. Итак, если ты жалеешь Машу, если любишь меня хоть немножко, то оставь добрую старушку в покое. Ты знаешь, душенька...

Ивановна хотела продолжать, как заметила, что Онуфрич храпит. Она печально на него взглянула, вспомнив, что в прежние годы он не так хладнокровно слушал ее речи; отвернулась в другую сторону и вскоре сама захрапела.

На другое утро, когда еще Ивановна покоилась в объятиях глубокого сна, Онуфрич тихонько поднялся с постели, смиренно помолился иконе Николая чудотворца, вытер суконкою блистающего на картузе орла и почталлионский свой знак и надел мундир. Потом, подкрепив сердце большою рюмкою ерофеича, вышел в сени. Там прицепил он тяжелую саблю свою — еще раз перекрестился и отправился к Проломной заставе.

Старушка приняла его ласково.

— Эй, эй, племянничек! — сказала она ему: — какая напасть выгнала тебя так рано из дому — да еще в такую даль? Ну, ну, добро пожаловать; просим садиться.

Онуфрич сел подле нее на скамью, закашлял и не знал, с чего начать. В эту минуту дряхлая старушка показалась ему страшнее, нежели — лет тридцать тому назад — турецкая батарея. Наконец он вдруг собрался с духом.

— Тетушка! — сказал он ей твердым голосом: — я пришел поговорить с вами о важном деле.

— Говори, мой милый. — отвечала старушка, — а я послушаю.

— Тетушка, недолго уже вам остается жить на свете, — пора покаяться, пора отказаться от сатаны и от наваждений его.

Старушка не дала ему продолжать. Губы ее посинели, глаза налились кровью, нос громко начал стучаться об бороду.

— Вон из моего дому! — закричала она задыхающимся от злости голосом. — Вон, окаянный!.. И чтоб проклятые ноги твои навсегда подкосились, когда опять ты ступишь на порог мой!

Она подняла сухую руку... Онуфрич перепугался до полусмерти; прежняя, давно потерянная гибкость вдруг возвратилась в его ноги: он одним махом соскочил с лестницы и добежал до дому, ни разу не оглянувшись.

С того времени все связи между старушкой и семейством Онуфрича совершенно прервались. Таким образом прошло несколько лет. Маша пришла в совершенный возраст и была прекрасна, как майский день; молодые люди за нею бегали; старики, глядя на нее, жалели о прошедшей своей молодости. Но Маша была бедна, — и женихи не являлись. Ивановна чаще стала вспоминать о старой тетке и никак не могла утешиться.

— Отец твой, — часто говаривала она Марье, — тогда рехнулся в уме! Чего ему было соваться туда, где его не спрашивали? Теперь сидеть тебе в девках!

Лет двадцать тому назад, когда Ивановна была молода и хороша, она бы не отчаялась уговорить Онуфрича, чтоб он попросил прощения у тетушки и с нею примирился; но с тех пор, как розы на ее ланитах стали уступать место морщинам, Онуфрич вспомнил, что муж есть глава жены своей, — и бедная Ивановна с горестью принуждена была отказаться от прежней власти. Онуфрич не только сам никогда не говорил о старушке, но строго запретил жене и дочери упоминать о ней. Несмотря на то, Ивановна вознамерилась сблизиться с теткою. Не смея действовать явно, она решилась тайно от мужа побывать у старушки и уверить ее, что ни она, ни дочь нимало не причастны дурачеству ее племянника.

Наконец случай благоприятствовал ее намерению: Онуфрича на время откомандировали на место заболевшего станционного смотрителя, и Ивановна с трудом при прощаньи

могла скрыть радость свою. Не успела она проводить дорогого мужа за заставу, не успела еще отереть глаз от слез, как схватила дочь свою под руку и поспешила с нею домой.

— Машенька! — сказала она ей: — скорей оденься по-лучше; мы пойдем в гости.

— К кому, матушка? — спросила Маша с удивлением.

— К добрым людям, — отвечала мать. — Скорей, скорей, Машенька, не теряй времени; теперь уже смеркается, а нам итти далеко.

Маша подошла к висящему на стене в бумажной рамке зеркалу — гладко зачесала волосы за уши и утвердила длинную темнорусую косу роговою гребенкою; потом надела красное ситцевое платье и шелковый платочек на шею; еще раза два повернулась перед зеркалом — и объявила матушке, что она готова.

Дорогою Ивановна открыла дочери, что они идут к тетке.

— Пока дойдем мы до ее дома, — сказала она, — сделается темно, и мы, верно, ее застанем. Смотри же, Маша, поцелуй у тетки ручку и скажи, что ты соскучилась, давно не видав ее. Она сначала будет сердиться, но я ее умилю; ведь не мы виноваты, что мой старик спятил с ума.

В сих разговорах они приблизились к дому старушки. Сквозь закрытые ставни сверкал огонь.

— Смотри же, не забудь поцеловать ручку, — повторила еще Ивановна, подходя к двери.

Султан громко залаял. Калитка отворилась, старушка протянула руку и ввела их в комнату. Она приняла их за обыкновенных вечерних гостей своих.

— Милостивая государыня тетушка! — начала речь Ивановна...

— Убирайтесь к ч...! — закричала старуха, узнав племянницу. — Зачем вы сюда пришли? Я вас не знаю и знать не хочу.

Ивановна начала рассказывать, браить мужа и просить прощенья; но старуха была неумолима.

— Говорю вам, убирайтесь! — кричала она, — а не то!.. — Она подняла на них руку.

Маша испугалась, вспомнила приказание матушки и, громко рыдая, бросилась целовать ее руки.

— Бабушка, сударыня! — говорила она, — не гневайтесь на меня; я так рада, что опять вас увидела!

Слезы Машины, наконец, тронули старуху.

— Перестань плакать, — сказала она, — я на тебя не сердита: знаю, что ты ни в чем не виновата, мое дитячко! Не плачь же, Машенька! Как ты выросла, как похорошела! — Она потрепала ее по щеке. — Садись подле меня, — продол-

жала она. — Милости просим садиться, Марфа Ивановна! Каким образом вы обо мне вспомнили после столь долгого времени?

Ивановна обрадовалась этому вопросу и начала рассказывать: как она уговаривала мужа, — как он ее не послушал, — как запретил им ходить к тетушке, — как они огорчались — и как, наконец, она воспользовалась отсутствием Онуфрича, чтоб засвидетельствовать тетушке нижайшее почтение. Старушка с нетерпением выслушала рассказы Ивановны.

— Быть так, — сказала она ей: — я не злопамятна; но если вы искренно желаете, чтоб я забыла прошедшее, то обещайтесь, что во всем будете следовать моей воле! С этим условием я приму вас опять в свою милость и сделаю Машу счастливою.

Ивановна поклялась, что все ее приказания будут свято исполнены.

— Хорошо, — молвила старуха: — теперь идите с богом; а завтра ввечеру пускай Маша придет ко мне одна, не ранее, однако, половины двенадцатого часа. Слышишь ли, Маша? Приходи одна.

Ивановна хотела было отвечать, но старуха не дала ей говорить ни слова. Она встала, выпроводила их из дому и хлопнула за ними дверь.

Ночь была темная. Долго шли они, взявшись за руки, не говоря ни слова. Наконец, подходя уже к зажженным фонарям, Маша робко оглянулась и прервала молчание.

— Матушка! — сказала она вполголоса, — неужели я завтра пойду одна к бабушке, ночью и в двенадцатом часу?..

— Ты слышала, что приказано тебе прийти одной. Впрочем, я могу проводить тебя до половины дороги.

Маша замолчала и предалась размышлениям. В то время, когда отец ее поссорился с своей теткой, Маше было не более тринадцати лет; она тогда не понимала причины этой ссоры и только жалела, что ее более не водили к доброй старушке, которая всегда ее ласкала и потчевала медовым маком. После того хотя и пришла уже она в совершенный возраст, но Онуфрич никогда не говорил ни слова об этом предмете; а мать всегда отзывалась о старушке с хорошей стороны и всю вину слагала на Онуфрича. Таким образом Маша в тот вечер с удовольствием последовала за матерью. Но когда старуха приняла их с бранью; когда Маша при дрожащем свете лампы взглянула на посиневшее от злости лицо ее, — тогда сердце в ней содрогнулось от страха. В продолжение длинного рассказа Ивановны воображению ее представилось, как будто в густом тумане, все то, что в детстве своем она слышала о бабушке... и если б в это время старуха не держала ее за руку, то, может быть, она бросилась бы бежать из дому. Итак, можно вообразить, с каким чувством она помышляла о завтрашнем дне.

Возвратясь домой, Маша со слезами просила мать, чтоб она не посылала ее к бабушке; но просьбы ее были тщетны. — Какая же ты дура, — говорила ей Ивановна, — чего тут бояться? Я тихонько провожу тебя почти до дому, дорогой тебя никто не тронет, а беззубая бабушка тоже тебя не съест!

Следующий день Маша весь проплакала. Начало смеркаться — и ужас ее увеличился; но Ивановна как будто ничего не примечала, — она почти насильно ее нарядила.

— Чем более ты будешь плакать, тем для тебя хуже, — сказала она. — Что-то скажет бабушка, когда увидит красные твои глаза!

Между тем кукушка на стенных часах прокричала одиннадцать раз. Ивановна набрала в рот холодной воды, брызнула Маше в лицо и потащила ее за собою.

Маша следовала за матерью, как жертва, которую ведут на заклание. Сердце ее громко билось, ноги через силу двигались, и таким образом они прибыли в Лафертовскую часть. Еще несколько минут шли они вместе; но лишь только Ивановна увидела мелькающий вдаль между ставней огонь, как пустила руку Машину.

— Теперь иди одна, — сказала она: — далее я не смею тебя провожать.

Маша в отчаянии бросилась к ней в ноги.

— Полно дурачиться! — вскричала мать строгим голосом. — Что тебе делается? Будь послушна и не вводи меня в сердце!

Бедная Маша собрала последние силы и тихими шагами удалилась от матери. Тогда был в исходе двенадцатый час; никто с нею не повстречался, и нигде, кроме старушкина дома, не видно было огня. Казалось, будто вымерли все жители той части города; мрачная тишина царствовала повсюду; один только глухой шум от собственных ее шагов отзывался у нее в ушах. Наконец пришла она к домику и трепещущею рукою дотронулась до калитки... Вдали, на колокольне Никиты мученика, ударило двенадцать часов. Звуки колокола в тишине черной ночи дрожащим гулом расстилались по воздуху и доходили до ее слуха. Внутри домика кот громко промяукал двенадцать раз... Она сильно вздрогнула и хотела бежать... но вдруг раздался громкий лай цепной собаки, заскрипела калитка — и длинные пальцы старухи схватили ее за руку. Маша не помнила, как взошла на крылечко и как очутилась в бабушкиной комнате... Пришед немного в себя, она увидела, что сидит на скамье; перед нею стояла старуха и терла виски ее муравьиным спиртом.

— Как ты напугана, моя голубка! — говорила она ей. — Ну, ну, темнота на дворе самая прекрасная; но ты, мое дитяtko,

еще не узнала ее цены и потому боишься. Отдохни немного; пора нам приняться за дело!

Маша не отвечала ни слова; утомленные от слез глаза ее следовали за всеми движениями бабушки. Старуха подвинула стол на середину комнаты, из стенного шкафа вынула большую темноалую свечку, зажгла ее и прикрепила к столу, а лампаду потушила. Комната осветилась розовым светом. Все пространство от полу до потолка как будто наполнилось длинными нитками кровавого цвета, которые тянулись по воздуху в разных направлениях — то свертывались в клуб, то опять развивались, как змеи...

— Прекрасно, — сказала старушка и взяла Машу за руку. — Теперь иди за мною.

Маша дрожала всеми членами; она боялась идти за бабушкой, но еще более боялась ее рассердить. С трудом поднялась она на ноги.

— Держись крепко за полы мои, — прибавила старуха, — и следуй за мной... не бойся ничего!

Старуха начала ходить кругом стола и протяжным напевом произносила непонятные слова; перед нею плавно выступал черный кот с сверкающими глазами и с поднятым вверх хвостом. Маша крепко зажмурилась и трепещущими шагами шла за бабушкой. Трижды три раза старуха обошла вокруг стола, продолжая таинственный напев свой, сопровождаемый мурлыканьем кота. Вдруг она остановилась и замолчала... Маша невольно раскрыла глаза — те же кровавые нитки все еще растягивались по воздуху. Но бросив нечаянно взгляд на черного кота, она увидела, что на нем зеленый мундирный сюртук; а на месте прежней котовой круглой головки показалось ей человеческое лицо, которое, вытараща глаза, устремляло взоры прямо на нее... Она громко закричала и без чувств упала на землю...

Когда она опомнилась, дубовый стол стоял на старом месте, темноалой свечки уже не было и на столе попрежнему горела лампада; бабушка сидела подле нее и смотрела ей в глаза, усмехаясь с веселым видом.

— Какая же ты, Маша, трусиха! — говорила она ей. — Но до того нужды нет; я и без тебя кончила дело. Поздравляю тебя, родная, — поздравляю тебя с женихом! Он человек очень мне знакомый и должен тебе нравиться. Маша, я чувствую, что недолго мне осталось жить на белом свете; кровь моя уже слишком медленно течет по жилам, и временем сердце останавливается... Мой верный друг, — продолжала старуха, взглянув на кота, — давно уже зовет меня туда, где остывшая кровь моя опять согрестся. Хотелось бы мне еще немного пожить под светлым солнышком, хотелось бы еще полюбоваться золотыми де-

нежками... но последний час мой скоро стукнет. Что ж делать! Чему быть, тому не миновать.

— Ты, моя Маша, — продолжала она, вялыми губами поцеловав ее в лоб, — ты после меня обладать будешь моими сокровищами; тебя я всегда любила и охотно уступаю тебе место! Но выслушай меня со вниманием: придет жених, назначенный тебе тою силою, которая управляет большею частию браков... Я для тебя выпросила этого жениха; будь послушна и выдь за него. Он научит тебя той науке, которая помогла мне накопить себе клад; общими вашими силами он нарастет еще вдвое, — и прах мой будет покоен. Вот тебе ключ; береги его пуще глаза своего. Мне не позволено сказать тебе, где спрятаны мои деньги; но как скоро ты выйдешь замуж, все тебе откроется!

Старуха сама повесила ей на шею маленький ключ, надевший на черный шнурок. В эту минуту кот громко промяукал два раза.

— Вот уже настал третий час утра, — сказала бабушка. — Иди теперь домой, дорогое мое дитя! Прощай! Может быть, мы уже не увидимся...

Она проводила Машу на улицу, вошла опять в дом и затворила за собой калитку.

При бледном свете луны Маша скорыми шагами поспешила домой. Она была рада, что ночное ее свидание с бабушкой кончилось, и с удовольствием помышляла о будущем своем богатстве. Долго Ивановна ожидала ее с нетерпением.

— Слава богу! — сказала она, увидев ее. — Я уже боялась, чтоб с тобою чего-нибудь не случилось. Рассказывай скорей, что ты делала у бабушки?

Маша готовилась повиноваться, но сильная усталость мешала ей говорить. Ивановна, заметив, что глаза ее невольно смыкаются, оставила до другого утра удовлетворение своего любопытства, сама раздела любезную дочку и уложила ее в постель, где она вскоре заснула глубоким сном.

Проснувшись на другой день, Маша насилу собралась с мыслями. Ей казалось, что все, случившееся с нею накануне, не что иное, как тяжелый сон; когда же взглянула нечаянно на висящий у нее на шее ключ, то удостоверилась в истине всего, ею виденного, — и обо всем с подробностью рассказала матери. Ивановна была вне себя от радости.

— Видишь ли теперь, — сказала она, — как хорошо я сделала, что не послушалась твоих слез?

Весь тот день мать с дочерью провели в сладких мечтах о будущем благополучии. Ивановна строго запретила Маше ни слова не говорить отцу о свидании своем с бабушкой.

— Он человек упрямый и вздорливый, — примолвила она, — и в состоянии все дело испортить.

Против всякого ожидания Онуфрич приехал на следующий день поздно ввечеру. Станционный смотритель, которого должность ему приказано было исправлять, нечаянно выздоровел, и он воспользовался первою едущей в Москву почтою, чтоб возвратиться домой.

Не успел он еще рассказать жене и дочери, по какому случаю он так скоро воротился, как вошел к ним в комнату прежний его товарищ, который тогда служил будочником в Лафертовской части, неподалеку от дома Маковницы.

— Тетушка приказала долго жить! — сказал он, не дав себе даже времени сперва поздороваться.

Маша и Ивановна взглянули друг на друга.

— Упокой господи ее душу! — воскликнул Онуфрич, смиренно сложив руки. — Помолимся за покойницу; она имеет нужду в наших молитвах!

Он начал читать молитву. Ивановна с дочерью крестились и клали земные поклоны; но на уме у них были сокровища, их ожидающие. Вдруг они обе вздрогнули в одно время... Им показалось, что покойница с улицы смотрит к ним в комнату и им кланяется! Онуфрич и будочник, молившиеся с усердием, ничего не заметили.

Несмотря на то, что было уже поздно, Онуфрич отправился в дом покойной тетки. Дорогою прежний товарищ его рассказывал все, что ему известно было о ее смерти.

— Вчера, — говорил он, — тетка твоя в обыкновенное время пришла к себе; соседи видели, что у нее в доме светился огонь. Но сегодня она уже не являлась у Проломной, и из этого заключили, что она нездорова. Наконец под вечер решились войти к ней в комнату, но ее не застали уже в живых: так иные рассказывают о смерти старухи. Другие утверждают, что в прошедшую ночь что-то необыкновенное происходило в ее доме. Сильная буря, говорят, бушевала около хижины, тогда как везде погода стояла тихая; собаки из всего околотка собрались перед ее окном и громко выли; мяуканье ее кота слышно было издалека... Что касается до меня, то я нынешнюю ночь спокойно проспал; но товарищ мой, стоявший на часах, уверяет, что он видел, как с самого Введенского кладбища прыгающие по земле огоньки длинными рядами тянулись к ее дому и, доходя до калитки, один за другим, как будто проскакивая под нее, исчезали. Необыкновенный шум, свист, хохот и крик, говорят, слышен был в ее доме до самого рассвета. Странно, что до сих пор нигде не могли отыскать черного ее кота!

Онуфрич с горестию внимал рассказу будочника, не отвечая ему ни слова. Таким образом пришли они в дом покойницы. Услужливые соседки, забыв страх, который внушала им ста-

рушка при жизни, успели ее уже омыть и одеть в праздничное платье. Когда Онуфрич вошел в комнату, старушка лежала на столе. В головах у ней сидел дьячок и читал псалтырь. Онуфрич, поблагодарив соседок, послал купить восковых свеч, заказал гроб, распорядился, чтоб было что попить и поесть желающим проводить ночь у покойницы, и отправился домой. Выходя из комнаты, он никак не мог решиться поцеловать у тетушки руку.

В следующий день назначено быть похоронам. Ивановна для себя и для дочери взяла напрокат черные платья, и обе явились в глубоком трауре. Сначала все шло надлежащим порядком. Одна только Ивановна, прощаясь с теткою, вдруг отскочила назад, побледнела и сильно задрожала. Она уверяла всех, что ей сделалось дурно; но после того тихонько призналась Маше, что ей показалось, будто покойница разинула рот и хотела схватить ее за нос. Когда же стали поднимать гроб, то он сделался так тяжел, как будто налитой свинцом, и шесть широкоплечих почталюнов насилу могли его вынести и поставить на дроги. Лошади сильно храпели, и с трудом можно было их принудить двигаться вперед.

Эти обстоятельства и собственные замечания Маши подали ей повод к размышлениям. Она вспомнила, какими средствами сокровища покойницы были собраны, и обладание оными показалось ей не весьма лестным. В некоторые минуты ключ, висевший у нее на шее, как тяжелый камень давил ей грудь, и она неоднократно принимала намерение все открыть отцу и просить у него совета; но Ивановна строго за ней присматривала и беспрестанно твердила, что она всех их делает несчастными, если не станет слушаться приказаний старушки. Демон корыстолюбия совершенно овладел душою Ивановны, и она не могла дожидаться времени, когда явится суженый жених и откроет средство — завладеть кладом. Хотя она и боялась думать о покойнице и хотя при воспоминании об ней холодный пот выступал у нее на лице, но в душе ее жадность к золоту была сильнее страха, и она беспрестанно докучала мужу, чтоб он переехал в Лафертовскую часть, уверяя, что всякий их осудит, если они жить будут на наемной квартире тогда, когда у них есть собственный дом.

Между тем Онуфрич, отслужив свои годы и получив отставку, начал помышлять о покое. Мысль о доме производила в нем неприятное впечатление, когда вспоминал он о той, от которой он ему достался. Он даже всякий раз невольно вздрагивал, когда случалось ему вступать в комнату, где прежде жила старуха. Но Онуфрич был набожен и благочестив и верил, что никакие нечистые силы не имеют власти над чистою совестью; и потому, рассудив, что ему выгоднее жить в своем

доме, нежели нанимать квартиру, он решился превозмочь свое отвращение и переехать.

Ивановна сильно обрадовалась, когда Онуфрив велел переноситься в лафертовский дом.

— Увидишь, Маша, — сказала она дочери, — что теперь скоро явится жених. То-то мы заживем, когда у нас будет полна палата золота. Как удивятся прежние соседи наши, когда мы въедем к ним на двор в твоей карете, да еще, может быть, и четверней!

Маша молча на нее смотрела и печально улыбалась. С некоторых пор у нее совсем иное было на уме.

За несколько дней перед их разговором (они еще жили на прежней квартире) Маша в одно утро, задумавшись, сидела у окна. Мимо ее прошел молодой хорошо одетый мужчина, взглянул на нее и учтиво снял шляпу. Маша ему тоже поклонилась и, сама не зная отчего, вдруг покраснелась! Немного погодя тот же молодой человек прошел назад, потом обернулся, прошел еще и опять воротился. Всякий раз он смотрел на нее, и у Маши всякий раз сильно билось сердце. Маше уже минуло семнадцать лет; но до сего времени никогда не случалось, чтоб у нее билось сердце, когда кто-нибудь проходил мимо окошек. Ей показалось это странным, и она после обеда села к окну — для того только, чтоб узнать, забьется ли сердце, когда опять пройдет молодой мужчина... Таким образом она просидела до вечера, однако никто не являлся. Наконец, когда подали огонь, она отошла от окна и целый вечер была печальна и задумчива; она досадовала, что ей не удалось повторить опыта над своим сердцем.

На другой день Маша, только что проснулась, тотчас вскочила с постели, поспешно умылась, оделась, помолилась богу и села к окну. Взоры ее устремлены были в ту сторону, откуда накануне шел незнакомец. Наконец она его увидела; глаза его еще издали ее искали, — а когда подошел он ближе, взоры их как будто нечаянно встретились. Маша, забывшись, приложила руку к сердцу, чтоб узнать, бьется ли оно?.. Молодой человек, заметив сие движение и, вероятно, не понимая, что оно значит, — тоже приложил руку к сердцу... Маша опомнилась, покраснела и отскочила назад. После того она целый день уже не подходила к окну, опасаясь увидеть молодого человека. Несмотря на то, он не выходил у нее из памяти; она старалась думать о других предметах, но усилия ее были напрасны.

Чтоб разбить мысли, она вздумала ввечеру итти в гости к одной вдове, жившей с ними в соседстве. Входя к ней в комнату, к крайнему удивлению увидела она того самого незнакомца, которого тщетно забыть старалась. Маша испугалась, покраснела, потом побледнела и не знала, что сказать. Слезы

заблестали у ней в глазах. Незнакомец опять ее не понял... он печально ей поклонился, вздохнул — и вышел вон. Она еще более смешалась и с досады заплакала. Встревоженная соседка посадила ее возле себя и с участием спросила о причине ее огорчения. Маша сама не ясно понимала, о чем плакала, и потому не могла объявить причины; внутренне же она приняла твердое намерение сколько можно убежать незнакомца, который довел ее до слез. Эта мысль ее успокоила. Она вступила в разговор с соседкой и начала ей рассказывать о домашних своих делах и о том, что они, может быть, скоро переедут в Лафертовскую часть.

— Жаль мне, — сказала вдова, — очень жаль, что лишусь добрых соседей; и не я одна о том жалеть буду. Я знаю одного человека, который очень огорчится, когда узнает эту новость.

Маша опять покраснела; хотела спросить, кто этот человек, — но не могла выговорить ни слова. Услужливая соседка верно угадала мысли ее, ибо она продолжала так:

— Вы не знаете молодого мужчины, который теперь вышел из комнаты? Может быть, вы даже и не заметили, что он вчера и сегодня проходил мимо вашего дома; но он вас видел и нарочно зашел ко мне, чтоб расспросить у меня об вас. Не знаю, ошибаюсь ли я или нет, а мне кажется, что вы крепко задели бедное его сердечко! Чего тут краснеть! — прибавила она, заметив, что у Маши разгорелись щеки. — Он человек молодой, пригожий, и если нравится Машеньке, то, может быть, скоро дойдет дело и до свадьбы.

При сих словах Машенька невольно вспомнила о бабушке. «Ах! — сказала она сама себе, — не это ли жених, мне назначенный?» Но вскоре мысль эта уступила место другой, не столь приятной. «Не может быть, — подумала она, — чтоб такой пригожий молодец имел короткую связь с покойницею. Он так мил, одет так щеголевато, что, верно, не умел бы удвоить бабушкина клада!»

Между тем соседка продолжала ей рассказывать, что он хотя из мещанского состояния, но поведения хорошего и трезвого и сидельцем в суконном ряду. Денег у него больших нет; зато жалованье получает изрядное, и кто знает? может быть, хозяин когда-нибудь примет его в товарищи!

— Итак, — прибавила она, — послушайся доброго совета: не отказывай молодцу. Деньги не делают счастья! Вот бабушка твоя, — прости господи мое согрешение! — денег у нее было невесть сколько; а теперь куда все это девалось?.. И черный кот, говорят, провалился сквозь землю — и деньги туда же!

Маша внутренне очень согласна была с мнением соседки; и ей также показалось, что лучше быть бедною и жить с любезным незнакомцем, нежели богатой и принадлежать — бог знает

кому! Она чуть было не открылась во всем; но вспомнив строгие приказания матери и опасаясь собственной своей слабости, поспешно встала и простилась. Выходя уже из комнаты, она, однако, не могла утерпеть, чтоб не спросить об имени незнакомца.

— Его зовут Улияном, — отвечала соседка.

С этого времени Улиян не выходил из мыслей у Маши: все в нем, даже имя, ей нравилось. Но чтоб принадлежать ему, надобно было отказаться от сокровищ, оставленных бабушкою. Улиян был не богат, и верно, думала она, ни батюшка, ни матушка не согласятся за него меня выдать! В этом мнении еще более она уверилась тем, что Ивановна беспрестанно твердила о богатстве, их ожидающем, и о счастливой жизни, которая тогда начнется. Итак, страшась гнева матери, Маша решилась не думать больше об Улияне: она остерегалась подходить к окну, избегала всяких разговоров с соседкою и старалась казаться веселою; но черты Улияна твердо врезались в ее сердце.

Между тем настал день, в который должно было переехать в лафертовский дом. Онуффрич заранее отправился, приказав жене и дочери следовать за ним с пожитками, уложенными еще накануне. Подъехали двое роспусок; извозчики с помощью соседей вынесли сундуки и мебель. Ивановна и Маша, каждая взяла в руки по большому узлу, и — маленький караван тихим шагом потянулся к Проломной заставе. Проходя мимо квартиры вдовы соседки, Маша невольно подняла глаза: у открытого окошка стоял Улиян с поникшею головою; глубокая печаль изображалась во всех чертах его. Маша как будто его не заметила и отворотилась в противную сторону; но горькие слезы градом покатались по бледному ее лицу.

В доме давно уже ожидал их Онуффрич. Он подал мнение свое, куда поставить привезенную мебель, и объяснил им, каким образом он думает расположиться в новом жилище.

— В этом чулане, — сказал он Ивановне, — будет наша спальня; подле нее, в маленькой комнате, поставятся образа; а здесь будет и гостиная наша и столовая. Маша может спать наверху в светлице. Никогда, — продолжал он, — не случилось мне жить так на просторе; но не знаю, почему у меня сердце не на месте. Дай бог, чтоб мы здесь были так же счастливы, как в прежних тесных комнатах!

Ивановна невольно улыбнулась. «Дай срок! — подумала она, — в таких ли мы будем жить палатах!»

Радость Ивановны, однако, в тот же день гораздо поуменьшилась: лишь только настал вечер, как пронзительный свист раздался по комнатам и ставни застучали.

— Что это такое? — вскричала Ивановна.

— Это ветер, — хладнокровно отвечал Онуффрич, — видно, ставни неплотно запираются; завтра надобно будет починить.

Она замолчала и бросила значительный взгляд на Машу; ибо в свисте ветра находила она сходство с голосом старухи.

В это время Маша смиренно сидела в углу и не слышала ни свисту ветра, ни стуку ставней — она думала об Улияне. Ивановне страшнее показалось то, что только ей одной послышался голос старухи. После ужина она вышла в сени, чтоб спрятать остатки от умеренного их стола; подошла к шкафу, поставила подле себя на пол свечку и начала устанавливать на полки блюда и тарелки. Вдруг услышала она подле себя шорох, и кто-то легонько ударил ее по плечу... Она оглянулась... за нею стояла покойница в том самом платье, в котором ее похоронили!.. Лицо ее было сердито; она подняла руку и грозила ей пальцем. Ивановна в сильном ужасе громко вскричала. Онуфрич и Маша бросились к ней в сени.

— Что с тобою делается? — закричал Онуфрич, увидя, что она была бледна, как полотно, и дрожала всеми членами.

— Тетушка! — сказала она трепещущим голосом... Она хотела продолжать, но тетушка опять явилась пред нею... лицо ее казалось еще сердитее — и она еще строже ей грозила. Слова замерли на устах Ивановны.

— Оставь мертвых в покое, — отвечал Онуфрич, взяв ее за руку и вводя обратно в комнату. — Помолись богу, и греза от тебя отстанет. Пойдем, ложись в постель, пора спать!

Ивановна легла, но покойница все представлялась ее глазам в том же сердитом виде. Онуфрич, спокойно раздевшись, громко начал молиться, и Ивановна заметила, что, по мере того как она вслушивалась в молитвы, вид покойницы становился бледнее, бледнее — и наконец совсем исчез.

И Маша тоже беспокойно провела эту ночь. При входе в светлицу ей представилось, будто тень бабушки мелькала перед нею — но не в том грозном виде, в котором являлась она Ивановне. Лицо ее было весело, и она умильно ей улыбалась. Маша перекрестилась — и тень пропала. Сначала она сочла это игрою воображения, и мысль об Улияне помогла ей разогнать мысль о бабушке; она довольно спокойно легла спать и вскоре заснула. Вдруг около полуночи что-то ее разбудило. Ей показалось, что холодная рука гладила ее по лицу... она вскочила. Перед образом горела лампада, и в комнате не видно было ничего необыкновенного; но сердце в ней трепетало от страха: она внятно слышала, что кто-то ходит по комнате и тяжело вздыхает... Потом как будто дверь отворилась и заскрыпела... и кто-то сошел вниз по лестнице.

Маша дрожала, как лист. Тщетно старалась она опять заснуть. Она встала с постели, поправила светильню лампы и подошла к окну. Ночь была темная. Сначала Маша ничего не видала; потом показалось ей, будто на дворе, подле самого

колодца, вспыхнули два небольшие огонька. Огоньки эти попеременно то погасали, то опять вспыхивали; потом они как будто ярче загорели, и Маша ясно увидела, как подле колодца стояла покойная бабушка и манила ее к себе рукою... За нею на задних лапах сидел черный кот, и оба глаза его в густом мраке светились, как огни. Маша отошла прочь от окна, бросилась на постель и крепко закутала голову в одеяло. Долго казалось ей, будто бабушка ходит по комнате, шарит по углам и тихо зовет ее по имени. Один раз ей даже представилось, что старушка хотела сдернуть с нее одеяло; Маша еще крепче в него завернулась. Наконец все утихло; но Маша во всю ночь уже не могла сомкнуть глаз.

На другой день решила она объявить матери, что откроет все отцу своему и отдаст ему ключ, полученный от бабушки. Ивановна во время вечернего страха и сама бы рада была отказаться от всех сокровищ; но когда поутру взошло красное солнышко и яркими лучами осветило комнату, то и страх исчез, как будто его никогда не бывало. На место того веселые картины будущей счастливой жизни опять заняли ее воображение. «Не вечно же будет пугать меня покойница, — думала она, — выйдет Маша замуж, и старуха успокоится. Да и чего теперь она хочет? Уж не за то ли она гневается, что я никак не намерена сберегать ее сокровища? Нет, тетушка, гневайся, сколько угодно, а мы протрем глаза твоим рублевикам!»

Тщетно Маша упрашивала мать, чтоб она позволила ей открыть отцу их тайну.

— Ты насильно отталкиваешь от себя счастье, — отвечала Ивановна. — погоди еще хотя дня два, — верно, скоро явится жених твой, и все пойдет на лад.

— Дня два! — повторила Маша. — Я не переживу и одной такой ночи, какова была прошедшая.

— Пустое, — сказала ей мать, — может быть, и сегодня все дело придет к концу.

Маша не знала, что делать. С одной стороны, она чувствовала необходимость рассказать все отцу; с другой — боялась рассердить мать, которая никогда бы ей этого не простила. Будучи в крайнем недумении, на что решиться, вышла она со двора и в задумчивости бродила долго по самым уединенным улицам Лафертовской части. Наконец, не придумав ничего, воротилась домой. Ивановна встретила ее в сенях.

— Маша! — сказала она ей, — скорей поди вверх и приоденся: уж более часу сидит с отцом жених твой и тебя ожидает.

У Маши сильно забилось сердце, и она пошла к себе. Тут слезы ручьем полились из глаз ее. Улиян представился ее воображению в том печальном виде, в котором она видела его в по-

следний раз. Она забыла наряжаться. Наконец строгий голос матери прервал ее размышления.

— Маша! Долго ли тебе прихорашиваться? — кричала Ивановна снизу. — Сойди сюда!

Маша поспешила вниз в том же платье, в котором вошла в свою светлицу. Она отворила дверь и оцепенела!.. На скамье подле Онуфрича сидел мужчина небольшого роста в зеленом муидирном сюртуке, — то самое лицо устремило на нее взор, которое некогда видела она у черного кота. Она остановилась в дверях и не могла идти далее.

— Подойди поближе, — сказал Онуфрич, — что с тобою сделалось?

— Батюшка! Это бабушкин черный кот, — отвечала Маша, забывшись и указывая на гостя, который странным образом повертывал головою и умильно на нее поглядывал, почти совсем закружив глаза.

— С ума ты сошла! — вскричал Онуфрич с досадою. — Какой кот? Это г. титулярный советник Аристарх Фалелеич Мурлыкин, который делает тебе честь и просит твоей руки.

При сих словах Аристарх Фалелеич встал — плавно выступая, приблизился к ней и хотел поцеловать у нее руку. Маша громко закричала и подалась назад. Онуфрич с сердцем вскочил с скамейки.

— Что это значит? — закричал он. — Эдакая ты неучтивая, точно деревенская девка!..

Однакож Маша его не слушала.

— Батюшка! — сказала она ему вне себя, — воля ваша! Это бабушкин черный кот! Велите ему скинуть перчатки; вы увидите, что у него есть когти. — С сими словами она вышла из комнаты и убежала в светлицу.

Аристарх Фалелеич тихо что-то ворчал себе под нос. Онуфрич и Ивановна были в крайнем замешательстве; но Мурлыкин подошел к ним, все так же улыбаясь.

— Это ничего, сударь, — сказал он, сильно картавя, — ничего, сударыня, прошу не прогневаться! Завтра я опять приду, завтра дорогая невеста лучше меня примет.

После того он несколько раз им поклонился, с приятностию выгибая круглую свою спину, и вышел вон. Маша смотрела из окна и видела, как Аристарх Фалелеич сошел с лестницы и, тихо передвигая ноги, удалился; но дошед до конца дома, он вдруг повернул за угол и пустился бежать, как стрела. Большая соседская собака с громким лаем во всю прыть кинулась за ним, однако не могла его догнать.

Ударило двенадцать часов; настало время обедать. В глухом молчании все трое сели за стол, и никому не хотелось кушать. Ивановна от времени до времени сердито взглядывала

на Машу, которая сидела с потупленными глазами. Онуфрив тоже был задумчив. В конце обеда принесли Онуфриву письмо; он распечатал — и на лице его изобразилась радость. Потом он встал из-за стола, поспешно падел новый сюртук, взял в руки шляпу и трость и готовился итти со двора.

— Куда ты идешь, Онуфрив? — спросила Ивановна.

— Я скоро ворочусь, — отвечал он и вышел.

Лишь только он затворил за собою дверь, как Ивановна начала бранить Машу.

— Негодная! — сказала она ей, — так-то любишь и считаешь ты мать свою? Так-то повинешься ты родителям? Но я тебе говорю, что приму тебя в руки! Только смей опять подурачиться, когда пожалует к нам завтра Аристарх Фалелеич!

— Матушка! — отвечала Маша со слезами, — я во всем рада слушаться, только не выдавайте меня за бабушкина кота!

— Какую дичь ты опять заперола? — сказала Ивановна. — Стыдись, сударыня; все знают, что он титулярный советник.

— Может быть, и так, матушка, — отвечала бедная Маша, горько рыдая, — но он кот, право кот!

Сколько ни бранила ее Ивановна, сколько ее ни уговаривала, но она все твердила, что никак не согласится выйти замуж за бабушкина кота; и наконец Ивановна всердцах выгнала ее из комнаты. Маша пошла в свою светлицу и опять принялась горько плакать.

Спустя несколько времени она услышала, что отец ее воротился домой, и немного погодя ее кликнули. Она сошла вниз; Онуфрив взял ее за руку и обнял с нежностью.

— Маша! — сказал он ей, — ты всегда была добрая девушка и послушная дочь! — Маша заплакала и поцеловала у него руку. — Теперь ты можешь доказать нам, что ты нас любишь! Слушай меня со вниманием. Ты, я думаю, помнишь о маркитанте, о котором я часто вам рассказывал и с которым свел я такую дружбу во время турецкой войны: он тогда был человек бедный, и я имел случай оказать ему важные услуги. Мы принуждены были расстаться и поклялись вечно помнить друг друга. С того времени прошло более тридцати лет, и я совершенно потерял его из виду. Сегодня за обедом получил я от него письмо; он недавно приехал в Москву и узнал, где я живу. Я поспешил к нему; ты можешь себе представить, как мы обрадовались друг другу. Приятель мой имел случай вступить в ряды, разбогател и теперь приехал сюда жить на покое. Узнав, что у меня есть дочь, он обрадовался; мы ударили по рукам, и я пресватал тебя за его единственного сына. Старики не любят терять времени — и сегодня ввечеру они оба у нас будут.

Маша еще горче заплакала; она вспомнила об Улиане.

— Послушай, Маша! — сказал Онуфрив: — сегодня поутру сватался за тебя Мурлыкин; он человек богатый, которого знают все в здешнем околотке. Ты за него выйти не захотела; и признаюсь, — хотя я очень знаю, что титулярный советник не может быть котом, или кот титулярным советником, — однако мне самому он показался подозрительным. Но сын приятеля моего — человек молодой, хороший, и ты не имеешь никакой причины ему отказать. Итак, вот тебе мое последнее слово: если не хочешь отдать руку свою тому, которого я выбрал, то готовься завтра поутру согласиться на предложение Аристарха Фалелеича... Поди и одумайся.

Маша в сильном огорчении возвратилась в свою светлицу. Она давно решила ни для чего в свете не выходить за Мурлыкина; но принадлежать другому, а не Улияну — вот что показалось ей жестоким! Немного погодя вошла к ней Ивановна.

— Милая Маша! — сказала она ей: — послушайся моего совета. Все равно, выходить тебе за Мурлыкина или за маркиганта: откажи последнему и ступай за первого. Отец хотя и говорил, что маркигант богат, но ведь я отца твоего знаю! У него всякий богат, у кого сотня рублей за пазухой. Маша! Подумай, сколько у нас будет денег... а Мурлыкин, право, не противен. Хотя он уже не совсем молод, но зато как вежлив, как ласков! Он будет тебя носить на руках.

Маша плакала, не отвечая ни слова; а Ивановна, думая, что она согласилась, вышла вон, дабы муж не заметил, что она ее уговаривала. Между тем Маша, скрепя сердце, решила принести отцу на жертву любовь свою к Улияну. «Постараюсь его забыть, — сказала она сама себе: — пускай батюшка будет счастлив моим послушанием. Я и так перед ним виновата, что против его воли связалась с бабушкой!»

Лишь только смерклось, Маша тихонько сошла с лестницы — и направила шаги прямо к колодезю. Едва вступила она на двор, как вдруг вихрь поднялся вокруг нее, и казалось, будто земля колеблется под ее ногами... Толстая жаба с отвратительным криком бросилась к ней прямо навстречу; но Маша перекрестилась и с твердостью пошла вперед. Подходя к колодезю, слышался ей жалостный вопль, как будто выходящий с самого дна. Черный кот печально сидел на срубе и мяукал унылым голосом. Маша отворотилась и подошла ближе; твердою рукою сняла она с шеи шнурок и с ним ключ, полученный от бабушки.

— Возьми назад свой подарок! — сказала она. — Не надо мне ни жениха твоего, ни денег твоих; возьми и оставь нас в покое.

Она бросила ключ прямо в колодезь; черный кот завизжал и кинулся туда же; вода в колодезе сильно закипела... Маша пошла домой. С груди ее свалился тяжелый камень.

Подходя к дому, Маша услышала незнакомый голос, разговаривающий с ее отцом. Онуфрич встретил ее у дверей и взял за руку.

— Вот дочь моя! — сказал он, подводя ее к почтенному старику с седою бородою, который сидел на лавке. Маша поклонилась ему в пояс.

— Онуфрич! — сказал старик: — познакомь же ее с женихом.

Маша робко оглянулась — подле нее стоял Улиян! Она закричала и упала в его объятия...

Я не в силах описать восхищения обоих любовников. Онуфрич и старик узнали, что они уже давно познакомились, — радость их удвоилась. Ивановна утешилась, узнав, что у будущего свата несколько сот тысяч чистых денег в ломбарде. Улиян тоже удивился этому известию; ибо он никогда не думал, чтоб отец его был так богат. Недели чрез две после того их обвенчали.

В день свадьбы, ввечеру, когда за ужином в доме Улияна веселые гости пили за здоровье молодых, вошел в комнату известный будочник и объявил Онуфричу, что в самое то время, когда венчали Машу, потолок в лафертовском доме провалился и весь дом разрушился.

— Я и так не намерен был долее в нем жить, — сказал Онуфрич. — Садись с нами, мой прежний товарищ; налей стакан цимлянского и пожелай молодым счастья и — многие лета!

В. Ф. Одоевский

1803 ~ 1869.

**СКАЗКА О ТОМ, КАК ОПАСНО ДЕВУШКАМ
ХОДИТЬ ТОЛПОЮ ПО НЕВСКОМУ
ПРОСПЕКТУ**



**СКАЗКА О МЕРТВОМ ТЕЛЕ, НЕИЗВЕСТНО
КОМУ ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ**



ИСТОРИЯ О ПЕТУХЕ, КОШКЕ И ЛЯГУШКЕ



КНЯЖНА МИМИ



КНЯЖНА ЗИЗИ



КАТЯ ИЛИ ИСТОРИЯ ВОСПИТАННИЦЫ



ЧЕРНАЯ ПЕРЧАТКА



ЖИВОЙ МЕРТВЕЦ



ЖИВОПИСЕЦ



СКАЗКА О ТОМ, КАК ОПАСНО ДЕВУШКАМ ХОДИТЬ ТОЛПОЮ ПО НЕВСКОМУ ПРОСПЕКТУ

«Как, сударыня! Вы уже хотите оставить нас? С позволения вашего провожду вас». — «Нет, не хочу, чтоб такой учтивый господин потрудился для меня». — «Изволите шутить, сударыня».

*Manuel pour la conversation, par
Madame de Genlis, p. 375.¹*

Однажды в Петербурге было солнце; по Невскому проспекту шла целая толпа девушек; их было одиннадцать, не больше, не меньше, и одна другой лучше; да три маменьки, про которых, к несчастью, нельзя было сказать того же. Хорошенькие головки вертелись, ножки топали о гладкий гранит, — но им всем было очень скучно: они уж друг друга пересмотрели, давно друг с другом обо всем переговорили, давно друг друга пересмеяли и смертельно друг другу надоели; но все-таки держались рука за руку и, не отставая друг от дружки, шли монастырь монастырем; таков уже у нас обычай: девушка умрет со скуки, а не даст своей руки мужчине, если он не имеет счастья быть ей братом, дядюшкой или еще более завидного счастья — восьмидесяти лет от роду; ибо: «что скажут маменьки?» — Уж эти мне маменьки! Когда-нибудь доберусь я до них! Я выведу на свежую воду их старинные проказы! Я разберу их устав благочиния, я докажу им, что он не природой написан, не умом скреплен! Мешаются не в свое дело, а наши девушки скучают, скучают, вянут, вянут, пока не сделаются сами похожи на маменек, а маменькам то и по сердцу! — Погодите! Я вас!

Как бы то ни было, а наша толпа летела по проспекту и часто набегала на прохожих, которые останавливались, чтобы посмотреть на красавиц; но подходить к ним никто не подхо-

¹ «Руководство для разговора», составленное мадам Жанлис, стр. 375 (ред.).

дил — да и как подойти? Спереди маменька, сзади маменька, в середине маменька — страшно!

Вот на Невском проспекте новоприезжий искусник выставил блестящую вывеску — сквозь окошки светятся паробразные дымки, сыплются радужные цветы, золотистый атлас льется водопадом по бархату, и хорошенькие куколки, в пух разряженные, под хрустальными колпаками, кивают головками. Вдруг наша первая пара остановилась, поворотилась — и прыг на чугунные ступеньки; за ней другая, потом третья, и наконец вся лавка наполнилась красавицами. Долго они разбирали, любовались — да и было чем: хозяин такой быстрый, с синими очками, в модном фраке, с большими бакенбардами, затаянут, перетянут, чуть не ломается; он и говорит и продает, хвалит и бранит, и деньги берет и отмеривает; беспрестанно он расстилает и расставляет перед моими красавицами то газ из паутины с насыпью бабочкиных крылышек; то часы, которые укладывались на булавочной головке; то лорнет из мушиных глаз, в который в одно мгновение можно было видеть все, что кругом делается; то блонду, которая таяла от прикосновения; то башмачки, сделанные из стрекозиной лапки; то перья, сплетенные из пчелиной шерстки; то, увы! румяна, которые от духу налетали на щечку. Наши красавицы целый бы век остались в этой лавке, если бы не маменьки! Маменьки догадались, махнули чепчиками, поворотили налево кругом и, вышедши на ступеньки, благоразумно принялись считать, чтобы увериться, все ли красавицы выйдут из лавки; но, по несчастью (говорят, ворона умеет считать только до четырех), наши маменьки умели считать только до десяти; немудрено же, что они обочлись и отправились домой с десятью девушками, наблюдая прежний порядок и благочиние, а одиннадцатую позабыли в магазине.

Едва толпа удалилась, как заморский басурманин тотчас дверь на запор и к красавице; все с нее долой: и шляпку, и башмачки, и чулочки, оставил только, окаянный, юбку да кофточку; схватил несчастную за косу, поставил на полку и покрыл хрустальным колпаком.

Сам же за перочинный ножичек, шляпку в руки и с чрезвычайным проворством ну с нее срезывать пыль, налетевшую с мостовой; резал, резал, и у него в руках очутились две шляпки, из которых одна чуть было не взлетела на воздух, когда он надел ее на столбик; потом он так же осторожно срезал тисненные цветы на материи, из которой была сделана шляпка, и у него сделалась еще шляпка, потом еще раз — и вышла четвертая шляпка, на которой был только оттиск от цветов; потом еще — и вышла пятая шляпка простенькая; потом еще, еще — и всего набралось у него двенадцать шляпок; то же, окаянный, сделал и с платьицем, и с шалью, и с башмачками, и с чулочками, и

вышло у него каждой вещи по дюжине, которые он бережно уклад в картон с иностранными клеймами... и все это, уверяю вас, он сделал в несколько минут. «Не плачь, красавица, — приговаривал он изломанным русским языком. — Не плачь! Тебе же годится на приданое!» Когда он окончил свою работу, тогда прибавил: «Теперь и твоя очередь, красавица!»

С этими словами он махнул рукою, топнул; на всех часах пробило тринадцать часов, все колокольчики зазвенели, все органы заиграли, все куклы запрыгали, и из банки с пудрой выскочила безмозглая французская голова; из банки с табаком чуткий немецкий нос с ослиными ушами; а из бутылки с содовой водою туго набитый английский живот. Все эти почтенные господа уселись в кружок и выпучили глаза на волшебника.

— Горе! — вскричал чародей.

— Да! Горе, — отвечала безмозглая французская голова, — пудра вышла из моды!

— Не в том дело, — проворчал английский живот, — меня, словно пустой мешок, за порог выкидывают.

— Еще хуже, — просопел немецкий нос, — на меня верхом садятся, да еще пришпоривают.

— Все не то! — возразил чародей. — Все не то! Еще хуже: русские девушки не хотят больше быть заморскими куклами! Вот настоящее горе! Продолжись оно — и русские подумают, что они в самом деле такие же люди...

— Горе! Горе! — закричали в один голос все басурманы.

— Надобно для них выдумать новую шляпку, — говорила голова.

— Внушить им правила нашей нравственности, — толковал живот.

— Выдать их замуж за нашего брата, — твердил чуткий нос.

— Все это хорошо! — отвечал чародей. — Да мало! Теперь уже не то, что было! На новое горе — новое лекарство; надобно подняться на хитрости! — Думал, долго думал чародей, наконец махнул еще рукою — и перед собранием явился треножник, Мариина баня и реторта, и злодеи принялись за работу.

В реторту втиснули они множество романов мадам Жанлис, Честерфильдовы письма, несколько заплесневелых сентенций, канву, итальянские рулады, дюжину новых контрадансов, несколько выкладок из английской нравственной арифметики и выгнали из всего этого какую-то бесцветную и бездушную жидкость. Потом чародей отворил окошко, повел рукою по воздуху Невского проспекта и захватил полную горсть городских сплетней, слухов и рассказов; наконец из ящика вытащил огромный пук бумаг и с дикою радостью показал его своим товарищам; то были обрезки от дипломатических писем и отрывки из

письмовника, в коих содержались уверения в глубочайшем почтении и истинной преданности; все это злодеи, прыгая и хохоча, ну мешать с своим бесовским составом: французская голова раздувала огонь, немецкий нос размешивал, а английский живот, словно пест, утоптывал.

Когда жидкость простыла, — чародей к красавице: вынул бедную, трепещущую из-под стеклянного колпака и принялся из нее, злодей, вырезать сердце! О! Как страдала, как билась бедная красавица! Как крепко держалась она за свое невинное, свое горячее сердце! С каким славянским мужеством противилась она басурманам. Уже они были в отчаянии, готовы отказаться от своего предприятия; но на беду чародей догадался, схватил какой-то маменькин чепчик, бросил на уголья: чепчик закурился, и от этого курева красавица одурела.

Злодеи воспользовались этим мгновением, вынули из нее сердце и опустили его в свой бесовский состав. Долго, долго они распаривали бедное сердце русской красавицы, вытягивали, выдували, и когда они вклеили его в свое место, то красавица позволила им делать с собою все, что им было угодно. Окаянный басурманин схватил ее пухленькие щечки, маленькие ножки, ручки и ну перочинным ножом соскребать с них свежий славянский румянец и тщательно собирать его в баночку с надписью: *rouge végétal*;¹ и красавица сделалась беленькая, беленькая, как копчик; насмешливый злодей не удовольствовался этим: маленькой губкой он стер с нее белизну и выжал в стекляночку с надписью: *lait de concombre*,² и красавица сделалась желтая, коричневая; потом к наливной шейке он приставил пневматическую машину, повернул — и шейка опустилась и повисла на косточках; потом маленькими щипчиками разинул ей ротик, схватил язычок и повернул его так, чтобы он не мог порядочно выговорить ни одного русского слова; наконец затянул ее в узкий корсет, накинул на нее какую-то уродливую дымку и выставил красавицу на мороз к окошку. За сим басурманы успокоились; безмозглая французская голова с хохотом прыгнула в банку с пудрою; немецкий нос зачихал от удовольствия и убрался в бочку с табаком; английский живот молчал, он только хлопал по полу от радости и также ушелся в бутылку с содовой водою; и все в магазине пришло в прежний порядок, и только стало в нем одною куклою больше!

Между тем время бежит да бежит; в лавку приходят покупщики, покупают паутиный газ и мушинные глазки, любуются и на куколок. Вот один молодой человек посмотрел на нашу красавицу, задумался и, как ни смеялись над ним то-

¹ Растительные румяна (ред.).

² Огуречный сок (ред.).

варищи, купил ее и принес к себе в дом. Он был человек одинокий, нрава тихого, не любил ни шуму, ни крику; он поставил куклу на видном месте, одел, обул ее, целовал ее ножки и любовался ею, как ребенок. Но кукла скоро почуяла русский дух; ей понравилось его гостеприимство и добродушие. Однажды, когда молодой человек задумался, ей показалось, что он забыл о ней, она зашевелилась, залепетала; удивленный, он подошел к ней, снял хрустальный колпак, посмотрел: его красавица кукла куклою. Он приписал это действию воображения и снова задумался, замечтался; кукла рассердилась: ну опять шевелиться, прыгать, кричать, стучать об колпак, ну так и рвется изпод него.

— Неужели ты в самом деле живешь? — говорил ей молодой человек. — Если ты в самом деле живая, я тебя буду любить больше души моей; ну докажи мне, что ты живешь, вымолви хотя словечко!

— Пожалуй! — сказала кукла. — Я живу, право живу.

— Как! Ты можешь и говорить? — воскликнул молодой человек. — О, какое счастье! Не обман ли это? Дай мне еще раз увериться, говори мне о чем-нибудь!

— Да об чем будем мы говорить?

— Как об чем? На свете есть добро, есть искусство!..

— Какая мне нужда в них! — отвечала кукла. — Это все очень скучно!

— Что это значит? Как скучно? Разве до тебя еще никогда не доходило, что есть на свете мысли, чувства?..

— А, чувства! Чувства? Знаю, — скоро проговорила кукла. — Чувства глубочайшего почтения и такой же преданности, с которыми честь имею быть, милостивый государь, вам покорная ко услугам...

— Ты ошибаешься, моя красавица; ты смешиваешь условные фразы, которые каждый день переменяются, с тем, что составляет вечное, незыблемое украшение человека.

— Знаешь ли, что говорят? — прервала его красавица. — Одна девушка вышла замуж, но за нею волочится другой, и она хочет развестись. Как это стыдно!

— Что тебе нужды до этого, моя милая? Подумай лучше о том, как многого ты на свете не знаешь; ты даже не знаешь того чувства, которое должно составлять жизнь женщины; это святое чувство, которое называют любовью; которое проникает все существо человека; им живет душа его, оно порождает рай и ад на земле.

— Когда на бале много танцуют, то бывает весело, когда мало, так скучно, — отвечала кукла.

— Ах, лучше бы ты не говорила! — вскричал молодой человек. — Ты не понимаешь меня, моя красавица!

И тщетно он хотел ее образумить: приносил ли он ей книги, — книги оставались неразрезанными; говорил ли ей о музыке души, — она отвечала ему итальянскою руладой; показывал ли картину славного мастера, — красавица показывала ему канву.

И молодой человек решился каждое утро и вечер подходить к хрустальному колпаку и говорить кукле: «Есть на свете добро, есть любовь; читай, учись, мечтай, исчезай в музыке; не в светских фразах, но в душе чувства и мысли». Кукла молчала.

Однажды кукла задумалась и думала долго. Молодой человек был в восхищении, как вдруг она сказала ему:

— Ну, теперь знаю, знаю; есть на свете добродетель, есть искусство, есть любовь, не в светских фразах, но в душе чувства и мысли. Примите, милостивый государь, уверения в чувствах моей истинной добродетели и пламенной любви, с которыми честь имею быть...

— О! Перестань бога ради, — вскричал молодой человек, — если ты не знаешь ни добродетели, ни любви, то по крайней мере не унижай их, соединяя с поддельными, глупыми фразами...

— Как не знаю! — вскричала с гневом кукла. — На тебя никак не угодишь, неблагодарный! Нет, я знаю, очень знаю: *есть на свете добродетель, есть искусство, есть любовь*, как равно и глубочайшее почтение, с коими честь имею быть...

Молодой человек был в отчаянии. Между тем кукла была очень рада своему новому приобретению; не проходило часа, чтоб она не кричала: *есть добродетель, есть любовь, есть искусство*, — и не примешивала к сим словам уверений в глубочайшем почтении: идет ли снег — кукла твердит: *есть добродетель!* Принесут ли обедать — она кричит: *есть любовь!* И вскоре дошло до того, что это слово опротивело молодому человеку. Что он ни делал: говорил ли с восторгом и умилением, доказывал ли хладнокровно, бесился ли, насмехался ли над красавицею, — все она никак не могла постигнуть, какое различие между затверженными ею словами и обыкновенными светскими фразами; никак не могла постигнуть, что любовь и добродетель годятся на что-нибудь другое, кроме письменного окончания.

И часто восклицал молодой человек: «Ах, лучше бы ты не говорила!»

Наконец он сказал ей:

— Я вижу, что мне не вразумить тебя, что ты не можешь к заветным, святым словам добра, любви, искусства присоединить другого смысла, кроме глубочайшего почтения и таковой же преданности... Как быть! Горько мне, но я не виню тебя в этом. Слушай же: всякий на сем свете должен что-нибудь делать;

не можешь ты ни мыслить, ни чувствовать; не перелить мне своей души в тебя; так занимайся хозяйством по старинному русскому обычаю — смотри за столом, своди счёты, будь мне во всем покорна; когда ты меня избавишь от механических занятий жизни, я, правда, не столько тебя буду любить, сколько любил бы тогда, когда бы души наши сливались, — но все любить тебя буду.

— Что я за ключница? — закричала кукла, рассердилась и заплакала. — Разве ты затем купил меня? Купил — так лелей, одевай, утешай. Что мне за дело до твоей души и до твоего хозяйства! Видишь, я верна тебе, я не бегу от тебя, — так будь же за то благодарен, мои ручки и ножки слабы; я хочу и люблю ничего не делать, ни думать, ни чувствовать, ни хозяйничать, — а твое дело забавлять меня.

И в самом деле так было. Когда молодой человек занимался своей куклою, когда одевал, раздевал ее, когда целовал ее ножки, — кукла была смирна и добра, хоть и ничего не говорила; но если он забудет переменить ее шляпку, если задумается, если отведет от нее глаза, кукла так начнет стучать о свой хрустальный колпак, что хоть вон беги. Наконец не стало ему терпенья: возьмет ли он книгу, сядет ли обедать, ляжет ли на диван отдохнуть, — кукла стучит и кричит, как живая, и не дает ему покоя ни днем, ни ночью; и стала его жизнь — не жизнь, но ад. Вот молодой человек рассердился; несчастный не знал страданий, которые вынесла бедная красавица, не знал, как крепко она держалась за врожденное ей природою сердце, с какою болью отдала его своим мучителям, или учителям, — и однажды спросонья он выкинул куклу за окошко; за это все проходящие его осуждали; однакоже куклу никто не поднял.

А кто всему виною? Сперва басурманы, которые портят наших красавиц, а потом маменьки, которые не умеют считать дальше десяти. Вот вам и нравоученье.

СКАЗКА О МЕРТВОМ ТЕЛЕ, НЕИЗВЕСТНО КОМУ ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ

Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц, ни с сего, ни с того, танцевал на небе, и уверял с божбою в том все село; но миряне качали головами и даже подымали его на смех.

Рудый Панько, в «Вечерах на хуторе».

По торговым селам Реженского уезда было сделано от земского суда следующее объявление:

«От Реженского земского суда объявляется, что в ведомстве его, на выгонной земле деревни Морковкиной— Наташино тож, 21 минувшего ноября найдено неизвестно чье мертвое мужеска пола тело, одетое в серый суконный ветхий шинель; в нитяном кушаке, жилете суконном красного и отчасти зеленого цвета, в рубашке красной пестрядинной; на голове картуз из старых пестрядинных тряпич с кожаным козырьком; от роду покойному около 43 лет, росту 2 арш. 10 вершков, волосом светлорус, лицом бел, гладколиц, глаза серые, бороду бреет, подбродок с проседью, нос велик и несколько на сторону, телосложения слабого. Почему сим объявляется: не окажется ли оному телу бывших родственников или владельца оногo тела; таковые благоволили бы уведомить от себя в село Морковкино — Наташино тож, где и следствие об оном, неизвестно кому принадлежащем, теле производится; а если таковых не найдется, то и о том благоволили бы уведомить в оное же село Морковкино».

Три недели прошло в ожидании владельцев мертвого тела; никто не являлся, и, наконец, заседатель с уездным лекарем отправились к помещику села Морковкина в гости; в выморочной избе отвели квартиру приказному Севастьянычу, также прикомандированному на следствие. В той же избе, в заклети, находилось мертвое тело, которое назавтра суд собирался вскрыть и похоронить обыкновенным порядком. Ласковый помещик, для

утешения Севастьяныча в его уединении, прислал ему с барского двора гуся с подливой да штоф домашней желудочной настойки.

Уже смерклось. Севастьяныч как человек аккуратный, вместо того чтоб по обыкновению своих собраний взобраться на полаты возле только что истопленной печи, — рассудил за благо заняться приготовлением бумаг к завтрашнему заседанию, по тому более уважению, что хотя от гуся остались одни кости, но только четверть штофа была опорожнена; он предварительно поправил светильню в железном ночнике, нарочито для подобных случаев хранимом старостою села Морковкина, — и потом из кожаного мешка вытащил старую замазленную тетрадку. Севастьяныч не мог на нее посмотреть без умиления: то были выписки из различных указов, касающихся до земских дел, доставшиеся ему по наследству от батюшки, блаженной памяти подьячего, с приписью — в городе Реженске за ябеды, лихоимство и непристойное поведение оставленного от должности, с таковым, впрочем, пояснением, чтобы его впредь никуда не определять и просьб от него не принимать, — за что он и пользовался уважением всего уезда. Севастьяныч невольно вспоминал, что эта тетрадка была единственный кодекс, которым руководствовался реженский земский суд в своих действиях; что один Севастьяныч мог быть истолкователем таинственных символов этой Сивиллиной книги; что посредством ее магической силы он держал в повиновении и исправника и заседателей и заставлял всех жителей околотка прибегать к себе за советами и наставлениями; почему он и берег ее, как зеницу ока, никому не показывал и вынимал из-под спуда только в случае крайней надобности; с усмешкою он останавливался на тех страницах, где, частью рукою его покойного батюшки и частью его собственной, были то замараны, то вновь написаны разные незначащие частицы, как то: *не, а* и проч., и естественным образом Севастьянычу приходило на ум: как глупы люди и как умны он и его батюшка.

Между тем он опорожнил вторую четверть штофа и принялся за работу; но пока привычная рука его быстро выгибала крючки на бумаге, его самолюбие, возбужденное видом тетрадки, работало: он вспоминал, сколько раз он перевозил мертвые тела на границу соседнего уезда и тем избавлял своего исправника от излишних хлопот; да и вообще: составить ли определение, справки ли навести, подвести ли законы, войти ли в сношение с просителями, рапортовать ли начальству о невозможности исполнить его предписания, — везде и на все Севастьяныч; с улыбною вспоминал он об изобретенном им средстве: всякий повальный обыск обращать в любую сторону; он вспоминал, как еще недавно таким невинным способом он спас одного своего благоприятеля: этот благоприятель сделал какое-то дельцо, за которое он мог бы легко совершить некоторое не

совсем приятное путешествие; учинен допрос, наряжен повальный обыск, — но при сем случае Севастьяныч надоумил спросить прежде всех одного грамотного молодца с руки его благоприятелю; по словам грамотного молодца написали бумагу, которую грамотный молодец, перекрестясь, подписал, а сам Севастьяныч приступил к одному обывателю, к другому, к третьему с вопросом: «И ты тоже, и ты тоже?» — да так скоро начал перебирать их, что, — пока обыватели еще чесали за ухом и кланялись, приготавливаясь к ответу, — он успел их переспросить всех до последнего, и грамотный молодец снова, за неумением грамоты своих товарищей, подписал, перекрестясь, их единогласное показание. С неменьшим удовольствием вспоминал Севастьяныч, как при случившемся значительном начете на исправника он успел влести в его дело человек до пятидесяти, начет разложить на всю братию, а потом всех и подвести под милостивый манифест. Словом, Севастьяныч видел, что во всех знаменитых делах реженского земского суда он был единственным виновником, единственным выдумщиком и единственным исполнителем; что без него бы погиб заседатель, погиб исправник, погиб и уездный судья и уездный предводитель; что им одним держится древняя слава Реженского уезда, — и невольно по душе Севастьяныча пробежало сладкое ощущение собственного достоинства. Правда, издали — как будто из облаков — мелькали ему в глаза сердитые глаза губернатора, допрашивающее лицо секретаря уголовной палаты; но он посмотрел на занесенные метелью окошки; подумал о трехстах верстах, отделяющих его от сего ужасного призрака; для увеличения бодрости выпил третью четверть штофа, и — мысли его сделались гораздо веселее: ему представился его веселый реженский домик, нажитый своим умком; бутылки с наливкою на окошке между двумя бальзаминными горшками; шкаф с посудой и между нею, в середине, на почетном месте хрустальная на фарфоровом блюде перечница: вот идет его полная белолицая Лукерья Петровна; в руках у ней сдобный крупичатый каравай; вот телка, откормленная к святкам, смотрит на Севастьяныча; большой чайник с самоваром ему кланяется и подвигается к нему: вот теплая лежанка, а возле лежанки перина с камчатным одеялом, а под периною свернутый лоскут пестрядки, а в пестрядке белая холстинка, а в холстинке кожаный книжник, а в книжнике серенькие бумажки; тут воображение перенесло Севастьяныча в лета его юности: ему представилось его бедное житье-бытье в батюшкином доме; как часто он голодал от матушкиной скупости; как его отдали к дьячку учиться грамоте, — он от души хохотал, вспоминая, как однажды с товарищами забрался к своему учителю в сад за яблоками и напугал дьячка, который принял его за настоящего вора; как за то был высечен и в отщепенце

оскоромил своего учителя в самую страстную пятницу; потом представлялось ему: как, наконец, он обогнал всех своих сверстников и достиг до того, что читал апостол в приходской церкви, начиная самым густым басом и кончая самым тоненьким голоском, на удивление всему городу; как исправник, заметив, что в ребенке будет прок, приписал его к земскому суду; как он начал входить в ум; оженился с своею дражайшею Лукерьей Петровной; получил чин губернского регистратора, в коем и доднесь пребывает да добра наживает; сердце его растаяло от умиления, и он на радости опорожнил и последнюю четверть обворожительного напитка. Тут пришло Севастьянычу в голову, что он не только что в приказе, но хват на все руки: как заслушиваются его, когда он под вечерок, в веселый час, примется рассказывать о Бове Королевиче, о похождениях Ваньки Каина, о путешествии купца Коробейникова в Иерусалим — неумолкаемые гусли, да и только! — и Севастьяныч начал мечтать: куда бы хорошо было, если бы у него была сила Бовы Королевича и он бы смог кого за руку — у того рука прочь, кого за голову — у того голова прочь; потом захотелось ему посмотреть, что за Кипрский такой остров есть, который, — как описывает Коробейников, — изобилен деревянным маслом и греческим мылом, где люди ездят на ослах и на верблюдах, и он стал смеяться над тамошними обывателями, которые не могут догадаться запрячь их в сани; тут начались в голове его рассуждения: он нашел, что или в книгах неправду пишут, или вообще греки должны быть народ очень глупый, потому что он сам спрашивал у греков, — приезжавших на реженскую ярмарку с мылом и пряниками и которым, кажется, должно было знать, что в их земле делается, — зачем они взяли город Троя, — как именно пишет Коробейников, — а Царьград уступили туркам? — и никакого толку от этого народа не мог добиться: что за Троя такая, греки не могли ему рассказать, говоря, что, вероятно, выстроили и взяли этот город в их отсутствие; пока он занимался этим важным вопросом, пред глазами его проходили: и арабские разбойники; и Гнилое море; и процессия погребения кота; и палаты царя Фараона, внутри все вызолоченные; и птица Строфокамил, вышиною с человека, с утиною головою, с камнем в копыте...

Его размышления были прерваны следующими словами, которые кто-то проговорил возле него:

— Батюшка Иван Севастьяныч! Я к вам с покорнейшею просьбою.

Эти слова напомнили Севастьянычу его роль приказного, и он по обыкновению принялся писать гораздо скорее, наклонил голову как можно ниже и, не сворачивая глаз с бумаги, отвечал протяжным голосом:

— Что вам угодно?

— Вы от суда вызываете владельцев поднятого в Морковкине мертвого тела.

— Та-ак-с.

— Так изволите видеть — это тело мое.

— Та-ак-с.

— Так нельзя ли мне сделать милость поскорее его выдать?

— Та-ак-с.

— А уж на благодарность мою надейтесь...

— Та-ак-с. — Что же, покойник-та крепостной, что ли, ваш был?..

— Нет, Иван Севастьяныч, какой крепостной, его тело мое, собственное мое.

— Та-ак-с.

— Вы можете себе вообразить, каково мне без тела... Сделайте одолжение, помогите поскорее.

— Все можно-с, да трудновато немного скоро-то это тело сделать, — ведь оно не блин, кругом пальпа не обернешь; справки надобно навести... Кабы подмазать немного...

— Да уж в этом не сомневайтесь — выдайте лишь только мое тело, а то я и пятидесяти рублей не пожалею...

При сих словах Севастьяныч поднял голову, но не видя никого, сказал:

— Да войдите сюда, что на морозе стоять.

— Да я здесь, Иван Севастьяныч, возле вас стою.

Севастьяныч поправил лампадку, протер глаза, но не видя ничего, пробормотал:

— Тьфу, к чорту! Да что я, ослеп, что ли? Я вас не вижу, сударь.

— Ничего нет мудреного! Как же вам меня видеть без тела!

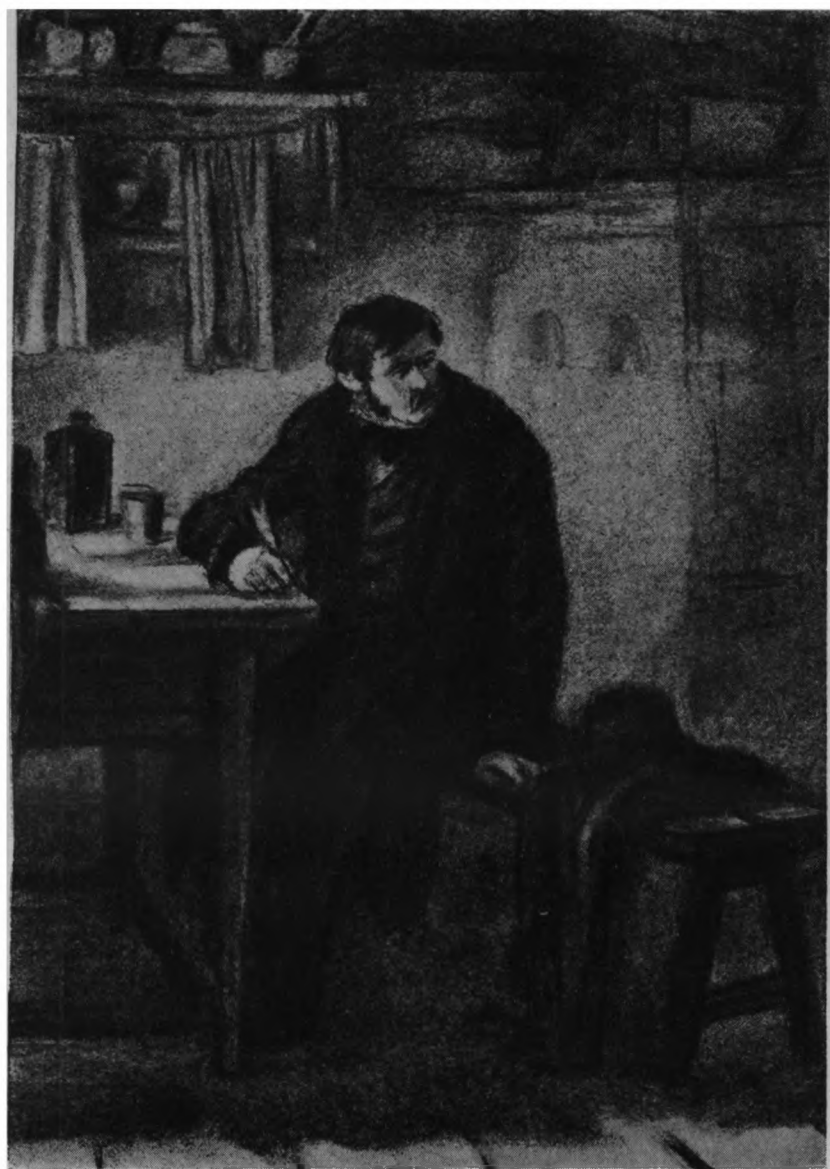
— Я, право, в толк не войду вашей речи, дайте хоть взглянуть на себя.

— Извольте, я могу вам показаться на минуточку... только мне это очень трудно...

И при сих словах в темном углу стало показываться какое-то лицо без образа; то явится, то опять пропадет, словно молодой человек, в первый раз приехавший на бал, — хочется ему подойти к дамам, и боится, выставит лицо из толпы и опять спрячется...

— Извините-с, — между тем говорил голос, — сделайте милость, извините, вы не можете себе вообразить, как трудно без тела показываться! Сделайте милость, отдайте его мне поскорее, — говорят вам, что пятидесяти рублей не пожалею.

— Рад вам служить, сударь, но, право, в толк не возьму ваших речей... есть у вас просьба?..



— Помилуйте, какая просьба? Как мне было без тела ее написать? Уж сделайте милость, вы сами потрудитесь.

— Легко сказать, сударь, потрудиться, говорят вам, что я тут ни чорта не понимаю...

— Уж пишите только, я вам буду сказывать.

Севастьяныч вынул лист гербовой бумаги.

— Скажите, сделайте милость: есть ли у вас по крайней мере чин, имя и отчество?

— Как же?.. Меня зовут Цверлей Джон-Луи.

— Чин ваш, сударь?

— Иностранец.

И Севастьяныч написал на гербовом листе крупными буквами:

«В реженский земский суд от иностранного недоросля из дворян Савелия Жалуева, объяснение».

— Что ж далее?

— Извольте только писать, я уж вам буду сказывать; пишите: имею я...

— Недвижимое именье, что ли? — спросил Севастьяныч.

— Нет-с: имею я несчастную слабость...

— К крепким напиткам, что ли? О, это весьма непохвально...

— Нет-с: имею я несчастную слабость выходить из моего тела...

— Кой чорт! — вскричал Севастьяныч, кинув перо. — Да вы меня морочите, сударь!

— Уверяю вас, что говорю сущую правду, пишите только знаете; пятьдесят рублей вам за одну просьбу да пятьдесят еще когда выхлопчете дело...

И Севастьяныч снова принялся за перо.

— Сего 20 октября ехал я в кибитке по своей надобности по реженскому тракту на одной подводе, и как на дворе было холодно и дороги Реженского уезда особенно дурны...

— Нет, уж на этом извините, — возразил Севастьяныч, — этого написать никак нельзя, это личности, а личности в просьбах помещать указами запрещено...

— По мне пожалуй; ну так просто: на дворе было так холодно, что я боялся заморозить свою душу, да и вообще мне так захотелось скорее приехать на ночлег... что я не утерпел... и по своей обыкновенной привычке выскочил из моего тела...

— Помилуйте! — вскричал Севастьяныч.

— Ничего, ничего, продолжайте; что ж делать, если такая у меня привычка... ведь в ней ничего нет противозаконного, не правда ли?

— Та-ак-с, — отвечал Севастьяныч, — что ж далее?

— Извольте писать: выскочил из моего тела, уклат его хорошенько во внутренности кибитки... чтобы оно не выпало...

связал у него руки вожжами и отправился на станцию... в той надежде, что лошадь сама прибежит на знакомый двор...

— Должно признаться, — заметил Севастьяныч, — что вы в сем случае поступили очень неосмотрительно.

— Приехавши на станцию, я взлез на печку отогреть душу, и когда, по расчислению моему, лошадь должна была возвратиться на постоялый двор... я вышел ее проведать, но, однакоже, во всю ту ночь ни лошадь, ни тело не возвращались. На другой день утром я поспешил на то место, где оставил кибитку... но уже и там ее не было... полагаю, что бездыханное тело мое от ухабов выпало из кибитки и было поднято проезжавшим исправником, а лошадь уплелась за обозами... После трехнедельного тщетного искания я, уведомившись ныне о объявлении реженского земского суда, коим вызываются владельцы найденного тела, покорнейше прошу оное мое тело мне выдать яко законному своему владельцу... причем присовокупляю покорнейшую просьбу, дабы благословил вышеписанный суд сделать распоряжение оное тело мое предварительно опустить в холодную воду, чтобы оно отошло; если же от случившегося падения есть в том частопоминаемом теле какой-либо изъян... или оное от морозу где-либо попортилось, то оное чрез уездного лекаря приказать поправить на мой кошт и о всем том учинить, как законы повелевают, в чем и подписуюсь.

— Ну позвольте же подписывать, — сказал Севастьяныч, окончивши бумагу.

— Подписывать! Легко сказать! Говорят вам, что у меня теперь со мною рук нету — они остались при теле; подпишите вы за меня, что за неумением рук.

— Нет! Извините, — возразил Севастьяныч, — этакой и формы нет, а просьб, писанных не по форме, указами принимать запрещено; если вам угодно: за неумением грамоты...

— Как заблагорассудите! По мне все равно.

И Севастьяныч подписал: «К сему объяснению за неумением грамоты по собственной просьбе просителя губернский регистратор Иван Севастьянов сын Благосердов руку приложил».

— Чувствительнейше вам обязан, почтеннейший Иван Севастьянович! Ну, теперь вы похлопочите, чтоб это дело поскорее решили; не можете себе вообразить, как неловко быть без тела!.. А я сбегаю покуда повидаться с женою, будьте уверены, что я уже вас не обижу...

— Пойдите, стойте, ваше благородие, — вскричал Севастьяныч, — в просьбе противоречие. Как же вы без рук укладлись или уклали в кибитке свое тело? Тьфу, к чорту, ничего не понимаю.

Но ответа не было. Севастьяныч прочел еще раз просьбу, начал над ней думать, думал-думал... .

Когда он проснулся, ночник погас, и утренний свет пробивался сквозь обтянутое пузыряем окошко. С досадою взглянул он на пустой штоф, перед ним стоявший; эта досада выбила у него из головы ночное происшествие; он забрал свои бумаги, не посматривая, и отправился на барский двор опохмелиться.

Заседатель, выпив рюмку водки, принялся разбирать Севастьянычевы бумаги и напал на просьбу иностранного недоросля из дворян.

— Ну, брат Севастьяныч, — вскричал он, прочитав ее, — ты вчера на сон грядущий порядком подтянул; экую околесную нагородил! Послушайте-ка, Андрей Игнатъевич, — прибавил он, обращаясь к уездному лекарю, — вот нам какого просителя Севастьяныч предоставил. — И он прочел уездному лекарю курьезную просьбу от слова до слова, помирая со смеху. — Пойдемте-ка, господа, — сказал он наконец, — вскрыемте это болтливое тело, да если оно не отзовется, так и похороним его по добру, по здорову, в город`пора.

Эти слова напомнили Севастьянычу ночное происшествие, и как оно ни странно ему казалось, но он вспомнил о пятидесяти рублях, обещанных ему просителем, если он выхлопочет ему тело, и серьезно стал требовать от заседателя и лекаря, чтоб тело не вскрывать, потому что этим можно его перепортить, так что оно уже никуда не будет годиться, а просьбу записать во входящий обыкновенным порядком.

Само собою разумеется, что на это требование Севастьянычу отвечали советами протрезвиться, тело вскрыли, ничего в нем не нашли и похоронили.

После сего происшествия мертвецова просьба стала ходить по рукам; везде ее списывали, дополняли, украшали, читали, и долго реженские старушки крестились от ужаса, ее слушая.

Предание не сохранило окончания сего необыкновенного происшествия: в одном соседнем уезде рассказывали, что в то самое время, когда лекарь дотронулся до тела своим бистурием, владелец вскочил в тело, тело поднялось, побежало и что за ним Севастьяныч долго гнался по деревне, крича изо всех сил: «Лови, лови покойника!»

В другом же уезде утверждают, что владелец и до сих пор каждое утро и вечер приходит к Севастьянычу, говоря: «Батюшка, Иван Севастьяныч, что ж мое тело? Когда вы мне его выдадите?» — и что Севастьяныч, не теряя бодрости, отвечает: «А вот собираются справки». — Тому прошло уже лет двадцать.

ИСТОРИЯ О ПЕТУХЕ, КОШКЕ И ЛЯГУШКЕ

(РАССКАЗ ПРОВИНЦИАЛА)

К р и т и к. Какая цель вашей сказки?

А в т о р (*униженно кланяясь*). Рассказывать ее вам.

В бытность свою в городе Реженске покойная моя бабушка была свидетельницей одного странного происшествия; будучи уверен, что публике необходимо знать все, что касается до меня или до моих родственников и знакомых, я расскажу сие происшествие со всей подробностью, как мне его рассказывали, и, по моему обыкновению, не прибавляя от себя ни единого слова.

Много лет тому назад находился в нашем городе в звании городничего отставной прапорщик Иван Трофимович Зернушкин. Давно уже исправлял он эту должность, — да и немудрено: все так им были довольны, никогда он ни во что не мешался; позволял всякому делать, что ему было угодно: зато не позволял никому и в свои дела вмешиваться. Некоторые затейники, побывавшие в Петербурге, часто приступали к нему с разными небывальными у нас и вредными нововведениями; они, например, толковали, что нехудо бы осматривать, хотя изредка, лавки с съестными припасами, потому что реженские торговцы имели, не знаю отчего, привычку продавать в мясоястие баранину, а в пост рыбу, да такую, прости господи! — что хоть вон беги с рынка; иные прибавляли, что нехудо бы хотя песку подсыпать по улицам и запретить выкидывать на них всякий вздор из домов, ибо от того, будто бы, в осень никуда пройти нельзя и, будто бы, от того заражается воздух; бывали даже такие, которые утверждали, что необходимо в городе завести хотя одну пожарную трубу с лестницами, баграми, топорами и другими вычурами. Иван Трофимович на все сии неразумные требования отвечал весьма рассудительно, остроумно и с твердостью. Он доказывал, что лавочники никому своего товара не навязывают и что всякий сам должен смотреть, что покупает;

что одни лишь пустодомы да непорядочные люди могут требовать от городничего наблюдения за таким делом, которое должна знать последняя кухарка. Касательно мостовой он говорил, что бог дает дождь и хорошую погоду, и видно уж такой положен предел, чтобы осенью была по улицам грязь по колено: сверх того, добрые люди сидят дома и не шатаются по улицам, а когда русскому человеку нужда, так он везде пройдет. Если бы, прибавлял он, на улицу ничего не выкидывать, свиньям бедных людей нечего было бы есть в осеннее и зимнее время. Что касается до воздуха, то воздух не человек и заразиться не может. Относительно пожарной трубы Иван Трофимович доказывал, что таковой и прежде в городе Реженске не имелось, а ныне, когда три части оногo уже выгорели, для четвертой нечего уже затевать такие затеи; что, наконец, он, карабинерского полка отставной прапорщик Иван Трофимов сын Зернушкин, уже не первый десяток на сем свете живет и сам знает свою должность исправлять, городом управлять и начальству отвечать. Такие благоразумные и неоднократно повторенные рассуждения скоро закрыли уста затейников, особенно когда однажды в сердитый час Иван Трофимович присовокупил, что его, городничего, должность не за грязью на мостовых и не за гнилой рыбой смотреть, а за теми, которые учнут в фортеции злые толки распускать и противу службы злое умышлять.

Все в городе похвалили Ивана Трофимовича за его твердый нрав и обычай, и, благодаря бога, у нас в Реженске и до сих пор все осталось попрежнему: на улицах грязь по колено, по рынкам пройти нельзя. Та только разница, что вместо пожарной трубы в последнее время у нас заведена прекрасная зеленая бочка с двумя также зелеными баграми, но по завещанию Ивана Трофимовича на пожар они никогда не вывозятся, ибо иначе легко могли бы испортиться, а хранятся за замком в нарочной для того определенном сарае. Время оправдало благоразумное распоряжение Ивана Трофимовича: скоро потом проезжавший чиновник долгом почел донести губернатору об отличном устройстве пожарных инструментов в городе Реженске.

Как бы то ни было, Иван Трофимович, избавившись от докуки реженских затейников, обратился к своим любимым занятиям, которых у него было два, а именно: чай и кошка. Да, милостивые государи! Иван Трофимович очень любил чай и даже в нем был большой знаток.

По сей причине он часто хаживал по лавкам собирать у купцов чайные пробочки, чтобы не ошибиться. Таким образом у Ивана Трофимовича набиралось когда четверть, когда полфунтика. Не то чтобы он все пробочки мешал вместе: нет! Как настоящий знаток он выпивал каждую поодиночке, и которого чай он похвалит, тот купец и несет ему гостинец. Говорят,

однакоже, к чести Ивана Трофимовича — такая у него была добрая душа! — что он при этом случае руководился не столько качеством чая, сколько или очерредью между купцами, или разными случавшимися обстоятельствами: так, например, тот, у кого что-нибудь было на душе, уже наверное знал, что Иван Трофимович придет к нему за пробочкой. Не то чтобы это можно было назвать взяткой! Нет! Наши реженские лавочники так любили Ивана Трофимовича, что носили к нему все из чести! Да не для чего было и взяток давать: дел таких, как нынче, не было. Разумеется, и тогда в городе было не без ссор, не без зависти, не без злости, — только тогда обычай был другой; придут, бывало, к Ивану Трофимовичу тяжущиеся: оба говорят, говорят, — кто кого перекричит; а Иван Трофимович послушает, послушает — да одному толчок, другому другой: никого не обидит покойник, и вот тяжущиеся потолкуют между собой, потолкуют, много что подерутся — душеньку отведут, да тут же в питейном дому и помирятся, — да еще за здоровье Ивана Трофимовича выпьют. Счастливое тогда времечко было!

Любил кушать чай Иван Трофимович, но не менее того любил он и кошку. Не то чтобы он кошку любил — нет! — а любил, чтобы кошка у него вокруг шеи ходила, ластилась, терлась да на ухо ему шептала. Правду сказать, да что и за кошка! Нынче уж нет таких кошек. Большая, лоснистая, черная, а мордка, душка и лапки белые, как снег, словно в перчатках. Уж нечего и говорить: у Ивана Трофимовича мышей и в заводе не бывало. Да какие у ней были милые привычки! Говорю вам, что нынче уж нет таких кошек. Бывало, Иван Трофимович проснется, а кошка к нему на постель, то вытянется, то согнется дугой, то замурлычет, то замаячит, — а зеленые глазки у ней так и катаются, словно изумруды. Тогда Иван Трофимович вставал, разводил огонь, ставил чайник в печку, надевал фризовую шинель, брал кулечек и отправлялся на рынок, а кошка вслед за ним. Тут и собаки лают, и возы везут, и народ кричит, а ей горя мало: только что через лужицы перепрыгивает да лапки отряхивает. Куда в лавку Иван Трофимович, туда и его кошка, — удивление всему городу! — и вот ей где рыбку, где свежинки: она знай кушает да мурлычет. Возвратится Иван Трофимович, возьмет чайник, сядет к столику возле окошка, а кошка даром, что сыта: не думайте, чтоб она, как нынешние кошки, свернулась в кружок да захрапела, — нет! — она на столик проберется между чашки и сахарницы, ничего не заденет, или сядет на окошке на солнышко или на плечо к Ивану Трофимовичу и мурлыкать не мурлычет, а трется вокруг шеи и шепчет — шепчет на ухо Ивану Трофимовичу; Иван же Трофимович то погладит ее, то чайку прихлебнет... Так протекли долгие дни.

Один из новейших сочинителей описал эти немые минуты семейного счастья, когда в голове не проходит ни одной мысли, в душе рождается какое-то тихое, невыразимое чувство; но кто опишет счастье Ивана Трофимовича в этом уединении! Теплая избушка, теплый тулуп, пестрые обои, мышцы kota погребают во всю стену, треугольная шляпа, шпага; солнышко светит, от чая пар столбом, мимо окошка всякий кланяется, вокруг шеи теплая Васькина шкурка, и больше никого — ни детей, ни жены, ни кухарки, и триста верст от губернского города! И это тихое, невыразимое счастье повторяется каждый день; и не один раз в день, а два, поутру и после обеда; иногда же и в промежутках! Две были цели в жизни Ивана Трофимовича: напиться чаю и молча держать Ваську на шее. Эта мысль не оставляла его ни на минуту: он засыпал с нею, видел ее во сне и с нею просыпался; к этой мысли были привязаны все его поступки, все желания, все малейшие движения его души, — других в ней не было. Приставал ли к нему кто-нибудь с делом, случалось ли что важное в городе, он отлагал все, чтобы не пропустить положенного часа для чаю. Говорили ли о ревизоре, — он боялся его только потому, что к нему неловко будет явиться вместе с Васькой.

Но нет вечного счастья в этой жизни! У Ивана Трофимовича была однофамилица, и даже несколько сродни, из дворян, — вдова Марфа Осиповна Зернушкина. Случись у ней какое-то дело в городе Реженске: никак кто-то у ней мельницу околдовал, ртути в плотину напустил. Марфа Осиповна была женщина бойкая, умная, скопидомка и хотя грамоте не умела, но тяжёлые дела знала лучше иного приказного: потому решилась она хлопотать о делах сама, своею особой, а Иван Трофимович был ей нужен, чтобы за нее по родству руку прикладывать. Она въехала к нему прямо в дом. Соблазна тут никакого быть не могло, потому что им обоим вместе было лет сотня с лишком: добрый Иван Трофимович с радушием отвел ей у себя каморку. Вот, разумеется, при свидании родные обрадовались. Пошли толки о том, о сем, о старине, о новизне, об урожае, — Васька туда же, то ластится, то трется, то замурлычет, то замяучит, то посмотрит на них прищуренными глазками...

— Э! Да какая у тебя товарка! — сказала Марфа Осиповна. — Давно ли, батюшка, завелся?

— Да давно уж, матушка! Лет восемь; с тех пор, как мы с тобой не видались...

— Да где, батюшка, и видется. Ведь восемьдесят верст не шутка! Ты человек служебный, а мне уж не под лета. Три дня, батюшка, к тебе тащилась: ведь на своих!.. Чуть было в грязи не утонула, а еще все большой дороги держалась: ты знаешь, у нас новую дорогу сделали! Кисанька! Кисанька!..

Экая славная!.. Ну, вижу я, ты, право, домком позавелся! Уж не жениться ли хочешь? На дворе я у тебя видела матерого петуха, а здесь кота заморского; а ведь по-нашему, по бабьему реченью, кот да петух, что жена, милый друг!

— Ну уж, матушка Марфа Осиповна: что до петуха касается, то его хоть бы и не было. Такой крикун — провал его возьми! — глаз свести не даст. Я, пожалуй, вам его хоть даром отдам...

— Благодарствую, батюшка Иван Трофимович. Да зачем это?

— И! Ничего, матушка! Свои люди, сочтемся. А уж Васька-то мой! То уж подлинно сказать, Марфа Осиповна, что мой Васька милее иной жены. Кабы вы знали, какой затейник, какой забавник! Не только что на охоту ходит, да песни поет, да старую шею у меня греет: нет, матушка, ведь от меня он крохи не получает, а сам со мной по городу бродит да с лавочников оброк берет!..

— Неужели в самом деле!

Невозможно описать всех разговоров Ивана Трофимовича и всех расспросов Марфы Осиповны, и я, подобно сочинителям чувствительных романов, когда дело доходит до страшной завязки, предоставляю читателям дополнить воображением все, что было сказано, недосказано и пересказано при этом свидании.

Прошло несколько дней. Однажды после обеда, сидя за чайным столиком, Марфа Осиповна сказала Ивану Трофимовичу:

— Смотрю я на тебя, батюшка!..

— Да! — отвечал Иван Трофимович. — Так что же?

— А то, что нехорошо!

— Что нехорошо?

— Да так! Нехорошо...

— Да что оно такое нехорошо, матушка?

— А то, зачем ты позволяешь кошке себе на ухо шептать!

— На ухо шептать?

— Да вон видишь: ты, батюшка, ее отогнал, а она тебе опять в ухо лезет.

— Признательно вам сказать, Марфа Осиповна, что же тут дурного? Оно тепло, приятно.

— Да то тут дурного, Иван Трофимович, что она тебе жабу в голове нашепчет.

— Как жабу нашепчет?

— Да так, что у тебя ни с того, ни с сего жаба в голове заведется.

— Что ты, матушка, говоришь? Уж жаба в голове заведется!.. Да как она туда зайдет?

— Как хочешь, Иван Трофимович! Верь или не верь: я тебе не свои слова говорю, а что от родителей слыхала. Ты помнишь батюшку покойника: он, бывало, слова даром не проронит; а он частенько, — царство ему небесное! — толковал, что если кому кошка на ухо шепчет, у того непременно в голове жаба заведется.

«Что это баба мелет? — думал про себя Иван Трофимович, ложась в постель и поглаживая Ваську. — Вишь, кошка жабу может нашептать! Чего эти бабы не выдумают!»

Однакож у Ивана Трофимовича в голове и один и два. Вот кажется Ивану Трофимовичу, что его что-то в голову стукнуло и будто голова у него заболела. И он думает: «Болят она аль нет? Болят, точно болят!.. Нет, не болят, точно не болят!..»

Вставши поутру, Иван Трофимович как человек благо-разумный рассудил, что в таких случаях лучше всего спросить человека знающего. Был у него задушевный приятель, Богдан Иванович, уездный лекарь. Давно они уже с ним не видались.

— Дай-ка зайду к Богдаше, — сказал Иван Трофимович, — да спрошу: он человек искусный и верно мне всю правду скажет.

Сказано, сделано.

Не хотелось Ивану Трофимовичу признаться, что он поверил бабым сплетням, но, как человек тонкий, завел речь стороной.

После обыкновенных приветствий Иван Трофимович сказал лекарю:

— Что это, батюшка Богдан Иванович, у нас в городе все головой жалуется. Отчего бы это?

— Да немудрено, Иван Трофимович, — отвечал лекарь. — Теперь пора осенняя, а в эту пору обыкновенно усиливается геморой.

— А разве только что от гемороя и может болеть голова?

— Нет; она может болеть и от разных причин: от простуды, от угара, от несварения пищи.

— А от каких ни есть других причин может болеть голова?

— Да от каких же это?

— Ну, примером сказать, правда ли это, батюшка, что будто бы иногда у человека жаба заводится в голове?

— Мало ли чудес в теле человеческом! Бывали и такие примеры.

— Как! Бывали?

— Да, но, к счастью, очень редко.

— Какие чудеса на свете бывают! Да как же помочь в таком несчастном случае?

— Ну, тут уж надобно делать операцию.

— Операцию!

— Да! И очень трудную. Вскрывают голову.

— Вскрывают голову? Да как же это?

— Да вот видишь: есть такой инструмент; он словно крышка с чайника, только кругом его острые зубчики, как у пилки.

— Ну?

— Вот, на голове выбреют волосы, кожицу подрежут кругом, да и примутся вертеть этот инструмент на черепе: он и выпилит из него кружочек.

— Ну?

— Ну кружочек снимут: если лягушка или что другое на том месте, то...

— Как если на том месте!.. А если на другом?

— Ну, так еще вертит череп.

Ноги оледенели у Ивана Трофимовича; однакож он собрался с силами и выговорил:

— Как же это, батюшка! Этак всю голову, как тыкву, изрежут!.. Да что ж с человеком-то в это время бывает?

— Чему быть с человеком! Он лежит без памяти.

— И живут еще после этакого мучения?

— Признательно сказать, Иван Трофимович, так почти всегда умирают.

В раздумьи пошел Иван Трофимович от лекаря.

— Не соврала баба! — сказал он дорогой: — не соврала! Экая беда какая! — И пришедши домой, он увидел, что Марфа Осиповна уже собирается в путь.

— Куда спешись, матушка?

— Да что, Иван Трофимович, время терять! Спасибо тебе, все дела мои покончила; какие хвосты остались, ты и без меня их заправишь. Благодарим за хлеб, за соль...

— Не на чем, матушка, не на чем!

Когда Марфа Осиповна собралась совсем уже садиться в кибитку, Иван Трофимович скрепя сердце сказал ей:

— Послушай, матушка; подарил я тебе петуха... возьми... и кошку!

Марфе Осиповне того только и хотелось.

— И! Зачем это! — отвечала она. — Ведь у тебя Васька единое утешение...

— Нет, матушка! Я вот, видишь, человек холостой, прибирать в доме некому, а ведь кошка блудница; прыгнет неравно куда да заденет, разобьет... у тебя же в деревне простор большой.

— И подлинно так, Иван Трофимович! Давай, давай; а я тебе за то к великому посту пришлю медку к чаю да грибков сушеных... Ведь ты, чай, постничаешь?..

Почти слезы навернулись у Ивана Трофимовича, когда пришлось расставаться с Васькой; но делать было нечего. Петуха усадили в лукошко, Ваську в мешок, Марфу Осиповну в кибитку, и все тряхнулось и покатилося.

С тех пор жизнь опостыла Ивану Трофимовичу. Все ему грустно, все холодно вокруг шеи; даже чай ему казался горьким, сколько он ни прикусывал сахару. Войдет ли в комнату — ему чудится, что Васька мурлычет; пойдет ли по городу — все оборачивается полюбоваться на него; то схватится за холодную шею — и нет Васьки!..

Однажды, когда Иван Трофимович сидел за чайным столиком и перед ним стыла налитая чашка, зашел к нему приятель.

— Здравствуй, батюшка Иван Трофимович! По добру ли, по здоровью поживаешь?..

— Нет, почтеннейший!.. Нездоровится! Даже чай в горлышко не идет.

— Да что ж такое с вами, Иван Трофимович?

— Да бог весть, что!.. И голова побаливает, да и что-то грустно все; ни на что глядеть не хочется.

— И, батюшка Иван Трофимович! Хотите, я вас лекарству научу?

— Удружи, почтеннейший!

— Прибавляйте кизлярской водочки к чаю — так не то заговорите.

— Что ты, почтеннейший! Я сроду хмельного в рот не брал и вкусу в нем не знаю.

— Попробуйте. Ведь вам уж пьяницей не сделаться!.. А кизлярская водка с чаем, скажу вам, лучшее лекарство от всех болезней. Лекаря обыкновенно ее отсоветывают оттого, что это лекарство отнимает у них барыши, а его действительность я сам на себе испытал. Вот, онамясь, у бугорья мост у меня под кибиткой провалился: кучер еще как-то удержался, а меня отбросило в промоину — по уши в воду, батюшка! Нитки сухой не осталось! Приехал домой, — день-то был морозный, — такая меня проняла трясавица, что свету божьего не взвидел: в голову бьет, зубы стучат, руки и ноги ходенем ходят. Что ж я? «Жена! Давай чаю, давай водки!» Да как вытянул стаканчика два, на другой день как рукой сняло. Ведь это уж видимый опыт!.. Какое бы лекарство так скоро подействовало? Послушайтесь, Иван Трофимович, попробуйте право, благодарить меня будете! Ведь есть у вас кизлярская?..

— Держу для приятелей.

— Ну попробуйте! Ведь раз — ничего не стоит!

Иван Трофимович послушался, попробовал; сперва было поморщился, но потом он сказал:

— Странное дело!.. Водка лучше вкус придает чаю! Посмотрим, какая-то будет польза.

После двух чашек в самом деле Ивану Трофимовичу сделалось гораздо веселее. Это наслаждение он повторил и на другой день, и на третий, и на четвертый, и так далее.

Однажды сильная головная боль разбудила Ивана Трофимовича. Он вскочил с постели как угорелый. Скорее к кизлярке: выпил — помогло. Через несколько времени другой толчок, и сильнее первого: опять к кизлярке — и опять помогло. Потом еще третий — и кизлярка уже не помогла. Тщетно Иван Трофимович увеличивал прием своего лекарства: ему все было хуже да хуже. Иван Трофимович струсил; ему уже кажется, что у него в голове что-то шевелится и царапается: беда и только!

И с этого времени страшные сны пошли у Ивана Трофимовича. То ему кажется, что у него череп снимают, как крышку, а в черепе-то целое гнездо лягушек и всяких гадов. То ему кажется, будто он сам обратился в огромную и толстую жабу: и горько и стыдно ему!.. Хочет надеть сюртук, чтобы прикрыться, а сюртук не застегивается! Лишь рукава по воздуху болтаются!.. То, наконец, ему кажется, что у него в голове целый город Реженск — крик, шум, скрип от возов... а по улицам все ходят не люди, а лягушки на задних лапках и с ножки на ножку переваливаются!..

Не на шутку испугался Иван Трофимович! И стыд прочь, и бросился он к лекарю.

— Батюшка Богдан Иванович! Помогите, спасите!

— Что с вами случилось, Иван Трофимович? Дайте-ка пульс пощупать...

— И! Полно, батюшка!.. Какой тут пульс! Помните, мы с вами недавно разговор имели об одной странной болезни?..

— Ну, помню. Так что же?

— Ну, батюшка! Эта самая болезнь со мной грешным и приключилась...

— Я вас не понимаю, Иван Трофимович!..

— Чего тут не понимать, батюшка! Жаба у меня в голове завелась. Да!.. Жаба, понимаете? Жаба в голове...

— Бог с вами, Иван Трофимович! Да с чего вы это взяли?

— Как с чего взял! Я перед вами, батюшка, как перед отцом духовным, таиться не буду; все вам расскажу. Пристрастился я к кошке... Помните, у меня кошка была, такая славная, теплая, — провал ее возьми! — черная, лоснистая... Вот и повадилась она, окаянная, мне на ухо шептать: шептала, шептала, да жабу и нашептала...

Лекарь захохотал во все горло:

— Помилуйте, Иван Трофимович! С вашим умом и верить такому вздору?..

— Смейся, батюшка, смейся, как хочешь! — вскричал Иван Трофимович сквозь слезы. — Ведь ты не знаешь, что у меня в голове делается, а я так знаю; я ведь чувствую, как в ней кто-то проклятый царапается — инда голова трещит; а уж болит-то она, болит-то, едва рассудка не теряю! Что за беда такая! Уж шестой десяток живу на свете, на службе уже сороковой год всегда верой и правдой служил, и под турку ходил, и под картечью бывал, дошел до звания городничего, и никогда со мной таковой оказии не бывало, а теперь, под старость лет, бог меня посетил таким позором!.. Помогни, батюшка, помоги, как хочешь, не то я сам на себя руки наложу!..

Лекарь, видя, что все его увещания будут тщетны в эту минуту, решил более не противоречить старику и сказал:

— Ну, слушайте ж, Иван Трофимович! Если подлинно в вас есть такая болезнь, то возьмите несколько терпения: я уж вам, кажется, сказывал, что я только мельком слышал о такой странной болезни, но, признательно вам откроюсь, никогда в глаза не видывал, ни в книгах не читывал. Дайте мне время немножко подумать да в книжках справиться. Я сам не замедлю к вам ответ принести, а теперь вот примите этот прохладительный порошок да привяжите к голове капустных листьев, а там, даст бог, увидим, что надобно делать.

По выходе Ивана Трофимовича лекарь задумался. В нем невольно взволновалась старая студенческая кровь; он невольно вспомнил то восхищение, с каким, бывало, он и его товарищи узнавали о поступлении в клинику какого-нибудь странного больного или странного мертвого. «Что за несчастье! — говорили они. — Зима уже давно началась, а еще так мало к нам привозят замороженных кадаверов». «Какое счастье! — кричали они друг другу. — Целых шесть славных кадаверов привезли!» А если между кадаверами попадался какой-нибудь урод с шестью пальцами, с сердцем на правой стороне, с двойным желудком: то-то радость!.. То-то восхищение!.. Новое знание! Надежда открытия! Пояснение наблюдений! Новые толки профессора! Новые системы!

Давно уже этот род наслаждения потерялся для нашего уездного лекаря; уже пятнадцать лет, как он оставил столицу; до него не дошло почти ни одного из наблюдений, сделанных в продолжение этого времени, в продолжение пятнадцати лет — этого медицинского века! Близ него ни академии, ни журналов, ни библиотеки, а одна почти механическая работа, одна нужда доставать себе пропитание посреди людей необразованных: не с кем поверить даже самого простого наблюдения; нет минуты, чтобы привести в порядок свои опыты! Все двадцать

четыре часа в сутки расходуются на разъезды, на следствия, на самые мелочные занятия жизни. С отчаяньем врач посмотрел на свою скудную библиотеку: Лаврентия Гейстера «Анатомия», изданная в 1775 году; какой-то «Полный врач» того же времени; школьная диссертация его приятеля о нервном соке; его собственная диссертация на степень лекаря, в свое время наделавшая много шума: «О пристойном железу наименовании», с эпиграфом из Гейстера:

Железо, какая часть, чтоб сказал врач, трудно;
Ибо доктора в том все учили скудно, —

несколько номеров «Московских ведомостей», школьные тетрадки — вот и все!..

С чем справиться? Где найти не только средства лечения, но даже описание болезни своего пациента?..

В досаде, в уверенности ничего не найти он берет своего руководителя Гейстера, отыскивает главу «О голове», читает: «Содержимые части (contentae partes) суть: мозг (cerebrum)... Около мозга головного жестокая мать (dura mater), или твердая оболочка над мозгом, из волокон сухожильных состоящая...»

Он бросил от себя книгу: все это было им читано, перечитано, учено и переучено...

Тут ему пришла на мысль еще книга, которую некогда получил он в университете в награду за прилежание, которую тщательно завертывал он в бумажку и бережно хранил особо от других книг, по причине ее дорогого переплета: то был перевод книги «О предчувствиях и видениях», только что тогда появившийся в свет.

Развернув эту книгу, он напал на то место, где описывается известный поступок знаменитого Бургава в Гарлемском сиротском доме. Одна из воспитанниц дома впала в судороги: на нее смотря, другая, третья, четвертая, и таким образом почти все до последней. Бургав, видя, что это было действие одного возбуждения, приказал принести в комнату жаровню с угольями и щипцы и объявил, что у первой, которая впадет в судороги, станут жечь руку раскаленными щипцами. Это лекарство так устрасило больных, что все они в одну минуту выздоровели.

Прочитав это описание, Богдан Иванович задумался. Продолжая читать, он встретил описание больного, который возбуждал, будто у него ноги хрустальные, и которого излечила служанка, уронив ему на ноги вязанку дров. Потом нашел он еще описание больного, который воображал, будто у него на носу сидит муха, и беспрестанно махал рукой, тщетно желая согнать ее. «Остроумный врач, — сказано было в книге, — уверив больного, что он имеет средство излечить его, ударил

его по носу ланцетом и в ту же минуту показал больному приготовленную прежде для того муху».

Слова «остроумный врач», «знаменитый Бургав» невольно остановили Богдана Ивановича.

«Что! — сказал он себе. — Если бы и мне удалось произвести в действие подобное лечение! Я бы описал подробно темперамент моего пациента, его мономанические припадки, средство, мною придуманное для его излечения, полный успех мой, и слава обо мне пролилась бы во всем мире, мое описание послал бы я в академию... Даже в иностранных газетах возвести бы миру о том, как редки и замечательны в летописях науки подобные случаи, какую трудность представлял Иван Трофимович для излечения, как «остроумный врач» искусно воспользовался состоянием нервного сока в своем пациенте, и прочая, и прочая: и, может быть, за это бы вызвали меня в Петербург, приняли в академию?.. О радость! О счастье!.. Решено!»

И Богдан Иванович поспешно собрал все находившиеся у него инструменты — кривые и прямые ножницы, кривые и прямые ножички; присоединил еще к ним все, что только могло найтись в его скудном хозяйстве: вертела, пирожные загибки, обломки невинных щипцов — все пошло впрок! За сим в ближайшем болоте он поймал огромную лягушку, согнул ей лапки, положил ее в карман камзола и с этим запасом, нахмутив брови как можно грознее, явился к Ивану Трофимовичу. Не говоря ни слова, он разложил на стол возле самого окошка, где обыкновенно сиживал Васька, все свои военные снаряды. Иван Трофимович побледнел.

— Что это? — вскричал городничий с ужасом.

— Я долго размышлял, рылся в книгах о вашей болезни, Иван Трофимович, — сказал лекарь с величайшей важностью, — и нахожу, что единственное средство для вашего спасения есть операция... правда, ужасная.

— Операция! — вскричал Иван Трофимович. — То есть повертеть мне голову!.. Нет, ни за что на свете! Уж лучше так умереть, нежели под твоими ножами...

— Но это единственное средство.

— Нет! Ни за что на свете!

— Но вы чувствуете в голове нестерпимую боль, которая будет усиливаться все больше и больше...

— Нет! Ничего не бывало!.. Теперь уж все прошло...

— Но за два часа перед сим?..

— Прошло, говорят тебе! Совсем прошло!

Тщетны были все усилия лекаря: он видел, что цель его испугать больного была слишком достигнута, и рассудил, что надобно несколько отдалить ее.

— Но послушайте! — сказал он. — Ведь эта операция совсем не так опасна, как вы думаете...

— Нет, отец родной! Меня не перехитришь: я сам человек лукавый. Я помню все ужасы, которые ты мне рассказывал. Я как подумаю о том, то едва голова с плеч не валится.

— Но уверяю вас, что я сделаю так искусно, так осторожно, что вы и не почувствуете...

— Какое тут искусство поможет, как начнешь мне череп сверлить!.. Дурак, что ли, я тебе дался?

Лекарь был в отчаянии. Он к Ивану Трофимовичу и с вертелом, и с ланцетом, и с щипцами: Иван Трофимович не дается. Наконец городничий рассердился, лекарь также; минута была решительная: от нее зависели и будущая слава Богдана Ивановича, и богатство, и академия, и статьи в газетах, и завидная участь его ученого поприща. Вооруженный ланцетом, он в отчаянии бросился на своего пациента, стараясь хотя дотронуться до его головы и показать ему успех операции; но Иван Трофимович вдруг вспомнил прежнюю молодецкую силу... они борются: стол вверх ногами; чашки, чайник, все вдребезги: для обоих дело и жизни и смерти!.. И в самую эту минуту... холодная свидетельница и невинная участница происшествия, пользуясь одним из движений лекаря, изо всех сил шлепнулась на пол.

— Это что? — вскричал удивленный Иван Трофимович. — Злодей! Окаянный! Ты не только хотел умертвить меня, но и посадить мне в голову какую-то гадину!.. Вон отсюда, окаянный!.. Вон, говорю тебе!..

И сими словами Иван Трофимович, понатужившись, выкинул Богдана Ивановича из окошка...

Доньше в архиве реженского земского суда хранится «Жалоба отставного прапорщика пехотного карабинерского полка реженского городничего Ивана Трофимовича сына Зернушкина на такового же уезда лекаря Богдана Ивановича Горемыкина о разбитии фаянсовых чашек и чайника, о явном умысле предать его, Зернушкина, умертвлению и посадить ему в голову некую гадину». Старики говорят однакоже, что с того времени Иван Трофимович освободился навсегда от своего припадка.

КНЯЖНА МИМИ

«Извините, — сказал живописец, — если мои краски бледны: в нашем городе нельзя достать лучших».

Биография одного живописца.

I

Бал

*La femme de César ne doit pas être soupçonnée.*¹

— Скажите, с кем вы теперь танцевали? — сказала княжна Мими, остановив за руку одну даму, которая, окончив мазурку, проходила мимо княжны.

— Он когда-то служил с моим братом! Я забыла его фамилию, — отвечала баронесса Дауреталь мимоходом и, усталая, бросилась на свое место.

Этот короткий разговор незаметно для окружающих мелькнул посреди общего движения, которое обыкновенно бывает после окончания танца.

Но баронессу этот разговор заставил задуматься — и недаром. Баронесса, хотя уже и в другой раз замужем, все еще была молода и прекрасна; ее любезность, ее роскошный стан, ее каштановые шелковистые локоны привлекали к ней толпу молодых людей. Каждый из них невольно сравнивал Элизу с ее мужем, осиплым старым бароном, и каждому из них, казалось, ее томные, облитые влагою глаза говорили о надежде: лишь один опытный наблюдатель находил в этих томных голубых глазах не пламень неги, а просто ту южную лень, которая, по его мнению, так странно соединяется в наших дамах с северным флегматизмом и составляет их отличительный характер.

¹ Жены цезаря не должно коснуться подозрение (*ред.*).

Баронесса знала все свои преимущества; знала, что для всякого она вместе с бароном была чем-то невозможным, противным приличию, какою-то нелепостью; знала и то, как во время ее свадьбы толковали в городе, что она вышла за барона по расчету; ей нравилось не сходить с доски на балах, никогда не иметь времени задуматься на раутах, всегда иметь несколько готовых товарищей для кавалькады; но никогда она не позволяла себе ни взора, в котором бы можно было заметить предпочтение одному пред другим, ни сильного восхищения, ни сильной радости, ни сильного огорчения, — словом, ничего такого, чем бы душа могла быть приведена в движение; притом, по чувству ли долга или по какой-то противостественной любви к своему мужу, — хотелось ли ей доказать, что она вышла за него не по расчету, — или просто потому, что вышеозначенное замечание наблюдателя было справедливо, — или, наконец, от соединения всех этих причин, — только баронесса так же была верна барону, как ее Бьюти была верна баронессе; она никуда не выезжала без мужа, даже спрашивала у него советов о своем туалете; барон, с своей стороны, не сомневался в привязанности Элизы, позволял ей делать, что угодно, и спокойно предавался любимым занятиям: поутру нюхал табак, ввечеру играл в вист, а в промежутках выхлопывал себе награждения. В городе издавна уже добродетельные дамы отыскивали предмет баронессиною пежности; но когда они для решения вопроса собирались на общее совещание, одна называла одного, другая другого, третья третьего, и дело расходилось за спором. Тщетно перебирали они всех молодых людей общества: только что согласятся про одного, как он или женится, или станет волочиться за другою, — отчаяние, да и только! Наконец такие беспрестанные неудачи наскучили блюстительницам нравственности: они нашли, что баронесса лишь отнимает у них время для наблюдения за другими дамами; единогласно решили, что ее искусство сохранять наружную пристойность стоит лучшей нравственности, что ее должно ставить в пример другим женщинам, и отложили баронессино дело впредь до могущих представиться обстоятельств.

Баронесса знала, что княжна Мими принадлежала к сему нравственному сословию, знала также, что это сословие в свою очередь принадлежит к тому страшному обществу, которое бросило свои отпрыски во все классы. Открываю великую тайну; слушайте: все, что ни делается в свете, делается для некоторого безыменного общества! Оно — партер; другие люди — сцена. Оно держит в руках и авторов, и музыкантов, и красавиц, и гениев, и героев. Оно ничего не боится — ни законов, ни правды, ни совести. Оно судит на жизнь и смерть и никогда не переменяет своих приговоров, если бы они и были противны

рассудку. Членов сего общества вы легко можете узнать по следующим приметам: другие играют в карты, а они смотрят на игру; другие женятся, а они приезжают на свадьбу; другие пишут книги, а они критикуют; другие дают обед, а они судят о поваре; другие дерутся, а они читают реляции; другие танцуют, они становятся возле танцовщиков. Члены сего общества везде тотчас узнают друг друга не по особенным знакам, но по какому-то инстинкту; и каждый, прежде нежели вслушается, в чем дело, уже поддерживает своего товарища; тот же из членов, кто вздумает *что-нибудь* делать на сем свете, в ту же минуту лишается всех преимуществ, сопряженных с его званием, входит в общее число подсудимых и ничем уже не может возвратить прав своих. Известно также, что самую важную роль в этом судилище играют те, про которых решительно нельзя отыскать, зачем они существуют на сем свете.

Княжна Мими была душою этого общества, и вот как это случилось. Надобно вам сказать, что она никогда не была красавицею, но в юности была недурна собою. В это время она не имела никакого определенного характера. Вы знаете, какое чувство, какая мысль может развернуться тем воспитанием, которое получают женщины: канва, танцевальный учитель, немножко лукавства, *tenez-vous droite*¹ да два, три анекдота, рассказанные бабушкой, как надежное руководство в сей и будущей жизни, — вот и все воспитание. Все зависело от обстоятельств, которые должны были встретить Мими при ее вступлении в свет: она могла сделаться и доброю женою, и доброю матерью семейства, и тем, чем теперь она сделалась. В это время у ней бывали и женихи; но никак дело не могло сладиться: первый ей самой не понравился, — другой был не в чинах и не понравился матери, — третий было очень понравился и той и другой, уже сделано было и обручение, и день свадьбы был назначен, но накануне, к удивлению, узнали, что он им в близкой родне: все расстроилось. Мими занемогла с печали, чуть было не умерла, однакоже оправилась. Затем женихи долго не являлись; прошло десять лет, потом и другие десять, Мими подурнела, постарела, но отказаться от мысли выйти замуж было ей ужасно. Как! Отказаться от мысли, о которой твердила ей матушка в семейных совещаниях; о которой ей говорила бабушка на смертной постели? От мысли, которая была любимым предметом разговоров с подругами, с которою она просыпалась и засыпала? Это было ужасно! И княжна Мими продолжала выезжать в свет с беспрестанно новыми планами в голове и с отчаянием в сердце. Ее положение сделалось нестерпимо: все во-

¹ Держитесь прямо (ред.).

круг нее вышло или выходило замуж; маленькая вертушка, которая вчера искала ее покровительства, нынче уже сама говорила ей тоном покровительства, — и немудрено: она была замужем! У этой был муж в звездах и лентах! У другой муж играл в большую партию виста! Уважение от мужей переходило к женам; жены по мужьям имели голос и силу; лишь княжна Мими оставалась одна, без голоса, без опоры. Часто на бале она не знала, куда пристать — к девушкам или к замужним, — немудрено: Мими была не замужем! Хозяйка встречала ее с холодной учтивостью, смотрела на нее как на лишнюю мебель и не знала, что сказать ей, потому что Мими не выходила замуж. И там и здесь поздравляли, но не ее, но все ту, которая выходила замуж! А тихий шопот, а неприметные улыбки, а явные или воображаемые насмешки, падающие на бедную девушку, которая не имела довольно искусства или имела слишком много благородства, чтобы не продать себя в замужество по расчетам! Бедная девушка! Каждый день ее самолюбие было оскорблено; с каждым днем рождалось новое уничижение; и — бедная девушка! — каждый день досада, злоба, зависть, мстительность мало-помалу портили ее сердце. Наконец мера переполнилась: Мими увидела, что если не замужеством, то другими средствами надобно поддержать себя в свете, дать себе какое-нибудь значение, занять какое-нибудь место; и коварство — то темное, робкое, медленное коварство, которое делает общество ненавистным и мало-помалу разрушает его основания, — это общественное коварство развилось в княжне Мими до полного совершенства. В ней явилась особого рода деятельность: все малые ее способности получили особое направление; даже невыгодное ее положение обратилось в ее пользу. Что делать! Надобно было поддержать себя! И вот княжна Мими, как девушка, стала втираться в общество девиц и молодых женщин; как зрелая девушка, сделалась любезным товарищем в глубоких рассуждениях старых почтенных дам. И ей было время! Проведши двадцать лет в тщетном ожидании жениха, она не думала о домашних заботах; занятая единственной мыслию, она усилила в себе врожденное отвращение к печатным литерам, к искусству, ко всему, что называется чувством в сей жизни, и вся обратилась в злобное, завистливое наблюдение за другими. Она стала знать и понимать все, что делается перед нею и за нею; сделалась верховным судьей женихов и невест; приучилась обсуждать каждое повышение местом или чином; завела своих покровителей и своих питомцев (*protégés*); начала оставаться там, где видела, что она мещает; начала прислушиваться, где говорили шопотом; наконец — начала говорить о всеобщем развращении нравов. Что делать! Надобно было поддержать себя в свете.

И она достигла своей цели: ее маленькое, но постоянное муравьиное прилежание к своему делу, или, лучше сказать, к делам других, придало ей действительную власть в гостиницах; многие боялись ее и старались не ссориться с нею; одни неопытные девушки и юноши осмеливались смеяться над ее поблекшей красотой, над ее нахмуренными бровями, над ее горячими проповедями против нынешнего века и над неприятностью, обратившеюся ей в привычку, приезжать на бал и уезжать домой, не сделавши даже вальсового круга.

Баронесса знала все могущество княжны Мими и страшного ее судилища; хотя, чистая, невинная, холодная, уверенная в самой себе, она и не боялась его преследований: до сих пор избегать их помогали ей самые обстоятельства жизни; но теперь баронесса находилась в весьма затруднительном положении. Границкий, с которым она только что танцевала, был прекрасный статный молодой человек с густыми черными бакенбардами; он почти всю свою жизнь провел в чужих краях, где подружился с братом баронессы; брат баронессы жил теперь в ее доме, а Границкий у ее брата, он почти ни с кем не был знаком в городе; каждый день обедал и выезжал с ними вместе: словом, все сближало его с баронессою, и она понимала, какой прекрасный роман добродетельная душа может построить на таком выгодном основании. Эта мысль занимала ее в то время, когда она танцевала с молодым человеком, и она невольно задумывалась, приискивая в голове средства, как бы ей защититься от злословия добродетельных дам. Баронесса с досадою вспомнила, что внезапный, так близко подходивший к предмету ее размышлений вопрос княжны Мими привел ее в смущение, которое, верно, не укрылось от пронизательных взоров лазутчицы; ей уже казалось, что при сем вопросе в голосе княжны было что-то особенное; к тому ж она заметила, что княжна вслед за тем стала с жаром говорить с сидевшей возле нее старою дамою и что они обе, как бы нехотя, то улыбались, то пожимали плечами. Все это в одно мгновение пробежало в голове баронессы и в то же мгновение родило в ней мысль — одним разом сделать два дела — и отвратить от себя подозрение и снискать благоволение княжны. Баронесса стала искать глазами Границкого, но не находила его. Тому была причина, и очень важная.

На другом конце дома находилась заветная комната, неприступная для мужчин. Там огромное зеркало, ярко освещенное, отражало голубые шелковые занавески: оно было окружено всеми прихотями причудливой моды; цветы, ленты, перья, локоны, перчатки, румяны, все было разбросано по столам, как рафаэлевые арабески; на низком диване лежали рядами белосиневатые парижские башмаки — это воспоминание о хо-

рошеньких ножках — и, казалось, скучали своим одиночеством; несколько в отдалении, под легким покрывалом, перегибались чрез спинку кресел те таинственные выдумки образованности, которых благоразумная женщина не открывает и тому, кто имеет право на ее полную откровенность: эти эластические корсеты, эти шнурки, эти подвязки, эти непонятные накрахмаленные платки, вздернутые на шнурок или перевязанные посередине, и проч. и проч. Один мосье Рави с великолепным, будто из фарфора вылитым хохлом на голове, в белом фартуке, с щипцами в руках имел право находиться в этом гинекее во время бала; на мосье Рави не действовал магнетический воздух женской уборной, от которой у другого дрожь пробегает по телу; он не обращал внимания на эти роскошные оттиски, остающиеся в женской одежде, которую так хорошо понимали древние ваятели, взмачивая покрывало на Афродите; как начальник султанского гарема, он хладнокровно дремал посреди всего его окружающего, не думая ни о значении своего имени, ни о том, что внушила подобная комната его пламенному единоземцу.

Перед концом мазурки одна молодая дама, сказав два слова своему кавалеру, незаметно от других порхнула в эту комнату, показала господину Рави свой развившийся локон, г. Рави вышел за другими щипцами, в одно мгновение молодая дама оторвала от булавок лоскут бумажки, быстро выдернула тонкий карандаш из сувенира, оперлась на диван своею маленькою ножкою, написала несколько слов на колене, сжала записку в неприметный комок и, когда г. Рави возвратился, жаловалась на его медленность.

После окончания танца, когда в воздухе носится несколько недоговоренных слов, танцовщики в хлопотах бегают из угла в угол за дамами, дамы лениво просматривают нумера своих контрадансов, и даже неподвижные фигуры, окружающие танцующих, переменяют место, чтобы подать какой-нибудь признак жизни, — в эту минуту беспорядка та же дама проходила мимо Границкого: дымчатый шарф слетел с распаленных плеч ее, Границкий поднял его, дама наклонилась, их руки встретились, и свернутая бумажка осталась в руке молодого человека. Границкий не изменился в лице, остался несколько времени на том же месте, тщательно поправил на руке перчатку и потом, жалуясь на духоту и усталость, пошел тихими шагами в отдаленную комнату, где несколько игроков в сладком уединении сидели за карточным столом. К счастью, один из них объявил Границкому, что его пари проиграно. Границкий отошел в сторону, вынул портфель и, как бы отыскивая в нем деньги, прочитал следующие слова, наскоро написанные знакомою рукою:

«Я не успела вас преуведомить. Не танцуйте со мною более одного раза. Мне кажется, что муж мой начинает замечать...»

Остального нельзя было разобрать.

По праву нескромности, присвоенной рассказчиком, мы объявим, кем была писана эта записка. Границкий знал ее сочинительницу еще девушкой: она была первою его страстию; тогда еще они поклялись друг другу в вечной любви, хотя разные семейственные расчеты противились их соединению, — это было во Флоренции. Вскоре они расстались; Границкий отправился в Рим; его Лидию мать увезла в Петербург и, волею или неволею, выдала замуж за графа Рифейского. Как бы то ни было, встретившись снова, старые любовники вспомнили прежнюю свою клятву: вспыхнул огонь из-под пепла; они решились возратить потерянное время и, в отпущение свету за его своеволие, торжественно его обманывать.

Границкий привез к графу целый короб рекомендательных писем, подарков, посылок и проч.; успел в самом Петербурге оказать ему какую-то услугу и, наконец, сделался в его доме почти домашним человеком.

Покорный своей владычице, он, возвратясь в залу, стал осматривать, не попадутся ли ему знакомые дамы, которые бы помогли ему добить сегодняшний вечер. В эту минуту баронесса подошла к нему и спросила, не хочет ли он познакомиться с танцовщицею. Границкий принял ее предложение с величайшею радостью; она подвела его к княжне Мими.

Но баронесса ошиблась в своем расчете: княжна вспыхнула, отозвалась нездоровою, объявила, что не намерена танцовать, и, когда смущенная баронесса удалилась, сказала сидевшей возле нее старой даме:

— С чего она взяла навязывать мне своих друзей? Ей хочется мною прикрыть свои хитрости. Она думала, что трудно догадаться...

Целый мир злости был в этих немногих словах. Как хотелось княжне, чтобы кто-нибудь подошел пригласить ее на танцы! С какою бы радостью она показала баронессе, что не хочет танцовать только с ее Границким! Но княжне, к несчастью, не удалось это: целый бал она по обыкновению не сошла с своего стула и возвратилась домой с планами жесточайшего мщения.

Не подумайте, однакож, любезные читатели и читательницы, чтобы злота княжны на баронессу была произведена лишь минутною досадою. Нет! Княжна Мими была девушка очень благоразумная и издавна приучила себя без причины не увлекаться сердечным движением. Нет! Давно, давно уже Элиза

напесла тяжкую обиду княжне Мими: в последнем периоде ее странствования по балам первый муж Элизы казался будто полуженихом княжны, то есть не имел к ней такого отвращения, как другие мужчины; княжна была уверена, что если б не Элиза, то она бы теперь имела наслаждение быть замужем или, по крайней мере, вдовою, — что не менее производит удовольствие. И все понапрасну! Явилась баронесса, отбила обожателя, вышла за него замуж, уморила его, вышла за другого — и все еще всем нравится, заставляет в себя влюбляться, умеет не сходить с доски, а княжна Мими все в девках да в девках, — а время все бежит да бежит! Часто за туалетом княжна с тайным отчаянием смотрела на свои перезревшие прелести: она сравнивала свой высокий стан, свои широкие плечи, свой мужественный вид с маленьким измятым личиком баронессы. О, если б кто мог подсмотреть, что тогда делалось в сердце княжны! Что мерещилось ее воображению! Как было оно изобретательно в ту минуту! Какою бы прекрасною моделью она могла служить живописцу, который бы хотел изобразить дикую островитянку, терзающую попавшегося на ее долю пленника! И все это надобно было сжимать под узким корсетом, под условными фразами, под вежливой паружностью!.. Пламень целого ада выпускать тоненькою неприметною ниточкой!.. О, это ужасно, ужасно!

В эти минуты грусти, скорби, зависти, досады к княжне являлась утешительница.

То была горничная княжны. Сестра этой горничной нанималась у баронессы. Часто сестрицы сходились вместе и, побранив порядком своих барынь, каждая свою, — принимались рассказывать друг другу домашние происшествия; потом, возвратившись домой, передавали своим господам все собранные ими известия. Баронесса помирала со смеху, слушая подробности туалета Мими, — как страдала она, затягивая свою широкую талию, — как белила посиневшие от натуги свои шершавые руки, — как дополняла разными способами несколько скосившийся правый бок свой, — как на ночь привязывала к багровым щекам своим — ужас! — сырые котлеты, — как выдергивала из бровей лишние волосы, подкрашивала седые и проч.

Известия, получаемые княжною, были гораздо важнее, в этом была виновата сама баронесса: об ней почти нечего было рассказывать, и Маша — так называлась служанка княжны — невольно должна была прибегать к изобретениям. Справедливо старинное, опытом доказанное сказание, что человек всегда сам подает повод к своим несчастиям!

Когда княжна возвратилась с бала, — хотя в это время она и всегда бывала не в духе, — но сегодня Маша заметила,

что с ее госпожою произошло что-то особенное; ей показалось, будто уже шевелятся башмаки, банки с помадою, склянки и прочие вещи, которые в таких обстоятельствах княжна имела обыкновение отправлять — отправлять — как бы сказать это повежливее? — отправлять параллельно полу и перпендикулярно к той линии, которая оканчивалась лицом горничной. Кажется, довольно неясно?.. Бедная девушка, чтоб отвратить грозную тучу, не преминула прибегнуть к единственной своей защите:

— А я-с сегодня была у сестрицы! — сказала она. — Уж что там делается, ваше сиятельство!

Маша не обманулась. В одно мгновение лицо княжны прояснилось; она вся обратилась во внимание... и уже давно начался городской шум, а Маша еще толковала с княжною о том, как барон часто выезжает со двора, как в это время *новоприезжий* сидит с баронессою, как они уговариваются ехать вместе в театр, быть вместе на бале и проч. и проч.

Долго не могла заснуть княжна и, заснувши, беспрестанно просыпалась от различных сновидений: то ей кажется, что она выходит замуж, стоит уже перед налоем, все ее поздравляют, — вдруг явится баронесса и утащит жениха ее; то княжна рассматривает свое венчалное платье, примеривает его, любит, — явится баронесса и раздерет платье на мелкие части; то княжна ложится в постель, хочет обнять своего мужа, — а в постели баронесса лежит и хохочет; то княжна танцует на бале, все восхищаются ее красотою, говорят, что она танцует с женихом своим, — а баронесса подставит ногу, и княжна падает на пол. Но были и сны утешительные: то баронесса представляется ей в виде ее горничной, — княжна бранит ее, бьет ее башмаками и обрезывает ей кругом волосы; то в виде большого черного пуделя, — княжна приказывает его выгнать и с удовольствием смотрит в окошко, как лакеи камнями бросают в ее неприятельницу, то в виде канвы, — княжна колет ее большою острою иглою и прошивает красными нитками.

И не вините ее в том, но вините, плачьте, проклинайте развращенные нравы нашего общества. Что же делать, если для девушки в обществе единственная цель жизни — выйти замуж! Если ей с колыбели слышатся эти слова: «когда ты будешь замужем!» Ее учат танцовать, рисовать, музыке для того, чтоб она могла выйти замуж; ее одевают, вывозят в свет, ее заставляют молиться господу богу, чтоб только скорее выйти замуж. Это предел и начало ее жизни. Это самая жизнь ее. Что же мудреного, если для нее всякая женщина делается личным врагом, а первым качеством в мужчине — *удобоженность*. Плачьте и проклинайте — но не бедную девушку.

II

Круглый стол

On cause, on rit, on est heureux.

Romans français. ¹

Под кровом тишины и спокойствия,
в кругу своего семейства...

Русские романы.

На другой день после обеда княжна Мими, младшая сестра ее Мария, молодая вдова, старая княгиня — мать обеих, да еще человека два домашних сидели по обыкновению за круглым столом в гостиной и, в ожидании партнеров для виста, прилежно занимались канвою.

Княгиня была очень старая и почтенная женщина; во всей ее долгой, долгой жизни нельзя было найти ни одного поступка, ни одного слова, ни одного чувства, которое бы не было строго сообразовано с принятыми приличиями; она говорила по-французски очень чисто и без ошибок; сохраняла в полной мере суровость и неприступность, приличную женщине хорошего тона; не любила отвлеченных рассуждений, но целые сутки могла поддерживать разговор о том, о сем; никогда не брала на себя неприятной обязанности вступаться за человека не в ладу с общим мнением; вы могли быть уверены, что в ее доме не встретите с человеком, на которого дурно смотрят или которого вы не встречали в обществе. Сверх того, княгиня была женщина ума необыкновенного: она была очень небогата и не могла давать ни обедов, ни балов; но несмотря на то, умела так искусно нырять между интригами, так искусно оцеплять людей посредством своих племянников, племянниц, внуков и внучек, так искусно попросить об одном, побранить другого, что приобрела всеобщее уважение и, как говорится, поставила себя на хорошую ногу.

Сверх того, она была женщина очень благотворительная: несмотря на недостаточное состояние, ее гостиная была всякий день освещена, и чиновники иностранных посольств могли быть уверены, что всегда найдут у ней камин или карточный стол, за которым можно провести время между обедом и балом; в ее доме часто разыгрывались лотереи для бедных; она всегда была завалена концертными билетами дочерних учителей; она покро-

¹ Беседуют, смеются, чувствуют себя счастливыми. *Французские романы (ред.).*

вительствовала кому бы то ни было, когда кто ей был рекомендован порядочным человеком. Словом, княгиня была добрая, благоразумная и благотворительная дама во всех отношениях.

Все это, как мы сказали, давало ей право на всеобщее уважение: княгиня знала себе цену и любила пользоваться своим правом. Но только с некоторого времени княгине все стало как-то скучно и досадно; вист и люди, люди и вист еще как-то оживляли ее, но до начала партии она не могла (разумеется, в семейном кругу) скрывать своей невольной тоски, и внезапно наружу являлись какая-то жесткость сердца, какая-то маленькая ненависть ко всему окружающему, какое-то отсутствие всякого радушия, какое-то отвращение ко всякой услуге, даже какое-то отвращение к жизни. Как не пожаловаться на судьбу? За что такая несправедливость? Зачем так худо награждена была эта почтенная дама? Ибо, уверяю вас, этот маленький байронизм княгини происходил не от воспоминания о каких-нибудь прежних тайных прегрешениях, не от раскаяния, — о нет, не от раскаяния! Я уже сказал вам, что в продолжение всей своей жизни княгиня не позволяла себе никогда делать что-нибудь такое, чего бы не делали другие: она была невинна, как голубица; она смело могла смотреть на происшествия своей прежней жизни — чистые, как стекло, — ни единого пятнышка. Словом, я никак не могу вам объяснить, от чего происходила тоска княгини. Пусть эту загадку решат те почтенные дамы, которые будут или не будут читать меня, и пусть растолкуют ее своим вучкам, надежде нового поколения.

Итак, княгиня среди своего семейства сидела за круглым столом. О, круглый семейный стол! Свидетель домашних тайн! Чего тебе не вверяли? Чего ты не знаешь? Если б к твоим четырем ногам прибавить голову, ты бы сравнялся даже с нашими глубокомысленными писателями нравов, которые столь верно и резко нападают на недоступное им общество и которым я столь тщетно подражать стараюсь. За круглым столом обыкновенно начинается маленькая откровенность; чувство досады, сжатое в другое время, начинает мало-помалу развертываться; из-под канвы выскакивает эгоизм в полном, роскошном цвете; тут приходят на мысль счета управителя и расстройство имения; тут откровенно обнаруживается непреодолимое желание выйти или выдать замуж; тут вспоминаются какая-нибудь неудача, какая-нибудь минута уничижения; тут жалуются и на самых близких приятелей и на людей, которым, кажется, вы преданы всею душою; тут дочери ропщут, мать сердится, сестры упрекают друг друга; словом, тут делаются явными все те маленькие тайны, которые тщательно скрываются от взоров света. Послышится звонок, и все исчезло! Эгоизм спрячется

за дымчатое канзю, на лице явится улыбка, и входящий в комнату холостяк с умилением смотрит на дружеский кружок милого семейства.

— Я не знаю, — говорила старая княгиня княжне Мими, — зачем вы ездите на балы, когда всякий раз жалуетесь, что вам было скучно... что вы не танцуете... Выезды стоят денег, и все понапрасну! Только, что я остаюсь одна дома, даже без партии... Вот как вчера! Право, пора этому всему кончиться: ведь тебе уже гораздо за тридцать, Мими, — выходи, бога ради, замуж поскорее; по крайней мере я тогда буду спокойнее. Я, право, не в состоянии одевать тебя...

— Я думаю, — сказала молодая вдова, — что ты, Мими, сама виновата во многом. Зачем эта беспрестанная презрительная мина на лице твоем? Когда к тебе подойдет кто-нибудь, то по лицу твоему можно подумать, что тебя лично обидели. Ты, право, страшна на бале... ты отталкиваешь всякого от себя...

К п я ж н а М и м и. Неужли ж мне вешаться на шею всякому встречному, как твоя баронесса? Жеманиться, показывать всякому мальчику мою благодарность за то, что он мне делает честь провести меня в контрадансе?

М а р и я. Не говори мне о баронессе! Твой вчерашний с нею поступок на бале таков, что я не знаю, как назвать его. Это была беспримерная неучтивость. Баронесса хотела тебе сделать удовольствие, подвела к тебе кавалера...

М и м и. Подвела ко мне для того, чтобы мною прикрыть свои любовные хитрости. Вот прекрасное одолжение!

М а р и я. Ты любишь все толковать в дурную сторону. Где ты заметила эти любовные хитрости?

М и м и. Одна ты ничего не видишь и не слышишь! Ты, разумеется, как женщина замужняя, можешь презирать светское мнение, — по я... я слишком дорожу собою. Я не хочу, чтоб обо мне стали то же говорить, что о твоей баронессе.

М а р и я. Не знаю! Но что до сих пор ни говорили о баронессе, все вышло неправда...

М и м и. Конечно, все ошибаются! Одна ты права!.. Я не могу надивиться, как ты можешь за нее вступаться. Ее репутация сделана.

М а р и я. О, я знаю! Баронесса имеет много врагов, — и на это есть причины: она прекрасна собою; муж ее урод; ее любезность привлекает к ней толпу мужчин.

Мими вспыхнула, а старая княгиня прервала Марию:

— Уж правду сказать, я совсем не рада вашему знакомству с баронессою; она совсем не умеет вести себя. Что это за беспрестанные кавалькады, пикники? Нет бала, на котором бы она не вертелась; нет мужчины, с которым бы она не была

как с братом. Я не знаю, как все это называется у вас, в нынешнем веке, но в наше время такое поведение называлось неблагопристойным.

— Да дело идет не о баронессе! — возразила Мария, хотевшая отклонить разговор о своей приятельнице. — Я говорю о тебе, Мими: ты меня истинно приводишь в отчаяние. Ты говоришь об общем мнении! Не думаешь ли ты, что оно в твою пользу? О, ты весьма ошибаешься! Ты думаешь, приятно мне видеть, что твоего языка боятся, как огня, перестают говорить, когда ты подойдешь к какому-нибудь кружку? Мне, мне, сестре твоей, говорят в глаза о твоих сплетнях, о твоей злости; ты мужу намекаешь о тайнах его жены; жене рассказываешь о муже; молодые люди просто ненавидят тебя. Нет их шалости, которой бы ты не знала, о которой бы ты не судила и не рядила. Уверяю тебя, что с твоим характером ты в век не выйдешь замуж.

— О, я об этом очень мало забочусь! — отвечала Мими. — Лучше целый век оставаться в девках, чем выйти замуж за какого-нибудь больного калеку и до смерти затаскать его на балах.

Мария вспыхнула в свою очередь и готовилась отвечать, но ударил звонок, дверь отворилась, и вошел граф Сквирский, старинный приятель, или, что все равно, старинный партнер княгини. То был один из тех счастливцев, которым нельзя не завидовать. Целый век и целый день он был занят: поутру надобно поздравить того-то с именинами, купить узор для княжны Зизи, сыскать собаку для княжны Биби, завернуть в министерство за новостями, поспеть на крестины или на похороны, потом на обед, и проч. и проч. В продолжение пятидесяти лет граф Сквирский все собирался сделать что-нибудь дельное, но отлагал день за днем и за ежедневными хлопотами не успел даже жепиться. Ему вчера и тридцать лет назад было одно и то же: переменялись моды и мебели, но гостиные и карты все были те же — сегодня, как вчера, завтра, как сегодня, — он уже третьему поколению показывал свою неизменную спокойную улыбку.

— Сердце радуется, — говорил Сквирский княгине, — когда войдешь к вам в комнату и помотришь на ваш милый семейный кружок. Нынче уже мало таких согласных семейств! Все вы вместе, всегда так веселы, так довольны, — и вздохнешь невольно, как вспомнишь о своем холостом угле. Честью могу вас уверить, — пусть другие говорят, что хотят, — но что до меня касается, я так думаю, холостая жизнь...

Философические рассуждения Сквирского были прерваны подавною ему карточкою.

Между тем скоро гостиная княгини наполнилась: тут были и супруги, для которых собственный дом есть род калмыцкой кибитки, годной лишь для почлега; и те любезные молодые

люди, которые приезжают к вам в дом за тем, чтоб было что сказать в другом; и те, которых судьба наперекор природе втянула в маховое колесо гостиных; и те, для которых самый простой визит есть следствие глубоких расчетов и пособие для годовой интриги. Тут были и те лица, которым сам Грибоедов не мог приискать другого характеристического имени, как г-н N и г-н D.

— Вы долго вчера оставались на бале? — спросила княжна Мими у одного молодого человека.

— Мы еще танцевали после ужина.

— Скажите ж, чем кончилась комедия?

— Княжне Биби наконец удалось прикрепить свою гребенку...

— Ох! Не то...

— А, понимаю!.. Длинная фигура в черном фраке наконец решилась разговориться: он задел шляпою графиню Рифейскую и сказал: «Извините!»

— О! Все не то... Вы, стало быть, ничего не заметили?

— А, вы говорите про баронессу?..

— О нет! Я и не думала об ней... Да почему вы об ней заговорили? Разве о чем-нибудь говорят?

— Нет! Я ничего не слышал. Мне хотелось только отгадать, что вы хотели сказать своим вопросом.

— Я ничего не хотела сказать.

— Но о какой же комедии?

— Я так говорила вообще о вчерашнем бале.

— Нет, воля ваша, тут что-нибудь да есть! Вы сказали таким тоном...

— Вот свет! Вы уж выводите заключения! Я вас уверю, что я ни о ком особенно не думала. Кстати о баронессе: она еще много после меня танцевала?

— Не сходила с доски.

— Она совсем не бережет себя. С ее здоровьем...

— О! Княжна, вы совсем не об ее здоровье говорите. Теперь все понимаю. Этот гвардейский полковник?.. Не так ли?

— Нет! Я его не заметила.

— Так позвольте ж? Надобно вспомнить всех, с кем она танцевала...

— Ах, бога ради, перестаньте! Я вам говорю, что я об ней и не думала. Я так боюсь этих всех пересудов, сплетней... В свете люди так злы...

— Позвольте, позвольте! Князь Петр... Бобо... Лейден-минц, Границкий?..

— Кто это? Это новое лицо, высокий с черными бакенбардами?..

— Так точно.

— Он, кажется, приятель баронессина девера?

— Так точно.

— Так его зовут Границким?

— Скажите, пожалуйста, — сказала одна сидевшая за картами дама, вслушавшись в слова Мими, — что такое этот Границкий?

— Его баронесса всюду развозит, — отвечала соседка княжны на бале.

— И сегодня, — заметила третья дама, — она показывала его в своей ложе.

— Это только баронессе может прийти в голову, — сказала соседка княжны. — Бог знает, что он такое! Какой-то выходец с того света...

— То уж правда, что он бог знает, что такое! Он какой-то этакий якобинец не якобинец, un frondeur,¹ не умеет жить. И какие глупости он говорит! Намедни я стала уговаривать графа Бориса взять билет к нашему Целини, а этот, — как его — Границкий, что ли, — принялся возле меня рассказывать о какой-то страховой конторе, которую здесь заводят против концертных билетов...

— Он нехороший человек, — заметили многие.

— Не слышит этого баронесса! — сказала Мими.

— Ну, теперь понимаю! — прервал ее молодой человек.

— О нет! Ей-богу, я только хотела сказать, как бы ей этот разговор был неприятен; он друг их дома... И для всякого...

— Позвольте мне еще раз прервать ваши слова, потому что я расскажу именно то, что вам хотелось знать. Баронесса после ужина не переставала танцевать с Границким. О, теперь я все понимаю! Он не отходил от нее: то она на стуле оставит шарф, он принесет его; то ей жарко, он носитя со стаканом...

— Как вы злы! Я ни об чем об этом вас не спрашивала. Что тут мудреного, что он за ней ухаживает! Он ей почти родной, живет у них в доме...

— А! Живет у них в доме! Какая самоуверенность в этом бароне!.. Не правда ли?

— О, бога ради, перестаньте! Вы заставляете меня говорить то, чего у меня в голове нет: с вами тотчас попадешь в кумушки, — а я, я так всего этого боюсь!.. Избави меня бог за кем-нибудь замечать!.. А особенно баронесса, которую я так люблю...

— Да! Она достойна любви и... сожаленья.

— Сожаленья?

— Без сомненья! Согласитесь, что барон и баронесса вместе составляют что-то странное.

¹ Фрондер (недовольный, находящийся в оппозиции) (ред.).

— Да! Это правда!.. Муж баронессы совсем не занимается ею: она, бедная, дома всегда одна...

— Не одна! — возразил молодой человек, улыбаясь своему остроумию.

— О, вы все толкуете по-своему! Баронесса очень нравственная женщина...

— О, будемте справедливы! — заметила соседка княжны. — Не надобно никого осуждать; но я не знаю, какие правила у баронессы. Не знаю, как-то зашла речь об «Антони», об этой ужасной безнравственной пьесе: я не могла досидеть до конца, а она вздумала вступаться за эту пьесу и уверять, что только такая пьеса может остановить женщину на краю гибели...

— О! Признаюсь вам, — заметила княгиня, — все, что говорится, делается и пишется в нынешнем веке... Я ровно ничего не понимаю!

— Да! — отвечал Сквирский. — Я скажу, что до меня касается, я так думаю, нравственность необходима; но и просвещение также...

— Ну уж, и вы, граф, туда же! — возразила княгиня. — Нынче все твердят — просвещение, просвещение! Куда ни оглянись, всюду просвещение, — и купцов просвещают, и крестьян просвещают; встарину не было этого, а все шло лучше нынешнего. Я сужу по-старинному: говорят — просвещение, а поглядишь — развращение!

— Нет, позвольте, княгиня! — отвечал Сквирский. — Я с вами несогласен. Просвещение необходимо, и это я докажу вам как дважды два четыре. Ведь что такое просвещение? Вот, например, мой племянник: он вышел из университета, знает все науки: и математику и по-латыни — имеет аттестат, и вот ему всюду открыта дорога, и в коллежские ассесоры и в действительные. Ведь позвольте сказать: просвещение просвещению рознь. Вот, например, свеча: она светит, нам бы нельзя было без нее в вист играть; но я взял свечу и поднес к занавеске — занавеска загорится...

— Позвольте записать! — сказал один из играющих.

— То, что я говорю? — спросил Сквирский, улыбаясь.

— Нет, роберт!

— Вы сделали ренонс, граф! Как это можно? — сказал с досадою партнер Сквирского.

— Как?.. Я?.. Ренонс? Ах, боже мой!.. В самом деле? Вот вам и просвещение!.. Ренонс! Ах, боже мой, ренонс! Да, точно ренонс!

Тут уже ничего нельзя было расслушать: все заговорили о несчастии Сквирского, и все рассуждения, все интересы, все чувства сосредоточились в этом предмете. Пользуясь общим

движением, двое из гостей неприметно вышли из комнаты: один из них, казалось, только что приехал определиться, другой возил его знакомить по гостиным. На лице одного видны были досада и насмешка; другой спокойно и внимательно всматривался в ступеньки лестницы, по которой они сходили.

— Мне на роду написано встречаться с этим бездельником! — сказал первый. — Этот Сквирский старый знакомец, — я его знал в Казани, чего он там не чудесил! А здесь еще он ораторствует! И о чем же? О нравственности. И что всего замечательнее, он убежден в том, что говорит: напомни ему, что он вконец разорил своих племянников, бывших у него под опекою, он будет в состоянии спросить: какое это имеет отношение к нравственности? Скажи, пожалуй, как вам возможно такого безнравственного человека принимать в общество?

Товарищ пожал плечами.

— Что ж мне делать с тобою, мой любезный! — отвечал он, садясь в карету, — если ты не знаешь нашего языка; учись, учись, мой милый: это необходимо, — мы здесь перемешали значение всех слов, и до такой степени, что если ты назовешь безнравственным человека, который обыгрывает в карты, клеветает на ближнего, владеет чужим именем, тебя не поймут, и твое прилагательное покажется странным; но если ты дашь волю уму и сердцу, протянешь руку к какой-нибудь жертве светских предрассудков или попробуешь только запереть твою дверь от встречного и поперечного, тебя тотчас назовут безнравственным человеком, и это слово будет для всех понятно.

После некоторого молчания первый продолжал:

— Знаете ли, что мне гораздо споснее ваши блестящие большие рауты! Тут, по крайней мере, говорят мало, у всех чинный вид, точно люди; но избави бог от их семейных кружков! Минуты их домашней откровенности ужасны, отвратительны, — отвратительны даже до любопытства. Княгиня — судья литературы! Граф Сквирский — защитник просвещения! Право, после этого захочется быть невеждою.

— Однакож в словах княгини было нечто справедливое! Согласись сам, — что такое в нынешней литературе? Беспрестанные описания пыток, злодеяний, разврата; беспрестанные преступления и преступления...

— Извини! — отвечал его товарищ, — но так говорят те, которые ничего не читали, кроме произведений нынешней литературы. Ты, конечно, уверен, что она портит общественную нравственность, не правда ли? Было бы что портить, мой любезный! С середины XVIII века все так исправно испортились, что уже нашему веку ничего портить не осталось. И одну ли нынешнюю литературу можно попрекнуть этим грехом? На одно действительно безнравственное нынешнее произведение

я тебе укажу десять XVIII, XVII и даже XVI века. Теперь нагота больше в словах, тогда она была на самом деле, в самом вымысле. Прочти хоть Брантома, прочти даже «Поездку на остров любви» Тредьяковского: я не знаю на русском языке безнравственнее этой книги; это ручная книга для самой бесстыдной кокетки. Нынче не напишут такой книги в пользу чувственных наслаждений; нынче автор, вопреки древнему правилу — «si vis me flere...»,¹ кощунствует, смеется для того, чтоб заставить плакать читателя. Вся нынешняя литературная нагота есть последний отблеск прошедшей действительной жизни, невольная исповедь в старых прегрешениях человечества, хвост старинной беззаконной кометы, по которому, — знаешь ли что? — по которому можно судить, что сама комета удаляется с горизонта, ибо кто пишет, тот уже не чувствует. Наконец, нынешняя литература, по моему мнению, есть казнь, ниспосланная на ледяное общество нашего века: нет ему, лицемеру, и тихих наслаждений поэзии! Оно недостойно их!.. И может быть, это казнь благотворная: неисповедимы определения ума человеческого! Может быть, нужно нашему веку это сильное средство; может быть, оно, непрерывно потрясая его нервы, пробудит его заснувшую совесть, как телесное страдание пробуждает утопленника. С тех пор как я в вашем свете, я понимаю нынешнюю литературу. Скажи мне, чем другим, какую поэзиею она заинтересует такое существо, какова княжна Мими? Какую искусною катастрофою ты тронешь ее сердце? Какое чувство может быть понятно ей, кроме отвращения — да, отвращения! Это, может быть, единственный путь к ее сердцу. О, эта женщина навела на меня ужас! Смотри на нее, я рядил ее в разные платья, то есть логически развивал ее мысли и чувства, представлял себе, чем бы могла быть такая душа в разных обстоятельствах жизни, и прямехонько дошел... до костров инквизиции! Не смейся надо мною: Лафатер говаривал — дайте мне одну линию на лице, и я вам расскажу всего человека. Найди мне только степень, до которой человек любит сплетни, любит выведывать и рассказывать домашние тайны и все под личиною добродетели, и я тебе с математическою точностию определю, до какой степени простирается в нем безнравственность, пустота души, отсутствие всякой мысли, всякого религиозного, всякого благородного чувства. В моих словах нет преувеличения: я сошлюсь хотя на отцов церкви. Они глубоко знали сердце человеческое. Послушай, с каким горьким сожалением они вспоминают о таких людях: «Горе будет им в день судный, — говорят они, — лучше бы им не знать святыни, нежели посреди ее поставить престол дьяволу».

¹ Если хочешь меня заставить плакать... (ред.).

— Помилуй, братец! Да что с тобою? Это уж, кажется проповедь.

— Ах, извини! Все, что я видел и слышал, так гадко, что надобно же мне было отвести душу. Впрочем, скажи — разве ты не слышал разговора княжны Мими с этим прокатным танцовщиком?

— Нет. Я не обратил внимания.

— Ты? Литератор?.. Да в этом милом светском разговоре зародыш тысячи преступлений, тысячи бедствий!

— Э, братец! Мне в это время рассказывали историю поинтереснее — как сделал карьеру один из моих сослуживцев...

Карета остановилась.

III

Следствие домашних разговоров

Я говорю, ты говоришь, он говорит,
мы говорим, вы говорите, они или оне
говорят.

Труды...?

К счастью, немногие разделяли грозное мнение незнакомого оратора о нынешнем обществе, и потому все его маленькие дела шли своим чередом без всякого помешательства. А между тем, не заметно ни для кого, двигался этот род предрассудка, который называют временем.

Графиня Рифейская, издавна дружная с баронессою, старалась еще более с нею сблизиться с тех пор, как приехал Границкий: их видали вместе и на прогулке и в театре; баронесса не знала ничего о старинном знакомстве Границкого с графинею; правда, она замечала, что они были равнодушны друг к другу, но почитала это обыкновенным минутным волокитством, которое иногда предпринимают люди от нечего делать, в свободное от других занятий время. Сказать ли? Баронесса незаметно для нее самой даже радовалась своему открытию: оно ей показалось верною защитою против нападений своей неприязнелиницы.

Но Границкий и графиня вели свои дела с особенным искусством, приобретаемым долгою опытностию: в обществе они умели быть совершенно равнодушными; говоря с другими о предметах совершенно посторонних, они умели или назначить друг

другу место свидания, или передать какие-либо меры предосторожности; они даже умели кстати смеяться друг над другом. Пламенные их взоры встречались лишь в зеркале; но ни одна минута не была ими потеряна: они ловили тот миг, когда глаза других были отвлечены каким-нибудь предметом. При мгновенном выходе из комнаты, из театра, словом, при каком бы то ни было удобном случае их руки сливались вместе, и часто за долгое принуждение их награждал поцелуй любви, распаленный насмешкою над общим мнением.

Между тем семена, брошенные искусною рукою княжны Мими, росли и множились, как те чудные деревья девственного бразильского леса, которые раскинут свои ветви, и каждая ветвь опустится к земле, и станет новым деревом, и снова вопьется в землю ветвями, и еще, еще... И горе неосторожному путнику, попавшемуся в эти бесчисленные сплетения! Молодой болтун рассказал разговор с княжною Мими другому; этот своей маменьке; маменька своей приятельнице и так далее. Такую же галерею устроила вокруг себя и Мими; такую же и княгиня; такую же и старая соседка княжны на бале. Все эти галереи росли, росли; наконец встретились, переплелись, укрепили друг друга, и частая сеть охватила баронессу с Границким, как Марса с Венерою. По этому случаю все языки, которые только могли шевелиться в городе, зашевелились — одни по желанию убедить слушателей, что они неспричастны подобным грехам, — другие по ненависти к баронессе, — третьи, чтоб посмеяться над ее мужем, — иные просто по желанию показать, что им также известны гостинные тайны.

Границкий, занятый своими стратегическими движениями с графинею, баронесса, успокоенная своим открытием, не знали бури, которая была готова над ними разразиться: они не знали, что каждое их слово, каждое их движение были замечены, обсуждены, растолкованы; они не знали, что беспрестанно находились перед глазами судилища, составленного из чепчиков всех возможных фасонов. Когда баронесса запросто, дружески обращалась с Границким, тогда судилище решало, что она играет роль невинности. Когда она по какому-нибудь стечению обстоятельств в продолжение целого вечера ни слова не говорила с Границким, тогда судилище находило, что это сделано для того, чтоб отвлечь общее внимание. Когда Границкий говорил с бароном, это значило, что он желает усыпить подозрение бедного мужа. Когда молчал, это значило, что любовник не в силах преодолеть своей ревности. Словом, что бы ни делали баронесса и Границкий, — садился он или не садился подле нее за столом, танцевал или не танцевал с нею, встречался или не встречался на прогулке, была ли баронесса при людях любезна или нелюбезна с своим мужем, выезжала

с ним или не выезжала, — все для досужего судилища служило подтверждением его заключений.

А бедный барон! Если бы он знал, какое нежное участие принимали в нем дамы, если бы он знал все добродетели, открытые ими в его особе! Его всегдашняя сонливость была названа внутренним страданием страстного мужа; его глупая улыбка — знаком непритворного добродушия; в его заспанных глазах они нашли глубокомыслие; в его страсти к висту — желание не видеть женишой неверности или сохранить наружное приличие.

Однажды в доме общей знакомой баронесса Дауреталь встретила княжню Мими. Они, разумеется, очень обрадовались, дружески пожали друг другу руки, сделали друг другу бесчисленное множество вопросов и с обеих сторон оставили их почти без ответа: словом, ни тени вражды, ни тени воспоминания о приключении на бале, — как будто бы целый век они не переставали быть истинными приятельницами. В гостиной, кроме их, было мало гостей, — только старая княжна, молодая вдова — сестра Мими, старая и всегдашняя ее соседка на балах, Границкий и еще человека два, три.

Границкий целый день протаскался по разным гостиным, чтоб увидеться с своею графинею, и, нигде не нашедши ее, был скучен и рассеян. Баронессе было очень неприятно встретиться с княжню Мими, а старой княгине с баронессою. Одна Мими была очень рада удобному случаю делать наблюдения над баронессою и Границким в маленьком обществе. От всего этого произошла в гостиной несносная принужденность: разговор беспрестанно переходил от предмета к предмету и беспрестанно прерывался. Хозяйка поднимала из-под спуда старые новости, потому что о новых все возможное было сказано, и все смотрели на нее, видимо, не слушая. Мими торжествовала: говоря с другими, она не пропускала ни одного слова ни баронессы, ни Границкого и в каждом слове находила ключи для иероглифического языка, обыкновенно употребляемого в таких случаях. Приметную рассеянность Границкого она переводила то маленькою ссорою между любовниками, то возбужденным подозрением мужа. А баронесса! Ни одно ее движение не ускользало от внимательного наблюдения Мими, и каждое ей рассказывало целую историю со всеми подробностями. Между тем бедная баронесса, как будто виноватая, отворачивалась от Границкого: то почти не отвечала на его слова, то вдруг обращалась к нему с вопросами; не могла удерживаться, чтоб иногда не взглядывать на княжню Мими, и часто, когда их глаза искоса встречались, баронесса приходила в невольное смущение, которое еще более увеличивалось тем, что она сердилась на себя за свое смущение.

Спустя несколько времени Границкий посмотрел на часы, сказал, что он едет в оперу, и исчез.

— Ведь мы расстроили это свидание, — тихо сказала Мими своей неразлучной соседке. — Впрочем, они наведут!

Едва вышел Границкий, как слуга доложил баронессе, что приехала ее карета, которой она давно уже дождалась.

В ту минуту какая-то неясная мысль пробежала в голове княжны Мими: она сама не могла дать себе отчета, — это было темное, беспредметное вдохновение злости, — это было чувство человека, который ставит сто против одного в верной надежде не выиграть.

— У меня ужасный мигрень! — сказала она. — Позвольте, баронесса, вашей карете перевезти меня домой через улицу: мы свою отпустили.

Они взглянули и поняли друг друга. Баронесса по инстинкту догадалась, что происходило в душе княжны Мими. Она также не составляла себе никакого определенного понятия о намерении последней; но, сама не зная, чего-то испугалась; она, разумеется, без труда согласилась на предложение Мими, но вспыхнула, и так вспыхнула, что все это заметили. Все это произошло во сто раз быстрее, нежели во сколько мы могли рассказать сцену.

На дворе была сильная метель; ветер задувал фонари, и в двух шагах нельзя было различить человека. Закутанная с ног до головы в салоп, Мими с трепетом в сердце всходила, поддерживаемая двумя лакеями, по ступенькам кареты. Она едва сделала два шага, как вдруг в карете большая мужская рука схватила ее руку, помогая ей войти. Мими бросилась назад, вскрикнула, и едва ли это был не крик радости! Опрометью побежала она назад по лестнице и вне себя, задыхаясь от различных чувств, загоревшихся в душе, бросилась к сестре Марии, которую крик ее, раздавшийся по всему дому, заставил выбежать из гостиной вместе с другими дамами.

— Ну, говорите еще! — шептала она сестре своей, но так, чтоб все могли слышать. — Защищайте вашу баронессу! У ней... в карете... ее Границкий. Посоветуйте ей по крайней мере осторожнее устраивать свои свидания и не подвергать меня такому стыду...

На шум пришла баронесса. Мими замолчала и как бы без чувств бросилась в кресла. Пока баронесса тщетно спрашивала у княжны, что с нею случилось, — дверь открылась, и...

Но позвольте, милостивые государи! Я думаю, что теперь самая приличная минута заставить вас прочесть —

C'est avoir l'esprit de son âge! ¹

С некоторого времени вошел в употребление и успел уже обветшать обычай писать предисловие посередине книги. Я нахожу его прекрасным, то есть очень выгодным для автора. Бывало, сочинитель становился на колени, просил, умоляя читателя обратить на него внимание; а читатель гордо переворачивал несколько страниц и хладнокровно оставлял сочинителя в его унижительном положении. В нашу эпоху справедливости и расчета сочинитель в предисловии ставит читателя на колени или выбирает ту минуту, когда сам читатель становится на колени и вымаливает развязки; тогда сочинитель важно надевает докторский колпак и доказывает читателю, почему он должен стоять на коленях, — все это с невинным намерением заставить читателя прочесть предисловие. Воля ваша, а это прекрасное средство, ибо кто не читал предисловия, тот знает только половину книги. Итак, милостивые государи, становитесь на колени, читайте с глубочайшим вниманием и с глубочайшим уважением, потому что я буду говорить вам то, что уже давно вам всем известно.

Знаете ли вы, милостивые государи читатели, что писать книги дело очень трудное?

Что из книг труднейшие для сочинителя — это романы и повести.

Что из романов труднейшие те, которые должно писать на русском языке.

Что из романов на русском языке труднейшие те, в которых описываются нравы нынешнего общества.

Пропуская тысячи причин этих затруднений, я упомяну о тысяче первой.

Эта причина, — извините! — pardon! — verzeihen sie! — scusate! — forgive me! ² — эта причина: наши дамы не говорят по-русски!!

Послушайте, милостивые государыни: я не студент, не школьник, не издатель ни А, ни В; я не принадлежу ни к какой литературной школе и даже не верю в существование русской словесности; я сам говорю по-русски редко; по-французски изъясняюсь почти без ошибок; картавлю самым чистым парижским наречием: словом, я человек порядочный, — я уверяю вас, что стыдно, совестно и бессовестно не говорить по-русски!

¹ Быть верным своему веку (*ред.*).

² Извините (франц., нем., итал., англ.) (*ред.*).

Знаю я, что французский язык уже начинает выходить из употребления: но какой нечистый дух шепнул вам заменить его не русским, а проклятым английским, для которого надобно ломать язык, стискивать зубы и выставлять нижнюю челюсть вперед? А с этой необходимостью прощай хорошенький ротик с розовыми свежими славянскими губками! Лучше бы его не было.

Вы знаете не хуже моего, что в обществе действуют сильные страсти — страсти, от которых люди бледнеют, краснеют, желтеют, занемогают и даже умирают; но в высших слоях общественной атмосферы эти страсти выражаются одною фразою, одним словом, словом условным, которого, как азбуку, нельзя ни перевести, ни выдумать. Романист, в котором столько совести, что он не может решиться выдавать алеутский разговор за язык общества, должен знать в совершенстве эту светскую азбуку, должен ловить эти условные слова, потому что, повторяю, их выдумать невозможно: они рождаются в пылу светского разговора, и приданный им в ту минуту смысл остается при них навсегда. Но где поймать такое слово в русской гостинице? Здесь все русские страсти, мысли, насмешка, досада, малейшее движение души выражаются готовыми словами, взятыми из богатого французского запаса, которыми так искусно пользуются французские романисты и которым они (талант в сторону) обязаны большею частью своих успехов. Как часто им бывают ненужны эти длинные описания, объяснения, приготовления, которые муча и сочинителю и читателю и которые они легко заменяют несколькими светскими для всех понятными фразами! Те, которые знают несколько механизмов расположения романа, те поймут все выгоды, приносимые этим обстоятельством. Спросите нашего поэта, ¹ одного из немногих русских писателей, в самом деле знающих русский язык, почему он в стихах своих употребил целиком слово *vulgar, vulgaire*? ² Это слово рисует половину характера человека, половину его участи; но чтобы выразить его по-русски, надобно написать страницы две объяснений, — а куда как это ловко для сочинителя и как весело для читателя! Вот вам один пример, а таких можно найти тысячу: И потому я прошу моих читателей принять в уважение все эти обстоятельства и пенять не на меня, если для одних разговор моих героев покажется слишком книжным, а для других не довольно грамматическим. В последнем случае я сошлюсь на Грибоедова, едва ли не единственного, по моему мнению, писателя, который постиг тайну перевести на бумагу наш разговорный язык.

¹ Напоминать ли, что здесь идет речь об «Онегине» Пушкина,

² Вульгарно (*ред.*).

За сим я прошу извинения у моих читателей, если наскучил им, поверяя их доброму расположению эти маленькие, в полном смысле слова домашние затруднения и показывая подставки, на которых движутся романтические кулисы. Я поступаю в этом случае, как директор одного бедного провинциального театра. Приведенный в отчаяние нетерпением зрителей, скучавших долгим антрактом, он решился поднять занавес и показать им на деле, как трудно превращать облака в море, одеяло в царский намет, ключницу в принцессу и арапа в *premier ingénu*.¹ Благосклонные зрители нашли этот спектакль любопытнее самой пьесы. Я думаю то же.

Конечно, родятся люди с необыкновенными дарованиями, для которых все готово — и нравы, и ход романа, и язык, и характеры: надобно ли им изобразить человека высшего общества, или, как они говорят, модного тона, — ничего не может быть легче! Они непременно пошлют его в чужие края; для большей верности в costume заставят его не служить, спать до двух часов пополудни, ходить по кондитерским и пить до обеда, разумеется, шампанское. Нужно им написать разговор в порядочном обществе — и того легче! Развернуть первый переводный роман г-жи Жанлис, прибавить в необходимых местах слова *mon cher*, — *ma chère*, — *bonjour*, — *comment vous portez-vous*,² — разговор готов! Но такую точность описания, такой верный, пронизательный взгляд природа дает немногим гениям. Я был обижен ею в этом отношении и потому просто прошу читателя сердиться не на меня, если я в некоторых из моих домашних разговоров не умел вполне сохранить светского колорита; а дамам повторяю мою убедительную просьбу говорить по-русски.

Не говоря по-русски, они лишают себя множества выгод:

I. Они не могут так хорошо понимать наших сочинений; но как с этим, по большей части, их можно поздравить, то мы пропускаем это обстоятельство.

II. Если они, несмотря на мои увещания, все-таки не будут говорить по-русски, то я — я — вперед не напишу для них ни одной повести, пусть же читают они гг. А, Б, В и проч.

Уверенный, что эта угроза сильнее всех доказательств подействует на моих читательниц, я спокойно обращаюсь к моему рассказу.

¹ Первый любовник — простак (*ред.*).

² Мой милый, — моя милая, — здравствуйте, — как вы себя чувствуете (*ред.*).

Итак — дверь отворилась, и... ввалился старый барон, ничего не понимавший в этом приключении. Он приезжал за женою, и как он намеревался сейчас же куда-то ехать с нею по какому-то непредвиденному обстоятельству, то рассудил остаться в карете и не говорить о себе хозяйке дома. Крик княжны Мими, которую он сначала принял было за жену, заставил его выйти.

Но таково было магнетическое действие, приготовленное и городскими слухами и всем предшедшим, что все смотрели на него и не верили глазам своим: уже спустя несколько времени, после стакана воды, после одеклона, гофманских капель и прочего тому подобного, догадались, что в таких случаях надобно смеяться. Я уверен, что многие из моих читателей замечали в разных случаях жизни действие этого магнетизма, производящего в толпе сильное убеждение почти без всякой видимой причины: подвергшись сему действию, мы потом уже тщетно хотим уничтожить его рассудком; слепое убеждение так овладевает нашею волею, что в нас сам рассудок невольно начинает отыскивать обстоятельства, которые бы могли подтвердить это убеждение. В те минуты сказанное самое нелепое слово производит сильное влияние; иногда самое это слово забывается, но произведенное им впечатление остается в душе и незаметно для человека порождает в нем ряд таких мыслей, которые бы не пришли в голову без того слова и которые к нему имеют иногда самое отдаленное отношение. Этот магнетизм играет весьма важную роль как в важных, так и в самых мелочных происшествиях и, может быть, для многих должен служить единственным объяснением. Так случилось и теперь: происшествие с княжною было очень просто и понятно, но предрасположение всех присутствующих к другого рода развязке было так сильно, что у многих в одно и то же мгновение родилась неясная мысль, как будто бы барон тут явился вроде *кума*. Каким образом могло это случиться, в ту минуту никто не был в состоянии объяснить себе; но впоследствии эта мысль развилась, укрепилась, и рассудок вместе с памятью отыскивали в прошедшем множество подтверждений для того, что действительно было только одно слепое убеждение.

Если б вы знали, какой шум поднялся в городе после этого происшествия! Во всех углах шопотом, вслух, за канвою, за книгою, в театре, перед алтарем Божиим собеседники и собеседницы говорили, толковали, объясняли, спорили, выходили из себя. Огонь небесный не произвел бы в них сильнейшего впечатления! И все оттого, что мужу вздумалось приехать за женою. Наблюдая подобные прискорбные явления, истинно приходишь в изумление. Что привлекает этих людей к делам, которые до них не касаются? Каким образом эти люди, эти люди бездушные,

ледяные при виде самого благородного и самого подлого поступка, при виде самой высокой и самой пошлой мысли, при виде самого изящного произведения и при нарушении всех законов природы и человечества, — каким образом эти люди делаются пламенными, глубокомысленными, проникательными, красноречивыми, когда дело дойдет до креста, до чина, до свадьбы, до какой-нибудь домашней тайны или до того, что они выжали из своего сухого мозга под именем приличия?

IV

Спасительные советы

Барин. Дурак! Тебе надобно
было это сделать стороною.

Слуга. Я и так, сударь, подошел
к нему со стороны.

У старого барона был меньшей брат, гораздо моложе его годами; офицер, вообще очень милый малый.

Описать его характер довольно трудно: надобно начать издалека.

Видите ли! Отцов наших добрые люди научили, что надобно во всем сомневаться, рассчитывать свой каждый поступок, избегать всяких систем, всего бесполезного, а везде искать существенной пользы, или, как тогда говаривали, обирать во круг себя и вдале не пускаться. Отцы наши послушались, оставили в сторону все бесполезные вещи, которых я не назову, чтобы не прослыть педантом, и очень были рады, что вся мудрость человеческая ограничилась обедом, ужином и прочими тому подобными полезными предметами. Между тем у отцов наших завелись дети; дошло дело до воспитания; они благо-разумно продолжали во всем сомневаться, смеяться над системами и заниматься одними полезными предметами. Между тем их дети росли, росли и, наперекор добрым людям, сами составили для себя систему жизни, однако систему не мечтательную, а в которой поместились эпиграмма Вольтера, анекдот, рассказанный бабушкою, стих из Парии, нравственно-арифметическая фраза Бенетама, насмешливое воспоминание о примере для прописи, газетная статья, кровавое слово Наполеона, закон о карточной чести и прочее тому подобное, чем до сих пор пробавляются старые и молодые воспитанники XVIII столетия.

Молодой барон обладал этою системою в совершенстве: влюбиться он не мог — в этом чувстве было для него что-то

смешное; он просто любил женщин — всех, с малыми исключениями, — свою легавую собаку, Лепажевы ружья и своих товарищей, когда они ему не надоедали; он верил в то, что дважды два четыре, в то, что ему скоро откроется вакансия в капитаны, в то, что завтра он должен танцевать 2, 5 и 6 нумера контраданса...

Впрочем, будем справедливы: молодой человек имел благородную, пылкую и добрую душу; но чего не задавило преступное воспитание гнилого и раздушенного века! Радуйтесь, люди расчета, сомнения и существенной пользы! Радуйтесь, защитники насмешливого неверия во все святое! Распылились ваши мысли, все затопили, и просвещение и невежество. Где встанет солнце, которое должно высушить это болото и обратить его в плодоносную почву?

В комнате, обвешанной парижскими литографиями и азиатскими книжками, на вогнутых креслах, затянутый в узком архалуке лежал молодой барон, то поглядывая на часы, то перевертывая листки французского водевиля.

Человек подал записку.

— От кого?

— От маркизы де Креки.

— От тетушки!

Записка была следующего содержания:

«Заезжай ко мне сегодня после обеда, мой милый. Да не забудь по обыкновению; у меня до тебя есть дело, и очень важное».

— Ну, уж верно, — проворчал про себя молодой человек, — тетушка изобрела еще какую-нибудь кузину, которую надобно выводить на паркет! Уж мне эти кузины! И откуда они берутся?.. Скажи тетушке, — сказал он громко, — что очень хорошо, буду. Одеваться.

Когда молодой барон Даурталь явился к маркизе, она оставила свои большие вязальные спицы, взяла его за руку и с таинственным видом через ряд комнат, отличавшихся характеристическим безвкусием, повела к себе в кабинет и посадила на маленький диван, окруженный горшками с геранием, бальзамино, мятою и фамильными портретами. Воздух был напоитан одеколоном и спермацетом.

— Скажите, тетушка, — спросил ее молодой человек, — что все это значит? Уж не женить ли вы меня хотите?

— Пока еще нет, моя душа! Но шутки в сторону: я должна с тобою говорить очень и очень серьезно. Скажи мне, сделай милость, что у тебя за друг такой — Границкий, что ли он? Как его?..

— Да, Границкий! Прекрасный молодой человек, хорошей фамилии...

— Я никогда об ней не слыхала. Скажи мне, отчего такая связь между вами?

— В одном местечке в Италии, измученный, голодный, полубольной, я не нашел комнаты в трактире: он поделился со мною своею; я занемог: он ухаживал за мной целую неделю, ссудил меня деньгами; я взял с него слово, приезжая в Петербург, останавливаться у меня: вот начало нашего знакомства... Но что значат все ваши вопросы, тетушка?

— Послушай, мой милый! Все это хорошо; я очень понимаю, что какой-нибудь Границкий был рад оказать услугу барону Даурталю.

— Тетушка, вы говорите о моем истинном приятеле! — прервал ее молодой человек с неудовольствием.

— Все это очень хорошо, мой милый! Я не осуждаю твоего истинного приятеля, — его поступок с тобою делает ему много чести. Но позволь мне тебе сказать откровенно: ты молодой человек, едва вступаешь в свет: тебе надобно быть осторожным в выборе знакомства. Нынче молодые люди так развращены...

— Я думаю, тетушка, ни больше, ни меньше, как всегда...

— Ничего не бывало! Тогда, по крайней мере, было больше почтения к родственникам; родственные связи не как теперь, — они были теснее...

— И даже иногда слишком тесны, любезная тетушка, не правда ли?

— Неправда! Да дело не о том. Позволь мне тебе заметить, что ты в этом случае, о котором мы говорим, поступил очень ветрено: встретился и связался с человеком, которого никто не знает. Служит ли он, по крайней мере, где-нибудь?

— Нет.

— Ну, скажи же сам после этого, что он за человек! Даже не служит! Уж верно потому, что его не принимают в службу.

— Вы ошибаетесь, тетушка. Он не служит, потому что у него мать итальянка и все его имение в Италии: он не может ее оставить именно по причине родственных связей...

— Зачем же он здесь?

— По делам своего отца. Но скажите, бога ради, к чему ведут все эти вопросы?

— Одним словом, мой милый, мне очень неприятна твоя дружба с этим человеком, и ты мне сделаешь большое одолжение, если... если выживешь его из дома.

— Помилуйте, тетушка! Вы знаете, что я во всем вам беспрекословно повинуюсь; но войдите в мое положение: с какой стати я вдруг переменяюсь к человеку, которому столько обязан, и ни с того, ни с сего выгоню его из дому? Воля ваша, я не могу решиться на такую неблагодарность.

— Все это вздор, мой милый! Романические идеи, больше ничего! Есть манера, и очень вежливая, показать ему, что он тебе в тягость.

— Разумеется, тетушка, что это очень легко сделать; но я повторяю вам, что я не могу взять на мою совесть такую гнусную неблагодарность. Воля ваша, не могу, никак не могу...

— Послушай же! — отвечала маркиза после некоторого молчания. — Ты знаешь все, чем ты обязан твоему брату...

— Тетушка!

— Не прерывай меня. Ты знаешь, что по смерти твоего отца он мог воспользоваться всем твоим именем; он не сделал этого, он взял тебя по третьему году на свои руки, воспитал тебя, привел все запущенные дела в порядок; когда ты вырос, записал тебя в службу, честно поделился с тобою именем; словом, ты ему обязан всем, чем ты дышишь...

— Тетушка, что вы хотите сказать?

— Слушай. Ты уже не ребенок и малый не глупый, но вынуждаешь меня сказать тебе то, чего бы я не хотела.

— Что такое, тетушка?

— Послушай! Дай мне прежде слово не делать никаких глупостей, а поступить, как следует благоразумному человеку.

— Бога ради, договорите, тетушка!

— Я в тебе уверена и потому спрашиваю тебя, не заметил ли ты чего-нибудь между баронессою и твоим Границким?

— Баронессою! Что это значит?..

— Твой Границкий с ней в интриге...

— Границкий?.. Быть не может!

— Я тебя не стану обманывать. Это верно: твой брат обещен, его седые волосы поруганы.

— Но надобны доказательства...

— Какие тебе доказательства? Кто мне уж об этом пишут из Лифляндии. Все жалеют о твоём брате и удивляются, как ты можешь помогать его обманывать.

— Я? Его обманывать? Это клевета, тетушка, сущая клевета. Кто осмелился к вам написать это?

— Этого я тебе не скажу; но оставляю тебе только рассудить, можно ли Границкому оставаться у тебя в доме. Твой долг тебя обязывает, пока эта связь не сделалась еще слишком гласною, стараться учтивым образом заставить его выехать из твоего дома, а если можно, и из России. Ты понимаешь, что это должно сделать без шума; найти какой-нибудь предлог...

— Будьте уверены, что все будет исполнено, тетушка. Благодарю вас за известие. Мой брат стар, слаб; это моё дело, мой долг... Прощайте!

— Постой, постой! Не горячись! Тут не надобно никакой горячности, а хладнокровие: ты мне обещаешь, что ты не сде-

лаешь никакой глупости, а поступишь, как следует благо-разумному человеку, не мальчику?

— О, будьте спокойны, тетушка! Я все улажу как нельзя лучше. Прощайте.

— Не забудь, что тебе надобно поступить в этом случае очень осторожно! — кричала ему вслед маркиза. — Говори с Границким тихо, не горячись. Заведи речь стороною, обиняками... Понимаешь?

— Будьте спокойны, будьте спокойны, тетушка! — отвечал барон, убегая.

Кровь била ключом в голове молодого человека.

V

Будущее

... l'avenir n'est à personne. — Sire,
l'avenir est à Dieu.

*Victor Hugo.*¹

Во время этой сцены происходила другая.

Во внутренности огромного дома позади блестящего магазина находилась небольшая комната с одним окошком на двор, завешенным сторою. По виду комнаты трудно было отгадать, кому она принадлежала; простые штукатурные стены, низкий потолок, несколько старых стульев и огромное зеркало, в алькове богатый диван со всеми затеями роскоши, низкие кресла с выгнутою спинкою — все это как-то спорило между собою. Одна дверь комнаты через глухой коридор соединяла ее с магазином; другая выходила на противоположную улицу.

По комнате ходил скорыми шагами молодой человек и часто останавливался то посередине, то у дверей и тщательно прислушивался. То был Границкий.

Вдруг послышался шорох, дверь отворилась, и прекрасная женщина, прекрасно одетая, бросилась в его объятия. То была графиня Лидия Рифейская.

— Знаешь ли, Габриель, — сказала она ему поспешно, — что мы с тобою видимся в последний раз?

— В последний раз? — вскричал молодой человек. — Но постой! Что с тобою? Ты так бледна!

¹ ...будущее никому не принадлежит. — Ваше величество, будущее в руках божьих. *Виктор Гюго (ред.).*

— Ничего! Я немножко озябла. Спеша к тебе, я забыла надеть ботинки. Коридор такой холодный... Это ничего!

— Как ты неосторожна! Здоровьем пренебрегать не надо...

Молодой человек подвинул кресла к камину, посадил на них прекрасную женщину, разул ее и старался согреть прелестные ножки своим дыханием.

— О перестань, Габриель! Минуты дороги; я насилу могла вырваться из дома; я пришла к тебе с важною новостью. У моего мужа второй удар, и — страшно выговорить — доктора мне сказали, что мужу не пережить его: у него отнялся язык, лицо перекосилось, он страшен! Бедный, не может выговорить ни слова!.. Едва поднимает руку! Ты не можешь поверить, как он мне жалок.

И графиня закрыла лицо свое рукою. Между тем Габриель целовал ее холодные как будто из белого мрамора выточенные ножки и прижимал их к горячим щекам своим.

— Лидия, — говорил он, — Лидия! Ты будешь свободна...

— Ах, говори мне это чаще, Габриель! Это одна мысль, которая на минуту заставляет меня забывать мое положение; но и в этой мысли есть что-то страшное. Чтобы быть счастливою в твоих объятиях, мне надобно перешагнуть через гроб!.. Для моего счастья нужна смерть человека!.. Я должна желать этой смерти!.. Это ужасно, ужасно! Это переворачивает сердце, это противно природе.

— Но, Лидия, если кто-нибудь виноват в этом, то, верно, не ты. Ты невинна, как ангел. Ты жертва приличий; тебя выдали замуж поневоле. Вспомни, сколько ты сопротивлялась воле твоих родителей, вспомни все твои страдания, все наши страдания...

— Ах, Габриель, я все это знаю; и когда я подумаю о прошедшем, тогда совесть моя покойна. Бог видел, чего я не перенесла в моей жизни! Но когда я взгляну на моего мужа, на его скосившееся лицо, на его дрожащую руку; когда он манит меня к себе, меня, в которой он в продолжение шести лет производил одно чувство — отвращение; когда я вспомню, что его всегда обманывала, что его теперь обманываю, тогда забываю, какая цепь страданий, нравственных и физических, довела меня до этого обмана. Я изнываю между этими двумя мыслями, — и одна не уничтожает другой!

Границкий молчал: тщетно бы стал он утешать Лидию в эту минуту.

— Не сердись на меня, Габриель! — сказала она наконец, обнимая его голову. — Ты понимаешь меня; ты с детства привык понимать меня. Я одному тебе могу верить мои страдания...

И она пламенно прижала его к груди своей.

— Но полно! Время бежит; я не могу здесь более оста-

ваться... Вот тебе мой последний поцелуй! Теперь слушай: я верю, мы будем счастливы; я верю, то, что у нас отняло самовластие общества, возвратит нам провидение; но до того дня я вся принадлежу моему мужу. С сей поры я ежеминутною заботою, долгими ночами без сна у его постели, страданием не видать тебя должна выкупить нашу любовь и вымолить у бога наше счастье. Не старайся меня видеть, не пиши ко мне; позволь мне забыть тебя. Я тогда стану спокойнее, и совесть меньше меня будет мучить. Мне легче будет вообразить себя совершенно чистою, невинною... Прощай!.. Еще два слова: не переменяй ничего в твоём образе жизни, продолжай выезжать, танцовать, волочиться, как будто для тебя не готовится никакой перемены... Заезжай сегодня же наведаться о моем муже, но я тебя не приму: ты не родня. И сегодня же поезжай и везде равнодушно рассказывай об его болезни. Прощай!

— Постой! Лидия! Еще один поцелуй!.. Сколько долгих дней пройдет...

— О, не напоминай мне больше об этом!.. Прощай. Будь терпеливее меня. Помни: будет время, и я не буду говорить тебе: «Идут — отойди, Габриель!»... О, ужасно! Ужасно!

Они расстались.

VI

Это можно было предвидеть

— Vous allez me rabacher je ne sais quels lieux communs de morale, que tous ont dans la bouche, qu'on fait sonner bien haut, pourvu que personne ne soit obligé de les pratiquer.

— Mais s'ils se jettent dans le crime?
— C'est de leur condition.

«Le neveu de Rameau». ¹

В сильном волнении молодой барон Даурталь возвратился домой.

— Дома ли Границкий? — спросил он.

— Никак нет.

— Сказать мне, как скоро он приедет.

¹ — Вы станете мне твердить бог знает какие общие места морали, которые у всех на устах и провозглашаются всеми очень громко, только бы никто не обязан был их исполнять.

— Но если они дойдут до преступления?

— Это их дело. *Дидро. «Племянник Рамо» (ред.).*

Тут он вспомнил, что Границкий должен был вечером ехать к Б***.

Минуты этого ожидания были ужасны для молодого человека: он чувствовал, что в первый раз в жизни он призван на важное дело; что тут нельзя было отвертеться ни эпиграммою, ни равнодушием, ни улыбкою; что здесь надобно было сильно чувствовать, сильно думать, сосредоточить все силы души; что, одним словом, надобно было действовать, и действовать самому, не требуя советов, не ожидая подпоры. Но такое напряжение было ему незнакомо; он не мог себе отдать отчета в своих мыслях. Лишь кровь его разгоралась, лишь сердце в нем билось чаще. Ему представлялись как будто во сне городские толки; его брат в сединах, оскорбленный и слабый; желание показать свою любовь и благодарность старику; товарищи, эполеты, сабли, ребяческая досада; охота показать, что он уже не ребенок; мысль, что смертоубийством заглаживается всякое преступление. Все эти грезы сменялись одна другою, но все было темно, неопределенно: он не умел спросить у того судилища, которое не зависит от временных предрассудков и мнений, произносит всегда точно и верно: воспитание забыло ему сказать об этом судилище, а жизнь не научила спрашивать. Язык судилища был неизвестен барону.

Наконец пробил час. Молодой человек бросился в карету, поскакал, нашел Границкого, взял его за руку, вывел из толпы в отдаленную комнату и... не знал, что сказать ему; наконец вспомнил слова тетушки и, стараясь принять вид хладнокровный, проговорил:

— Ты едешь в Италию!

— Нет еще, — отвечал Границкий, приняв эти слова за вопрос и смотря на него с удивлением.

— Ты должен ехать в Италию! Ты меня понимаешь?

— Нисколько!

— Я хочу, чтоб ты ехал в Италию! — сказал барон, высив голос. — Теперь понимаешь?

— Скажи мне, сделай милость: что ты, с ума сошел, что ли?

— Есть люди, которых я не назову, для которых всякое благородство — сумасшествие...

— Барон, ты не знаешь, что говоришь! Твои слова пахнут порохом.

— Я привык к этому запаху.

— На маневрах?

— Это мы увидим.

Глаза барона заблестали: дело шло уже о личной обиде.

Они взяли слово с людей, вошедших в комнату к концу разговора, сохранить его в тайне, воротились снова в залу, сделали несколько вальсовых кругов и исчезли.

Через несколько часов уже секунданты отмеривали шаги и заряжали пистолеты.

Границкий подошел к барону:

— Прежде нежели мы отправим друг друга на тот свет, мне очень любопытно узнать, за что мы стреляемся.

Барон отвел своего соперника в сторону от секундантов.

— Вам это должно быть понятнее меня... — сказал он.

— Нисколько.

— Если я вам назову одну женщину...

— Женщину!.. Но какую?

— Это уж слишком! Жена моего брата, моего старого больного брата, моего благодетеля... Понимаете?

— Теперь уж совершенно ничего не понимаю!

— Это странно! Весь город говорит, что вы обесчестили моего брата; все смеются над ним...

— Барон! Вас бессовестно обманули. Прошу вас назвать мне обманщика.

— Это мне сказала женщина.

— Барон! Вы поступили очень опрометчиво. Если б вы прежде спросили меня, я бы вам рассказал мое положение; но теперь поздно, мы должны драться. Но я не хочу умереть, оставив вас в обмане: вот вам моя рука, что я и не думал о баронессе.

Молодой барон был в сильном смущении в продолжение разговора: он любил Границкого, знал его благородство, верил, что он его не обманывает, и проклинал самого себя, тетушку, целый свет.

Один из секундантов, старинный дуэлист и очень строгий в делах этого рода, сказал:

— И-и, господа! У вас, кажется, дело на лад идет? Тем лучше: миритесь, миритесь; право, лучше...

Эти слова были сказаны очень просто, но барону они показались насмешкою, — или в самом деле в тоне голоса секунданта было что-то насмешливое. Кровь вспыхнула в молодом человеке.

— О нет! — вскричал он, почти сам не зная, что говорит. — Нет, мы и не думаем мириться. У нас есть важное объяснение...

Последнее слово снова напомнило молодому человеку его преступную неосторожность; вне себя, волнуемый необъяснимыми чувствами, он вторично отвел своего соперника в сторону.

— Границкий! — сказал он ему. — Я поступил как ребенок. Что нам делать?

— Не знаю, — отвечал Границкий.

— Рассказать секундантам нашу странную ошибку?..

— Это будет значить распространить слухи о жене твоего брата.

— Ты смеялся над моею храбростию; секунданты знают это.

— Ты мне говорил таким тоном...

— Это не может так остаться!

— Скажут, что на нашем дуэле пролилась не кровь, а шампанское...

— Постараемся оцарапать друг друга.

Они стали к барьеру. Раз, два, три! — Пуля Границкого оцарапала руку барона; Границкий упал мертвый.

VII

Заключение

Существуют охотники защищать всех и все: они ни в чем не хотят видеть дурного. Эти люди очень вредны...

Светское суждение.

Всякий читатель, вероятно, уже догадывается, что вышло из всей этой истории.

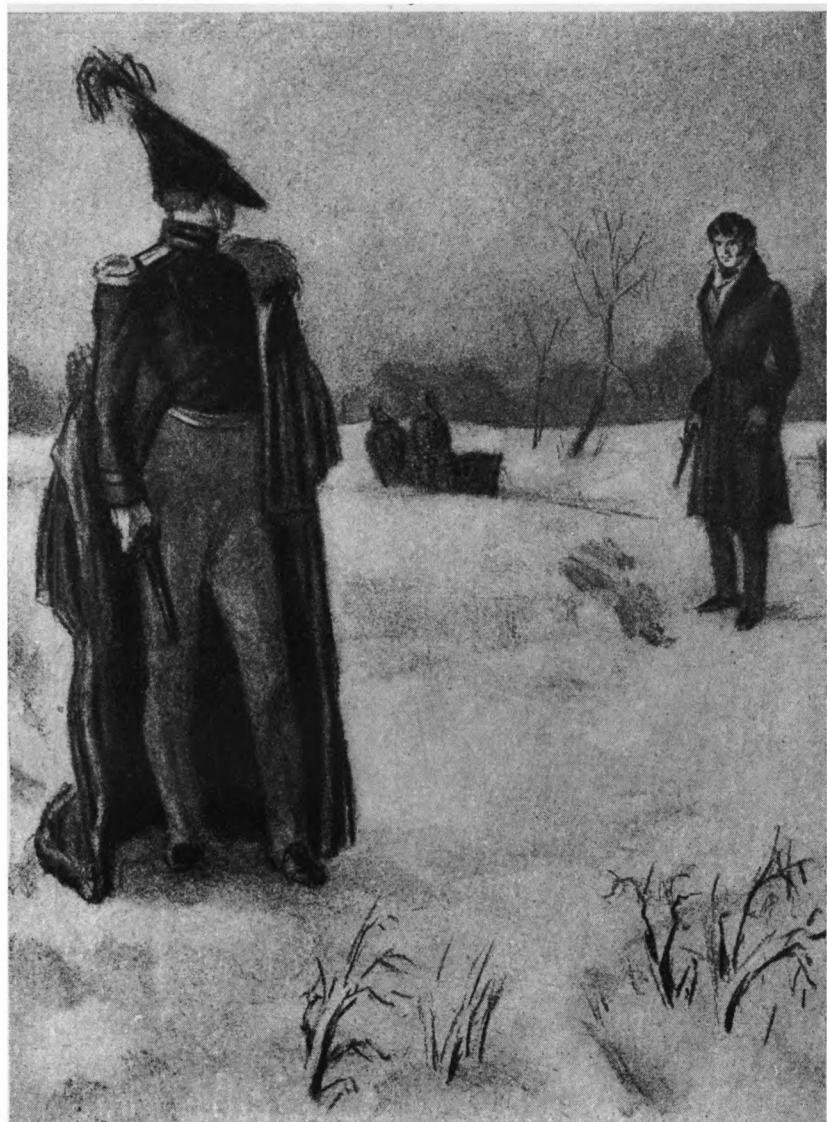
Пока о дуэли знали одни мужчины, то приписывали его просто насмешке Границкого над храбростью молодого барона; толки были различны. Но когда узнали об этом происшествии нравственные дамы, описанные нами выше, тогда прекратились все недоразумения: истинная причина была тотчас отыскана, исследована, обработана, дополнена примечаниями и распространена всеми возможными способами.

Бедная баронесса не устояла против этого жестокого преследования: ее честь, единственное чувство, которое было в ней живо и свято, — ее честь, которой она приносила в жертву все мысли ума, все движения юного сердца, — ее честь была поругана без вины и без возврата. Баронесса слегла в постель.

Молодой барон и двое секундантов были сосланы — далеко от всех наслаждений светской жизни, которая одна могла быть для них счастьем.

Графиня Рифейская осталась вдовою.

Есть поступки, которые преследуются обществом: погибают виновные, погибают невинные. Есть люди, которые полными руками сеют бедствие, в душах высоких и нежных возбу-



ждают отвращение к человечеству, словом, торжественно подпиливают основания общества, и общество согревает их в груди своей, как бессмысленное солнце, которое равнодушно всходит и над криками битвы и над молитвою мудрого.

Для княжны Мими была составлена партия, — она уже отказалась от танцев. Молодой человек подошел к зеленому столу.

— Сегодня поутру наконец кончились страдания баронессы Дауреталь! — сказал он. — Здешние дамы могут похвалиться, что они очень искусно ее убили до смерти.

— Какая дерзость! — шепнул кто-то другому.

— Ничего не бывало! — возразила княжна Мими, закрывая взятку. — Убивают не люди, а незаконные страсти.

— О, без сомнения! — заметили многие.

КНЯЖНА ЗИЗИ

Иногда в домашнем кругу нужно больше героизма, нежели на самом блистательном поприще жизни. Домашний круг — для женщины поле чести и святых подвигов. Зачем немногие это понимают?..

Слова женщины.

— Откуда ты?

— С биржи.

— Ну что?

— Каждый день выше!

— Тем лучше.

— Как тем лучше? Я от этого теряю двадцать тысяч пятьсот рублей.

— Теряешь?

— О, да что с тобой толковать! Ты не поймешь меня...

— Однакож...

— Видишь ли ты: у меня теперь свободных денег сто двадцать тысяч пятьсот рублей: на сто тысяч я покупаю землю к моей Тульской деревне, на двадцать тысяч пятьсот я хотел купить акций новой страховой компании, но они теперь поднялись в такую цену, которой не стоят, и мои двадцать тысяч пятьсот рублей я должен держать у себя почти без всякой пользы.

— Это ты называешь потерять двадцать тысяч?..

— О, я уже сказал, что ты ничего не понимаешь!

С этими словами мой приятель, принадлежавший к новой породе фешёнблей-индустриалистов, бросился в кресла, погружился в задумчивость и с досадою крутил усы свои.

— У тебя сегодня сплин? — спросил я его.

— Да, сплин, и ужасный... Чему ж ты смеешься?

— Я не смеюсь, а наблюдаю, каким образом байронизм соединяется с биржею. Если и на наше поколение повеял этот мрачно-промышленный дух, что же будет с новым?..

— Новое будет умнее нас: оно не потеряет столько времени и особенно столько денег на мечты, на звонкие слова и на филилантропические бредни; оно будет заниматься солидным, положительным...

— Скажи мне, ведь ты, кажется, встарину писал элегии?..

— Как же! И про них толковали в журналах, что они *обличают во мне решительное направление к элегическому роду*...

— В самом деле, ты и теперь смотришь элегическим поэтом... И ты, разумеется, бывал и влюблен?..

— Я и теперь от этого не отказываюсь.

— Я это знаю, и это доказывает твоя коллекция писем в нескольких томах. Только берегись, я когда-нибудь ее украду, хоть для того только, чтобы посмотреть, чем ты мог нравиться женщинам и как уживаются все эти разноязычные соперницы, сдавленные одним и тем же переплетом? Нет, без шуток — давно мне хотелось спросить тебя: бывал ли ты влюблен в самом деле, влюблен хоть один раз в жизни, но так, как понимают те люди, которые занимаются сочинением романов, сказок и прочего тому подобного?

Мой промышленник встал.

— Некогда мне теперь об этом толковать, — сказал он, — прощай; мне надобно наведаться у одного человека, который обещал мне достать акций подешевле.

— погоди! Кого ты теперь застанешь? Уж пять часов; обедай у меня — и отведаем вместе новое вино, которое мне предлагают купить. Ты, между тем, мне расскажешь...

— А! Понимаю, зачем тебе хочется остановить меня: у тебя требуют повести — *et le baron s'embarrasse*¹ — в портфеле и голове пусто; ты думаешь, не наткнешься ли на какую-нибудь мысль в моем болтаньи.

— Может быть; тебе что за дело? Это моя биржевая спекуляция.

— Хорошо, я тебя потешу, буду сентиментальничать; но только вели давать обедать скорее. Повторяю тебе, мне некогда.

После нескольких рюмок вина мой приятель в самом деле сделался гораздо нежнее. Вино — великое дело; это единственная поэтическая сторона нашего века. Если оно вредно в физическом отношении, как утверждают гомеопаты, то необходимо в нравственном. Оно сдергивает с человека хоть на несколько минут его промышленную, расчетливую оболочку, естественное состояние выводит наружу и часто помогает вам открывать под холодным, насмешливым человеком — другого, у которого есть и душа и сердце или нечто похожее на то и другое. Отнимите у нас вино — мы будем хуже китайцев и американцев.

¹ И барон затрудняется (*ред.*).

— Да, я был влюблен, — сказал, наконец, мой рассказчик: — то есть влюблен по-вашему, так влюблен, что и до сих пор не могу отвыкнуть от негодной привычки вздыхать, вспоминая о моей красавице... Красавице!.. Но постой, не хочу тебе скрывать конца прежде начала. Я сам, признаюсь, люблю начинать роман с четвертого тома, но по опыту знаю, что это не приносит ни пользы, ни удовольствия; к тому же надобны для тебя и исторические свидетельства: пошли своего человека принести от меня зеленый портфель, который лежит возле бритвенного столика.

В 18... я возвратился в Москву из чужих краев. Десять лет я не видал моей родины, и потому для меня все было ново — и улицы, и дома, и люди. В гостиной моего опекуна собирались каждый вечер гости; занятия были обыкновенные: пили чай, играли в вист и рассказывали городские новости; многие из этих рассказов возбуждали во всех живейшее участие, но для меня, разумеется, долго были тарбарскою грамотою: я не понимал ни условных названий, ни семейных намеков, ни занимательности имен, которые доходили до моего слуха, — словом, ничего, чем живет домашний разговор. Ты знаешь, я не принадлежу к тем людям, которые из чужих краев привозят полное равнодушие ко всему отечественному и которым так же непонятна своя родина, как непонятны им были и чужие края; я не хотел быть совершенно чуждым в моем семействе, старался прислушиваться к ежедневным рассказам и почти заучивал имена. Одно из них, не знаю отчего, более привлекло мое внимание; это имя было *княжна Зизи*. Оно напомнило мне неподражаемого Грибоедова, заставило подумать, как бесполезны ваши, гг. сочинители, насмешки над странным обычаем коверкать имена; или в этом имени было что-то особенное, но я невольно придвигал к кружку мои кресла, когда произносили это имя.

Вот тебе разговор о ней:

— Княжна Зизи выходит замуж, — сказала одна из моих кузин.

— За кого?

— За какого-то деревенского помещика.

— Очень бы хорошо сделала, — заметила тетушка.

— А жаль! Преумная девушка, — заметил кто-то.

— Большая чудиха, — заметила одна дама.

— Настоящая христианка.

— Большая ханжа, притворщица.

— Премилая...

— Прегордая...

— Она все ждет, что на ней женится какой-нибудь кронпринц, — проговорила пожилая дама, невольно взглянув на своего сына, пожилого архивного юношу, приготавливавшегося в дипломаты.

— И, помилуйте! — отвечала другая с видимым злобным умыслом. — Кто на ней и захочет жениться? Разве какой-нибудь сумасшедший: у нее ничего нет...

— Извините, она очень богата.

— Все, батюшка, буки — и пропасть долгов.

— Я вас могу уверить, — сказал с значительным видом чиновник, занимавшийся дядюшкиными делами, своему партнеру, — что княжна никогда не выйдет замуж.

— Почему же?

— На это есть важные причины, — отвечал чиновник, понизив голос.

— Скажите мне, сделайте милость, — наконец обратился я к тетушке, — что это за княжна Зизи?

— Она в родне с Городковыми. Ты, я думаю, его помнишь: один Городков хаживал к твоему отцу.

— Помню — высокого роста, худощавый и с большими поклонами.

— Княжна в самом деле имеет большие странности в характере; например, не успела умереть ее мать, как она, не ожидая года, бросилась ездить повсюду — по театрам, по балам; то жила с сестрою душа в душу, то вдруг рассорилась с нею и хотела ее оставить; потом опять осталась у ней в доме, согласилась было выйти замуж за одного очень порядочного человека, потом вдруг ни с того, ни с сего ему отказала; потом завела пренегодный процесс с своим зятем; то хотела итти в монастырь, то вдруг опять явилась в свете, — вообще в ней очень много странного. Прошлою зимою она приезжала сюда и никому визитов не сделала — даже у меня не была... В ней, говорю тебе, много странностей. Она большая кокетка — однакож имела хорошие партии и ни за кого не вышла замуж... В ней много, много странного...

Слова тетушки не удовлетворяли моему любопытству; из них узнал я только то, что тетушка сердита на княжну Зизи, потому что княжна не была у ней с визитом. Я старался составить себе какое-нибудь понятие об этой девушке, которая успела возбудить о себе столько разноречащих мнений. То она мне представлялась просто московскою зрелою девою, вскормленную романами мадам Жанлис и со всеми причудами монастырки; то находил я, что, может быть, ее называли странною по той причине, по которой всякого человека, непохожего на других, называют чудачком. В этих размышлениях я присел к столу, где Марья Ивановна, небогатая вдова, жившая у тетушки, как говорят, «для компании», по обыкновению разливала чай. Она, как все «дамы для компании», была большая болтунья, мастерица варить варенье и страстная охотница до романов.

— Вы спрашивали тетюшку о княжне Зизи, — сказала мне Марья Ивановна тихим голосом, — я не смела вмешаться в разговор, потому что все бы поднялись на меня; но никто лучше меня ее не знает. Я езжала в дом к старой княгине учиться танцевать; там мы познакомились с княжной Зинаидой, и до сих пор мы с ней в дружбе и в переписке. Придите завтра к нам перед обедом, и я вам расскажу подробно про странную жизнь этой несчастной девушки: ее совсем без вины опорочили в свете.

С этими словами мой рассказчик вынул из зеленого портфеля связку писем, вздохнул, покачал головою.

— Я храню эти письма как нечто святое, — сказал он, подавая мне одно из них.

— Нумер первый, — продолжал мой приятель. Это было письмо Зизи к Марье Ивановне. Взглянув на него, я с удивлением увидел, что оно было написано по-русски довольно правильно, — а уже одно это, особенно в то время, было очень замечательно. Вот это письмо:

Москва, 4 февр. 18...

«Ты забыла меня, Маша, совсем забыла. Вот уж прошло два месяца после последнего твоего письма. Неужли ты в своей Казани нашла другую приятельницу, которая заставила тебя позабыть твою бедную Зизи? Напиши мне, что ты делаешь? Довольна ли ты своим местом? Танцуешь ли ты? — Дядюшка прислал нам из Парижа прекрасные эшарпы — голубой с белыми полосками для Лидии и пунцовый для меня; но нам нет и случая надеть их. К тому же маменька хочет, чтоб я носила голубой эшарп, а Лидия пунцовый. Когда я сказала, что черно-волосым голубой цвет не к лицу, маменька по обыкновению рассердилась. Мы живем попрежнему: маменька все больна, все скучает, всем недовольна, никуда сама не выезжает, и к нам никто не ездит. Мы бог знает как рады, когда приедет к нам старая Ракитина да хоть расскажет то, что она видела у обедни в своей приходской церкви; больше к нам никто не ездит. Поэтому ты видишь, что мы живем очень скучно. Поутру, пока маменька молится, мы сидим с Лидией на мезонине: она зевает за канвою, я за книгою, ибо я попрежнему продолжаю красть книги из папенькиной библиотеки: это одна моя страда. Хоть маменька и не дает нам ключа, говоря, что в этой библиотеке все мужские книги, но я прочла всего Карамзина, всю историю о странствиях аббата Лапорта, весь «Вестник Европы». Мне, наконец, удалось достать «Клариссу» из шкафа, помнишь — у которого была такая крепкая проволока, — хотя я оцарапала себе руку, зато наплакалась вдоволь; только последнего тома никак не могу достать: он упал за большой лексикон, и рука

никак не доходит, — такая досада. Ракитина дала нам несколько разрозненных русских номеров журналов, — где недостает конца, где начала; что за охота этим господам писать: *продолжение впрдъ*; терпеть не могу этого слова! Но зато я нашла там прекрасные стихи Жуковского и нового стихотворца Пушкина. Постарайся достать его стихов. Ах, никто так хорошо не пишет, как Жуковский и Пушкин! Так все у них идет к сердцу и невольно остается в памяти. Я все их стихи вписала в мою знакомую тебе тетрадку: теперь она очень потолстела. К обеду мы ходим вниз, до ночи сидим с маменькой и молчим. Что ни заговорим, она сердится, беспрестанно жалуется и на погоду, и на здоровье, и на людей. Мы уж с сестрою решились было молчать и считать трубы у окошка; но маменька опять сердится — говорит, что мы ее оставляем, чуждаемся, что мы неблагодарные, что, разумеется, с старухою скучно — и, знаешь, все, что она обыкновенно прибирает. Бог видит мое сердце; об одном и прошу его, чтоб как-нибудь развеселит маменьку; но как это сделать — он же один и знает! Летом было еще сноснее: бывало, хоть мы езжали в Симонов монастырь, а теперь — хоть плакать. О выезде и не говори. Попросишь маменьку в карете выехать прогуляться — она вздохнет, охнет, да тем и кончится. Прощай, милая Маша. Пиши, бога ради, ко мне: по крайней мере будет хоть о чем слово сказать. Твоя верная *Зизи*.

Р. S. Совсем было забыла тебе написать, да Лидия напомнила: вчера за обедней маменька устала, лакей был далеко; это заметил один молодой человек, тотчас бросился, отыскал стул, усадил маменьку; она его благодарила. Это какой-то господин Городков; мы его уже несколько раз видели в нашем приходе; кажется, сосед наш; он очень понравился маменьке, и она, ты не поверишь, кажется, даже звала его к себе. Да, дождайся, поедет он в нашу пустыню!..»

— Номер второй, — сказал мой приятель, подавая мне другое письмо.

Москва, февраля 15-го.

«Благодарю тебя, Маша, за твое письмо: оно много меня порадовало. Если бы ты знала, — уж мы хохотали, хохотали, читая, как казанские кавалеры хлопают каблуками во французской кадрили; даже маменька улыбулась. Вообще она теперь веселее. У нас был Владимир Лукьянович Городков — премилый человек. Как он умел занять маменьку! Она к нему с своими тяжбами, а он тотчас вошел в дело, успокоил маменьку и взял у нее целый пук бумаг, обещал хлопотать в судах... Добрый

человек! Сам бог его послал. Может быть, маменька будет повеселее — дай-то бог! На радости маменька поехала с нами в *город*.¹ Ах, как там весело! Пропать народу, экипажей, шум... А какие прелести в магазинах! Я видела совсем новую материю: ее называют *satin turque*; ² ее делают двуличневою — прелесть! Маменька купила для Лидии серенькую с оранжевым отливом: это теперь в большой моде; посылаю тебе образчик. Мне маменька купила также клетчатую тафтичку; посоветуй, каким фасоном сделать; я хочу, чтобы лиф был разрезной, с эполетами на плечах, кушачок с мыском, а кругом обшить выпущенной фалбалой. Не правда ли, это будет прекрасно?..»

— Во всем этом письме, — сказал я моему приятелю, — дело идет о трипках; что тут интересного? Да и признаюсь тебе, до сих пор не вижу никаких необычайностей, о которых ты столько толковал; вижу, что мать старая дура, в хандре, которая мучит без толка своих дочерей, а дочерям до смерти хочется наряжаться и выйти замуж: это мы каждый день видим...

— Нумер третий, — хладнокровно проговорил мой приятель.

Москва, апреля 3-го.

«Ты не знаешь, что делается с нами, Маша. Представь себе, что я в самом деле в тюрьме — да, в тюрьме: я не схожу с мезонина. Но постой, надобно все рассказать по порядку. Все это время Городков не переставал навещать нас; маменька от него без ума. Он устроил маменькины дела, успел уверить ее, что они совсем не так худы, как она думает, хотя и требуют внимания... Право, этот человек лучше родного. Мы так привыкли к нему, что когда он у нас день не побывает, то мы уже думаем, не болен ли он, — и маменька посылает наведываться о его здоровья. Словом... Но слушай; с некоторого времени, как скоро придет Владимир Лукьянович, маменька начнет говорить, что ей кажется, будто я не по себе, или сыщет какое-нибудь дело, какой-нибудь предлог, чтоб отправить меня на мезонин. Я долго не понимала, но теперь догадалась: маменька воображает, что Владимир Лукьянович делает нам глазки, и ей хочется, чтоб Лидия, как старшая, прежде меня вышла замуж; теперь она уже просто запретила мне сходить с мезонина, а Владимира Лукьяновича уверяет, что я все нездорова. Но, я думаю, все это пустое. Правда, он очень любезен с нами, но с нами обеими. Лидии он приносит узоры для канвы, мне — книги; с каждою говорит не больше, как с другою, и верно он и не по-

¹ Так называется гостинный двор в Москве.

² Турецкий атлас (*ред.*).

мышляет о планах маменьки. Чем-то все это кончится! А между тем мне очень скучно сидеть на мезонине, особенно когда внизу Владимир Лукьянович: он такой веселый, такой смешливый — всегда умеет занять; он, кажется, и литератор, но этого еще я не могла узнать хорошенько, хотя мне и очень хотелось поговорить с ним о литературе, о Жуковском, о Пушкине, но боюсь, чтоб он не считал меня педанткой, — да теперь нет и надежды. Я с досады ничего не могу читать: только и дела, что вешаюсь на лестнице да прислушиваюсь, что говорят внизу. И смех и горе! Хоть бы как-нибудь да поскорее все это кончилось. Мне бы очень хотелось, чтоб он женился на Лидии: тогда мы, верно, будем жить веселее; я буду с нею выезжать и на танцы и на гулянье, потому что она уж будет *дама*. Непременно попрошу ее, чтобы она меня свозила в книжную лавку; я еще никогда не бывала в книжной лавке. Владимир Лукьянович, верно, знаком с сочинителями, и я увижу какого-нибудь сочинителя, может быть Жуковского, — какой это, должно быть, человек!.. А между тем я все сижу на мезонине! Прощай, милая Маша. Пиши к твоей бедной затворнице *Зизи*».

— Нумер четвертый.

«Маша! Участь моя решилась: я... влюблена, Маша, я влюблена до безумия! Я хотела скрыть это и от тебя и от себя самой, но я не могу далее сохранить в душе моей этой тайны... Я полюбила его с первой минуты нашего свидания, я не могу жить без него... Если б ты видела его — ты бы поняла меня. Он соединение всех совершенств: прекрасен собою, глаза его — огонь, а его сердце, его доброе, прекрасное сердце, его кроткий, тихий разговор, его милое обращение... Я без ума, Маша; я стыжусь себя самой, я готова бежать за ним на край света, — и я не могу его видеть. Целый день я как пришта к окошку на моем проклятом мезонине, чтоб услышать стук его дрожек: я их узнаю между тысячи; услышу — и кровь у меня стынет в жилах, сердце бьется, я вся дрожу, я вся в огне, в глазах темно, и голова кругом — нет сил больше. Когда он уедет, я сбегая вниз, ищу стула, на котором он сидел, стола, к которому он подходил, двери, в которую он вышел; я готова расцеловать их, — а тут мученье; Лидия, холодная Лидия рассказывает, что он говорил, шутит, смеется над ним, а я... я ревную, я готова растерзать Лидию... Ах, что делает со мною маменька? Зачем сначала позволила она мне видеть его? Зачем теперь запрещает?.. Он неравнодушен ко мне: он всякий раз спрашивает обо мне, спрашивает, что сказал доктор. *Его* безжалостно обманывают... Что, если моя мнимая болезнь огорчает его?.. А я должна молчать, скрывать все, что у меня на сердце, и перед

сестрою и перед маменькою!.. Иногда я готова все рассказать ей; но когда посмотрю на ее суровый вид — язык прилипнет; а она еще сердится или говорит, что и слышать не хочет о моей хандре... Но по крайней мере до сих пор ей ничего не удается; он до сих пор еще не объяснился; я жду этого, как приговора к смерти... Ах, хоть ты пожалей о твоей *Зизи!*»

— Нумер пятый.

«Плачь, Маша, и молись за меня! Мне нужна твоя молитва: сама я молиться не могу — ты понимаешь, что все кончено... Он объяснился, он помолвлен... с Лидиею. Это было вчера; я в это время лежала без памяти в постели, и маменька в самом деле послала за доктором. Что может доктор? Все для меня кончилось! Мир мой — гроб, надежда — смерть. Ах, Лидия, счастливая Лидия!.. И что нашел он в ней? Она как ни в чем не бывало! Ей ли сделать его счастливым? Она холодна, как лед; ей выйти замуж — как выпить стакан воды; она попрежнему так же долго спит, так же шьет по канве, так же кушает за обедом и удивляется, отчего я брожу целую ночь, как шальная, отчего мне кусок в горло нейдет, отчего я все книги раскидала по полу. Я часто не хочу верить, что все это не тяжелый сон. Часто мне кажется — вот пройдет, вот исчезнет; я силюсь проснуться — тщетная мечта! Лидия приходит ко мне показать свое подвенечное платье; она просит меня, чтоб я помогла ей наложить оборку; она смеется, хохочет, она не понимает своего счастья... Ей ли быть женою этого ангела?.. Неблагодарный, неверный, коварный, он не знает, чего он во мне лишился. Я бы утешала его каждую минуту жизни, я бы не спала над ним ночью, я бы ухаживала за ним целый день, я бы смешила его, когда ему скучно, я бы лелеяла его, как ребенка... Но я не могу писать долее; слезы падают на бумагу, пальцы дрожат, вся комната кругом меня вертится. Молись, молись обо мне, Маша!..»

— Письма княжны Зинаиды, говорила мне Марья Ивановна, занимали и пугали ее. Она знала пламенное воображение княжны, знала, что, привыкшая к суровому обращению своей матери, к ее совершенному отсутствию всякой любезности, Зинаида должна была видеть в каждом ласковом слове несомненный признак высокого сердца; знала, что, живя век в четырех стенах, она должна была влюбиться в первого мужчину, который ей на глаза попадет: но, может быть, этот человек был недостоин ее доверенности, может быть, он хотел воспользоваться ее неопытностью... Все это представлялось Марье Ивановне в виде ужасном. «Обстоятельства заставили меня, — говорила она, — с ранних лет больше вникать в лю-

дей, строже ценить их; словом, я была старше Зизи не только летами, но и жизнью».

Но что оставалось ей делать? Писать, утешать свою приятельницу — дело невозможное. Те, у которых Марья Ивановна жила в доме, собирались ехать в Москву; она упросила их взять ее с собой.

Приехав сюда, она узнала разом две новости: свадьбу княжны Лидии и смерть ее матери. Марья Ивановна нашла княжну Зинаиду в доме ее сестры. Последний удар, казалось, уменьшил действие первого. Правда, княжна очень похудела, но все еще была прекрасна; очень грустна, но спокойнее, нежели ожидала Марья Ивановна. Зинаида мало говорила о Лидии, об ее муже, но подробно рассказывала о последних днях своей матери: как она прощалась с детьми, как просила у них прощения, как просила поминать ее, как она заклинала Зинаиду никогда не оставлять сестры своей. «Ты знаешь, — говорила старуха, оставшись одна с Зинаidou, — что хотя ты и младшая, но я на тебя больше надеюсь; ты знаешь, у Лидии нет царя в голове; я вижу теперь: она не сумеет ни с мужем ужиться, ни детей воспитать, ни с именем управиться; хоть я и рада, что выдала ее замуж, но крепко боюсь за нее. Если б бог продлил мою жизнь, я бы поддержала ее, остановила, наставила; но, верно, богу так не угодно — да будет его святая воля! Тебе поручаю мое дело, Зинаида: смотри за ней, как за ребенком, не давай ей тратить много денег, отводи ее от ссоры с мужем, — она взбалмошна, ты знаешь; люби ее детей, люби ее, люби...» Зинаида не могла выговорить, кого. Но, повторяю, она была спокойна: она понимала великость своей жертвы, и невольно в ее сердце вкрадывалось чувство самодовольствия. Жизнь для нее была не без цели.

Марья Ивановна познакомилась и с Городковым. Глядя на него, она поняла, что не всякая женщина могла быть к нему равнодушною. Он был прекрасный молодой человек, одевался чисто и щегольски, был веселого, даже шуточного нрава, обращался с Лидией без излишней ласки, но с большою любезностью, с Зинаidou же — со всеми возможными знаками уважения. Марья Ивановна обедала с ними вместе в комнатах Зинаиды, которая еще была не совсем здорова: ей была отведена особая половина. Владимир Лукьянович во все время стола был очень мил и говорлив, читал несколько шарад, которые намеревался послать в «Вестник Европы», которые, как заметила Марья Ивановна, были написаны в стихах и очень замысловаты. Потом рассказывал о своем знакомстве с разными сочинителями и другими известными лицами; все его анекдоты были очень любопытны, так что, как признавалась Марья Ивановна, она и не заметила, как прошло время, и сама Зинаида несколько

раз принуждена была улыбнуться. После обеда он распрощался с ними, сказав, что он должен ехать хлопотать по делам, которые после старой княгини остались в большом расстройстве. Вот какое впечатление произвел Городков даже на рассудительную Марью Ивановну. Вскоре затем она снова должна была ехать в Казань с своими домашними. Прошло около года; в течение этого времени она получила от Зинаиды несколько писем, которые, впрочем, ничего не содержали для нее нового. Но вот одно из них более замечательное:

«Спешу тебя уведомить, любезная Маша, что бог даровал Лидии дочь: вчера около полудня она разрешилась от бремени очень благополучно; дочь назвали Прасковьею в честь матушки. Итак, наше семейство прибавилось еще одним лицом. — Что сказать тебе обо мне? Горячка прошла; я не провожу ночей напролет в слезах, но тебе могу признаться, что часто на сердце у меня бывает так тяжело, что и описать нельзя. Если бы я была за тысячу верст от Москвы, то, может быть, я бы обо всем позабыла; но иметь беспрестанно перед глазами счастье, которое никогда не будет принадлежать мне, — это ужасно; скрывать от всех, от сестры, от себя самой, от *него* мое чувство — нестерпимо; одно мое утешение — молитва. Тогда я вспоминаю слова матушки, данное мною обещание и становлюсь спокойною. Теперь я только начинаю понимать всю истину ее слов — с тобой могу говорить откровенно: без меня Лидия погибла бы. Я никогда не могла вообразить в ней такой неспособности быть хозяйкою; она не знает цены ничему, даст приказание, потом забудет и прикажет совсем противное; слуги не знают, что делать; теперь они привыкли спрашивать меня, а я, пользуясь забывчивостью Лидии, без спроса отменяю ее приказания; ей и нужды до того нет — даже это ей так понравилось, что она теперь уж вовсе не вмешивается ни во что, спит половину дня, а другую ездит по магазинам; и там я ее должна удерживать, ибо она, как ребенок, готова купить все, что ей на глаза ни попадет. Часто я таким образом предупреждаю домашние вспышки, которые были бы неизбежны, ибо *он* большой хозяин и любит во всем порядок; часто в долгие зимние вечера мы разговариваем с ним о домашних наших делах; он отдает мне отчет в управлении общего нашего имения; я рассказываю ему о моих хозяйственных распоряжениях, а Лидия дремлет, — ей ни до чего нет дела, — и тогда мне кажется, что я настоящая хозяйка в доме, что я — боюсь вымолвить — жена его... Но бьют часы, он остается с Лидией, а я с сжатым сердцем бреду в мою единенную келью и бросаюсь в холодную постель... Но прочь эти мысли, я не буду роптать на провидение: оно создало меня на томительное, ежедневное, медленное страдание; но оно дало

мне и утешение: оно дало мне способ содействовать счастью благородного, честного человека — способ сохранять спокойствие его прекрасной души, хотя он и не подозревает этого; я смотрю на себя как на жертву, принесенную его счастью, на жертву чистую, бескорыстную, — и эта мысль возвышает мою душу. Я почти счастлива, мои грезы вполнину исполнились. С каждым днем я стараюсь сделаться достойною моего долга. Поверишь ли, что как скоро Лидия сделалась беременна, я принялась читать книги о воспитании; эти книги, может быть, в другое время показались бы мне скучными, но нечувствительно расширили круг моих мыслей: многое я вижу яснее, и многие новые чувства родились в душе моей; иногда в забвении мне кажется, что на меня возложено звание матери, что я могу ему сказать: «*наш* ребенок». О, тогда мое сердце бьется сильно, кровь поднимается в голову, и странные вещи проходят чрез мои мысли, такие мысли, что я пугаюсь себя самой, вскакиваю и бросаюсь на колени перед иконою. Вчера, когда я слезно молилась, раздался первый крик младенца Лидии... *его* младенца. Что со мною сделалось в эту минуту — рассказать нет сил; это было — и невыразимая скорбь, и невыразимая радость, и ад, и рай; я и плакала и смеялась, я молилась и проклинала; я чувствовала трепетание в каждом нерве, в ушах звенело, дух захватывало, я была готова броситься к младенцу, расцеловать и — растерзать его... Такое состояние не могло быть продолжительно; я упала без чувств; когда очнулась, все порочное во мне затихло, передо мной носился образ матушки; я видела перед собой только его ребенка и долг мой. А Лидия, Лидия... она еще слаба, но уж горюет только о том, что ей нельзя будет выезжать в продолжение нескольких недель. Как она счастлива, или, лучше сказать, как она несчастлива!..»

Через несколько времени после этого письма из Казани отправился в Москву на службу молодой человек, родственник домашним Марьи Ивановны; он был человек не без состояния, молод, недурен собой, стихотворец и с совершенно романическим характером; он попросил у Марьи Ивановны писем в Москву к ее знакомым, и тогда при взгляде на него какая-то неясная мысль пробежала в голове Зинаидиной приятельницы: она дала ему записочку к княжне с поручением вручить ей лично, только не влюбиться. «Почему знать, — думала Марья Ивановна, — ей этот молодой человек может понравиться; она молода, чувства ее живы, и тогда, может быть, в душе ее произойдет счастливая перемена, и она избавится от своего мучительного положения. Письмо, которое вскоре после того Марья Ивановна получила от Зизи, убедило ее в том, что она хорошо сделала. Вот оно:

«Лидия совершенно оправилась. Мы уже начали выезжать. Часто я бы хотела оставаться дома с моей Пашенькой, которая день от дня хорошеет, любит меня больше, нежели свою кормилицу, протягивает ко мне ручки; но нельзя Лидию оставлять одну: она, как я тебе писала, настоящий ребенок, любит моды, но не может понять, которые пристали к ней и которые нет; великого труда стоит мне иногда уговорить ее не поднимать талии так высоко, что ее совершенно безобразит. В обществе она приводит меня в совершенное отчаяние: она так рада музыке, балу, своему наряду, что не может скрыть своего восхищения; иногда, забывшись, она захохочет на всю залу так, что все на нее оглянутся; особенно в театре я должна беспрестанно дергать ее за рукав, чтобы она не сказала чего-нибудь неприличного молодым людям, которые толпою приходят к нам в ложу. Владимир Лукьянович, кажется, замечает это и стороною дает мне чувствовать свою благодарность. Вчера, пока Лидия в десятый раз примеривала в уборной новое платье, я, сидя в спальне, качала на руках Пашу. Он подошел ко мне и долго смотрел на меня задумавшись. Я невольно смутилась; чтоб прекратить это странное состояние, я спросила у него: о чем он задумался? «Об вас, — отвечал он ласково. — Вы, может быть, не знаете, как я часто об вас думаю, Зинаида». Тут он подошел ко мне, взял меня за руку и с меланхолическим взглядом пожал ее... Я затрепетала; еще в первый раз в жизни он с такою нежностью прикоснулся к руке моей... Не зная, что отвечать, я принялась ласкать Пашеньку, а он бросился в кресла, стоявшие в другом углу. Не знаю, заметил ли он мое смущение или точно такой был смысл его слов, но он продолжал с особенным выражением и придавая вес каждому слову: «Мне бы хотелось устроить ваше имение, чтоб отделить вам вашу часть, чтоб вы имели свое, независимое». — «А зачем это? — спросила я. — Разве оно не может оставаться под вашим управлением?» — «Но вы можете выйти замуж, — отвечал он, глядя на меня пристально, — надобно, чтобы все было в порядке». — «О, никогда!» — вскричала я, забывшись, и потом, одумавшись, стала говорить разные незначущие слова, чтоб объяснить мою мысль; но они еще более обнаруживали мое смущение. «Таковы-то вы все, девушки: как можете вы за себя на один день отвечать?» — продолжал он с тем же выражением и не сводя с меня глаз. Я не отвечала ничего, а он продолжал: «Да, это необходимо будет сделать; я теперь стараюсь окончить нашу тяжбу о лесе, тогда у нас руки будут развязаны». Тут вошла Лидия, повертываясь и показывая свое платье; наш разговор прекратился. Выйти замуж... До сих пор эта мысль мне не приходила еще в голову; выйти замуж за кого-нибудь другого... Боже, пощади меня!»

Письмо от княжны Зизи к Марье Ивановне месяц спустя.

«Благодарю тебя, любезная Маша, за письмо твое, которое мне привез твой казанский знакомый, Радецкий. Я не могла тебе отвечать тотчас, потому что Паша была больна и Лидия также: она опять беременна и, несмотря на все увещания докторов, танцует без отдыха, — вот что говорится, не сходит с доски. Твой знакомый очень мил, но только, кажется, слишком романтического характера; он на меня смотрит такими странными глазами, что мне становится смешно, или у вас в Казани уж такая мода? Мне кажется, он не слишком понравился и Владимиру Лукьяновичу: он с ним учтив и вежлив по обыкновению, но, между нами, Владимир Лукьянович шутя называет его *размазней*, в чем и я, признаюсь тебе, согласна. Владимир Лукьянович очень заботится о нашей тяжбе с казною; как ни тверд его характер, но это дело его, видимо, беспокоит. Часто, когда Лидия бывает на бале, он приезжает прежде ее домой и часто ночи просиживает за бумагами; я это очень хорошо знаю, ибо он всегда заходит ко мне. Теперь, благодаря бога, он не настаивает больше, чтоб я выезжала с Лидиею, и, кажется, рад, что я остаюсь дома, потому что Пашенька беспрестанно больна, а Лидия не может обойтись без танцев. Меня же на бале ничто не занимает, и я так счастлива, когда могу добраться до моей комнаты. Прощай».

— Это письмо, несмотря на его холодный тон, очень встретило Марью Ивановну; в нем было что-то недосказанное; княжна что-то от нее скрывала. Письмо Радецкого объяснит тебе до некоторой степени эту загадку.

Письмо Радецкого к Марье Ивановне.

«Милостивая государыня Марья Ивановна! Хорошее дали вы мне поручение; я исполнил его в точности: влюбился в вашу прекрасную приятельницу, да так, как никогда не ожидал, то есть до безумия. Как это случилось, рассказывать вам не буду, потому что сам не знаю. Дело в том, что моя участь решена; я чувствую, что не могу жить без княжны Зинаиды. Вы начали, вы должны кончить; вы были причиною моего знакомства с нею, вы должны помогать мне. Вы, может быть, спросите меня: нравлюсь ли я ей, — в этом вся и задача. Чувства княжны Зинаиды для меня непроницаемы; в разговорах с нею я заметил прекрасный, образованный ум; но что скрывается за этим умом — неизвестно. Мне кажется, она принадлежит к числу женщин, одаренных от природы нежным сердцем, но которому гордость мешает чувствовать. Чувство им кажется слабостью,

чем-то унизительным. Они боятся обнажить свое сердце, они стараются прикрыть его всякою мишурою, чтоб избегнуть от пронизательных глаз мужчины. Может быть, я ошибаюсь, но такую мне кажется княжна Зинаида; от чего это происходит, от образа ли воспитания или от ложной системы, — не знаю, только я не всегда понимаю мою княжну. Я еще и не заговаривал ей о моей любви: так я боюсь этой девушки; от одного ее слова зависит жизнь или смерть моя, а может быть, ее гордость или излишняя скромность заставит ее произнести страшное «нет» даже тогда, когда сердце ее будет противоречить этому слову. Вы лучше меня знаете княжну Зинаиду: научите меня, что должно делать мне, что говорить, как глядеть на нее. Она умеет одним взглядом приводить меня в трепет, и слова, которые рвутся из моей души, замирают на языке. Скажите, не лучше ли будет, если бы вы к ней написали, если бы вы стороною постарались выпытать ее обо мне мысли. Не может быть, чтоб она не понимала, что во мне происходит; неужли она думает, что я стараюсь ездить к ним в дом так часто только для того, чтобы слушать холодные учтивости ее зятя, его толкования о литературе «Вестника Европы», перемешанные с рассказами о больших обедах? Сверх того, она должна понимать, что я, говоря по-светски, имею право предложить ей руку; я, как вы знаете, не беден, лета наши сходны, я имею порядочный чин, надежды на будущее, — все это, разумеется, вздор, но я упоминаю обо всем этом потому только, что все это должно было бы обратить на меня внимание княжны в ту или другую сторону, но ничего не бывало; вот уже третий месяц, как я езжу к ним в дом, и княжна обходится со мною, как в первое свидание: ни знака неудовольствия, ни знака приязни; она попрежнему со мною ласкова, любезна и холодна. Как объяснить? С другой стороны, неужли ей так дорога ее теперешняя девическая жизнь? У ней нет матери, живет она почти в чужом доме, целый день няньчится с чужим ребенком, играет в доме роль какой-то гувернантки или даже ключницы; она — женщина с большим умом, с начитанностью, с пламенным воображением!.. Не понимаю, бога ради, объясните мне все это, если можете, и не замедлите ответом; каждая минута для меня век страдания. — *Радецкий*».

— Получив это письмо, Марья Ивановна, как видно, пришла в большое недоумение. Что, в самом деле, ей было отвечать Радецкому? Вверить ему тайну Зинаиды — было делом невозможным; писать к Зинаиде, описывать ей все достоинства Радецкого — было бы бесполезно. Она могла ожидать успеха от молодых его глаз, от его ума, любезности, но не от своих писем. Сколько я мог догадаться, эгоизм, кажется, уже нашептал Марье Ивановне, что она напрасно вмешалась в это дело,

и она решилась, на что обыкновенно решаются нерешительные люди, то есть ничего не делать, не отвечать Радецкому и предоставить развязку его собственному уму и времени. Но не прошло двух почтовых дней, Марья Ивановна получила новое письмо от Радецкого. Вот оно.

«Вы не отвечаете мне, бог вам судья! Не отвечать мне в такую минуту, когда вся жизнь моя есть цепь непрерывных терзаний!.. Мое дело не только не подвинулось вперед, но еще отодвинулось назад, потому что я рассорился с Городковым, и сам не знаю как. Вот как это случилось. У них был вечер; все уселись за карты; из неиграющих остались только трое: хозяйка дома, княжна и я. Я присел к столу у дивана, на котором сидели обе сестры; я очень был рад этому случаю говорить с нею наедине, потому что хозяйки дома нечего было считать: она или молчала, не понимая нашего разговора, или хохотала без всякой причины, или вскакивала с места. Княжна была задумчивее обыкновенного.

— Вы не играете? — сказала мне княжна, подняв на меня свои блестящие черные глаза.

— И без игры, — отвечал я, — довольно терзаний на свете. Не знаю, зачем человеку изобретать новое средство себя мучить, когда слишком довольно и старых.

Княжна улыбнулась; но, если не ошибаюсь, в ее улыбке было что-то грустное.

— Сделайте милость, — сказала она насмешливым тоном, — перестаньте притворяться; я знаю, теперь в моде у молодых людей играть роль страдальцев, твердить об увядшей молодости, о потерянных надеждах; вы не можете себе представить, как все это смешно.

Эти слова тронули меня за живое.

— Неужли, — сказал я, — оттого, что есть люди, которые притворяются больными, вы в состоянии засмеяться, видя человека на смертной постели?

— Нет, но я бы послала за доктором.

— А если б доктор не захотел прийти?

— Я бы послала за другим.

— Неужли вы думаете, что менять докторов так легко?

Не знаю, отчего этот незначачий вопрос заставил княжну задуматься, по крайней мере мне так показалось, — но она скоро переменяла разговор:

— Вы еще долго останетесь в Москве?

— Не знаю; я не принадлежу самому себе...

— Кому же? — спросила княжна простодушно.

— Я принадлежу одному из тех слов, над которыми вы смеетесь.

— Опять! Как вы странны теперь, молодые люди!

— Столько же странны, как и все молодые люди от сотворения мира, разумеется, в известных случаях.

— Я без шутки думаю, что по большей части вы сами не знаете, чего хотите; в голове у вас бродит несколько слов, несколько заученных стихов, из которых вы составляете что-то похожее на жизнь и потом уверяете себя, что эта жизнь вас терзает.

— Неужели, княжна, вы обо всех так думаете без исключения?..

— О нет! — сказала она с обыкновенным выражением. — Но о многих, — прибавила она спокойно. — Так мало надобно для счастья жизни, а это немногие понимают: все гоняются за невозможным, как дети за тенью, и потом жалуется, что не могут поймать ее.

— Вы справедливо заметили, что для счастья надобно мало, но так же мало надобно и для страданий. Иногда в них виноват сам человек, нечистая совесть, корыстные чувства, порочная, непозволенная страсть — об этом и говорить нечего. Но бывает, что в душе горит чистое, святое чувство, что ощущаешь в себе способность посвятить всю свою жизнь, например, женщине, что на это отвечают холодностью, презрением...

Мои слова явно производили впечатление на княжну: она была в волнении — то краснела, то бледнела; грудь ее высоко поднималась; я видел это действие, производимое моими словами, старался воспользоваться редкою минутою пробудившегося в княжне чувства и выразить в словах все, что волновалось в душе моей; но ко мне подошел хозяин дома.

— Сделайте мне одолжение, — сказал он приветливо, — займите на минуту мое место за бостоном: мне надобно кое-что приказать в доме...

В сию минуту я готов был выбросить его за окошко.

— Я не играю... я не умею играть! — сказал я с видимою досадою.

— Но одну минуту, только одну минуту подержать карты в руках, — отвечал он, улыбаясь. — Впрочем, как вам угодно; я не хочу принуждать вас сделать мне одолжение. Извините, что обеспокоил вас, — прибавил он холодно.

Я опаматовался, хотел было просить у него карты, но он уже раскланивался со входившим гостем, который с радостью принял его предложение. Я посмотрел вокруг себя — княжна исчезла; я остался с глазу на глаз с хозяйкой дома.

— Что сделалось с княжною? — спросил я ее.

— Ей спать захотелось, — отвечала Лидия и захохотала во все горло.

О чем мне было говорить с нею? Я был огорчен, взбешен и не в состоянии пересыпать из пустого в порожнее. Воспользовавшись первой минутой, когда Лидия Петровна вскочила по своему обыкновению, я выбежал из дома как сумасшедший.

Вы можете себе представить, что во мне происходило в это время! Дождаться в течение долгих дней этой минуты, как заветного рая; быть прерванным тогда, как, может быть, душа ее стала открываться для чувства, и остаться, не разрешив загадки, не высказав вполне души своей... это ужасно!

Я целую ночь не мог заснуть и поутру рано поехал к Городкову, чтоб извиниться в моей невежливости; меня не приняли. На другой день то же, на третий день опять то же. Я осведомляюсь о здоровье всех домашних поименно; лакеи мне отвечают, что все, слава богу, здоровы и изволили уехать со двора; но это была неправда: на дворе стояли экипажи, следовательно, хозяйева были дома; это значило просто, что меня не хотели принимать. Я не знал, что делать; я уже решился писать к Городкову и откровенно объяснить ему все; но страх подвергнуть свою участь одному слову, не приготовив княжну к моему объяснению, удержал меня. Вечером я встретил Городкова в одном знакомом доме и скрепя сердце подошел к нему, начал было извиняться в моей невежливости; он прервал мои слова с обыкновенною своею улыбкою, говоря: «И! Помилуйте, как это можно! Есть ли о чем и говорить! Сделайте милость, не беспокойтесь!» — и прочее тому подобное; а между тем он обратился к другому. Еще раз начать говорить с ним — в эту минуту было выше сил моих; однакож я решился ехать к нему на другой день, но меня опять не приняли. Я был совершенно в отчаянии и не знал, что предпринять; каждый день ходил я на почту, чтоб узнать, нет ли от вас письма, не затерялось ли оно, — тщетно! Бога ради, не медлите ответом, не мучьте меня. Вы лучше знаете семейственные отношения этого дома: объясните мне, что все это значит. Неужели Зинаидин зять мог на меня рассердиться за вещь столь обыкновенную в свете? Тут должна скрываться какая-то тайна, над которой я тщетно ломал себе голову. Я не могу скрыть от вас, что поведение г. Городкова мне кажется очень странным: он пользуется прекраснейшею репутациею в свете; он принят в лучших домах; он очень любезен в обращении, но мне не понравился он с первого раза — и знаете, отчего? Он входит в комнату боком, всегда как-то пролезает между людьми. Не хочу без вины обвинять его: это невольное движение может происходить и от глубоко сокрытого в душе низкого чувства, может происходить и от излишней скромности и от застенчивости; но воля ваша: он, право, что-то слишком любезен, слишком приветлив, слишком уступчив; достигнув

в свете некоторой оседлости, или, что называют, *aplomb*,¹ он все во всяком чего-то ищет, соглашается, с чем не должно соглашаться, улыбается тому, кто ему надоедает; все это, как хотите, переступает пределы обыкновенной светскости и переходит за ту черту, где любезности не отличишь от притворства и бесцветность характера — может быть, от грехов тайных и тяжких. Я не могу постигнуть существования человека, который никогда никому не противоречит, точно так же как человека, который спорит только для спора. Словом, есть что-то непонятное в этом Городкове. В нынешнем свете, когда искусство лицемерия вошло в правила воспитания между грамматикой и нравственностью, человека угадать трудно: надобно знать всю его историю с колыбели, чтоб составить себе о нем какое-нибудь понятие. Я старался наведываться о Городкове сколько можно и узнал, что он целый век служил, взяток не брал, что он *классик*, прекрасно играет в бостон, пишет шарады — и только. Но когда я смотрю на его голову, уплывшую в воротник фрака, на эту едва приметную складку возле глаз под висками, на его румяное вечно улыбающееся лицо, — что-то тайное говорит мне, что все это маска и что в душе его не то. Бога ради, расскажите о нем все, что вы знаете и что вы заключаете из последнего его поступка, а больше всего напишите о Зинаиде. Писали ли вы к ней? Что она отвечала вам? Бога ради, не морите меня медленной смертью. Родных у ней никого нет: вы одни моя надежда. Я не знаю, на что я в состоянии теперь решиться».

— Бедная Марья Ивановна, получив это письмо, была не в меньшем замешательстве. Пока она собиралась отвечать ему, пришло новое, следующее письмо.

«Спешу вас уведомить, что участь моя решена. Я счастлив, так счастлив, что не могу этого и выразить: *княжна Зинаида соглашается выйти за меня замуж!* Я плачу от радости, как ребенок. Наше объяснение с княжкою было очень странно. Вот как это случилось, посудите сами.

Получая беспрестанно отказы в доме, я, как пошлый любовник, бродил под окнами моей красавицы; но все было тщетно: княжна не выезжала со двора и не подходила к окошку; люди, у которых я осведомлялся об ее здоровье, смотрели на меня с насмешкою; неприязнь господ перешла к слугам, как обыкновенно случается, без всякого с их стороны сознания: барин косится, и они также. Но, к счастью, на сем свете существуют могущественные полтинники, которыми отпираются двери и от

¹ Самоуверенность (*ред.*).

которых немые делаются говорливыми; этим способом узнал я однажды, что княжна в церкви, — я поспешил туда; вхожу: в церкви темно; с трудом в отдаленном углу за столбом я узнаю княжну: прихожан мало; она, вероятно думая, что на нее нисколько не обращают внимания, стояла на коленях, горячо молилась и горько плакала. Я не хотел мешать ей и стал так, чтоб она не могла меня заметить. Что значили эти слезы? Были ли они действием одной набожности или тайной скорби? Как бы то ни было, мне показалось, что теперь говорить с княжною было для меня долгом. Я дождался окончания службы, и когда княжна вышла с другими в притвор, подошел к ней. Взглянув на нее при тусклом свете свечи, горевшей у образа, я испугался: глаза ее были красны, щеки впали, лицо носило отпечаток жестокого внутреннего страдания.

— Княжна! — сказал я ей. — Мне необходимо сказать вам несколько слов.

В первую минуту она как будто испугалась и хотела скрыться от меня; но потом, подумав немного, остановилась и отвечала:

— Говорите, я вас слушаю.

Мы вышли на паперть: она отослала провожавшего ее лакея к церковной ограде. Никогда еще она не казалась мне столь прекрасною... Вечер был тихий, последние багряные лучи солнца освещали ее прекрасное, благородное лицо, вокруг которого из-под соломенной шляпки вились по плечам в беспорядке черные мелкие кудри.

— Княжна! — сказал я твердым голосом. — Вы несчастливы!

В одно мгновение на этом лице, удрученном горестью, блеснуло ее обыкновенное гордое чувство.

— Кто дает вам право, — отвечала она, — спрашивать у меня отчета?

— Мне на это дает право то чувство, которое вы мне внушили, и клятва, данная мною перед богом, которому мы вместе теперь молились, посвятить вам жизнь мою до последнего издыхания. В моем теперешнем положении я должен говорить прямо и решительно.

Княжна задумалась; горькие слезы полились из ее глаз; исчезло выражение гордости, на минуту мелькнувшее в лице ее: я видел пред собою слабую истерзанную женщину...

Вдруг она взяла меня за руку:

— Скажите, вы меня не обманываете?..

— Княжна!..

— Вы были бы готовы на мне жениться, если бы я согласилась?

— Я был бы счастливейшим человеком.

— Здесь говорить нам нельзя; не спрашивайте меня ни о чем... Через несколько часов я пришлю к вам в дом записку...

Я хотел поцеловать ее руку; но она, отдернув ее, поспешно пошла к ограде; я хотел за ней следовать, но она дала мне знак рукою, чтоб я оставил ее одну. Я возвратился домой в большом раздумьи; как ни радовала меня надежда на счастье, но такое быстрое, неожиданное исполнение моих желаний пугало меня; в поведении княжны попрежнему было что-то странное и неизъяснимое; я терялся в догадках. Не прошло получаса, как я получил от нее следующую записку: «Я согласна отдать вам мою руку и ввериться вам как благородному человеку; но особенные обстоятельства заставляют меня желать, чтобы наш брак совершился как можно скорее. Одно мое условие: не спрашивать меня о причине такой странной просьбы; не спрашивать меня ни о чем; ввериться безусловно моей совести... Когда-нибудь вы все узнаете».

Я отвечал на эту записку, что верю ее благородному сердцу, не буду ее ни о чем спрашивать и что надеюсь завтра же устроить все для нашей свадьбы.

Вот что со мной было! Хотя я и не получил еще от вас ответа, но здесь не имею никого, с кем поделиться моим странным счастьем. Пишу к вам ночью; душевное волнение мешает мне сомкнуть глаза. Со светом отправляюсь хлопотать, чтоб устроить все для венчания. Едва ли кому-нибудь удавалось жениться так чудно!»

— На следующей почте Марья Ивановна получила следующее письмо от молодого человека.

«Все кончено; участь моя решена! Вот новая записка ко мне от княжны Зинаиды: «Простите меня, не проклиняйте меня, сочтите меня безумною, если хотите... Нет, благородный молодой человек, я не могу быть вашею женою! Я не хочу вас обманывать: я не могу любить вас. Постарайтесь найти другую женщину, которая бы была вас достойна. Я знаю, для моего поступка нет оправдания, но в вашем сердце я найду себе по крайней мере прощение. Не спрашивайте отчета у несчастной жертвы судьбы; не допытывайтесь узнать мою тайну; забудьте, забудьте меня!»

Мне нечего прибавлять к этому письму: вы можете вообразить себе мое положение. Бога ради, напишите мне, что вы можете понять во всем этом. Если я и не могу сам быть счастливым, то это не мешает мне пожертвовать, если нужно, моею жизнью, чтоб спасти бедную девушку от козней неизъяснимых, но действительных, которые, может быть, ее окружают. Проник-

нуть эти козни я почитаю святым долгом; я уже начинаю подозревать некоторые из них, но, может быть, все это мечта... Мои мысли не имеют никакого прочного основания; сеть, в которой находится княжна, заплетена так искусно, что укрывается от самого пронизательного взора. В смертной скорби моей я не имею даже сил действовать; мысли мои мешаются, одна истребляет другую, и после долгого напряжения я нахожу только то, что я страдаю, страдаю ужасно и не вижу конца моим страданиям. Напишите мне хоть два слова; может быть, они наведут меня на открытиe того, над чем я тщетно терзаюсь».

— Марья Ивановна на этот раз решилась отвечать молодому человеку; она, кажется, отвечала ему пустыми фразами и уверениями, что ей самой совершенно непонятен поступок Зинаиды. Приятель к подруге своего детства мешала ей открыть страшную тайну, но между тем она написала к ней письмо, где, как мне говорила, в самых сильных выражениях, какие умела только найти, упрекала ее за ее поступки, намекала, что догадывается об их причине, и первый раз в жизни осмелилась говорить княжне о том, как порочно ее чувство. Ответ княжны Зинаиды довольно любопытен. Вот он.

«Если бы кто-нибудь другой упрекал меня, а не ты, я бы оставила эти упреки без внимания; но ты — ты знаешь мое положение, ты знаешь все терзания моего сердца, все долгое борение с самой собою, продолжающееся не день, не два, но годы, — и ты можешь упрекать меня! Да, мой поступок с Радецким может быть неизвинительным в глазах света, но не в твоих глазах. Мне жаль молодого человека, но что же делать? В минуту скорби и отчаяния я думала, что могу замужеством с ним заглушить то, что происходит в моем сердце и о чем говорить не смею; но когда я прочла в его записке, что завтра я должна предстать с ним пред алтарем, вся твердость меня оставила. Обмануть человека, поклясться ему в вечной любви, когда я... нет, это было невозможно! Я решилась лучше принести себя в жертву, прослыть ветреною, безумною... Моя участь решена: никогда никому не буду принадлежать я; и когда ни Лидия, ни ее дети не будут во мне нуждаться, монастырь сокровит несчастную если не от собственных страданий, то, по крайней мере, от светских толков. Впрочем, если я во многом виновата пред Радецким, то и он нанес мне оскорбление жесточайшее, какое только могла изобрести его ревность. Радецкий человек без сердца. То, что он говорит обо мне, оскорбительное подозрение, которого он не мог скрыть, — это все я ему прощаю; но, в негодовании на меня, он старается излить желчь на все, меня окружающее. Представь себе, он осмелился

написать ко мне, что проникнул в жизнь мою, что он угадывает, кто мне *препятствует* выйти за него замуж; он осмелился предостерегать меня и обвинять в каких-то корыстных видах — кого ты думаешь? — *его*, ангела доброты, бескорыстия... Оттого, что прямота его ума, прямота его сердца не допускают его до романических бредней; оттого, что он видит жизнь яснее других и в глубине сердца скрывает свои высокие чувства, твой Чайльд-Гарольд *manqué*¹ почитает *его* способным к низким, корыстным видам!.. Это письмо, признаюсь тебе, даже утешило меня: я показала себе не столь виновною пред Радецким, как прежде; ибо лишь тот, кто сам способен к низким расчетам, мог изобрести такую выдумку, и против кого же?.. Где справедливость на свете? Юноша влюбляется, его намерение не удается, и он почитает себя вправе чернить героя добродетели, несчастного... несчастного, может быть, столько же, сколько и я?»

— В этом письме также, как ты видишь, много недосказанного: княжна многое скрывала от своей приятельницы.

Уж впоследствии Марья Ивановна узнала все, что случилось в промежутках между сими письмами.

С некоторого времени, когда княжна начала более выезжать, Городков приметно стал беспокоен; он изыскивал разные предлоги, чтобы удерживать жену свою от выездов: он часто заводил речь о семейственном счастье, о расходах, с которыми сопряжены выезды, и о святой обязанности отца семейства стараться умерять свои издержки, чтобы оставить более детям; но эти слова трогали одну княжну Зинаиду, — для Лидии они были непонятны. Как ни ограничены были ее понятия, но все она была правнучка Евы и умела с непостижимым искусством так направлять разные домашние обстоятельства, чтобы выезды делались необходимостью; сам муж ее, несмотря на всю свою прозорливость, невольно увлекался жениным влиянием: то являлся неожиданный визит, который необходимо надобно отплатить, а этот визит втягивал в какое-нибудь новое знакомство; то являлось приглашение в такой дом, где можно было ему сойтись с нужным человеком; все это устраивалось как бы нечаянно, а между тем было делом простодушной Лидии. Для этого у ней являлась и хитрость и сметливость; с молодыми людьми, с которыми она кокетничала, у ней устроен был действительный заговор против мужа; посредством их она действовала на тетушек, бабушек, словом, на все *приглашающие* лица, — и благодаря этой тактике выезды не перемежались. Не успев с этой стороны, Владимир Лукьянович обратился к другому средству: за несколько дней до выезда он начинал беспокоиться

¹ Неудавшийся Чайльд-Гарольд (*ред.*).

о здоровьи своей дочери. «Что это, — говорил он, — Зинаида Петровна? Кажется: Паша как будто нездорова; посмотрите, и глазки у нее посоловели, и кушает мало». Зинаида пугалась, посылала за доктором; доктор советовал дать дитяти гуфландов порошок: тогда дитя действительно занемогало, а княжна, разумеется, оставалась дома. Появление Радецкого в доме немало озаботило пронизательного Владимира Лукьяновича; он вообще терпеть не мог людей не по себе, тех людей, которые читали не то, что он читал, говорили не то, что он говорил, не восхищались его шарадами, без внимания слушали его литературные суждения и особенно — засматривались на княжну. К сожалению, Радецкий соединял в себе все эти качества и недостатки. Крепко задумался Владимир Лукьянович: он не знал, на что решиться; страшил его выезд, страшил его и гость неприглашенный. Предвидя беду заранее, он начал, как мы видели, исподволь и очень тонко над ним подшучивать, разумеется, в его отсутствии; стороною заводил он речь о появившейся тогда романтической школе, которая тогда журналистам служила мишенью для холостых зарядов, как ныне искренность, благородство, бескорыстие и прочее тому подобное. В это счастливое время даже журналисты занимались только литературою; теперь они хватились за ум — литература у них последнее дело. Владимир Лукьянович часто толковал лишь о самонадеянности, о тщеславии молодых людей, о их дурном вкусе. Известно, что самые пошлые мысли суть самые высокие, и, наоборот, самые высокие суть самые пошлые, точно как самая смешная острота есть всегда самая грубая: все зависит от той точки зрения, с которой они представлены, и кем представлены. Когда Байрон говорит о ненависти к жизни, о презрении к людям, его слова поражают; те же самые мысли смешны в устах какого-нибудь журнального рифмоторца; книги Сильвио Пеллико нельзя читать без особенного чувства, а между тем каждая строка в ней была уже двадцать тысяч раз прежде сказана. Эти, повидимому, столь простые мысли, вошедшие, так сказать, в домашний обиход нашей жизни, равно являются невольно гению среди его высоких мечтаний; ими же пользуется и человек, повторяющий их по наслышке, без всякого сознания. Что может быть выше мысли, заключающейся в сих словах: «Для истины я готов пожертвовать жизнью»? И что может быть смешнее этого выражения, когда оно встречается в наших газетных правоописательных статейках?.. Все это длинное рассуждение было необходимо, чтоб объяснить тебе, каким образом Владимир Лукьянович произвел такое сильное впечатление на княжну Зинаиду: весь его разговор был составлен из подобных фраз, но для княжны они были выражением искреннего, глубокого внутреннего чувства; и когда от этих фраз Владимир

Лукьянович искусно переходил к оценке людей, которые почему-либо казались ему странными, — как мелки, как ничтожны казались эти люди для княжны Зинаиды в сравнении с предметом ее обожания! Разговор Радецкого с княжной сильно поразила Владимира Лукьяновича. На его лице не было заметно никакого движения; но он поставил несколько ремизов, чего с ним еще никогда не случалось, — и немудрено: слух его был напряжен и направлен к тому месту, где сидели молодые люди; немногие слова доходили до его ушей, но по этим словам он мог судить, что дело идет не на шутку. Чтоб прервать этот разговор, он употребил описанный Радецким маневр, который с одной стороны удался совершенно. На княжну последние слова Радецкого, которыми он нечаянно намекнул на ее собственное положение, сильно подействовали; в ее слухе беспрестанно звучали: *непозволенная страсть, нарушение долга*; она убежала в свою комнату в совершенном отчаянии. Это не укрылось от проницательного дипломата; но он видел только волнение княжны и, не постигая вполне его причины, приписывал начинающемуся расположению к Радецкому. С этой минуты Владимир Лукьянович начертал себе предварительно полный план атаки: первое дело было — отдалить опасного соперника, а второе — самому принять решительные меры; прежде всего надлежало увериться, до какой степени Радецкий мог быть ему препятствием. На другой день Владимир Лукьянович, оставив жену на бале, под предлогом дел возвратился домой и прямо пошел в комнаты Зинаиды. Зинаида, отослав нянюку ужинать, осталась одна с Пашенькою на руках... Представь себе маленькую комнату, темносиние обои, ковры; в углу небольшой турецкий диван, небольшой открытый шкаф с книгами, фортепьяно, на окошках и по столам цветы. В комнате темно; тусклым светом лампы освещается один диван, а на нем прекрасная девушка в белой блузе, в этой самой обольстительной женской одежде (которая лишь начинала входить в моду и которую дамы тогда осмеливались надевать только дома); темноватого цвета лента обхватывает тонкую талию; черные лоснистые волосы рассыпаются по плечам мелкими кудрями; на стройной ножке бархатные туфли, опушенные мехом. Княжна держит на руках младенца; он улыбается ей, хватает ее за кудри, за блестящие серьги; княжна отвечает ему улыбкою, играет с ним, но черные мысли отражаются в ее задумчивом взоре; ее улыбка горька; ее веселый разговор с ребенком печален; она наклоняется к нему, целует его, как бы для того, чтоб вдохнуть в себя воздух невинности и спокойствия, — но тщетно; вся жизнь ее развертывается перед нею; она вспоминает свои детские игры, первые впечатления, которые произвели на нее в первый раз прочитанные украдкою стихи; она помнит их от слова до слова; она всцо-

минает, как трепетало ее сердце при чтении первого попавшегося ей романа, как искренно плакала над судьбою героини и прятала драгоценную запрещенную книгу под изголовье, чтоб прочесть ее вновь и с новым наслаждением; потом представляется ей, как нечувствительно чтением расширился круг ее понятий, как твердел ее ум и крепло сердце; как новые, неожиданные мысли из глубины души, как будто из другого, таинственного мира, возникали пред нею; как она ощущала в себе зарождение новых чувств, которые невольно вмешивались во все ее существование и наводили магический свет на все, ее окружавшее: тогда как часто, обративши внимание на собственные движения души, она не узнавала самой себя и дивилась своему перерождению; тогда с насмешкою она смотрела на себя в прошедшем, сравнивала себя с своими сверстницами, и в ее сердце зарождалась могучая гордость, эта сила и болезнь человека; вот уже является в ней нетерпение выйти из тесного круга, в котором заключила ее домашняя жизнь: она мечтает быть супругою, матерью, хочет жить, действовать; в ее голове беспрестанно звучат стихи Залиса, так счастливо переданные одним русским поэтом:

Действуй! Мудрец познается делами;
Слава с бессмертьем грядет им вослед.
Действуй! Означи благими трудами
Алчного времени быстрый полет.

Но вот все ее мечтания, все чувства сливаются в один определенный предмет: пред ней является наяву исполнение всех ее идеалов — прекрасный мужчина, скромный, тихий, добрый; в его разговоре она слышит те заветные, любимые слова, которые до того она встречала только в книгах, которые отзывались в ее сердце и были непонятны всем ее окружающим; и это соединение всех совершенств — первый мужчина, которого она видит; с ним является первая любовь, первые надежды, первые муки... И этот мужчина возле нее; она видит его каждый день, — но их разделяет страшная, вечная бездна! Она скрывает пред ним душевные бури; когда сердце ее полно, голова горит и грудь высоко поднимается, она убегает его, она не смеет прикоснуться к нему, не смеет выговорить ему лишнего ласкового слова; она не может, она не должна любить его! И так протечет вся ее жизнь, жизнь неполная, ложная, как жизнь блестящего насекомого, пригвожденного к дереву холодным наблюдателем; тщетно оно расправляет радужные крылышки, трепещет, рвется; вокруг — солнце, вольный душистый воздух, а внутри — долгая томительная боль, и нет сил от нее оторваться, — нет конца и страданиям бедной девушки: что бы ни случилось, какое бы ни было стечение обстоятельств, какие

бы перевороты ни потрясли общества, всю землю, — бездна между ним и ею останется вечною, а перед нею еще долгая, долгая жизнь! Достанет ли у ней сил переносить это непрерывное страдание? Достанет ли ей сил каждый день быть с ним вместе и скрывать это борение с самой собой, когда часто оно доводит ее до степени, близкой к сумасшествию? Достанет ли ей сил убежать в свою комнату, когда при одном его взгляде кровь кипучим ключом бьет в ее жилах, когда все мысли о долге, о чести, о стыде улетают из ее головы как будто волшебством — и она готова броситься в его объятия? «Нет, — думает княжна, — пора этому положить конец, должно оставить этот дом; матушка простит меня; бог сохранит Лидию и ее ребенка... келья в дальнем монастыре, власяница и камень в изголовьи — вот что лишь может спасти меня от самой себя!» Но в эту минуту младенец, как будто понявший ее мысли, схватил ее за шею своими ручонками; княжна очнулась; она снова вспомнила о матери этого ребенка, о последних словах своей матери, — и все ее мысли смешались: ее душа пришла в то страшное, тяжкое состояние, когда два противоположные долга борются между собою, когда одна мысль уничтожает другую, когда человек обвиняет себя и в эгоизме и в неблагоразумном самоотвержении, когда он тщательно перебирает все изгибы своего сердца, боится обмануть себя, ищет первой отдаленной причины каждого своего чувства, каждой своей мысли, взвешивает каждое движение и в отчаянии не находит ответа...

В эту минуту дверь отворилась, и вошел Городков. Он остановился на пороге; его поразила прекрасная картина, бывшая пред его глазами. Княжна сначала не узнала его, но невольно вздрогнула; не знаю, что происходило в его душе в эту минуту, но он был задумчив. Он тихо, почти шопотом, поздоровался с княжною и в глубоком молчании бросился в кресла, стоявшие возле дивана. Так прошло несколько минут.

— Что с вами? — спросила, наконец, его Зинаида с беспокойством. — Отчего вы так задумчивы?

— Мало ли о чем мне думать! — отвечал он печально. — Много бывает на сердце такого, чего не расскажешь и что, между тем, наводит невольную тоску.

— Но, говорят, рассказ того, что на сердце, облегчает печаль.

Городков вздрогнул.

— Да, — отвечал он. — Есть люди счастливые, вот как, например, наш романтик, у которого для всего есть готовые фразы и который, мимоходом сказать, кажется делает вам глазки — вероятно, чтоб иметь предлог сочинить туманную элегию в модном вкусе.

Княжна вздрогнула. Городков посмотрел на нее со вниманием.

— Я не думаю, чтоб из моих слов он мог сочинить нежную элегию, — сказала она, улыбаясь. — Я ему всегда говорю столько резких истин, что, верно, они отобьют у него охоту толковать о своих романтических страданиях.

Городков вздохнул еще раз; но, кажется, от удовольствия, по лицу отгадать этого было невозможно.

— Что до него! — продолжала княжна. — Скажите мне лучше, что с вами?

Городков придвинул кресла.

— Я буду говорить с вами откровенно, — сказал он, положив на стол свои прекрасные белые аристократические руки. — Скажите, что моя за жизнь? С кем я могу поделиться сердцем? Что ожидает меня в будущем? Вы знаете вашу сестру; вы знаете... — прибавил он, запинаясь. — Она не может понимать меня, она мне не может быть помощницею в жизни, ни другом в печали, ни матерью детей, ни даже хозяйкою дома. Хорошо, что вы теперь из любви к ней взяли на себя все ее обязанности; но вы можете выйти замуж, я могу занемочь, умереть, — что тогда будет с моим ребенком?

Княжна затрепетала, хотела что-то говорить, но стискивала зубы. Городков не сводил с нее глаз.

— Смотрите, как покойно Пашенька заснула на ваших руках; она вас знает больше, нежели Лидию, и в самом деле вы настоящая мать, вы единственный друг мой.

Городков закрыл лицо свое руками, но, вероятно, не так плотно, чтоб не видеть, что делается с княжною.

— Но надолго ли это? Вы выйдете замуж; у вас будут свои обязанности, другого рода привязанность, свои дети...

— Никогда! — вскричала княжна вше себя.

Он взял ее за руку; Зинаида была как в огне. Невнятные слова срывались с ее языка и замирали.

— Как это может быть? — отвечал Городков, смотря на нее нежно. — Вы сами не можете отвечать за себя; да и с моей стороны было бы слишком бессовестно требовать от вас такой жертвы. Не правда ли?

Княжна была в сильном волнении. Городков снова взял ее за руку, поцеловал ее; бедная девушка невольно прижалась к его щеке; ее густые кудри рассыпались по их сомкнутым лицам и как бы непроницаемой пеленою сокрыли то, что происходило в эту минуту; но ребенок, разбуженный этим движением, вскрикнул; княжна опамятавалась.

— Паше пора спать, — сказала она, поспешно встала и понесла ребенка в детскую. Городков последовал за нею в размышлении; княжна наклонилась над колыбелью, говорила скоро, отрывисто несвязные слова; вся она была как в лихорадке, лицо ее горело, руки дрожали. В эту минуту явилась Лидия

в бальном платье, напевая мазурку и почти танцуя. Она не заметила ничего, хотя княжна смотрела на нее, как преступница.

— Паша нездорова, — сказал муж, — мы с сестрицей насилу могли ее успокоить.

— Что такое? — сказала Лидия с своим остолбенелым взглядом, который один служил ей для выражения всех возможных чувств. Посмотрев на колыбельку, Лидия прибавила: — Она, кажется, започивала, и мне также спать очень хочется; я так устала!

Ребенок в самом деле заснул спокойно, ибо нисколько не был болен. Слова Городкова были ложь, но Зинаида разделила ее своим молчанием; между ней и мужем Лидии уже как будто заключилось тайное условие; она уже чувствовала необходимость что-то скрывать от сестры своей...

Лидия рассеянно благословила Пашу, чего никогда не забывала делать и чем, кажется, ограничивала весь долг материнский, и отправилась в спальню. Зинаида всю ночь промолилась пред образами и к рассвету почти в беспамятстве бросилась в постель.

В следующие дни посещения Городкова сделались чаще прежнего; иногда он говорил княжне такие слова, которые она одна могла понимать; иногда просто смотрел на нее, но такими глазами, которые говорили больше слов. Борение в сердце княжны достигло высшей степени; она не смела смотреть на сестру, хотя Лидия ничего не понимала, что вокруг нее происходило, и только радовалась тому, что муж не мешает ей выезжать. Княжна проводила ночи без сна, а когда засыпала, то воспаленное воображение повторяло ей все слова, сказанные во время дня, все движения ее сердца, досказывало недосказанное и увлекало ее в мир обольстительных сладострастных видений. Просыпаясь, она с ужасом и наслаждением вспоминала свои ночные грезы; она видела, что стоит на краю пропасти, и не имела сил остановиться. Ее комната, в которой все напоминало обольстительный вечер, сделалась ей невыносимой, ее постель — ужасной; она потеряла способность молиться в этой комнате. Однажды вечером, когда она сидела у растворенного окна и теплый летний вечер коварно раздражал ее воображение, послышался благовест, — и тысяча воспоминаний возродились в душе ее: она вспомнила свою детскую невинность, свою детскую, чистую, безмятежную молитву. Как бы ей хотелось снова пробудить эти тихие чувства в душе своей! Она почти невольно вышла из комнаты и, сама не зная как, очутилась в церкви. Там произошла сцена, описанная в письме Радецкого. Молитва придала бодрости княжне; слова молодого человека, столь ясные, простые, столь исполненные чувства, поразили ее; они ей показались неожиданною помощью, ниспосланною свыше; твердость ее воли восторжествовала; она решилась

одним ударом рассечь узел преступной страсти, принести себя в жертву, не отнимая у себя средств исполнить последнюю волю матери; она с геройскою решительностью предложила свою руку молодому человеку. Но когда она написала записку Радецкому, тогда осталось ей еще другое, трудное дело — объявить о своем решении Городкову. Она выбрала ту минуту, когда муж и жена были вместе, собралась с силою и задышающимся голосом выговорила: «Я выхожу замуж за Радецкого». Лидия захотала, Городков побледнел, княжна поспешила договорить: «У нас уже все условлено; завтра наша свадьба; он едет отсюда... надобно скорее...» С этими словами ее голос прервался... она удалилась. Городков остался с женою и проговорил несколько незначащих фраз, которых она почти не слыхала, потому что ей тотчас в уме представился бал, который надобно будет дать по случаю свадьбы.

Когда Лидия заснула, муж ее отправился в комнату Зинаиды; он знал, что она не может спать. Княжна сидела на диване; слезы ручьями лились из ее глаз.

— Я пришел поговорить с вами о ваших делах, — сказал Владимир Лукьянович прерывающимся голосом. — Времени остается немного, а мне нужно кое о чем с вами условиться. Как родственник ваш я должен позаботиться о том, о чем, может быть, вы сами забыли. У вас есть имение...

Княжна рыдала.

— Мне ничего не надобно, — говорила она, — я оставляю все вам, вашим детям, сестре.

— Это невозможно: ваш муж найдет это странным, неприличным; вы сами будете жалеть; у вас будут новые обязанности... новая привязанность... могут быть дети.

Эти слова, напоминавшие княжне прежний обольстительный вечер, разрушили ее последнюю твердость; она бросилась на шею к Городкову и с отчаянием произнесла только одно слово: «В л а д и м и р!..» Но в этом слове были забыты и долг, и данное обещание, и девическая стыдливость. Обольститель сжал ее в своих объятиях, и длинный, длинный поцелуй помешал княжне договорить и это слово. Но вдруг она вырвалась из его объятий, прислонилась к столу и трепещущим голосом произнесла:

— Владимир! Именем бога, оставь меня!

Городков хотел к ней приблизиться; но она сложила руки с умоляющим видом.

— Именем бога, оставь меня!.. Завтра, завтра все узнаешь, — произнесла она, задыхаясь от слез.

— Но завтра, — отвечал Городков, — завтра ты будешь замужем?

Княжна всплеснула руками и закрыла лицо свое.

— Как ты мог поверить этому, Владимир?.. Разве ты не ви-

дишь?.. Разве ты не знаешь?.. Ты... один ты... один! — вскричала она вне себя и выбежала из комнаты.

Городков хотел за ней последовать, но, боясь разбудить домашних, возвратился в свою комнату. Вошедши в нее, он насмешливо улыбнулся. «Чорт возьми! — сказал он. — Дело не на шутку!» Но он взглянул в зеркало и испугался своего собственного образа; оглянулся, нет ли в комнате кого из посторонних, и — в одно мгновение исчезла с его лица насмешливая улыбка — как будто ее и не бывало; он лег в постель и преспокойно проспал до утра.

На другой день княжна написала свою вторую записку к Радецкому. Радецкий отвечал на нее и в тот же день уехал из Москвы.

Не знаю, что бы могло случиться с княжной в это время; к ее счастью, особенное происшествие сделало большой переворот в ее семейной жизни. Лидия, уже беременная, танцевала, как я говорил выше, без усталости; в то самое утро, когда Зинаида решила судьбу Радецкого, Лидия почувствовала себя нездоровою. Послали за доктором; он, осмотрев Лидию, значительно покачал головою и попросил пригласить других докторов для консилиума; прежде нежели начался консилиум, Лидия выкинула; доктора объявили ее в самом опасном положении.

Долго тянулась болезнь несчастной жертвы легкомыслия. Зинаида не отходила от ее постели. Иногда больная приподнималась с постели и говорила слабым голосом, вспоминала о назначенных днях городских балов, просила посмотреть свое последнее платье, которое она еще не успела примерить, — и ей расстилали на постели блонды, бархаты, атласы; она любовалась, играла ими, как ребенок; потом начинала плакать и призывала уносить все свои уборы.

Иногда, показывая на мужа, она говорила Зинаиде: «Пожалуйста, будь его женою, когда я умру; он такой добрый... ты умеешь лучше угодить ему, нежели я; ты умница, а я, бедная, глупенькая!»

Но иногда, в минуты бреда, на Лидию находил припадок ревности. «Что вы на меня смотрите? — говорила она. — Вы дожидаетесь, скоро ли я умру. Вы любите друг друга... я это знаю. Только берегись, Зинаида! Он ужасно хитр и ужасно зол; он и тебя обманет... У него много бумаг, разных бумаг... он все пишет, пишет...» Слова ее превращались в рыдание или хохот.

Однажды в Казани небольшое общество чиновников сидело за чайным столиком: все люди должностные, давно служащие, что говорится, *кореняки*; между ими несколько дам, а между

дамами и наша Марья Ивановна. Разговор шел дельный: толковали о том, кто как сделал свою карьеру; рассказано было многое в пользу случая, а многое в пользу ума и сметливости.

— Нет! — сказал полковой лекарь, который любил играть роль балагура и, мимоходом будь сказано, несколько приволакивался за Марьей Ивановной, как она очень тонко дала мне это почувствовать. — Нет, нет, — сказал он, — я узнал недавно штуку, так уж чудо как хитра! На-днях, разбирая бумаги покойного брата (у него незадолго перед тем умер брат, уездный стряпчий), я нашел письмо одного человека, немалозначащего чиновника в Москве, — так уж, могу сказать, удивительную вещь придумал! Как вы думаете? У него есть свояченица, сестра его жены, девушка небедная; имение у них еще не разделено, вместе обе части составляют, как видно, богатый кус, и он в него порядочно запустил лапки; но вот зятюшка-то думает и гадает: неравно она, окаянная, выйдет замуж, муж потребует половины имения, а с именем-то расстаться жаль. Как тут быть? Как вы думаете, что тут делать?

Все призадумались.

— Купить у нее за бесценок, — сказал старый советник палаты.

— Нет, Фрол Игнатьич! — отвечал лекарь. — Это все старина; нынче люди поумнее, потоньше стали! Купишь за бесценок — молва будет, репутации повредишь; нынче умный человек разные обороты имеет — на такие хитрости подымается, что век гадай, не отгадаешь. Вот что он выдумал, господа: он подъехал к свояченице с турусами на колесах, свел девку с ума, да и отбивает у нее женихов, а между тем в нераздельном имении то крестьян переведет, то пустошь обменяет, то людей на волю выпустит, — вот какой молодец!

Марья Ивановна вздрогнула, и, как сама говорила, ей при рассказе лекаря что-то под сердце подступило: но на эту минуту со всею женскою хитростию она скрыла свое волнение.

Не знаю уж, какие средства Марья Ивановна употребила для убеждения своего обожателя, но только чрез несколько дней таинственное письмо очутилось в ее руках и в подлиннике летело в Москву на имя княжны Зинаиды.

Между тем в Москве Лидия с каждым днем ослабевала; доктора называли ее болезнь изнурительною чахоткою и другими латинскими, французскими и немецкими названиями, с утешительным замечанием, что она неизлечима.

Однажды, когда Зинаида вышла в переднюю, чтоб поскорей послать с рецептом в аптеку, незнакомый человек вошел, спрашивая:

— Не здесь ли живет княжна Зинаида Петровна?

— На что вам ее? — спросила княжна.

— Я имею поручение, — отвечал незнакомец, — отдать ей письмо очень важное.

— Пожалуйста мне его, — сказала Зинаида.

— Я должен отдать ей собственноручно.

— Я сама княжна Зинаида.

Она подумала, что это письмо от какого-нибудь бедного, и не затруднилась принять его; развернула его, быстро пробежала — едва ноги у нее не подкосились! В другой комнате слышались шаги; она проворно спрятала письмо под косынку; незнакомец между тем удалился.

В тот же день княжна, жалуясь на головную боль, попросила кареты проехать. Лицо ее было бледно, но спокойно. Городков приписал ее бледность нескольким ночам, проведенным без сна, и советовал ей поберечь себя. Княжна отвечала ему улыбкою.

— Я постараюсь, — сказала она, — сохранить себя для вас.

В последнем слове было особое выражение. Городков нежно поцеловал у нее руку. Княжна села в карету и отправилась к одной из своих приятельниц.

— Ты должна оказать мне услугу, — сказала ей княжна, — и услугу важную: вели заложить свою карету и вези меня к предводителю дворянства.

Приятельница княжны не могла прийти в себя от изумления; любопытство ее было сильно встревожено, но она не могла добиться от княжны никакого ответа. Они оставили карету княжны Зинаиды на дворе, а сами поехали, не сказав у подъезда, куда. Приехав в дом предводителя, княжна оставила свою приятельницу в гостиной, а сама с неженскою смелостью пошла прямо в кабинет.

— Ваше превосходительство! — сказала она твердым и несколько торжественным голосом. — Вы поставлены от правительства для защиты сирот...

Предводитель, пораженный таким необыкновенным тоном, улыбнулся и сказал:

— Что с вами, княжна? За кого вы так горячо вступаетесь?

— За тех, — отвечала княжна Зинаида, — за которых некому, кроме меня, вступить. Не смейтесь, бога ради, и не удивляйтесь тому, что буду говорить! Забудьте, что я девушка! В эту минуту в нескольких шагах от вас совершается преступление, которого никакой закон не может предвидеть, ни наказать, но которое может предупредить твердая воля человека.

Предводитель слушал княжну с возрастающим изумлением.

— То, что я вам скажу, должно остаться между нами!



у меня умирает сестра, у ней остается ребенок. Я прошу вас быть у него опекуном.

— Помилуйте, — отвечал предводитель, — у ребенка остается отец!

— Этот человек, — отвечала княжна в сильном волнении, — не заслуживает доверенности ни правительства, ни честных людей.

Предводитель остолбенел; одумавшись, он отвечал:

— Позвольте, однакож, княжна! Ваши слова слишком сильны; но если б я и поверил им, то, по законам, я могу быть только назначен в помощь Владимиру Лукьяновичу, и то, если на это будет согласие матери.

— Согласие матери? — сказала княжна с беспокойством. — Вы как благородный человек и в этом должны мне помочь; что надобно для этого?

— Надобно, чтоб она назначила меня в духовном завещании в помощь своему мужу.

— Вы должны к ней ехать вместе со мною.

— Помилуйте, вам ближе это сделать.

— Я не могу: она мне не поверит. Прибавлю к этому, что вы должны вместе с духовным отцом говорить с нею и, не забудьте, в отсутствии ее мужа.

— Признайтесь, княжна, что вы ставите меня в самое затруднительное положение: заставляете ехать секретно к умирающей женщине для того, чтоб заставить ее сделать то, что может быть неприятно ее мужу, человеку почтенному, уважаемому в целом городе. Нет, воля ваша, княжна, я на это не согласен.

Княжна была в отчаянии.

— Почтенного... уважаемого... — повторяла она. — Когда я вам говорю, что он без чести, без совести...

— Но где ж доказательства? — сказал, наконец, предводитель, вышедши из терпения.

— Доказательства! — воскликнула княжна. — Доказательства! У меня есть доказательства, и неоспоримые. Но умоляю вас — дайте мне честное слово, что вы никогда не откроете тайны, которую я вам поверю.

— Даю вам слово честного и благородного человека.

Княжна несколько минут была в недоумении, наконец, скрепив сердце и произнеся про себя: «Господи, еще жертва!..», сказала: «Читайте, сударь!»

Письмо Городкова к покойному казанскому уездному стряпчему.

«М. г. и почтеннейший товарищ Фома Иванович! Премного и чувствительно я одолжен вам за исполнение всех моих комиссий: истинно вы показываете свою старую дружбу и приязнь.

Ваше благорасположение ко мне осмеливает меня просить вас: во-первых, прочесть сие письмо поодаль от всех, ибо я имею сообщить вам нечто весьма секретное, для чего и письмо сие посылаю не по почте, но с верною оказией. Предупреждаю вас, что по ходу дел мне надобно объяснить вам мое положение в подробности, но это дело весьма деликатное; почему я в будущих письмах уже не буду прибегать к объяснениям, кои не всегда могут быть удобны, а уже по этому письму, почтеннейший, понимайте то, о чем впоследствии буду только намекать. Неоднократно я уже относился к вам, почтеннейший товарищ и однокорытник, поспешить окончанием продажи леса при селе Анисовке; ¹ вы пишете ко мне, что, несмотря на мое согласие, остановили продажу, потому что считаете цену слишком дешевою и боитесь, чтобы я не переменил мыслей. Я за такой знак приязни вас чувствительно благодарю, но мои обстоятельства не позволяют мне ждать других покупателей; я вынуждаюсь объяснить вам откровенно, с тем, разумеется, чтобы сие сохранилось в величайшей тайне и никому не было поверено. Описание сих обстоятельств убедит вас, почтеннейший друг, сколько необходимо нужно поспешать, ибо случай, как говорили древние писатели, плешив — тотчас из-под руки выскользнет. Вы знаете, почтеннейший, что у меня собственно за мною ни кола, ни двора; чтобы поправить мое состояние и сделать себе карьеру, я, как вам небезызвестно, долго искал себе невесты; наконец бог мне послал жену, правда, глупенькую, но небезбедную, как вам также известно. Пока положение мое недурно, я на хорошей дороге, и в связях, и в родстве, и, благодаря богу, могу не только себе, но и приятелям моим быть полезен. Но, любезнейший друг, вникните хорошенько в мое положение. Вы знаете:

Все на свете сем непрочно;

должно помышлять о будущем; умри жена — чего боже сохрани! — я опять, с позволения сказать, останусь гол, как сокол! Правда, есть у нас ребенок, но и ребенок — чего боже сохрани! — может умереть; да если останется жив, то все я буду ни при чем, а разве при его милости. Это бы еще ничего, да опека, почтеннейший!.. Знаю, что и с нею можно концы с концами свести, но все хлопотно, опасно... хотелось бы иметь свое, отдельное, независимое... понимаете, любезнейший друг! Для сего-то я и желаю, елико возможно, поспешить продажей леса — хотя бы то было за бесценок, — лишь бы не пропустить случая, когда дадут чистые деньги; а вы знаете: чистоган святое дело! Да к тому же, признательно вам сказать, я не знаю,

¹ Общее имение обеих сестер.

зачем мне упускать из вида и другую половину имения, когда бог его так кстати мне посылает, тем более что обе половины вместе — настоящий объект, а врозь уже гораздо теряют свою цену. Тут дело, почтеннейший, повторяю вам за тайну, так сказать, пределикатного свойства. Извольте видеть, ведь свояченица может выйти замуж — понимаете?.. Правда, она ко мне, с позволения сказать, на шею вешается; я, разумеется, как благородный человек, не стараюсь воспользоваться ее слабостью, но с другой стороны, смотря на сие обстоятельство с серьезной точки зрения, нахожу его весьма сообразным с моими намерениями. А между тем и то приходит в ум, что все-таки ей мужем быть не могу; но, неровен час, может подвернуться какой-либо смазливенький, — тогда, вы сами понимаете, почтеннейший, беда, да и только. Мне необходимо воспользоваться временем, пока в моих руках доверенность от обеих сестер на нераздельное управление общим имением. Во всех отношениях для меня нужно спешить. Все для меня опасно — выйдет ли свояченица замуж или не выйдет: на грех мастера нет. Мало ли что может случиться!.. Боюсь зазору, молвы людской; вы знаете — я человек благородный, с амбициею; хочу, чтобы под меня нельзя было иголки подпустить; так и дорожу своей репутацией. Все сие пишу к вам как к другу и прошу вас покорнейше по прочтении сего письма оное уничтожить и в ваших письмах ко мне не упоминать о моих обстоятельствах иначе, как весьма аллегорически. Постарайтесь, почтеннейший, тотчас по совершении купчей на лес немедленно доставить мне свидетельство на залог всего имения, о чем я уже к вам писал. Бога ради, поспешайте, елико возможно; денег не жалейте, только бы не замедлили. Прежде взятя свидетельства спросите у Клементия Федорова, хочет ли он выкупиться или нет; если хочет, то деньги бы высылал ко мне немедленно; иначе я должен буду принять свои меры. Прощайте, почтеннейший! Не замедлите вашим ответом. Извините, что я обременяю вас своими комиссиями; но что делать, почтеннейший! Живой о живом и помышляет. Я человек благородный и нравственный: никогда для своей выгоды, даже если бы не имел и дневного пропитания, не в состоянии прибегнуть к непозволенному средству; но, с другой стороны, было бы слишком глупо и не воспользоваться теми видами, кои ныне представляются. Повторяю мою просьбу об уничтожении сего письма. Прекратя все сие, честь имею быть с совершенным почтением и таковой же преданностью ваш истинный друг и слуга. *В. Городков*».

— Пока это письмо было читано предводителем, княжна Зинаида не сводила с него глаз. Она знала письмо наизусть; она следовала за каждым словом; она видела краску, высту-

пившую на лице ей почти незнакомого человека, видела его полуулыбку, когда глаза его дошли до того места, которое относилось к княжне, — она все это видела. Все, что она перенесла, сколькими годами постарела в эти немногие минуты — рассказывать не нужно.

Прочитав письмо, предводитель сказал:

— Теперь я на все согласен: располагайте мною, как хотите.

В тот же день, в минуту, когда Городкова не было дома, предводитель, духовный отец и двое свидетелей были в комнате Лидии; она подписала завещание, в котором предводитель был назначен душеприказчиком и опекуном в помощь Владимиру Лукьяновичу, а дети сверх того вверялись особому попечению княжны Зинаиды. Когда все кончилось и все бывшие в комнате умирающей удалились, возвратился Владимир Лукьянович. Предводитель, встретившись с ним в дверях, холодно поклонился и сказал, что он не замедлит к нему отнестись официально как душеприказчик жены его. Владимир Лукьянович уже знал о вчерашней поездке Зинаиды; теперь загадка для него разгадалась, но только вполчину. Взволнованный, взбешенный, он побежал в комнату Зинаиды, но за дверью остановился и, приняв на себя нежно-печальный вид, вошел тихими шагами.

— Что это значит, княжна? Вы и мне не доверяете? — сказал он, устремив на нее свои глаза, которых знал магнетическое действие.

Впервые, и, верно, впоследствии, злобная улыбка появилась на устах княжны. Она посмотрела на своего обожателя с презрением и бросила ему в лицо письмо его к казанскому стряпчему...

Положение Городкова было затруднительно. Благоразумие требовало немедленно бежать в комнату больной, расспросить ее, заменить старое завещание новым, — но уже Лидия была без языка. Несколько мгновений — и ее не стало. Кончина человека поражает невольно самое загрубелое сердце; в эту минуту остающийся в живых смотрит на окружающих, ищет в их глазах убеждения в жизни... Городков встретил лишь холодный, укоряющий взор Зинаиды.

* * *

Прошли дни похорон. В доме все вымыто, выметено, накурено; аптекарские склянки выброшены за окошко, мебель поставлена на место, в стекла светит солнце, на кухне готовят кушанье... Городков ожил; сперва стенания его слышались только за дверью; потом, в рассчитанное с толком время, двери

для приезжающих утешителей отворились. Владимир Лукьянович плакал и вздыхал уже официально; мимоходом он принимал на себя вид оскорбленной невинности и легкими намеками наводил черную краску на княжну Зинаиду. Между тем к ней был послан управитель с низким поклоном и извещением, что барин хочет переселиться в занимаемые ею комнаты, потому что, дескать, ему очень тяжело оставаться в тех, где находилась покойная Лидия Петровна.

Зинаида оставила дом, переехала к одной приятельнице, — у княжны не было ни копейки денег.

Мало-помалу приезжающим утешителям было растолковано, что княжна Зинаида в последнее время оказала очень дурной характер; что она старалась овладеть больною сестрою и выманить у покойницы разные щедроты в изьян мужу и детям; что даже при ее заносчивом характере опасно было оставлять ее при ребенке и прочее тому подобное. Эти краски очень хорошо ложились на приготовленную растушевку.

Наступило время чтения завещаний. Их было два: первое предоставляло Городкову неограниченное право располагать детьми и имением, второе — то, о котором я говорил выше. Оно одно, как последнее, имело законную силу.

Городков, выслушав все, хладнокровно сказал:

— Я весьма радуюсь, что имею в почтенном Иване Гавриловиче (имя предводителя) столь достойного помощника; но долгом считаю объявить, что покойница состояла мне должною на такую сумму, которая превосходит цену имения. Если бы мне, отцу (это сказано было сквозь слезы) было оказано больше доверенности и не было никакого постороннего вмешательства, я бы изорвал заемные письма: на что мне они? Разве я не отец моему ребенку? Но теперь я считаю себя в обязанности предъявить их, дабы иметь право предохранять от постороннего управления достояние моего ребенка.

Все эти слова были произнесены тоном достойным, благородным и трогательным. Они произвели видимое действие на всех слушателей: многие из них плакали, другие с негодованием говорили об *интриганке* Зинаиде.

Одна она не потеряла головы.

— Неправда! — сказала она, когда предводитель почти упрекал ее, что она посвятила его в дураки. — Неправда! Сестра не могла быть ему должною — ему нечего ей дать; я буду доказывать пред судом безденежность заемных писем.

— Как, княжна! Вам, девушке, входить в процесс с мужем вашей сестры?

— Так вы подайте просьбу...

— Это легко сказать: какие доказательства могу я предста-

вить в безденежности этих заемных писем? Знаете ли, к чему ведет это? Ведь Городкова надобно будет обвинить в бесчестном поведении...

— А вы еще сомневаетесь в этом после письма его?..

— Да, письмо! Разве письмо бы годилось. Но подумайте о себе: оно компрометирует вас...

— Что нужды! — отвечала она; но потом, одумавшись, спросила с трепетом: — Это письмо необходимо?

— Необходимо.

— Оно — у Городкова!

У опекуна опустились руки. Он решительно отказался от всякого процесса.

Княжна была в отчаянии, но не теряла духа. Без денег, без друзей, поражаемая светской болтовней, негодованием честных, но обманутых людей — она начала процесс о безденежности заемных писем, данных ее сестрою. К такому действию ее еще более понуждала открытая ею связь Городкова с одною безнравственною женщиною, которая, перехитрив и самого Владимира Лукьяновича, вытягивала из него деньги и наверное должна была обвенчать его на себе. Необходимость иметь капитал для такого процесса заставила княжну завести другой — о разделе имения, а к этому процессу третий — о разорении, сделанном Городковым в имении. И во всех гостиных, в присутственных местах толковали, смеялись, порицали девушку, которая забыла стыд, обложила себя указами, окружила себя стряпчими, приказными; болтливость и клевета прибавляли к сему тысячи оскорбительных небылиц, которые имели вид истины.

Посреди самого разгара этого дела в Москву возвратился из Парижа дядя обеих сестер, князь З... Княжна бросилась к нему как к своему избавителю; она рассказала ему всю историю — рассказала с жаром, с чувством, с силою. Старый князь, чопорный, чинный, в коричневом фраке с иностранною звездою, сначала ничего не понимал; но жар, с которым говорила его племянница, как-то подействовал на его благоприличную душу: он сам ни с того, ни с сего разгорячился и начал приговаривать: «Comment donc! Nous lui ferons rendre gorge, mordieu!»¹

Один мой приятель сделал очень глубокомысленное замечание, а именно: что есть люди, которые очень умны, когда говорят по-французски, и делаются невыразимо пошлы и глупы, как скоро заговорят по-русски. Это довольно странно, но справедливо и понятно. Мы учимся не языку, но только заучиваем тысячи фраз, сказанных на этом языке умными людьми; гово-

¹ Как же! Мы у него все вырвем обратно, чорт побери! (Ред.)

рить хорошо по-французски — значит повторять эти тысячи готовых фраз; эти фразы и мешают мыслям и избавляют от своих собственных; вы слушаете, чужой ум выглядывает из болтовни, обманывает вас: кажется — дело, переведите по-русски — пустошь, ни к селу, ни к городу. Князь принадлежал к числу таких людей. Едва ввалился он в гостиные, как посыпались к нему со всех сторон нарекания на Зинаиду; добрый князь обомлел. Едва заговорил он по-русски с деловыми людьми, как и совсем потерялся; в голове его осталось только одно, что племянница его играет самую смешную, самую неприличную роль — *un rôle ridicule et peu convenable!*¹

Князь счел долгом принять на себя достойный вид старшего родственника и, положив одну ногу на другую, преподать княжне нужные, спасительные советы самым чистым парижским наречием, с заветными поговорками и с особенною интонацією, которая так несносно-скучна в разговоре у природных французов.

Хотя он с княжною говорил и по-французски, следственно очень умно, но не убедил ее; она продолжала начатое, и в гостиных явился ее новый гонитель — ее собственный дядя: он пожимал плечами, поутру уверял встречного и поперечного, что он в этом деле умывает руки, а вечером, вздыхая, ездил смотреть французские водевили.

Однажды к княжне Зинаиде явился ее стряпчий.

— Ваше сиятельство, — сказал он, — вам остается теперь одно: *очистительная присяга*, — и я долгом считаю вас уведомить, что ваш соперник, говоря, что для детей отец должен на все решиться, непрочь от такой присяги.

— Что такое очистительная присяга?

— Вы должны будете идти с большою церемонией в церковь и публично присягать в истине вашего показания касательно безденежности заемных писем...

Княжна окаменела при таком известии. Это было слишком!

Но твердость ее не оставила; она готова была принести и эту жертву любимому ей ребенку, но ее спасло одно из тех нечаянных происшествий, которые неправдоподобны, но очень просто разрешают, по воле провидения, самые трудные задачи. Городкова разбила лошади — и он умер. При последнем издыхании он не хотел или не успел испросить прощения Зинаиды.

Смерть Городкова возвратила все права несчастной девишке над ее племянницею. Она взяла ее к себе, не выходит замуж и все минуты жизни посвящает на ее воспитание: а в гостиных толкуют, что она, расстроив свое семейство, теперь

¹ Роль смешная и неприличная (*ред.*).

надела маску и играет роль нежной родственницы, чтобы прикрыть старые грехи и, между тем, воспользоваться именем племянницы.

— Вот что я узнал, — продолжал мой приятель, — от Марьи Ивановны. Разумеется, она рассказывала все это гораздо короче, нежели как я тебе сказываю. Но ты человек аккуратный — тебе надобно было знать все подробности. Этот рассказ возбудил во мне сильное любопытство познакомиться с столь необыкновенною женщиною, которая в малом семейном круге умела показать более благородства и твердости души, нежели многие мужчины на поприщах более возвышенных.

У графини Дарфелд бывали по вторникам маскарады. В тогдашнюю зиму на маскарады была мода; все рядились, мистификовали друг друга, танцевали и волочились без ума; под снега севера перенеслись все обольстительные прелести старинных итальянских маскарадов.

Однажды я с любопытством осматривал пестрый мир, вертевшийся вокруг меня, и почти с досадою отгрызался от масок, которые не давали мне покоя.

— Княжна Зизи здесь, — сказал кто-то за мною.

— Где? Где? — спросил другой.

— Вот сидит в зеленом домино; моя племянница с нею.

Этого разговора с меня было довольно; я отправился к зеленому домино... В жизни я не видывал такой стройной талии, таких прекрасных ножек, которые, ты знаешь, в женщине для меня — почти все; из-под капюшона были видны знакомые мне черные мелкие кудри, а в отверстиях маски горели живые, блестящие глаза.

— Позвольте мне вас мистифицировать, — сказал я, — хотя я и без маски..

Я сел подле княжны и ни с того, ни с сего принялся рассказывать ей всю ее историю со всеми подробностями. Княжна была встревожена моим рассказом; но участие в ней, уважение к ее подвигу, которым дышало каждое мое слово, ее тронуло. Когда я окончил, она мне сказала:

— Благодарю вас; вы мне доставили первое наслаждение в жизни: видеть, что клевета не совсем могла очернить меня и что есть люди, убежденные в чистоте моего сердца.

На следующий вторник мы встретились уже как знакомые. Разговор княжны был жив, умен и занимателен; я не замечал, как проходили часы и как посматривали на нас любопытные.

На третий вторник я счел уже нужным также нарядиться в домино, чтобы спокойнее говорить с княжною...

Что тебе рассказывать! Чрез несколько времени быть с княжною сделалось для меня необходимостью; тщетно я искал ее в гостиных: она выезжала только в маскарады — без домино

она боялась показываться в свете и сначала лишь под маскою хотела к нему привыкнуть.

Однажды после долгого вечера, который я считаю одним из счастливейших в моей жизни, сходя с подъезда, я сказал ей:

— Княжна! Мне тяжело видеть вас только один раз в неделю; позвольте мне быть у вас.

Она задумалась и потом отвечала:

— Это невозможно!

— Почему же?

— Я живу почти одна. Вы знаете Москву и знаете, что заговорят, если вы будете ко мне ездить.

Эти слова заставили меня в мою очередь задуматься.

— Послушайте, — сказал я, — не считите меня ветреным, легкомысленным. Что вам до толков? Неужли нет средства посмеяться над клеветниками?

— Как же? — спросила она почти с насмешкою.

Эта насмешка рассердила меня. Я говорил, говорил — и сам не знаю, как сказал ей, что я влюблен в нее до безумия, и предложил ей свою руку.

Княжна вздохнула.

— И я люблю вас, молодой человек, — отвечала она, — но вы знаете, что о таком деле надобно подумать...

Тут закричали карету с условленным именем; княжна поспешно меня оставила, говоря:

— До будущего вторника! Ко мне пока я вам ездить запрещаю...

В эту ночь я прошел все степени любовного безумия: я и писал несколько писем, и бросался в кресла, и закрывал себе лицо руками, и бродил из угла в угол — и... как это все у вас описывается?

К утру не стало мне больше сил. Я бросился в карету и велел ехать к княжне Зинаиде; она заставила меня довольно долго ждать у подъезда, но наконец меня приняли. Я взбежал на лестницу как угорелый, и первый предмет, который бросился в глаза в гостиной, была княжна — и в своем домино.

— Вы не исполнили моей просьбы, — сказала она, — что делать! Но зато я хочу наказать вас, вы будете говорить со мною, но не увидите меня...

Я бросился к ней и стал умолять, чтобы она сняла маску; чего уже тут я наговорил, не помню, потому что был в совершенном бреду.

— Сядемте, — сказала она мне, — и поговорим; дело серьезное... Вы любите меня, молодой человек; я вам верю, верю чистой, юной, прекрасной душе вашей; когда смотрю на вас, мне приходит на мысль, что я бы могла еще быть счастливою в жизни... да, сударь, я к вам почти равнодушна... вы воскре-

сили для меня старые, забытые чувства... как бы я желала продолжить эту минуту...

Я был вне себя, целовал ее руку, дыхание мое захватывало.

— Пойдите! — сказала княжна. — В этом деле есть препятствие, и очень важное...

— Препятствие! — сказал я: — Какое? Вы свободны.

— Препятствие не большое, но важное, — повторила княжна со смехом, срывая с себя маску. — Мне сорок, а вам едва ли восемнадцать! Моя племянница вам ровесница и уже замужем! Жаль мне разрушить свое и ваше очарование, но — вы опоздали, и я также; мне не суждено этого рода счастья в жизни, вы — найдете другое.

* * *

— Что тебе рассказывать далее! — продолжал мой приятель. — Я было принялся выдумывать пошлые фразы о том, что я молод на лицо, что неравенство лет не мешает счастью и прочее тому подобное; но мои слова как-то не вязались, а княжна грустно и насмешливо забавлялась моим смущением... На другой день я уехал из Москвы — а теперь мне пора ехать за акциями.

Он взял шляпу.

— Пойдите! Пойдите! — кричал я ему вслед. — Как же ты не догадался о годах княжны по письмам?

— Разве я тебе не сказал, что получил их после всей этой истории? — отвечал мой приятель.

КАТЯ ИЛИ ИСТОРИЯ ВОСПИТАНИЦЫ

(ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА)

В один прекрасный майский вечер, — извините, в июньский, — когда наши набеленные и нарумяненные острова уведомляют петербургских жителей, что настало лето; когда петербургские жители, поверив укатанным дорожкам и напудренной зелени, запасаются палатками, серыми шляпами и разными другими снадобьями против зноя, переезжают в карточные домики, называемые дачами, затворяют в них двери, окна и в продолжение нескольких месяцев усердно занимаются химическим разложением дерева на его составные части; когда, между тем, дождь хлещет в окошки, пробивает кровли, ветер ломает едва насаженные деревья, а гордая Нева, пользуясь белесоватым светом ночи, грозно выглядывает из-за парапета, докладывает гостиним, что, сверх ежедневных интриг, сплетней и происков, существует на сем свете нечто другое, — в один из таких прекрасных вечеров, говорю, на берегу Черной речки в загородном доме, построенном на итальянский манер, столь приличный нашему климату, несколько дам и мужчин толпились в гостиной после раута; получено было известие, что река высока, что вздулись мосты и что собираются развести их; усталая хозяйка, проклиная запоздалых гостей, радушно предложила им переждать непогоду, уверяя честью, что она в восхищении от этого случая. Гости благодарили хозяйку за ее благосклонность и, в свою очередь, проклинали ее и ее раут, который поставил их в такое неприятное положение. Когда таким образом истощился запас обыкновенных учтивостей и внутренней досады, всякий принялся за свое дело. Благоразумнейшие начали новую партию виста, менее благоразумные присели смотреть на игру, остальные атаковали камин. К этому кружку присоединился и я.

В подобных обстоятельствах над кружком людей, соединившихся в гостиной силою симпатии, обыкновенно несколько времени еще носится удушливый воздух раута; но он мало-

помалу редее, язык делается развязнее, мысли крупнее. Зашла, не знаю как, речь о предчувствиях, о таинственных отращениях и пристрастиях; пересказаны были все известные анекдоты о слепой ненависти к бабочкам, к собакам, к воде и прочему тому подобному; и естественным образом разговор обратился к впечатлениям, оставляемым в нас происшествиями нашего детства. Тогда я заметил на лице одного молодого человека, до тех пор не принимавшего участия в разговоре, легкое судорожное движение, которое было смесью досады на самого себя и какого-то раскаяния.

— Этот разговор, — сказал он, — напоминает мне одно очень простое происшествие моего детства, но которое оставило во мне не только сильное воспоминание, но провело неизгладимую черту в моем характере.

Его просили рассказать это происшествие; молодой человек облокотился на камин, и вот что я мог упомянуть из слов его.

Нужным считаю прибавить для читателей следующее физиономическое наблюдение, сделанное мною над рассказчиком.

Это было одно из тех странных лиц, которые иногда встречаются в свете между людьми нового поколения; ничто не выражается в этом лице, но оно вас останавливает; видите самодовольную улыбку, а в вас рождается невольное сострадание; в этой физиономии выговаривается что-то прекрасное, неоконченное, смешное, страдающее — какой-то роман без развязки; она напоминает вам и пиитические мгновения Дон-Кихота и растение, заморенное химиком в искусственной атмосфере, Гетевы слова о Гамлете и те странные существа, которых насмешливая природа производит на свет, как будто лишая способности к жизни. Новая наука оправдала провидение: природа не производит уродов, она производит существа, одаренные всеми органами жизни, но часто один орган развивается, а все другие остаются в затвердении; так бывает и в нравственном мире: рождаются люди с сильными мыслями, с сильными чувствами — но одно какое-нибудь чувство разовьется, поглотит жизнь всех других, осиротелое само завянет, и душа делается похожей на немую карту: видны очерки мест, но нет им названия — все безмолвно!

Разговор таких людей имеет какую-то особенность, которая не встречается у людей, привыкших ежедневно издерживать свою душу; такие люди радуются редкой минуте сильного движения; стараются вместить в нее все, что когда-то загоралось в их сердце, все, что пережито в нем потихоньку от людей. Такие люди любят останавливаться на предметах, повидимому весьма обыкновенных, любят возгласы и отступления, — и это

очень естественно: чувства и мысли, сжатые в них в продолжение времени, в минуту своего освобождения вырываются толпою, и каждое с настойчивым эгоизмом требует себе тела и образа. Эта оригинальность много теряется на бумаге.

— Я должен начать несколько издалека, — сказал молодой человек, — иначе моя история будет непонятна. Не знаю, найдется ли теперь и в Москве дом, подобный дому графини Б.; в Петербурге же паверное не сыщете. Представьте себе хоромы и жизнь старинного богатого русского боярина: дорогие штофные обои, длинные составные зеркала в позолоченных рамах; везде часы с курантами, японские вазы, китайские куклы, столы с выклеенными на них из дерева картинками; толпа слуг в ливреях, вышитых басоном с гербами; шуты, шутихи, карлы, воспитанницы, попугаи, приближенные; несколько десятков человек за обедом и ужином; во время стола музыка, вечером танцы, и все это каждый день — запросто; а в праздники, на святках, на масленице — блестящие балы, маскарады, французские спектакли; словом, все возможные выдумки рассеянности. Наши деды, как вы знаете, любили веселиться и роскошничать; они веселились больше, нежели мы, и роскошничали со страстию, с бешенством; в этом поставляли они просвещение и гордились им не меньше нашего; со всеми изобретениями ума и вкуса они поступали, как дикий, который за бутылку поддельного шампанского отдает последний топор свой, выпивает разом драгоценный напиток и не думает спрашивать, откуда добывается это вино, как его делают, отчего кипит оно, отчего оно разливает по его телу это странное и веселое ощущение.

Графиня была нам родственница и очень любила меня, по крайней мере мне так казалось, потому, что в Светлое воскресенье она обыкновенно присылала мне целую корзину яиц хрустальных, фарфоровых, шитых золотом; потому, что подарила мне китайца, который бегал по комнате и махал руками и которого я изломал, чтобы узнать, отчего он бегаёт; потому, что она нарочно для меня велела приучить моську ходить в дрожках и возить меня по саду; а пуще всего потому, что когда я бывал у моей Коко, — так называл я графиню, — то мне позволяли лакомиться, сколько душе угодно. Все дело было в том, что я был, чему вы теперь не поверите, краснощекий пухленький мальчик с русыми кудрями и что моя Коко любила всех детей без исключения.

Это пристрастие к детям умножало в доме графини число воспитанниц, которые и без того, по заведенному исстари порядку, должны были находиться в каждом московском порядочном доме; но любимая ее воспитанница называлась Катею. Знаете ли вы, что такое воспитанницы у московских барынь?

Самые несчастные существа в мире. Вот это как делалось и, думаю, до сих пор делается: берут дворяночку или свою крепостную, одевают ее, воспитывают вместе с своими детьми, ласкают ее до тех пор, пока она не подрастет, — словом, поступают точь в точь как природа, которая своего избранного дарит сильным воображением, раздражительною чувствительностью, для того чтобы он впоследствии живее чувствовал все терзания жизни. С возрастом начинаются страдания бедной воспитанницы: она должна угождать всему дому, не иметь ни желаний, ни воли, ни своих мыслей; одевать барышень, работать для них и за них; носить собачку; со смирением вытерпливать дурное расположение духа своей так называемой благодетельницы; смеяться, когда хочется плакать, и плакать, когда хочется смеяться, и при малейшей оплошности слушать нестерпимые для юного, свежего сердца упреки в нерадении, лености, неблагодарности! А сколько маленьких страданий, которые, может быть, нам и непонятны, но очень чувствительны для бедной воспитанницы в ее маленьком кругу: слуги завидуют ей и вымещают на ней злость свою на господ, не встают перед нею, отвечают ей с грубостью, обносят за столом; мужчины не стыдятся говорить при ней о вещах, о которых не говорят при девушках; ее возят в театр, когда в ложе просторно, возят на гулянье, когда в карете есть лишнее место; если же, к несчастью, она хороша собою, то ее обвиняют в неудаче барышень, гонят на мезонин, когда в гостиной есть женихи на примете; и она осуждена или свой век провести в вечном девстве, или выйти замуж за какого-нибудь чиновника 14-го класса, грубого, необразованного, и после довольства и прихотей роскошной жизни приняться за самые низкие домашние занятия. Вы не знаете, что такое жизнь нашего среднего класса, — она очень любопытна; жаль, что еще никто из авторов не обращал на нее внимания; но я не стану говорить о ней, это бы завлекло меня в другую материю; вообразите себе только все тщеславные потребности богатого человека, соедините их со всеми недостатками нищеты; вообразите себе только, что в доме какого-нибудь канцеляриста, получающего в год не более тысячи рублей, наблюдается большая часть того, что и в богатом доме; и все, что здесь делается с помощью больших расходов и многочисленной прислуги, — у него исполняется одною матерью семейства! — Но я заговорился и до сих пор еще не рассказал моего происшествия. Итак, прибавлю только, что Катя была дочь одного из графининых официантов; ее миловидное личико понравилось графине, и она взяла ее воспитывать вместе с двумя своими дочерьми, учила ее вместе с ними, одевала ее в одинаковые с ними платья; когда было нечетное число, Катя садилась за стол; когда недостатало пары, Катя танцевала. — В то время, о котором я

говору, ей было лет 10, а мне 6. Я очень полюбил Катю; графиня заметила это и потому всегда заставляла Катю забавлять меня; и бывало, что я приеду, милая Катя ко мне навстречу, бегаёт со мною по саду, показывает картинки, рассказывает сказочки, заставляет китайских куколок качаться и выставлять языки. Вот однажды у графини детский маскарад; я, разумеется, приглашен; в первый еще раз в жизни меня повезли на бал, и я был вне себя от радости; но не знаю, как-то я запоздал, кажется оттого, что на мне долго поправляли гусарский шитый мундир; помню только, что этот мундир придал мне большую гордость, особливо когда, вошедши на бал, я увидел, что всех лучше одет и что все глаза обратились на меня, что все, как водится, окружили меня, удивлялись, целовали. Другие дети уже танцевали, и мне не осталось ни одной маленькой дамы, кроме Кати; мне подвели ее; но я, я не знаю, что сделалось со мною, — я гордо закинул золотые кисти моего кивера, которые больше всего наряда мне нравились, тряхнул саблюю и сказал, что не хочу танцевать с холопкою. И что же? Вместо того чтобы выдрать мне уши, заставить у Кати просить прощения, заставить танцевать с нею, — все, напротив, стали смеяться и хвалить меня: «Вот молодец! Славно! Славно! Как можно князю, да еще гусару, танцевать с холопкою». Так понимают у нас воспитание! Но Катя заплакала, — увидев ее слезы, заплакал и я, — я вспомнил, как она еще вчера потихоньку от моей гувернантки вывела у меня из платья воск, которым я залил себя, махая свечою, чтобы показать ей, как в балете плясали фурии, — ибо мне строго запрещено было дотрагиваться до свечей... простите мне, что я упоминаю обо всех этих мелочах; они все так живы в моей памяти, что когда я заговорю об одном происшествии, то одно тянёт другое.

Когда бедная Катя заплакала, мне жалко ее стало; но судя по словам *больших*, я подумал, что сделал очень хорошо, и как мне ни грустно было, как тайный невнятный голос ни упрекал меня, но я, для поддержания своего характера, отворотился от Кати и гордо взял за руку графиню, которая, чтобы утешить меня, сама пошла танцевать со мною, повторяя со смехом слова мои. Я прогрустил недолго, все окружающее рассеяло меня, и я пропрыгал целый вечер до упаду, а Катя целый вечер проплакала; ибо после того, что я сказал, никто уже не хотел танцевать с нею. Тогда мой детский ум приписывал слезы Кати только тому, что она не танцевала, и я легко утешал себя, повторяя слова, заслужившие всеобщее одобрение: она холопка! Уже впоследствии, входя в лета, узнав больше Катю и размышляя о том, как рано развернулся в ней ум и как рано начала она понимать свое положение, я постигнул, как я жестоко оскорбил ее; несчастные происшествия, которые сопровождали Катю

в ее жизни, заставили меня рассчитать, что я первый познакомил ее с тем унижением, которое ожидало ее в жизни, и эта мысль обратилась мне в жесточайший упрек, и в упрек столь сильный, что его впечатление до сих пор во мне осталось, и часто, когда мне грустно или я пересчитываю все дурное, сделанное мною в жизни, я невольно вспоминаю о моем поступке с Катей и не могу себя разуверить, чтобы когда-нибудь провидение не наказало меня за это в сей или будущей жизни. Этого мало: несколько часов нечувствительности, с которою я смотрел на слезы Кати, так подействовали на меня, что я до сих пор пугаюсь впечатления, ими во мне оставленного, и не могу выбить себе из головы, чтобы в характере моем не было какого-то врожденного жестокосердия, которое рано или поздно может развернуться, — и смейтесь надо мною, как хотите, — я часто бываю уверен, что потерю самого милого человека перенесу хладнокровно; что даже мне недостает только случая, чтобы совершить хладнокровно величайшее преступление. Можете себе представить, какое влияние эта мысль, ни на минуту меня не оставляющая, производит на меня в разных случаях, встречающихся в жизни; сколько раз, боясь употребить некоторую твердость, я оставался в дураках, потому что она мне казалась пробуждением моего внутреннего порока; сколько раз я позволял людям с маленькою душою одерживать надо мною маленькие победы единственно потому, что боялся употребить гнев, на смеху, эти нравственные орудия, которыми природа снабдила нас для нашего защищения и которые так часто бывают необходимы в жизни! Я без шуток пугаюсь моей страсти к анатомии; поверите ли, что я не хотел читать жизни Бряньвилье, — так пустое происшествие детства привело неизгладимую черту в моем характере.

Молодой человек остановился.

— Где теперь ваша Катя и что с нею сделалось? — спросила одна дама.

— Я вам почти рассказал ее историю, говоря об участи воспитанниц; особенные происшествия ее жизни требуют долгого рассказа, и в них столько романического, что вам покажется, будто я выдумываю.

Разговор кончился, но любопытство мое было возбуждено, и я не оставил в покое молодого человека, пока он не рассказал мне следующего происшествия.

— Повторяю вам, — сказал он, — что я рассказываю не роман; и потому не ищите в моем рассказе ни классической интриги, ни романтических нечаянностей, к которым приучили

нас остроумные сочинители «Барнава» и «Саламандры», ни рачительного описания кафтанов, которым щеголяют подражатели Вальтера Скотта. Моя история природа — во всей наготе или во всем своем неприличии — как хотите.

Чтоб не утомлять вашего внимания, я начну с того, что прочту вам афишку остальных действующих лиц в моей истории; их немного: старый граф, муж графини, которого звали Жано; сын его с левой стороны, Владимир, которого звали Вово; и еще одно лицо по имени Борис, которого звали Бобо. Старого графа я почти не знал; он беспрестанно был в разъездах: на короткое время приезжал в Москву, давал большой обед и снова уезжал в Петербург или в чужие края. Старый граф, как мне после рассказывали, был — что тогда называлось *философ*, то есть был страшный волокита, писал французские стихи, не ходил к обедне, не верил ни во что, подавал большую милостыню встречному и поперечному; в его голове странным образом уживалась величайшая филантропия с совершенным нерадением о своих детях и самая глупая барская спесь с самым решительным якобинизмом. Редкие образчики нравов того времени еще до сих пор остались в нашем обществе, но, благодаря бога, с каждым днем исчезают, — и это одно может служить против обвинителей нынешнего века важным доказательством, что мы лучше наших дедов. Частию по правилам, частию по привычке старый граф не посовестился прижить с одною из своих крепостных Владимира, сказать о том жене как о деле самом обыкновенном и сделать из него *воспитанника*. Моя добрая Коко все простила мужу; теперь этому не поверят, но в то время в нашем обществе такие примеры были нередки, и минутная склонность, *нечего делать* тогда позволяли себе то, чего теперь не позволят самой истинной, самой горячей любви, основанной на взаимном согласии характеров, занятий, образа мыслей. Истинно мы лучше, хотя и несчастливее наших дедов. Коко моя, по пристрастию к детям, очень полюбила Владимира и холила и нежила его, как родного сына.

Бобо — был существо особенного рода. Еще до своей женитьбы граф Жано вывез из Италии для замыслов каких-то непонятных некоего юношу, которого звали Паулино и который был у графа нечто среднее между секретарем и камердинером. Хитрый итальянец умел вкрасться в доверенность графа и завладеть всеми его делами; Паулино по тогдашнему обычаю поспешили записать в какую-то экспедицию, и чрез несколько времени итальянец Паулино обратился в русского коллежского асессора Осипа Ивановича Павлинова. Коллежский асессор Павлинов не замедлил жениться на немке, графининой кастелянше, и от сего пошел род коллежских асессоров Павлиновых, которых ревностная служба переходила от звания камердинера

до столового дворецкого и, наконец, до управителя. Отец Бобо попал в сию последнюю должность, но сынку своему готовил уже другую участь. Между тем Бобо, по заведенному порядку, попал в любимцы и воспитанники графини.

Когда я узнал этого Бобо, ему было уже лет 12. Я никогда не любил его; избалованный до крайности своей матерью, он был груб и нагл, ходил всегда насупив брови, говорил отрывисто, дерзко и смеялся только тогда, когда мог потихоньку от графини раздражить меня или Катю. Он сдувал карточные домики, которые мы с нею строили, заливал чернилами мои любимые картины и мою милую Катю называл не иначе, как Катькой, а после моего несчастного происшествия в маскараде прибавил к этому имени название холопки и, зная, что одним этим словом мог привести меня в слезы, старался повторять его как можно чаще; почему знать, может я моею бессмысленною фразою посеял в тяжелом мозгу его такие мысли, которые без того не пришли бы ему в голову. Некоторые из слуг с лакейскою дипломатическою проницательностью разочли, что со временем их судьба будет зависеть от Бобо и что его естественным соперником может быть один Владимир; они, подделавшись к порочным наклонностям Бориса, растолковали ему, что после смерти отца он будет головою в доме графини, рассказали ему, кто таков Владимир, и поселили к нему такую ненависть, что Борис не мог пройти мимо Владимира, не давши ему толчка, не ущипнув его или не сделавши с ним какого-нибудь другого дурачества. Владимир был моложе его тремя годами, но не уступал и платил ему тем же; оттого дня у них не проходило без ссоры; графиня разбирала их, мирила, наказывала то того, то другого, попеременно заставляла просить друг у друга прощенья — и тем только увеличивала их взаимное отвращение. С летами Борис стал хитрее и острее; при графине он скрывал свою ненависть к Владимиру и называл его Володею или Вово — но за глазами матери отворачивался от него и, говоря про Владимира, называл его не иначе, как *барин*ом, имя, которое в насмешку дали ему слуги.

Между тем я возрел, и с тем вместе страсть моей Коко ко мне холодела; я все еще называл ее этим именем, но, занятый ученьем, я уже гораздо реже стал к ней ездить; скоро другой пухленький мальчик занял мое место; меня же отвезли в пансион в Петербург, и я потерял из вида мою Коко и Катю.

Между тем Владимир и Катя, живя вместе, участь у одних учителей, равно гонимые завистью воспитанниц и воспитанников графини, ее слуг и служанок, — рано стали искать утешения друг в друге; сначала они взаимно стали поверять свои маленькие страдания; но эти страдания с каждым днем росли

более и более, с тем вместе увеличивалась их привязанность, и они все живее и живее чувствовали необходимость друг в друге.

Владимир был настоящий, как говорят, герой романа, невысокого роста, сухощавый; глаза черные навывкате; несколько смуглое лицо придавало ему вид, похожий на итальянца, — в самом деле в душе его живые полуденные страсти были прокалены холодною славянскою кровью. Рано он понял, что в жизни предстоит ему беспрестанное бореие и что ему должно было полагаться на одного себя; но с пламенным рвением принялся за ученье, Катя разделяла его труды; они с жаром прочитывали все, что им ни попадалось, далеко оставив за собою молодых графинь и Бобо, которые учились только из приличия.

Вышед из пансиона, я поехал на время в деревню; мимоездом мне надобно было быть в Москве, и я остановился нарочно на несколько часов только для того, чтобы посетить мою Коко. Какую перемену нашел я в ее доме! Ее перасчетливая расточительность, жизнь графа в чужих краях, где он был в связи с какою-то актрисою, — совершенно расстроили имяние графини; большая часть его была продана на удовлетворение кредиторов, и графиня увидела себя принужденною значительно уменьшить свои издержки. Я пробежал несколько комнат, которые были свидетелями веселых игр моего детства; в них лишь одна многочисленная толпа слуг и китайские болванчики напоминали о прежнем великолепии; обои полиняли и истрескались; мебель была изорвана и изломана; позолота на зеркалах потускла; в огромных комнатах горело по одной свечке, а иные совсем не были освещены. Я вошел в гостиную: за круглым столом за одною лампою сидели графиня в больших креслах, ее две дочери и Катя, — все они ничего не делали, и глубокою молчание царствовало между ними. Катя поразила меня; ребяческая красота ее исчезла, она сделалась не красавицею, но получила лицо чрезвычайно выразительное, этот размышляющий взгляд на ее прекрасном личике, эти свежие, полные жизни прелести стана — и... эта прекрасная ножка, на которую я не мог смотреть равнодушно... Я не узнал Катю, смешался, — графиня мне очень обрадовалась и после обыкновенных расспросов и приветствий сказала мне: «Да, мой милый, ты молодеешь, а я старею, дряхлею и скучаю; спасибо тебе, что ты не забыл обо мне; добрый ты человек, теперь уж все меня забывают; в нынешнем свете не помнят стариков, и правду сказать, там и ничего не помнят». Все слова ее отзывались горечью оскорбленного тщеславия и мелкой, но горячей завистью ко всем возможным успехам; я не могу постигнуть, откуда это последнее чувство закралось в доброе сердце моей Коко. Но это было так! Коко сделалась завистлива, и очень завистлива. Зная, что ничем столько нельзя сделать удовольствия московским дамам, как

рассказывая петербургские новости, я не щадил языка, но еще иногда спрашивают, правда ли, будто бы необразованные люди злее образованных; да этого не может быть иначе! Человек образованный, чувствуя в себе потребность выкинуть желчь, старается дать ей опрятный вид благовоспитанной эпиграммы, потом любуется ею, разносит ее, а это требует времени, развлекает, и нечувствительно в так называемом злом человеке остается столь же мало злости, как в сатирическом поэте; простолюдину не нужны эти усилия, он злится просто, без обиняков, — что он ни скажет, что ни сделает, все хорошо, лишь бы только в том было злое намерение; и оттого ему наслаждение злиться гораздо преступнее, нежели для нас. Так было и с моею Коко: при всяком моем рассказе, где только дело коснется до какого-нибудь собственного имени, моя Коко вспыхнет, усмехнется, скажет одно слово — только одно слово, но в этом слове целый мир злости, досады, презрительного удивления! Какая-нибудь лента, звезда, наследство были для нее личным оскорблением, и скоро она не шутя стала на меня сердиться за мои рассказы. Я обратился к молодым графиням, — графини были глупы и пусты до чрезвычайности, дурного тона, мешали русский язык с французским; их интересовали одни свадьбы, женихи и невесты, а свадьбы, женихи и невесты бесили мою Коко. Я к Кате, — Катя испугалась, смешалась, едва отвечала мне и наконец, выбравши свободную минуту, с ужасом сказала мне: «Бога ради! говорите с графинями!» В этих словах мне изобразилась вся горечь ее положения, но я еще не вполне понимал его; уже гораздо после оно совершенно мне объяснилось; вот что узнал я впоследствии.

Графиня, несмотря на разращение нравов своего времени, была строгою блюстительницею нравственности: может быть, то самое, чего она была свидетельницею, произвело эту полицейскую черту в ее характере, и она, судя о настоящем по прошедшему, никак не могла вообразить себе женщину вместе с мужчиною, и особенно в дружбе, и чтобы из этого не вышло чего-нибудь дурного. В свете она уже давно спрашивала, о чем молодые люди находят говорить между собою, когда в ее время они только танцевали или амурились; еще более пугало ее то, что оба пола нового поколения, уверенные в своей невинности, говорят о всех возможных предметах без всякого смущения: это ей казалось последнею степенью разврата, то есть тою степенью, где уже разврат кидает свою личину; всего этого она как-то не понимала, — словом, мне очень трудно объяснить вам систему графини, и она сама не взялась бы за это: это был нескладный сброд нескладных слов, которые она почитала мыслями; несколько старых анекдотов, которые она называла плодами опытности, и две или три причуды, которые она называла

правилами нравственности, — отыщите тут какой-нибудь толк! Но, несмотря на то, она своей системе верила больше, нежели иезуит католицизму. Впрочем, образчики моей графини можете еще найти между некоторыми почтенными дамами, которыми унижены диваны гостиных и которые уверены, что все люди на свете живут и движутся для того только, чтобы им было о чем поговорить, и которые, привыкши в свое время видеть величайшую безнравственность под самыми щекотливыми формами и некогда сами принимавшие участие в этом маскараде, не могут себе вообразить, чтобы под ничего не пугающею откровенностию могли скрываться самые невинные и, увы! может быть, самые холодные нравы.

Как бы то ни было, графиня, как скоро ее молодые люди стали подрастать, благоразумно отделила мужской пол от женского; разные часы ученья, разные комнаты, собираться только за обедом и ужином, под надзором гувернеров и гувернанток, которым прочтена проповедь о благочинии, не говорить, не подходить, — словом, все разочтено, предусмотрено. Графиня была очень довольна собою, — одного только не заметила ее прозорливая опытность, одного! — что новое поколение родилось после старого и что оно в общем счете жизни человечества старше старого и потому раньше старого стало жить и чувствовать. Еще графиня думала о своих новых планах неукоризненной нравственности, а уж Владимир и Катя были по уши влюблены друг в друга, у них уже завелись все маленькие споры и ссоры любви, упреки в холодности, ревность, особенно со стороны Владимира, который ревновал Катю ко всем, начиная от Бобо до старой графини. Однажды; — тогда только начался век унылых элегий, — Владимир в минуту какого-то отчаяния не мог утерпеть, чтобы не положить в ридикюль Кати каких-то романтических стихов. По несчастию, эти стихи как-то попались графине; долго она читала их и никак не могла решить, любовные ли они или нет; как бы то ни было, она строго запретила Владимиру предаваться поэтическим мечтаниям, а Кате получать их, и надзор за ними был удвоен. Пока у графини были вечера и балы, этот надзор не мог быть доведен до последней степени совершенства; но когда балы прекратились, знакомые начали малопомалу оставлять графиню, а наконец и совсем оставили, попечение о благочинии в доме сделалось единственным, главным занятием графини. Как объяснить вам мучительное действие этого надзора на моих молодых любовников — право не знаю. Наши молодые люди XIX века рассудительны, их патетические минуты всегда попадали с балом, с партией виста, и любовь у нас разменялась на мелкую монету по той же причине, по которой в гостиных музыка обратилась в холодную нежность итальянской кавалетты, а живопись в закопченную бумажку; промышлен-

ность XIX века умела приспособить святое мучительное чувство любви к нашей лени, к удобствам жизни; она сделала его чем-то карманным, как записную книжку, как перчатку; можете его надеть, скинуть, выворотить, и оно все останется тем же. Даже что значит любопытная бдительность наших полицейских чепчиков (*nos bonnets de police*¹) — они рассеяны и вистом и придворными новостями, тузами и валетами всякого рода, — много, много, что им достанется наслаждение расстроить две, три свадьбы, нарушить спокойствие двух, трех семейств, и то с грехом пополам; молодое поколение прижало их к стенкам диванов, откуда они не смеют пошевелинуться, чтоб не потерять места. Аббат Леменне написал «Опыт о равнодушии в делах веры», бедный аббат! Ты не знал общества! Я хочу помочь твоей близорукости и написать для гостинного употребления целую коллекцию таких опытов, как то: «Опыт о равнодушии в деле искусства», «Опыт о равнодушии в деле наук», «Опыт о равнодушии в деле правды, в деле ума, в деле несчастья, в деле чести, в деле подлости, в деле лести, коварства, грабежа» и проч. и проч. Теперь вообразите себе все противоположное тому и перенесите в маленький круг моей Кати.

Едва начиналось утро, Катя обязана была являться к своей благодетельнице, делать чай, сводить счета, толковать об уборах для молодых графинь, — в этом занятии проходило полдня; ибо графиня, держась старинных правил, находила неприличным и вовсе ненужным позволять девушкам прогуливаться пешком; огромная четвероместная карета с четверкою поседевших от старости лошадей хранилась только для торжественных выездов семейства ко всенощной, в дальний монастырь или на обеденный стол к архиерею; после обеда молодые графини садились к окошку, и разговор еще несколько поддерживался: пешеходец, изредка проходивший мимо дома с совершенно невинным намерением, простучавшие дрожки, а за недостатком того и другого прабежавшая собака, крик разносчика — обо всем было переговорено, перетолковано, выведены все возможные заключения; все окошки в домах пересмотрены, изучены, все трубы пересчитаны, и к сумеркам или в длинные зимние вечера нашим милым графиням естественным образом не оставалось никакого другого занятия, кроме Кати. Обыкновенно графини начинали понемножку ее мучить, сперва начинали смеяться над ее молчанием, ее туалетом, почти каждое ее слово служило поводом к комментариям; если она осмеливалась взять книгу, то говорили ей, что она капризничает, если она принималась за рукоделье, то хулили ее работу; если она молчала, у нее спрашивали, не ссохлись ли ее губы; если

¹ Наши полицейские шапки (*ред.*).

она начинала говорить, то называли ее болтуньей. Но главным предметом нападений был Владимир; по приказанию старого графа Владимир ходил учиться в университет и только за обедом являлся в семейство графини. Как у всякого молодого человека, начинающего понимать свои познания, сколько свежих чувств, сколько девственных мыслей, не зараженных сомнениями, зарождались в душе его; как хотелось ему передать себя Кате, удивить каким-нибудь новым чудом природы, только что им узанным, перенести ее в свой мир мечтаний, пересказать все изменения, которые беспрестанно творились в его уме и сердце!

Кто не испытал этого чудного чувства прозелитизма, которое тревожит юную душу, полную жизни и деятельности? Всем бы поделился, все бы передал, что есть на уме и на сердце; простолюдин дарит своей любезной свою последнюю драгоценность; художник отдает ей познание, которое поразило его вчера, чувство, которое его вчера встревожило, — все то, что вчера загорелось в нем и что потому ему кажется целию человеческой жизни. Холодные или устарелые люди смеются над этим прозелитизмом, не замечая того, что и в них он существовал и претворился в охоту рассказывать новости, давать советы встречному и поперечному, — что в них выпарилось все прекрасное и святое этого побуждения, а остался один его холодный себялюбивый осадок.

Владимиру страшно было подумать, что он с каждою минутой идет вперед, что с каждым шагом его ум светлеет, чувство разгорается, мысли ото дня более и более смыкаются в тесные пределы выражений, как целые алгебраические выкладки в одну условную букву, а его Катя не знает об этом, его новые выражения для новых мыслей ей неизвестны, она, может быть, разучится понимать его иероглифы!

Графиня не входила в эти отвлеченности; она судила по-просту, по-старинному: она бы непрочь и женить Владимира на Кате, но до уреченного часа она находила, что непристойно, не следует, да и не о чем молодой девушке говорить с молодым мальчиком, — и уста нашего пламенного юноши сомкнулись бдительностию графини: едва осмелится он подойти к Кате, едва долго сжатые мысли и чувства вырвутся из души его, как взгляд графини прерывал его ораторский восторг, и снова стеснялся в душе недоговоренные слова, и душа умирает в муках рождения. Между тем минута пройдет, мысль, которая должна была развиваться в это мгновение, уступит место другой, эта третьей, — и каждое превращение, сомкнутое в душе юноши, терзает его нестерпимыми муками. Наконец осталось одно бедному Владимиру — взоры: ими хотел он передать Кате тот мир мыслей и чувств, который ежеминутно рождался и исчезал

в его сердце... но тут являлись молодые графини; этим просто завидно было действие, производимое Катею на молодого человека; они бы оскорбились, если б кто вздумал им предложить жениха вроде Владимира; но иметь беспрестанно пред глазами влюбленного молодого человека, и влюбленного ни в одну из них — это было им верх мучения. Откуда бралась у них тонкость в этих случаях? Откуда остроумие? Откуда изобретательность? И насмешки, и брань, и угрозы, и злословие, все было употреблено ими, чтобы расхолодить наших любовников, и все было тщетно... любовь изобретательнее ненависти.

В Владимире развернулась страсть к живописи; долго скрывал он свою работу и вдруг явился к графине с копией Карло-Долчевой Цецилии; он рисовал эту картину с жаром; он думал видеть в ней сходство с Катею; небесный взор Цецилии, святое выражение ее лица, орган, который, казалось, звучал под ее пальцами, все это изображало ему тихую гармонию души его любезной, это спокойствие христианского смирения, это уверенное в себе самоотвержение, эту грусть умного человека, это понявшее себя уныние. Он хотел, чтобы Цецилия была идеалом для его Кати, чтобы она высказывала ей то, чего не могли выразить слова его, и Катя поняла его. Графиня видела в этой картине очень полезное занятие для молодого человека и поспешила ее отправить к своему мужу, находящемуся тогда в Италии.

Эта посылка имела важное влияние на судьбу нашего юноши. Старый граф, почитавший себя за знатока живописи, был прельщен произведением своего воспитанника, вообразил, что он родился живописцем, и прислал приказание Владимиру отправиться в Италию...

ЧЕРНАЯ ПЕРЧАТКА

В моей молодости я был шафером на одной очень интересной свадьбе. Жених и невеста, казалось, были созданы друг для друга. Равно молодые, равно долны жизни, равно прекрасны собою, оба хорошей фамилии и, чудная вещь! оба равно богаты. Это были два создания, которых судьба, казалось, выпустила на свет для того, чтобы не всегда можно было назвать ее немилосердою. Она с колыбели осыпала юную чету всеми дарами счастья; она, казалось, даже была прихотлива в выборе этих даров и каждому из них старалась дать самую совершенную форму. Так, например, у молодой четы было много имений и ни одной тяжды, было несколько добрых, истинных родных и не было вереницы тех второстепенных родственников, о существовании которых порядочный человек знает только по визитным билетам или по просительным и рекомендательным письмам.

Отцы и матери наших любовников давно уже не существовали на свете. Граф Владимир рос со своей невестой в доме их общего опекуна и дяди Акинфия Васильевича Езерского, которого, я думаю, вы знавали; помните: довольно дородный румяный мужчина, всегда в широком коричневом фраке, немножко припудрен, с таким важным и решительным лицом, еще немного похожим на Франклина. У него-то жили мои молодые люди; почти с пелен они не расставались друг с другом, и заранее в голове опекуна они назначались быть мужем и женой. Акинфий Васильевич Езерский был человек во многих отношениях весьма замечательный; природа дала ему ум и доброе сердце. К сожалению, природа дает нам только глаза, но заставляет нас самих выдумывать стекла, которые видят немножко подалее природного зрения; этих стекол Акинфий Васильевич не получил в детстве; его учили по-старинному: заставляли утверждать географические имена, исторические числа, нравственные сентенции и фортификационные размеры, но забыли

научить его одному: думать о том, чему его учили. Такое ученье, как всегда бывает, отозвалось ему на всю жизнь: что видел природный ум и чувствовало сердце, того не могло доглядеть его образование; оттого он думал только половиною головы, чувствовал половиною сердца и оттого часто понимал только половиною предметов. После такого странного воспитания он брошен был судьбою в Англию, где и провел несколько лет своей жизни; этот новый мир не мог не поразить его; но, как дикаря, его поразило равно и хорошее и дурное; то и другое для него смешалось; он и в том и в другом многое недосмотрел, многое пересмотрел и то и другое перенес целиком на русскую почву. Так, например, несмотря на насмешки невежд, ни на насмешки писателей, которые не стыдились своим пером подкреплять мнение безграмотных и в своих сочинениях выставять торжество закоренелой глупости над необходимыми улучшениями, Езерский ввел в имении своих питомцев усовершенствованное хозяйство и, на зло безграмотным соседям, безграмотным повестям и комедиям, удесятерил свои доходы; но с тем вместе он перенес к себе отростки этого сухого методизма, который более или менее отзывается во всей английской жизни и убивает в ней всякую поэзию. Второпях он прочел Бентама, и мысль о пользе была ослепительным солнцем для Езерского; она навела темные пятна на его собственные мысли; человек показался ему машиной, которая тогда только счастлива, когда действует в урочные часы и для известной цели; поэзия ему показалась вздором, воображение — демоном, которого надобно избегать; всякий нерассчитанный порыв сердца — едва ли не прегрешением. Но, к счастью, он успел прочитать еще Томсона, — и мысль о красоте природы связалась в голове его с Бентамовым индустриализмом. Таким образом Акинфий Васильевич составил себе систему, которая была смесью Бентама, Томсона, Палея и других английских авторов, которых он читал в своей молодости; новых он не знал и потому не любил. Байрона он ненавидел, потому что Байрон проклял Англию, которая для Акинфия Васильевича, вместе с его системой, была образцом совершенства. Дядюшка часто объяснял свою систему, но понять ее было довольно трудно. К мысли, что основанием всякого человеческого поступка должна быть польза, он присоединил невыразимую привязанность к природе и свое восхищение выражал стихами из «Четырех времен года». Все, что было в природе, ему казалось совершенством, и он очень часто толковал о необходимости жить, как он говорил, «сообразно природе». Вследствие этого он восхищался каждым пригорком, каждым изгорбленным деревом; но методизм не заставлял его забываться в этом восторге: он постоянно ложился спать в десять часов, вставал с восхождением солнца и читал к нему Томсоновы стихи; после

стихов он пил чай, выкуривал две сигары (не больше, не меньше) и садился за работу, которая продолжалась до трех часов; в три часа выходил гулять и к обеду, даже когда обедал один, выходил в белом галстуке и башмаках. Во всех его действиях явственно отражалась эта, благодаря бога, непонятная русскому человеку английская односторонность, от которой зависят все достоинства и все недостатки английских произведений, от которых англичанин знает пару колес в машине, пару мыслей в жизни, и знает превосходно, но за сим ни о чем в мире не имеет никакого понятия. Несмотря на эти странности, привычка к труду и порядку давала Акинфию Васильевичу важное преимущество над всеми его сверстниками. Он один успевал делать то, чего не могли сделать десять человек; от того самого дела у него было множество; он любил хлопотать так, как другие любят ничего не делать; а как охотников в последнем роде тысячи, то Езерский был всеветным опекуном, председателем всех возможных комиссий по делам своих приятелей и посредником во всех ссорах.

Разумеется, воспитание, которое он давал своим питомцам, было сообразно его системе: он приучил Марию к женским рукоделиям и к женскому смирению, а графа ко всем коммерческим и гимнастическим упражнениям; оттого Мария прекрасно умела делать чай и самые тоненькие тартинки с маслом; плумпудинг и минцпайзы ей были очень хорошо знакомы; а граф знал тригонометрию, бухгалтерию, славно боксировал, ездил верхом и лазил по канатам; сверх того, оба знали почти наизусть несколько грамматик. Их воспитание было, как видите, самое практическое, самое близкое к делу, основанное не на идеях, а на пользе. Действительно, никакая другая книга, никакая мысль не попадала к ним ни в руки, ни в голову, и только за месяц до свадьбы Акинфий Васильевич позволил будущим супругам прочесть «Кларису Гарло» Ричардсона.

Свадьба графа Владимира и Марии не была новостью для города, но все непритворно ей радовались. В них обоих было нечто неизъяснимо невинное, неизъяснимо ребяческое: это были две детские головки, нарисованные искусным лондонским гравером, которыми невольно любуешься, забывая, что в эти прекрасные создания уже положено семя той нравственной арифметики, над которой так горько плакал Байрон. Действительно, в них был род магнетизма, который производил то, что никто не завидовал им, никто не роптал на судьбу, видя их счастье, но смотрел на него как на право собственности молодых людей. Правда, толпы молодых людей кружились вокруг прекрасной Марии, женщины невольно заглядывались на статного Владимира; но это было удивление, а не ревность, не досада; они своим детским видом умели волновать только чистую, ясную поверх-

ность души, оставляя на дне ее черные, тяжелые капли; их свадьба казалась веселым детским праздником, которым все любят и которому никто не завидует.

Венчание кончилось. Владимир нежно поцеловал свою Марию; в церковь и в дом набрался почти целый город; поздравляли новобрачных; но к двенадцати часам все разъехались, оставя на свободе молодых. Дядя, заступавший для них место отца, равно посаженные отцы и матери, исполнив домашние обряды, удалились. Молодые были уже в спальне и с детскою наивностью любовались убранством комнаты, которая до тех пор была для них секретом, как вдруг на белом атласном диване они увидели черную перчатку. Сначала Владимир подумал, что ее забыл кто-нибудь из гостей, но кому же могло прийти в голову приехать на свадьбу с черной перчаткой? С некоторым чувством суеверного страха он поднял ее и ощутил в ней пакет с надписью на имя их обоих. С трепетом Владимир сорвал печать и с ужасом прочел следующее:

«Почитаю нужным вас уведомить, что ваше счастье расстраивает мое счастье, что исполнение ваших желаний уничтожает все планы моей жизни. А так как простиительно человеку любить себя больше других, то я положил себе твердым правилом перевернуть вашу судьбу наизнанку, ибо только вашим страданием я могу достигнуть моей цели. Если это мне не удастся, то по крайней мере я буду иметь наслаждение мстить вам, и это первое посещение есть только первая степень того зла, которое я вам готовлю. Одна ваша разлука в ту минуту, когда вы будете читать эту записку, может спасти вас от моего мщения. Залог, мною оставленный, может показать вам, что для меня не существует ни дверей, ни затворов. Осмелюсь подпять его, слишком счастливая чета!

Черная перчатка».

Владимир сначала не хотел показывать этого письма Марии, но Мария, опираясь на его плечо, успела прочесть все письмо до конца.

— Это верно шутка... мистификация... — сказал Владимир нетвердым голосом; но невольно рука его дрожала.

— Нет, — отвечала Мария. — Это не шутка и не мистификация; кому бы так жестоко шутить с нами?

— Но кому и желать нам зла? — заметил Владимир.

— Вспомни, не оскорбил ли ты кого-нибудь? Не давал ли ты кому-нибудь обещаний?

Тут Мария значительно взглянула на Владимира, и голос ее прервался.

— И ты можешь это думать, Мария? — сказал нежно Владимир. — Уверю тебя, это шутка, глупая шутка, которая не пройдет даром. Если это женщина — нет нужды, если мужчина — тогда... — И глаза Владимира заблестали.

— Тогда что? — спросила Мария.

— О, ничего! — сказал Владимир. — Я постараюсь отплатить тою же монетой.

— Нет, твои глаза говорят не то... Слушай, Владимир, обещай мне ничего не предпринимать, не сказавши мне.

— О, к чему эти обещания?

— Обещай мне по крайней мере ничего не предпринимать до завтра.

— О, мы, право, дети! — сказал Владимир, рассмеявшись. — Глупый проказник подшутил над нами, а мы, как будто в угодность ему, провели целый час в тревоге.

— А если он здесь и подслушивает нас? — заметила Мария.

— В самом деле, это не пришло мне в голову, — сказал Владимир. С этими словами он взял свечу, обошел кругом комнаты и отворил дверь, чтоб выйти из спальни.

— Не ходи один, — сказала Мария. — Надо позвонить людям.

— Ты хочешь, чтоб стали смеяться над нами?

— Так пойдем вместе.

Они вышли из спальни. Огни везде погашены; все в доме спало; на дворе слышалась лишь доска сторожа. По огромным комнатам длинная тень ложилась от свечи. Мария невольно вздрагивала, когда случайно ее собственный образ отражался в зеркалах, когда шорох шагов их повторяло эхо и мерцающий свет мгновенно производил на складках штофа причудливые очерки. Так они обошли весь дом: все было тихо; они возвратились в спальню; тогда пробило уже три часа утра, и когда Владимир отдернул занавеску, заря уже занималась.

Дневной свет имеет чудное свойство: он придает невольную бодрость и спокойствие рассудку. То, что кажется огромным и страшным во мраке ночи, рассыпается с дневным светом, как сновидение. Это чувство ощутили наши молодые люди.

— Мы, право, дети, — повторил еще раз Владимир. — Кто видал, чтобы первую ночь брака провести над глупую запискою?

С этими словами он подошел к камину и едва не бросил в него перчатку, но удержался при мысли, что нехудо показать ее дядюшке.

— Неужели этот вздор может поколебать наше счастье?

— Никогда! — отвечала Мария, обнимая его.

На другой день молодые не забыли показать таинственную записку дядюшке. Дядюшка посмотрел на записку с своим обыкновенным, систематическим хладнокровием и сказал:

— Это какой-то вздор, но которого, однакож, не надобно так оставлять. Отдайте мне эту записку; вам нечего ею заниматься; это уж будет мое дело.

Мы уже сказали, что дядюшка был человек весьма замечательный в своем роде и что строгий порядок в жизни, неизменяемое хладнокровие в самых затруднительных обстоятельствах и несколько удачных финансовых оборотов приобрели ему доверенность всех его знакомых. В самом деле, когда он произносил: «это уже мое дело» своим твердым, методическим голосом, с ударением на каждом слове, то ему нельзя было не поверить.

Когда все визиты новобрачными были сделаны, Акинфий Васильевич потребовал, чтобы молодые непременно отправились в деревню. Ему очень хотелось отправить их туда в первый день брака, по английскому обычаю, и в первый раз в жизни он против воли уступил настоятельным просьбам родственников.

— Поезжайте в деревню, — говорил Акинфий Васильевич. — Первое — вы должны узнать друг друга, а второе — человек на сем свете не должен жить бесполезно. Ты, Владимир, должен заняться хозяйством; помни, что всякий владелец земли на сем свете должен постоянно увеличивать ее производительную силу и что тот, кто ежегодно не увеличивает своего дохода, теряет все то, что бы он мог приобрести. Я нарочно не еду с тобой: я хочу, чтобы ты мог привыкнуть к своим силам, не полагаясь ни на чью помощь, и чтоб, когда я умру, — ибо смерть есть необходимый и благодетельный закон природы, — ты и не заметил бы своей потери.

— Дядюшка, и вы можете говорить об этом так хладнокровно?

— Ничего, ничего, пустое. Смерть есть закон природы, а все в природе прекрасно; люди должны умирать, потому, — прибавил дядюшка с значительным видом, — что люди должны родиться; итак, — продолжал он, — ты будешь заниматься хозяйством, и ты также, Мария. В деревенском доме в кабинете на бюро ты найдешь тетрадку, которую я написал для вас уже лет десять тому назад и в которой подробно описано, что должен делать муж и что должна делать жена. Исполните мои советы с точностью — и раскаиваться не будете. Сначала покажется трудно, а потом все будет легче и легче. В затруднительных случаях обращайтесь ко мне с вопросами. Более всего старайтесь умерять свои страсти и даже совсем уничтожать их, — после этого все будет легко. Я буду в симбирской деревне,

ибо провести лето в городе есть преступление. Здесь не видишь природы, а что может сравниться с природой? «Ничто так не возвышает души, как восхождение солнца», — говорит Томсон. Теперь поезжайте с богом; дорожная ваша карета готова, — я сам занимался ее устройством, — и лошади уже приведены.

Владимир и Мария бросились со слезами обнимать дядюшку, но он остановил их:

— Не нужно ни слез, ни прощаний; это все бесполезные ветви, которые умный садовник должен тщательно обрезать...

Однакож Владимир и Мария не послушались строгого совета дядюшки и заплакали досыта... Наконец они сели в карету, а дядюшка отправился к себе, потому что он еще не успел выкурить своей второй сигары.

Мы не будем следовать за нашими путешественниками по длинной дороге, по косогорам, по испорченным мостам; не будем останавливаться за порчей экипажа, за спорами с стационарными зрителями и бесконечными жеребьями извозчиков, — и предположим, что они доехали до своей деревни в то блаженное время, когда Россию пересекут во всех направлениях железные дороги, чего с нетерпением ожидал не один Акинфий Васильевич, несмотря на мудрые толкования некоторых философов, которые воображают, что с железными дорогами истребится столь смиренный и трудолюбивый класс ямщиков. В своей деревне, под благословенным небом Тамбовской губернии, по которому не в шутку, а в самом деле ходит яркое теплое солнце, молодые нашли дом, устроенный со всеми просвещенными удобствами жизни. В кабинете на бюро действительно находилась положенная десять лет тому назад тетрадь, писанная рукой Акинфия Васильевича. Мы не можем себе отказать в удовольствии выписать несколько строк из этой истинно практической тетради:

«Муж и жена суть две половины одного и того же существа; но каждая из них имеет свои особенные свойства и обязанности и своим образом должна способствовать к достижению единой цели природы и общества — общей пользы:

«1. Муж и жена встают в одно время. Летом тотчас идут на свежий воздух и наслаждаются природой. Ничто столько не укрепляет сил человека, нужных ему для дневных трудов его, как прекрасное местоположение, освещаемое лучами восходящего солнца, когда вся природа оживает и каждый цветок поет гимн вседержителю». За этим следовало несколько сти-

хов из Томсона и в конце примечание: «Зимой супруги остаются в своей комнате».

«2. В семь часов супруги завтракают (чай или кофе); после завтрака супруг отправляется осматривать дневные работы; к его занятиям принадлежат пашня, сад, луга, огороды, о чем подробнее описано в тетради под № 26. К хозяйству жены относится все домоустройство: молочный двор, кухня, прачечная, разные домашние рукоделия, о чем подробнее описано в тетради под № 28.

«3. К полудню все распоряжения должны быть кончены, и супруги собираются в столовую для второго завтрака (хлеб, масло и холодный ростбиф); а как замечено, что все животные после полудня предаются сну, из чего должно заключить, что того требует благодетельная природа, потому и супруги должны это время посвящать отдыху...»

Мы не будем более продолжать выписки, но можем уверить, что наши молодые прочли всю тетрадь с должным уважением и даже ни разу не улыбнулись.

Но исполнение дядюшкиных предписаний не имело такого успеха. Началось с того, что молодые в первый день с дороги проспали до полудня. От этого весь день пришел в беспорядок. Они не успели во-время насладиться природой, пошли гулять во время общего естественного сна; завтракали в половине второго, отчего принуждены были обедать в восемь; после чего они прогуляли вплоть до полуночи и легли спать часу в третьем утра. От этого они на другой день снова проспали до полудня, и таким образом нечувствительно все дни пошли наизворот. Назначение работ приходилось в то время, когда работники отдыхали; посещение скотного двора тогда, когда все коровы были на выгоне, и так далее. Донесения приказчиков откладывались; наконец их накопилось столько, что уже прочесть их сделалось невозможным...

Немудрено, что хозяйство скоро надоело молодому графу. К тому же он и графиня невзначай заметили, что им было скучно, что им случалось проводить целый день с глазу на глаз и промолчать; это происходило очень естественно и от очень простой причины: потому что им говорить было не о чем. Люди, у которых воображение и чувство развиты, проживут целый век и всегда найдут сказать друг другу что-нибудь новое; но нельзя же целый век говорить о лошадях или о тартинках с маслом; а оттого, что супругам не о чем было говорить, они стали друг на друга дуться; но как и дуться целый век нельзя, то они стали от скуки браниться, а наконец и это привлекательное занятие им скоро надоело. К счастью, граф нашел себе дело; в околотке было много псарных охотников; он познакомился с ними, тра-

вил лисиц и зайцев и пил за двух, по-русски и по-английски. Молодая графиня познакомилась с соседками, которые, однакож, ужасно ей надоели и с которыми она скоро рассорилась. Графиня стала невольно вспоминать о московских гостиных, о московском театре. В этом занятии прошло лето и часть осени.

Между тем случилось небольшое происшествие, которое произвело совершенный переворот в мыслях графа. В той губернии начались выборы; несколько из поклонников графа, каких всегда много у всякого богатого человека, явились к нему с планами и рассуждениями о том, как бы для них и для их дел было приятно, а для графа почетно, если бы он согласился быть предводителем их уезда. Молодому графу эта мысль очень понравилась; в ней было что-то новое, а уж ему все старое очень надоело. Он изъявил свое согласие с большим снисхождением; в голове его уже вертелись планы для преобразования всего уезда, ибо в молодом графе было нечто дядюшкино... Скоро эта мысль овладела совершенно остатком его воображения, и звание предводителя даже грезилось ему ночью. В назначенный для выбора день граф надел мундир и явился с твердою уверенностью быть выбранным. Но каков был ему удар, когда вместо его выбрали другого! Он не мог прийти в себя от изумления. «Что это значит? — спрашивал он то у того, то у другого. — Какое преимущество имеет мой соперник? Он не богаче, может быть, не умнее?» Кто отнекивался, кто отвечал обиняками, многие потихоньку смеялись над столичными жителями со всею провинциальною злостью.

— Я вам скажу, — сказал ему наконец один из соседей постарее. — Виновато не дворянство, а вы. Ваш соперник человек чиновный, а вы, ваше сиятельство, извините, не имеете никакого чина.

— Никакого чина! — воскликнул граф. — Никакого чина? — и поспешно уехал из собрания. Эти немногие слова открыли для него целый мир, которого существование он и не подозревал.

В самом деле, дядюшка, по своей английской системе, никак не предполагал, что его племяннику нужно будет когда-нибудь служить; он хотел образовать из него отличного агронома, то, что он называл «владельца земли», и воображал, что весьма достаточно будет графу прослужить для проформы года два и потом зажить в своем поместье наподобие английского лорда или фермера.

Нечего сказать, жизнь прекрасная; но не по нас. Владимир так привык к дядюшкину попечению обо всем, что до него ни касалось, так привык думать его мыслями, что когда дядюшка сказал ему: «невозможно служить и заниматься своими хозяй-

ственными делами», или «владелец земли обязан посвящать всю жизнь улучшению своего состояния», Владимиру не пришлось и в голову возражать Акинфию Васильевичу, а просто на другой же день он подал в отставку и вышел из службы в звании чиновника 14-го класса.

Происшествие на выборах сильно подействовало на молодого человека: его самолюбие, которое уже распевелилось ожиданием предводительского места, теперь еще сильнее было взволновано; общая наша болезнь, чиновлюбие, или, если угодно, честолюбие, стало мало-помалу закрадываться в его душу; уже ему казалось, что проходящие по дороге не так ему кланяются, потому что он видел, с каким почтением на выборах увивались вокруг нового предводителя, потому что он заметил, какое действие производили на окружающих кресты и звезды, не столько заметные в столицах. В эти несколько часов Владимир постарел десятью годами. «Что мне гнить в этой деревне! — говорил он сам себе. — Мне надобно служить, мне надобно чинов, крестов, звезд, блеска, почестей».

Мало-помалу в уме его начались те вычисления, которые служат обыкновенным, постоянным занятием для закоренелых чиновников; он рассчитал, сколько лет потерял он напрасно, досадовал на дядюшку, на его английскую систему, на самого себя, на свою женитьбу, словом сказать, на все на свете.

Он возвратился домой очень не в духе. Марии также надоели соседки своими рассказами о разных провинциальных сплетнях, которые обыкновенно бывают во время выборов, — Мария также была не в духе. В этот вечер они снова побранились — за что, сами не знали, так, потому что надобно было побраниться, каждому сорвать на ком-нибудь сердце: это одна из выгод супружеского состояния.

Дело в том, что на завтра оба стали мало-помалу заговаривать о необходимости оставить деревню; но как объявить об этом желании дядюшке, который писал к ним каждую почту, напоминал им, какую полевою работою должно было заниматься в то время, толковал о важности сельского хозяйства вообще и о красоте сельской природы в особенности?..

Одно обстоятельство вывело их из затруднения: Мария сделалась беременной. Супруги не замедлили об этом уведомить дядюшку и объявить ему, что положение графини требует непременно, чтобы они переехали в Москву или Петербург.

Хотя дядюшке весьма хотелось предоставить беременность графини благотворной силе природы, но подумав немного, он признал за лучшее согласиться на желание молодых и вместо природы ввериться хорошему акушеру; к тому же самого его

опекунские дела призывали в Петербург, — и, наконец, он назначил этот город местом свидания с молодыми. Молодые люди только того и ждали и решились в тот же день выехать, несмотря на распутицу. Его тешили мечты о чинах и крестах, ее — петербургские балы; но посреди этих веселых приготовлений они получили письмо, запечатанное черною печатью. Владимир хотел было скрыть это письмо, но Мария увидела его, и — есть ли возможность не удовлетворить любопытству женщины? В этом письме были следующие немногие слова:

«Вы теперь наверху вашего блаженства: вы скоро будете отцом и матерью; все вам удастся, все исполняется по вашему желанию; но берегитесь и помните, что враг ваш не дремлет и что всякое счастье ваше есть для него новый повод вас ненавидеть и готовить вам втайне всевозможное зло.

Черная перчатка».

Это письмо поразило молодых людей; они не могли постигнуть, кто мог быть им таким закоренелым врагом. В словах «все удастся» Владимир видел свою неудачу на выборах: он подозревал, не участвовала ли в этом происшествии эта досадная Перчатка; тем больше ему захотелось, что говорится, выйти в люди и своим весом задавить неотвязного врага. Марию мучило другое чувство: любопытство узнать, кто была эта Черная Перчатка и что могло быть причиной ее странных преследований; она надеялась в столице скорее объяснить эту загадку, нежели в своем захолустьи, — вы видите, что Мария сделалась также гораздо опытнее.

Как бы то ни было, все эти мысли не помешали приготовлениям их к отъезду. Они с почтением положили дядюшкину тетрадку на прежнее ее место и сели в карету, с сожалением посмотрели на окружающую их дворню, которая плакала навзрыд, а втайне, разумеется, радовалась, что господа уже уезжают; некоторые из верных слуг на радости были уже вполпьяна; они плакали громче других.

После долгого странствия наши супруги въехали в Петербург, который представился им во всем своем великолепии: в дожде, слякоти, измороси — это было 1-е мая.

Они нашли дядюшку уже в Петербурге. Этот человек, рожденный для беспрестанной деятельности, успел уже все им приготовить. Дом в лучшей части города, в котором даже иногда бывало солнце, мебели, всю прислугу, даже повивальную бабку и акушера — все предвидела его неутомимая заботливость. Первые дни наши молодые провели довольно скучно. Надобно было отдавать дядюшке отчет в том, чего они не делали,

рассказывать о том, что их не занимало, и скрывать настоящую причину своей поездки в Петербург. От всего этого в их маленьком кругу родилась какая-то принужденность; если бы они были в другом городе, дядя скоро догадался бы, что его молодые метят не в английские фермеры, а что им просто хочется, как по-русски говорится, пожить. Но петербургская жизнь, где на каждое дело дается по минуте в день, и то с изъясном, где человек походит на молотильню, которая стучит и трещит беспрестанно, пока совсем не изломается, — в такой жизни молодым легко было избежать дядюшкиной пронизательности.

Скоро в этой жизни постарели наши молодые. Графиня бросилась в эту пропасть с жаждою наслаждений, шума, разнообразия, танца, волокитства, — граф с разженной, свежелою страстью честолюбия; скоро постигнул он все тайны этого пестрого мира, скоро научился он искусству обращать на себя внимание, выжидать времени, знать, с кем познакомиться, к кому обратиться спиной, выучился тем словам, которые бывает иногда выгодно бросить в воздух, выучился кстати купить и кстати продать, выучился немножко лгать, немножко доносить и немножко клеветать. Он не спешил, не жаловался, но, как искусный полководец, тихо проводил свои траншеи.

Роды графини прекратили на время эти занятия супругов. Дядя, до сего времени спокойный, уверенный в полном успехе своей превосходной системы, наконец начал догадываться, что от него что-то скрывают. Например он очень удивился, когда молодой граф не умел рассказать ему баланса дебета с кредитом по тамбовской деревне, ни объяснить ему, какое действие произвел в урожаях засеянный лет десять тому назад Акинфием Васильевичем лес. Но каково было его удивление, когда однажды племянник показал ему письмо от одного значащего человека, в котором приглашали графа вступить в службу, и когда вслед за тем граф с жаром начал ему доказывать о врожденной своей склонности к дипломатической части; когда он стал по пальцам ему рассчитывать все выгоды, его ожидающие, и все это в ту самую минуту, когда Владимир готовился быть отцом, «главой домашнего государства, естественным наставником и руководителем детей своих», как говорил Акинфий Васильевич, — когда акушер уже был возле комнаты графини. Акинфий Васильевич был изумлен, поражен и в первый раз в жизни потерял в голосе свою обыкновенную твердость и решительность; он даже не нашелся, что отвечать молодому честолюбцу. Первый шаг был сделан.

Роды кончились благополучно, только ребенок вскоре после того умер, повивальная бабка говорила оттого, что графиня туго шнуровалась и слишком много танцовала перед родами; но акушер говорил, что ребенок умер оттого, что не имел средств для продолжения своей жизни.

Графиня скоро оправилась. Был великий пост: балы прекратились; графиня ездила по утрам на репетиции концертов, потому что она еще не могла надевать вечернего платья. Однажды графине поутру было скучно: на дворе выл ветер, на улице такая же была метелица, как в жизни и в головах петербуржцев. Графиня никого не ожидала. Она взглянула на огромный лист афишки; какой-то удалец давал концерт, кажется на органе, да графине было все равно: ей хотелось только куда-нибудь выехать. Графа давно уже не было дома.

В концертной зале было мало; но графиня была одета с щегольством по привычке. Мысль, что она осиротевшая мать, что она молода, недурна собой, что она недавно освободилась от болезни, придавала графине и нравственную и физическую томность. Она кокетничала своим нездоровьем и своей горестью. Когда графиня проходила по зале, мимо нее мелькнуло лицо, как будто бы ей знакомое; возле этого лица было другое, в самом деле ей знакомое. Это последнеё был один из тех людей, которые, кажется, гоняются за вами повсюду, которых встречаешь везде: и на утреннем визите, и на обеде, и перед вечером, и на вечере, и даже ночью, в карете у подъезда, — люди, которые обо всем и всех спрашивают, на все и всем отвечают, которые готовы говорить даже с нашими описателями нравов, не опасаясь их глубокомысленной и тонкой наблюдательности. Этот господин, разумеется, ездил к графине. Орлиный взор его тотчас подметил знакомую даму; он не замедлил подойти к ней с обыкновенными расспросами.

— С кем вы сейчас говорили? — спросила графиня.

— Это ваш старинный знакомый, Воротынский.

— Старинный знакомый? — повторила графиня. — Тому лет десять я танцевала с ним на детских балах, с тех пор я потеряла его из виду.

— Он сию минуту просил меня его вам представить... Позвольте?..

— О, без сомнения.

Молодой человек подошел, старался вспомнить то, о чем он забыл, разные приключения детства, заметил шутя, что он и тогда уже волочился за графиней, и просил позволения продолжать. Графиня смеялась, старалась также показать, что она помнила все давно забытое, как вдруг, посреди самого жаркого разговора, она остановилась в невольном смущении: она заметила, что на Воротынском были черные перчатки. Молодой человек заметил странное действие, произведенное ими на Марию, и также невольно смутился; но графиня, светская женщина, тотчас опомнилась и хладнокровно спросила:

— Что значат эти черные перчатки? Разве вы в трауре?

— В трауре, графиня.

— По ком?

— А на этот вопрос позвольте не отвечать: вы будете смеяться.

— Разве вы думаете, что я такого веселого нрава?

— Мне так кажется: вы так счастливы.

При этой фразе графиня снова было задумалась, но тотчас обратилась с новым вопросом:

— Скажите же, по ком вы в трауре?

— Если вы уже этого непременно хотите, я вам скажу, графиня, но с условием — не смеяться.

— О, полноте, я хочу непременно знать, по ком вы в трауре?

— По самом себе, — с важным видом сказал молодой человек.

Графиня захохотала:

— Разве вы умерли?

— Я вам сказал, что вы будете смеяться.

— Ваши слова или не иначе что, как шутка, или они очень важны.

— И то и другое, графиня; в жизни все перемешано.

— Вы говорите о жизни, как будто вы ее знаете?

— Знаю, и очень давно.

— Вы не женаты?

— Нет.

— Так вы ничего не знаете.

Последние слова невольно сорвались с уст графини. Они оба замолчали. Не знаю, что происходило в душе молодого человека; и трудно было бы узнать: он принадлежал к числу тех людей нового поколения, которые умеют смеяться не улыбаясь и плакать без слез; которых, кажется, ничто не в состоянии ни удивить, ни тронуть — и не из притворства, а по привычке. Ни одно чувство не выходило у него наружу, ни одно движение не изменяло непонятной тайне души его. Он умел о самом горьком чувстве говорить с равнодушной улыбкой, о самом радостном с презрением, которое, казалось, заранее отвечало на все вопросы любопытных. Его обращение было как его одежда: просто, без всяких претензий и методически застегнуто. Он был бледен; черные кудрявые волосы оттеняли холодные, почти безжизненные черты лица его; лишь иногда какой-то минутный огонь сверкал в его глазах и потухал в ту же минуту. Горе ли было в душе его, или просто светская аристократическая привычка ничего не чувствовать, или, наконец, простая фешенебельность — разгадать было трудно; все это так перемешано в новом поколении, которое, кажется, положило себе за правило быть загадкой для всех и, может быть, больше всего для себя самого.

На графиню он произвел удивительное впечатление. Смутно представлялось ей, что между этим новым знакомцем и Черной Перчаткой существовала какая-то связь. Ее женскому самолюбию льстила мысль, что она зародила к себе исключительную ненависть, которую тайный, едва слышный голос объяснял ей другим образом. Она страшилась и мучилась любопытством. Последнее превозмогло.

Музыка снова связала нить прервавшегося разговора. Несчастный артист, хлопотавший в оркестре, никак не ожидал, что он фальшивой нотой подаст повод к объяснению между двумя лицами, которых так долго разделяло пространство и время. Эта фальшивая нота напомнила скрипача, игравшего во время танцевальных уроков, на которых графиня и Воротынский встречались. Этот скрипач напомнил обстоятельство, о котором совсем забыла графиня, что Воротынский в своем детстве всегда носил на лице повязку. Эта повязка напомнила, что все дети чуждались бедного больного, и дала Воротынскому повод рассказать графине, как судьба его преследовала с самого детства; тут уже разговор стал цепляться за каждое слово.

Графиня до сих пор видела вокруг себя людей богатых, здоровых, краснощеких, довольных собой, для которых несчастье состояло в проигранной партии виста. Посреди этого довольства графине иногда бывало скучно, но отчего — она не понимала. Она не смела себя назвать несчастливой: выговорить это слово ей казалось странно и неприлично. Воротынский, говоря о себе, объяснил ей ее собственное чувство и смутным ощущениям ее души придал жизнь и слово. Он рассказал ей о несчастье быть счастливым, о несчастье быть богатым, несчастье ни в чем не нуждаться, несчастье исполнять все свои желания, несчастье прожить несколько лет в чужих краях, наконец, о тех тайных, необъяснимых несчастьях, которые тяготят душу человека с умом и чувством, как, например: несчастье слушать хорошую музыку, несчастье смотреть на хорошую картину, несчастье читать хорошие стихи, вообще несчастье жить, — словом, все эти несчастья, которые очень смешны в романах и повестях, но которые на самом деле так же существенны, которым так же невольно веришь, как и тем обстоятельствам, которые в свете исключительно пользуются названием несчастных.

Все это понимала графиня, хотя эти слова были для нее новы; она вслушивалась в них, как будущий ренегат в слова человека, обращающего его к своему расколу; часто хотела она направить разговор на предмет своего любопытства, но молодой человек умел избегать вопросов: они служили ему только ступенькой к тому, что ему хотелось высказать графине. Он искусно

оставлял мысль необъясненной, слово недоговоренным — и этим средством сказал ей много такого, чего не говорил...

— Глупые читатели! — вскричал однажды аббат Гальяни. — Вы читаете только то, что написано черным по белому, одни строчки; умеете читать белое по черному, умеете читать между строчками.

Воротынский обладал этим искусством в совершенстве: в проделах между его словами были другие слова, которых он не произносил, но которые таинственный голос шептал на ухо графине.

Как бы то ни было, графиня возвратилась домой с мыслью, что она богата, молода, прекрасна, что муж ее здоровый, краснощекий мужчина, который славно ездит верхом и прекрасно боксирует, и что посему она очень, очень несчастлива. Она любила повторять себе это новое, свежее для нее слово; она старалась припоминать все происшествия своей жизни и искать их мрачную сторону; она находила, что во всех наслаждениях, которые она доселе испытывала, ей чего-то недоставало, словом, она возвратилась домой убежденной, что она очень, очень несчастлива. Графа не было дома; он прислал сказать, чтобы его не ждали к обеду. Графиня была очень рада этому; в доказательство своего несчастья она не велела себе подавать обедать, бросилась в кресла своего кабинета и принялась любоваться своим несчастьем, как ребенок новой игрушкой; она брала то ту, то другую книгу: ей не читалось; роман был в ее голове — чужие ей казались сухи и холодны. В одиннадцать часов возвратился граф с раскрасневшимся лицом и в очень веселом расположении духа: он был на импровизированном завтраке с людьми случайными, и дела его шли очень хорошо. Граф вошел в кабинет своей жены с громким смехом и с дюжиной каламбуров, которых он набрался во время завтрака. Этот вход смутил и огорчил графиню: он нарушал ее горькое спокойствие, и когда граф бросился в постель и заснул, графиня осталась в креслах, наклонила голову на холодный мраморный столик и тихо говорила: «Как я несчастлива, как я несчастлива!»

Утренняя заря застала графиню в этом положении; тут невольно неясная мысль пробежала в ее голове; она быстро подбежала к зеркалу и с ужасом заметила, что бледность и изнеможение ее лица перешло ту степень, на которой болезнь перестает в женщине быть интересной. Она наскоро закрутила свои длинные каштановые волосы и от страха даже почувствовала голод. Тихими шагами она прошла в столовую, потом в буфет, очень обрадовалась, когда нашла в нем забытое холодное блюдо, и — увы! с большим аппетитом покушала, а потом легла в постель и започивала.

Я знаю, что некоторые из моих читателей сочтут такое поведение моей графини совершенно неприличным: героиня го-

лодна! героиня кушает!.. Что делать! «Таков закон благодетельной природы!» — как сказал бы Акинфий Васильевич. Я боюсь также, чтобы мои читатели не подумали, будто бы я смеюсь над бедной графиней или нарочно представляю ее в смешном виде; эта мысль далека от моего воображения. Нет, я понимаю страдания графини, я верю им; эти страдания, повторяю, существенны, ибо всякое страдание может измеряться лишь организацией того существа, которое оно поражает. Нет сомненья, что насекомое, которого вся нервная система состоит из одной ниточки, мало страдает: то ли дело с человеком, которого все тело перепутано нервами? То же и в нравственном мире: у иного душа сделана из черепаховой скорлупы, колите ее сколько хотите — что ему нужды! У другого душа нежнее глазной оболочки; троньте перышком — она придет в сотрясение... Вообразите себе молодую девушку с пламенным воображением, с глубокой чувствительностью, воспитанною человеком, каков Акинфий Васильевич, для которого воспитать значило: выкормить, сделать богатым; который, как мы уже сказали, понимал все физические потребности жизни и ни одной сердечной, поступавший с душою словно человек, который, желая предохранить свою руку от опасности быть вывихнутой, привязал бы ее на несколько лет без движения. С графом эта операция удалась совершенно, потому что он родился безрукий; но с графиней было другое дело: долго она не участвовала почти ни в чем, что с нею ни делали; но настала минута, и то, чего недоставало в воспитании дядюшки, дополнилось само собой. Кто виноват, если это новое воспитание было наыворот обыкновенному? Первым учителем графини была скука; потом тайное чувство недовольства, темное, невыразимое; потом любопытство, возбужденное человеком в черных перчатках; потом наслаждение его слушать, или, лучше сказать, говорить его словами, словами, которых она прежде не слыхала и которые были ей сладки, как на чужбине звуки далекой родины... Не обвиняйте бедной графини, не смейтесь над нею: много было смешного в ее страданиях для проходящих, но она страдала, как страдает бедное нежное животное, из южной отчизны перенесенное равнодушным ученым на холодный север в коробке под номером. Насмешливая природа всякое страдание смешивает с чем-то смешным: на лице мертвого есть улыбка.

Вот два часа пополудни. По шумной улице мчатся блестящие экипажи; в великолепной гостиниой солнце светит в штофыные занавески; мебели расставлены в беспорядке, но с какой-то изысканностью. Зачем эта молодая женщина, одетая в богатом пеньюаре, обшито кружевами, беспрестанно встает с своего

места? Отчего она то подходит к окошку, то перед зеркалом оправляет четырехугольно загнутые волосы? Она в беспокойстве, она чего-то ждет необыкновенного и потом старается себя уверить, что она покойна, что это утро похоже на вчерашнее... Но вот раздался звонок: «Воротынский», — проговорил вошедший официант. Графиня бросилась в кресла; сердце ее билось сильно, но лицо ее было спокойно и холодно. Этот визит был короток; теперь это были не люди, нечаянно встретившиеся и, как члены масонской ложи, узнавшие друг друга по тайным знакам: нет, это были расчетливые торговцы, которые желают скрыть друг от друга — один тайну покупки, другой тайну продажи. Они говорили о предметах самых незанимательных; разговор прерывался на каждой минуте, но увлекал их обоих. Через полчаса Воротынский встал; графиня сказала ему только одно слово: «Au revoir, j'espère»; ¹ но от этих слов кровь бросилась в голову молодого человека.

У графини вечера, музыкальные утра; графиня очень любит пикники и кавалькады; во всех этих удовольствиях участвуют и молодые мужчины и молодые дамы. Граф почти всегда сопутствует жене своей, но как-то всегда остается назади возле одной молодой дамы, а графиню и Воротынского всегда уносят лошади вперед; или случается напротив: граф ускакивает вперед, а графиня остается назади; в этих случаях обыкновенно случаются маленькие несчастья: у графини разнуздывается лошадь или распускается стремя; это могло бы иметь весьма неприятные последствия, но, к счастью, в это время бывает возле графини Воротынский, который все это приводит в порядок. Он называет себя стремянным графини — *écuyer de Madame*. ² Так называют его и другие.

Время идет, и очень весело. Прошло лето; известно, что все семена интриг сеются на петербургской почве летом, на дачах, под шум проливного дождя, цветут осенью и поспевают зимой. Искусный садовник умеет возвращать это растение в одно лето; но графу, как человеку еще неопытному, надобно было больше времени. Как бы то ни было, однажды утром он приехал к своему дядюшке с объявлением о том, что он получил место в ***. Дядя вздохнул и только мог промолвить:

— А имение?

— А вы, дядюшка? — отвечал молодой человек.

— Я уже стар, — отвечал дядя. — Все, что я могу сделать, это постараться продать его.

¹ Надеюсь, до свиданья (*ред.*).

² Стремянный госпожи (*ред.*).

— Это бы не худо, — отвечал граф. — Но есть маленькое препятствие: оно заложено.

— Заложено! — воскликнул дядя. — Разве ты имел в виду какую выгодную спекуляцию?..

— Да, любезный дядюшка, и которая мне совершенно удалась.

— Как я рад, любезнейший друг, — сказал дядя, — что ты обратился на путь истинный, и какой хитрец! Скрывал от меня свои расчеты. Ну, расскажи мне поскорее, в чем состоит твоя спекуляция.

— Я уже рассказал вам ее, дядюшка...

— Как, когда же? — воскликнул старик.

— А мое определение к месту?

Акинфий Васильевич повесил голову.

— Мне твоим именем заниматься нельзя, — сказал он печально, — а без хозяйского глаза все пойдет вверх дном. Впрочем, если твое имение заложено только в казну, то продать еще можно, и с выгодой.

— Да-с! — сказал граф. — Но оно заложено и в казну и в частные руки.

— Дорого стоила тебе твоя спекуляция!

— Недешево, дядюшка; хорошее даром не дается.

В другое время Акинфий Васильевич рассердился бы; но теперь он был в положении человека, нечаянно слетевшего с лестницы до последней ступени; он оторопел — все его мысли замолкли, заговорила одна природная чистота сердца, и он вымолвил:

— Быть так, без денег жить нельзя: я тебя не оставлю.

Между тем в доме графини происходила другая сцена. Графиня в задумчивости, со слезами на глазах, сидит в креслах, а Воротынский большими шагами ходит по комнате.

— Графиня! — говорит он. — Надобно на что-нибудь решиться: или вы едете с графом, и тогда мы простимся навеки, или, Мария, ты остаешься здесь!

— Остаться здесь? Но знаешь ли, Виктор, что это будет значить?..

— Знаю, — отвечал он. — Это будет значить, что вы разрываете все связи со своим мужем.

— И ты не боишься за меня? Ты не боишься ни мнения света, ни, может быть, укоров моей совести? Ты эгоист!..

Графиня зарыдала... Но молодой человек был неумолим. На лице его, как всегда, не было видно ни улыбки, ни сожаления. Он был спокоен, как на дуэли, когда одной минутой решится участь человека.

— Мнение света! — сказал он хладнокровно. — Свет не вмешивается в то, что его не оскорбляет. Он не видит того, что

от него не скрывают; он любит откровенность в жизни и любопытен только к секретам: тогда свет начинает доискиваться — и беда той женщине, про которую нечего сказать! Свет сердится и наказывает невинную женщину клеветой... Надобно быть решительной в жизни, выбрать ту или другую роль: или быть жертвой сотни глупцов в золотых очках, которые будут клеветать на тебя для того только, чтобы занять свою даму во время танцев, — или сказать свету: «Я тебя презираю, не боюсь твоих толков, поступаю так, как мне велят мои чувства», — и тогда свет делается смирен, как овечка; он как будто страшится женщины, которая умеет презирать его! Выбирайте, графиня...

Графиня молчала.

— Неужели нет возможности, — сказала она наконец, — согласить эти две крайности. Я понимаю, что тебе жить в одном со мною городе невозможно: но я каждый день буду писать к тебе, ты будешь приезжать к нам...

— И ты называешь меня эгоистом, Мария? Как? Мне снова ухаживать за твоим мужем, ловить на легу его глупости, давать им умный смысл и потом подносить ему в виде комплиментов? Этой низкой лестью покупать счастье видеть тебя изредка, пополам со страхом! Нет, Мария, жизнь коротка: и без того она наполнена горечью; зачем накупаться на страдания, когда одним решительным словом можно упрочить свое счастье? Ты сама не каждую ли минуту проклинаешь день своего замужества, не каждую ли минуту боишься, чтоб какая-нибудь нечаянность не прервала наших редких свиданий?..

— Все это так, — отвечала Мария, — но совесть, совесть! Ты забыл о пей.

Воротынский вспыхнул, но лицо его даже не покраснело; он хладнокровно взял шляпу и с улыбкой сказал:

— Что касается совести, то на эту задачу и я советую попросить объяснения у его сиятельства, который так жестоко-серд, что лишает нашу сцену одной из лучших танцовщиц.

С сими словами он хотел уйти. Графиня схватила его за руку:

— Что ты говоришь, Виктор?

— Вы знаете, — отвечал он, — что я говорю всегда правду и всем, кроме вашего мужа, когда уверяю его, что он очень остроумен. Г-жа *** отправляется если не с вами, нежная чета, то по крайней мере вслед за вами.

Мария бросилась в кресла; Воротынский удалился.

Однажды Акинфий Васильевич, очень встревоженный, вошел в кабинет молодого графа, которого окружали чемоданы, ларчики и все принадлежности дороги.

— Что это значит? — сказал Акинфий Васильевич. — Ты жену свою оставляешь здесь?

— Она сама этого желает, — отвечал граф с замешательством. — К тому же, любезный дядюшка, я вам должен признаться, что нам обоим будет полезно разлучиться, разумеется на некоторое время.

— Я тебя не понимаю...

— Видите, дядюшка, — продолжал граф, — мне совестно вам признаться, но нас обоих беспокоят эти странные письма, в которых неизвестный человек грозит нам бедствием, если мы останемся вместе: вы знаете, как опасны тайные враги...

— Кто же это? — воскликнул дядя.

— Черная Перчатка.

— Черная Перчатка? Боже мой! Знаешь ли ты, что эта Черная Перчатка был не кто иной, как я.

— Как? Вы? — вскричал молодой человек.

— Да, мой друг: я счел нужным употребить эту маленькую хитрость. Когда вы женились, я боялся одного, что вы слишком будете счастливы: а как совершенное счастье противно природе, я боялся, что ваше счастье скоро вам наскучит. Я выискивал средства, как бы вам навлечь маленькое беспокойство, которое бы заставляло вас бояться друг за друга и теснее бы укрепило связь между вами.

Молодой граф едва мог удержаться от смеха. Акинфий Васильевич продолжал:

— В это время меня уговорили прочесть роман Вальтера Скотта, а именно: «Редгонтлет». Там одна сцена, где девушка из партии якобитов бросает перчатку рыцарю английского короля, дала мне мысль бросить перчатку в вашу спальню с письмом моего изобретения. Теперь ты видишь, что нет никакой причины твоей жене оставаться здесь.

— Благодарю вас, дядюшка: вы нас избавили от большого беспокойства; но все-таки графине со мной ехать нельзя. Вы заметили, как испортилось ее здоровье?

— Нет, я этого не заметил.

— О, как же! — возразил граф. — С ней беспрестанно делается дурнота, и доктора решительно сказали, что всякое движение ей будет очень вредно.

— Кроме танцев, — печально заметил дядюшка.

— Да... танцы, — сказал граф, — для развлечения; но вообразите себе длинный путь, дурные дороги; если бы у нас были, как в Англии, везде шоссе, тогда другое дело... Вы понимаете?

— Понимаю, все понимаю, — отвечал печально старик.

Он видел ясно, что все его планы для счастья его питомцев расстроены, но не мог себя упрекнуть ни в чем. Он устроил их

имение, доставил им богатство, упрочил их телесное здоровье, тщательно хранил их от всех порывов того, что он называл воображением, от всего, что могло приводить в движение ум и чувство, и никак не мог растолковать себе, отчего не удалось его систематическое, на практических правилах основанное воспитание.

Чем же все кончилось? Акинфий Васильевич поехал по деревням заниматься хозяйством и восхищаться природой. Граф поехал в *** к своему месту, и не один. Графиня осталась в Петербурге.

ЖИВОЙ МЕРТВЕЦ

— Скажите, сделайте милость, как перевести по-русски слово солидарность (solidarité).

— Очень легко — круговая порука, — отвечал ходячий словарь.

— Близко, но не то. Мне бы хотелось выразить буквами тот психологический закон, по которому ни одно слово, произнесенное человеком, ни один поступок не забываются, не пропадают в мире, но производят непременно какое-либо действие; так что ответственность соединена с каждым словом, с каждым, видимому, незначащим поступком, с каждым движением души человека.

— Об этом надобно написать целую книгу.

Из романа, утонувшего в Лете.

Что это? Никак я умер?.. Право! Насилу отлегло... нечего сказать — плохая шутка... Ноги, руки холодеют, за горло хватает, душит, в голове трескотня, сердце замирает, словно душа с телом расстается... Да что же? Ведь никак оно так и есть? Странно, очень странно — душа расстается с телом! — Да где же у меня душа?.. Да где же и тело? Вот оно — лежит себе как ни в чем не бывало на постели, только немножко рот покривился. Тьфу пропасть! Да ведь это я лежу — нет! И не я — нет! Точно, я; словно на себя в зеркало смотрю; я — совсем другое: я — вот здесь; да где же у меня руки, ноги?.. Батюшки светы! Руки, ноги, голова — все там, здесь ничего, ровно ничего, а все слышу и вижу... Вот моя спальня; солнце светит в окошко; вот мой стол; на столе часы, и вижу на них девять часов с половиной; вот племянница в обмороке, сыновья в слезах — все по порядку; да полно... что вы плачете? Что? — Не слышат! Да и я своего голоса не слышу, а, кажется, говорю очень вразумительно. Дай-ка еще погромче — ничего! Только

как будто легкий ветерок подует, — чудеса! Право чудеса! Да уж не сон ли это? Помню: вчера я был очень здоров и весел, и в вист играл, и очень счастливо; вот, вижу, куда и деньги положил, — и поужинал с аппетитом, и поболтал с приятелями о том, о сем, и почитал на сон грядущий, и заснул крепко, — как вдруг, ни с того, ни с сего, тяжко, тяжко... хочу вскрикнуть — не могу; хочу пошевелиться — не могу... Потом ничего не помню — да вдруг и проснулся... то есть какое проснулся? То есть очутился здесь... Где здесь?.. И слов не приберешь! Ну, право, это сон. Не верите? — Постой, сделаю опыт: ущипну себя за палец, — да нет пальца, право нет... Постой, что бы выдумать? Дай посмотрю в зеркало — уж оно никак не обманет; вот мое зеркало — тьфу пропасть! И в нем ничего нет, а все другое в нем вижу: всю комнату, детей, постель, на постели лежит... кто? Я? — Ничего не бывало! Я перед зеркалом, какие чудеса! Вот призвал бы сюда господ философов, ученых: извольте-ка, господа, растолковать: и здесь я и не здесь, и живу я и не живу, и двигаюсь и не движусь... Это что? Бьют часы; раз, два, три... десять; однакож пора в канцелярию — там есть у меня интересное дельце. Надобно насолить этому негодяю Перепалкину, который все на меня наушничает... «Эй! Филька! Одеваться!..» Что я? Как одеваться? — Невозможно! Бывало время, что мне было надеть нечего, а теперь хуже — не на что... Однакож не худо заглянуть в канцелярию... да как же туда отправиться? Карету приказать — невозможно; нечего делать — пойти пешком, хоть и неприлично. Двигаться-то мне с одного места на другое очень легко... дай попробую; благо двери отворены... Вот мой кабинет, гостиная, столовая, передняя; вот я и на улице... да как легко, земли под собой не слышу, так и несусь — хочу скоро, хочу тихо... Да это, право, недурно — и шагать не надобно... А вот и знакомые! «Здравствуйте, ваше превосходительство! Раненько изволите итти...» Прошел мимо и внимания не обратил... Вот и другой: «Здравствуйте, Иван Петрович». Тоже ни гу-гу — странно! Батюшки! Коляска — во весь опор! Тише, тише! Наедешь дышлом! Не видишь, что ли?.. Ахти! Сквозь меня коляска проскакала, а я и не почувствовал, кажется, так надвое и раскроило, а ничего не бывало — чудеса, да и только! Однакож, если на то пошло, ведь, право, мое состояние не плохо: легко, хорошо, никакой заботы; не нужно ни бриться, ни умываться, ни платья натягивать, гуляй куда хочешь, — вольный казак; можно без прогонов всю землю изъездить, никакая тебе опасность не грозит — уж чего тут! Коляска сквозь меня проехала, и вот хоть бы что. Так вот она смерть-то, вот она что такое... А награда, наказанье? Впрочем, правду сказать, награды я не ждал — не за что; да и наказывать меня не за что; были кое-

какие грешки... ну, да у кого их нет? Я истинно скажу: ни добра, да и ни зла без нужды я никому не делал — право... вы знаете: я человек откровенный; ну, разумеется, когда ждешь беды, то иногда, так сказать, и подставишь ногу ближнему... да что ж тут делать? Человек на тебя лезет с ножом, неужели же ему шею подставить? Жил я умненько, учился на железные гроши, в наследство получил медные, а детям оставил коку с соком, даже ни в какое заведение не отдавал их, чтобы лучше за их нравственностью наблюдать, сам воспитал их, научил важнейшему — как жить в свете, и если моих уроков послушают, далеко пойдут; правду скажу: душой, так сказать, почти не кривил, разумеется иногда, смотря по обстоятельствам, понатягивал... да! Как подумаешь, понатягивал — но только когда можно было натянуть... кто же себе враг? Да как бы то ни было — от всех почтен, от всех уважен, из ничего вышел в люди, и все сам собой... дай бог всякому так сводить свои дела... А! Да вот и канцелярия! Посмотрим, что-то здесь делается. Так, сторож дремлет по-всегдашнему, уж вот что с ним ни делай. «Сидоренко! Сидоренко!» Не слышит! И двери затворены... Как тут быть? Хоть век оставайся в передней — добро бы у нужного человека... А! Вот кто-то идет... мой чиновник, — ну, двери настезь... «Батюшка! Помилуйте, прихлопнули», — да нет, я сквозь доску прошел... А что, подумаешь, ведь это не так дурно... как я этого прежде не догадался? Так, стало, для меня нет ни дверей, ни запоров; стало быть, нет от меня и секрета... ну, право же, это недурно, — весьма может пригодиться при случае... Ах, лентяи! Чем бы делом заниматься, а они кто на столе, кто на окончине развалились и точат лясы. Хоть бы привстали, невежи, — хоть бы поклонились, — вот приучи их к порядку... А! Вот и старший; посмотрим, не пугнет ли он их немного...

С т а р ш и й. Господа! Нельзя ли по местам? Ведь болтать можно и сидя за бумагой; не все равно? Кто вам мешает? Оно, разумеется, — почему не так? — Вот мы, бывало, встарину в канцелярии и в карты игравали, да с оглядкой — и ничего, право! Столы у нас тогда были маленькие: вот мы бумагу разложим, и давай в бостончик; идет начальник — мы карты под бумагу; начальник войдет — все благополучно; а то что вы нынешние? Развалились по столам, по окошкам; ну, войдет Василий Кузьмич — когда тут вскочить? Беготня, беспорядок — беда, да и только, особливо теперь: ждет награды, знаете, какой бывает сердитый в это время...

О д и н и з ч и н о в н и к о в. Еще рано Василию Кузьмичу. Он вчера до трех часов в карты играл...

(Всё знают, проклятые!..)

Второй. Неправда, он у Каролины Карловны...

(И это знают, злодеи!..)

Третий. Ничуть — у Натальи Казимировны...

(И это также... кто б это подумал?..)

Четвертый. Да неужели у него две интриги разом? Этаким старик...

Третий. Старик? Смотри, коли он нас всех не переживет! Поест ли, попить ли — его дело, и в ус не дует! Даром, что святошу корчит... всех нас за пояс заткнет...

Тыфу, негодяи какие. Не знал же я вас прежде... И слушать не хочу... Сорванцы, болтуны... Вот постойте... Опять забылся; уж не унять мне их!.. А досадно: уж как бы раскассировал... Что тут делать? Эх, волки их ешь!.. Надобно чем-нибудь развлечься. Дай пойду послушать, что скажет князь, как услышит о моей кончине, как пожалует... Ну, скорее. В приемной один Кирила Петрович — и в слезах — верно обо мне: то-то друг, один никогда не изменял! Хорошо, что не знал ты одного дельца... сказал я про тебя одно словцо, которое ввек тебя бороздить будет, — да нечего было делать: зачем тебя назначили именно на то место, которого мне хотелось... кто себе враг? Но, кроме этого, я тебе всегда во всем был помощник, и ты можешь обо мне плакать. А! Вот к князю и двери отворятся... Войдем...

Кирила Петрович. Я к вашему сиятельству с неожиданным горестным известием: Василий Кузьмич приказал долго жить...

Князь. Что вы говорите? Да еще вчера...

Кирила Петрович (всхлипывая). Сегодня ночью удар; прислали за мною в восемь часов — уж едва дышал; все медицинские пособия... в девять часов богу душу отдал... Большая потеря, ваше сиятельство.

Князь. Да, признаюсь — таких людей мало: истинно почтенный был человек.

Кирила Петрович, Деятельный чиновник...

Князь. Правдивый был человек.

Кирила Петрович. Прямая, откровенная душа! Уж, бывало, что скажет, верь, как святому...

Князь. И вообразите — как будто нарочно! Только сегодня сошло об нем представление...

Кирила Петрович (плачет). Ах, бедный! А он так ждал его...

Князь. Что делать! Видно, судьба его умереть без повышения... Жаль!..

Кирилла Петрович (рыдая). Да! Уж теперь ему ничего не нужно...

Василий Кузьмич. Как не нужно?.. Помилуйте, ваше сиятельство! За что же такая обида? Да! Я и забыл... уж не нужно и повышение... Ах, обидно! Ну уж, видно, я и впрямь умер... Да отчего бы так, впрочем? Что нужды, что я умер! Ведь я в отставку не подавал: пусть бы чины себе шли да шли... кому же от того помеха? А мертвому приятно... Ах, не догадался я прежде! Что бы составить об этом проект... Досадно, больно...

Кирилла Петрович. Да, теперь ему более ничего не нужно! Но у него осталось семейство... если б ваше сиятельство...

Князь. Как же! С большой охотой. Заготовьте мне записку... Но только я вам должен сказать, — ваше искреннее участие в Василье Кузьмиче делает вам много чести...

Кирилла Петрович. Как же иначе, ваше сиятельство! Он был мне истинный, неизменный друг...

Князь (улыбаясь). Ну, не совсем...

Кирилла Петрович (отирая слезы). Как не совсем? Что вы хотите сказать этим, ваше сиятельство?..

Князь. Да, теперь дело прошлое, а я скажу вам: если вы не получили того места — знаете? — то не кто другой тому причиной, как Василий Кузьмич... Мне больно это вам открыть, а это так...

Василий Кузьмич. Ай! Ай!

Кирилла Петрович. Вы меня сразили, ваше сиятельство!.. Да что же он мог про меня сказать...

Князь. Да ничего в особенности, а так вообще заметил, что вы человек неблагонадежный...

Кирилла Петрович. Да помилуйте, ваше сиятельство, это одно слово ничего не значит — надобны доказательства...

Князь. Я это знаю; я вступался за вас; но Василий Кузьмич только и твердил: «Поверьте мне, я его давно знаю, — неблагонадежен, неблагонадежен вовсе...» Это дело, как вы знаете, от меня не зависело, Василий Кузьмич был с весом — и к нему все пристали...

Кирилла Петрович. Ах, лицемер, лицемер! Уж если на то пошло, я доложу вашему сиятельству: меня он уверял, что против меня были вы, что он, как с вами ни спорил, как ни заступался за меня...

Князь. Он вам просто солгал...

Кирилла Петрович. Поверите ли, ваше сиятельство, не было на свете коварнее этого человека; с виду мужиком смотрел, и то и дело на языке: «я человек простой, я человек про-

стой», и прямо всякому в глаза смотрел, — а тут-то и норовит обмануть; всех проводил, ваше сиятельство, всех обманывал... Вот только была бы ему какая ни на есть пользишка... отца бы продал, сына бы заложил, мать бы родную оклеветал... право!

К н я з ь. По крайней мере нельзя отнять у него, что он был человек деятельный.

К и р и л а П е т р о в и ч. Какой деятельный, ваше сиятельство! Лентяй сущий: только что мастер был бумаги спускать. Вникните-ка в его дела — ничем не занимался. Да и когда ему было? С утра до вечера или интригует, или в вист. Ничего у него не было святого: как дело поважнее, потруднее, так и свалит его на другого; уж на это такой был тонкий!.. Такой всегда предлог отыщет, что и в голову не придет... А там, смотришь, как другие все дело сделали, он его так обернет, как будто сам его сделал... такой хитрец!..

К н я з ь. Но все-таки он был человек некорыстолюбивый...

К и р и л а П е т р о в и ч (*горячась*). Он? Такого корыстолюбца свет не привидывал. На маленькие дела он не пускался, потому что осторожен был, как заяц; но изволите помнить его поручение в чужих краях: откуда все его богатство?..

К н я з ь. Как? Неужели? Полно, правда ли?..

К и р и л а П е т р о в и ч (*продолжая горячиться*). Да помилуйте, ведь я сам при нем был, я все знаю — всех обманул, продал... а доказательств нет — все покрыл...

В а с и л и й К у з ь м и ч. Ай, ай, ай!

К н я з ь. Я вам очень благодарен, что вы мне это открыли. Мне остается пожалеть, что вам не вздумалось этого сделать немножко раньше...

К и р и л а П е т р о в и ч. Ай, ваше сиятельство! Что было делать! Старинная связь, дружба, — человек сильный...

К н я з ь. И которого покровительство вам было нужно, не так ли?.. Прощайте, сударь. (*Уходит.*)

В а с и л и й К у з ь м и ч. Что, брат, взял? Вот что значит наушничать...

К и р и л а П е т р о в и ч (*опомнясь*). Ай! Оплошал, погорячился слишком... Проклятый лицемер, душегубец! И по смерти-то пакостит мне...

В а с и л и й К у з ь м и ч. Однакож очень недурно, что я умер; не то плохая бы мне была шутка. Ну, что его слушать! Полечу к другим друзьям: может быть, кто-нибудь и добром вспомянет. А право, весело этак из места в место летать.

(Друзья Василия Кузьмича за обедом.)

П е р в ы й д р у г. Так вот как, батюшка! Через два дня мы на похоронах у Василия Кузьмича? Кто бы подумал? Еще

сегодня должен был у меня обедать; я ему и страсбургский пирог приготовил: он так любил их, покойник...

Второй друг. А пирог славный — нечего сказать...

Василий Кузьмич. Да! Вижу, что славный! Странное дело: голода нет, а поесть бы не отказался... Что за трюфеля! Как жаль, что нечем...

Третий друг. Чудный пирог! Позвольте-ка еще порцию за Василия Кузьмича...

(Все смеются.)

Василий Кузьмич. Ах, злодеи!

Первый друг. Ну, уж Василий Кузьмич не такую бы порцию взял: любил поесть покойник, не тем будь помянут...

Второй друг. Ужасный был обжора! Я думаю, оттого у него и удар случился...

Третий друг. Да и доктора то же говорят... Он вчера, говорят, так ел за ужином, что смотреть было страшно... А что, не слышно, кто на его место?..

Первый друг. Нет еще. А жаль покойника, так, по человечеству...

Третий друг. Мастер был в вист играть...

Все. О! Большой мастер!..

Первый друг. У него, знаете, этакое соображение было...

Второй друг. А что нынче в театре?..

(Толки о городских новостях, о погоде... Василий Кузьмич прислушивается: об нем ни слова; он заглядывает в каждое блюдо.)

(Обед кончился; все садятся за карты; Василий Кузьмич смотрит на игру.)

Василий Кузьмич. Что за игра валит — вот так-то — шлем! Козыряйте, козыряйте, Марка Иванович, — нет! Пошел в масть. Да помилуйте, как можно... с такой игрой — да ведь вы им офранкировали даму... Ах! Как бы я разыграл эту игру — как жаль, что нечем! Опять не то, Марка Иванович! Да вы, сударь, карт не помните... позвольте мне сказать вам, я человек простой и откровенный, у меня что на сердце, то и на языке... да что я им толкую — не слышат!.. Ах, досадно! — Вот и робер сыграли... вот и другой... Ахти! Так руки и чешутся... Досадно! — Вот чай подадут — не хочется пить — а выпил бы чашечку, — это тот самый чай, что Марку Ивановичу прямо из Кяхты прислали, — уж какой душистый — чудо! Вот хоть бы капельку... Ох! Досадно.

Вот и игра кончилась; за шляпы берутся, прощаются. «Прощайте, прощайте, Марка Иванович!» — И ухом не ведет... Ну куда же мне теперь деваться? Сна ни в одном глазе. Разве пойти по городу прогуляться; вот уж и экипажи стали редеть, — все попритихло; огни гасят в домах; всякий в постель — все забыл, спит себе во всю ивановскую; а я-то бедный — мне некуда и головы приклонить. А! Да что я? Дай-ка проведу Каролину Ивановну... Что, я чай, плачет обо мне, горемычная? Э-ге! Да и огонь у ней не погашен, — видно, и сон на ум нейдет; тоскует по мне, бедненькая! Посмотрим. Сидит в кабинете... Ахти! Да не одна! Это тот смазливенький, что я встретил однажды у ней на лестнице да приревновал, — а она еще уверяла, что его не знает, что, верно, он ходил к другим жильцам! Ах, злодейка! Послушаем, что она с ним толкует. Какие-то бумаги у ней в руках; а! мои заемные письма. Что она с ними хочет делать?

Каролина Ивановна. Так слушай, Ванюша: ты смотри не прозевай. Я не знаю, как это у вас делается; предъявить, что ли, надобно эти заемные письма; как, куда, когда — разузнай все это, душа моя. Мне куда потерять их не хочется; если б ты знал, чего они мне стоили! Уж такого скряги, как этот Аристидов, и свет не привидывал; ревновать ревновал, а уж мне сделать удовольствие — того и не жди; насилу из него вымучила; да этого мало: нет-нет, да и спросит: «Покажи-ка мне, Каролинушка, заемные письма — я позабыл, от какого они числа», — чуть было из рук не вырвал однажды; а не то придет, у меня же денег займа просит — у меня! Так, говорит, на перехватку... Такой бесчестный! Хорошо, что протянулся; теперь мы с тобой славно заживем, душа моя Ванюшка...

В а с и л и й К у з ь м и ч. Ах, злодейка! Обнимает его! Целует! Тьфу, смотреть досадно! Так сердце и разрывается — а делать нечего! Плюнуть на нее, негодную изменщицу, — да и что она мне далась?.. А уж куда хороша, проклятая... у! у! бесстыдная.. плюю на тебя. Вот уж Наталья Казимировна не тебе чета... Посмотреть, однакож, что-то делает и эта? Уж также не нашла ли себе утешителя? — Вот ее квартирка! И огня нет. Посмотрим, уж не больна ли она? — Нет! Спит себе да всхрапывает, как ни в чем не бывало. Уж не с горя ли? — Какое с горя! У постели брошено маскарадное платье: в маскараде была! Вот ее поминки по мне... И как спокойно почивает! Раскинулась так небрежно... как хороша! Что за прелесть... ах! Как жаль!.. Ну, да нечего жалеть! Ничем не поможешь... Куда бы деваться? — Разве домой... а что ж, в самом деле?.. Какая тишина на улицах — хоть бы что шелохнулось... А это что за господа присели тут за углом... что-то посматривают, как будто чего-то поджидают: уж верно — недоброе на уме... Посмотрим.

Ге! Ге! Да это плут Филька, мой камердинер, что сбежал от меня... Ах, бездельник... что-то он поговаривает...

Товарищ Фильки. Ну, да где же ты научился по музыке ходить,¹ что ты, из жульков,² что ли?

Филька. Нет! Куда! Совсем бы мне не тем быть, чем я теперь. Отец у меня был человек строгий и честный, поблажки не давал и доброму учил; никогда бы мне музыка на ум не пришла... Да попался я в услужение к Василию Кузьмичу, вот для которого скоро большая уборка³ будет...

Товарищ Фильки. Да что, неужели он мазурил?..⁴

Филька. Клёвый мазь⁵ был покойник... только, знаешь, большой руки. Знаешь, к нему хаживали просители с стуканцами...⁶

Товарищ Фильки. Постой-ка, никак стрема.⁷

Филька. Нет. Хер⁸ какой-то... Да куда наша фига⁹ запропастилась?..

Товарищ Фильки. Да нельзя же вдруг...

Филька. О! Проклятое дело! Продрог, как собака...

Товарищ Фильки. Ничего, — как рассветет, в шатун¹⁰ зайдем... ну, так ходили просители...

Филька. Ну да! Ходили... а Василий Кузьмич думал, что я простофиля... Вот, говорит, приятель пришел; что он тебе отдаст, то ко мне принеси, а тебе за то синенькая; вот я делом-то смекнул; вижу, что Василию-то Кузьмичу не хочется зазора — рады из рук прямо деньги брать, а чтоб того, знаешь, какова пора ни мера, на меня все свалить. Я себе на уме — за что ж мне даром служить? Вот я и с Василия Кузьмича магарычи, да и с просителя подачку...

Товарищ Фильки. Так тебе, брат, лафа¹¹ была...

Филька. Оно так! Да вот что беда: как пошли у меня стуканцы через руки ходить, — так сердце и разгорелось — больше захотелось... а между тем Василий Кузьмич меня то туда, то сюда; поди-ка, Филька, вот то проведай, а того-то

¹ То есть воровать. — Слово из афенского языка, о котором лет пять тому были напечатаны в «Отечественных записках» любопытные исследования. Многие из поговорок этого языка вошли в обыкновенный язык, но не всем еще понятны, и потому мы считаем не излишним присоединить и перевод к афенским словам.

² Маленький мошенник.

³ Похороны.

⁴ Воровал.

⁵ Большой вор.

⁶ С деньгами.

⁷ Караульный — дворник.

⁸ Пьяный.

⁹ Лазутчик.

¹⁰ В питейный дом.

¹¹ Славное житие.

проведи, а вот этому побожись, будто меня продаешь, — и разным таким залихватским штукам учил, — так что сначала со-
вестно становилось, особливо, бывало, как отцовские слова
вспомнишь, а потом и то приходило в ум: что же тут дурного
для своей прибыли работать? Василий Кузьмич — не мне чета,
уж знает, что делает, а от всех почтён, уважен... что ж тут
в зубы-то смотреть? Уж коли музыка — так музыка. Да этак
подумавши, — я однажды и хватил за толстую кису, ¹ да так,
что надобно было лыжи наострить, — а с тех пор и пошло,
чем дальше, тем пуще; да теперь вместо честного житья — того
и смотри, что буду на Смольное глазеть... ²

Т о в а р и щ Ф и л ь к и. Смотри, смотри, фи́га знак по-
дает...

Ф и л ь к а. А! Насилу-то! *(Встает.)*

Т о в а р и щ Ф и л ь к и. А фомка ³ с тобой?

Ф и л ь к а. И нож также...

В а с и л и й К у з ь м и ч. Ах ты, бездельник! Вишь,
я его еще научил! Я ведь совсем не тому... Пойдет теперь —
обворует, может быть смертоубийство совершит... Как бы поме-
шать... Помешать! — А как помешать? Кто меня услышит?
Ох! Жутко! Куда бы деваться, — хоть бы не видать и не слы-
хать... скорее домой... там авось не услышу... Вот я и дома. Еще
мое тело не убрали — да! Еще рано. А! Вот племянница не
спит, плачет, беденькая... Хорошая девка, нечего сказать; точно
покойный ее отец! Никогда злое и на ум не взойдет; хоть десять
раз его обмани — ничего не видит! То-то добрая душа... да так
он с одной доброй душой и на тот свет отправился; где-то он
теперь; хоть бы встретить! Потолковали бы кое о чем. — Ну,
не плачь. Лиза, мой друг! Горем не поможешь, пройдет — уте-
шишься. Вот смотри, выйдешь замуж, все горе забудешь...
Ну, а что сыновья-то делают? Не спят также — однакож не
плачут... Разговор, кажется, живой... послушаем.

П е т р. Уж ты что ни толкуй, Гриша, если мы этого дела
не смастерим да случай упустим, так куда у нас доброго будет...

Г р и ш а. Оно так! Да совестно что-то; ведь мы знаем, что
она действительно дочь покойного дядюшки...

П е т р. Мы знаем, да суд не знает, а судит по тому, что есть
на бумаге...

Г р и ш а. Да знаешь, что Лизы-то жаль. Что за добрая!
Словно овечка... Она же меня маленького на руках носила...
знаешь, брат: ведь чувство такое есть...

П е т р. Ну! Зафилософствовался! Мало тебя за это отец

¹ Большую сумму.

² Уголовное наказание.

³ Лом.

покойный бранил! Уж он ли не говорил тебе, что с твоим философствованием век дрянью будешь; так и выходит...

Г р и ш а. Я помню, что отец говорил... да, однакож, как подумаешь, — что с Лизой-то будет? Куда она голову приклонит?

П е т р. Да! Так что же?.. Слушай, брат Гриша, скажу тебе напрямки: отец-то у нас уж куда умный человек был и доказал, что умный: от гроша до миллиона дошел, а помнишь его любимую поговорку: «свою крышу крой, сквозь чужую не замочит». — Вот оно что. А ведь тут по двести тысяч на брата, Гриша; ведь на улице не поднимешь...

Г р и ш а. Оно так... Ну, да как Василий Кузьмич какое распоряжение сделал?

П е т р. Да! Он-таки сделал распоряжение — и я знаю, какое. Ты еще был мал, не помнишь, а я помню. Как дядя умирал, так просил: «Я, — говорит, — не успел, болезнь захватила, а дело важное — у Лизы бумаги не в порядке. Сохрани бог, ты умрешь, — другие наследники привяжутся, отобьют у ней наследство. Сделай милость, выхлопчи все доказательства ее происхождения, — а не то беда. Я на всякий случай все ломбардные билеты на имя неизвестного перевел, чтобы, какова пора ни мера, все-таки Лиза не без куска хлеба будет. Пусть они теперь остаются у тебя, а как подрастет, отдай ей, да между тем выхлопчи ее бумаги-то... не забудь, — да и ты, Петруша, отцу припомни...» Прошел год по кончине дяди, — я еще тогда был молод, неразумен, ничего не понимал, какие вещи есть на сем свете, — вспомнил я дядин приказ и заикнулся об нем отцу. А Василий Кузьмич посмотрел на меня, поморщился, да и молвил: «Что ты отца-то учить, что ли, хочешь?» — «Да я, батюшка, подумал, что между делами...» — «Что я забуду, что ли? — спросил отец. — Нет, Петруша, какие бы у меня дела ни были — я главного дела никогда не забываю; помни это». В те поры я не совсем эти слова понял, но потом, как начал входить в разум, смекнул, в чем дело; да однажды, уж неспроста, заговорил с отцом об Лизиных бумагах. Старик посмотрел на меня еще пристальнее прежнего и, кажется, отгадал, что у меня было на уме. «Много будешь знать, скоро состаришься», — сказал он с своей миловидной улыбкой, да потом ударил меня по плечу и промолвил: «Слушай, Петруша, ты, я вижу, малый-то не дурак будешь... знаешь ли, что такое деньги? Не знаешь? — Я тебе скажу: деньги то, чем мы дышим; все на свете пустяки, все вздор, все дребедень... одна вещь на свете: деньги! Помни это, Петруша, — с этим далеко пойдешь...»

В а с и л и й К у з ь м и ч. Когда бишь это я ему говорил?.. А, точно! Говорил... экий плут какой! Вспомнил, — да к чему же он клонит...

Г р и ш а. Ну, так что же ты думаешь?..

Петр. Да думаю то, что дело и по сю пору на том стоит; то есть что билетов на четыреста тысяч на имя неизвестного лежит у отца в комодке, а Лиза покамест ничего, не отца своего дочь...

Гриша. Да как же это?..

Петр. Да так же! Стоит нам помолчать, и четыреста тысяч наши...

Гриша. Ах, брат, совестно...

Петр. Ну, брат, занес философию! Совестно что? Помолчать? Добро бы говорить... Ведь слышишь, четыреста тысяч, — четыреста... знаешь счет или нет?..

Гриша. Ну, а как отец-то какую записку оставил?..

Петр. А что, и в самом деле? Вот уже правду покойник говаривал: «Что бы ни случилось, головы не теряй, главного не забывай». Пойдем-ка, посмотрим у него в бумагах... благо я ключи-то захватил...

Гриша. Ах, брат, страшно... Ведь это... знаешь... подлог...

Петр. Эх книги-то тебя с толку сбили! Уж дрянью был, дрянью и будешь... Да нечего времени терять: скоро утро; я и один пойду, если ты трусишь... а ты сиди, хоть стихи сочини на досуге...

Василий Кузьмич. Ну, вижу, — этому малому плохо не клади, — экий разбитной какой!.. А жаль Лизы-то; впрочем, ведь не моя она дочь... Ну, пришел; эх начал шарить; видно, чутье у него: так прямо на Лизины билеты и напал. Задумался... шарит в бумагах... еще задумался... Ну что же!.. Как? В карман? Э-ге! Вот уж это дурно, Петруша... Что ты? Что ты?.. Потацил! Ай! Ай! Что-то будет...

Петр (*возвращаясь в братнину комнату, встревоженный*). Записки нет никакой... я все перешарил...

Гриша. Ну что ж! Хорошо...

Петр. Да, очень хорошо! Ты здесь что делал?..

Гриша. А мне пришли в голову два славные стиха для элегии:

О золото! Металл презренный!
Нас до чего доводишь ты?

Только рифм не могу отыскать...

Петр. Слушай, Гриша, я тебе принес рифму, и очень богатую... Только смотри, брат! Я человек честный, как видишь, мог бы всем воспользоваться, да не хочу, ты все-таки мне брат, хоть и дрянь; вот тебе половина, припречь-ка скорее... да смотри не проболтайся.

Гриша. Что ты? Что ты, брат? Да как же это ты взял без родственников, прежде осмотра?..

Петр. Что? Дождаться осмотра... ах ты, философ! Сам же меня надоумил...

Гриша. Я?

Петр. Да кто же? Ведь ты сказал, что, может быть, Василий Кузьмич распоряжение какое сделал, может, записку какую оставил; я по твоим словам и пошел, записки не нашел, а тут и подумал: а что, как где найдется? Ведь на грех мастера нет! А как деньги припрятаны, так и концы в воду; там пускай после и осматривают и опечатавают: «Знать не знаем и ведать не ведаем; какие были билеты, те и остались!», а остались-то билеты все на имя батюшки, то есть которые достанутся нам по наследству... Что, недурно?..

Гриша. Так... да все-таки... я не знаю что-то...

Петр. Берешь деньги или нет? Коли не берешь, так, пожалуй, я и все себе возьму...

Гриша. Ну уж... давай, давай...

Василий Кузьмич. Нет! Грустно что-то становится, а сам не знаю, отчего... как-то странно! И благоразумно, да и нехорошо, однако благоразумно... Что-то в толк не могу взять... а душно мне здесь становится, пойти на воздух, да благо уж и утро... лавки отворяют... люди выходят... им весело... а мне скучно все чтой-то... дай заверну в кондитерскую. А! Газеты разносят... хоть их почитать от скуки... А! Моя некрология! Посмотрим. (*Читает.*)

«На сих днях скончался такой-то и такой-то, Василий Кузьмич Аристидов, искренно оплакиваемый родными, друзьями, сослуживцами и подчиненными, всеми, кто знал и любил его. А кто не любил сего достопочтенного мужа? Кому неизвестны его зоркий ум, его неутомимая деятельность, его непоколебимое прямодушие? Кто не ценил его доброго и откровенного характера? Кто не уважал его семейные добродетели, нравственную чистоту? Посвящая всю жизнь трудам неуспешным, он, не желая отдать детей в общественное заведение, успевал лично заниматься их воспитанием и умел образовать в них подобных себе достойных сограждан. Прибавим к сему, что, несмотря на важные и многотрудные свои занятия, почтеннейший Василий Кузьмич уделял время и на литературу; он знал несколько европейских языков, был одарен изящным вкусом и тонкой разборчивостью. Здесь кстати заметить нашим врагам, завистникам, порицателям, нашим строгим ценителям и судьям, что почтеннейший Василий Кузьмич всегда отдавал нам справедливость: в продолжение многих лет был постоянным подписчиком и читателем нашей газеты...»

Ну уж тут немножко примахнули; никогда не подписывался — даром присылали... так... из угождения... Ну что еще такое?

«Он знал и верил, что мы за правду готовы жизнью пожертвовать, что наше усердие, благонамеренность... чистейшая нравственность... участие публики...»

Ну, пошли писать! Это еще что за приписка?

«Долгом считаем уведомить читателей, что нашей газеты на нынешний год остается немного экземпляров, и потому... подписка принимается у известного своей честностью и аккуратностью книгопродавца...»

Ну, уж это их домашние дела; рады были к чему-нибудь прицепиться... однакож спасибо и негодяям за доброе слово...

Что это за шум на улице? А-га! Возвращаются с похорон. Уж не с моих ли? Дай-ка послушать, что-то обо мне говорят.

— Делец был хоть куда, да одно плохо... Мимо.

— Претонкая был штука!..

— Уж ты что с ним ни делай, всегда вывернется!..

— Аккуратный человек...

— Без стыда и без совести...

— Гвоздин через него в люди пошел...

— По миру пустил и меня и детей...

— И взятку взял, да в прах разорил, — верно там больше дали...

— Никогда не брал...

— Брал, да искусно, через камердинера...

— Что вы?

— Уж кому это лучше меня знать?

— И с живого и с мертвого...

Тьфу пропасть! И слушать неприятно!.. Вот живи после этого! Берегайся, рассчитывай каждый шаг, обдeldывай дела свои умненько, умер — все открылось! Нет! Нечего сказать, грустно, да и досадно — рта никому зажать нельзя!.. Куда бы деваться?.. Куда? Разве побродить по городу... благо день...

Вот уже и потемнело. Не знаю отчего, как-то мне ночью страшно становится... Кажется, чего мне теперь бояться... а вот под сердцем так что-то и колет... Куда бы деваться? А! Театр освещен. Давно уж я там не был, — да, благо, и за вход не надобно платить. Посмотрим-ка, что такое дают. «Волшебную флейту» — никогда не видал. Ах да, опера! Вот музыки я никогда не любил — так, душа к ней не лежала... Ну, да нужды нет, только бы вечер убить...

Что это за аллегория? Человек и сквозь огонь и сквозь воду проходит... то есть ему здесь разные испытания... посмотрим-ка поближе. (На сцене.) Э! Вода-то картонная, да и огонь-то тоже... да еще молодец-то пересмеивается с актри-

сой... оно и здесь, как везде: снаружи подумаешь невесть что, а внутри пустошь, крашенная бумага да веревки, которыми все двигается. (Обращается к зрителям.) А! Недурен вид отсюда на публику. Послушайте, господа, что вы видите здесь — совершенный вздор; вот здесь парни в высоких шапках — маги, что ли, что они за околесную несут и про добродетель и про награды, такие и между вами есть, — все неправда. Они толкуют так потому, что за то деньги получают; да кто и выдумал-то все это, тоже из денег хлопотал; в этом вся штука. Поверьте мне: я в самом деле и сквозь воду и сквозь огонь прошел — а все вышло ничего; жил, имел деньги — было хорошо, а вот теперь что я такое? Так! Ничто! Слышите, что ли? Никто не слышит, все смотрят на сцену... видно, что-нибудь хорошо, отойти подальше. (В партере.) Так! Я этого ожидал! В награду за добродетель, за подвиги — исполнение всех желаний, и свет, и покой, и любовь — да! дожидайся... Однакож, как подумаешь, если б в самом деле добыть такое тепленькое местечко, где бы ничего не видеть, не слышать, забыть обо всем!.. Занавесь опустилась — вот и все! Все идут по домам, всякого ждет семья, друзья... а меня? Меня никто не ждет! Эта глупая пьеса на меня тоску навела. Куда бы деваться? Не оставаться же здесь, в пустом темном театре... Ах! Если б уснуть! Бывало, что и неприятное случится, заляжешь в постель, заведешь глаза и все позабудешь, а теперь вот и сна нет! Грустно!.. (Несется по городу.) Ух! Вот как проходишь мимо этих домов, даже жутко становится, так и слышится: вот здесь бранят, там проклинают, там насмеваются надо мной... и ушей нечем себе зажать и глаз не можешь закрыть — все видишь, все слышишь... Куда это меня тянет?.. Никак за город?.. А! Кладбище! Да! Вот и моя могила... вот и мое тепленькое местечко! Здесь и он лежит! У, какой! И червяк у него ползет по лицу! А все-таки ему веселее моего; по крайней мере он ничего не чувствует... Да и мне даже здесь лучше, нежели там; хоть не слышишь людского говора... Ох, грустно! Грустно!..

Кажется, я уж начал позабывать дни... уж не знаю, сколько и времени проходит... Да и на что мне знать? Только и отрады мне, что на моей могиле... тихо! Едва потянешься куда, опять и брань и проклятие!.. Однако хотелось бы посмотреть, что у меня в доме творится?.. Дай потащусь... Ну! В дорогу! Что это снова меня тянет... Какая-то бедная квартирка... Э-ге! Да тут Лиза, моя племянница... стало быть, деги-то выгнали ее из дома. Ох, нехорошо! Кто это у ней? А! Молодой Валкирин, что приволакивался за ней... Ай! Ай! Чтоб не было беды... О чем это они поговаривают?..

В а л к и р и н. Скажите, Лизавета Дмитриевна, неужели у вас не осталось никаких бумаг после покойного батюшки?

Л и з а. Все, какие были, переданы еще батюшкой Василию Кузьмичу... Но что с тобой сделалось, Вячеслав? Ты расстроен, бледен, как смерть?..

В а л к и р и н. Не спрашивайте меня, Лизавета Дмитриевна! Ужас!.. Ужас!.. Что у вас было четыреста тысяч, это верно, что они украдены — это еще вернее... Я двинул дело, и готовится следствие, но знаете ли, какое возражение приготовили ваши братья? Они утверждают, что у Дмитрия Кузьмича никогда не было дочери!..

Л и з а. Как не было? А я?

В а л к и р и н. Это знают: вы, я, и они это знают, но в бумагах нет никаких доказательств...

Л и з а. Как! Я не дочь моего отца? Да что же я такое?

В а л к и р и н. Пока не найдутся доказательства, вы — ничто... вы — самозванка.

Л и з а. Боже мой! Какой ужас!.. Но как это можно? Пусть спросят!.. Кто не знает, что я дочь моего отца?..

В а л к и р и н. Повторяю вам: все знают; но в бумагах этого нет, а это главное...

Л и з а. Что ж делать теперь?..

В а л к и р и н. Времени терять нельзя; я выхлопотал себе отпуск и в нынешнюю же ночь отправляюсь в бывшую деревню вашего батюшки; там, вероятно, я отыщу какие-нибудь следы...

В а с и л и й К у з ь м и ч. Да! Дождись! Много отыщешь!..

Л и з а. Я не знаю, Вячеслав, как мне благодарить тебя... все меня оставили, все гонят... один ты...

В а л к и р и н. Вы знаете, какой я жду награды? Одного: вашей руки...

Л и з а. О! Она давно твоя, но не теперь, не в эту минуту... ты сам беден, я не хочу, чтобы ты женился на нищей, да и твой отец никогда на это не согласится... я не хочу быть причиной раздора в вашем семействе, особенно теперь, когда я... страшно вымолвить... даже не дочь моего отца! *(Рыдает.)*

В а л к и р и н. Скажите только одно слово... я не посмотрю ни на что... вы завтра же будете моею женою...

Л и з а. Нет, благородный человек! Я не хочу воспользоваться твоим самоотвержением, а ты также не захочешь унижить меня: теперь твое предложение — почти милостыня, в которой я буду упрекать себя; будь доволен тем, что моя рука, моя любовь принадлежат тебе... Бог все устроит — и тогда ничто не помешает нашему счастью.

В а с и л и й К у з ь м и ч. Они кидаются друг другу в объятия, оба плачут, беденькие! Мне даже как будто жаль их; а как помочь? — Ах! Кабы знал да ведал, оставил бы ей что-нибудь на прожизнку... А то, видишь, плуты, все себе захватили... Ведь правду сказать, теперь мне на что? Не все ли равно, тем бы или другим досталось... Ах! Жалко! Душу теснит, смотреть на них больше не могу!.. Нет, жутко мне здесь оставаться... Скорее вон из города, чтобы только не видеть и не слышать ничего!..

Как будто дышать здесь привольнее; оно-таки скучно одному по большим дорогам таскаться, а все лучше... Ба! Кажется, знакомые места... Да! Как же! Вот и город, в котором я на своем веку славно попиравал. Что там, помнят меня или забыли?.. Вот и дом, в котором я жил; посмотрим, что в нем творится... А! Вот и мой прежний подчиненный! Приятно встретить знакомое лицо! С ним какой-то приезжий, и очень встревожен, что они толкуют?

П р и е з ж и й. Скажите, неужели действительно ничего не сохранилось из этого драгоценного собрания?

П р о в и н ц и а л ь н ы й ч и н о в н и к. Повторяю вам, что Василий Кузьмич приказал все истребить.

П р и е з ж и й. Но с какой целью?

П р о в и н ц и а л ь н ы й ч и н о в н и к. Да так, для чистоты и порядка. Как теперь помню: сидел он за вистом, призывал меня к себе и говорит: «Что это, батюшка, у вас так много старого хлама? Куда его бережете? Только место занимает, а мне некуда моих людей поместить». Я было заикнулся, что, дескать, древность большая, а он как на меня прикрикнет: «Прошу, батюшка, не умничать! Прошу все это старье собрать, на пуды продать и деньги ко мне представить, а комнаты очистить, чтобы послезавтра мои люди могли туда перейти».

П р и е з ж и й. Так что же вы сделали?

П р о в и н ц и а л ь н ы й ч и н о в н и к. Я должен был исполнить приказание. Какие свитки были, продал в свечные лавки, а вещи в лом.

П р и е з ж и й. Как вещи? Разве были и вещи?

П р о в и н ц и а л ь н ы й ч и н о в н и к. Да, только все старье: платье, бердыши и много-много вещей, которых и назвать не сумеешь... Например, были часы; говорят, им было лет четыреста, только старые такие, глядеть не на что, даже неблагоприятно. За одиннадцать рублей с полтиной слесарю продал; все старье, говорю вам...

П р и е з ж и й. Боже мой, какая потеря!

Провинциальный чиновник. Я уж и сам жалел, а делать было нечего. Да что это вас так интересует?

Приезжий. Как мне объяснить вам это? В этих бумагах хранился единственный экземпляр одного важного документа для нашей истории; я употребил все мое небольшое имение, чтобы отыскать его; изъездил десятки городов и, наконец, вполне убедился, что это документ нигде, как у вас... Теперь все десятилетние мои труды потеряны, важный пропуск останется вечным в нашей истории, и я должен возвратиться ни с чем, без надежды и... без денег... Скажите, у вас была еще старинная живопись на стенах?

Провинциальный чиновник. Живопись? Как же-с! Она стерта по приказанию Василия Кузьмича.

Приезжий. Да что у вас был за варвар Василий Кузьмич?

Провинциальный чиновник. То есть он не то чтобы варвар был; эдаких, знаете, злодейств не делал, а так, крутенок был... вот видите, я расскажу...

Василий Кузьмич. Ну, пошли поминки по мне... дальше, дальше! (*Пролетает через город.*) Что это? Слышится рыдание... Опять мое имя поминают.

Голос в бедной лачужке. О, чтоб этому Василию Кузьмичу не было ни дна, ни покрышки! Такая ли была б я теперь... Ластился тогда, проклятый, ко мне: не беспокойся, говорил, матушка, уж я все улажу; поднимете дело — хуже будет; я вам за все отвечаю, все ваше сохранится, все улажу... вот и уладил, окаянный; я сдуру-то ему поверила да срок пропустила, а вот теперь и умирай с голода с пятью сиротами, а ведь, кажется, и богат был и важен! Как эдаких людей земля носит!

Василий Кузьмич. Еще поминки! Мимо, мимо... Нет покоя! Хоть бы залететь в какую-нибудь трущобу... А, вот еще город, что это? Здесь, кажется, весело, ярмарка... Ахти! Опять про меня толкуют: говорят, что все разорились оттого, что складочное место построено не там, где бы должно, что и дорог к нему нет, и товары портятся... Ахти, правда! Да что же было делать? Волочился я тогда за одной вдовушкой, а ей хотелось, чтобы ярмарка против ее дома была; сколько хлопот-то было! Чего мне стоило и интриговать, и обманывать, и доказывать, что здесь-то самое лучшее и самое выгодное место... а к чему все это повело? Мимо! Мимо!.. А как подумаешь, что это в самом деле за распоряжение такое? Уж если умер, так умер — и концы в воду: А то нет — чем ни пошалил, все так в глаза и лезет, все вопит, все корит... право, странное распоряжение...

Нет сил больше! Уж где я ни таскался? Кругом земного шара облетел! И где только не прикорну к земле — везде меня поминают... Странно! Ведь кажется, что я такое на свете был? Ведь если судить с благоразумной точки зрения, я не был выскочкой, не умничал, не лез из кожи, я ровно ничего не делал, — а посмотришь, какие следы оставил по себе! И как чудно все это зацепляется одно за другое. Смотришь, в тюрьме сидит человек, и в глаза его не видал, — пойдешь добираться и доберешься, что все по моей милости! Иного за тридевять земель занесло — и опять по моей милости. Тут и вдовы, и сироты, и должники, и кредиторы, и старый, и малый — все меня поминает и от чего? Все от безделицы, право от безделицы: уверяю вас, я человек прямой и откровенный, от почерка пера, от какого-нибудь слова, сказанного или недосказанного... Право, сил нет! Индо страшно становится! А между тем так и тянет на родину, так и подмывает. — Ну, вот я и здесь! Опять меня остановило над Лизиной квартиркой... Что за бедность! К такой ли она жизни привыкла? Исхудала, несчастная, на себя не похожа; куда и красота девалась? — Работает над бельем, а слезы так и каплют, я чаю, также меня поминает... А это кто к ней входит? Барин какой-то; как разодет: видно, богатый; с чем это он к ней подъезжает? И как она обрадовалась ему, вскочила!

Л и з а. Я думала, Филипп Андреевич, что вы меня совсем забыли.

Б а р и н. Нет, сударыня, как можно! Захлопотался немного, — знаете, дела по министерству... Ну что, как поживаете?

Л и з а. Ах, дурно, Филипп Андреевич, очень дурно! Мой поверенный пишет, что никакой нет надежды отыскать мои бумаги.

Б а р и н. Ничего, ничего, сударыня, — это мы все обделаем...

Л и з а. Ах, вы истинный мой благодетель! Без вас я бы совсем погибла; я и до сих пор живу теми деньгами, которыми вы меня ссудили, когда я ваше серебро продала, — а заплатить до сих пор, извините, нечем.

Б а р и н. Ничего, ничего, сударыня! После сочтемся; вы меня сами очень одолжили... вы понимаете, мне самому, в моем чине, неловко как-то продавать, — а случается нужда в деньгах... вы понимаете.

В а с и л и й К у з ь м и ч. Чем больше всматриваюсь — знакомое лицо! Ба, да это плут Филька, мой камердинер, переодетый! Ну! Беда!..

Л и з а. Очень понимаю и готова вам служить, сколько могу: я сказала, что это серебро матушкино, да к стати и вензель на серебре пришелся по моему имени.

Филька. Прекрасно... впрочем, мне нельзя долго у вас оставаться; я заехал к вам на минуту, был в ломбарде, выкупил там свои вещи, а теперь надо ехать к министру: боюсь возить — потеряешь, позвольте мне у вас оставить вещи.

Лиза. С удовольствием. Ах, какие прекрасные бриллианты, фермуары, диадемы... и как много!

Филька. Да! Прекрасные, прекрасные и очень дорогие. Пожалуйста, припрячьте их подальше.

Василий Кузьмич. Лиза! Лиза! Что ты делаешь! Ведь это краденые вещи, ведь это вор, ведь это Филька... Ничего не слышит... отчаянье!

Филька. Ах, нет! Сделайте милость, не в комод: могут украсть; воры обыкновенно прежде всего хватаются за комод — я уж это знаю...

Лиза. Да куда же?

Филька. А знаете, вот за почку — оно гораздо безопаснее!

Лиза. Ах, как это смешно!

Филька. Теперь прощайте, до свиданья... *(Выходит и в дверях встречается с полицейским, отступает на шаг и бледнеет.)*

Полицейский. А! Попался, приятель! Давно мы тебя поджидали! Так здесь у тебя воровской притон? Свяжите-ка ему руки, да и красавице-то его тоже, а комнату обыскать. *(Обыскивают комнату и находят за печкой бриллианты.)*

Василий Кузьмич. Ах, бедная Лиза! Да она не виновата! Слышите, она не виновата? Нет, не слышат! Как растолковать им?.. Она в беспамятстве; слова не может вымолвить... Но вот кто-то еще... Ах, это Валкирин; может быть, он ее выручит... он не может прийти в себя от удивления... объясняется с полицейским; тот ему толкует о поведении Лизы, о давних ее сношениях с вором, о проданном серебре... Лиза узнает Валкирина, бросается к нему, он ее отталкивает... Нет, не могу больше смотреть. Скорее в могилу, в могилу — одно мое убежище...

Так вот жизнь, вот смерть! Какая страшная разница! В жизни что бы ни сделал, все еще можно поправить; перешагнул через этот порог — и все прошедшее невозвратно! Как такая простая мысль в продолжение моей жизни не приходила мне в голову? Правда, слыхал я ее мельком, встречал ее в книгах, да проскользнула она между другими фразами. Там все так: люди говорят, говорят и так приговораются, что все кажется болтовней! А какой глубокий смысл может скрываться в самых простых словах: «Нет из могилы возврата!» Ах, если б я знал

это прежде!.. Бедная Лиза... Как вспомню об ней, так душа замирает! А всему виною я, я один! Я внушил эту несчастную мысль моим детям — и чем! — неосторожным словом, обыкновенною мирною шуткой! Но виноват ли я? Я ведь думал, что успею Лизу устроить! Правда, пожил я довольно на счет ближнего, но никогда бы не привел дочери моего брата в то положение, в котором она теперь. Неужели в детях моих нет искры чувства?.. А откуда оно бы зашло к ним? Не от меня — нечего сказать; едва я подозревал в них зародыш того, что называется поэтическими бреднями, как старался убивать их и насмешкой и рассуждением; я хотел детей своих сделать благоразумными людьми; хотел предохранить их от слабодушия, от филантропии, от всего того, что называл пустяками! Вот и вышли люди! Мои наставления пошли впрок, мою нравственность они угадали! Ох! Не могу и здесь дольше оставаться — и здесь уж для меня нет покоя! Других голосов не слышу, но слышу свой собственный... Ох! Это совесть, совесть! Какое страшное слово! Как оно странно звучит в слухе! Оно кажется мне совсем иным, нежели там казалось; это какое-то чудовище, которое давит, душит и грызет мне сердце. Я прежде думал, что совесть есть что-то похожее на приличие, я думал, что если человек острожно ведет себя, наблюдает все мирские условия, не ссорится с общим мнением, говорит то, что все говорят, так вот и вся совесть и вся нравственность... Страшно подумать! Ах, дети, дети! Неужели и вас такая же участь ожидает? Если б вы были другие, если бы другое вам внушено было, вы, может быть, поняли бы мои страдания, вы постарались бы истребить следы зла, мною сделанного, вы поняли бы, что одним этим могут облегчиться мои терзания... И все напрасно! Долгая, вечная жизнь предстоит мне, и мои дела, как семена ядовитого растения, — все будут расти и множиться!.. Что ж будет наконец? Ужас, ужас!..

Вот и тюрьма. Вижу в ней бедную Лизу... но что с ней? Она уже не плачет, она поводит вокруг себя глазами... Создатель! Она близка к сумасшествию... Дети, знаете ли вы это... где они? Младший спит, старший сидит за бумагами... Боже, что в них написано! Он обвиняет Лизу в разврате, поддерживает подозрение в воровстве, тонко намекает о ее порочных наклонностях, замеченных будто еще в моем доме... И как искусно, как хитро сплетена здесь ложь с истиной! Мои уроки не потерялись: он понял искусство жить... как я понимал его... Но что с ним? Он взглянул на спящего брата: какое страшное выражение в лице его! О, как бы я хотел проникнуть в его мысли... вот я слышу голос его сердца — ужас, ужас! — он говорит

сам себе: «Эта дрянь всегда будет мне во всем помехой; откуда и жалость у него взялась, и раскаянье, и заступничество? Ну что, если он сглупа все выболтает? Тогда беда! Нечего сказать — уж куда бы кстати ему умереть теперь!.. А что, мысль недурная! Почему не помочь? Стоит только несколько капель в стакан... что говорится, попотчевать кофеем... А что? В самом деле! Снадобье под рукой, стакан воды возле него на столе, вприсонках выпьет, не разберет — и дело с концом».

Петруша! Сын мой! Что ты делаешь? Остановись!.. Это брат твой... Разве не видишь?.. Я у ног твоих... Нет! Ничего не видит, не слышит, подходит к столу, в руках его склянка... Дело сделано...

Боже! Неужели для меня не будет ни суда, ни казни? — Но что это делается вокруг меня? Откуда взялись эти страшные лица? Я узнаю их! Это брат мой укоряет меня! Это вдова, сироты, мною оскорбленные! Весь мир моих злодеяний! — Воздух содрогнулся, небо разваливается... зовут, зовут меня...

В это утро Василий Кузьмич проснулся очень поздно. Он долго не мог прийти в себя, протирал глаза и смутно озирался.

— Что за глупый сон! — сказал он наконец: — индо лихорадка прошибла. Что за страхи мне снились, и как живо — точно наяву... отчего бы это? Да! Вчера я поужинал немного небережно, да еще лукавый дернул меня прочесть на сон грядущий какую-то фантастическую сказку... Ох, уж мне эти сказочки! Нет чтоб написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то всю подноготную в земле вырывают! Вот уж запретил бы им писать! Ну на что это похоже? Читаешь и невольно задумаешься, — а там всякая дребедень и пойдет в голову: право бы, запретить им писать, так-таки просто, вовсе бы запретить... На что это похоже? Порядочному человеку даже уснуть не дадут спокойно... Ух! До сих пор еще мороз подирает по коже... А уж двенадцать часов за полдень; эх я вчерась засиделся; теперь уж никуда не поспеешь! Надо, однакож, чем-нибудь развлечься. К кому бы поехать? К Каролине Карловне или к Наталье Казимировне?

ЖИВОПИСЕЦ

(ИЗ ЗАПИСОК ГРОБОВЩИКА)

Однажды, когда я сидел у Мартына Григорьича, вошел мастеровой:

— Пришли от Данила Петровича.

— Зачем? — спросил хозяин.

— Да за гробом.

— Кто у них умер, уж не жена ли?

— Нет, Данила Петрович сам изволил скончаться...

Мартын Григорьич всплеснул руками:

— Может ли это быть? Бедный! Давно ли мы с ним виделись?.. Такой талант! Такое сердце!

— Прсят дощатого гроба подешевле, а у нас такого нет, — прервал его хладнокровно работник.

— Неси какой есть готовый, не твое дело... Бедный, бедный Данила Петрович!.. — С сими словами он взял шляпу и сказал мне: — Хотите ли поклониться праху незнакомого вам, но замечательного человека? Пойдемте со мною. Вы слышали о Шумском?..

— Никогда, — отвечал я, — но я готов итти с вами.

— Так! Участь этого человека быть неизвестным; но по крайней мере он начнет жить после смерти; может быть, мне суждено быть его проводником к бессмертию. Неужли и вы не знаете, что мой бедный неизвестный Данила Петрович был, может быть, одним из первых живописцев нашего времени?..

— Я никогда не видал ни одной его картины!..

— Немудрено, потому что у него не было ни одной законченной; но пойдем в его мастерскую, и вы уверитесь, что я говорю правду. Я недавно с ним познакомился; он был очень, очень беден, но все, что скрывалось в его голове, все, что нечаянно он бросил на полотно нетерпеливою кистью, того я вам пере-сказать не сумею... Вы сами увидите...

Мы вошли. Грустно было смотреть на мастерскую бедного художника. Бледный труп его лежал на простых досках; на лице его еще остались следы внутреннего недавно погасшего огня; черные волосы лентами струились с прекрасно образованной головы; но все было искажено, запятнано смертью; его покрывало едва держащееся рубище; вокруг были разбросанные краски, палитра, кисти; на огромной раме натянутое полотно: оно невольно приковало мое внимание; но на холсте не было картины, или, лучше сказать, на нем были сотни картин; можно было различить некоторые подробности, начертанные верною, живою кистью, но ничего целого, ничего понятного. От нетерпения ли художника, от недостатка ли в холсте, но видно было, что он рисовал одну картину на другой; полустертая голова фавна выглядывала из-за готической церкви; на теньеровском костюме набросана фигура Мадонны; сметливый глаз русского крестьянина был рядом с египетскою пирамидою; водопады, домашняя утварь, дикие взоры сражающихся, цветы, кони, атласные мантии, уличные сцены, кедры, греческие профили, карикатуры — все это было перемешано между собою на различных планах, в различных колоритах, и углем, и мелом, и красками, — и ни в чем не только нельзя было угадать мысли художника, но с большим трудом можно даже было уловить какую-либо подробность. Стены, окна мастерской, палитра, мебели были испещрены точно такими же очертаниями... других картин не было. Наши изыскания были прерваны разговором в ближней комнате, сперва тихим, но потом мало-помалу возвышавшимся...

— Ах, не говорите, матушка, — повторял один женский голос, рыдая, — я, я убила его!..

— Полно, полно! Что с тобой? — отвечал другой, женский же, голос. — Что ты на себя клепешь! Полно, полно горевать. Еще молода, мать моя, — другого мужа найдешь.

— Нет, не нажить мне моего Данила Петровича!

— Полно, говорят тебе, слезами не поможешь, да и что правду сказать: счастлива, что ли, ты с ним была? В довольстве, что ли? Что в нем пути-то было?..

Вдова не слушала, а только повторяла свое: «Я убила его; он сам говорил, сердечный: ты убьешь меня... Я точно убила его!..»

А та отвечала: «Полно на себя клепать! Он просто занемог, да и умер...»

Эта сцена продолжалась довольно долго: жалобы с одной стороны, утешения с другой; наконец последние превозмогли; казалось, рассуждения собеседницы утешили вдову, по крайней мере она успокоилась. Мой товарищ хотел навеститься

к ней; но дверь отворилась, и от вдовы вышла женщина пожилых лет в крепко накрахмаленном чепце, с веселым и добродушным видом.

— Ах, это ты, куманек! Добро пожаловать; а что, ты к ней, что ли? Ну, уж лучше не ходи, — пусть ее наплачется досыта; авось-либо, бог милостив, поплачет, поплачет, да и перестанет; а денька через два-три как рукой снимет. Помоги-ка мне лучше отдать последний долг покойному. Сердечный! Сердечный! — прибавила она, посмотря на бледное искаженное страданиями лицо молодого художника. — Не умел жить на сем свете. А это кто, батюшка? — продолжала она, взглянув на меня с любопытною улыбкою, которая не мешала ей отирать слезы...

— Это мой подмастерье, — отвечал Мартын Григорьич.

Я поклонился.

— Никогда еще у тебя не видала, почтенный...

— Недавно поступил, Марфа Андреевна.

Она взглянула на меня с тоном покровительства и продолжала свой разговор. Во все время печальной церемонии и потом, возвращаясь к себе домой, куда мы, перемигнувшись, пошли ее проводить, Марфа Андреевна говорила без умолку; из слов ее я скоро узнал, что она богатая мещанка и занимается скорняжеством, то есть шьет шубы. Мы скоро познакомились; я ей полюбился, она мне рассказала всю жизнь живописца; некоторые ее фразы уцелели в моей памяти; постараюсь передать их, как умею.

— Так вы, Марфа Андреевна, хорошо знавали Данила Петровича? — спросил я...

— Эка, батюшка, видно ты молод, уж мне не знать Данила Петровича! Не только его, да с батюшкой его хлеб-соль важивала, да и бабушку-то его знавала, — такая была из себя видная, здоровая, — помнишь, бывало, торговала в Бабьем ряду... Да где тебе помнить! Ах, горемычный, горемычный Данила Петрович! Верно уж ему так было на роду написано. Да и то правду сказать, всегда беспутный был; а кто виноват? Отец баловал. Отец был зажиточный человек, в Панском ряду на сотни тысяч торговал, — вот и Мартын Григорьич его знавал. Он, бывало, сына в ряд, а тот и руками и ногами: «Пусти, батюшка, в живописцы, пусти, да и только»; а старик-то сглупа, чем бы его себе приготовить в подмогу, послушался, да и отдал в ученье к какому-то немецкому живописцу, да, бывало, еще шутит покойник: «Хошма, — говорит, — у меня теперь вывеска на лавке будет даровая». Не дождался он вывески от сына, а только обанкрутился, да с горя и богу душу отдал. А сынок-то остался гол, как сокол, а себе и ухом не ведет; да туда же спесив: жил, жил у немецкого живописца на квартире на всем готовом, одет, обут, да низко показалось, не ужил-

ся; вишь ты, жаловался, будто немецкий живописец, — не припомню его имени, прах его возьми, — заставлял его на своих картинах рисовать, его работу за свою выдавал, а его начал с пути сбивать. Да! Важное дело! Да если бы и так, то что за беда. Известное дело — мастерство: молодой человек сперва на других поработай, а там на себя. Вот и ты у Мартына Григорьяча живешь, неужли ты станешь ему указывать: «Вот эту доску я состругал, вот этот винт я привернул, а не ты...» Говорю тебе, совсем беспутный был. Прибежал ко мне, с три короба наговорил, и все свысока. Я ничего не поняла: «И что я-де теперь, матушка Марфа Андреевна, буду на воле работать, на себя, и вся публика-то, все господство-то меня узнает, и картину на выставку-то поставлю, золотом-то я все сундуки отцовские засыплю... и я-то буду художник». Сердце мое чужло недоброе: «И впрямь ты будешь гудошником, — сказала я ему, смеючись, а он рассердился: вишь, будто я не могла и понять-то его! Я было, чтобы помириться, ему 10 целковиков в руку, а он на стол их бряк — так разгорячился, мой батюшка; только и твердит: «У меня талант, у меня талант». Ну, подумала, посмотрим, какой тебе талант на роду написан: не увидим, так услышим.

«Вот обзавелся он, горемычный: где-то лачужку сыскал на Выборжской стороне и написал вывеску: «Живописец Шумский»; так и думал, что вся публика к нему разом и соберется. Не тут-то было: где-где придет к нему какой-нибудь сиделец-высочка вывеску написать.

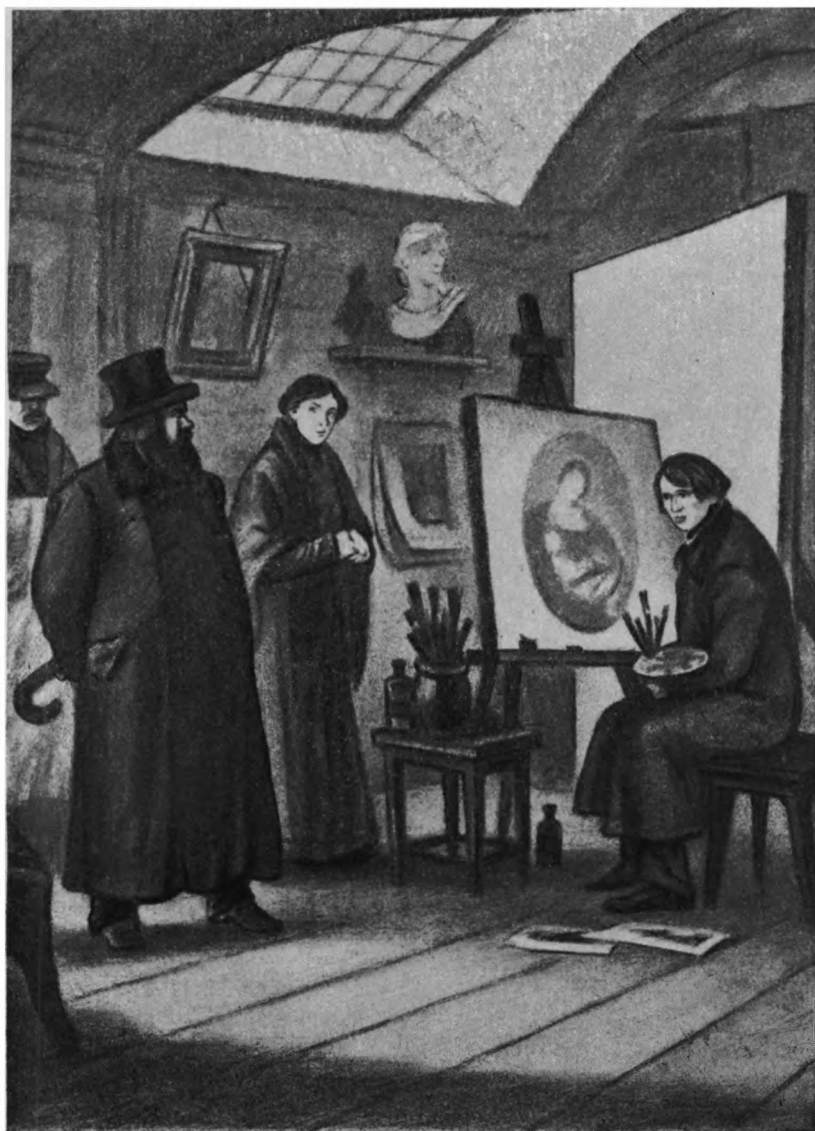
«Только он еще кое-как перебивался. Но как на беду попадись ему на улице смазливая девочка. Слово за слово, узнал, что она сирота, ну приставать: «Поди ко мне мадели делать». Та ему в ответ: «Я-де, батюшка, только на кухне кое-что стряпать умею, а никаких маделей никогда не дельвала». — «Нужды нет, уж я тебя выучу». Девке только что отказали от дома, деваться ей было некуда, — из одной квартиры к нему пошла.

«Вот, что же, батюшка! Привел он ее к себе, да и ну с нее патреты рисовать — очень нужно кому! Да еще какой, слышь, бесстыдник: и так ее поставит и сяк; то руку поднимет, то опустит; впрочем, говорят, так по их искусству надобно! — это дело не мое, кто их знает... Как бы то ни было, но только он писал, писал ее, да и вышел грех; вестимо дело: он парень молодой, она девка смазливая, дошло до того, что уж ей стыдно было в люди показаться. Он, нечего сказать, человек был честный, покойник, говорит: «Мой грех, мне и поправить». Вот они женились; живут, друг другом не нахвалятся; она девка умная, хозяйство завела; пожили немного — глядь, то хлебник, то мясник за долгом придет, то хозяин за квартиру просит, а

кошель-то пуст-пустехонек. Бедная баба и туда и сюда, как бы работу сыскать, а он, покойник, не тем будь помянут, и ухом не ведет. На его счастье Сидор Иванович дочь замуж отдавал, — купец богатый, почтенный, хотел все дело по порядку исполнить, приданое приданным, а к тому же захотел с дочери да с зятя патреты повесить у себя на дому. Позвал Данила Петровича, говорит: «Вот тебе сто рублей, а как патреты напишешь, так еще сто рублей дам, только схоже напиши». А Данила Петрович ему: «Уж это-де мое дело, так-де напишу, что от настоящего не узнаешь». Вот Сидор Иванович — купец богатый, вестимо дело, хотел похвастать — надел на свою Дуняшу и бралиантов, и жемчугов, и подборов, и подвесок, не только матушкиных, но что и от бабушки да прабабушки досталось, чтобы, дескать, все видели, что не нищую замуж выдает; как вошла, так индо в комнате засветлело, даже Данила Петрович остолбенел. «Ну, — говорит отец, — рисуй, как знаешь; но только так, чтоб подвески спереди, да и гребень сзади был виден». Что же Данила Петрович — ах, беспутная головушка! — как закричит себе: «Что это вы красавицу изуродовали! Она молода и свежа и собой хороша, что ее, как коломенскую куклу, мишурой-то убирать?» А какая мишура: все жемчуг да бралианты... «Долой, — говорит Данила Петрович, — и подборы, и подвески, и гребень, все-де это портит ее натуру», — да как распустит ей косы по плечам, и стала Дуняша словно русалка, а Данила-то храбрится: «Вот уже, — говорит, — патрет напишу, так всему свету на удивление будет». Только старик не тех мыслей был. «Нет, — говорит, — не дам над моим детищем издеваться, не на смех ее писать, словно какую актерку трепаную, а видно ты, Данила Петрович, своего дела не разумеешь, коли жемчугов да бралиантов не можешь списать; хоть одного зятя мне напиши».

«Данила Петрович прикусил язычок. «Ну, давай, — говорит, — зятя». Привели зятя; надо тебе знать, что зять был человек чиновный, копиистом служил; ну, разумеется, также похвастаться хочет, принарядился, праздничный мундир надел. Данила Петрович и руками и ногами: «Не умею мундиров писать!» — стал на том, да и только. Тут уже купец рассердился, да и сказал Данилу Петровичу: «Ступай же, — сказал он, — куда знаешь, коли своего дела не разумеешь, а мы тебе не пешки дались». А Данила-то, чем бы спасовать, выкинул на стол сто рублей, да и поминай как звали. Так и не впервые было. Что ему ни закажут, все перехитрит, к стене не прислонишь; меж тем дома и холодно и голодно. А Данила, чем бы горю помочь, сидит у себя в нетопленной комнате, мажет по холсту каких-то нехристей да песенки напевает. Вот немного погоды на него стало находить: бродит, бродит день деньской, да и уставится

против старой стены, смотрит на нее то с той, то с другой стороны: вишь ты, представлялись ему какие-то фигуры на стене; соседи узнают, домой приведут, а он свечку зажжет, да всю ночь и марает по стенам — индо смотреть страшно — все стены испортил. Вот жена к нему придет: «Полно, Данила Петрович, свечки-то палить; мало тебе дня? Ведь свечка-то гривну стоит». А он осерчает, закричит: «Ты убьешь меня», — да и только. С таким изделием не много наживешь; вот он, сердечный, не ест и не пьет, только и твердит: «Вот погоди, найду, непременно найду». Чего уже он, клада, что ли, искал, не могу тебе сказать, только он со дня на день худел; что ночью намажет, то днем сотрет; в дом ничего, а из дома то и дело то мебель, то платье продаст. Жена его станет резонить, а он только и твердит: «Ты убьешь меня». Поди, толкуй с ним! Так они пожили немного-недолго, — не осталось в доме ни синего пороха. Видит, нечего делать — поугомонился, пошел по гостиному ряду спрашивать: нет ли где вывески подновить? Насилу поверили, таким он безумным казался. Подновил вывески две-три, другой работой забрался — зашиб копейку, и опять гордость напала. Раз, вот осенью, ушел из дома с раннего утра, невесть где целый день протаскался: уже после узнали, что он до Парголова доходил. Вот уж и вечер, вот и ночь, вот уж и рассветать стало, — дождь, между тем, ливмя, а Данила нет как нет. Жена всполошилась, бегать — туда, сюда — где! И с собаками не сыщешь; уж к утру воротился — весь измоченный, сухой нитки нет, бледный и, словно полоумный, кричит: «Нашел, нашел!» А глаза-то у него так и горят; выхватил из-под мышки холстину, натянул на раму и тут же, не раздеваясь, ну на ней какую-то ладонную, что ли, писать. К вечеру прохватил его озноб. «Что, — говорит, — жена, кабы кофею сварить?» Той уж стало невтерпеж; она ему в ответ: «Какою тебе кофею — и хлеба в доме нет; вишь, от тебя ни шерсти, ни молока, да туда же кофею просишь!» Замолк Данила Петрович, опять за мазилку, пописал недолго, да и свалился на пол, как сноп. Подняли, положили на постель, всю ночь бредил. Вот лекарь пришел, — еще, на счастье, добрый человек, — то тем, то другим — через неделку оправился. «Ну, — лекарь говорит, — ты вышел из беды, Данила Петрович; только смотри, не оплошай; еще ты опасен, с постели не вставай и за работу не принимайся». Все обещал; жена как-то отлучилась, — приходит, а муж сидит за картиной, руки дрожат, еле не падает. Подняла его, уложила, прикрикнула; но что делать с безумным! День послушается, а на другой опять за свое — индо лекарь отказался. Однакож бог помог — оправился. Смотрит — в доме все чисто; последнее платье заложено — выйти не в чем; а ему и горя мало. «Незачем, — говорит, — теперь по улицам бро-



дить», — и сидит за своей ладонной да малюет. Меж тем жена плачет да горюет: пошла по знакомым; провела как-то, что в околотке мелочную лавку заводят, отыскала хозяина, уластила, вот он приходит, заказывает вывеску, дает в задаток рубли два-три. «Да смотри, — говорит, — ты, маляр, у меня вывески не задержи; мне скоро ее надобно; лавку скоро отделают; да смотри, появственнее да поглянцовитее напиши, и чтобы все на ней было, и сахарные головы, и банки с вареньями, и сыр голландский, и яблоки, и ряпушку копченую повесь, чтобы всякий-де видел, что-де все есть, чего душа ни пожелает; пожалуй, не задержи, а то другому закажу». Данила Петрович взял деньги, да и посмеивается. «Будь благонадежен, — говорит, — уж так тебе вывеску напишу, что, на нее глядя, и самому есть захочется».

«Ну, — говорит, — жена, слава богу! Деньги есть, и работа есть, только краски нужны; сходи купи; знаю, что дорого, да нечего делать, без них нельзя вывески написать; вот тебе записочка». Жена сдуру послушалась, пошла, купила: дали ей три скляночки, почти все деньги истратила. Пришла — обрадовался Данила, схватил краски, да чем бы за вывеску — опять за свою ладонную. Прошел не день и не два, — приходит купец за вывеской — куда! — ее и вполовине не было. Он к Даниле: «Давай вывеску или деньги подай!» Оно и дельно — ему было завтра лавку открывать. Данила туда, сюда. «Все брошу, — говорит, — в один день напишу...» Хвать — холста нет; купить не на что... Купец говорит: «Не дам ни копейки, опять обманешь». На крик собрались соседи, жена плачет, разливается. «Нечего греха таить, — вопит горемычная, — хоть вы прислушайте, добрые люди; мне уж с ним не сладить, вконец дом разорил...» Вот соседи етали его укорять: «Что ты за маляр, что и холста не имеешь? Купцу что за дело: он задаток дал; вот ведь натянута холстина, — ну, и пиши вывеску, чем вздор-то малевать, а слова не исполнять».

«Долго слушал Данила Петрович и молчал, словно рыба; но как услышал последнюю речь, пригорюнился. «Вы правы, — говорит, — точно правы: слово дал, надо исполнить»; схватил кисть, замарал всю картину и ну малевать сахарные головы; к другому утру вывеска была уж готова; купец, добрый человек, не помянул лиха, поблагодарил да на столе беленькую оставил. Жена не нарадуется, побежала скорее на рынок и кофею купила, чтобы только мужа потешить; приходит домой, смотрит — а он на полу, и трясет его лихорадка. Скорей за лекарем, да уж, видно, поздно: месяца два бедный промаялся, да и богу душу отдал. Отчего уже это ему приключилось, не знаю; лекарь толковал, что прежняя болезнь опять пришла!»

— А где же вывеска-то? — спросил я у рассказчицы...

— И, да кто ее знает! Говорят, и лавочка-то обанкротилась.

Здесь мы приблизились к дому, и я, распростившись с Марфой Андреевной, пустился отыскивать предсмертное произведение несчастного; я узнал имя хозяина лавочки, имя того, кто купил вывеску с аукциона, кому перепродал; наконец мои искания увенчались успехом: на Щукином дворе посреди ржавого железа я отыскал наконец вывеску Шумского — ее смыло дождем!

Г. Ф. Квитка-Основьяненко

1778 ~ 1843

ПАН ХАЛЯВСКИЙ



ПАН ХАЛЯВСКИЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

... Начинаю с начала, то есть от самого детства моего.

У наших батеньки и маменьки нас детей всего было: Петруся, Павлуся, Трофимка, Сидорушка, Офремушка, Егорушка и Сонька, Верка, Надежда и Любка; шесть сынков-молодцов и четыре дочки — всего десять штук... Мы, сыновья, получили имена, по-тогдашнему, по имени того дня, в который рождались; а дочерей батенька желали иметь по числу добродетелей и начали с премудрости... Были утешены, что уже, хотя в конце супружеской их жизни, явилась у них любовь. Несмотря ни на что, маменька все уверяли, что у них должен быть еще сын; но когда батенька возражали на это, что уже и так довольно и что не должно против природы итти, но маменька, не понимая ничего, потому что российской грамоты не знали, настаивали на своем и даже открыли, что они видели видение, что у них будет-де сын и коего должно назвать Дмитришею. Батенька поверили было маменькиному видению, но по прошествии нескольких недель начали возражать, что маменьке явилось ложное видение. Маменька плакали (они были очень слезливы: чуть услышат что печальное, страшное или не по их чувствам и воле, тотчас примутся в слезы; такая была их натура) и уверяли, что точно должно быть у них сыну, но батенька решительно сказали: «Это у тебя, душко, мехлиодия!» Так батенька называли меланхолию, которой приписывали все несбыточные затеи. Тем и заключилось умножение нашего семейства к пользе благосостояния нашего.

Правду сказать, не все сынки были молодцы: один из нас, Павлуся, был горбат от неприсмотра нянек, которых за каждым из нас было по две, потому что батенька были богатый человек. Павлуся как-то оступился и упал с крыльца, а крыльцо было высокое; с него один наш Сидорушка — о! да и проворная же был штука! — мог только прыгать; следовательно, можете посудить, как оно было высоко! Так вот с этого-то крыльца

Павлуся скатился вниз и повредил себя. Няньки тогда не сказали маменьке, да уже на пятом году возраста его увидели, что у него горб растет сзади. Досталось же тогда нянькам! Я думаю, что если они живы еще, то и теперь помнят благодарность батеньки и маменьки за присмотр Павлуся.

Брат Юрочка и сестра Любочка были у нас последние. У всех нас оспа была натуральная, и мы из рук ее вышли не вовсе изуродованными. Но у последних брата и сестры оспа была прививная, о которой батенька прослышав, что она входит в моду, захотели привить своим детям. Для сего они приказали старому нашему Кондрату, — который, по наслышке, рвал зубы и оттого назывался «цылюрьком», — так этому медику батенька, растолковавши, как они об оспе слышали, приказали ему привить. Маменька плакала, убивались и несколько раз хотели сомлеть (что теперь называется — в обморок упасть), однако не сомлевали, а ушли в другую горницу и шопотом укоряли батеньку, что они тиран, живьем зарезывают детей своих.

Батенька этого не слыхали, а если бы и слышали, то это бы их не удержало. Они были очень благоразумны и почитали, что никто и ничего умнее их не выдумает; и маменька в том соглашалась, но не во всяком случае, как увидим далее...

Пожалуйте. Оспа пристала, да какая! Так отхлестала бедных малюток и так изуродовала, что страшно было смотреть на них. Маменька когда увидели сих детей своих, то, вздохнувши тяжело, покачали головою и сказали: «А что мне в таких детях? Хоть брось их! Вот уже трех моих рождений выкидываю из моего сердца, хотя и они кровь моя. Как их любить наравне с прочими детьми! Пропали только мои труды и болезни!» И маменька навсегда сдержала слово: Павлуся, Юрочку и Любочку они никогда не любили за их безобразие.

Нас воспитывали со всем старанием и заботливостью и, правду сказать, не щадили ничего. Утром всегда уже была для нас молочная каша, или лапша в молоке, или яичница. Мяса по утрам не давали для здоровья, и хотя мы с жадностью кидались к оловянному блюду, в коем была наша пища, и скоро уписывали все, но няньки подливали нам снова и заставляли, часто с толчками, чтобы мы еще ели, потому, говорили они, что маменька с них будут взыскивать, когда дети мало покушали из приготовленного. И мы, натужась и собравшись с силами, еще ели до самого нельзя.

После завтрака нас вели к батеньке челом отдать, а потом за тем же к маменьке. Как же маменька любили плотно позавтракать и всегда в одиночку, без батеньки, то мы и находили у нее либо блины, либо пироги, а в постные дни пампушки или горофьяники. Маменька и уделяли нам порядочные порции и

приказывали, чтобы тут же при них съесть все, а не носиться с пищею, как собака-де.

Отпустивши прочих детей, маменька удерживали меня при себе и тут доставали из шкафика особую, приготовленную отлично, порцию блинов или пирогов с избытком масла, сметаны и тому подобных славностей. «Покушай, душко-Трушко (Трофимушка), — приговаривали маменька, глядя меня по голове: — старшие больше едят, и тебе мало достается». Управившись с этим, я получал от маменьки либо яблочко, либо какую-нибудь сладость на закуску и всегда с приказанием: «Съешь тут, не показывай братьям; те, головорезы, отнимут все у тебя». Такое отличие вразумило меня, что я маменькин «пестунчик» (любимец), что и подтвердилось потом. Но за что я попал в такую честь, хоть убейте меня, не знаю!.. Видно — по маменькиной комплекции.

Отдавши челом батеньке и маменьке, нас выслали в сад пробегаться. Дворовые ребятки нас ожидали — и начиналась потеха. Бегали взапуски, лазили по деревьям, ломали ветви, и когда были на них плоды (хотя бы еще только зародыши), то мы тут же их и объедали; разоряли птичьи гнезда, а особливо воробьиные. Птенцам их тут же откручивали головки, и старым, когда излавливали, не было пощады...

Среди таких невинных игр и забав нас позовут обедать. Это всегда бывало к полудню. Борщ с кормленою птицею, чудеснейший, салом свиным заправленный и сметаною забеленный, — прелесть! Таких борщей я уже не нахожу нигде. Я, по счастью моему, был в Петербурге — не из тщеславия хвалюсь этим, а к речи пришлось — обедал у порядочных людей и даже обедал в «Лондоне», да не в том Лондоне, что есть в самой Англии город, а просто большой дом, не знаю почему «Лондоном» называемый, так я, и там обедавая, — духа такого борща не видал, Где ты, святая старина!

К борщу подавали нам по большому куску пшенной каши, облитой коровьим маслом. Потом мясо из борща разрежет тебе нянька кусочками на деревянной тарелке и сверху еще присолит крупною невымытою солью — тогда еще была натура: так и уписывай. Потом дадут ногу большого жирнейшего гуся или индюка; грызи зубами, обгрызывать кость до последнего, а жир — верите ли? — так и течет по рукам; когда не успеешь обсосать тут же рук, то и на платье потечет, особливо если нянька, обязанная утирать нам рот, заевается. Посмей же не съесть всего, что положено тебе на тарелку, то маменька кроме того, что станут бранить, а под сердитый час и ложкою шлепнут по лбу: «Ешь, дурак, не умничай» — и перестанешь умничать и выскребаешь с оловянной тарелки или примешься выесть мясо от кости до последней плевочки. Спасибо, тогда ни у нас

и нигде не было серебряных ложек, а все деревянные: так оно и не больно; тогда загудит в голове, как будто в пустом котлике.

После обеда батенька с маменькой лягут в спальне опочивать, а дети идут в сад, на улицу, лазят по деревьям, плетням, крышам изб и тому подобное. Когда же батенька и маменька проснутся, тогда позовут детей к лакомству. Тут нам вынесут или орехов, или яблоков, пастилы, повидла, или чего-нибудь в этом роде и прикажут разделиться дружно, поровну и отнюдь не ссориться. Чего ж? Только лишь Петруся, как старший брат, начнет делить и откладывать свою часть, мы, постаршие, в крик, что он несправедливо делит и для себя берет больше. Он нас не уважит, а мы — цап-царап! — и принялись хватать без счета и меры. Сестры и меньшие дети, как обиженные в этом разделе, начнут кричать, плакать... Батенька, слышим, идут, чтоб унять и поправить беспорядок, а мы, завладевшие насильно, благим матом — на голубятню, встащим за собой и лестницу и, сидя там, не боимся ничего, зная, что когда вечером слезем, то уже никто и не вспомнит о сделанной нами обиде другим.

Что бы мы ни делили между собой, раздел всегда оканчивался ссорой, и в пользу одного из нас, что заставило горбунчика-Павлусю сказать один раз при подобном разделе: «Ах, душечки братцы и сестрицы! Когда бы вы скорее все померли, чтобы мне не с кем было делиться и ссориться!»

В полдник нам давали молоко, сметану, творог, яичницы разных сортов — и всего вдоволь. Потом, к вечеру, мы «подвечерковывали»: обыкновенно тут нам давали холодное жаркое, оставшееся от обеда, вновь зажаренного поросенка и еще что-нибудь подобное. А при захождении солнца ужинать: галушки вздобные в молоке, «квасок» (особенное мясное кушанье с луком, и что за превкусное! В лучших домах за пышными столами его не видать уже!), колбаса, шипящая на сковороде, и всегда вареники, плавающие в масле и облитые сметаной. Приказ от маменьки был прежний: есть побольше: ночью, мол, не дадут.

Описав домашнее наше времяпровождение, не излишним почитаю изложить и о делаемых батенькою «банкетах» в уреченные дни года. И что это были за банкеты!.. Куда! В нынешнее время и не приснится никому задать такой банкет, и тени подобного не увидишь!.. А еще говорят, что все вдались в роскошь! Да какая была во всем чинность и регула!..

Когда батенька задумывали поднять банкет, то заблаговременно объявляли маменьке, которые, бывало, тотчас принимают вздыхать, а иногда и всплакнут. Конечно, они имели к тому большой предлог. Посудите: для одного банкета требовалось курей пятьдесят, уток двадцать, гусей столько же, поросят десять. Кабана непременно должно было убить, не-

сколько баранов нарезать и убить целую яловицу. Все же это откормленное, упитанное зерном отборным. Ах, какие маменька были мастерицы выкармливать птицу или, в особенности, кабанов! Наверяд ли из теперешних молодых барынь-хозяек знают все способы к тому, да и занимаются ли, полно, этою важною частью! Поверьте моему слову, что когда, бывало, убьют кабана — так у него, канальи, сала на целую ладонь, кроме что все мясо поросло салом! А птица — пальцем можно было разделить, а жир с нее во рту не помещается, так и течет!

Надобно сказать, что маменька не вдруг взялись к хозяйству, и сначала много было смешных с ними событий. Расскажу один чувствительный анекдот. Вскоре после замужества их с батенькою приехали к ним семья соседей только пообедать. Маменька, чтобы хорошенько их угостить, призвав кухаря домашнего, приказали ему нарезать барана и изготовить, что следует. Кухарь, усердный человек к пользам господ своих, начал представлять резоны, что-де мы барана зарежем, да он весь не потребится на стол, половина останется и, по летнему времени, испортится: надо будет выкинуть. «Так ты вот что сделай, — сказали маменька, не долго думавши: — заднюю часть барана употреби на стол, а передняя пусть живет и пасется в поле пока до случая». Кухарь так и расхотелся. А маменька принялись додумываться, что ему так смешно. Да как додумались и увидели, что они сказали нелепое и смешное, так махнули рукой, покраснели, как вишневка, и ушли от кухаря. После этого полно его держать: отпустили на слободу, а определили кухарку.

Пожалуйте, обратимся к своему предмету. Вот как батенька объявят маменьке о банкете, то сами пошлют в город за «городским кухарем», как всеми назывался человек в ранге чиновника, всеми чтимый за его необыкновенное художество и искусство готовить обеденные столы; притом же он при исправлении должности подвязывал белый фартук и на голову вздевал колпак, все довольно чистое. Этот кухарь явится за пять дней до банкета и прежде всего начнет гулять. Известно, что три дня ему должно было погулять прежде начатия дела! И чего бы он в эти три дня ни спросил, должно все ему поставить; иначе он бросит все, уйдет и ни за что уже не примется. Отгуляв три дня, приступит к работе. Узнав от батеньки, сколько предполагается перемен при столе, он идет с маменькой в сажи, где кормится живность, и выбирает сам, какую ему будет угодно. Помню и теперь, как маменька стоят у дверей сажа и, приложив руки к груди, жалостно смотрят на выбор кухаря. Когда же он заметит жирнейшую из птиц и обречет ее на смерть, тут маменька ахнут, оботрут слезку из глаз и не вытерпят, чтоб не шепнуть: «А, чтоб ты сам лопнул! Самую жирнейшую взял,

теперь весь саж хоть брось!» Впрочем, маменька это делали не от скупости и не жалея подать гостям лучшее, а так: любили, чтоб всего было много в запасе и чтобы все было лучшее. Они было и гостям хвалятся, что благословенны природою как изобилием детей, так и домашним скотом, то есть птицею и проч. На завтрашний день убылое место в саже наполнится птицами, которые по времени так же будут выкормлены, а о взятых все-таки жалеют. Неизъяснимо сердце, непостижим характер хозяек, подобных маменьке!

Кухарь при помощи десятка баб, взятых с работы, управляется с птицею, поросятами, кореньями, зеленью; булочница дрожит телом и духом, чтобы опара на булки была хороша и чтобы тесто выходилось и булки выпеклись бы на славу; кухарка в другой кухне с помощницами так же управляется с птицею, выданною ей, но уже не кормленою, а из числа гуляющих на свободе, и приготавливает в больших горшках обед особо для конюхов гостиных, для казаков, препровождающих пана полковника и прочих панов; особо и повкуснее для мелкой шляхты, которые приедут за панами: им не дозволено находиться за общим столом с важными особами. Дворецкий, выдав для вычищения большие оловянные блюда с гербами знаменитого рода Халявских и с вензелями прадеда, деда, отца папенькиных и самого папеньки, сам острит нож и другой про запас для разбираения при столе птиц и других мяс. Ключник разливает в кувшины пиво и мед из вновь початых бочек, из которых пробы носил уже к папеньке и, по одобрению их, распределяет: из каких бочек подавать панам, из каких шляхте, казакам, конюхам и проч. Из бочонков же, особо стоящих и заключающих в себе отличные меда: липец, сахарный и т. п., будет он выдавать к концу стола, чтобы «уложить» гостей. Конюхи на конюшенном дворе принимают лучшего овса и сыпают его в свои закрома, заботятся о привозе сена из лучшего стожка и скидывают его на конюшню, чтобы все это задать гостиным лошадям по приезде их, дабы люди после не осуждали господ: такие-де хозяйева, что о лошадях и не позаботились.

Одним словом, всем и каждому пропасть дела и забот, а баменьке и маменьке — более всех. Они, каждый, за всем смотрят по своей части, все наблюдают, и беда конюху, если он принял овес не чисто вывезанный, сено луговое, а не лучшее из степного; беда ключнику, если кубки не полны нацезены, для меньшего стола худшего сорта приготовлены напитки; беда булочнице, если булки нехорошо испечены; кухарке, если ствава (кушанье) для людей не так вкусна и не в достатке изготовлена. Один «городской кухарь» не подлежит осмотру: ему дана полная воля приготавливать, что знает по своему искусству, и делать, как умеет и как хочет. Зато уже чего требует, все в точности

спешат ему выдавать, хотя маменька и не пропустят, чтоб не поворчать: «А, чтоб он подавился! Какую пропасть требует масла! А рыжу? А родзынков? Видимо-невидимо! Охота же Миرونу Осидовичу поднимать банкеты! Шутка ли: четыре раза в год! Не припасешься ни с чем; того и смотри, что разоримся вовсе». Последние слова маменька произносили шопотом, чтоб батенька не слышали; а то бы досталось им. Батенька хотя и были очень политичны, но когда уж им чего захачивалось, так уж поставят на своем. Маменька, не зная еще хорошо их комплекции, лет пять назад, бывало, принимаются спорить против них, — так что же?.. Ну, не наше дело рассуждать, а знает про то кофейный шелковый платок, который не раз в таком случае слетал с маменькиной головы, несмотря на то, что навязан был на подкапок из синей сахарной бумаги.

Пожалуйте, о чем, бишь, я говорил? Да, о банкете... Так. Вот в этот торжественный день прежде всего, утром еще, является команда казаков для почетного караула, поелику в доме будет находиться сам пан полковник своею особою. При этой команде всегда находятся сурмы (трубы) и бубны (литавры). Команда и устроит свой караул.

По прошествии утра днем, попозже, так часу в десятом пополудни, съезжаются званные гости. А кого только батенька не звали на банкет к себе? Верст за пятьдесят посылали, никого не пропустили, да все же и собрались. Неприлично же было такую персону, как был в то время его ясновельможность, пан полковник, угощать при двадцати только человеках; следовало и звать, чести ради гостя, хоть сотню; следовало же всем и приехать из уважения к такому лицу и сделать честь батеньке, не маленькому пану по достатку и знатности древнего рода. Кто не имел на чем приехать, тот пешком пришел с семейством, принеся в узелке нарядное платье, потому что тут в простом невозможно было бы показаться. Да посмотрели бы вы, как все гости разряжены, разубраны! Мужской пол в славных суконных черкесках темных цветов, рукава с велетами, то есть назад откидными; под ними кафтан глазетовый, блестящий; много-много, когда уже на ком моревый. То платье — знаете, что при дамах неприлично называть, — красного сукна, широкое; пояса блестят, точно кованые; за поясом на золотой или серебряной цепочке — нож с богатою оправою; сапоги сафьяна красного, желтого или зеленого; а кто пощеголеватее, так и на высоких подковах; волоса красиво подбиты в кружок, усы приглаженные, опрятные, как называли тогда — «чепурные». А женский пол, в свою очередь, — это прелесть! Кунтуши богатейшей парчи, такой, что и не согнешь; на стану перехвачено, сутою сеткою выложено; корсеты глазетовые; запасочки заморских пестрых материй, плотных, как лубок.

На головах кораблики или очипки парчи сутой как жар горят! Нынешние дамы не сумели бы и надеть кораблик или очипок. На шее — намиста, намиста! Дукатов, однусов, крестов! Господи твоя воля! Девушки иные — для полегкости — без кунтушей, в одних юбках, то есть корсетах, и... как бы вам пополичнее сказать?.. не стесняя природы или природы — без рукавов. Но зато какие рукава их рубашек — это заглядение: тонкого холста, кисейные, какие можно вообразить! Да все это вышито преискусно разных цветов шелками, золотом, серебром. Головы убраны — на удивление как прелестно! Косы заплетены мельчайшими пасмами, свиты венком и уложены на макушке, а по лбу положены, одна на другой, разных цветов ленты, а поверх их — золотой газ сутой... Ну, одним словом, это прелесть! Ножки в суконных чулочках белых или синих; башмачки красные на колодочках. Из-под шелковой плахты виднеется «ляхавка», то есть подол сорочки, таким же узором вышитый, как рукава... Так этакая краля невольно обратит глаза на себя одна, а тут их собралось десятками! Не подумайте, что это они изубыточились и делали себе наряды для нашего банкета! Совсем нет! Каждая все это получила от матери, а та — от своей матери, и так все выше; теперь носит сама и передаст будущим своим дочерям и внукам. Теперешние сборы на банкет не стоили им ничего более, как кружки ключевой воды, чтобы умыться; а оделись во все готовое. Да как же они хороши! Какой здоровый цвет в лицах! Какой яркий, живой румянец в щеках! Какая свежесть в прелестных глазах! Немудрено: они ложатся спать ввечеру и с солнцем встают.

Вот такие-то гости собрались и сидят чинно. Так уже к полудню, часов в одиннадцать, сурмы засурмили, бубны забили — едет *сам*, едет вельможный пан полковник в своем берлине; машталер то и дело хлопает бичом на четверню вороных коней, в шорах посеребренных, а они без фореца, по-теперешнему форейтора, пдут на одних вожжах машталера, сидящего на правой коренной. Убор на машталере и кожа на шорах зеленая, потому что и берлин был зеленый.

Батенька с маменькою вышли встретить его ясновельможность на рундук, то есть на крыльцо. Батенька бросились к берлину, отворили дверцы и принимали пана полковника, который вылезал, опираясь на батеньку. Тут батенька поцеловали его руку, а он — это, право, я сам видел и никак не лгу — он, вылезши, обнял батеньку. Маменька на рундуке очень низко поклонилась пану полковнику и, когда он взошел на наш высокий рундук, бросились также, чтобы поцеловать его руку, но он отхватил и допустил маменьку поцеловать себя в уста. Этим начал он давать знать, что недавно был в Петербурге и видел тамошнюю политику. За такую отличную честь маменька опять

ему пренизко поклонились и униженно просили его ясновельможность осчастливить их убогую хижину своим присутствием. Полковник просил их итти вперед: но маменьку — нужды нет, что они были так несколько простоваты, — где надобно, трудно было их провести: хотя они и слышали, что пан полковник просит их итти вперед, хотя и знали, что он вывез много петербургской политики, никак же не пошли впереди пана полковника и, идучи сзади его, взглянулись с батенькою, на лице которого сияла радостная улыбка от ловкости маменькиной.

В сенях пана полковника встретил весь мужской пол, стоя по чинам и отдавая честь поклонами; при входе же в комнату весь женский пол встретил его у дверей, низко и почтительно кланаясь. Пан полковник, вопреки понятий своих о политике, заимствованной им в Петербурге, по причине тучности своей тотчас уселся на особо приготовленное для него с мягкими подушками высокое кресло и начал предлагать дамскому полу также сесть, но они никак не поступали на это, а только молча откланивались. Наконец когда он объявил, что, бывши в Петербурге, ко всему присматривался и очень ясно видел, что женщины там сидят даже при особах в генеральских раигах, тогда они только вынуждены были сесть, но и сидели себе на уме: когда пан полковник изволил которую о чем спрашивать, тогда она спешила встать и, поклонясь низко его ясновельможности, опять садилась, не сказав в ответ ничего. К чему же было и отвечать? Если ответ должен быть утвердительный, то это и без речей показывал поклон; если же следовало возразить что пану полковнику, то, не осмеливаясь на такую дерзость, изъясняли это поклоном. Где увидишь теперь эту утонченную вежливость? У наших молодых людей? Ой-ой-ой! Не говорите мне про них!

Заметно батенька были окуражены, что пан полковник изволил быть весел. Услышав громко и приятно поющего чижа в клетке, он похвалил его; как тут же батенька, низко поклонясь, сняли клетку и, вынеся, отдали людям пана полковника, чтоб приняли и бережно довели до дома, «как вещь, понравившуюся его ясновельможности».

Пан полковник, разговаривая со старшими, которые стояли у стены и отнюдь не смели садиться, изволил закашляться и плюнуть вперед себя. Стремительно один из бунчуковых товарищей, старик почтенный, бросился и почтительно затер ногою плеванье его ясновельможности: так в тот век политика была утончена!

Немного сгодом (спустя несколько) дворецкий внес большой поднос, кругом установленный серебряными позлащенными чарками; а на другом подносе несли хрустальные — помню,

купленные батенькою у проходящего к нам с товарами псарца — карафины, наполненные разных сортов, вкусов и цветов водками, нарочно для сего маменькою приготовленными. Водки не подносили никому, пока батенька и маменька из своих рук не просили пана полковника. Когда он изволил принять в руки чарку, тогда только начали подносить гостям, и каждый наливал себе желаемой водки, а батенька не преставали упрашивать каждого, чтобы пополюе наливали.

Пан полковник был политичен. Он, не пивши, держал чарку, пока все не налили себе, и тогда принялся пить. Все гости смотрели на него: и если бы он выкушал всю чарку разом, то и они выпили бы так же; но как полковник кушал прихлебывая, то и они не смели выпивать прежде его. Когда он изволил морщиться, показывая крепость выкушанной водки, или цмокать губами, любуясь вкусом водки, то и они все делали то же из угождения его ясновельможности.

Пан полковник, выкушавши водку, изволил долго рассматривать чарку и похвалил ее. В самом деле, чарка была отличная: большемерная, тяжеловесная, жарко вызолоченная и с гербом Халявских. Политика требовала и чарку отдать пану полковнику, что батенька с удовольствием и исполнили.

Вслед за тем пан полковник прошен был выпить по другой чарке. Причем батенька с униженным поклоном докладывали: «Осмеливаюсь нижайше доложить вашей ясновельможности, что по первой не закусувают», — и на сей раз пану полковнику поставили другую чарку, таковую же, и он выкушать выкушал полную, но уже не хвалил чарки. Ему последовали и прочие гости, разумея один мужской пол, поелику женщинам и подносить не смели; они очень чинно и тихо сидели, только повертывая пальчиками один около другого, — мода эта вошла с незапамятных времен, долго держалась, но и это уже истребилось, и пальчики женского пола покойны, не вертятся! — или кончиком вышитого платочка махали на себя, потому что в комнате было душно от народа.

Еще немного сгодом батенька поступили к пану полковнику с докладом, что, «поставивши-де тарелки, не соблаговолите ли, ваша ясновельможность, по чарке горелки?» Тут пан полковник, привставши, сказал: «погодите», и пошли. Им пожелалось прогуляться. Такова была их натура. Лишь только пан полковник встал, то и весь женский пол поднялся, то есть с своих мест; а пан полковник в сопровождении батеньки вышел в сени, закричал караульным: «А нуте же — сурмите, сурмите: вот я иду!» И разом на сурмах и бубнах отдавали ему честь до тех пор, пока он не возвратился в покои. Что значит высокий ранг!

Пожалуйте. Прежним порядком выпито было и по третьей чарке — и вдруг засурмили и забубнили уже в сенях в знак того, что пора к обеду и первая перемена стола уставлена.

Стол был приготовлен в противной комнате, то есть расположенной чрез сени, насупротив той, где находились до обеда. По стенам были лавки и перед ними стол длинный, покрытый ковром и сверх скатертью длиною, вышитою по краям в длину и на углах красною бумагою разными произвольными отличными узорами. На стол уставлены были часто большие оловянные блюда, или мисы, отлично, как зеркало блестяще, так вычищенные, и все с гербами Халявских, наполненные, то есть мисы, борщами разных сортов. Для сидящих не было более приборов, как оловянная тарелка, близ нее — большие ломти хлеба белого и черного, ложка деревянная, лаком покрытая, — и все это, через всю длину, на обоих концах покрывало длинное полотенце, так же вышитое, как и скатерть. Оно служило для вытирания рук вместо теперешних салфеток. Стол, кроме мисок, уставлен был большими кувшинами, а иногда и бутылками, наполненными пивами и медами различных сортов и вкусов... И какие это были напитки!.. Ей, истинно, не лгу: теперь никому и не приснится вкус таких напитков; а чтоб сварить или приготовить, так и не говорите: никто и понятия не имеет. Вообразите себе пиво тонкое, жидкое, едва имеющее цвет желтоватый; поднесите же к устам, то уже один запах манит вас отведать его, а отведавши, вы уже не хотите оставить и пьете его сколько душе вашей угодно. Сладко, вкусно, приятно, усладительно и в голове не оставляет никаких последствий!.. А мед! Это на удивление! Вы налили его, а он чистый, прозрачный, как хрусталь, как ключевая вода. «Что это за мед?» — сказали бы вы с хладнокровием, а может, еще и с презрением. Да подите же с ним — начните его кушать, то есть пить, так от третьего глотка вы именно не раздвинете губ своих: они так и слипнутся. Сколько сладости! А аромат какой! Теперь ни от одной барыни нет такого благоухания, а откровенно сказать: когда они выезжают в люди, так это они точно имеют...

Промежду кувшинами или бутылками стоят кружки, стопы — и все серебряное, тяжеловесное, вычеканенное различными фигурами и мифологическими, то есть ложными, божествами — и все заклеянные пышным гербом Халявских, преискусно отработанным.

Его ясновельможность, пан полковник, изволил садиться, по обычаю, на самом первом месте, в голове стола; подле него не было приготовлено другого места, потому что никому же не следует сидеть наравне с такою важным ранга особю. Женский пол замужний садились, по чинам своих мужей, на лавках у стены. Хозяин должен был крепко наблюдать, чтобы

пани есаулова не села как-нибудь выше пани бунчуковой товарищкн; если он заметит такое нарушение порядка, то должен просить пани есаулову пересестъ пониже; в противном случае ссора вечная у мужа униженной жены с хозяином банкета и с есаулом, мужем зазнавшейся; а если он ему подчинен, то мщение и взыскание по службе. После усевшихся женщин сажались девушки также по чинам отцов своих. Мужчины, и все же по чинам, сажались на скамьях, или «ослонах», против женского пола. Хозяин банкета сажился на самом конце стола, чтобы удобнее вставать по разным надобностям. Хозяйка же не сажилась вовсе: она распорядилась отпуском блюд и наблюдала за всем ходом банкета. Несколько девок дворовых, прилично случаю убранных, в своем национальном, свободном везде наряде, — тогда не умели еще стесняться и шнуровать — как бы это сказать?.. ну, натуры или природы, — так стояли они в углу близ большой печи в готовности исполнять требования гостей. Хозяин глаз наблюдал и за ними — и беда девке, зазевавшейся до того, что гость сам скажет: «Девчино! Подними мне хлеб или ложку» или что-нибудь потребует. Маленька было из другой комнаты кивнут пальцем на виновную, — а иногда им и покажется, что она будто виновата, — так, вызвавши, схватят ее за косы и тут же ну-ну-ну-ну! да так ее оттреплют, что девка нескоро в разум придет. По щекам же в таком случае никогда не били, чтоб предосудительные звуки не дошли до слуха гостей. Проученная, поправив косы и все расстроенное, опять является на свое место и стоит, как свеча.

Вот как уселися — и все смотрят на пана полковника. Он снял с тарелки ручник, или полотенце, положил к себе на колени — и все гости, обоих полов, сделали то же. Он своим ножом, бывшим у него на цепочке, отрезал кусок хлеба, посолил, съел и, взяв ложку, хлебнул из миски борщу, перекрестился — и все гости за ним повторили то же, но только один мужской пол. Женщины же и девушки не должны были отнюдь есть чего-либо, но сидеть неподвижно, потупив глаза вниз, никуда не смотреть, не разговаривать с соседками; а могли только, по-утреннему, или пальчиками мотать, или кончиком платка махать; иначе против них сидящие паньчи осмеют их и расславят так, что им и просветка не будет: стыдно будет и глаза на свет показать.

После первой ложки пошли гости кушать, как и сколько кому угодно. Против четырех особ ставилась миска, и из нее прямо кушали, выкидывая в тарелку, перед каждым стоящую, косточку, муху или другое, что неприличное попадетя. По окончании одного борща подавали другого сорта. И скольких сортов бывали борщи — так на удивление! Борщ с говядиною,

или, по-тогдашнему, с яловичиною; борщ с гусем, прежирно выкормленным; борщ со свининою; борщ Собиеского (бывшего в Польше королем); борщ Скоропадского (гетмана малороссийского). Опять должен сделать ученое замечание: по истории нашей известно, что эти особы сами составили особого рода борщи, и благодарное потомство придало этим блюдам имена изобретателей. Рыбный борщ печерский, бикус, борщ с кормленою уткою... да уже и не вспомню всех названий борщей, какие было подают!..

Когда оканчивались борщи, то сурмы и бубны в сенях возвещали окончание первой перемены. При звуке их должно было оставить кушать и положить ложки. Гости мужского пола вставали с своих мест и становились к сторонке, чтобы дать кухарю свободно действовать. Он забирал опорожненные миски, а девки по знаку маменьки, из другой комнаты поданному и с прикриком: «девчата, а нуте! заснули?», — опрометью кидались к столу, собирали тарелки, сметали руками со стола хлебные крошки, кости и прочее, устраивали новые приборы и, окончив все, отходили в сторону. Тут, при новом звуке сурм и бубен, являлся кухарь с блюдами второй перемены и уставлял ими стол, и тогда вставший мужской пол садился попрежнему.

За сим подносилась водка; пан полковник и гости прошены были выпить перед второю переменою.

Вторую перемену составляли супы, также разных сортов и вкусов: суп с лапшою, суп с рыжем и родзынками (сарачинское пшено и изюм) и многие другие, в числе коих был и суп исторический, подобно борщу, носивший название «Леопольдов суп», изобретение какого-то маркграфа Римской империи, но какого — не знаю. Любопытные могут узнать наверное из исторических рассмотрений критик и споров ученых мужей.

При начале второй перемены пан полковник, а за ним и все гости, все же мужского пола, облегчали свои пояса.

При первой и второй переменах пили пиво, мед, по произволению каждого.

Несмотря на то, что у гостей мужского пола нагревались чубы и рделися щеки еще при первой перемене, батенька, с самого начала стола, ходили и, начиная с пана полковника и до последнего гостя, упрашивали побольше кушать, выбирая из мисок куски мяс, и клали их на тарелки каждому и упрашивали кушать все; даже вспотеют, ходя и кланяясь, а все просят, приговаривая печальным голосом, что конечно-де я чем прогневал пана Чупринского, что он обижает меня и в рот ничего не берет. Пан Чупринский, кряхтя, пыхтя и тяжело дыша, силится съесть положенное ему на тарелку против силы, чтобы не обидеть хозяина.

Мясо разрезывалось на тарелке имевшимся у каждого гостя ножом, а ели — за невведением еще вилок, или виделок, — руками.

Третья перемена происходила прежним порядком.

За третьею переменою поставлялись блюда с кушаньями «сладкими». То были: утка с родзынками и черносливом на красном соусе, ножки говяжьи с таким же соусом и с прибавкою «миндалю», мозги, разные сладкие коренья, репа, морковь и проч. и проч., все преискусно приготовленное. При сей перемене пан полковник снимал с себя пояс вовсе, и батенька, поспешив принять его, бережно и почтительно несли и чинно клали на постель, где они (то есть батенька) с маменькою обыкновенным образом опочивали. Гости мужеска пола, сняв свои пояса, прятали их в свои карманы или передавали через стол своим женам, а те уже прятали их у себя за корсет или куда удобнее было. При третьей перемене поставлялись на стол наливки: вишневка, терновка, сливянка, яблоновка и проч. и проч. Рюмок тогда не было, и их не знали и их бы осмеяли, если б увидели, а пили наливки теми же кубками и стопами, что пиво и мед. Всякому предоставлялось выпить по воле и комплекции.

С прежним порядком поставлена и четвертая перемена, состоящая из жареных разных птиц, поросят, зайцев и т. п., соленые огурцы, огурчики, уксусом прилитые, также с чесноком, вишни, груши, яблоки, сливы опошнянские и других родов горами навалены были на блюда и поставлены на стол. Чем стол более близился к концу, тем усерднее батенька упрашивали гостей побольше кушать и пить, чтоб их после не осуждали, что они не умели угостить. Уже на блюдах мало чего оставалось, но батенька и остатки подкладывали почтеннейшим гостям, упрашивая «добирать все и оставить посуду в чистоте». Наконец, чтоб заставить гостей долго вспоминать свой банкет, батенька упрашивали пана полковника и гостей уже обоих полов выпить «на потуху» по стаканчику медку. Тут же, пожалуй, какая штука выйдет: в продолжение питья наливок, как уже к пиву и меду не касались, искусно был подменен мед медом же, но другого свойства.

Прошенные гости, чтобы сделать хозяину честь и доставить удовольствие за его усердие, помня, что мед был отлично вкусен, охотно соглашались приятным напитком усладить свои чувства. Мед на вид был тот же — чистый, как ключевая вода, и светлый, как хрусталь. Вот они, наливши в кубки, выпивали по полному. Батенька, поглотив свой смех и уклонясь пану полковнику и всем гостям, вежливым образом просили извинения, что не угостили, как должно, его ясновельможность и дорогих гостей, а только обеспокоили их и заставили голодовать.

Пан полковник, быв до того времени многоречив и неумолкаем в разговорах со старшинами, близ него сидящими, после выпития последнего кубка меда онемел, как рыба: выпуча глаза, надувался, чтобы промолвить хотя слово, но не мог никак; замахал рукою и поднялся с места, а за ним и все встали... Но вот комедия! Встать встали, да с места не могли двинуться и выговорить слова не могли. Это — надобно сказать — батенькин мед производил такое действие: он был необыкновенно сладок и незаметно крепок до того, что у выпившего только стакан отнимался язык и подкашивались ноги.

Прсказники батенька были! И эту шутку делали всегда при конце стола и хохотали без памяти, как гости были отводимы своими женами или дочерьми; а в случае если и жены испивали рокового напитка, то и их вместе проводили люди.

Пана полковника, крепко опьяневшего, батенька удостоились сами отвести в свою спальню для опочивания. Прочие же гости расположились, где кто попал. Маменьке были заботы снабдить каждого подушкою. Если же случались барышни, испившие медку, то их проводили в детскую, где взаперти сидели четыре мои сестры.

«Молодые отрасли женского пола», — как их батенька называли на штатском языке, а просто «панночки», или — как теперь их зовут — «барышни», выходили из дому и располагались на присбах играть в разные игры. Которая из них была подогадливее, та привозила с собою «креймашки», и все, посаждая в кружок, играли. Это преселая и презанимательная игра! Креймашек есть не что иное, как обделанный кружок из разбитых тарелок или кафлей, величиною в медную копейку. Каждая панночка положит перед собою один креймашек, а другая кидает вверх, и пока тот летит обратно вниз, она должна схватить лежащий и уловить летящий. В эту презанимательную игру тогдашние панночки играли хоть целый день. А теперь где вы увидите, чтобы наши барышни занимались в креймашки? Легко станется, что они и понятия о них не имеют!.. Ужас, как свет изменился!

Пожалуйте! Пока так занималась молодость женского пола, в то время паньчи тут же на дворе между собою боролись, бегали «на выпередки» (взапуски), играли в мяч, «в скракли»... Тоже не думаю, чтобы кто из теперешних молодых, даже благовоспитанных, юношей имел понятие об этой игре! Скракли! И что это за веселая и за нравственная игра! Выбиваешь — и в награду на победленном едешь верхом в триумфе в завоеванный город. Сколько тут мыслей, поощрения к подвигу, возмездия за ловкость! Это, должно быть, нечто из обычаев древних римлян.

А деркач! Вот игра: это умереть надобно со смеху! Вколачивают колышек в землю и к нему на длинных веревках привязывают двух паньчей и, обоим им завязав глаза, дают в руки одному крепко свитый жгут, а другому зарубленные две палочки, чтобы терчал ими. Вот один терчит и бережется товарища; а тот, так же не видя ничего, подкрадывается и хочет его ударить жгутом — и... паф! — бьет по воздуху; а тот, изворотясь, терчит уже с другой стороны... Тот бросается туда, а этот уходит сюда... Ну, ложатся, бывало, от смеху! И попадет жгут деркача, так уже дубасит, дубасит, сколько душе угодно!.. Умора-уморою!..

Ах, сколько было подобных веселых, острых, замысловатых игр! И где это все теперь?.. Посмотрите на теперешнее юношество — так ли оно воспитано? Кожа да кости! Как образованы! Не распознаешь от взрослых мужей. В чем упражняются? Наука да учение. Как ведут себя? Совсем противно своему возрасту... Об этом предмете поговорю после...

Вот панночки, соскучась, что паньчи не пристают к ним и даже не обращают на них внимания, приступают к хитростям: начинается между ними игра в короли.

— Король, король, что прикажете делать? — спрашивает каждая у избранного из них короля.

— У короля жены нет, — отвечает король.

Спрашивавшая должна бы целовать короля; но она кричит громко, чтобы паньчи услышали:

— Вот еще выдумали что! Что нам целоваться между собою? Это будет горшок о горшок, а масла не будет. — Причем некоторые глядят на паньчей, подходят ли они к ним, и если еще нет, то продолжают маневры, пока успеют привлечь их к себе.

Паньчи с разными обходами, наконец, подошли к кругу панночек и просят «скуки ради» принять их до компании. Кружок раздвигается, паньчи уселись между панночками, и начинается игра. Разными хитростями и явными неправдами король избран всегда из красивых.

— Король, король, что прикажете делать? — спрашивает первая красней, зная содержание приказа.

Король отвечает важно:

— Короля должно шановать (почитать) и всем панночкам по семи раз целовать.

— Вот выдумали! Вот выдумали! Довольно бы и по два раза, а то по семи, — кричат бунтовщицы, но нечего делать: каждая, обтирая губки, подходит к королю и ровно, ни больше, ни меньше семи раз, целует верно, без фальши, счастливица и спокойно возвращается на свое место...

— Королю отпустить лент пять аршин! — приказывается третьей, и получившая такое приказание панночка подходит

к королю, берет его за руки и протягивает их, как будто меряя на аршин и целуя при каждом отмеривании.

— Собрать подать для короля! — и король со спрашивавшею идет взыскивать с каждой подать. Получает поцелуй от каждой панночки и целует свою подругу, якобы складывая в сумку подать.

— Да не щипайтесь же, панычу! — вдруг вскрикивает из круга одна панночка, отодвигаясь от своего соседа.

— Я совсем не щипаю, а только щекочу, — отвечает проказник.

— И щекотить не прошу: я щекотки боюсь.

И много происходит тут веселых шуток. Смех, забавные речи, острые и умные слова занимают молодых людей, которые и не заметят, как день пройдет.

А ныне в каком обществе молодых людей найдете подобное препровождение времени, подобные замысловатые игры, веселость, свободу, ум, удовольствие?.. Все, все изменилось!

Но вот часу в четвертом с полудня пан полковник и прочие гости, выславшись, сходятся в большую комнату. Маменька по заботливости своей приготовили им изобильный полдник. Блины, вареники, яичницы, разные мяса холодные беспрестанно одно за другим. Теперь уже маменька хлопочут упрашивать гостей, чтобы поболее кушали, и каждому — впрочем, по рангу гостя — подкладывают отличные кусочки и поливают маслом и сметаню, более или менее, смотря на важность особы. Батенька же то и дело что обходят гостей, прося о наливках, которые разных цветов, вкусов, сортов и родов разносятся в изобилии. По очищении блюд подносится «на потуху» «вареная»... Вот опять не вытерплю, чтобы не сказать: где найдете у нас этот напиток? Никто и составить его не умеет. А что за напиток! Так я вам скажу: «вещь!» — что в рот, то спасибо! Сладко так, что губ не разведешь: так и слипаются; вкусно так, что самый нектар не стоит против него ничего; благоуханно так, что я в бытность мою в Петербурге ни в одном «козмаитическом» магазине не находил подобных духов. Дешево и ничего не стоит, потому что весь материал домашний: водка, ягоды разные и несколько ароматных произведений: перец, корица, лавровый лист. Подите же вы! И этот драгоценный по благоуханию, здоровью, вкусу и дешевый по материалам напиток откинули и погрязли в винах, якобы заморских, когда честью уверяю, что все эти вина с мудреными названиями составляются тут же на месте, у нас, и продаются по дорогой цене на вред карманам и здоровью православных. Сердце болит и душа стесняется!.. Где ты, блаженная старина?..

Пожалуйте. Вот как выкупают по несколько чашек вареной, пан полковник пожелает проходиться по двору, осмотреть

батенькину конюшню, скотный двор и другие заведения. Пошел — и все чиновники за ним; батенька предшествуют, а сурмы сурмят и бубны гремят в честь полковника, но уже с заметным разладом, потому что избыточное угощение было и трубящим — как казакам, конюхам и всем с гостями прибывшим людям.

На конюшне и везде пан полковник осматривая что похвалит, то немедленно выводится прочь и сдается на руки полковничьим людям, нарочно для сего прибывшим. Батенька от удовольствия даже облизываются, что их хозяйство одобряется паном полковником.

Осмотрев все, возвращаются в дом, где маменька между тем угощали женский пол... чем вздумали; и как при этом не присутствовал никто из мужского пола, то, по натуральности, дело было на порядках... И странно: перед ними стоят орехи каленые и мышеловки, яблоки, повидлы (медовые варенья) разных сортов и всякая такая мебель, а наш женский пол, раскрасневшись препорядочно, щекочат, балагурят, рассказывают одна другой разные разности, и каждая, одна другой не слушая, продолжает свое. Самый приход пана полковника им незаметен, и маменька, бегая от одной к другой, удерживают их от разговоров: «Да замолчите же, пани обозная! Да перестаньте же, пани бунчукова товарищка! Вот пан полковник пришел». И в силу, в силу их ускромят.

Понявши, что пан полковник здесь, они утихнут и, как должно, вставши со своих мест, начнут манериться: и улыбаются к нему, платочками утираются и, хотя не к чему, на все кланяются, пока его ясновельможность не соизволит сесть и, почти приказом, не усадит их. Все лакомство со стола снято, и поданы блюда «подвечерковать». Ветчина, солонина, бужеина, полотки, соленые перепелки и другие жареные птицы украшают стол. После нескольких рюмок водки принимаются гости «подвечерковать» и очищают все при беспрестанном потчевании разными сортами пива и меду.

Между тем в продолжение этого времени панночки, наигравшись в короли, не имея чем заняться, «скуки ради» идут к реке, за садом протекающей, и там купаются. А панычи «для забавки» идут «в проходку» в кустарники, за рекой против самого купанья находящиеся, и там любуются рассматриванием природы или природы. Теперь, как уже старики, известно, после подвечеркованья должны уехать, то вот вся молодежь, освежившись купаньем и налюбовавшись натурою и природою, приходит к общему собранию и снова не глядит друг на друга, потому что неблагоприсстойно при почтенных особах показывать, что они знакомы между собой.

Окончив последнюю трапезу, пан полковник встает, чтобы уезжать. Берлин его подан. Машталер то и дело хлопает бичом.

Батенька подносят кубок, прося о полном, «чтобы в оставляемом его ясновельможностью доме все было полно». При выходе в сени, на пороге, подносится кубок, «чтобы хозяйские вороги (враги) не переступали через пороги». На рундуке еще выпивается полный кубок, «чтобы изливалось изобилие на все видимое хозяйство». Дойдя до берлина, пан полковник прошен снова выпить «гладко», чтобы гладилась дорога его ясновельможности. Выкушав также до дна и сей кубок, пан полковник обнимает батеньку, а они, поймав ручку его, целуют несколько раз и благодарят в отборных униженных выражениях за сделанную отличную честь своим посещением и проч.; а маменька, также ухитряся, схватили другую ручку пана полковника и, целуя, извиняются, что не могли прилично угостить нашего гостя, проморили его целый день голодом, потому что все недостойно было такой особы, и проч. Пан полковник, преисполненный... чувствами, не может ничего выговорить, а только машет рукою и силится поднять ногу, знаками показывая, что он хочет сесть в берлин. Предстоявшие бросаются, поднимают его и усаживают. Тут батенька еще с кубком для пожелания пану полковнику благополучного пути; пан полковник, почесав чуб, запинаясь, с трудом произносит: «Верно пан подпрапорный (батенька имели чин подпрапорного; я расскажу, как они его дослужились), верно подносит того меду, что за обедом...» Батенька предузнали вопрос его и подносили точно тот мед. Пан полковник, опорожнив кубок, тут же свалился на подушку, не сказав уже ни слова. Берлин тронулся, сурмы засурмили, бубны забубнили в честь полковника, чего он, однакоже, слышать не мог. За берлином вели лошадей, бугаев, коров, везли кабанов и все то, что понравилось у батеньки пану полковнику.

Проводив такого почетного гостя, батенька должны были уконтентовать прочих, еще оставшихся и желающих показать свое усердие хлебосольному хозяину. Началось с того, чтобы «погладить дорогу его ясновельможности». Потом благодарность за хлеб-соль и за угощение. Маменька поднесли еще «ручковой», то есть из своих рук. Потом пошло провожание тем же порядком, как и пана полковника, до колясок, повозок, тележек, верховых лошадей и проч. и проч., и, наконец, все гости до единого разъехались.

А что? Просим покорно сказать мне: есть ли теперь хоть тень подобного пираванья, искреннего, веселого, чинного, изобильного? То-то и есть!

А вот, извольте видеть, как батенька попали в подпрапорные. Его ясновельможность, наш пан полковник, после трех-четырех банкетов у батеньки описанным порядком начал уважать батеньку, хотел вывести его в сотники, потому что батенька

были очень богаты как маестностями, так вещами и монетою; так-де такой сотник скомплектует сотню на славу и весь полк закрасит. Вот и прислал к батеньке универсал, что он батеньку за усердную службу возводит на степень подпрапорного, с обнадеживанием и впредь дальней милости. Как же получили батенька этот универсал — господи, что тут было! И рассказывать страшно!.. Ногами затопали, начали кричать гневно, как будто в глаза пану полковнику, и даже запенились... После, одумавшись, поехали к пану полковнику и объяснили, что они служить не желают, избегая от неприятеля наглой смерти, и что они нужны для семейства, и что они долго верхом ехать не могут, тотчас устанут, и тому подобных уважительных причин много представили. Но когда пан полковник, даже побожая, уверил батеньку, что они в поход никогда не пойдут, то батенька и согласилась остаться в военной службе; но сотничества, за другими охотниками, умевшими особым манером снискивать милости полковника, батенька никогда не получила и, стыда ради, всегда говорили, что они выше чина ни за что не желают, как подпрапорный, и любили слышать, когда их этим рангом величали, да еще и вельможным, хотя, правду сказать, подпрапорный и в сотне «не много мог», а для посторонних и того менее.

Обращаюсь теперь к продолжению описания нашего воспитания. Правду сказать, можно было бы благодарить батеньке, а еще более мамсеньке: их труды не втуне остались. Мы были воспитаны прекрасно: были такие брюханчики, пузанчики, что любо-весело на нас глядеть: настоящие бочочки!

Когда уже с нами достигнуто до главнейшего, то есть когда обеспечено было наше здоровье, тогда начали подумывать о последующем. В один день, когда у батеньки разболелась голова от нашего шуму и они досадовали, что нами переломаны были лучшие из прищеп в саду, так они, вздохнувши, сказали маменьке: «А что, душно, пора бы наших хлопцев отдать учиться письму?»

Не могу и до сих пор наудивляться решительности маменькиной. Они были от природы сложения горячего, крикливого, спорного, бранчивого, так что и господи! Но это бывало с булочницами, птичницами, ключницами и прочими должностными ей подчиненными лицами. Против батеньки же они не смели никогда пикнуть. Даже до чего! — Кормление птиц и кабанов было под неограниченным распоряжением маменьки, и они были к этому делу весьма склонны и искусны в нем, знали все части по этой отрасли и не позволяли ничего переменять. Но когда батенька вмешивались и приказывали что невпопад, — как и часто случалось, — то маменька не противоречили и ис-

полняли по воле батенькиной, хотя бы ко вреду самого откормленного кабана, — конечно, не без того, что, забившись к себе в опочивальню, перецыганят батенькино приказание, пересмеют всякое слово его, но все это шопотом, чтоб никто и не услышал. Кроме этого предмета, чего бы только батенька не пожелали, не потребовали, не приказали, маменька, как законная жена, повиновались, спешили исполнить во всей точности требуемое и приказываемое, даже и в мыслях не ворча на батеньку. Так я к тому говорю: они и в любимой своей страсти не противоречили явно; но в этом обстоятельстве, когда батенька напомнили о приступе к учению нашему, маменька вышли из своей комплекции против батеньки. Конечно, и то надобно правду сказать, природа во всех тварях одинакова: посмотрите на матерей из всех животных, когда их детищам умышляют сделать какое зло, — тут они забывают свое сложение, не попят о своем бессилии и с остервенением кидаются на нападающих. Так поступили и маменька, когда увидели, что их рождению предстоит ужасное положение: отлучки из дома, невременная пища, принужденное сидение, забота об уроках и, всего более, наказания, необходимые при учении. Они, видя, что это касается уже не к какому-нибудь гусаку, кабану или индейскому петуху, а к их исчадию, вышли из себя и, видя, что материя серьезная, начали кричать громко, и слова у них сыпались скоро, примером сказать, как будто бы кто сыпал из мешка орехи на железную доску. Так резко и звонко они в ответ на батенькины слова закричали:

— Помилуйте вы меня, Мирон Осипович! Человек вы умный, и умнее вас я в свой век никого не знавала и не видала, а что ни скажете, что ни сделаете, что ни выдумаете, то все это так глупо, что совершенно надобно удивляться, плюнуть (тут маменька в самом деле плюнули) и замолчать. — Но они плюнуть плюнули, а замолчать не замолчали и продолжали в том же духе: — С чего вошло вам в голову морить бедных детей грамотою глупою и бестолковою? Разве я их на то породила и дала им такое отличное воспитание, чтобы они над книгами исчахли? Образумьтесь, побойтесь бога, не будьте детоубийцею, не терзайте безвинно моей утробы!.. — Тут маменька горько заплакали.

Я-таки не наудивляюсь перемене и батенькиного обхождения. Бывало, при малейшем противоречном слове маменька не могли уже другого произнести, ибо очутивались в другой комнате, разумеется, против воли... но это дело семейное; а тут папенька смотрели на маменьку удивленными глазами, пыхтели, надувались и как увидели слезы ее, то, конечно, войдя в материнские чувства, сказали без гнева и размышления, а так, просто, дружелюбно:

— А как же бы вы, Фекла Зиновьевна, думали: чтобы мои дети росли дураками и ничего не знали?

Тут маменька, хотя и видно было, что они решились на большие крайности, нежели очутиться даже в сенях — материнское сердце! — увидя, что батенька сохраняют против нее мягкость, приободрились и усилили свой крик.

— Поэтому и я дура, — кричали они, — и я ничего не знаю оттого, что не училась вашей глупой грамоте? Так и я дура?.. Дожилаесь у вас чести за восемь лет супружеской жизни!..

— То вы, душко, а то они...

— И не говорите мне: все равно, все равно! Вы, конечно, глава; но я же не раба ваша, а подружие. В чем другом я вам повинуюсь, но в детях — *зась!* Знайте: дети не ваши, а наши. Петрусь по осьмому году, Павлусе невступно семь лет, а Трушку (это я) что еще? — только стукнуло шесть лет. Какое ему ученье? Он без няньки и пробить не может. А сколько грамоток истратится, покуда они ваши дурацкие буки да веди затвердят! Да хотя и выучат что, так, выросши, забудут.

Батенька призадумались и начали считать по пальцам наши годы от рождения, коих никогда в точности не знали, а прибежали к этому верному средству. И видно, что маменькин счет был верен, потому что они, подумав, поцмокав, чем изъяснялась у них досада, и походив по комнате, сказали, что мы еще годик погуляем.

Маменька приметно обрадовались и, чтобы поддобриться к батеньке, сказали:

— Как знаете, так и делайте. Вы мужеский пол: вы разумнее нас.

Хитрые же и маменька были! Видите, как они поступили: криком и слезами заставили батеньку отстать от своей мысли, да потом и говорят: «Делайте по своей воле... вы-де умнее»... Батенька поверили начистоту и заметно весь тот день к маменьке были мягкосердечны.

Да и шалили же мы и проказничали во весь льготный год! Сколько окон в людских перебили! Сколько у кухарок горшков переколотили! Сколько жалоб собиралось на нас за разные пакости! Но маменька запрещали людям доносить батеньке на нас. «Недолго им уже погулять! — говорили они. — Пойдут в школу — перестанут. Пусть будет им чем вспомнить жизнь в родительском доме».

Наконец пришло наше к нам. Не увидели, как и год прошел. Перед Покровым-днем призван был наш стихарный дячок, пан Тимофтей Кнышевский, и спрошен о времени, когда пристойнее начинается учение детей.

Пан Кнышевский, кашлянувши несколько раз по обычаю дьячков, сказал:

— Вельможные паны и благодетели! Премудрость чтения и писания не ежедневно дается. Подобаает начать оную со дня пророка Наума, первого числа декабря месяца. Известно, что от дней Адама, праотца нашего, как его сын, так и все происшедшие от них народы и языки не иначе начинали посылать детей в школу, как на пророка Наума, еже есть первого декабря; в иной же день начало не умудрит ничьих детей. Сие творится во всей вселенной.

Маменька и тому обрадовались, что хотя два месяца еще погуляют, и поскорее сказали:

— Когда ж во всей вселенной с того числа начинают, так и нам надобно делать по ней.

Маменька были неграмотные и потому не знали, что и они во вселенной живут и заключаются; оттого и сказали так... несложно... простовато... Но тут же выпросили у батеньки позволение торговаться с паном Кнышевским за наше обучение — и после долгого торга положили: вместо сорока алтын (120 коп.) от ученика платить по четыре золотых (80 коп.) и по мешку пшеничной муки за выучку Киевской грамотки с заповедями; грамотки должны быть наши. За меня же, как меньшего, мука выговорена не пшеничная, а гречишная, для галушек собственно пану Кнышевскому, и букварь его, а не наш.

Я был у маменьки «пестунчик», то есть любимчик, за то, что во всякое время дня мог все есть, что ни дадут, и съедать без остатков. Только лишь стал разуместь, то маменька открыли во мне это достоинство и безмерно меня за то жаловали и хвалили перед всеми, что во мне нет никакого упрямства. Если бы маменькина воля была, они меня не отдали бы ни в школу к пану Кнышевскому и никуда не отпустили бы меня от себя, потому что им со мною большая утеха была: как посадят меня подле себя, так я готов целый день просидеть, не вставая с места, и не проговорить ни слова; сколько б ни пожаловали мне чего покушать, я все, без упрямства, молча, уберу и опять молчу. Маменька не нарадовались мною. Видя же необходимость пустить меня в учение, они по окончании торга, позвав пана Кнышевского в кладовеньку попотчевать из своих рук водкою на магарыч, начали всеусерднейше просить его, чтобы бедного Трушка, то есть меня, отнюдь не наказывал, хотя бы и следовало; если же уже будет необходимо наказать, так сек бы вместо меня другого кого из простых учеников. За это маменька тут же и отрезали ему пизь локот (аршин около осьми) домашнего холста, немного согнившего от неудачного беленья.

Маменька были такие добрые, что тут же мне и сказали: — Не бойся, Трушко, тебя этот цап (козел) не будет бить,

что бы ты ни делал. Хотя бы в десять лет этой поганой грамотки не выучил, так не посмеет и пальцем тронуть. Ты же, как ни приедешь из школы, то безжалостному твоему отцу и мне жалуешься, что тебя крепко в школе били. Отец спроста будет верить и будет утешаться твоими муками, а я притворно буду жалеть о тебе. — Так мы и положили условие с маменькою.

И вот наступил роковой день!.. Первого декабря нас накормили выше всякой меры. Батенька, благословляя нас, всплакнули порядочно. Они были чадолюбивы, да скрывали свою нежность к нам до сего часа; тут не могли никак удержаться!.. Приказывали нам отныне почитать и уважать папа Кнышевского, как его самого, родителя, а притом... Тут голос батенькин изменился, и они, махнув рукою, сказали: «после», перещеловали нас, обливая слезами своими, и ушли в спальню.

Но маменька!.. Вот уже истинная мать!.. Что может сравниться с нежностью материнского сердца?.. Они плакали навзрыд, выцеловывали нас, а потом принялись голосить и приговаривать, точно как над умершими: «Ах, мои деточки-голубяточки! Куда же вы отправляете, мои соколики! В дальнюю сторону, в дьячкову школу... за этую проклятую наукою!.. Никто вас там не приголубит, не приласкает... Замучат вас глупым учением дурацких книг... Кого я буду прикармливать вкусными варениками?.. Для кого изготовлю молочную кашу?..» и много подобных тому нежностей приговаривали весьма жалко, так что и теперь, когда вспомню, меня жалость берет.

А какие же маменька были хитрые, так это на удивление! Тут плачут, воют, обнимают старших сыновей, и ничего; меня же примутся оплакивать, то тут одною рукою обнимают, а другую — из-за пазухи у себя — то бубличек, то пирожок, то яблочко... Я обременен был маменькиными ласками...

Петрусь брат шел охотою; Павлуся, быв всегда весел, тут что-то повесил нос; я шел весьма равнодушно и старался итти за братьями, чтобы они не приметили, как я пожираю лакомства, маменькою мне в путь данные. «Пропала батенькина мука и четыре золотых за мое учение!» — так рассуждал я, пожирая яблоко, скрываемое мною в рукаве, куда я запрятав рот с зубами там ел секретно, чтобы не приметили братья. Я имел какой-то благородный характер и не терпел принуждения к тому, что мне не нравилось. Быв одинаковой природы с маменькой, я терпеть не мог наук и потому тут же давал себе обещание как можно хуже учиться, а что наказывать меня не будут, я это твердо помнил.

Со стороны маменькиной подобные проводы были нам сначала ежедневно, потом все слабее, слабее: конечно, они уже попривыкали разлучаться с нами, а наконец, и до того доходило,

что когда старшие братья надоедали им своими шалостями, так они, бывало, прикрикнут: «Когда б вас чорт унес в эту анафемскую школу!» Батенька же были к нам ни се, ни то. Я же, бывши дома, от маменьки не отходил.

Пожалуйте, как же мы начали свое ученье? Большое строе-ние, разделенное на две половины длинными сенями; вот мы и вошли. Налево была хата и «комната», где жил пан дьяк Тимофтей Кнышевский с своим семейством, а направо большая изба с лавками кругом и с большим столом.

Пан Тимофтей, встретив нас, ввел в школу, где несколько учеников, из тутошних казацких семейств, твердили свои «стихи» (уроки). Кроме нас, панычей, в тот же день, на Наума, вступило также несколько учеников. Пан Кнышевский, сделав нам какое-то наставление, чего мы, как еще неученые, не могли понять, потому что он говорил свысока, усадил нас и преподавал нам корень, основание и фундамент человеческой мудрости. Аз, буки, веди — приказано было нам выучить до обеда.

«А что ты мне сделаешь, если я не выучу?» — подумал я, увидев, что мне никак не шли в голову и странные эти названия и непонятна была фигура этих каракулек. Я знал, что пану Кнышевскому отпущено было пять локот холста за то, чтобы он следующее наказание мне передавал другому, и потому, вовсе не занимаясь уроком, рассуждал с сидевшим со мною казацким сыном, осуждая все. «К чему эта грамота? — рассуждали мы. — Чему научат эти крючки? Хорошо маменька делают, что не любят грамоты!» Проклиная все учение и ученых, выдумавших его, мы, на зло азбуке, дали свои наименования: «аз» стал у нас раскоряка, «буки» — горбун с рогом, «веди» — пузан. Эти названия мы затвердили скоро, а подлинные забыли и не старались вспомнить.

Время подошло к обеду, и пан Кнышевский спросил нас с уроками. Из нас Петрусь проговорил урок бойко: знал называть буквы и в ряд и в разбивку; и боком ему поставят и вверх ногами, а он так и дует и не ошибется, до того, что пан Кнышевский возвел очи горе и, положив руку на Петрусину голову, сказал: «Вот детина!» Павлусь не достиг до него. Он знал разницу между буквами, но ошибочно называл и относился к любимым им предметам; например, вместо «буки» все говорил «булки» и не мог иначе назвать.

Пан Кнышевский только вздохнул; потом призвал меня: — Что это за слово? — спросил он, указывая на аз.

— А кто его знает! — отвечал я с духом, помня тайные условия маменьки с паном Кнышевским. — Трудно как-то азовут этого раскоряку.

Гневные слова посыпались на меня из уст пана Кнышевского. Насмешка, брань, упрек за дерзость мою, что я вместо

православного наименования приложил ругательное; наконец изрек он запрещение, чтобы я не ходил обедать, а все бы твердил свой урок.

Мне обед неважен был, я накормлен был порядочно; при том же из запасов, данных мне маменькою в час горестной разлуки, оставалась еще значительная часть. Как же школа отстояла от нашего дома не близко, а я ленив был ходить, то я еще и рад был избавиться двойной походки. Для приличия я затужил и остался в школе заниматься над своим букварем. вполнину оборванным.

Немного времени прошло, как гляжу — две служанки от матушки принесли мне всего вдоволь. Кроме обыкновенного обеда в изобильных порциях, маменька рассудили, «чтобы дитя не затосковалось», утешить его разными лакомствами. Чего только не нанесли мне! Пан Кнышевский по обеде отдыхал и не приходил в школу до начала учения, следовательно, я имел время кончить свое дело отличным образом.

По еде мысли мои сделались чище и рассудок изобретательнее. Когда поворачивал я в руках букварь, мне пришла счастливая мысль: «Если бы не было букв, что бы я учил? Следовательно, если их не будет, мне нечего учить». Подумал, решился и исполнил. Несносные аз, буки, веди — одно за другим — были мною вырваны, истерты пальцами и, чтобы не отыскались вскоре, зарыты мною в угол школы. Я не только был покоен, но даже весел, не имея что учить.

Пришли братья, и вся школа собралась. Началось послеобеденное учение. Кончилось. Подали уроки... Братья — куда! — к «како» дошли. Их расхвалили. Позвали меня...

— Где твои слова? — возопил грозно пан Тимофтей, взглянув в букварь.

— Не знаю, — отвечал я почти смело, приготовясь к ответу.

— Как не знаешь? Их zde не обретається.

— Верно, выпали из грамотки, — сказал я и начал шарить по полу.

— Выучил ли ты их?

— Выучил очень твердо, так вот же выскочили куда-то.

— Смотри сюда, — возгласил пан Кнышевский и представил пред глаза мои другой букварь, в коем ясно торчали и аз, и буки, и веди, те самые, которые я уничтожил. Я полагал, что уже и во всей вселенной не можно отыскать их, а они, как волшебники, возродились снова и явились целыми, даже не измятыми!

Несмотря на прежнее мое уверение, что я знаю урок, я не мог поименовать их. Отговорка, что как это не моя книжка и потому я этих слов не учил, не помогла. И пан Кнышевский по-

велел виновной руки пальцы сложить вместе и... торжественно, с каким-то припевом ударил линейкой по пальцам три раза... О! Вы не можете ни с чем сравнить этой боли!!! Хорошо ли вы помните чувство, которое вы ощущали, когда секли вас? А уже верно вас секли в детстве. Так, поверьте, тридцать ударов розгою все не то, что эти три удара линейкою по пальцам. У-у-у — как больно!

Возвратясь домой, отдали мы в своем ученьи отчет батеньке; братьев похвалили, а меня порвали за чуб порядочно. Зато маменька пожаловали мне два маковника: один за батенькину «скубку», а другой — за дьячкову «палию». Причем маменька сказали: «Пусть толчет, собачий сын, как хочет, когда без того не можно, но лишь бы сечением не ругался над ребенком». Не порадовало меня такое маменькино рассуждение!

Начало ученья меня не потешило и еще более усилило отвращение к наукам. Иногда, не хватаясь скажу, приходило как будто и желание что-нибудь выучить, но что же? — Бьюсь-буюсь, твержу-твержу, не идет в голову. Так и брошу. Братья уже бойко читали шестопсалмие, а особливо Петруся, — что это за разум был: целый псалом прочтет без запинки, и ни в одном слове не поймешь его; как трещотка — тррр! — я же тогда сидел за складами. Братья оканчивали часословец, а я повторял: «здо, тло, мну, зду», и то не чисто, а с прибавкою таких слов, каких невозможно было не только в Киевском букваре, но и ни в какой тогдашней книге отыскать... Я про теперешние ничего не говорю: свет изменяется, и книги на что теперь похожи?

Нуте, пожалуйте. Вот я учусь плохо, а братья лезут вперед; пан же Кнышевский берет плату и за меня, как будто за порядно учащегося. На мою беду он был совестлив и, получая плату, хотел непременно научить меня всему, чему сам знал. «Не вотще же мне получать деньги, — «добьюсь» у пана Трофима премудрости». И точно, начал ее «добиваться». При первом разе, когда он нарушил свое условие с маменькою, то есть когда положил меня на ослон (скамейку)... ох! и теперь помню, как это больно!.. я, пришедши домой, пожаловался маменьке, что пан Кнышевский не только бьет меня каждый день, но сегодня уже и высек. Что же маменька? Вообразили себе, что я нарочно так говорю при батеньке, слыша от них, как они попрекали маменьке, что они упросили пана Кнышевского, чтобы он спускал их пестунчику. Так маменька, выслушавши мою жалобу, сказали: «И хорошо, Трушко, — за битого двух небитых дают». Причем и подморгнули мне, давая знать, что они поняли мою хитрость. Каково же сыграли со мною!..

Пан Кнышевский, узнав, что я жаловался на него, начал учащать наказания. Что мне оставалось делать, как молчать

перед маменькою, и всякий раз, когда меня полагали, я приговаривал мысленно: «Пропали, маменька, ваши пять локот холста: меня бьют так, как будто и ничего от вас не платится».

Но что же успел пан Кнышевский со своими наказаниями? Таки совершенно ничего. Я с наукою никак не подвигался вперед. Наконец пану Тимофтею пришло на мысль, что человеку даются различные таланты: иной грамоту плохо знает, но хватается писать (в этом пункте свет, видно, мало изменился). Основавшись на этом, он изрек: «А ну, пане Трофиме! Не угобзишься ли ты в писании? Несть человека без дарования; иный славен в одном, другой в другом, ов мудро чтет, он красно шшет; иный умудряется звоить, а иный отличается в шалостях — и то талант. И самое питие горелки требует дарования: он от чарки упивается и творится безгласен, а ови осьмухою неодолим пребывает. Итак, пане Трофиме, воспримемся испытывать твои таланты». После чего пан Кнышевский зело засуетился, собирая что-то, и я ожидал, что он поставит предо мною штоф водки, дабы испытать, имею ли я талант к питию ее. Но все это клонилось к приготовлению для письма.

Предложили мне черную доску, разведенный в воде мел и перо. Пан Кнышевский объяснил со всем жаром пользу писания, что без него «како бы возможно было словесно помянуть всех усопших? А понеже придумано писание, то и все покойники, от Адама до сего дне, все до единого переписаны и записаны в поминальные грамотки, и никто без поминания не остается. А каковый доход дается пишущим грамотки упокойные!.. Потщися, панычу, почерпнуть сию премудрость — и будещи имети мзду велию. При благоприятном случае, егда от свирепеющих болезней многие умирают, угобзится тебе немало толико! Писанию таковых грамоток одна полезная вещь, а прочее — все суета; не подобает унижати сего великого художества на таковое мизерное тщеславие». Тут следовало изъяснение, как держать перо, как писать и т. п., — и моя десница пошла писать... Но что это были за фигуры вместо букв, я вам и рассказать не умею; одним словом, пробовал он учить меня писать уставом, полууставом и скорописью — и все никуда не годилось!

Пан Кнышевский справедливо заключил, что мне «не дадеса мудрость и в писании», и потому отложил свои труды; но желая открыть во мне какой ни есть талант, при первом случае послал меня на звонницу отзвонить «на верую» по покойнику.

На колокольне нашей было колоколов всего пять, и я мог уже и один с ними управиться. Подобрал веревки и видя, что никто не оспаривает у меня удовольствия звонить, я с восторгом принялся трезвонить во все руки, а между тем читать, как наставлен был паном Кнышевским, читать неспешно, сладко

и не борзясь весь символ по стихам, а с аминем перестать. «Разбестия Артемий! — прибавил к наставлению пан дьяк: — мог бы по случаю скончания родителя расщедриться и угобзитися на целый пятидесятый псалом, но заплатил только на символ».

Испытали ли вы, господа, наслаждение звонить, а еще того более — трезвонить? Не в переносном смысле, а в прямом, буквальном! Нет? Жалею о вас. Это особого рода удовольствие! Вы взлезаете на колокольню, вы выше всех, все ниже вас. Еще взбираетесь на нее: сколько мальчиков, по сродной им склонности, обгоняли вас, не пускали, сталкивали; но вы сяк-так превозмогли все препятства, победили все, удержали место за собою. Не встречая препятствий, подобрали все веревки в руки, уладили их — и давай греметь, трезвонить во все руки. Какой восторг! По всей деревне раздается «динь-динь-динь-динь-бем-бем-бом». Всех оглушает звон, и все это производите вы, стоя на возвышении, а чернь, то есть ваша чернь, стоящая и ходящая ниже вас, слыша ваш трезвон, поглядывает на вас, подняв головы, как на нечто возвышенное. Тут удовлетворено ваше славолубие, самолюбие и даже честолюбие! Вы плаваете в восторге! Весь этот шум производите вы, нарушаете всеобщую тишину... Не хотите перестать, повинуетесь одной необходимости, отрезвонили и с колокольни прочь, смешались со всеми, никто и не глядит на вас, не отдает вам цены и не замечает вас в толпе... Не скорбите! Вы были выше всех; шум и звон ваш слышали все. После него не осталось ничего? Нужды нет: вы наслаждались, вы шумели, вы трезвонили... Испытайте, прошу вас, это особого рода наслаждение! Спросите у бывших на колокольне и трезвонивших в свой черед: они готовы вам целый день рассказывать, как они подбирали веревки, как улаживали все, как старались громче звонить!.. Никто вам этого, кроме действовавшего, не расскажет, потому что все прочие слышали только звон, а звонившим не занимались, да и звон с последним ударом колокола забыли — и почитают, что человек, или глупый мальчик, только за тем взбирался на возвышение, чтобы пустым звоном набить уши другим...

В таких философских рассуждениях я трезвоню себе во все руки больше полчаса, забыв все наставления пана Кнышевского, и продолжал бы до вечера, как он явился ко мне на звонницу и с грозным взором вырвал у меня веревки, схватил за чуб и безжалостно потащил меня по лестнице вниз; дома же порядочно высек за то, что я отрезвонил более данных ему денег.

— Не имеет и в звоне таланта, — сказал пап Кнышевский, ударяя себя руками по бедрам.

В то время был благочестивый в школах обычай — и как жаль, что в теперешнее время он не существует ни в высших,

ни в нижних училищах! В субботу школяры не имели уроков, но, протвердив зады и собравшись в кучу, приходили к пану Кнышевскому. Ученик первый по учению (и это всегда был брат Петруся) возглашал за всех: «Мир ти, благий учителю наш!» — «Треба бити вас», — отвечал важно пан Тимофтей, а мы должны были поклониться низко. После того все ученики, без различия состояний, становились в две линии; посредине поставлялся ослон (скамейка), и у нее восстоял пан Кнышевский, имея рукава засученные и в грозной деснице держа толстый пук розог. В линиях стояли отдельно псалтырщики, часословщики и граматники; школа делилась на три класса; писатели не отличались особо, потому что учащий псалтырь учился и писать.

Когда было все устроено, пан Кнышевский возглашал: «Пане Петре!», и брат мой подходил свободно, что нужно было расслабивая, дабы не задержать других... Пан Кнышевский относился к одному из учеников: «Пане Закрутинский, кая есть четвертая заповедь? Прочти нам ее повагом и не борзяся». И ученик провозглашал: «Помни день субботний...» и проч., слово за словом, медленно; а пан Кнышевский полагал шуйцею брата Петра на ослон, а десницею ударял розгою, и не по платью, а в чистоту... ударял же по расположению своему к ученику — или во всю руку, или слегка; а также или сыпал удары часто, или отпускал их медленно. Я сделал расчисление, что иному доставалось ударов пятнадцать, смотря по скорости движения руки дьяка в продолжение чтения; а иному — только три. Получивший напоминание заповеди вскакивал, кланялся пану Кнышевскому и, целуя руки его, должен был сказать: «Благодарствую, пане Тимофtee, за научение». И пан Тимофтей со всей важностью запечатлевал обряд, приговаривая: «Сие тебе за прошедшие и будущие прегрешения. Помни день субботний до грядущия субботы; иди с миром». Ученик тут же выбегал из школы и был свободен до понедельника.

Потом производилось то же действие с каждым учеником поодиночке, до последнего. И как в иной год учеников бывало до пятнадцати благородных и низкородных (кроме нас, паньчей, были и еще дети помещиков нашего же прихода), то мы, граматники, как последние, нетерпеливо ожидали очереди, чтобы отбыть неминуемое и скорее бежать к играм, шалостям и ласкам матерей. Ожидая очереди, мы все, должное расслабив, поддерживали руками, чтобы не затрудняться при наступлении действия.

От действия субботки не освобождался никто из школярей, и самые сыновья пана Кнышевского получали одинаковое с нами напоминание.

Зато какая свобода в духе, какая радость на душе чувствуема была нами до понедельника! В субботу и воскресенье, что бы ученик ни сделал, его не только родители, но и сам пан Кнышевский не имел права наказать и оставлял до понедельника и тогда «воздавал с лихвою», как он сам говорил.

Действие субботки мне не понравилось с первых пор. Я видел тут явное нарушение условия маменькиного с паном Кнышевским и потому не преминул пожаловаться маменьке. Как же они чудно рассудили, так послушайте. «А что ж, Трушко! — сказали они, глядя меня по голове: — я не могу закона переменить. Жалуйся на своего отца, что завербовал тебя в эту дурацкую школу. Там не только я, но и пан Кнышевский не властен ничего отменить. Не от нас это установлено».

Узнав о моей жалобе, пан Кнышевский взял свои меры. Всякий раз, когда надо мною производилось действие, он заставлял читающего ученика повторять чтение несколько раз, крича: «Как, как? Я не расслышал. Повтори, чадо! Еще прочти». И во все это время, когда заповедь повторяли, а иногда «пятерили», он учащал удары мелкою дробью, как барабанщик по барабану... Ему шутки — он называл это «глумлением», — но каково было мне? Ясно, что маменькин холст пошел задаром!

В одну из суббот, когда пан Кнышевский более обыкновенного поглумился надо мною, до того, что мне невозможно было итти с братьями домой, я остался в школе ожидать, пока маменька пришлют мне обед, который всегда бывал роскошнее домашнего, и прилег на лавке, додумываясь, по какой причине мне более всех задают память о субботе? В это время пан Кнышевский, распустив школу, уселся в своей светлице и принял за ирмолой протвердить ирмосы, догматики и другие напевы, требуемые в наступающую вечерню и воскресное служение. Голос у него был отличный: когда брал низом, то еще все ничего; но когда поднимал горою, так тут прелесть была! Конечно, на третьей улице слышно было это резкое, звонкое, пронзительное пение.

До того голос его был разителен, что все слушающие его сознавались, что при его пении у них кожу на спине подирало, точно так, как при пилении железа.

Вот он как протверживал свое пение, я слушал его с наслаждением. Когда же дьячиха покликнула его обедать, то я, скуки ради, начал себе лежа попевать; и далее, далее, придя в пессию, вырабатывал своим голосом самые трудные штучки.

Пропев одну псалму, другую, я оглянулся... о ужас! Пан Кнышевский стоит с поднятыми руками и разинутым ртом. Я не смел пошевелиться; но он поднял меня с лавки, ободрил, обласкал и заставил меня повторять петую мною псалму: «Пробудись от сна, невеста». Я пел, как наслышался от него,

и старался подражать ему во всем: когда доходило до высших тонов, я так же морщился, как и он, глаза сжимал, рот расширял и кричал с тою же приятностью, как и он.

С восторгом погладил меня по голове пан Кнышевский и повел меня к себе в светлицу. Там достал он пряник, и в продолжение того, как я ел его, он уговаривал меня учиться ирмолойному пению. Струсил я крепко, услышав, что еще есть предмет учения. Я полагал, что далее псалтыря нет более чему учиться человеку, как тут является ирмолой; но дабы угодить наставнику и отблагодарить за засохший пряник, я согласился.

Пан Кнышевский развернул передо мною ирмолой и, пробы ради, начал толковать мне значение ирмолойных крючков. Сам не знаю, как это сделалось, только я понимал всю эту премудрость и быстро следовал за резким голосом пана Тимофтя, до того, что мог пропеть с ним легонький догматик. Правду сказать, что и метода его была самая благоуспешная. Пользы ради других учеников и в наставление других учащих вообще пению я должен открыть ее. Он держал меня за ухо: когда тоны спускались вниз, он тянул меня книзу; возвышающиеся тоны заставляли его тянуть ухо мое кверху. При самых высоких тонах он тянул ухо кверху сколько было у него силы, а я пел, или — правильнее — кричал, что было во мне мочи. При перегибах голоса он дергал меня из стороны на сторону, и я выделял все га-га-га-га чудесно. Вот и весь секрет; я не утаиваю ничего и говорю во всеуслышание. Советую первому учителю пения испытать эту методу над учеником или ученицею и честью уверяю, что в несколько часов научит громкому пению. Я тому живой пример. Век открытий! Изобретены способы в несколько уроков читать, писать, рисовать, обучиться всем наукам; вот новый способ в два-три часа выучиться петь так, чтобы далеко слышно было. Способ легкий, незатейливый и удачливый.

Дело у нас шло удивительно успешно. Но учение мое происходило келейно, тайно от всех. Пан Кнышевский хотел батеньку и маменьку привести в восторг нечаянно, как успехами и других братьев, а именно.

Петруся, как я и сказал, удивительно преуспевал в чтении; после трех лет ученья не было той книги церковной печати, которой бы он не мог разобрать, и читал бойко. В одно воскресенье, когда батенька и маменька были в церкви, вдруг выходит читать апостол... кто же? — Петруся! Посудите, пожалуйста: мальчик по двенадцатому году, не доучивши и девятой кафизмы, — и читает апостол! Да как читает! Без лести сказать, дело давно прошедшее, и мы же с ним всю жизнь провели в ссорах и тяжбах, но именно как бы сам пан Кнышевский читал: так же выводит, так же понижает, так же оксии... Нет,

брат имел необыкновенный ум! Конечно, гортань детская, не против звонкой, резкой гортани пана Кнышевского — это также чудо в своем роде, но все-таки гортань по возрасту редкая!

Без умиления нельзя было глядеть на батеньку и маменьку. Они, батенька, утирали слезы радости; а они, маменька, клали земные поклоны и тут же поставили большую свечу. Пан Тимофтей получил не в счет мерку лучшей пшеничной муки и мешок гороху, и Петруся после обеда полакомили бузиным цветом, в меду варенным.

Горбун Павлуся также в грамоте силу знал; но как его натура была ветренная, то он все делал — как теперь говорят — «негляже». Он склонен был более к художествам: достать ли чего нужно из маменькиной кладовой без пособия ключа; напроказив что самому, сложить вину на невинного, из явной беды вывернуться — на все это он был великий мастер; но колокольня была его любимое занятие. И сказать по справедливости, как он звонил, так на удивление! Не подумайте, однакож, чтобы его кто учил или показал метод — пан Кнышевский или Дрыгало, наш плешивый пономарь; честию моею уверяю, что никто его не наставлял, а так, сам от себя: натура, или, лучше сказать, природа. Не из хвастовства сказать, а так опять к речи пришлось, что я удостоился на своем веку быть в Петербурге и прислушивался, как звонят... Бывал в Москве, слышал различные звоны... Хорошо, но все не то, что Павлусино звонение; пусть себе столичные жители хотя обижаются, но я правды не потаю.

Дело прошлое, он хотя и брат мой и уже умер, но скажу, что он вызванивал разные штучки: умел на колоколах выражать, как утки квакают, как гуси игекгекают, петухи кукарекают... Да чего не выражал он! Даже до того дошел, что «вдавал», как дядчиха на пана Тимофтея ворчала и грызла его: это он выражал маленькими колокольчиками... да как затрещит, запорошит, вот точно слышишь: «сгинь, пропади твоя голова, старый, неуклюжий, тарататарата...» — как обыкновенно жены грызут мужей. А большой колокол выражал гневного пана Кнышевского, якобы ворчащего: «баба, полно, будет». Великий художник был брат Павлуся!

Однажды пан Кнышевский послал Павлуся отзвонить по преставившемся обывателе, богатом и оставившем большое семейство. Павлуся отличался, а дьяк у колокольни читал семнадцатую кафизму как меру, пока должно звонить, потому что заплачено за позвон щедро.

В то время батенька с маменькою были в проходке и пошли к звоннице послушать необыкновенного звона.

— Кто это так умирительно звонит? — спросили маменька у пана Кнышевского.

— Один из школярей моих, — сказал с лукавством пан Кнышевский, прервав стих псалмы.

— Мастерски! — сказали батенька.

— Явственно выражает, — продолжал дьяк, — и скорбь супруги, и плач чад, и звон оставшихся денег, их же немало остася.

— Прикажите ему, пане Тимофtee, — сказали маменька, — когда перезвонит, чтоб пришел ко мне: я ему дам моченое яблоко в услаждение, как он усладил меня своим звоном.

— Сие можно учинить и в сие мгновение, — сказал пан Кнышевский, махнув рукою, чтоб Павлусь перестал звонить и сошел.

Слезши с звонницы, брат Павлусь явился взору родителей моих — и радостный крик их остановил глаголение дьяка. Невозможно описать восторга батеньки, увидевших и удостоверившихся, что и у второго сына их, обиженного натурою, произведшею на спине его значительный горб, открылся талант, и еще отличный. Полные радости душевной, как нежные родители, они попеременно ласкали Павлуся и повели с собою, чтобы покормить его молочною кашею, приготовленною для них после проходки. А пану Кнышевскому ни за что, ни про что — потому что вовсе не учил Павлуся этому художеству — батенька подарил копну сена, а маменька клубок валу (пряжи) на светильни для каганца.

Наступало время батеньке и маменьке узнать радость и от третьего сына своего, о котором даже сам пан Кнышевский решительно сказал, что он не имеет ни в чем таланта. И так пан Кнышевский преостроумно все распорядил: избрал самые трудные псалмы и, заведя меня и своего дьячка скрытно от всех на ток (гумно) в клуне (риге), учил нас вырабатывать все гагаканья... О, да и досталось же моим ушам!

Пан Кнышевский, трудясь до пота лица, успел, наконец, в желании своем, и мы в три голоса могли пропеть несколько псалм умилительных и кантиков восхитительно. Для поражения родителей моих внезапною радостию избрал он день тезоименитства маменьки, зная, что по случаю сей радости у нас в доме будет банкет.

В радостный тот день, когда пан полковник и гости сели за обеденный стол, как мы, дети, не могли находиться вместе с высокопочтенными особами за одним столом, то и я, поев прежде порядочно, скрывался с дьячком под нашим высоким крыльцом, а пан Кнышевский присел в кустах бузины в саду, ожидая благоприятного случая. Первую перемену блюд мы пропустили, чтобы дать волюю гостям свободно накушаться. Но когда сурмы и бубны возвестили о другой перемене, тут мы вошли в сени, прокашлялись, развернули ирмолой, пан Кны-

шевский взял меня и дьячонка за уши, и мы начали... Внезапное изумление поразило всех трапезующих.

Батенька как были очень благоразумны, то им первым на мысль пришло: не слепцы ли это поют? Но, расслушав ирмольное искусство и разительный, окселентующий голос пана Тимофтя, как сидели в конце стола, встали, чтоб посмотреть, кто это с ним так сладко поет? Подошли к дверям, увидели и остолбенели... Наконец, чтоб разделить радость свою с маменькою, тут же у стола стоявшими, отозвались к ней:

— Фекла Зиновьевна!.. Посмотри!.. — Больше ничего не могли сказать: слезы их проняли...

Маменька очень любили пение; и кто бы им ни запел, они тотчас задумываются, тут же они подносили пану полковнику тот кусочек от курицы, что всякий желает взять, и как услышали наше сладкопение, забыли и кусочек, и пана полковника, и все, — стали как вкопанные, очень задумались и голову опустили.

Услышав же батенькин отзыв, подумали и спросили, чего там смотреть?

— Посмотрите, душко, кто это поет? — сказали батенька.

— А нуте, нуте, кто это там поет? — сказали маменька.

Тут батенька, взяв пана Кнышевского за пояс, втащили его в горницу, а за ним и мы втянуты были дьяком, не оставлявшим ушей наших, дабы не расстроилась псалма.

Маменька как увидели и расслушали мой голос, который взбрался на самые высочайшие тоны, — потому что пан Кнышевский, дабы пощеголять дарованием ученика своего, тянул меня за ухо что есть мочи, отчего я и кричал необыкновенно, — так вот, говорю, маменька как расслушали, что это мой голос, от радости хотели было сомлеть, отчего должно бы им и упасть, то и побоялись, чтобы не упасть на пана полковника или чтоб не сделать непристойного чего при падении, то и удержались гостей ради, а только начали плакать слезами радости. Конечно, им бы следовало сильнее выразить свою чувствительность, затем что когда батенька, и не любивши меня, прослезилась, увидя мое дарование, а им, маменьке, как о пестунчике своем, одних слез недостаточно было, но я их не виню: банкет, пан полковник и все гости помешали большому «пассажу».

Батенька, с дозволения пана полковника, поднесли пану Кнышевскому большую чарку вишневки и просили еще усладить пением. Пан полковник приказал стать поближе к себе, и мы, ободренные, пошли вдаль, все вдаль. Пан полковник, хотя кушал индейку, начиненную сарачинским пшеном с изюмом, до того прельстился нашим пением, что, забыв, что он за столом, начал нам подтягивать басом довольно приятно, хотя за жеванием не разводил губ, причем был погружен в глубокие мысли,

чаятельно вспомнил свои молодые лета, учение в школе и такое же пение. Гости были в восторге от нашего пения, маменька все плакала от умиления, потому что мы пели псалмы все чувствительные. Батенька не могли усидеть на месте, забывали угощать гостей, и когда я выработывал, при помощи дранья меня за ухо, высшие ноты, они подходили ко мне и целовали меня в голову.

После обеда батенька приказали уконтентовать пана Кнышевского елико можаху, а меня закормили все, кто чем успевал, и все любовались и завидовали моему громкому и звонкому голосу.

Торжество мое было совершенное. После этого достопримечательного дня мне стало легче. В школе — знал ли я, не знал урока — пан Кнышевский не взыскивал, а по окончании учения брал меня с собою и водил в дом богатейших казаков, где мы пели разные псалмы и канты. Ему давали деньги, а меня кормили сотами, огурцами, молочною кашею или чем другим, по усердию.

Маменька очень рады были, что у любимого их сынка открылся любимый ими талант; и когда, бывало, батенька покричат на них порядочно, то маменька, от страха и грусти ради, примутся плакать и тут же шлют за мною и прикажут мне петь, а сами еще горше плачут — так было усладительно мое пение!

Таким побытом продолжалось наше учение, и уже прочие братья: Сидорушка, Ефремушка и Егорушка, поступили в школу; а старший брат Петрусь, выучив весь псалтырь, не имел чему учиться. Нанять же «инспектора» (учителя) батенька находил неудобным тратиться для одного, а располагали приговорить ко всем троим старшим, но я их задерживал: как стал на первом часе — да ни назад, ни вперед.

Брату Петрусью было уже пятнадцать лет. Он пана Кнышевского и в грош не ставил; и как был одарен отличным умом и потому склонен к шалостям, то начал изобретать разные потехи.

Дьячиха, жена пана Кнышевского, преобладала мужем своим, несмотря на все его уверения, доказательства, что он есть ее глава. «Как бы ты был в супружестве рука, — возражала на это дьячиха, — тогда бы ты что хотел, то и делал; но как ты голова, да еще дурная, глупая, то я, как руки, могу тебя бить». И с этим словом она колотила порядочно свою голову и рвала за волосы.

— Воздержись, окаянная! — вопил Кнышевский. — Измождай тело мое, но не глумись над волосами, на них же не подobaет железу взыти...

— Я не железом, а грешными руками рву твои патлы... — приговаривала дьячиха, таская его за длинную косу, кою он всегда отличался.

Он был в совершенной ее зависимости по самый день смерти ее. Когда она умерла, положивши ее как должно, назначил псалтырщиков своих читать над нею, умилился сердцем и возопил при всех нас: «Брате Тимофее, лукавствуй! Твоя воля, твори, еже хощеша, несть препиняющий тя». И потом, выпив на калган гнатою горелки, пошел в школу отдыхать на лаврах, избавясь от гонительницы своей.

Это делалось вечером. Лишь только пан Кнышевский восхрапел, брат Петрусь приступил к действию. Меня поставили к псалтыри, приказав мурлыкать, будто кто читает. Брат Павлусь, как великий художник, пробил в горшке глаза, нос и рот, заклеил бумагой и оттенил углем. Брат Петрусь достал дьячихино платье, принарядился кое-как и приготовленный горшок поставил вверх дном на голову, а в середину его утвердил свечу. Фигура была ужасная, от которой нет такого храброго в мире воина, что бы насмерть не испугался. В этом наряде Петрусь пошел к спящему zelo крепко в школе пану Кнышевскому. Петрусь был окружен школьниками, держащими кошек, коих при входе в школу начали они тянуть за уши и хвосты; кошки подняли страшный крик, мяуканье, визг... Пан Кнышевский невольно воспрянул от сна и, увидев необычайное явление, начал творить заклинания. Но Петрусь не боялся их и тонким, визгливым, резким голосом, как покрикивала умершая, начал грозить пану Кнышевскому, чтобы он не полагал ее в отсутствии от себя, что душа всегда будет находиться в зеленом поставчике и, смотря на его деяния, по ночам будет мучить его, если он неподобное сотворит. Повелевала не наказывать вовсе ни за что школярей и не принуждать их к учению, а особенно панычей (коих с поступившими от других помещиков было всего одиннадцать), которым приказывала давать во всем полную волю... и много тому подобно наговорив, Петрусь скрылся с глаз дьяка.

Трепещущий, как осиновый лист, вошел в хату пан Кнышевский, где уже Петрусь, как ни в чем не бывало, читал псалтырь бегло и не борзяся, а прочие школяры предстояли. Первое его дело было поспешно выхватить из зеленого поставца калгановую и другие водки и потом толстым рядом покрыть его, чтобы душа дьячихи, по обещанию своему там присутствующая, не могла видеть деяний его.

С сих пор Петрусь что хотел, то и делал. Школа наша превратилась в собрание шалунов самых дерзких. Главным занятием было, под предводительством Петруся, приобретение дынь, арбузов, огурцов, груш и проч. и проч. Никакие плетни не удерживали школярей; где же встречались запоры или замки, тут действовало искусство брата Павлуся, и он препобеждал все. Дерзким шалостям не было конца. Не уважаемый нами пан

Кнышевский восставал на нас с грозой и требовал, чтобы мы сидели смиренно и твердили стихи; но Петрусь при том вскрикивал:

— Пане Кнышевский! Не слышите ли, что это в зеленом поставце шевелится?

— Гм! Гм! — покашливая, взглядывал пан Кнышевский на поставец и медленно уходил в свою светлицу, а мы, школяры, продолжали свои занятия неудержанно никем.

Дома своего мы вовсе не знали. Батенька хвалили нас за такую прилежность к учению; но маменька догадывались, что мы вольничаем, но молчали для того, что могли меня всегда, не пуская в школу, удерживать при себе. Тихонько, чтобы батенька не услышали, я пел маменьке псалмы, а они закармливали меня разными сладостями.

Братья же мои, пребывая всегда в школе с благородными и подлыми товарищами, «преуспевали на горшее», как говорил пан Кнышевский вздыхая, не имея возможности обуздать своих учеников.

Брат Петрусь, как всегда великого ума люди, был любовной комплекции, но в занятия такого рода по тогдашнему правилу не мог пускаться, потому что еще не брил бороды, ибо еще не исполнилось ему шестнадцати лет от роду.

Когда же настал этот вождеденный для него день, день рождения его, коим начиналось семнадцатое лето жизни его, то призван был священник, прочтена была молитва; Петрусь сделал три поклонения к ногам батеньки и маменьки, принял от них благословение на бритье бороды и получил от батеньки бритву, «которую, — как уверяли батенька, — голился еще прапращур наш, войсковой обозный Пантелеймон Халявский», и бритва эта, переходя из рода в род по прямой линии, вручена была Петрусе с тем же, чтобы в потомстве его старший в роде, выбрив первовыросшую бороду, хранил, как зеницу ока, и передавал бы также из рода в род.

Маменька же благословили Петруся куском грецкого мыла и полотенцем, вышитым разными шелками руками также прабабушки нашей в подарок прадедушке нашему для такого же употребления. Вот и доказательство, что род Халявских есть один из древнейших.

Церемония была трогательная. Сами батенька даже всплакнули; а что маменька, так те навзрыд рыдали. Конечно, очень чувствительно для родителей видеть первенца брака своего, достигшего совершенных лет, когда уже по закону или обычаю он должен был исполнять действительные взрослые людей. В теперешнее время где найдем сей похвальный обычай? Кто из юношей достигает шестнадцатилетнего возраста с небритою бородою и с удалением себя от некоторых действий, свойственных совер-

пленным людям? Наши, то есть теперешние, юноши в шестнадцать лет смотрят стариками, твердят, что они знают свет, испытали людей, видели все, настоящее их тяготит, прошедшее (у шестнадцатилетнего!!!) раздирает душу, будущее ужасает своею безбрежною мрачностью и проч. и проч... И все такие черные мысли у них от того, что они не имели учителей, подобных пану Кнышевскому, с его субботками, правилами учения, методою в преподавании пения и всем и всем. Святая старина!

Пожалуйте же, что там, на церемонии, происходит. По окончании поклонений и подарков Петрусь тут же был посажен, и рука брадобрея, брившего еще дедушку нашего, оголила бороду Петруся, довольно по черноте волос заметную; батенька с большим чувством смотрели на это важное и торжественное действие; а маменька пугались всякого движения бритвы, боясь, чтобы брадобрей по неосторожности не перерезал горла Петрусю, и только все ахали.

Когда кончилось действие (должен объявить, что усы у Петруся по тогдашнему обыкновению не были выбриты), тогда батенька попотчевали из своих рук брадобрея и Петруся, которому приказали выпить свою рюмку, сказав: «Ты теперь совершенный муж, и тебе разрешается на вся». Потом был обед праздничный и после него лакомства разных сортов.

Пан Кнышевский в числе прочих детей имел дочь, достигшую пятнадцатилетнего возраста. Увидев, что Петрусь, оголив свою бороду, начал обращение свое с нею как совершенный муж, коему — по словам батеньки — разрешается на вся, он начал ее держать почти взаперти во все то время, пока панычи были в школе, следовательно, весь день; а на ночь он запирали ее в комнате и бдел, чтобы никто не обеспокоил ее ночью порою. Затворница крепко тосковала и при случае успела шепнуть, что она рада бы избегать от такого стеснения. Немедленно приступлено к делу.

Вечером несколько школярей по одному названию, а вовсе не хотевших учиться, не слушая и не уважая пана Кнышевского; тут собрались к нему и со всею скромностью просили усладить их своим чтением. Восхищенный возможностью блеснуть своим талантом в сладкозвучном чтении и красноречивом изъяснении неудобопонимаемого, пан Кнышевский уселся в почетном углу и разложил книгу; вместо каганца даже самую свечу засветил и, усадив нас кругом себя, подтвердив слушать внимательно, начал чтение.

На третьей странице я отпросился выйти. Не успев выйти из сеней, я начал кричать необыкновенным голосом: «Собака, собака! Ратуйте... собака!..»

Пан Кнышевский первый бросился ко мне на помощь; но лишь только он выскочил из сеней, как собака бросилась на

него, начала рвать его за платье, свалила на землю,хватила за пальцы и лизала его по лицу.

Пан Кнышевский кричал не своим голосом. Все школяры высыпали из хаты, закричали на собаку, которая, отбежав и никого не трогая, смотрела с угла на происходящее. Не пораненного нигде, но более перепуганного пана Кнышевского втащили мы в хату и, осмотрев, единогласно закричали, что это бешеная собака, которая если и не покусала его, то уже наверное заразила его. Пан Кнышевский задрожал всем телом, а школяры начали кричать: «Бесится пан Тимофтей, бесится; давайте воды попробовать». Мы, не выпуская его из рук, приготавливались обдать водою, а он кричал ужасно, даже ревел. Тут мы больше принялись утверждать, что «пан Тимофтей бесится».

— Чада мои! Спасите меня! — начал он просить нас умоляющим голосом, и мы признали за необходимое связать ему руки и ноги и, так отнеся его в пустую школу, там запереть его. Трепеща всем телом и со слезами он согласился и был заключен в школе, коей дверь снаружи заперли крепко.

— Фтеодосию!.. Фтеодосию!.. — начал кричать пан Кнышевский из своего заключения, вспомнив про дочь свою. — Фтеодосию спасите! Да идет она на пребывание к пономарке Дрыгалихе, дондеже перебешуся.

Но мы, уверив беснующегося, что дочь его при первой суматохе побежала звать знахарку, тем успокоили его.

Брат Петрусь, как расположивший всем этим происшествием, торжествовал победу... А Павлусь, как отличный художник, быв наряжен и действуя собакою и так сильно напугавши пана Кнышевского, теперь переряживался в знахарку.

Когда все кончилось и Павлусь также был готов, то Петрусь пошел с нами к заключенному. Фтеодосия, смущенная, расстроенная, дрожащими руками несла перед нами свечу.

Знахарка вошла, шептала над страждущим, плевала, лизала его, умывала и, намешав толченого угля с водою, дала ему выпить эту воду, все продолжая шептать. Все мы уверяли, что с больного как рукою сняло бешенство, и мы выпустили его.

Горбунчик Павлусь прекрасно сыграл свои роли: был настоящим собакою, ворчал, лаял, выл и тормошил пана Кнышевского, вот-таки как истинная собака. Знахарку он также представил весьма натурально: поговорки, приговорки, хрипливый голос, удушливый кашель — все, все было очень хорошо. Недурно и Петрусь сыграл свою роль, даже весьма успешно; и это ему так понравилось, что он затеял повторить эту комедию и на следующий вечер.

Вечером, когда мы уселись опять слушать чтение пана Кнышевского и когда он со всем усилием выражал читаемое, Фтеодосия из комнаты, где она запираема была отцом своим, закричала:

— Ах, мне лихо! Посмотрите, панычи, чуть ли не бесится мой пан-отец?

— Ах, так и есть, так и есть! — начал кричать Петрусь, а за ним и все мы кричали: — Бесится пан Кнышевский, бесится!

— Берите ж меня паки, — простонал несчастный, — свяжите вервием и предайте заключению во тьму кромешную...

Мы его честно связали и поволокли к школу. Он оттуда кричал дочери:

— Фтеодосие! По-вчерашнему...

— И без вас знаю, — отвечала она, поспешая в комнату.

— Пригласите волшебницу спешнее! — вопил дьячок.

В свое время знахарка явилась и освободила пана Кнышевского от бешенства. Он сам сознавался, что в сей раз бешенство овладело им менее, нежели вчерашний день.

Пан Кнышевский охотно давал себя связывать, и мы уверены были, что он без ворожбы с места не подвинется, а потому день ото дня беспечнее были насчет его: слабо связывали ему руки и почти не запирали школы, вводя его туда.

Эти комические интермедии с паном Кнышевским повторялись довольно часто. В один такой вечер наш художник Павлусь от небрежности как-то лениво убирался знахаркою и выскочил с нами на улицу ради какой-то новой проказы. Пану Кнышевскому показалось скучно лежать; он привстал и, не чувствуя в себе никаких признаков бешенства, освободил свои руки, свободно разрушил заклепы школы и тихо через хату вошел в комнату.

Тут он в самом деле взбесился и «возрыкал, аки вепрь дикий», как сам после рассказывал. Виновный пробежал мимо его за ворота, на улицу... Не понимая, в чем дело, мы также пустились «во все лопатки» за Петрусем домой!

На другой день очень рано пан Кнышевский явился к батеньке с жалобою на всех нас.

— Помилуйте, вельможный пане подпрапорный! — вопил пан Кнышевский и просил и требовал удовлетворения, причем рассказал весь ход интриги нашей и все действия изъяснил со всею подробностью.

Батенька так и покатались от смеху и с удивлением восклицали:

— Что за умная голова у этого Петруся! Что за смелая бестия этот Петрусь! Мне бы и во сто годов так не выдумать. Это удивление, а не хлопец!

Когда же пан Кнышевский умолял и требовал возмездия за поругание, то батенька сказал ему:

— Да чего ты, пане Кнышевский, так турбуешься (хлопочешь)? Что дитя так пошало, а ты уже и за дело считаешь.

— Истина глаголет устами вашими, вельможный пане подпрапорный! — сказал пан Кнышевский, прижав руки к груди и возведя очеса свои горè. — Но одначе... последствие...

— Будет еще время толковать об этом, пане Кнышевский, а теперь иди с миром. Станешь жаловаться, то кроме сраму и вечного себе бесчестья ничего не получишь; а я за порицание чести рода моего уничтожу тебя и сотру с лица земли. Или же возьми, когда хочешь, мешок гречишной муки на галушки и не рассказывай никому о панычевской шалости. Себя только осрамишь.

Пан Кнышевский, поклонясь, пошел и, не отказавшись от муки, принес ее домой, а происшествие предал вечному молчанию, а Фтеодосия и подавно никому не открывала.

И хорошо сделал пан Кнышевский, что замолчал. Он ничего бы не выиграл против батеньки, а только раздражил бы их. Хотя они были не больше как подпрапорные, но, оставляя титул, по своему богатству были очень сильны и важны. Но как были нравны, так это ужас! Все их трепетали, а они ни о ком и не думали. Не приведи господи взойти на нашу землю хотя курице господской — в прах разорят владельца ее; а если вздумает поспорить или упрекать, так и телесно над ним наругаются, а сами и в ус себе не дуют. И пан полковник-таки всегда за батеньку руку тянул, помня отличные его банкеты и другого рода уважения.

Так куда же было пану Кнышевскому подумать тягаться с батенькою, так ужасным и чтимым не только всею полковою старшиною, но и самим ясновельможным паном полковником? Где бы и как он ни повел дело, все бы дошло до рассудительности пана полковника, который один решал все и всякого роду дела. Мог ли выиграть ничтожный дьячок против батеньки, который был «пан на всю губу»? И потому он и бросил все дело, униженно прося батеньку, чтобы уже ни один паныч не ходил к нему в школу.

Батенька, топнув ногою, прикрикнули на него:

— Вот глупый дьяк, умствует из-за своей дрянной дочки! Сам не знает уже, чему учить, да и находит пустую причину к отказу. Вздор! Меньшие хлопцы: Сидорушка, Офремушка и Егорушка, должны у тебя учиться по договору, а старших трех ты не умеешь чему учить.

В таких батенькиных словах заключалась хитрость. Им самим не хотелось, чтобы мы после давишнего ходили в школу; но желая пред паном Кнышевским удержать свой

«гоно́р», что якобы они об этой истории много думают, — это бы унизило их, — и потому сказали, что нам нечему у него учиться. Дабы же мы не были в праздности и не оставались без ученья, то они поехали в город и в училище испросили себе «на кондиции» некоего Игнатия Галушкинского, славимого за свою ученость и за способность передавать ее другим.

Маменька крепко поморщилась, увидев привезенного «на хлебника, детского мучителя и приводчика к шалостям». «Хотя у него и нет дочки, — так говорили они с духом какого-то предведения, — но он найдет, чем развратить детей еще горше, нежели тот цап (так маменька всегда называли дьячка за его козлиный голос). А за сколько вы, Мирон Осипович, договорили его?» — спрашивали они у батеньки, смотря исподлобья.

— Стол вместе с нами всегда, — рассказывали батенька, однакож вполголоса, потому что сами видели, что проторговались, дорогонько назначили, — стол с нами, кроме банкетов: тогда он обедает с шляхтою; жить в панычевской; для постели войлок и подушка. В зимние вечера одна свеча на три дня. В месяц раз позволение проездиться на таратайке к знакомым священникам, не далее семи верст. С моих плеч черкеска, какая бы ни была, и по пяти рублей от хлопца, то есть пятнадцать рублей в год.

— Так он уже за эту цену выучит детей всем на свете наукам? — спросили маменька хитро и укорительно против оплошности батенькиной в высокой цене.

— Каким же всем наукам? — говорили батенька, смотря в окно, чтоб скрыть свой маленький стыд. — Российскому чтению церковной и гражданской печати, писанию и разумению по-латыни...

— И по-латыни! — вскрикнули маменька удивленно-жалким голосом. — То были простые, а теперь будут латынские дурни!..

— Ну те же, полно, — сказали батенька, возвышая голос, — не давайте воли язычку. Вы знаете меня. Идите себе к своему делу.

И точно, маменька очень хорошо знали батенькину комплекцию и потому поспешили убраться в свою опочивальню, где наговорились вволю, осуждая батенькины распоряжения об нас, но все, по обычаю, тихо, чтоб никто не слышал. Потом, волею или неволею, а поместили пана Галушкинского в панычевской.

Новое ученье наше началось 1 сентября. Мы принялись прямо читать по-латыни. Инспектор наш, Галушкинский, объявил, что он, не имея букварей латинских, которых батенька, поспешая выездом из города, позабыли купить, не имеет

по чем научить нас азбуке и складам латинским, то и начал нас учить прямо читать за ним по верхам. Не понимаю отчего и почему, указывая на слово, мы должны были непременно говорить manus, pater¹ и проч. На вопрос об этом Петруся, как весьма любознательного, инспектор всегда отвечал: «Того требует наука. Не ваше дело рассуждать».

Петрусь по своему необыкновенному уму, в чем не только прежде пан Кнышевский, но уже и пан Галушкинский, прошедший риторический класс, сознавался, равно и Павлуся, по дару к художествам, мигом выучивали свои уроки; а я, за слабою памятью, не шел никак вдаль. Да и сам горбунчик Павлуся, выговаривая слова бойко, указывал пальцем совсем на другое слово.

К удивлению и обрадованию батенькиному — маменька же всегда, когда доходило до нашего ученья, замахивали руками и уходили прочь — в первое воскресенье инспектор привел нас к батеньке и заставил читать, «что мы выучили за неделю». Молодцы принялись отлепетывать бойко, громко, звонко, с расстановкою, руки вытянув вперед себя, глаза уставив в потолок (домине Галушкинский, кроме наук, взялся преподавать нам светскую ловкость, или «политичное обращение») и с акцентами по своему произволению: «патер ностер кви ест ин целис» — и проч. до половины.

Горбунчик Павлуся, как отрок изобретательного ума, самые слова выговаривал по своему произволению, например est in coelis² он произносил: «есть нацелился», и проч.

Батенька, слушая их, были в восторге и немного всплакнули; когда же спросили меня, что я знаю, то я все называл наизворот: manus — хлеб, pater — зубы, за что и получил от батеньки в голову щелчок, а старших братьев они погладили по головке, учителю же из своих рук поднесли «ганусковой» водки.

Маменька же, увидевши, что я не отличился в знании иностранного языка и еще оштрафован родительским щелчком, впрочем, весьма чувствительным, от которого у меня в три ручья покатались слезы, маменька завели меня тихонько в кладовую и — то-то материнское сердце! — накормили меня разными сладостями и, приголубливая меня, говорили: «Хорошо делаешь, Трушко, не учишь их наукам. Дай бог и с одною наукою ужиться, а они еще и другую вбивают дитяти в голову».

Таким побытом инспектор наш, домине Галушкинский, ободренный милостивым вниманием батенькиным, пустился преподавать нам свои глубокие познания вдаль и своим особым мето-

¹ Рука, отец (ред.).

² Есть в небесах (ред.).

дом. Ни я, ни Петруся, ни Павлуся не обязаны были, что называется, учиться чему или выучивать что, а должны были перенимать все из слов многозначащего наставника нашего и сохранять это все, по его выражению, «как бублики, в узел навязанные, чтобы ни один не выпав был годен к употреблению».

Хорошо было братьям — им все удавалось. Петруся, как необыкновенно острого ума человек, все преподаваемое ему поглощал и даже закидывал вперед учительских изъяснений. Домине Галушкинский изъяснял, что, вытвердив грамматику, должно будет твердить пиитику. Любознательный Петруся даже не усидел на месте и с большим любопытством спросил:

— А чему учит пиитика?

Домине Галушкинский погружился в размышления и, надумавшись и кашлянувши несколько раз, сказал решительно:

— Видите ли, грамматика сама по себе, и она есть грамматика! А пиитика сама по себе, и она уже есть пиитика, а отнюдь не грамматика. Поняли ли? — спросил он, возвыся голос и поглядев на нас с самодовольством.

— Поняли, — вскрикнул я за всех и прежде всех, потому что и тогда не любил и теперь насмерть не люблю рассуждений об ученых предметах и всегда стараюсь решительным словом пресечь глубокомысленную материю. Вот потому я и поспешил крикнуть «поняли», хотя, ей-богу, ничего не понял тогда и теперь не понимаю. Видно, такая моя комплекция!

В другой раз Петруся, принявшись умствовать, находил в грамматике неполноту и полагал, что нужно добавить еще одну часть речи: брань, — так он витийствовал и принялся в примерах высчитывать всевозможные брани и ругательства, нарицательные и положительные, известные им во всех родах, свойствах и оборотах, и спрашивал: «К какой части речи это принадлежит? Оно-де не имя, не местоимение, не предлог и даже не междометие, следовательно, особая часть речи должна быть прибавлена».

Я желал, чтобы вы взглянули тогда на нашего инспектора. Недоумение, удивление, восторг, что его ученик так глубоко рассуждает, — все это ясно, как на вывеске у портного в Пирятине все его предметы, к мастерству относящиеся, было изображено. Когда первое изумление его прошло, тут он чмокнул губами и произнес, вскинув голову немного вверх: «Ну!» Это ничтожное «ну» означало: «ну, растет голова!» И справедливо было заключение домина! Во всем Петруся преуспел; жаль только, что не сочинил своей грамматики!

Павлуся, как малый художественный, изобретательного ума, отделялся прежде всех. Какую бы ни дали ему задачу — из грамматики ли или из арифметики, он мигом, не думавши, подпишет так, ни се, ни то, а чорт знает что, вздор, какой

только в голову придет. Подмахнул, скорее со скамейки, с панычевской, уже на улице у ожидающих его мальчишек... и дует себе в скракли, в свайку и едет торжественно на побежденных. Задачу же, ему данную, домине Галушкинский сам потеет да решает. Сначала пробовал его возвратить и заставить исправить упущение... Куда! И не говори ему о том.

Со мною домине Галушкинскому было тяжелее, потому что я не выучивал своих уроков и не требовал у него объяснений ни на что. Я находил, что во мне есть какая-то благородная амбиция, внушающая мне ничего ни у кого не искать, чтобы не быть никому обязану. Итак, все мои сомнения в науках и ученых предметах я, по комплекции моей, разрешал и доходил сам. Например, для меня казалось странно, к чему так говорить, чтобы понимали мною говоримое? Писать не как мысль идет, а подкладывать слово к слову, как куски жареного гуся на блюдо, чтобы все было у места, делало вид и понятно было для другого? По-моему, говорю ли я, пишу ли — все для себя. Отзвонил, да и с колокольни прочь; пусть другие разбирают, о чем звон был: за здоровье или за упокой? Так и тут: выговорил все, что на душе, написал все, что на уме, и — баста! Разбирай другой, что к чему, а я вдвойне не обязан трудиться, чтобы писать или говорить и притом еще думать. Эту задачу, поверьте мне, я решил без помощи домина Галушкинского сам и не учась многому. Вместе с прочими науками одна честь была у меня и пресловутой арифметике, которую домине Галушкинский уверял, что сочинил какой-то китаец Пифагор, фамилии не припомню. Если бы, говорит, он не изобрел таблицы умножения, то люди до сих пор не знали бы, что $2 \times 2 = 4$. Конечно, домине Галушкинский говорил по-ученому, как учившийся в высших школах; а я молчал да думал: к чему трудился этот пан Пифагор? К чему сочинял эти таблицы, над которыми мучились, мучатся и будут мучиться до веку все дети человеческого племени, когда можно вернее рассчитать деньги в натуре, раскладывая кучками на столе? Давайте мне и всякую науку, я докажу, что можно жить без них, быть покойну, а потому и счастливу. Домине Галушкинский, видно, был противного со мною мнения: он против воли нашей хотел сделать нас умными, да ба! маменька прекрасно ему доказывали, что он напрасно трудится. Они всегда ему говорили: «Лиха матери дожدهшься, чтоб с моих сыновей был хотя один ученый», и при этом было сложат шиш, вертят его, вертят и тычут ему к носу, прицмокивая. О! Маменька ему ни в чем не спускали, разумеется, без бытности батеньки: а то бы...

Домине Галушкинский, злясь в душе, и примется за свои предметы; все меры употребляет, чтобы *вбить* нам науки, так куда же! Братья от нападков домина инспектора отделявались

собственными силами и сами тузили людей, призванных «для сделания положения». А домине Галушкинский побесится-побесится, да и отстанет и батеньке не скажет, потому что он заметил, когда жалуется на братьев, то батенька и на него сердятся; а когда хвалит за успехи, так батенька поднесут «ганусковой» водки. Так он и давай все хвалить. Мне же этого рода метод не был полезен. Первоначально еще маменька с Галушкинским заключили тайный «аллианс», чтобы на меня за леность и тупость кричать и жаловаться, но отнюдь не наказывать, и за всякое снисхождение обещано от маменьки Галушкинскому какое-то награждение из съедомого. Так домине инспектор для приобретения себе водки и закуски всегда братьев хвалил, а меня порицал. Хитрый-хитрый человек, а и в Петербурге не был. И что же? Он пожалуется, и его уконтентуют, а мне батенька дадут тут же щипки, и я плачу, но тут же прислушиваюсь, не звенят ли маменькины ключи у кладовой? Я хорошо знал их натуру: когда батенька меня бранят или пощелкают, тут они с лакомствами и примутся утешать меня, приговаривая: «Пускай батенька твой сердится. Ты, Трушко, не унывай, не вдавайся в их слова. И батенька твой ничему же не учился, а, право, в десять раз умнее всех инспекторов». И правда их была.

Но... оставим ученые предметы. Домине Галушкинский и вне учения был против нас важен с строгостью. По вечерам ни с собою не брал в проходку, ни самим не позволял отлучаться и приказывал сидеть в панычевской смирно до его прихода. Куда же он ходил, мы не знали.

Мне это нравилось. Моя комплекция вела меня к уединению, и я тотчас после учения добирался к своим днем от маменьки полученным и старательно спрятанным лакомствам, съедал их поспешно и, управившись дочиستا, тут же засыпал в ожидании желаемого ужина. Братьям же моим такое принуждение было несносно. На беду их батенька очень не любили, чтобы дети без призыва приходили в дом, а потому и прогоняли нас оттуда. Маменька же рады были всякому принуждению, братьям делаемому, и все ожидали, что батенька потеряют терпение и отпустят инспектора, который, по их расчету, недешево приходился. В самом деле, как посудить: корми его за господским столом — тут лишний кусок хлеба, лишняя ложка борщу, каши и всего более обыкновенного; а все это, маменька говаривали, в хозяйстве делает счет, как и лишняя кружка грушевого квасу, лишняя свеча, лишнее... да таки и все таки лишнее, кроме уже денег — а за что?.. Тьфу!.. При этом маменька всегда плевали в ту сторону, где в то время мог находиться домине Галушкинский.

Притом же он как ученый не знал даже вовсе политики. Бывало, когда съест порцию борща, а маменька, бывало, накладыв-

вают ему полнехонькую тарелку, — то он, дочиста убрав, еще подносит к маменьке тарелку и просит: «Усугубите милости». Спору нет, что маменька любила, чтобы за обедом все ели побольше, и, бывало, приговаривают: «Уж наварено, так ешьте; не собакам же выкидывать». Но все же домине Галушкинский поступал против политики.

И в какие же дураки он попался в один день! Надобно знать, что у нас к обеду готовили один день борщ, а в другой день суп, чтобы не прискучило. В суповой день принесли к столу свежей рыбы и раков. Маменька пожелала рыбного борщу и приказали изготовить. Кухарка, зная порядок, изготвила, как требовала очередь, и суп с лапшой и гусем. Из раков же, как их было немного, сами приготовили ботвинье, называвшееся у нас «холодец», которого, по малому числу раков, едва достаточно было на две порции — батеньке и маменьке. Маменька имели привычку раздать всем горячее, а потом уже принимались кушать сами, чтобы ничто их не развлекало. Как же они иностранных языков не знали, то и не могли выговорить «домине», равно, не любя распространяться вдаль, Галушкинского сокращали просто в «Галушку» и потому без «домине» звали его просто: Галушка да и Галушка и больше ничего. Хорошо. Вот мы сели за стол; маменька, отставив в сторону для себя и батеньки «холодец», начали раздавать горячее, спрашивая, кто чего хочет — супу или борщу? Вопрос натуральный, когда есть суп и борщ, потому всякий из нас отвечал по желанию. Дошла очередь до инспектора. Маменька спросили его: «А ты, Галушка, чего хочешь: борщу или супу?» Домине с осклабленным лицом произнес не обинуясь: «И борщика, и супцу, а коли можно, то и холодцю пожалуйте мне, вельможна пани!»

Боже мой! Тут надобно было видеть маменьку! Они все побагровели и тут же, отложив тарелки, как сложили двойные шиши на обеих руках да как завертят! — Минут пять вертели, а потом цмокнули и ткнули ему шиши к носу, промолвив: «А зуски не хочешь? Видишь, какой ласый до холодцю! Нет же тебе ничего!»

Напек же раков домине Галушкинский, то есть, просто говоря, покраснел, как сукно, и, не имея духу стыда ради на кого-либо взглянуть, просидел весь стол опустивши голову и не ел ничего. Вот тебе и полакомился «холодцом»!

Но все это посторонняя материя и сказано только кстати. Обратимся к настоящему предмету.

Художественный Павлуся, а потом и Петруся, чрез отличный свой разум, заметили, что реверендissime домине Галушкинский каждую ночь в полном одеянии, а иногда даже выбрившись, выходит тайным образом из дому и возвращается уже на рассвете. В одну ночь брат художник тихонько пустился

по следам его и открыл, что наш велемудрый философ «открыл путь ко храму радостей и там приносит жертвы различным божествам» — это так говорится ученым языком, а просто сказать, что он еженощно ходил на вечерницы и веселился там до света, не делая участниками в радостях учеников своих, из коих Петруся, как необыкновенного ума, во многом мог бы войти с ним в соперничество. От такого поступка самолюбие братьев моих крепко было пощечено. Как? После того как Петруся, по внушению домашних лакеев, располагал было, «любопытства ради», проходиться на вечерницы и домине Галушкинский удержал, не пустил и изрек предлинное увещание, что таковая забава особам из шляхетства неудобоприлична, а кольми паче людям, вдавшимся в науки, и что таковая забава тупит ум и истребляет память... после всего этого «сам он изволит швандять (так выражался брат), а мы сиди дома, как мальчики, как дети, не понимающие ничего? Так докажем же, что мы знаем и понимаем все и даже можем оставлять других с детьми, а сами гулять по своей воле. Идем за ним на вечерницы!..» Они собрались, пошли, взяв и меня с собою для того, чтобы всему нашему ученому обществу равно пить из одной чаши радостей или, в противном случае, отвечать.

Войдя в хату одной из вдовых казачек, у коих обыкновенно собираются вечерницы, мы увидели множество девок, сидящих за столом; гребни с пряжей подле них, но веретена валялись по земле, как и прочие работы, принесенные ими из домов, преспокойно лежали по углам; никто и не думал о них, а девки или играли в дурочки, или балагурили с парубками, которые тут же собирались также во множестве; некоторые из них курили трубки, болтали, рассказывали и тому подобно приятным образом проводили время.

Над всеми ими законодательствовал наш реверендissime Галушкинский, которого и величали «скубент» (испорченное «студент»), потому что он был в бекеше и курил табак из коренковой трубки.

О! Как изумился он, увидя воспитываемое им юношество, пришедшее насладиться удовольствиями, о которых он запрещал им и мыслить!.. Тайные подвиги его открыты!.. Когда мы вошли, он с одною девкою пел песню «Зелененький барвиночку» и остановился на полуслове... Пришед в себя, начал кричать и прогонять нас домой. Но брат Петрусь, имевший отважный дух и геройскую смелость, неустрашимо стал против него и объявил, что если он и пойдет, то пройдет прямо к батеньке и сей же час расскажет, где находится и в чем упражняется наставник наш.

Домине Галушкинский опешил и не знал, чем решить такую многосложную задачу, как сидевшая подле него девка,

внимательно осмотрев Петруся, первая подала голос, что панычи могут остаться и что если ему, инспектору, хочется гулять, то и панычам также, «потому что и у них такая же душа». Прочие девки подтвердили то же, а за ними и парубки, из коих некоторые были из крестьян батынькиных, так и были к нам почтительны; а были и из казаков, живущих в том же селе, как это у нас везде водится.

— Вашицы должны благодарить Малашке, — сказал наставник наш, указывая на свою пару, — ее логика убедила меня. Но не смейте сообщать родителям вашим...

Братья побожились в том и присоединились к обществу.

— Что же входного от вас? — вскрикнул один царень и выступил против нас. — Я здесь есть атаман и смотрю за порядком. Вновь вступающий парубок, — хоть вы же и панычи, а все же парубки, — должен внести входное.

Брат горбун, раскинув в широком уме своем, тотчас вывзвался требуемое поставить — и вышел. Вскоре возвратился он и, к удивлению инспектора и Петруся, принес три курицы, полхлеба и полон сапог пшеничной муки. Все это он, по художеству своему, *секретно* набрал у ближних спавших соседей; как же не во что было ему взять муки, так он — изобретательный ум! — разулся и полон сапог набрал ее. Все эти припасы отданы были стряпухе, готовившей ужин на все общество.

Павлуся исполнил требуемое правилами. Теперь Петрусь должен был поставить горелки. Денег у него не было. Изобретательный ум Павлуся отказался удовлетворить в сем по той причине, что к шинкарю трудно войти *секретно*, а явно не с чем было. Все пришло в смятение; но великодушный наставник наш все исправил, предложив для такой необходимости собственные свои деньги, сказав Петрусю:

— Постарайтесь, вашицы, поскорее мне их возвратить, прибегая к хитростям и выпрашивая у пани подпрапорной, маменьки вашей, но не открывая, как, что, где и для чего, но употребляя один лаконизм; если же не удастся выманить, то подстерегите, когда их сундучок будет незаперт, да и... что же? — Это ничего. Нужда изменяет закон.

За такое мудрое наставление, послужившее много Петрусю и нам в пользу при разных случаях, брат благодарил реверендиссима.

Получив деньги, Павлуся, по усердию своему, побежал в шинок и скоро возвратился с горелкою. Пошла гуляня. Чтобы поставить и мне среди общества занятие, приятное другим, наставник принялся петь со мною псалмы, чем мы усладили беседу до того, что и девки затянули свои песни, парубки к ним пристали — и пошла потеха! Ужин наш был изобильный во всем; простота в обращении с парубками и любезничанье с дев-

ками брата Петруся так всех расположили к нему, что тут же единогласно он был избран атаманом наших вечерниц, и все, даже сам почтенный студент философии, доmine Галушкинский, дали торжественную клятву повиноваться всем распоряжениям атамана.

Если сии строки дойдут до могущих еще быть в живых современников моих, то, во-первых, они не дадут мне солгать, что в век нашей золотой старовины все так бывало и с ними, и с нами, и со всеми, начиная от «воспитания», то есть вскормления (теперь под словом «воспитание» разумеется другое, совсем противное), чрез все учение у панов Кнышевских, приключения в школе, субботки, Фтеодосия, так и у доминов Галушкинских, даже до хождения на вечерницы; везде, взявши от семейства самого наиясновенельможного пана гетмана до последнего подпрапорного (не в батеньке речь), везде все так было, конечно, с изменениями, но не с разительными. А потому они, современники мои, признают, что лестно, точно лестно было для брата Петруся без больших подвигов обратить на себя внимание такого общества и от всех приобрести доверенность. А Петрусе было не более как семнадцать лет! Вот что значит дарование и способности.

Брат Павлусь за его способность в изобретении средств, ловкость и проворство в произведении их, и все к общей пользе и удовольствию, не оставлен без внимания, а избран ключником наших вечерниц. Его дело было заботиться, как он знает, чтобы в ужине у нас было всего в избытке. Стряпухи были в заведывании его. Ему открыто было пространное поле выказывать свои дарования и искусство. Ужины наши были роскошные: кормленые куры маменькины, яйца, молоко, масло, дрова и прочее; все это было брато у соседей *секретно*; а изобретательным умом брата горбунчика все следы закрыты искусно, и ни от кого ни одной жалобы не бывало.

Вхожу в подробности, конечно, излишние для теперешних молодых людей; они улыбаются и не верят моему рассказу, но мои современники ощущают, наверно, одинаковое со мною удовольствие и извинят мелочи воспоминаний о такой веселой, завидной жизни. Часто гляжу на теперешних молодых людей и с грустным сердцем обращаюсь ко всегдашней мысли моей: «как свет переменяется!» Так ли они проводят свои лучшие, золотые, молодые годы, как мы? Куда! Они рабы собственных, ими изобретенных, правил; они, не живя, отжили; не испытав жизни, тяготятся ею! Не видав еще в свой век людей, они уже удаляются от них; не наслаждаясь ничем, тоскуют о *былом*, скучают настоящим, с грустью устремляют взор в будущность... Им кажется, что вдали, во мраке, мерцает им заветная звезда, сулит что-то неземное... а до того они, как засохшие листья,

спавши с дерев, носятся ветром сюда и туда против их цели и желаний!.. Так ли мы жили? Мы жили и наслаждались, а они не живут и грустят!.. Ну, да в сторону их, займемся собою.

Домине Галушкинский вместо наставника нашего стал совершенно подчинен нам. Лишь вздумает только заговорить несколько повелительным голосом, то мы и начнем угрожать, что скажем батеньке о посещении вечерниц, и тогда он лишится места, дающего ему, кроме содержания, пятнадцать рублей в год и черкеску с плеч самого батеньки нашего, да еще отпишут к начальству его, и он лишится «кондиции» навсегда. Это его останавливало, и он дал нам совершенную волю во всем. Днем мы были неотлучно в панычевской, куда нам приносили сытные и изобильные завтраки. Мы их уничтожали, курили трубки, слушали разные повести, рассказываемые наставником нашим о подвигах бурсаков на вечерницах и улицах в городе, ночных нападениях на бакчи и шинки за городом; извороты при открытии и защите товарищей и многое тому подобное. Многое из того мы прятали на память нашу, чтобы воспользоваться при случае. В дом приходили только к обеду, челомкались с батенькою и маменькою, обедали, наблюдая скромность и учтивость, преподанные нам великим по сему предмету мужем, студентом философии Игнатием Галушкинским. После обеда, возвратясь в панычевскую, мы ложились спать, чтобы быть бодрыми в ночь, и потом принимались за приготовления к наступающим вечерницам. От движения, неумеренной веселости если мы тогда не могли уснуть, тогда ментор наш давал нам выпить по доброй чарке водки, изъясняя, что она дает сон, а сон укрепляет человека и дает ему силу! Сила же человеку во всякое время и при всяком обстоятельстве весьма необходима; ergo,¹ — приговаривал реверендиссимо, — водка преполезная вещь, и потому не должно уклоняться от нее. Нам это средство нравилось, и мы находили в нем удовольствие. Правда, я не должен был бы пить водки, потому что за молодостью лет не получил еще благословения брить бороду и разрешения на вся, как старшие братья, но домине принуждал меня и приводил какой-то латинский стих — не помню уже, — в силу коего всякий, желающий себе блага, должен непременно пить. Повинуясь латинским мудрецам, я пил, но немного — голова не могла выносить; братья же, напротив, могли пить много и не были хмельны. Такая была счастливая их натура!

И за обедом, при батеньке и маменьке, и на вечерницах, при сторонних людях, в нашем разумном обществе нужно было нам иногда передать мысли свои, чтобы другие не поняли,

¹ Следовательно (ред.).

Как тут быть? Опытный наставник наш открыл нам таинственный бурсацкий язык. В один класс мы поняли его и свободно могли изъясняться на нем. По моему мнению, это язык — отросток латинского, трудного, неудобопонимаемого, несносного языка. И для чего бы не оставить вовсе всех этих иностранных языков, за коими, как хвост, следует грамматика со своими глупостями? Тут же какая легкость и удобство! Вот вам пример. В молодости я твердо знал слов десять латинских, понимал и значение их; но теперь — хоть сейчас убейте меня! — не помню ничего; на том же бурсацком я могу и теперь свободно обо всем говорить. Прелегкий и презвучный язык, достойнейший быть во всеобщем употреблении более, нежели теперь французский, за выучение коего французские мусьи — вроде Галушкинских — берут тысячами и морят ребенка года три; а этот язык можно без книги понять в полчаса и без копейки. Какая экономия даже и во времени!.. Даже прекрасный пол с восторгом принял бы этот язык, потому что на нем можно выражать все тончайшие нежности усладительнее, нежели на французском; не нужно гнусить, а говорить ярко; притом же как пожелается, можно объяснять чувства свои открыто и прикрыто... Но, видно, не нам переучивать людей!..

В один обед, когда домине Галушкинский управился со второю тарелкою жирного с индейкою борщу и прилежно салфеткою, по обычаю, вытирал пот, оросивший его лицо и шею, батенька спросили его:

— А что? Каково хлопцы учатся и нет ли за ними каких шалостей?

Тут домине из респекта встал, как и всегда делывал в подобных случаях, и в отборных выражениях объяснял все успехи наши (о которых мы и во сне не видали) и в конклюдзию (в заключение) сказал, что мы «золотые паньчи».

Приметно было на батенькином лице сердечное удовольствие, и они нацедили крохотную рюмочку вишневки и подвинули к инспектору, сказав с принужденным равнодушием: «Пей, домине!» Домине Галушкинский встал, почтительно выпил и, отблагодарив за честь, утерся с наслаждением и, сев попрежнему, сказал Павлусю:

— Домине Павлуся! Не могентус украдентус сиеус вишневентус для вечерницентус?

А брат без запинки отвечал:

— Как разентус; я украдентус у маментус ключентус и нацедентус из погребентус бутылентус.

Надобно вам видеть, какое действие произвел этот разговор на батеньку! Они были умный человек и отменно любили ученость. Каково же было их родительскому, нежности к нам исполненному сердцу слышать, что дети его так усовершенствованы

в учении, что хотя и при нем говорят, но они не понимают ничего? Чувства его могут постигнуть и теперешние родители, слыша детей, ведущих подобного содержания разговор на французском языке, и также не понимая его ни в одном слове.

Глаза у батеньки засияли радостью, щеки воспламенились; они взглянули на маменьку таким взором, в коем ясно выражался вопрос: «А? Что, каково?», и в первую минуту восторга уже не нацедили, а со всем усердием налили из своей кружки большую рюмку вишневки и, потрепав инспектора по плечу, сказали милостиво:

— Пейте, пан инспектор! Вы заслужили своими трудами, взявсь с моими хлопцами.

Домине Галушкинский, как следует при получении от благодетеля какой милости, встал, поклонился батеньке низко, благодарил за лестное ободрение посильных трудов его, сел с повторением поклонов и усладился выпитием рюмки до дна и заключил похвалу сему напитку риторической фигурой:

— Таковой напиток едва ли и боги на Олимпе пьют в праздничные дни.

С маменькою же было совсем противное. Ах, как они покоились на инспектора, когда он заговорил на неизвестном им языке; а еще более, когда отвечал Павлусь. Но когда батенька из своей рюмки уделили инспектору вишневки, да еще в большую рюмку, тут маменька уже не вытерпели, а сказали батеньке просто:

— Помилуйте вы меня, Мирон Осипович! С чего вы это взяли так разливать вишневою? Ведь у нас ее не море, а только три бочки. И за что ему такая благодать сверх условленного?

— Фекла Зиновьевна! — отвечали батенька с важностью. — Не смущайте в сию минуту моего родительского сердца, преисполненного радостью. Я в сей момент не только рюмку вишневки, но и целую вселенную отдал бы пану инспектору.

NB. Батенька при какой-либо радости всегда говорили таким возвышенным штилем и голосом громче обыкновенного.

— Вселенную как хотите, мне до нее нужды мало, — отвечали маменька, — кому хотите, тому ее и отдавайте: не мною нажитое добро; но вишневою не согласна разливать. Это дело другое.

NB. Маменька, по тогдашнему времени, были неграмотные и потому не могли знать, что никак невозможно отделить вишневку от вселенной. Да, конечно: куда вы вселенную ни перенесете, а вишневку где оставите? На чем ее утвердите, поставите? Никак невозможно.

— Я же только рюмку и налил, — сказали батенька, — кажется, рюмка вишневки стоит радости, какую мы имеем, слыша детей наших, говорящих на иностранном диалекте?

— Подлинно что иностранный! Никто и не поймет его, — сказали с явным неудовольствием маменька. — И как-то сбивает на вечерницы да на украдку. Ужасно слушать!

НВ. Я долго не мог сообразить, отчего маменька неграмотные, а скорее, нежели батенька, которые были, напротив, умный человек и любили ученость, поняли, о чем говорил доmine инспектор? Они как раз расслушали вечерницы и «украду», а батенька и с ученостью да прозевали всю силу. Теперь уже мусье гувернер одного из внуков моих объяснил мне, что иногда человек и без ума, а скажет слово или сделает действие такое, чего умному и на мысль не придет, «и. что, — прибавил он, — мать ваша, как женщина, одарена была... статистическим чувством». Что маменька была женщина — это так; но чтоб имела такое чувство — я в ней не заметил и она не сознавалась. Мне кажется, это произошло так, без всякого чувства.

На ее замечание батенька возразили:

— Это, маточко, оттого, что вы вовсе не знаете в языках силы.

— Видите, какие вы стали неблагодарные, Мирон Осипович! А вспомните, как вы посватались за меня, и даже в первые годы супружеской жизни нашей вы всегда хвалили, что я большая мастерица готовить, солить и коптить языки; а теперь уже, через восемнадцать лет, упрекаете меня явно, что я в языках силы не знаю. Грех вам, Мирон Осипович, за такую фальшь! — И маменька чуть не заплакали: так им было обидно!

— Умилосердитесь надо мною, Фекла Зиновьевна! — почти вскрикнули батенька и бросили назад поднесенную уже ко рту косточку жареного поросенка, которую предпринимали обсосать. — Вы всегда превратно толкуете. У вас и столько толку нет, чтоб понять, что я не о говяжьих языках говорю, а о человеческих. Вы их не знаете, так и молчите.

— По крайней мере я имею свой язык и знаю его короче, нежели ваш, и потому говорю им, что думаю. Говорю и всегда скажу, что детский язык не тот, что у них во рту, а тот, которым они говорят не по-нашему, язык глупый, воровской, непристойный.

НВ. Маменька имели много природной хитрости. Бывало, как заметят, что они скажут какую неблагоразумную речь, тотчас извернутся и заговорят о другом. Так и тут поступили: увидев, что невпопад начали толковать о скотских языках, так и отошли от предмета.

Батенька, чтоб больше маменьке досадить, пачали подтрунивать над ними и просили домине инспектора проэкзаменовать и нас в иностранной словесности.

Петрусь на заданный вопрос отвечал *бойко и отчетисто* (слова, мною недавно схваченные в одной газете, а смысла их совсем не понимаю); батенька улыбнулся от восхищения. Дошла очередь ко мне, и домине спросил:

— У когентус лучшентус голосентус — у Гапентус или у Веклентус?

Вопрос был удобен к решению и совершенно по моей части. Для незнающих бурсацкой словесности я переведу на российский язык: «у кого, дескать, лучше голос — у Гапки или Веклы?» Это были две девушки, которых домине Галушкинский учил петь со мною разные кантики. Я мог бы одним словом решить задачу, сказав, что «у Гапки-де», потому что у нее в самом деле был необыкновенно звонкий голос, от которого меня как морозом драло по спине. Но я был маменькиной комплекции: чего мне не хотелось, ни за что не скажу и не сделаю ни за какие миллионы, и хоть самая чистейшая правда, но мне не нравится, то я и не соглашаюсь ни с кем, чтоб то была правда. И как вижу, что маменьке, имевшей отвращение от всякой учености, не нравится наша иностранная словесность, решил притвориться не понимающим ничего и молчал... молчал, не вникая никаким убеждениям, намекам и поощрениям домине Галушкинского.

Батенька, озляся, вставши со стола и проходя мимо меня, дали мне такой щипки в голову, что у меня слезы покатались в три ручья, и пошли опочивать.

NB. У батеньки рука была очень тяжела. Маменька же, напротив, погладив меня по голове и обтерши горькие мои слезы, взяли за руку, повели в свою кладовеньку и надавали мне разных лакомств и, усадив меня со всем моим приобретением у себя в спальне на лежанке, сказали:

— Сделай милость, Трушко, не перенимай ничего немецкого! (NB. Известно уже, что маменька были неграмотные и до того несведущие в светском положении, что не знали разницы между немецким и латинским государствами. Им и на мысль не входило, что эти различные между собою народы говорят различными языками. По их разумению, все немцы — да и немцы.) Ты и так от природы глупенек, а как научишься всякой премудрости, то и совсем одуреешь.

«Достопамятное изречение! Его следовало бы изобразить золотыми буквами на публичном столбе каждого города. Следующему, сколько молодых людей от дверей училища возвратились бы прилично мыслящими и были бы пристойно живущими людьми: а то, не имея собственного рассудка и вникнув

в бездну премудрости, но поняв ее превратно, губят потом себя и развращают других».

Это рассуждение поместил в моих записках один из многого числа племянников моих, который, хотя и был записан в студенты, но, следуя предостережению маменьки моей, далее сеней университетских не доходил, даже в карцере не бывал. Впрочем, был *умная голова!*

Маменька на этом увещании не остановилась. Они были одни из нежнейших маменек нашего века, коих, правда, и теперь в новом поколении можно бы найти тысячи, под другою только формою, но с теми же понятиями о пользах и выгодах любимчиков сынков своих.

Итак, маменька, продолжая мотать нитки, продолжали наставлять меня:

— Я с утешением замечаю, что ты имеешь столько ума на то, чтоб не выучиваться всем этим глупостям, которые вбивает в голову вам этот проклятый бурсак. Ты, душко, выслушай все, да ничего не затверживай и не перенимай. Плюй на науки и останешься разумным и с здоровым желудком на весь век. Вместо этой дурацкой грамоты, которая только и научит тебя что читать, я бы желала, чтобы ты взялся за иконопиство или, по крайней мере, за малярство. Что за веселая работа! Что мазнул кистью, то либо красная, либо блаkitная полоса! И мне бы когда обмалевал сундучок или дзиглик (так тогда называлась стулка, то есть стул). Я бы умерла спокойно, если бы увидела что-нибудь окрашенное твоим искусством...

В ту пору я доедал моченое яблоко из пожалованных мне маменькою лакомств и поспешил обрадовать маменьку, что я уже умею раскрашивать «кунштики».

— О?.. — вскричали восхищенные маменька и, от восторга забывши, что они мотают нитки, всплеснули руками и уронили клубок свой. — Кто же тебя этому художеству научил? — спросили они, даже облизываясь от радости.

— Никто не учил, а сам перенял, — отвечал я. И не солгал. Почувствовав в себе влечение к живописи и увидя у доmine Галушкинского несколько красок и пензелик, я выпросил их и принялся работать. Нарисовав несколько из своей головы лошадей, собак и людей и быв этим доволен, я решил идти вдаль и раскрашивать все, попадавшееся мне в книжках. В Баумейстеровой логике и в Ломоносовой риторике какие были цветочки или простые фигурки я так искусно закрашивал, что подлинного невозможно было и доискаться; и даже превращал весьма удачно цветочки в лошадку, а скотинку в женщину.

Маменька не совсем поверила мне; но когда я принес свое художество, то они ахнули, а потом прослезились от восторга.

Долго рассматривали мною раскрашенные кунштиki; но как были неграмотны, то и не могли ничего понять и каждый кунштик держали к себе или вверх ногами, или боком. Я им все толковал, а они не переставали хвалить, что как это все живо сделано! То-то материнское сердце: всегда радуется дарованию детей своих! При расспросах о значении каждого кунштика им вдруг пришла в голову следующая счастливая мысль:

— Послушай, Трушко, что я вздумала. У твоего пан-отца (маменька о батеньке и за глаза отзывались политично) есть книга вся в кунштах. Меня совесть мучит, и нет ли еще греха, что все эти знаменитые лица лежат у нас в доме без всякого уважения, как будто они какой арапской породы, все черные, без всякого человеческого вида. Книга, говорят, по кунштам своим редкая, но я думаю, что ей цены вдвое прибавится, как ты их покрасишь и дашь каждому живой вид.

Я задрожал от восхищения, что мне предстоит такая знаменитая работа, и тут же обещал маменьке отделать все куншты так, что их и узнать не можно будет.

Маменька скоро нашли случай вытащить эту книгу у батеньки и передали ее мне для приведения в лучший вид. С трепещущим от радости сердцем приступил я к работе. Всех кунштиков было сто. Первый куншт представлял какого-то нагого человека в саду, окруженного зверями. Не было у меня красок всех цветов, но это меня не остановило. Я пособил своему горю и раскрасил человека, как фигуру, лучшею краскою — красною, льва желтою, медведя зеленою и так далее по очереди, наблюдая правило, о коем тогда и не слышал, а сам по себе дошел, чтобы на двух вместе стоящих зверях не было одинакового цвета.

Работа моя шла быстро и очень удачно. Маменька не находили слов хвалить меня и закармливали ласощами. Только и потребовали, чтобы нагих людей покрыть краскою сколько можно толще и так, чтобы ничего невозможно было различить. «Покрой их, Трушко, потолще; защити их от стыда». И я со всем усердием накладывал на них всех цветов краски, не жалея, и имел удовольствие слышать от маменьки: «Вот теперь живо; невозможно различить — человек ли это или столб?»

Лица, нравившиеся мне, я красил любимыми цветами, например: лицо — зеленое, волосы и борода — желтые, глаза красные; но как «пензель» у меня был довольно толст, то и крашение мое переходило чрез границы, но это вовсе не портило ничего. Тех же, кто мне не нравились, — ух, какими уродами я сделал! Чтобы иметь выгоду представить их по своему желанию, я вместо лица намазывал большое пятно и на нем уже располагал уродливо глаза (у злейших моих врагов выковыри-

вал их вовсе), нос и рот и все в самом отвратительном виде. И поделом им! Как им равняться с порядочными людьми...

Домине Галушкинский и братья мои озабочены были своими делами и не имели времени подметить мои занятия и полюбоваться моим искусством.

Наконец работа моя кончилась, и маменька собирались обрадовать батеньку нечаянно. У них обоих было общее правило: о чем-нибудь хорошем, восхитительном не предвещать, а вдруг поразить нечаянностью. Маменька так и расположились до случая, который вскоре открылся.

Домине Галушкинскому истек срок быть «на кондициях», и он должен был возвратиться в школу, чтобы продолжать свое учение. За руководство нас в науках он получал изрядную плату и не желал лишиться ее, для чего он предложил батеньке, чтобы нас, паньчей, определить в школу для большего усовершенствования в науках, в коих мы под руководством его так успели. Батенька нашли это выгодным и договорились с ним вновь: вместо платья с плеча батенькиного должно было ему «набрать» сукна цветом, какого он сам изберет, и к этому снабдить его шнурками и кистями, как следует для киреи. Деньги прежние сами по себе. Жить ему с нами на квартире и на наших харчах. В городе приискана была уже квартира, и сукно для киреи пана Галушкинского было куплено цветом, какого он желал. Избранный им цвет сукна был чудесный! Это был вишневый, смешанный с красным, черным и голубым. Чудесный отлив был! Пожалуйте же, что с этим прелестного цвета сукном случится, так это умора! Расскажу после. Теперь же батенька, что от них зависело, до последнего все распорядили; оставалось маменьке устроить нас провизию, посуду и прислужою. Батенька искали удобного времени объявить об этом маменьке, не потому, чтобы их не огорчить внезапным известием о разлуке с детьми, но чтобы самим приготовиться и, выслушивая возражения и противоречия маменькины, которых ожидали уже, не выйти из себя и гневом и запальчивостью не расстроить своего здоровья, что за ними иногда бывало.

На таков конец батенька начали довольно меланхолично:

— Прикажите, Фекла Зиновьевна, завтра поутру рано отпустить муки, круп, масла и что нужно...

— Не опять ли комиссару? — спросили маменька твердым голосом, не ожидая ничего неприятного.

— Какому комиссару? Подите себе с ним в болото, а слушайте меня. Всего этого отпустите сколько надобно для детей. Они завтра переедут в город учиться в школах.

Маменька так и помертвели!.. Через превеликую силу могли вступить в речь и принялись было доказывать, что

учение вздор, гибель-де нашим деньгам и здоровью. Можно быть умным, ничего не зная, и, всему научась, быть глупу.

— Многому ли научились наши дети? — продолжали они. — Несмотря что сколько мы на них положили кошту пану Тимофтею и вот этому дурню, что по-дурацки научил говорить наших детей и невинные их уста заставил произносить непонятные слова...

— Чудны вы мне, Фекла Зиновьевна, с вашею глупостью! Каково было бы вам слушать, если бы я начал толковать о ваших нитках или кормленных птицах? Так и тут. Наук совсем не знаете, а толкуете об них.

— Первые годы после нашего супружества, — сказали маменька очень печальным голосом и трогательно подгорюнились рукою, — я была и хороша и разумна. А вот пятнадцать лет, счетом считаю, как не знаю, не ведаю, отчего я у вас из дур не выхожу. Зачем же вы меня, дуру, брали? А что правда, я то и говорю, что ваши все науки дурацкие. Вот вам пример: Трушко также ваша кровь, а мое рождение; но так как он еще непорочен и телом, и духом, и мыслию, так он имеет к ним сильное отвращение.

— Вы мне, Фекла Зиновьевна, не колите глаза своим пестунчиком Трушком; он хотя и непорочен, но из дураков дурак, и из него будет не более, как свинопас.

Батенька от противоречий начали уже приходиться в азарт.

Тут маменька нашли удобную минуту опешить батеньку и, подойдя к столу, достали немецкую книгу и начали переворачивать листы, изукрашенные моим художеством.

— Кто... кто это сделал? — вскричали батенька, вскипев от гнева.

Маменька, не заметив в тонкости состояния духа их, а относя крик их к удивлению, отвечали таким же меланхоличным тоном, как и батенька при начале разговора:

— Это дурак из дураков так украсил; он не более, как свинопас! — Маменька такую аллегориею хотели кольнуть батеньку.

— Как он смел это сделать? — не кричали, а ревели батенька, до того, что окна и двери в доме тряслися. В запальчивости бросились они к маменьке, желая, по обычаю, потушить их хорошенько... И тогда мне лучше было бы. У батеньки такая была натура, что когда разлютуются, так и колотят первого, кто попадется; когда же выбьют свое сердце, то виноватому уже и слова не скажут. Тут же, к моему несчастью, маменька ушли от ударов батенькиных, оставив в дверях и епанечку свою; а я, спрятавшийся было в пуховики маменькины, вытащен и наказан чувствительно и больно.

Батенька целый день не могли успокоиться и знай твердили, что книга их по кунштам была неоцененна; что иконописец, расписывающий в ближнем селении иконостас, сам предлагал за нее десять рублей.

Маменька же хотя и не смели на глаза показываться батеньке, но, сидя в другой комнате, переговаривали их слова тихонько:

— Десять рублей, великое дело! Кажется, своя утроба дороже стоит.

Однакоже это происшествие не удержало бы нас от поездки в город; но случилось нечто еще страннее. На конце отъезда, когда домине Галушкинский, по обычаю, управлялся с другою тарелкою борщу, вдруг... как обваренный, кидает ложку, схватывается за живот, вскакивает со стула и бежит... формально бежит из комнаты... Маменька насупились за такую его неучтивость, а батенька, то же подумав, что и маменька, улыбнулись, а за ними мы, дети, и особенно меньшие, расхотались во все горло. Ну и нужды нет, пересмеялись, подумали и принялись за следующее блюдо... как бежит наш домине, бледный как мертвец, волосы, как ни были связаны крепко в косе, однако все ж напугились от внутреннего его волнения; в руках он несет какую-то дерюгу рыже-желто-красного цвета с разными безобразного колера пятнами, а сам горько плачет и, обращаясь к батеньке, жалостливым голосом говорит:

— Вот, ваша вельможность, мой милостивый патрон и благодетель, вот что учинилось с вашим даром!..

Батенька изумились таким его речам, взяли эту дерюгу, развернули ее и насилу узнали, что это было то сукно, которое они пожаловали по уговору на кирею домине Галушкинскому и которое было необыкновенно прелестного цвета, как я сказал выше, а теперь стало мерзкого цвета с отвратительными пятнами.

По миновании батенькиного удивления они принялись расспрашивать домине, отчего сукно изменило свой цвет. И тот, то есть домине Галушкинский, среди вздохов и всхлипываний рассказал следующий пассаж: получив он от милостей батенькиных сказанное сукно понес, дабы похвалиться им, Ульяне, нашей ключнице, молодой женщине и дружно жившей с домине инспектором, до того, что она каждое утро присылала ему «горяченькую булочку» с маслом и сметаной ради фриштыка. Но это другая материя; отложим в сторону. В ту самую пору, когда он принес сукно, Ульяна разливала уксус, и как домине Галушкинский необыкновенно близко подошел к Ульяне, то одна мельчайшая капелька брызнула на сукно и сделала на нем пятнышко яркооранжевого, необыкновенно прелестного

цвета. По возвращении от Ульяны домине Галушкинскому пришла счастливая мысль — все сукно превратить в такой чудесно-прекрасный цвет. На сей конец, получив от Ульяны достаточное число уксусу, намочил в нем несчастное сукно... Как намочил, а сам пошел в проходку; возвратился, поужинал, лег спать, а сукно все мокнет. Уже и утро; домине Галушкинский исполнил все должное, сел обедать, а сукно все мокнет!.. Он всегда говорил о себе, что чем бы он ни занимался, что бы ни делал, всегда имел философические мысли в голове. Так и теперь: евши борщ, он рассуждал, что малое количество пищи не может утолить сильного голода. От сего силлогизма, восходя все выше и выше, с приспособлениями и применениями, он мысленно сошел и до сукна, — как вдруг озарила его sleжая мысль: когда капнула капля уксуса на сукно, то он его в тот же миг стер, и оттого вышел цвет неизъяснимо прелестный; но когда сукно мокнет невступно целые сутки, то не испортилось бы оно... Эта догадка, как молния, поразила его, и он, как кипятком облитый, выскочил и побежал, «оставя по себе сомнение, — так заключил он свое повествование, — насчет моей благопристойности...»

Батенька и мы все много смеялись несчастью домине инспектора, одни маменька ужасно сердито смотрели, не из сожаления к убытку «Галушки», а опасаясь, что батенька из жалости «к этому дурню» — так они его часто называли — наберут ему вновь столько же сукна. Так и вышло. Единственно в пику маменьке батенька послали в город за сукном, и пока его привезли, мы это время наслаждались домашнею жизнью.

Нуте. Чтобы недолго рассказывать, нас, собравши, отправили в повозке в город. Кроме избыточной во всем провизии для пропитания нашего, нам дан хлопец Юрко; он должен был прислуживать нам троим и домину инспектору нашему. Для наблюдения за насыщением нашим откомандирована была «бабуся», мастерица производить блины, пироги, пирожки, пирожочки, пироженчики и тому подобные разные вкусные блюда и лакомства. Ей дано было подробное наставление — и все это от нежнейшей маменьки нашей, — чем и по сколько раз в день кормить нас. В помощь ей дана была девка, стряпуха; на ней лежала обязанность мыть нам головы еженедельно, чесать и заплетать длинные косы наши ежедневно, распорять бельем и т. п.

Еще с вечера отъезда нашего маменька начали плакать, а с утра печального дня «голосить» и оплакивать нас с невыразимо трогательными приговорами. Само по себе разумеется, что я, как объявленный «пестунчик» их, получал более ласк, нежели старшие братья мои. Таким образом, приговаривая и

лаская меня, вдруг они в самом деле сомлели и валятся — валятся — и упали на пол... Я испугался и закричал:

— Батенька, пожалуйста сюда: маменька померли!

Батенька пришли и, увидев, что они не совсем умерли, а только сомлели, дали мне препорядочного туза, чтобы я не лгал, а сами принялись освобождать от обморока маменьку, шевеля ей в носу бумажкою. Это скоро помогло: маменька чихнули раза три и встали сами по себе, как ни в чем не бывало, и принялись опять за свое — голосить.

Ну как же не хвалить старины? Чудное дело, как было все совершеннее! Как бы крепко маменька ни сомлели, батенька, пощекотавши им в носу бумажкою, в ту же минуту приводили их в себя. Теперь же прошу покорно! Жена моя то и дело что по слабости природы сомлевать, но щекотать ей в носу даже и я не смею: строжайше запретила, не объяснив причины. А тут избегаемся все: я, дети, прислуга; кто спирт к носу тычет, кто «поль-де-коком» виски ей трет, кто, разведя ложку «гимназии» в красном вине, даст ей выпить, и тьма хлопот! А не успеем привести в чувство; как она вновь сомлела — и бац на пол. Пощекотать бы ей в носу, так и не было бы таких бед!

И то сказать: и различные обмороки и от различных причин бывают. Встарину маменька сомлевали от всякого сильного чувства; в среднее время моя любезнейшая супруга упадет в обморок так, ни от чего, ни с радости, ни с печали, когда задумает — бац! и возися с нею. В новейшее же, усовершенствованное — как нынешние люди думают — время вторая моя невестка, хотя ей ужасная радость или печаль, ни за что не упадет в обморок, когда не случится тут «гувернер» сына ее. Он, изволите видеть, какой-то природный маркиз, но имеет особую страсть воспитывать юношество и потому, сложив свою знатность, договорился у моей невестки, когда она была на чужестранных водах, образовать сына ее... О, да и взял же с нее — гунстват! Между нами сказавши — очень дорого! Правда, кроме образования мальчика, он ей полезен в обмороках: никто-де так ловко не поддержит, как этот мусье гувернер. А по той причине, когда он при ней, что часто бывает, то она уже смело падает, чтобы насладиться удовольствием быть поддержанной мусье маркизом. Вот и выходит, что и обмороки и причины к ним теперь совсем отличны от прежних.

Пожалуйста, о чем бишь я рассказывал?.. Да, вот нас принялись проужогать. Но я не в состоянии вам пересказать этого чувствительного пассажа. Меня и при воспоминании слеза пронимает! Довольно скажу, что маменька за горькими слезами не могли ничего говорить, а только нас благословляли; что же принадлежит до ее сердца, то, верно, оно разбилось тогда

на мелкие куски, и вся внутренность их разорвалась в лохмотья... ведь материнское сердце!

Что же относится до батеньки, то они показали крепкий свой дух. Немудрено: они имели крепкую комплекцию. Они не плакали, но не могли и слова более сказать нам, как только:

— Слушайте во всем пана Галушкинского; он ваш наставник... чтоб не пропали даром деньги... — и, махнув рукою, закрыли глаза, маменька ахнула и упала, а мы себе поехали...

Еще мы не выехали из селения, как меня одолела сильная грусть по той причине, что я забыл свои маковники в бумажке, для дороги завернутые и оставленные мною в маменькиной спальне на лежанке. Заторопился я и забыл. Тоска смертельная! Ну, воротился бы, если бы лъзя было! Но тут уже неограниченно властвовал доmine Галушкинский над нами, лошадьми и малейшею частицею, обоз наш составляющею.

В силу чего занял он в повозке первое место, разлегся и приказал нам размышлять о пути, о цели поездки нашей, о намерениях наших, как нам употребить время, и что встретится нам в размышлениях наших умненькое или сомнительное, объявлять ему, а он будет разрешать.

Долго царствовало между нами молчание. Кто о чем думал — не знаю; но я все молчал, думая о забытых маковниках. Горесть маменькина не занимала меня. Я полагал, что так и должно быть. Она с нами рассталася, а не я с нею; она должна грустить... Как вдруг брат Петруся, коего быстрый ум не мог оставаться покоен и требовал себе пищи, вдруг спросил наставника нашего:

— Скажите, пожалуйста, реверендиссиме доmine Галушкинский, где же город и наше училище? Вы говорили нам, что где небо соединено с землею, там и конец вселенной. Вон, далеко, очень видно, что небо сошлось с землею, ergo, там конец миру; но на этом расстоянии я не вижу города. Где же он? Туда ли мы едем?

— Бене, ¹ доmine Халявский! Ваше предложение глубокомысленно, и вы мне показали, что голова ваша занята важными размышлениями; но я должен рассеять ваши сомнения. — Так сказал великий наш наставник и, поправив под собою подушку, продолжал ораторствовать. — Видимое нами соединение неба с землею не есть в существе, а это... просто... как бишь?... «фле... флегматический» обман. Напротив, нам надобно ехать долго, и очень долго, пока мы доедем до моря, и все нам будет казаться, что впереди нас земля соединилася с небом, но это ложь, обман, призрак. Потом и морем мы должны ехать

¹ Вене (лат.) — хорошо (*ред.*).

еще долее, нежели на суше, но уже не в кибитке, а в корабле или другом сосуде (иначе назвать домине Галушкинский почтал непристойно и осуждал за то других) и тогда достигнуть до края вселенной, то есть где небо сошлось с землею. Но никто из смертных еще не достигал сего. Итак, на этом-то пространстве, которое мы переезжаем до края вселенной, встретится нам город, в коем наше училище...

— Так мы и морем поедем? — спросил Петруся живо; а я, боясь воды, уже принимался плакать.

— О нет! — воскликнул наш реверендиссима. — Это в описании я употребил только риторическую фигуру, то есть искажил истину, придав ей ложный вид. Но мы морем не поедем, потому что не имеем приличного для того сосуда, а во-вторых, и потому, что училище наше расположено на суше; ergo, мы сушею и поедем.

За сим домине инспектор обратился с испытательными вопросами к Павлусе, углубившемуся размышлением своим в лошадей. Повторенный вопрос наставника: о чем он так глубоко размышляет? — едва извлек его из задумчивости.

— А вот, — сказал Павлуся, зевая при выходе из своих размышлений, — я нахожу, что в лошадиной упряжи много лишнего: и кожи, и ремней, и колец; так я дохожу, как бы этот беспорядок исправить.

— Во всем виден изобретательный ум! — проговорил вполголоса домине и продолжал свои вопросы.

Как ни вслушивался я в ученые разговоры нашего наставника, но меня одолел сон, и я не слыхал ни окончания на сем переезде начатого, ни в последующие затем дни в дороге нашей разговоров, потому что лишь только влезал в повозку, то и засыпал. Ergo, скажу по-ученому, я путь свой совершил покойно для тела и рассудка, не обременяя его никакими рассуждениями.

Близко ли, далеко ли отстоял город; скоро ли, не скоро — по нас довели и расположили на квартире у какого-то обывателя. Квартира была со всеми удобствами и весьма близко от училища. Бабуся, прибыв прежде нас, расположилась со своим хозяйством и употчевала нас ужином, вкусным, жирным, изобильным. Спасибо ей! Она была мастерица своего дела.

Хорошо. На другой день домине Галушкинский должен был вести нас к начальнику, помощнику и главным учителям школ; для чего одели нас в новые долгополые суконные киреи. Новость эта восхищала нас. В самом деле, приятно перерядиться из вечного халата, хотя бы и из китайки сделанного, в суконную, в важно облакающую нас кирею, изукрашенную тесьмами, шнурами и кистями.

Домине Галушкинский, осмотрев нас и повторив уроки, как мы должны были отवेशивать вперед руки при поклоне помощнику и как еще более оттопыривать их при нижайшем поклоне начальнику, сказал нам следующее наставление:

— Вашицы, не забывайте, что начальник есть все, а вы — ничто. Стоять вы должны перед ним с благоговением; одним словом, изобразить собою — ? — вопросительный знак и премудрые его наставления слушать со вниманием. Избавь бог противоречить! Речет: «Ложися!» — исполняй немедленно, хотя бы ты был раз-пере-прав и раз-пере-невинен. Вытерпливай наказание в мере, числе и виде, какое соблаговолит назначить премудрое правосудие его, и не смей ни малейше и никогда возроптать и попрекословить. Угодно будет ему полунощ признать полуднем? Сознавайся и утверждай, что солнце светит и даже печет. Благоволит глагол обратит в имя? *Vene* — признавай и утверждай. Его власть и сила. К помощнику сохраните все то же. Часто помощник бывает глагол действительный, а начальник — точка, знак сильный, но безгласный. В школе, в каковую по мере знаний ваших поступите, учителя уважайте и относитесь как бы к самому начальнику; но при глазах самого реверендиссима — учителя уже ставьте ни во что. Пред товарищами держите себя по-шляхетски как — ! — знак удивительный, бодро, гордо, важно, и все вас почтут. В ссорах спешите отгрызаться и заганивайте своих противников; иначе они унизят вас хуже запятой. В драку сами не вступайте, но напавшего колотите вволю, остерегаясь делать явные боевые знаки: для этого есть волосы, ребра, спина и др. Ходя по рынку, не решайтесь ничего своровать; а наипаче вы, домине Павлуся, имеющие к тому великую наклонность: здесь не село, а город; треклятая полиция тотчас вмешается. Одни не напивайтесь, но пригласив кого или быв приглашены от кого. Вы, домине Петруся, одарены особым, счастливым талантом; можете выпить бездну и пребыть на ногах тверды, с непомраченною головою, но запах вина может вам изменить. Для сего имейте всегда в «кишене» пшено или чеснок. Когда вас, находящегося в таком положении, призовут к начальнику, поспешите пожевать пшена или чесноку и смело представляйте к реверендиссиму: нос его не услышит; на опыте известно. Дале, о прочих подробностях, как вам вести себя и как поступать, скажу во оное время.

Мы так глубоко тронуты были назидательным для нас наставлением нашего наставника, что невольно, по сердечному влечению, отдали ему поклон, довлеющий одному начальнику, и при изъявлении вечной благодарности все его мудрые правила обещали навек запечатлеть в юных сердцах наших и следовать им. Само собою разумеется, что я не говорил таких слов, потому что не знал о существовании и значении их, но говорили это

братья мои; а я только кланялся, отвешивая руки вперед, и, касаясь длинными рукавами нарядной моей киреи до полу, восхищался.

Убрав отличный завтрак, попечением бабуся приготовленный, мы пошли к начальнику, а гостинцы, привезенные для него, несли за нами люди, привезшие их из дому. Мы шли по улице... Незабвенные минуты! Что могло равняться с восторгом моим, когда я шел в кирее синего сукна, коей кисти на длинных шнурках болтались туда и сюда! Не знаю, смотрели ли на меня проходящие, — я не заботился; я смотрел сам на себя, шевелил плечами, болтал руками — все для того, чтобы болтались мои кисти. Истинно скажу: при женитьбе моей я был разодет хватски, идя в паре с своею, тогда прелестною, ново-брачною, но я не был так восхищен, как болтающимися кистями у моей киреи... Ах, кирея!.. Ах, кисти!.. Но все прошло!.. Обратимся к предмету.

Мы пришли к начальнику.

Когда мы еще жили дома, то батенька говаривали нам, чтобы мы сами себя готовили к тому званию, какое кому нравится, исключая Павлуси, которого предназначили они по бумажной части, говоря: «Горб не помешает тебе быть хорошим юристою».

И вот, когда я вошел еще только в прихожую начальника, то уже решил не быть ничем более, как начальником училища. Это было окончание вакаций, и родители возвращали сыновей своих из домов в училище. Нужно было вписать явку их, переписать в высший класс: ergo, с чем родители являлись? То-то же. Я очень благоразумно избрал. Итак, решено: «желаю быть начальником училища!»

Наконец, после многих, допустили и нас к самому. Отвесив должные высокому его сану поклоны, доmine Галушкинский начал объясняться, что он не даром провел время на кондициях: приготовил трех юношей, имеющих сделать честь училищу и даже веку. Начальник удостоил нас обзреть, но несколько меланхолично. Доmine инспектор поспешил подать письмо, писанное самими батенькою.

Начальник прочел и взглянул на нас внимательнее. Потом сказал руководителю нашему:

— Ну что ж?

— Сейчас, — сказал Галушкинский и начал «действовать».

Первоначально внес три головы сахару и три куска выбеленного тончайшего домашнего холста.

Начальник сказал меланхолично:

— Написать их в синтаксис.

Доmine Галушкинский не унывал. Поклонясь, вышел и вошел, неся три сосуда с коровьим маслом и три мешочка отличных разных круп.

Реверендиссима, приподняв голову, сказал:

— Они могут быть и в пиитике.

Наставник наш не остановился и втащил три бочончка: с вишневкой, терновкою и сливянкою.

Начальник даже улыбнулся и сказал:

— Впрочем, зачем глушить талант их? Когда дома так хорошо все приготовлено (причем взглянул на все принесенное от нас домашнее), то вписать их в риторику.

Домине Галушкинский остановился, поклонился низко и начал говорить с ним на иностранном диалекте...

«О батенька и маменька! — думал я в то время, — зачем покупились вы прислать своей отменной грушевки, славящейся во всем околотке? Нас бы признали прямо философами, а через то сократился бы курс учения нашего, и вы, хотя и вдруг, но, быть может, меньше заплатили бы, нежели теперь, уплачивая за каждый предмет!»

Тут я начал прислушиваться к разговору реверендиссима начальника с домине Галушкинским. Первого я не понимал вовсе: конечно, он говорил настоящим латинским; домине же наш хромал на обе ноги. Тут была смесь слов: латинского, бурсацкого и чистого русского языка. Благодаря такого рода изъяснению я легко понял, что он просил за старших братьев поместить их в риторику, а меня вместо инфимы «по слабоумию» написать в синтаксис, обещая заняться мною особенно и так, чтоб я догнал братьев.

Реверендиссима кивнул головою и сказал:

— *Vene*, согласен. Ты знаешь, что должно делать, исполни. — И, проговорив еще чистых латинских слов несколько, коих я не понял, отпустил нас.

Домине Галушкинский обходил с нами помощника и других учителей. Мы кланялись им, подносили гостинцы, соответственно званию и весу их в училище, и возвратились в квартиру — братья «риторами», а я, мизерный, синтакщиком: что делать!

О благословенная старина! Не могу не похвалить тебя! Как было покойно и справедливо. Например, дети богатых родителей — зачем им беспокоиться, изнурять здоровье свое, главнейшее — истощать желудок свой, мучиться вытверживанием тех наук, которые не потребуются от них через весь их век? Подарено, — а подарить есть из чего, — и детям приписаны все знания и приданы им ученые звания без потери времени и ущерба здоровью... Теперь же?.. Мороз подирает по коже! Головы сахару, штофы, бочонки, хотя удвойте их, — ничто, ничто не доставит вовсе ничего. Бедные молодые люди теперешнего века! Хотя тресните, а должны все науки выучить, как буки аз-ба. А сколько умножилось наук! Сколько выражений, слов.

над изобретением которых иной просиживал целые ночи, — и в награду значения их никто, и даже сам он, выдумщик, никак не понимает и изъяснить не может! О tempora, o mores! ¹ Невольно восклицаю я ученую фразу, невольно уцелевшую в памяти моей!.. Обычай начальства изменился в приеме ищущих света учения... Где ты, блаженная старина?.. Возвратиться ли?.. Грустно!..

Но будем продолжать. Тут увидите, какая разница последовала в течение двадцати пяти лет и что я должен был вытерпеть, определяя в учение Миронушку, Егорушку, Савушку, Фомушку и Трофимушку, любезнейших сыночек моих.

Наступил день открытия ученья. Не евши, не пивши, мы поведены в школы. Братья как риторы пошли особо, а я в препровождении вышесказанного хлопца Юрка полпелся в свой синтаксис, который и называть с трудом мог. В школу вступил я очень равнодушно, предоставляя все случаю, а сам решил, по наставлению нежнейшей маменьки, не перенимать ни одной из всех наук, вообще глупых и глупыми людьми от праздности выдуманных. Итак, я принял твердое и непоколебимое намерение «не учиться с жаром», а жить свободно, как хочу, по воле моей шляхетской природы. Будут наказывать? Правда, больно, и даже, утвердительно скажу, очень больно, но и пан Кнышевский и доmine Галушкинский говаривали, что «все начинающееся оканчивается», а потому хотя и начнут сечь, но по естественному порядку, как по опыту знаю, перестанут. Притом же после сечения как бывает человек или мальчик жив, одушевлен, развязан — ссылаются на всех, кто испытал на себе сечение. До сих пор не знаю настоящей тому вины: физическое ли это следствие, что от эксперимента кровь придет в быстрое кругообращение и оттого человек делается веселее, быстрее в своих действиях, или тому причиной душевное состояние человека, когда он знает, что его наказали и больше сечь не будут. Но что бы ни было, только после сечения положение восхитительно! Но оставим одну половину этого ученого рассуждения: выгодно ли не учиться? И обратимся к другой: какую пользу принесет учение?

Положим, что я в молодых годах поглотил всю премудрость, изучен всему отличнейшим образом, достоин во все ученые степени. Но, вступив в свет, скажите, пожалуйста, когда и на что пригодятся науки? Жить своим домом в хозяйстве, на охоте — скажите? Тут их совсем не спросят. При женитьбе и того более. Хотя проглотил всю халдейскую премудрость, а египетскую закуси, так все не распознаешь нрава в невесте до брака и потом не применишься к капризам, когда станет женою твоею.

¹ О времена, о нравы (ред.).

Есть на свете и неученые, и живут себе изряднехонько. И я туда же пойду, куда и выслушавшие всю премудрость. Когда ба-
тенька и маменька помрут и мы с братьями разделимся имением,
так на мою долю придется порядочная часть, и тогда к чему
мне науки? Меня почтут люди, навещающие меня, так же, как
и ученого.

Скажете, нужно учиться для того, чтобы читать книги?

Вот еще что выдумали! Что из того, если они достигнут
цели, для какой пишутся, то есть чтобы нас усыплять? И правду
сказать, как усыпляют! А особенно — канальские! — с пыш-
ными заглавиями, с цветистыми обертками, с значительными
точками, с умышленными пробелами... Это чудо что за книжки!
Полагаю, что не родился человек, что бы их до конца дочитал;
уснет — будь я каналья, когда не уснет, — по опыту говорю, —
знатно уснет. Так неужели для того, чтобы самому уснуть или
усыплять других, губить в принуждении золотую молодость,
тратить время, нужное на игры и веселья, расстраивать здо-
ровье принужденным сидением и удалением от пищи? На что
это похоже? Меня и простой сказочник так же усыпит, как и
лучшая повесть или роман в четырех (уф!) частях.

Притом же маменька моя правду говаривали: ничто так
человеку не нужно, как здоровье; с ним можно все и много
кушать; а кушая все, поддерживаешь свое здоровье. Пирог
сделан для вмещения начинки, а начинка сдобривает пирог; так
и человек с своим желудком. Науки же — настоящие «глисты»:
изнуряют и истощат человека, хоть брось.

Основавшись на таком ясном и справедливом заключении
моей маменьки, женщины хотя и неученой, но с большим коли-
чеством здравого рассудка и потому видящей все вещи в настоя-
щем виде, цвете и мере и сходно с моими понятиями, я всем
моим рассуждениям произнес следующий результат: «тьфу», и,
произнеся это маменькино любимое выражение и, по примеру
их, плюнув в самом деле, вступил «в синтаксис» с видом само-
довольства.

Нас, синтаксистов, было большое число, и все однолетки.
До прихода учителя я подружился со всеми до того, что неко-
торых приколотил и от других был взаимно поколочен. Для
первого знакомства дела шли хорошо. Звон колокольчика воз-
вестил приход учителя, и мы поспешили кое-как усесться. Имея
от природы характер меланхоличный, то есть комплекцию крот-
кую, застенчивую, я не любил выставляться, а потому и сел
далее всех, правда, и с намерением, что авось-либо меня не за-
метят, а потому и не спрасят.

Учитель открыл класс речью, прекрасно сложенною, и го-
ворил очень чувствительно. О чем он говорил — я не понял,
потому что и не старался понимать. К чему речь, написанную

по правилам риторики, говорить перед готовящимися еще слушать только синтаксис? Пустые затей! При всякой его остановке для перевода духа я, кивая головою, приговаривал тихо: «говори!»

Речь кончилась, и учитель каждому из нас заметил, что мы должны были назавтра выучить. С тем нас и распустили.

«Напрасно беспокоитесь, доmine учитель! — рассуждал я, поспешая к трудолюбивой бабусе, с рассвета заботившейся о пирожках к завтраку нашему. — Учить вашего урока не буду и не буду». О, да и позавтракал же я в тот день знатно!..

Доmine Галушкинский целый день не обратил ни малейшего внимания, твержу ли я свой урок и чем занимаюсь. А в силу того я в книгу и не заглядывал, а целый день проиграл с соседними ребятишками в бабки, свайку и мяч.

Утром доmine приступил прослушивать уроки панычей до выхода в школы. Как братья учились и как вели себя — я рассказывать в особенности не буду: я знаю себя только. Дошла очередь до моего урока. Я ни в зуб не знал ничего. И мог ли я что-нибудь выучить из урока, когда он был по-латыни? Доmine же Галушкинский нас не учил буквам и складам латинским, а шагнул вперед по верхам, заставляя затверживать по слуху. Моего же урока даже никто и не прочел для меня, и потому из него я не знал ни словечка.

Доmine инспектор принялся меня ужасно стыдить: напоминал мне шляхетское мое происхождение, знатность рода Халявских и в conclusio — так назвал он — запретил мне в тот день ходить в школу. «Стыдно-де и мне, что мой ученик на первый класс неисправен с уроком».

Я для приличия потупил голову, якобы устыдась; а — ей-богу! — по совести и чести говоря, внутренно радовался, что не обязан итти в школу. Вот еще нужда мне до знаменитых Халявских, предков моих! Мне к ним дела нет, и они меня не знай. С чего я буду мучиться над проклятыми именительными и родительными? Что тут общего с заслуженною славою предков моих? Предки мои не знали этих пустяков, то и не взыщут, хоть доmine инспектор тресни себе с досады, что потомок их презирает всю учебную галиматью. Так я размышлял, а бабуся, между тем, украшала стол пирожками, блинами, варениками... Ну, прелесть, заглядение!.. Как вдруг жестокосердый доmine изрек приговор:

— Доmine Трушко не вытвердил урока, за то в класс не пойдет; а когда в класс не пойдет, — ergo, — не должен участвовать в завтраке.

Вообразите мое положение! Я был как громом поражен и, быв маменькиной комплекции, хотел сомлеть, но меня прорвало слезами... да какими?.. избытыми, горькими... Я ревел,

кричал, вопил, но домине Галушкинский оставался непреклонен и с братьями моими сокрушил все предложенное им. Чем меньше оставалось прелестей на столе, тем сильнее я ревел, теряя всякую надежду позавтракать вкусно.

Наконец жестокий Галушкинский усилил скорбь мою, дав слезам моим превратный, обидный для меня толк. Он, уходя, сказал:

— Утешительно видеть в вашице благородный гонор, заставляющий вас так страдать от стыда; но говорю вам, домине Трушко, что если и завтра не будете знать урока, то и завтра не возьму вас в класс. — С сими словами он вышел с братьями моими.

— Следовательно (должно бы сказать мне, как учащемуся латинской премудрости, ерго; но как я ужасно сердился на все латинское, то сказал по-российски)... следовательно, я и завтра без завтрака?.. — Я хотел показать моему мучителю, что меня не лишение класса терзает, — я хотел бы и навеки от него избавиться, — но существенная причина... но он уже ушел, не слышавши моих слов, что и вышло к лучшему.

Пожалуйте. По уходе их я в сильной горести упал на постель и разливался в слезах. В самом же деле, если беспристрастно посудить, то мое положение было ужаснейшее! Лишиться в жизни одного завтрака!.. Положим, я сегодня буду обедать, завтра также будет изобильный завтрак; но где я возьму сегодняшний? Увы, он перешел в желудки братьев и наставника, следовательно, — а все-таки не ерго, — поступив в вечность, погиб для меня безвозвратно... Горесть убивала меня!..

Но гений-утешитель бодрствовал близ меня...

— Паныченько — не хотите ли вы чего-нибудь закусить? — услышал я сладкий в то мгновение голос бабуси, держащей меня за руку, которою я закрыл слезящие очи мои.

— Чего там... у... уже... когда... все по... по... покушали! — отвечал я, всхлипывая.

— Какое покушали? Я вам всего оставила, да еще и больше, и лучшенькое. — Никакая гармония так не услаждала человека, как усладили меня эти, повидимому, простые слова: но какая была в них сила, звучность, жирность!..

Я поспешил приподнять голову... о восторг!.. На столе — пироги, вареники, яичница, словом, все то, лишение чего повергло меня в отчаяние.

Я перескочил расстояние от кровати к столу и принялся... Ах, как я ел! Вкусно, жирно, изобильно, живописно и, вдобавок, полновластно, не обязанный спешить из опасения, чтобы товарищ не захватил лучших кусочков. Иному все это покажется мелочью, не стоящею внимания, не только рассказа; но я пишу о том веке, когда люди «жили», то есть одна забота, одно попе-

чение, одна мысль, одни рассказы и суждения были все о еде: когда есть, что есть, как есть, сколько есть. И все есть, есть и есть.

И жили для того, чтобы есть.

Восхитительная музыка при моем завтраке так бы не усладила меня, как следующий рассказ бабуси:

— Кушай, паныченько, кушай, не жалея матушкиного добра. Покушаешь это, я еще подам. Как увидела я, что тебя хотят обидеть, так я и припрятала для тебя все лучшенькое. Так мне пани приказывала, чтоб ты не голодовал. Не тужи, если тебя не будут брать в школу; я буду тебя подкармливать еще лучше, нежели их.

Баста! Бабусины слова еще более усилили во мне отвращение к учению. И я дал себе и бабусе торжественное обещание сколько можно реже быть достойным входа в училище, имея в виду наслаждаться жизнью. Дал и сдержал свое благородное, шляхетское, как прилично потомку знаменитых Халягорских, слово: весьма редко выучивал задаваемые уроки и выучиваемого не старался помнить. То, по научению бабуси, прикидывался больным, лежа в теплой комнате под двумя тулупами, то будто терял голос и хрипел так, что нельзя было расслушать, что я говорю, — что делал я мастерски! — и много подобных тому средств, кои в подробности передал уже моим любезнейшим сыночкам при определении их в училище, как полезное им для сбережения здоровья их... но не на таковских напал! Это ужас, как различно от меня мыслят дети мои; послушайте только их. Говорю и утверждаю: свет выворочен наизнанку.

Сказано мною выше, что братья мои признаны были риториками; но как вовсе не знали предыдущих риторике наук, то домини Галушкинский преподавал их дома. К речи скажу: что это за голова была у нашего инспектора! Он только того не знал, чего не было на свете или в природе. Примется ли за грамматику? — Так и пожинает ее! Именительных, родительных к чему хотите кучами навалит. Прошедшее, будущее — это как искры сыплются, и не заикнется ни на одном слове. Когда доходило до лиц, то он представлял в лицах: он был я, Петруся был ты, Павлуся — он, я же по тупоумию всегда было оно, среднее лицо. И тут как примется, так на всякое слово все и действуют: и я, и ты, и он; также и во множественном. Куда! Всего и пересказать не можно, а он все это из книжки, так и действует, не запинаясь. В стихотворстве опять: это на удивление! Не только знал, что есть хорей, ямбы — чорт знает что там еще! Не только учил, как по ним сочинять, но и сам сочинял преотличные стихи, какие хотите — длинные, короткие, мужские, женские... Да как напишет таких стихов листах

на двух, станет читать, так это прелесть! Все так и уснем на первой странице.

От своего дарования возбудил он и в нас страсть к стихотворству. Братья хотели попробовать себя в сочинении и попросили у доmine инспектора *меры* на стихи. Он дал мерку не длинную, так, вершка три, не больше, длины (теперешним стихотворцам эта мера покажется короткою, но уверяю вас, что в наше время длиннее стихов не писали, разумеется, *стихотворцы*, а не *стихоплеты*; им закон и в наше время не был писан); притом преподавал правила, чтобы мужской и женский стих следовали постоянно один за другим и чтоб рифмы были богатые.

Принялись наши молодцы за стихотворство и, написав, подали доmine Галушкинскому, севшему за стол с меркою в руках. И что же? Петруся, как выше обыкновенного ума, полетел и полетел! Ни один стишок не пришелся в меру: то уже длинен чересчур, то короток; рифмы набраны были *словно поднятые из валяющихся на улице* — так изъяснил наставник. У Павлуся же стихи вышли на удивление! Во-первых, все в одну мерку; уже как ее ни прикладывал доmine, все точь в точь, ни длиннее, ни короче. Стихи мужской и женский, с богатыми рифмами шли беспрестанно. Например, впереди *Агафон*, рифма ему самая богатая — *миллион*. За Агафоном *Марина*, рифма — *гривна*, конечно, не так богата, но и доmine Галушкинский сознался, что женских богатых рифм мало. Пожалуйте же. За Мариною — *Омельян*, рифма — *империап*, тут вслед по правилам — *Агриппина*, рифма — *полтина*. И так далее и так далее, все в том же порядке! В рифмах даже *грош* не был включен, не только *копейка*. Я вам говорю, что все были богатые. Это же я сказал об окончательных словах, а в строчках что было, так прелесть! Изобильная бакча на Парнасе... богини на вечерницах... все боги пьяны... да это чудо, что там было в стихах! Доmine Галушкинский даже облизывался, читая. У Петруся все не так: у него все страшные, военные, с пушечною пальбою; и как выстрелит пушка и начнут герои падать, так такое их множество поразит, что из мерки вон; а чрез то и не получил одобрения от наставника.

Стихотворство увлекательно. Как ни ненавидел я вообще ученые занятия, но стихи меня соблазнили, и я захотел написать маменьке поздравительные с наступающим Новым годом. Чего для, притворяясь больным, не пошел по обыкновению в школу, а, позавтракав, сделал сам себе мерку, принял и к обеду написал:

Когда я проходил,
То лез мимо крокодил
Превеликой величины
И нес в зубах кусок ветчины...

Все шло хорошо. Мужская и женская, крокодил и ветчина — правильно, слова нет... но не приискал богатства для рифмы, а пуще всего бился я с меркою стихов. Никак не слажу! В короткий стих не найду слов, чтоб вытянуть его, а из длинного — не придумаю, какое слово выкинуть, чтоб укоротить стих... Возился-возился, уже я и палец приставлял ко лбу, как делывал доmine Галушкинский, — все ничего. И я среди таких размышлений крепко заснул. Ни одному нашему брату стихотворцу не стоили так дорого оды его, как мне эти два стишка; но, к несчастью для потомства, этот пушистый, махровый цветок российской словесности, не распустившись, увял навсегда!!!

К рождественским святкам мы должны были возвратиться домой. Батенька приказывали нам привезти свидетельства о учении и поведении нашем. Не знаю, какие аттестаты получили братья, полагаю, что недурные, потому что Петруся боялись не только риторы, но и самые философы; он без внимания оставлял ученость их, а в случае неповиновения и противоречия тузил их храбро, никто не смел ему противоборствовать. Да и на кулачных боях, куда мы ходили под предводительством некоторых учителей, под простою одеждою скрывавших свою знаменитость, и там Петруся был законодателем; в какой стене стоял он, там была и победа. Высок ростом, широкоплеч, мужествен, неустрашим, храбр, горяч, вспылчив, за безделицу, кого бы ни было, тотчас по мордасу — и выходил на кулаки; все трепетало его. Он от фортуны одарен был всеми геройскими достоинствами! Как же такому не получить по всей справедливости лучшего аттестата? Один из начальствующих в училище говаривал про него: «Завидный молодец! Сильный по роду, сильный по богатству, сильный по силе своей».

Брат Павлусь другими достоинствами приобрел всеобщую любовь и уважение. Природою обиженный в своей «натуральности», как выражались о нем учителя, он богат был хитрым, тонким, изобретательным умом. Чтобы иметь большой круг для действий своих, он пристал к бурсакам, и, чистосердечно сказать, его способами они роскошествовали в пище и прочем. Из всех подвигов его вкратце скажу: он выходил всегда на рынок, припасши на белом конском волосе, связанном длиною саженой в пять, удочку, закрытую каким-нибудь лакомством для птицы. На каждом рынке обыкновенно ходят домашние птицы: куры, гуси, индейки, и живутся крохами. В кучу их Павлусь бросит удочку и с волоском отойдет далее, поджидая, пока удочку его схватит индейский петух. Тут Павлусь побежит изо всей силы, а бедный петух, чувствуя боль в горле, не может сопротивляться тянущей его удочке, бежит, как взбесившийся, голову протянув, глаза выпучив и растопырив крылья. Народ, не примечая бегущего впереди школяра и

также волоска, коим тащится петух, смотрит на необыкновенное положение птицы, удивляется, кричит: «Гляди, гляди! Вот чудесия! Сказился индик!» В воротах бурсы встречают победителя с триумфом, а добычу, схвативши, немедленно зарывают и на бегу ощипывают перья и, чуть только вбегут на кухню, кидают в котел.

Снабдив таким и подобным образом бурсаков пищею, брат Павлуся позаботится о снабжении их и питейной частью. Для сего он приищет широкую шинель, уберет ее как-то хитро и мудро, спрятав под нее два штофа на особых шнурках, и, наполнив один водою, а другой оставив пустым, идет в шинок. Там он решительно требует наполнить пустой штоф водкою и спросит смело, сколько следует за водку денег; штоф же с полученною водкой спрячет за горб свой. Услышав же, что должно за штоф водки заплатить двадцать копеек, он рассердится, перебранит шинкаря и, будто в досаде, вытащит опять назад штоф, но искусно подменит на тот, что с водой, и выливает ее в кадку, крича, что ему такой дорогой водки не надо. Шинкарь, не имея времени с ним торговаться и спорить, почитая, что он свою водку получил обратно, отгоняет его от кадки. Павлуся в торжестве спешит в бурсу, где и получает должную признательность.

То ли он дельвал, ходя по рынку и собирая секретно бублики, паляницы, яйца, мак и проч. и проч.! И надобно отдать честь его проворству производить и необыкновенной способности изворачиваться, когда бывал замечен и изобличаем в действиях своих: о, он всегда был прав... Нет, если бы не уродливость его, он пошел бы далеко, к чести фамилии Халаявских.

И такому таланту не дать аттестата? Следовало бы списать все его деяния и тонкости и напечатать большою книгою и приложить картинки. Пусть бы теперешние молодые люди читали и, подражая, изошряли бы свой ум. Но куда им!

Домине инспектор, пользы ради своей и выгод, исходатайствовал и мне свидетельство, в кдем сказано было, что я «был в синтаксическом классе и как за учение, так и за поведение никогда наказываем не был». Все правда. Я бывал в классе, но выучивал ли что или вовсе ничего, никто не наблюдал, а как я очень, очень редко приходил, то и поведение мое не было никому известно. Когда другие мучились, слушая всякого рода глупости на русском и латинском языках, я преспокойно выслушивал замысловатые сказки, которые мне поочередно рассказывали бабуся и Юрко, или играл с ними в свайку, в карты и тому подобное. Наказывать меня, кроме домине Галушкинского, никто не мог; а я очень хорошо знал, что он боялся немилости маменькиной и потому не трогал меня и пальцем.

Батенька, не добравшись хорошенько до настоящего смысла, очень довольны были таковым засвидетельствованием и наравне с братьями по приезде нашем домой пожаловали и мне в гостинец свежее зимнее яблоко.

Радость же маменьки при виде детей ее — и кажется, более всех меня, — возвратившихся здоровыми и непохудевшими, была неописанна. Я даже заболел: так меня закармили и жареным и сладким.

Когда же маменька узнали, что домине Галушкинский, по условию с ними, секретно от батеньки сделанному, не изнурял меня учением, то пожаловали ему с батенькиной шеи черный платок, а другой, новый бумажный, для кармана, чем он был весьма доволен и благодарен. Да, кроме того, вот еще что.

По приезде я нашел в доме некоторые перемены. В маменькиной спальне на лежанке стоял медный сосуд, коего употребления я еще не знал. По врожденному мне любопытству я расспрашивал об этом сосуде и к чему он пригоден? Маменька сказали мне, что это «самовар», в нем-де греется вода, а из воды готовится напиток, называемый чай, который «хотя и дорог, бестия!» (так маменька выразили), но как везде входит в употребление, то и они, чести ради рода нашего, завели его у себя и Хиврю отдали в науку готовить чай, и она его мастерски готовит. Причем обещали полакомить нас завтра этим напитком. «Оно, правда, и вкусное (так говорили маменька), но как-то противно, не евши, не пивши, употреблять его. Ты, Трушко, завтра сделай так, как я делаю в то утро, когда *готуют* чай: сбегай в булочную, там будут к завтраку готовить пирожки, блины и булочки; так ты похватай там чего побольше, да и употребляй тогда смело чай; он тебе покажется приятен. Вот кофе так не могу пить, с души воротит, хотя его и после обеда должно принимать. Я его и не завожу и не посылаю Хиврю учиться приправлять его. Раз только я пила его у своей кумы Алены Васильевны — да тьфу!» При сем маменька, повернувшись в ту сторону, где живет Алена Васильевна, плюнули от негодования на ее кофе.

Пожалуйте же, что тут за комедия вышла на другой день. Вот мы собрались все около стола, на котором уже шумел самовар, а Хиврю хлопотала около него и только знай закидывала свои длинные волосы на затылок, чтоб не падали в чашки, что нас очень веселило. Маменька, по заботливости своей, растолковали нам, как выливать чай из чашки в блюдце, как дуть, чтобы остудить, и как потом закрыть чашку. Все готово, и нам подали по чашке чаю. Я исполнил по маменькиному предварительному совету и нахватался в булочной разной стряпни до жажды, и оттого чай показался мне удивительным напитком, равно как и братьям моим. Правда, запах и вкус был настоящего

мыла, потому что маменька нам так говорили: «Этой проклятой травы нельзя ни с чем держать, так и принимает чужой запах. Эта благоразумная Хивря держит чай в одном сундуке с мылом». Вдруг при этом слове маменька крепко разгневалась, покраснела, как кровь, и напустились на Хиврю, чайную стряпуху, зачем она так много воды навела в чайнике; больше чашки оставалось, куда с нею деваться? Жирно будет, как этаким дорогой напиток да выливать!

— Вот что разве сделать, — сказали маменька и повеселели, что не пропадет чайная вода. — Позовите-ка Галушку сюда! — Так маменька, как уже известно, называли его не гневаясь и не в укор. Домине, как мы по-иностранному называли, они не могли выговорить, потому что не учились иностранным языкам; паном, как его звали батенька, не хотели от благородной амбиции и говорили: «Как же вас (то есть батеньку) величать, когда школяр будет пан?» Всей же фамилии «Галушкинский» не могли выговорить, потому что, не зная российской грамоты, не могли понять, отчего оно четырехсложное; а чтоб разобрать, что «Галушкинский» есть часть речи, и именно имя, и отличить: существительное ли оно, прилагательное, нарицательное, собирательное, — куда! Им бы и в десять лет не втолковать в понятие! Так оттого и называли они его просто, и кратко, и ясно: Галушка.

Пожалуйте. Вот и пришел доmine «Галушка». Маменька из своих рук поднесла ему чашку чаю. Домине начал отказываться, что он ничего хмельного во всю Филипповку в рот не берет.

Маменька, боясь, чтоб он вовсе не отказался; — тогда куда бы девать этот чай? — даже побожились, уверяя, что этот напиток вовсе не хмельной.

Реврендиissime взял чашку, поклонился батеньке и маменьке и на штатском языке произнес желания здравия, во всем преуспeyания, изобилия в достатке, веселия в чувствах, отринования в горестях и т. п. и при последнем слове хлебнул, не наливая, как бы должно. в блюдце, а прямо из чашки... обжегся сильно, делал разные гримасы и признавался после, что только стыда ради не швырнул чашку о пол.

Мы, глядя на его действия и замешательство, катались от смеха... Кое-как выпил доmine свою чашку, и — опять замешательство! Не накрывши чашки, поднес ее к маменьке.

— *А зуски не хочешь?* — крикнули на него маменька. NB. Они обращались с ним без политики. — Это другой *холодец* (см. выше)! Разжиреешь, по две чашки пивши. Благодарим и за одну.

Домине инспектор был как во тьме, не понимая причины гнева маменькиного; но батенька, объяснив ему, в чем он непо-

литично поступил, тут же открыли ему правила, необходимые при употреблении чаю. Домине в пристойно-учтивых выражениях просил извинения, оправдываясь, что для него это была первина, и все устроилось хорошо; другой чашки ему не подали теперь, да и впредь более не делали ему подобного отличия.

Кстати еще одно замечание об этом восхитительном напитке — чае. Ведь надобно же родиться такому уму, какой гнезвился в необыкновенно большой голове брата Павлуся! Все мы пили чай: и батенька, и маменька, и мы, и сестры, и домине Галушкинский; но никому не пришло такой счастливой догадки и богатой мысли. Он, выпивши свою чашку и подумавши немного, сказал: «Напиток хорош, но сам по себе пресен очень, — рюмку водки сюда, и все бы исправило».

Мы все и батенька засмеялись; но на поверку вышло, что он правду говорил. Братья нашли способ вынуть у маменьки секретно всего нужного к опыту и начали свои опыты и не нахвалились открытием. Домине Галушкинский всегда говорил: «Это вещь сидеявая: лучше олимпийского нектара».

И такова благодарность потомства к первым изобретателям! Чтоб недалеко уходить, я вам укажу на два разительные примера. Кто открыл четвертую часть света? Христофор Колумб. Назвали ли ее в честь его? То-то же! Я думаю, ни у одного американца нет и портрета его. Это первый пример. Второй: кто первый изобрел пресность чая сдабривать и делать напиток вкусным и полезным? Исторически доказываю, что тайну сию постиг первый и не скрыл от потомства «Малороссийского Лубенского казачьего полка подпрапоренко Павел Миронович Халявченко (он умер холостым и потому не мог именоваться полным «Халявским», но как юноша — Халявченко), но отдал ли ему потомство признательность? Сомневаемся по первому примеру. Сколько ни пьют по-иностранному называемый пунш (в относительном смысле «Америка»), но никто не вспомнит о первом изобретателе. Хотя бы из национальной гордости включили имя Павлуся в список людей, своими изобретениями бывших полезными «людимству». NB. Предлагаю новое слово, заменяющее и имеющее другой смысл и понятие, нежели «человечество». И я увлекся духом времени!

Оставляю ученые рассуждения и обращаюсь к своей матери. Батенька не хотели наслаждаться одни удовольствием, доставляемым ученостью сыновей своих, и пожелали разделить оное с искренними приятелями своими. На таков конец затеяли позвать гостей обедать на святках. И перебрали же маменька и званых гостей, и учивших нас, и кто выдумал эти глупые науки! И все, однакож, тихомолком, чтоб батенька не слышали; все эти проклятия ушли в уши поварки, когда приходила требовать масла, соли, окцета, родзынков и проч.

Вот и приехали: Алексей Пантелеймонович Брыкайловский, бунчуковый товарищ. Он в молодости учился в том же училище, где и мы чрез тридцать лет после него учились. О, да и умная же голова! Он не только слушал философию, но на публичных диспутах был первый спорщик и дозарезу поддерживал свое предложение. Что ему ни говори, — он, не вникая никаким силлогизмам, остается при своем. Сверх того, имел собственноручные книги на латинском диалекте с собственноручною о принадлежности подписью на том же языке и с означением цены римскими цифрами. Божился доминне Галушкинский, что сам своими глазами все это видел.

Другой был Потап Корнеевич, не больше. Человек не то что с умом, но боек на словах; закидывал других речью, и для себя и для них бестолковую, правда; но уже зато *в карман за словами не лазил*, не останавливаясь сыпал словами, как из мешка горохом.

Третий — Кондрат Демьянович... нет, лгу: Данилович — и точно Данилович, помню вот почему: маменька называли его Кондрат Демьянович; а батенька, как это было не под час, не вытерпели, да тут же при всех и прикрикнули на них: «Что вы это, маточка, вздумали людей перекрецивать? Скоро и меня из Осиповичей переделаете во что другое. Так я вам не позволю так глумиться над собою. Родился законно Осиповичем, Осиповичем и умереть хочу. Так и их: не переменяйте и им отчества в обиду или в насмешку. Данилович — кажется, не трудно выговорить!»

Да и покраснели же маменька после такого репраманта! Словно рак, так стали красны до самых ушей! Покраснели да, стыда ради, вышли скорей.

Уж такие батенька были, что это страх! Как на них найдет. За безделицу подчас так разлютуются, что только держись. Никому спуска нет. А в другой раз — так и ничего. Это было по комплекции их; хоть и за дело, так тише мокрой курицы: сидят себе да только глазами хлопают. Тогда-то маменька могли им всю правду высказывать, а они в ответ только рукою машут.

Вот же я, заговорившись о почтенных моих родителях, забыл, на чем остановился... Да, о Кондрате Даниловиче, что вместе с прочими зван был на обед и послушать нашей учености.

Кондрат Данилович имел счастливый темперамент: у кого обедал, все хозяйское хвалил. Когда подавали ему жареного гуся, то он говорил, что гусь лучше всех мяс на свете, и жирнее, и вкуснее, и сытнее. Подайте же ему на завтра индейку, то уже и гусь и все никуда не годится — одна индейка паца. Я нахожу, что он с этой стороны счастливо наделен был мудрою фортуною. Батенька поступили хитростно, пригласив и его к обеду. Когда бы мы не отличились своими знаниями, то если два первые

гостя не похвалят, так третий будет хвалить — вот и разделись бы мнения. О! Подчас батенька были тонкого и проницательного ума человек!

Настал день обеда. Гости съехались. нас позвали, и мы в праздничных киреях, отдав должный почтительный респект, стали у дверей чинно. Гости осмотрели нас внимательно и, казалось, довольны были нашею «внешностью» (слово заимствованное) и приемами. Особливо же Алексей Пантелеймонович: он таки даже улыбнулся и принялся испытывать Петруся. Подумавши, поморщась, потерши лоб, наконец спросил:

— Сколько российская грамматика имеет частей речи?

Этот вопрос для такого ума, как Петруси, был тьфу! Он (то есть Петрусь) немножко обиделся таким легким, да еще и из грамматики, вопросом. А слышав, что Алексей Пантелеймонович и учен и много сам знает, решился поверотить его в другую сторону и потому вдруг ему отрезал:

— Прежде нежели я отвечаю на ваше предложение, дозволяю себе обратиться к вам с кратким вопросом, имеющим связь с предыдущим: знание от науки или наука от знания?

— Принимаю, доминe, ваше предложение... но нечто не совсем ясно понимаю его, — сказал, смутясь, к хитрости прибегший экзаминатор, желавший во время повторения вопроса приготовить ответ. Мы тотчас смекнули, что *стара штука!*

— Объясняю, — резал Петрусь. — Знание ли предмета составило науку, или наука открыла в человеке знание? Поясняю следующим предложением: человек постиг грамматику и составил ее: ergo, до того не было ее. Каким же образом он постигал ту науку, которой еще не было? Обращаюсь к первому предложению: знание ли от науки или наука от знания?

Я говорю, что Петрусь был необыкновенного ума. Он имел талант всегда забегать вперед. За обедом ли, то еще борщ не съеден, а он уже успеет жаркого отведать; в борьбе ли, еще не сцепился хорошенько, а уж ногою и подбивает противника. Так и в науках: ему предлагают начало, а он уже за конец хватается. Вот и теперь, шагнувши так быстро, смешал совсем Алексея Пантелеймоновича до того, что тот, приглаживая свой чуб, отошел в сторону и говорит:

— Как в том училище, где и я учился, науки через тридцать лет усовершенствовались! При мне, — а я слушал философию, — непременно следовало на заданный вопрос отвечать логически; теперь же вижу, что вместо ответа должно предложить новый, посторонний ответ, затемняющий тему. Умудряется народ, и — будь я бестия! — если дети ваших сынков, с своей стороны, не изобретут чего еще к усовершенствованию наук! — Тут он вдруг ударил себя в лоб и сказал с самодоволь-

ством: — Счастливая мысль! Я вам предложу письменный вопрос; прошу отвечать на бумаге.

Тут он, схватив лист бумаги, написал: «В чем заключается изящество красноречия в речах и учениях Цицерона, Платона и Сократа?» И, торжествуя, сказал:

— Вы ритор: вам легко решить. — И подал Петрусью перо.

Не на таковского напал. Брат Петрусь только глазом кинул на писание, как тут же и сказал:

— Не могу отвечать, видя неправильность вопроса. Позвольте исправить. — И тут же, не дожидаясь согласия противника, замарал имена философов и написал по высшему учению: «Platon'a, Ciceron'a и Socrat'a».

Батюшки мои! Как оконфузился Алексей Пантелеймонович, увидев премудрость, каковой в век его никому и во сне не снилось! Покраснел, именно как хорошо уваренный рак. NB. Правду сказать, и было от чего! И схватив свою бумагу, он смял ее при всех и, утирая пот с лица, сказал задущающим голосом:

— После такой глубины премудрости все наши знания ничто. Счастливое потомство, пресчастливое потомство! Голова! — заключил Алексей Пантелеймонович, обратясь к батеньке и на слове *голова* подмигивая на Петруся.

Батенька просили его приняться за Павлуся; и Алексей Пантелеймонович спросил:

— Что есть российская грамматика?

На лице Павлуся не заметно было никакого замешательства. Известно нам было, что он ничего не изучил; но я, зная его изобретательный ум, не боялся ничего. Он с самоуверенностью выступил два шага вперед, поднял голову, глаза уставил в потолок, как в книгу, руки косвенно отвесил вперед и начал, не переводя духу:

— Российская грамматика. Сочинение Михаила Ломоносова. Санктпетербург, иждивением императорской Академии наук. Тысяча семьсот шестьдесят пятого года. Наставление второе. О чтении разнородных чисел. Российская грамматика есть философское понятие; к сему нас ведет самое естество: ибо когда я рассуждаю, что, помножив делителя на семью семь — тридцать семь; пятью восемь — двадцать восемь; тогда именительный кому, дательный кого, звательный о ком, седьмое предлог, осьмое местоимение, девятое не укради... — И так далее, да как пошел! Слово под гору, не останавливаясь и не мигая глазами, но голосом решительным и с совершенною уверенностью, что говорит дело.

Алексей Пантелеймонович от удивления сперва разинул рот, потом поднял вверх руки, наконец бросился к Павлуся, давай его обнимать и кричать: «Довольно, довольно! Я в изу-

млении!.. Остановись... отдохни!..» Куда! Наш молодец, как будто оседлав ученость, погоняет по ней во всю руку и несется что есть духу, ломая и уничтожая все, что попадает на встречу. Трещит грамматика, лопаются арифметика, свистит пшеница, вдребезги летит логика... Наконец кое-как уняли его, и он остановился запыхавшись. Удивительный ум, беглость мыслей, проворство языка, находчивость необыкновенная!.. Да, это был человек!

Потап Корнеевич и от Петруся был вне себя и выхвалял его отборными словами; когда же проораторствовал Павлусь, тут он *не своим голосом* вскричал:

— Это гений — ему в академии нечему учиться. Поздравляю, Мирон Осипович, поздравляю! Поздравляю! И должно беспристрастно сказать, что старший сын ваш имеет много ума, а другой много разума. По-моему, это различные темпераменты. Разница уметь, и разница разуметь: а все велико. Подлинно, вы счастливый отец, Мирон Осипович, счастливый! Давайте нам поболее таких фаворитов... Нет, не так: патер... патри... патриотов. Посмотрим, что скажет третий?

У меня душа так и покатила! Я не имел ни Петрусиного ума, ни Павлусиного разума; да так просто не знал ничего и не мог придумать, как изворотиться. К счастью, успокоили меня, предложив по мере знаний моих вопрос.

— По наружности вашей физиогномики, — так, обращаясь ко мне, свысока начал Алексей Пантелеймонович, — я посредством моей прононциации вижу, что из вас будет отличный математист, и потому спрашиваю: восемь и семь, сколько будет?

Сначала я принял умное положение Павлуса: глаза установил в потолок и руки отвесил, но услыша вопрос, должен был поскорее руки запрятать в карманы, потому что я, следуя *методу* доmine Галушкинского, весь арифметический счет производил по пальцам и суставам. Зная твердо, что у меня на каждой руке по пяти пальцев и на них четырнадцать суставов, я скоро сосчитал восемь и семь и, не сводя глаз с потолка, отвечал удовлетворительно.

— А пятнадцать и восемнадцать?

Вопрос затруднительный, потому что недоставало у меня суставов, и я было призадумался и полагал, что должен буду обратиться к ножным пальцам; однакоже при мысленной поверке оказалось это средство ненужным; и хотя я отвечал более, нежели через четверть часа, но отвечал верно.

Таким порядком я откатывал на все задачи верно, несмотря на то, что меня пугал один сустав на указательном пальце, перевязанный по случаю пореза; но я управлялся с ним ловко и нигде не ошибся.

К моему счастью, экзаминатор, как сам говорил, не мог более спрашивать, забыв примеры, напечатанные в книге арифметики, в которую не заглядывал со времени выхода из школы.

Похвалы сыпались и на меня. По мнению Алексея Пантелеймоновича, хоть во мне и не видно такого ума и разума, как в старших братьях, но заметно несбыкновенное глубокомыслие.

— Посмотрите, — продолжал он, — как си не вдруг отвечал, но обдумывал сделанное ему предложение, обсуживал его мысленно, соображал — и потом уже произносил решение.

А я — будь я гунстват — если что-либо обсуживал или соображал; я не знал, как люди обсуживают и соображают; я просто считал по пальцам и, кончивши счет, объявлял решение.

Истошив все похвалы, Алексей Пантелеймонович обратился с вопросом к Кондрату Даниловичу, кого из нас он находит учнее?

Тот, давно скучавший на медленность учения и с нетерпением ожидавший обеда, отвечал прилично занимавшим его мыслям:

— Извольте видеть: от человека до скота; а я сих панычей уподоблю птицам. Примером сказать: возьмите гусака, индика и селезня. Их три, и панычей, стало быть, три. За сим: птицы выкормлены, панычи воспитаны; птицы зажарены, панычи выучены; вот и выходит, что все суть едино. Теперь поставьте перед меня всех их зажаренных, разумеется, птиц, а не панычей. Избави бог, я никому не желаю смерти непричиной; за что их жарить? Вот как подадите мне их, я, допускаю, всех их съем, но не беруся решить, которая птица вкуснее которой. Разные вкусы, разные прелести. Так и с панычами. Разные умы, разные знания, а все порознь хорошо, как смачность в гусаке, индике и селезне.

Алексей Пантелеймонович остолбенел от такого умного уподобления и, смотря на него долго и размышляя глубоко, спросил с важностью:

— До какой школы вы достигали?

— Записан был в иифиме, — меланхолично отвечал Кондрат Данилович, — но при первоначальном входе в класс сделал важную вину и тут же отведен *под звонок*, где получив должное, немедленно и стремительно бежал и в последующее время не только в школу не входил, но далеко обходил и все здание.

— Чудно! — сказал Алексей Пантелеймонович, вздвигая плечами. — А вы свою диссертацию произнесли логически и конклюдентно сделали по всем правилам риторики.

В ответ на это Кондрат Данилович почтительно поклонился Алексею Пантелеймоновичу.

Батенька, слушая наше испытание, вспотели крепко, конечно от внутреннего волнения. И немудрено: пусть всякий отец поставит себя на их месте. Приняв поздравление со счастьем, что имеют таких необыкновенных детей, погладили нас — даже и меня — по голове и приказали итти в панычевскую.

Во время нашего испытания домине Галушкинский был в отлучке: ездил к знакомым. И без него братья мои были в восторге от удавшихся им пассажей их.

— Вот как мы этих ученых надули (провели, в дураки ввели. Это слово самое коренное бурсацкое, но, как слышу, вышло из своего круга и пошло далее), — почти кричал в радости брат Петрусь. — Прекрасное правило домине Галушкинского: когда люди умнее тебя уже близки изблечить твое незнание, так пусти им пыль в глаза, и ты самым ничтожным предложением остановишь их, отвлечешь от предмета и заставишь предполагать в себе более знаний, нежели оных будет у тебя в наличности. Благодарю Platon'a, Ciceron'a и Socrat'a! Они прикрыли мое невежество, и — будь я гунстват — если по времени не будут мне в подобных случаях подражать, чтобы за глупостью укрыть свое невежество.

Что же делали мамсенька во время нашего испытания? О! Они по своей материнской горячности не вытерпели, чтоб не подслушать за дверью; и быв более всех довольны мною за то, что я один отвечал дельно и так, что они могли меня понимать, а не так, — говорили они, — как те болваны (то есть братья мои), которые чорт знает что мололи из этих дурацких наук; и пожаловали мне большой пряник и приказали поиграть на гусях припевающе.

Я пропустил сказать о важном пассаже в жизни моей, коим доставил мамсеньке особенную радость, когда возвратился из училища домой.

В городе в меланхолические часы домине Галушкинский поигрывал на гусях, как-то им приобретенных и на которых он мастерски разыгрывал восемнадцать штук. Пробуя меня по части учения в том и другом, он вздумал: не возьмусь ли я хоть на гусях играть? И принялся испытывать мое дарование. И что ж? Я взялся, понял и выигрывал целых пять штук и половину шестой, и все очень исправно и без запинки, а особливо отлично гудели у меня басы, минут пять не умолкая.

С этим новым открывшимся во мне талантом прибыл я в дом, привезя с собою и гусли, ставшие моею собственностью чрез мену на одну вещь из одеяния. Хорошо. Вот я, не говоря ничего, и внес их в мамсенькину опочивальню. Они подумали, что это сундучок, так, ничего — и ничего себе... Но надобно было видеть их изумление и, наконец, радость, восторг, иссту-

пление, когда я, открыв гусли, начал делать по струнам переборы, дабы показать, что я *нечто на гуслях играю*.

Отерши радостные слезы и расцеложавши меня, они заставили меня играть. Я поразил их! Я заиграл и запел. Голос мой против прежнего еще усовершенствовался и, перейдя из дишканта в тенор, стал звонче и резче. Я играл и пел известный кантик: «Уж я мучение злое терплю для ради того, кого верно люблю». Маменька плакали навзрыд и потом объясняли мне, что эта-де песня как нарочно сложена по их комплекции; «что я терплю от твоего отца, так и не приведи господи никому! И все ради того, — заключили они с стихотворцем, — что верно его люблю! Повтори, душко, еще этот усладительный кантик». И я пел, а они рыдали.

Потом я запел другой кантик: «Рассуждал я предовольно, кто в свете всех счастливей?» Он им понравился по музыке, но не по словам.

— Цур ей, душко! Это мужеская, не играй при женщинах. Я, да, я думаю, и весь женский пол не только сами чтобы рассуждать, да и тех не любят, кои рассуждают. Не знаешь ли другой какой?

Я заиграл: «Где, где, ах, где укрыться? О грозный день! Лютейший час!» Слушали они, слушали и вдруг меня остановили.

— Не играй и этой, — сказали они, — это, видишь, сложено на страшный суд. Тут поминается и грозный день, и лютый час, и где укрыться!.. Ох, боже мой! Я и помыслить боюсь о страшном суде! Я, благодаря бога, христианка: так я эту ужасную мысль удаляю от себя. Нет ли другого кантика?

Я умел живо разыгрывать «Камарицкую», под которую, как мне говорили, и мертвый бы не улежал, а поплясал бы; но не играл при маменьке из опасения, чтобы подчас не разобрала их музыка и чтобы они не пошли плясать, что весьма неприлично было бы в тогдашнем их меланхолическом восторге. Итак, я заиграл и запел: «Владычица души моей, познай, koliko страстен мой дух несчастен». Как вижу, встали от меня, начали ходить по комнате, что-то шептать с большим чувством и, ударяя себя в грудь, утирали слезы. Они как были неграмотные, то и не разобрали, что это слова любовные, а понимали их в противном смысле. Особенно же когда при кончике этого кантика я должен был, почти вскрикивая, петь: «неисцелима страсть моя!», то и они тут, крепче ударив себя в грудь, возглаголю: «Ох, точно неисцелима страсть моя. Вот уже близ шестидесяти лет, а страсть пылает».

Пользы ради своей я молчал и не растолковывал им прямого смысла песни. Зачем? Меня за мою усладительную музыку всегда окармливали всякими лакомствами, и всегда, чуть

только батенька прогневаются на маменьку и им порядочно достанется от них, они и шлют за мною и прикажут пропеть: «Уж я мучение злое терплю», а сами плачут-плачут, что и меры нет! Вечером же, на сон грядуще, прикажут петь: «Владычица души моей», а сами все шепчут и плачут.

Не только маменьке нравилась моя игра и пение, но и старшая из сестер, Софийка, уж года два назад, то есть когда ей исполнилось четырнадцать лет, надевшая корсет и юбочку, а до того бегавшая в одной лёлечке (рубашке), только кушачком подпоясанная, так и Софийка очень полюбила это упражнение и чистосердечно мне говорила: «Хорошо брат Павлусь звонит, очень хорошо, — я всегда заслушиваюсь его; но ты, Трушко, на гусях лучше играешь». Из благодарности я принялся ее учить; но или я не мог научить, или она не могла перенять, она не взялась на гусях, а только пела со мною и, вместе со мною услаждающая горести маменькины, услаждалась и лакомствами. Ах, как мы громко и выразительно пели «Владычицу»! Да что? Теперь таких нот и подобного стихотворства не услышишь... Все миновалось!

После сделанного нам испытания слава о нашей учености пронеслась далеко, и соседи, приезжая к батеньке, поздравляли их с таким счастьем, за что батенька были к нам очень милостивы. Они дали нам во всем полную волю и, надеясь на постепенность доmine Галушкинского, ни малейше не заботились, где мы находимся и в чем упражняемся. Удальцам Петрусе и Павлусе то было на руку. Святки — веселье, гульба. Брат Петрусь дал волю геройскому своему духу: завел кулачные бои, для примера сам участвовал, показывал правила, занятые им на кулачных боях в городе во время учения в школах, ободрял храбрейших. Противною стеною командовал наш реверендисиме наставник, отпущенный для повторения с нами уроков. Но он не исполнял сей обязанности по причине других занятий: днем на кулачном бою, а по ночам подвигами на вечерницах, которые им и братьями были посещаемы с новым жаром; причем введены были ими и новые права, также городские и также служившие только к их пользам.

Такие нововводимые обычаи на вечерницах и право сильного, помещичьего сынка, паныча, законодательство на кулачном бою Петруся, притом поддакивание и ободрение к дальнейшим действиям доmine Галушкинского, равно и все содеянное художественными способами Павлуся весьма не нравились большей части парубков. Ропот усилился, и они приступили к мщению, в чем и успели.

В один вечер — злополучный вечер! — реверендисиме Галушкинский, пригласив наставляемых им юношей, Петруся и Павлуся (я не участвовал с ними по особенной, приятной

сердцу моему причине, о которой не умолчу в своем месте), пошли на вечерницы и как ничего худого не ожидали и даже не предчувствовали, то и не взяли с собою других орудий, кроме палок для ради собак.

Ничего не подозревая, подходили к хате, где обыкновенно бывало сходбище, как вдруг из-за углов и плетней раздалось: «Сюда, наши, бей, валяй, кого попало!» и вместе с криком выбежало парубков двадцать с большими дубинами и с азартом бросились к Петрусью и реверендиссиму, а другие, схватив брата горбунчика, по предприимчивому духу своему ушедшего вперед, начали по горбу Павлуся барабанить в две палки, с насмешками и ругательствами крича: «Славный барабан; Ониська, бей на нем зорю!»

Петрусь при первом раздавшемся крике парубков, следуя внушению геройского духа своего, хотел было бежать, но как нежный брат, видя бедствующего Павлуся, бросился с отчаянием в кучу злодеев, исхитил его из их рук, принимая и на себя значительное число ударов, одушевляемый храбростью и неустрашимостью, пустился бежать что есть духу. Почтенный наставник, разжигаемый тем же духом мужества, бежал вместе с ним. Павлусь тоже пустился было по следам храбрых, но как был слабосилен, а тут еще отбарабанен порядочно, не мог никак бежать за героями. Но что значит ум, талант, изобретательность, творчество! Сии дары и в самом опасном, отчаянном положении избавляют от бед человека, одаренного ими. С такими талантами Павлусь в критическую минуту нашелся и произвел к своему спасению следующую хитрость, едва ли не знаменитее всех прежних своих, но... увы!.. и последнюю!.. Собрав остаток сил, он догнал бегущего реверендиссима, подскочил и ухватился ему за шею, а ногами обвил его и таким образом расположился на хребте наставника своего, как на коне или верблюде, очень покойно. Домине Галушкинский как ни старался освободиться от седока, но никак не мог, находясь в необходимости улепетывать от разъяренных парубков, которые не переставали преследовать бегущих и щедро осыпать ударами Петруся и самого реверендиссима с ношею его.

Избитые, испуганные, измерзшие герои мои едва могли дотащить домой; бедного же Павлуся, жестоко избитого по чувствительному месту, едва могли снять с хребта наставника и тут же уложили в постель.

Батенька, узнав о ночном приключении, поступили весьма благоразумно. Во-первых, пострадавшим дали по большой рюмке водки с перцем для согретия тела и исправления желудка по причине всего претерпенного, приказали лечь в постели и закутаться, чтобы вспотеть. Средство это очень помогло: герои мои к полудню чувствовали себя совершенно справившимися

и могущими еще снова перенести подобное действие. Во вторых, принялись отыскивать дерзких, осмелившихся поднять руку на кровь их в лице Петруся и Павлуся. И как, перебирая, не находили виновного, то и приказали всех парубков до единого, — был ли кто из них или не был в экспедиции, участвовал ли в чем или нет, — собрать во двор и под наблюдением Петруся и под руководством почтенного наставника нашего управиться с ними по своему усмотрению. Будут же они помнить мщение оскорбленных ими!..

Батенька имели такой нрав, а может, и комплекцию, что, сдсла дело, потом обсуживают, хорошо ли они это сделали. Так и тут. Они принялись рассуждать — и, не знаю отчего, пришла им вдруг мысль, что не парубки, уже наказанные, а братья и инспектор виноваты, зачем не учились, для чего из училища отпущены, а пошли на вечерницы, чего никто не поручал. А того батенька и не рассудили, что это были святки, праздники — какое тут учение? Можно ли заниматься делом? Надобно гулять, должно вселиться; святки раз в году; не промориться же в такие дни над книгами! Чудные эти старики! Им как придет какая мысль, так они и держатся ее, — так и батенька поступили теперь: укрепясь в этой мысли, начали раздражаться гневом все более и более и придумывали, как наказывать детей?

Вот как они о том обдумывали, маменька между тем, по сродной чувствам и сердцу их нежности, хотя и о нелюбимом за его уродливость сыне, по видя его потерпевшего так много, плакали все равно как бы и обо мне, пестунчике своем, если бы это случилось со мной. Сердце матери — неизъяснимая вещь!..

Оплакая страдающего Павлуся и видя, что слезами ничего нельзя помочь, они принялись лечить его и на таков конец призвали сельскую знахарку. Женщина в своем мастерстве преискусная была! Могла в ряд стать с лучшим немцем-лекарем. Она когда было скажет, что больной не выздоровеет, а умрет, то как раз так и случится. Впрочем, и сама говорила, что она к выздоровлению не имела дара лечить, разве больной сам по себе догадается и выздоровеет. Пожалуйте же. Эта умная и опытная женщина принялась укреплять ослабевшего сильно Павлуся. И признаюся, средство ее было самое близкое к натуре. Она, выкупавши его в разных травах, распаренного приказывала немедленно выносить на мороз, пока хорошенько продрогнет. Знав свое дело, она доказывала, что и железо таким же образом закаливается и от того делается крепче; то же железо бездушное, а то же человек, создание другого рода, лучшее, следовательно, ему скорее поможет. Но несмотря на это и другие подобные средства, Павлусь не получал облегчения, а изнемогал все более и более. Такая уж, видно, была слабая его натура!

После первого опыта с Павлусем маменька принялись обсуживать, отчего это их сынки, почти дети еще — что там: Петрусе 18, Павлусе 17, а мне 16 лет — возымели такую охоту ходить на вечерницы, и решили: «Это никто как «Галушка»! Это он их всему научил, чего детям на их невинный ум никогда бы не взшло». С подобными жалобами на инспектора они хотели итти к батеньке и, как всегда это делали, прежде подсмотрели в дверную щелочку, чем они занимаются и в какой пассии. Те же, как я сказал выше, приходя все в большее сердце, наконец взбешены были до чрезвычайности, а отчего? Маменька не знали. Известна же им очень хорошо была батенькина комплекция, что в такой час не подходит к ним никто, ни правый, ни виноватый — всем будет одна честь: кулак и оплеухи. Так потому они и не пошли, а рассудили залучить к себе батеньку и для того поднялись на обыкновенные свои хитрости. Громкого плача батенька терпеть не могли и более еще сердились; но когда маменька плакали тихомолком и горестно, тогда батенька, лишь бы увидели, тотчас расчувствовывались и захаживали уже сами около маменьки. Видно, в те поры в батеньке пробуждалась любовь, а оттого и сожаление. Конечно, прожив около двадцати лет в беспорочном супружестве, они оба уже налюбилися и излюбилися; но все-таки при виде скорби близкого лица пробуждается какое-то особенное чувство, вроде любовного воспоминания, и рождает уже одно сожаление. Я это ныне испытываю на себе.

Так вот маменька по обычаю и принялись в соседней от батенькиной комнате хныкать, будто удерживая себя от плача. Когда батенька это заметили, то и пришли в чувство, описанное мною. Где и гнев девался! Они по своему обычаю стали ходить на цыпочках около маменькиной опочивальни и все заглядывали в непритворенную с умыслом дверь, покашливали, чтобы обратить их внимание.

Но маменька были себе на уме: не вдруг поддавались батеньке, а раз десять, заметив выказывающийся из-за дверей батенькин нос — у батеньки был очень большой нос, — они, бывало, тогда только спросят: «А чего вы, Мирон Осипович? Не желаете ли чего?»

Тут батенька войдут смело и объясняются, о чем им надо.

Так случилось и теперь, но батенька не изъявили желания ни на что, а начали говорить так:

— Я пришел с вами, Фекла Зиновьевна, посоветоваться. Как бы ни было, вы мне жена, друг, сожительница и советница, законом мне данная, а притом мать своих и моих детей. Что мне с ними делать? Присоветуйте, пожалуйста. Закон нас соединил; так когда меня режут, то у вас должно болеть. Дайте мне совет, а у меня голова кругом ходит, как будто после приятельской гульни.

— Когда б я знала, Мирон Осипович, — сказали маменька хитростно, — что вы на меня не рассердитесь на мой глупый женский ум, то я дала бы вам преблагоразумный совет.

— А нуте, нуте, что вы там скажете?

— Знаете что? Сыны наши уже взрослые, достигли совершенных лет, бороды бреют: жените их, Мирон Осипович!

— Чорт знает таки, что вы, маточка, говорите! Кого женить?

— Петруся и Павлуся; да и Трушка бы я оженила, чтобы отвратить от разврата.

— С чего такое дурачество в голову вошло вам, душечка?

— Это не дурачество и совсем не глупая мысль. Женится человек — и все свои шалости, даже глупости оставляет. Недалеко ходить: вам живой пример вы. Вспомните, какие проказы в здешних местах строили? Уши горят и вспомнивши про них. Вас везде считали за распутного, и ни одна панночка не шла за вас. Прошлое дело, и я бы не пошла, как бы меня, почитай, связанную не обвенчали. Вот же, сякая-такая, лыками сшитая жена, а женясь, вы исподволь переменили свое скаредное поведение и под старость стали порядочные. Вот то же будет и с нашими сынками. Как мы их оженим да возьмем им жен гораздо постарше их да зубатых, чтоб им волю прекратили, так, во-первых, скорее дождемся сынов от сынов своих и увидим чада чад своих; а во-вторых, не бойтесь, не пойдут больше по вечерницам и нас порадуят счастьем своим.

— Удивляюсь вам, Фекла Зиновьевна, как вы даже и в эти лета подвержены мехлиодии и увас все любовное на уме (при сем маменька плюнули и так поморщились, как будто крепкого уксусу отведали). Как вы располагаете женить детей? Что из них будет?

— Теперь покуда дети, а после будут люди.

Батенька остановились против маменьки и смотрели на них долго-долго; потом покачали головою, присвистывая: «фю-фи-фи!.. фю-фи-фи!..», и начали говорить с возрастающим жаром:

— Как я вижу, так ваш совет женский, бабий, нерассудительный, дурацкий! — И при последнем слове, выходя из комнаты, стукнули дверью крепко и, уходя, продолжали кричать: — Не послушаю вас, никогда не послушаю!.. Женить! Им того и хочется.

А маменька, оставшись себе одни, начали рассуждать критически, но все вполголоса, все еще потрушивая батеньки, чтоб не воротились:

— Как же себе хотите, так и делайте, а я вам другого совета не дам. Хотя они и моя утроба и вскормлены моим серд-

цем, а не вашим, но вы моя глава, и я — о-ох! — должна повиноваться. Хотя, по-вашему, я и глупо рассуждаю, но чувствую, лучше иметь одну невестку, которая бы и нам помогла держать их в руках, нежели сотню чорт знает каких — тьфу! — При сем восклицании маменька плюнула, оборотясь в ту сторону, где было село.

Весь описанный мною разговор батеньки с маменькою я слышал один — и, признаюсь, мысль маменькина, мысль остроумная и благоразумная, восхитила меня. Женить нас! Что могло быть лучше этого?.. Маменька же так справедливо, живо, искусно доказывали необходимость того... С горестью услышал я не согласие батеньки, но и решительный отказ. А я уже чувствовал такое стремительное, непреодолимое желание жениться, потому... потому что со мною последовала перемена, которую изъясню словами нашего реверендissime наставника, домине Галушкинского.

Божок, мал телом, но велик делами, нашел средство опутать меня своими сестями. Для чего достал он из колчана своего острейшую из стрел, намазал ее ядом, им же составленным: ядом сладким, горьким, восхищающим, умерщвляющим, возвышающим и унижающим; таковую стрелу сей плутишка положил на свой лук и, поместясь в несравненные серенькие плутовские глазки, пустил из них свою стрелу, которая, полетев, попала мне прямо в сердце и пронзила его насквозь. Тоненькие же длиненькие беленькие пальчики, принадлежащие той, кому и те глазки, теплотою своею распалили всю мою внутренность... Увы! Я познал любовную страсть, к моему восхищению и, вместе к лютому мучению!.. Начало или рождение ее, возрастание и действия я расскажу в следующей части. Теперь же кончу период юной жизни моей тем, что случилось.

Батенька решились отправить нас пока в училищъ. Домине Галушкинский за произведенное развращение (так думали батенька) нравов наших должен был заниматься с нами целый год без жалованья, на одних харчах наших, и как ему обещали, что не объявят начальству его о происшедшем, то он был рад и обещевал уже наблюдать за нами, как за зеницею ока своего.

Нас снаряжали к отправлению. Бедный Павлусь не только ехать с нами, но если бы сказали жениться, то он не мог бы, ибо изнемогал все более и более. Наконец и знахарка объявила, что он не так болен, чтоб ему выздороветь, а оттого и перестала лечить его. Я должен был отправляться в город для продолжения так удачно начатого учения. Но снедающая меня любовная страсть и воззрение на слезы страждущего предмета души моей заставили меня прибегнуть к хитрости, в моем состоянии извинительной. Заблаговременно я притворился больным; маменька

поддерживали обман мой. Я лежал в теплой комнате под шубами, ничего не ел явно, а всеми возможными яствами, при секретном содействии бабуся, маменька меня упитывали. Батенька сильно сердилась на мою болезнь, но не подозревали обмана, и мы его препорядочно *надули*, до того, что когда пришло время, то брат Петрусь с домине наставником уехал. Я же, оставшись, пронемогши для приличия несколько дней, выздоровел и встал для любовных, приятно-невинных наслаждений...

Брат Павлусь после отъезда Петруся недолго страдал. Он умер, к огорчению батеньки и маменьки. Как бы ни было, а все же их рождение. Батенька решительно полагали, что смерти его причиною домине Галушкинский, рано и преждевременно поведши их на вечерницы; а маменька, как и всегда, справедливее батеньки заключали, что домине Галушка тем виноват, что часто водил их в это всеелое сборище; я же полагаю, что никто смерти его не виною: она случилась сама по себе. Такая, видно, Павлусина была натура!..

По приказанию родителей я, розлинеяв бумагу, написал к Петрусе сам: «Знаешь ли, брат, что? Брат Павлусь приказал тебе долго жить!» Маменька прослушали и, сказав, что очень жалко написано, прослезилась порядочно. В ответ мне Петрусь пространно описывал — и все высоким штилем — все отличные качества покойного и в заключение, утешая себя и меня, прибавил: «Теперь нам, когда батенька и маменька помрут, не между шестью, а только между пятью братьями — если еще который не умрет — должно будет разделяться именем».

Я говорю, что это был необыкновенного ума человек! Он везде и во всем хватал вперед.

Похоронивши Павлуса, батенька и маменька принялись советовать, как устроить нас. И, видно, батенька в ту пору были склонны к жалости, потому что скоро согласились с маменькою, чтобы уже прекратить мое учение. Они приняли в резон, зачем убыточиться, домине Галушкинскому платить лишние пять рублей каждый год, а пользы-де не будет никакой: видимое уже дело было, что хотя бы я все возможные училища прошел и какие есть в свете науки прослушал, толку бы не было ничего. Откровенно скажу, не пришлось науки по моей комплекции. Батенька в заключение совещания сказали:

— Пусть и не учится, а будет дураком, пусть на себя жалуются; увидит, какое зло ему принесет его незнание.

Хорошо. Какое зло принесло мне нежелание мое учиться? Совершенно ничего. Я так же вырос, как бы и ученый; аппетит у меня, как и у всякого ученого. Влюблялся в девушек и был ими любим так, что ученому и не удастся; причем они не спрашивали меня о науках — и у нас творительное, родительное

и всякое производилось без знания грамматики. В службе военной незнание наук послужило мне к пользе: меня, не удерживая, отпустили в отставку... Зато теперь жив, здоров и всегда весел. Не потребовались науки и при вступлении моем в законный брак с нежно любящею меня супругою Анисьею Ивановною, с которою — также без наук — прижито у нас пять сыновей и четыре дочери живьем да трое померших. И имение у брата отстояно, и новое приобретено — все без наук, просто.

Посмотрите же вы, что делается с учеными, хотя бы и с сыновьями моими? Знают, каналы, все; не токмо сотни, да и тысячи — куда! Я думаю, и сотни тысяч рублей раскинут на гривны, копейки и скажут, сколько денежек даже в миллионе рублей. Удивительные познания! Волос стал бы дыбом, если бы я прежде того не оплешивел! Мало того: как знают все прошедшее! Какие есть в свете государства, какой король где царствовал, как звали его, жену и детей; а сами и ногой в том государстве не бывали, да знают. Все, все знают от сотворения мира по сей день. Неимоверно! А не больше, как мои дети, и в том же городе учились; только и разницы, что не в том училище, где я. Вот и поглотили, кажется, всю премудрость; но зато как испытые, голубчики мои! Ни маленького брюшка, ни у одного аппетитца порядочного и, вдобавок, никогда не ужинают. Словно не мои дети! Дослужились в полках до чинов и орденов набрали, правда; но нахватили же ран и увечья. Побрачились все на бедных; только и смотрели, чтоб были обученные... Тьфу ты пропасть! Требуют, чтоб и женщины имели ум! Вот век! Маменька, маменька! Что, если бы вы до сих пор не умерли, что бы вы сказали о письменных женщинах?..

Это же сыновья мои единоутробные; а что со внуками делается, так и ума не достанет понять их! Ведь все беги небесные знают, звезды у них наперечет и куда какая идет; не заглядывая в календарь, скажет прямо, когда какая квадра луны настанет. Не только мужской пол поглощает премудрость, — самые женщины. Ну, что они такое? Ничего больше, как женщины, а поди ты с ними! Что уже против своих матушек! Прямо в превыспренности вдаются. Уж не только на гусях, но и на клавирах режут, да как? Что даже на вариации поднимаются, поют кантики, совсем отлично от прежних сложенные, — и я вам скажу, соблазнительно сложенные. Моя Анисья Ивановна заставила однажды нашу Пазеньку спеть *что-нибудь хорошенькое* и слушала ее, раскладывая гарпасию; слушала-слушала — что ж? Не выдержала и, подошед ко мне, страстно поцеловала; а уж бабе 52 года! Что же молодые должны чувствовать от их кантиков? А речи и разговоры их? Ведь и говорят и пишут все университетским штилем; понимай их! А та же Пазенька да

Настенька, обученные — по прихотям жены моей — иностранным диалектам, при нас битых два часа разговаривали с офицерами на проклятом французском. Как усердно ни прислушивался, а не поймал ни одного слова; пет и похожего, как нас учил доmine Галушкинский, покой душе его! Какой же из того их разговора последовал «результат», как говорит сказанный гувернер, служащий невестке моей? Пазенька в ту же ночь, с тем же офицером, без ведома нашего ушла и, за непощением нашим родительским, ездит где-то с ним по полкам. Настенька в частых переписках с различными молодыми людьми ловится, бранима бывает, да не унимается. А как бы по-старинному?.. Да чего? Малолетки, внучки мои, то и дело у окна: тот-де хорош; вот прошел пригож; вот у того усики прелестные и тому подобное, а еще цыплята 11 и 12 лет. Тыфу ты пропасть, скажу я, как маменька говаривали, и плюнул бы при этом слове, да не знаю, куда плюнуть особенно: везде одно и то же!

Вот эти-то обучения, эти научения переменили весь свет и все обычаи. Просвещение, вкус, образованность, политика, обхождение — все не так, как бывало в наш век. Все не то, все не то!.. Вздохнешь — и замолчишь. Замолкну и я об них и стану продолжать свои сравнения нашего века с теперешним.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Хорошо. И так, пока еще до чего, приступлю к сравнению, как влюблялись в наш век и как теперь.

Доmine Галушкинский, редкий наставник наш, говаривал, что любовь есть неизъяснимое чувство; приятнее, полезнее и восхитительнее паче прочих горячих напитков; так же одуряющее самую умнейшую голову; вводящее, правда, часто в дураки: но состояние глупости сей так приятно, так восхитительно, так... Тут у нашего реверендissime кровь вступала в лицо, глаза блистали, как метеоры, он дрожал всем телом, задыхался... и падал в постель, точно как опьянелый.

Сыновья мои — уж это другое поколение — конечно, также наслышавшиеся от своих наставников, говорили, что любовь есть душа жизни, жизнь природы, изящность восторгов, полный свет счастья, эссенция из всех радостей; если и причинит неимоверные горести, то одним дуновением благосклонности истребит все и восхитит на целую вечность. Это роза из цветов, амбра из благоуханий, утро природы... и проч. все такое.

Нынешнее — или теперешнее, не знаю, как правильнее сказать, — поколение, уже внуки мои, имея своих Галушкинских в другом формате, то есть костюме, с другими выражениями о тех же понятиях, с другими поступками по прежним правилам, от них-то, новых реверендиссимов наслушавшись, говорят уже, что любовь есть приятное занятие, что для него можно пожертвовать свободным получасом; часто необходимость при заботах тяжелых для головы, стакан лимонаду жаждущему, а не в спокойном состоянии находящемуся, недостойная малейшего размышления, не только позволения владеть душою, недостойная и не могущая причинять человеку малейшей досады и тем менее горести. «Отцы и предки наши как во всем, так и в любви были дураки и занимались ею как чем-то серьезным, вздыхали, даже плакали и — верх дурачества! — умирали волею и против воли, когда следовало бы на любовь смотреть как на ничто». Так говорят внуки мои.

Не знаю, кто из всех, так различно умствующих, был прав и что еще о любви скажут вперед; но я, живший в век доmine Галушкинского и им руководимый, я любил сходно правилам и чувствам сего великого педагога.

Приятельница моей маменьки, вдова, имела одну дочь, наследницу ста душ отцовских с прочими принадлежностями. Эта вдова, умирая, не имел кому поручить дочь свою Тетясю, просила маменьку принять сироту под свое покровительство. Маменька, как были очень сердобольны ко всем несчастным, согласились на просьбу приятельки своей и, похоронив ее, привезли Тетясю в дом к себе. Это случилось перед приездом нашим из училища.

Приехав к святкам домой, я увидел Тетясю и меньше обратил на нее внимание, нежели на маменькин самовар. Не знаю, наружность ли Тетяси была так обыкновенна или судьба моя не пришла, только я видел ее и не видел, смотрел на нее и не смотрел. Она была с моими сестрами, с которыми я, по причине различных занятий, редко видался, исключая Софийки, которую я обучал играть на гуслиях и петь кантики.

В самом деле, чему было обратить мое внимание? Тетяся была лет пятнадцати девочка, рост ей выгнало, худа, но после я заметил, что она складывается... Лицом ни черна, ни бела, середка на половине, щечки полные, румяные, но изредка рябоватые, глаза серые, вначале будто и ничего, но после... канальские глазки! Ручка полная, с длинными пальчиками... и, право, ничего больше, что бы значительно бросилось в глаза! Внуки мои, описывая красоту женщины (о девицах, по неприличию, они и не думают и не обращают на них внимания; замужних только достаивают заметить и искать их благосклонностей), всегда начинают с ножек, ими пленяются, ими любят, ими

восхищаются, а прочее все — прибавление. У нас бывало так, что прежде рассматриваем голову, а тогда уже смотрим на всю.

Вот эта Тетяся и была для меня ничто, как ровно и я для нее. Мы бывали и вместе с нею, да как ничего, так ничего и не было.

Отошли святки, надобно было приниматься за работу. У маменьки не дремли никто. Бабы и девки и дворовые сами по себе, а дети само по себе. Панночкам, уже начинавшим именоваться «барышнями», задана была работа «выбирать пшеницу». Эта пшеница нужна была для сделания из нее муки «на пасху» к будущему «великодню» (воскресению Христову). Для такой муки надобно было, чтобы пшеница была зерно в зерно, и для того барышни садились за стол и, рассыпав по нему пшеницу, все нечистое из нее до последнего выбирали и выкидывали, а потом чистую, уже выбранную пшеницу откладывали особо. Занятие полезное, приятное и склоняющее к меланхолии.

Я как маменькин пестунчик, месяца три ими не виденный, не отпускаясь от них к братьям в панычевскую, а все большею частью сидевший в их опочивальне на лежанке и непременно чем-нибудь лакомившийся, не отпущен и после святок к братьям, а посажен вместе с сестрами выбирать пшеницу. Маменька меня тем урезонила, что надо-де уже мне приучаться к хозяйству, а эта часть самая хозяйственная и преполезная. Я не скучал подобными занятиями, зная, что маменька не перестанет улаживать меня разными заедками. С нами вместе занималась этою хозяйственною и преполезною частью Тетяся, а сестра Верка забавляла нас разными веселыми сказками и присказками.

Вот мы выбираем пшеницу день, два — и ничего. На третий день нас рассадили по разным столам: по две сестры сели на особых столах, а Тетяся села особо, и когда я пришел к ним; то очень натурально, что я должен быть сесть за один столик с Тетясею. Маменька, как уже известно, были довольно — где нужно — хитренькие. Прошлое дело, а в этом случае чуть ли они не схитрили, как покажут последствия. А тут еще к их хитростям вмешался всесветный шалун, проказник, утешающийся мучениями смертных, крылатый божок, слепец, все зрящий, одним словом — Амур, балованный сыночек Венеры.

Вот, когда я сел за один стол с Тетясею с намерением выбрать пшеницу, садясь, коснулся своим коленом ее колена... Кажется, и ничего: мало ли случается столкнуться коленом или иначе как с кем бы то ни было, и ведь ничего же; подите же, что случилось со мною!.. При этом столкновении меня вдруг словно снегом обдало: я задрожал, но эта дрожь была не от холода и озноба, а от сильного жару, который вдруг воспламенился во мне... Я ничего не взвидел: ни пшеницы, рассыпанной передо

мною, ни Тетяси, сидящей против меня... в голове сделался шум, а сердце так и колотилось. Домине Галушкинский потом уже изъяснял мне, что это последовало со мной от первого поражения Амуровой стрелы, которую он — бестия! — омокает для сего в водах реки Стикса.

Хорошо. Вот как я это все уже перенес, то и чувствую, что туман проходит, пшеница передо мною так и прыгает и направо и налево; я хочу схватить какое-нибудь зерно, так рука моя дрожит сильно и не может настигнуть зерна ни пшеничного, ни ячменного и другого какого, в ней находящегося. Скамейка подо мною дрожит, печь, хоть и большая, а дрожит, стол, окна, сестры, стены, Тетяся — все, куда ни гляну, все дрожит. Не подумайте однакоже, чтобы это в самом деле дрожало, — о нет! Все стоит спокойно и находится благополучно; но это я один дрожу всем корпусом и духом, или, как домине Галушкинский говаривал, трепещет во мне вся физика, или естественность, равно и мораль, или нравственность. Вот как передрожала моя нравственность и я мало-помалу начал приходить в себя, то есть в рассудок, то и принялся за выбор пшеницы.

Но продолжая заниматься, я сгрустнул и с удовольствием вспоминал о бывшем со мною сладко-тягостном положении. Как бы его возродить в себе еще? Известно, как и отчего произошло первое волнение; итак, я, притаив дыхание, будто выбираю пшеницу, а сам только лишь пересыпаю ее и исподлобья гляжу на Тетясю... и, была не была!.. толк ее тихонько коленом... она покраснела... о, верх счастья!.. покраснела, губками зашевелила, как будто приготовляясь с кем целоваться, задрожала... а на меня не смотрит...

Конечно, и ее божок поранил свою стрелю, как и меня, потому что она после моего толчка поминутно то краснела, то бледнела, то тяжело дышала... Я же был в большом недоумении, как мне далее продолжать открытие пламенной любви своей? Я был неопытен и невнимателен ко всем рассказам об этом предмете, передаваемым нам реверендissime Галушкинским. Наконец сама природа помогла моему недоразумению и вступила в права свои: она указала мне на прелестные, беленькие, тоненькие, длинные пальчики предмета моей страсти, коими она перед глазами моими — не выбирала, а перебирала, как и я, пшеницу... Прелесть их меня поразила, я любовался долго... потом, сам себя не помня, подвинул к ней свою руку... подвинул... и своим пальцем задел за ее пальчик... задел и держу... Уф! Как она стала красна! Я думал, что кровь брызнет из щек ее... но я ничего, все держу, и крепче... наконец завладеваю другим пальчиком... далее третьим... четвертым... и вся ручка ее — дрожащая — в моей торжествующей... я сжимаю ее... она еще более краснеет... я сжимаю крепче... она взгля-

дывает на меня... как? И что за глазки!.. Жмет мою руку и едва внятно лепечет: «Серденько мое!..» Я, едва помня себя, удержался, чтоб не вскрикнуть, но шопотом сказал ей, страстно смотря в ее серенькие глазки: «Душечка!»

Вот ровно пятьдесят девять лет, как это восхитительное событие случилось со мной, но я все живо помню, помню каждое биение сердца моего и силу удара, каждое движение души, то есть нравственности моей, каждый помысл ума моего... И воспоминание сладко, что же было в сущности! Семнадцать раз я объяснялся в любви девушкам, разумеется разным, но ни при одном объявлении не чувствовал такой сладости! Пари держу, что нынешние молодые люди и сотой доли того не чувствуют при объявлении любви — если они еще и объявляют ее? — что я и другие в наш век чувствовали. То была истинная любовь, а теперь — тьфу!

Сестры мои не могли слышать наших любовных изъяснений или заметить восторгов наших; они, переслушав Верочкины сказки, за что-то поссорились между собою, после побранились, потом дрались, наконец помирились и с шумом спешили оканчивать выбор своего урока; каждому из нас дано было по большой миске пшеницы, чтобы перебрать ее.

Мы забыли не только о пшенице, но не помнили, существовала ли вселенная: так нам было хорошо, сцепив наши пальцы, сжимать их один другому и страстно взирать друг на друга... Мы были вне мира, нас окружающего!..

— Пойдем в снежки играть! — закричала сестра Любка.

— А вы кончили ли свой урок? — спросили нас сестры.

Куда! Мы начали было прилежно, но прелестный Амур помешал нам своими сладостными занятиями. Тетяся сказала, что уже немного остается, что мы скоро доберем и выйдем к ним играть, а они чтобы, нас не ожидая, шли бы себе играть. Сестры шарахнули из комнаты.

Тут нам, оставшимся вдвоем с глазку на глазок, была своя воля. Лишь только затворилась за сестрами дверь, я, полный любовного пламени, забыв всякий порядок и не наблюдая постепенности, вместо того чтобы прежде расцеловать ручки моей богини, я притащил ее чрез стол к себе... начал действовать прямо набело... протянул к ней свою пламенную голову... и уста наши слились на добрую четверть часа!.. Невыразимое блаженство!.. Отдохнем, переведем дух; я скажу: «серденько!», она промолвит: «душечко!» — и сольются наши счастливые уста!.. Потом она скажет: «серденько!», а я уже отвечаю: «душечко!» — и опять целуемся... Тут-то я нашел, что моя Тетяся несравненная красавица и что ей подобной в мире быть не может. Все в ней казалось мне восхитительно, и я предполагал бы ее в тот час всем красавицам на свете.

Пожалуйте же, что из этого выйдет. Вот, как мы себе так утопаем в блаженстве от взаимных поцелуев и забываем всю вселенную, я в каком ни был восторге, а заметил, что дверь, против меня находящаяся, все понемногу отворяется, и видно, что кто-то подсматривает за нами; я сделался осторожнее и уже не притягиваю к себе Тетяси, но невольно наклоняюсь к ней, когда она меня к себе тащит. Она заметила мою уклончивость, начала осматриваться и также увидела подсматривающего нас. Смутилась немного, отняла у меня свою ручку, мы утерлись и принялись прилежно заниматься пшеницею.

Видя наше спокойствие, подсматривавшая особа, не надеясь более что заметить, отворила дверь и вошла... Судите о нашем замешательстве! Это вошли маменька! Это они и подсматривали за нашими деяниями. Мало сказать, что мы покраснели, как варенные раки! Нет, мы стали гораздо краснее; и света не взвидели, не только пшеницы!

Ну те. Они вошли — и ничего. Походили по комнате и вдруг подошли к нам и спросили, отчего мы до сих пор не выбрали пшеницы. Мы молчали: что нам было отвечать? Как добрейшая из маменек, помолчав, сказали со всею ласкою:

— Видно, вам некогда было, занимались другим? А?

Мы от смущения продолжали молчать. Маменька подошли к нам, поцеловали Тетясю и меня в голову и сказали с прежнеею всею ласкою:

— Полно же вам заниматься: у вас не пшеница на уме. Оставьте все и идите ко мне.

Мы с радостью оставили пшеницу и пошли за маменькою в их опочивальню. Они нас усадили на лежанке, поставили разных лакомств и сказали:

— Ешьте же, деточки; пока-то до чего еще дойдет.

Мы ели, а маменька мотали нитки; потом спросили меня:

— Что, Трушко, как я вижу, так тебе хочется жениться?

— Хочется, маменька, нестерпимо! — отвечал я, обсасывая пальцы, запачкавшиеся в медовом варенье.

— И мое желание такое есть, и мне лучшей невесточки не надо, как моя Тетяся, — сказали маменька и поцеловали ее в голову. — Так что же будешь делать с Мироном Осиповичем? Вбил себе в голову, чтобы сделать из тебя умного; об одном только и думает; а о здоровьи твоём и о моем счастье ему и нуждушки мало. Нечего делать, Трушко, поезжай с Галушкою еще в город, да не учись там, а так только побудь; я Галушке подарю еще холста, так он будет тебя нежить; а я тут притворюсь больною, пошлют за вами, и я уже до тех пор не встану, пока не вымучу у Мирона Осиповича, чтобы тебя женил. Чего нам дожидать? Разве чтоб расшалился, как Петрусь, и чтобы и тебя так же окалечили, как Павлуся? Скорее сама в гроб

пойду. Нечего же плакать, Трушко (при маменькиных словах я плакал навзрыд, не от восторга, что скоро женюсь на Тетясе, предмете моего сердца, но что должен еще ехать в город и продолжать это проклятое ученье); потерпи немножко, — зато после навсегда свободен будешь. Женатого уже не можно учить.

— Нельзя ли, маменька, меня теперь же поскорее женить, чтобы не ехать! — сказал я, продолжая хныкать.

— По мне, — сказали маменька, — я бы тебя сего же дня оженила; ужась как хочется видеть сыны сына моего, — так что же будешь делать с упрямым батенькою твоим?

— Так лучше я притворюсь больным, — сказал я, утирая слезы. — Я умею так притвориться, что и сами батенька поверят.

Маменьке очень понравилась моя выдумка, и они, обрадовавшись, расцеловали меня, обещали поддерживать хитрость мою и дали слово, когда я останусь и как похоронят Павлуса — уже не надеялись, чтоб он выздоровел, — то и приступит тотчас к батеньке и поставит на своем. В заключение приказали мне с Тетясею при них же поцеловаться, как жениху с невестою.

Восторгу нашему не было границ.

Теперь я только понял маменькины хитрости, что им очень хотелось, чтобы я женился именно на Тетясе, как на невесте довольно богатой; и для этого, чтоб дать нам повод влюбиться друг в друга, засадили нас за один стол выбирать пшеницу, а сами подсматривали, как мы станем влюбляться. Как же им было не любить меня паче всех детей, когда я не только исполнял все по воле их, но предугадывал самые желанья их!

Кончивши с Тетясею любовные наши восторги, я приступил притворяться больным. Батенька слепо дался в обман. При них я, лежа под шубами, стонал и охал; а чуть они уйдут, так я и вскочил, и ем, и пью, что мне вздумается. С Тетясею амуриюсь, маменька от радости хохочут, сестры — они уже знали о плане нашем — припевают нам свадебные песни. Одни только батенька не видели ничего и, приходя проводить меня, только что сопели от гнева, видя, что им не удастся притеснить меня.

Блаженное было время, как вспомню! А вспоминаю часто, особливо достигши старости. Первая любовь, — рассказывал мне Мирунушка, один из сыновей моих, — есть истинная любовь и остается у человека на всю жизнь его. Правда истинная! Нас судьба не соединила с Тетясею, но я всегда и в супружестве вспоминал об ней. Быть может, и потому, что ни одна из любимых мною, даже и Анисья Ивановна, моя законная супруга, так не любила меня, как незабвенная Тетяся, и из всех любимых мною, коих могу насчитать до тридцати, я ни с одною так приятно не амурился, как с Тетясею, оттого и незабвенною.

Хорошо. Вот, как я так восхитительно болею, а батенька и отправили Петруся, а тут и Павлуся похоронили, я приступил к маменьке, чтоб женили меня.

В один день маменька, собравшись с духом, пошли к батеньке, чтоб переговорить о моем благополучии... Куда! Я думаю, и десяти слов не успели сказать, как бегут со всех ног назад, и еще простоволосые!.. Батенька по своей горячности турнули их и сбили платок с головы... Маменька, прибежав без памяти, чем попадя покрыли поскорее голову и принялись жестоко плакать. Потом приказали мне играть на гуслях и петь кантик: *уж я мучение злое терплю*, а сами все плакали. Тут я догадался, что батенька заупрямились и не соглашаются меня женить, а оттого и сам плакал.

Маменька — из всех маменек добрейшая, — забыв, что они сами претерпели, принялись утешать меня и уговаривали следующими словами:

— Не тужи, Трушко. Будь я канальская дочь, когда не переупрямлю его. А не то поеду в Корнауховку (другая наша деревня), да там вас и свенчаю. Пусть после того разведет вас.

Но план маменькин не состоялся по следующим причинам.

Батенька как разозлились на маменьку, то сильно вскипела у них кровь и произошла жажда. Вдруг навстречу им несут кувшин тернового квасу, резкого, холодного. Они, не рассуждая долго, схватили кувшин и тут же, не сходя с места, выдули его почти наполовину. Выпивши и заохали... ох да ох! Недолго ходивши, слегли в постель.

Лечили батеньку и знахари и даже лекарь из города — все ничего. Послали за Петрусею и взяли его с домине Галушкинским из училища. Батенька, умирая, приказывали мне и не думать о женитьбе до тридцати лет, а прежде служить. Петрусе определить по окончании учения в русские полки, что около нас квартировали, — и туда же взять и меня. Меньшие же братья очень недавно отвезены были в кадетский корпус, даже в самый Петербург, то про них батенька ничего и не говорили. Маменьке поручали наблюдать за хозяйством и потом разделить нас и дочерей выдать замуж, наградя вещами и платьями, коих, NB, у маменьки было до пропасти, еще от их бабушек оставшихся. Потом крепко-накрепко приказывали маменьке, устроив все это, постричься в монахини, чтоб сохранить верность к ним, и в гробе лежащим.

Распорядив все это, батенька прекрасно, тихо и спокойно умерли. Маменька, приказав все, что нужно устроить к погребению, и послав оповестить соседей о таком случае в нашем доме, пошли в анбар что-то выдавать, а тут приехали соседки некоторые навестить маменьку в горе. Маменька пошла к ним, и как пришли к телу батенькиному, — тут были и гости, — охнули

громко, сомлели и покатались на пол. Так нежно любили они батеньку! Мы не знали, что делать с ними; хотели пощекотать в носу, как дельвали батенька в таком случае, но одна из соседок, видя беду, бросилась и закричала: «Воды, воды!» Женщина наша, тут же стоявшая, как брызнет на маменьку... Маменька как вскочат, как дадут ей туза, да такого, что та и сама уже хотела сомлеть.

— Экая дура! — так закричали на нее маменька: — Брызнула как будто из ведра, да еще холодной водою! Так ты меня насмерть простудишь.

После того исправили этот беспорядок: приготовили тепленькой водицы, и как только маменька сомлеют, — а они сомлевали при всяких вновь приезжающих гостях, — то на них этою водою брызнут чуть-чуть, а они лупнут глазами и очувствуются. Ужас, как они убивались по батеньке!

А как только жалко маменька приговаривали, плачучи над батенькою, так это прелесть! Хоть сейчас на бумагу пиши. Я думаю, ни один сочинитель не напишет так жалко, как маменька приговаривали; а они же были неграмотные. Если бы они жили в наш век, когда нет стыда женщинам знать грамоту, то, я думаю, из них был бы такой сочинитель, что ну! Кроме жалких слов всякого разбора, они еще при всех торжественно говорили, что «какая бы ни была моя жизнь за ним и сколько я от него, моего соколика, претерпела, а не нарушила мой супружеской верности ни однажды. В помыслах-де человек не властен, но делом я не провинилась». Все предстоящие плакали, слушая ее жалобные стоны и приговорки.

Откуда у них слова брались!

Когда было все готово к выносу, домине Галущинский, усердствуя чести нашего дома, просил позволения произнести надгробное слово, им самим сочиненное. Все присутствующие обрадовались случаю услышать что ни есть умненькое, просили его проговорить, и реверендиссимо, взлезши на стул, начал по тетрадке:

— В мире существует много действий; а каждому действию есть своя причина. Собравшееся много множество сюда вельможных, благородных и подлых особ есть действие, а причина сему действию не что другое, как распростертый пред нами — их вельможность, Лубенского казачьего полку подпрапорный Мирон Осипович, знаменитый пан Халявский! Что их вельможность лежат распростерты, очи их смежены, уста слипнуты, руки окостенели — сие есть действие; но действию сему какая причина? Их вельможность умерли. Их вельможность, пани подпрапорная, с чады и домочадцы плачет и рыдает, и сие есть действие, а действию сему причина та, что знаменитый пан подпрапорный, их вельможность, умерли. Когда же

пани подпрапорная так плачут и убиваются, то пеужели так действуют попустому? Нет, слушатели! Тут есть причина: их вельможность, пан подпрапорный, были человек доброй души и благодетельных чувств. Когда же пани подпрапорная плачут, то нам ли молчать, как камениям безгласным? Ничуть! Итак, плачьте, великовельможные, плачьте, вельможные, плачьте, благородные, плачьте, подлые, плачьте, старшина, плачьте, козаки, плачь, гетманщина, плачь, Россия, плачь, вселенная! Их вельможность, знаменитый пан подпрапорный Мирон Осипович Халявский, гробу предается! Плачу и я и — умолкаю.

И подлинно, все, слушавшие это красноречивое надгробное слово, все плакали навзрыд. И камень бы заплакал, если бы мог слушать! Маменька же то и дело что брякали на пол, но, быв вспрыснуты водою, паки вставали на новые слезы.

Чтобы не разжалобивать читателей, скажу коротко, что батеньку похоронили прекрасно, как долг требовал. А какие были поминальные обеды, так чудо! Всего много и изобильно. Притом же гости, чтоб не давать мамеышке горевать, жили безвыездно с семействами. Соседки, имеющие дочерей, советовали мамеышке поскорее женить Петруся, чтобы хозяин был в доме, но мамеышка были себе на уме: они соглашались женить, да не Петруся, а меня, и ожидали только, чтоб поминальные дни отошли, чего и я ждал с нетерпением. Петрусь настаивал, чтоб его прежде женить, как старшего, но мамеышка ссылались на последнюю волю батенькину, что ему должно служить. Тут и Петрусь напоминал, что батенька приказывали мне не жениться до тридцати лет; так добрая мамеышка уверяли и божились, что батенька это говорили в жару и без рассудка. Неизвестно, чем бы это все кончилось, как новое несчастье постигло наше семейство.

У батеньки был большой приятель, армейский — не пан, а господин полковник, по соседству квартировавший у нас с полком. У! Да и бойкая голова была! Он так возобладал батенькою, что даже заставил ввести за столом стеклянные стаканы и рюмки, а также ножи и вилки. Уговорил меньших братьев отправить в кадетский корпус и сам письма писал о приеме их. Что бы он еще наделал с нами, если бы батенька не померли так скоро! Однакоже этот злой человек не унылся, а принялся горем убить мамеышку. Вот послушайте, что произошло.

В один день пишет к мамеышке, что будет к нам завтра и привезет к Софийке жениха, какого-то поручика. Мамеышка и ничего: еще обрадовались, что-де невестку берем, то есть Тетьсю за меня, так надо с хлебов одну дочку долой. Ожидают господина полковника с женихом... Да, кстати сказать, что этот господин полковник не то, что пан полковник: нет той

важности, нет амбиции, гонору; ездит один душою на паре лошадей, без конвою, без сурм и бубен; не только сиди, хоть ложись при нем, он слова не скажет и даже терпеливо сносит, когда противоречат ему. Маменька справедливо про него говорили: «Он такой полковник против нашего ясновельможного пана полковника, как дворовый индик против выкормленного».

Хорошо. Вот и ожидают их приезда. Софийка, как завидела, что уже едут, спряталась прямо на чердак. В самом деле, ее положение ужасное! Как ей показаться, когда приехали смотреть ее? Но, прячась, поручила сестрам и девкам высмотреть, каков ее жених.

Приехали, наконец, полковник и жених; маменька усадили их против дверей, идущих в их спальню. Дверь эта отворялась из спальни сюда и состояла из двух половинок и запиралась крючком. Вверху этих дверей была щелочка. Это описание нужно.

Вот, как уселись и разговаривают об урожае, о смерти батенькиной, о скотском падеже, и тут полковник начал закидывать насчет Софийки и жениха и принялся рассказывать о достоинствах жениха... Как вдруг дверь, описанная мною, с шумом разорвавшая державший ее крючок, с треском отворяется к гостям, и из нее, как из мешка огурцы, кучами выпадают сестры мои, девки, бабы, девчонки и все замарашки, какие могли быть в дворе. Это они любопытствовали рассмотреть жениха в дверную щель. Как же щель была вверху дверей, так они наставили столов, скамеек и на них взмоштились, налегая одна на другую. Тягости от них дверь не могла выдержать, обломилась, растворилась... и все зрительницы полетели, кувыряясь одна чрез другую... Весьма естественно, что падавшие после, упираясь на лежащих уже, должны были перекувыркнуться вверх ногами и ими задевать гостей... Любопытная сцена была! Не только такой, я и подобной в Петербурге не видал в театре — хоть и там много смешного, но все не то: куда!

Насмотрелся и нахохотался полковник с женихом! И маменька с трудом удерживались, чтоб не хохотать, но им неприлично было смеяться, а следовало сердиться за такой беспорядок; они так и сделали: давай колотить по чем попало лежащих и уходящих от нее. А полковник хохочет и, заметив, что между павшими жертвами было несколько лиц опрятнее одетых (то были мои сестры и моя богиня Тетяся), подумал, что между ними должна быть и Софийка, хотел удержать Надю, но та отбила ему все руки и таки вырвалась и ушла. Маменька объяснили ему, что это еще не старшая, и примолвили:

— Та совсем запряталась, и куда же бы вы думали? На чердак. Ведь то-то детский ум: теперь прячется от жениха, а после, замужем, сама будет за ним бегать,

Послали, однакоже, за Софийкою.

Куда! Она всех посыльных переколотила, и если бы не обманом, не свели бы ее оттуда в целый день. А то как сманили с чердака и ввели в особую комнату, да туда и жениха впустили. Софийка (так была научена маменькою) от него и руками и ногами, зная кричит: «Не хочу, не пойду!» Но жених, рассмотревши ее внимательно, сказал маменьке: «Моя, беру! Благословите только». Как бы и не понравиться кому такой девке? Крупная, полная, румяная, черноволосая, и как будто усики выпали около больших толстых красных губ ее.

Маменька очень обрадовались, что дочь их понравилась такому достойному человеку, и потом с полковником располагали, когда сделать свадьбу и прочее, и тут уже, кстати, начали расспрашивать: кто жених, как зовут, откуда, что имеет, не имеет ли дурных качеств, то есть не пьяница ли он, не игрок ли, не буян ли? и прочее такое. В наш век прямо обо всем таком старались узнавать всегда до свадьбы, чтобы после не тужить.

Это еще не был сговор и не то, чтобы, по-теперешнему, слово дано: совсем нет. Часто случалось, что так обнадуженный жених, возвращаясь с восхищением, находил у себя в экипаже тыкву; после чего, как ясного отказа, не смел более в дом показаться. А потому и маменька, хотя и ласково обходились с женихом и будто бы и *таво*, да были себе на уме: они хотели прежде все обстоятельно узнать касающееся до жениха и достатка его и тогда уже решить по обстоятельствам. Это в наш век была уловка: иметь жениха наготове. Часто три, пять женихов вместе, всем дано слово, обо всех собирают сведения и потом одному отдают дочь, а прочим подносят тыквы. Само по себе разумеется, что невеста ничего не знает и не имеет права выбирать, а получает и любит того, кого ей подведут. И прекрасно было! Никто не брал на себя разбирать сходства характеров, доискиваться сочувствий, наблюдать симпатию душ — ничего не бывало! Живут да живут. Только разве при похоронах одного из них услышишь, что другое лицо хвалится ли счастливой жизнью, с ним проведенною, или высчитывает бедствия, от него перенесенные. При жизни же их никто ничего за ними не замечал: шли за добрыми людьми. Теперь же, батюшки мои!.. На другой день свадьбы знаешь, счастливы ли супруги друг другом или как кошка с собакою.

Обратимся же к своей материи. Только какого же промаха дали маменька при этом разговоре с полковником, так я не удивляюсь, а особливо зная их тонкий ум и природную хитрость, посредством которой они иногда даже и батенькою управляли. Говоривши о сватовстве сестры, они сказали, что желали бы поспешить выдать Софийку скорее затем, что им нужно сына женить...

— Какого сына? — спросил с удивлением полковник. — Неужели Петра?

— И, нет, — отвечала маменька, — этот болван, пожалуй, только о том и думает, но вот ему (при сем маменька в ту сторону, где был Петрусь, показали большой шиш!) Я своего сына-любимчика, Трушка, хочу женить.

— Помилуйте, сударыня! (Полковник с матушкой был политичен и всегда величал ее сударынею, как будто какую особу.) Помилуйте, как его женить? Он еще мальчик, дитя.

— Ого! — возразили маменька. — Да у него уже не детское на уме. Раньше женить, так он и понятия не будет иметь о разгульной жизни и поневоле будет постоянным мужем. Притом же он уже влюблен в ту барышню, на которой я располагала женить его.

— Вы погубите его и ту несчастную девушку, на которой жените его, — сказал полковник с жаром. — Лучше определите его в училище, пусть он продолжит учение.

— И, мой батюшка! (Так маменька выражались против уважаемого ими лица. Было за что уважать врага нашего семейства! Вот послушайте далее.) Как ему продолжать, когда он и не начинал еще учиться? — Тут они рассказали полковнику все штучки: как подкупали домине Галушкинского, чтобы меня не отягощал учением, и как я ловко притворялся большим, чтобы не ходить в училище. — И к чему, мой батюшка, ученье? — примолвили маменька. — Голова не желудок. То желудок, чем хочешь, отягощай, все пройдет, можно считать; как же голову отяготишь грамматиками и арифметиками (маменька по безграмотству не могли правильно называть наук) и они там заколобродят себе, так уже александрийский лист не поможет. — NB. Нужно было очень маменьке входить в такие рассуждения. Они себя этим убили. Вот послушайте.

Полковник призадумался и, как человек, бывший в Петербурге, следовательно, занявший там все хитрости, замолчал, будто и согласился. Потом, при отъезде, начал просить, чтоб маменька отпустили завтра любезных сынков своих к нему обедать. Бедные маменька, ничего не подозревая и не предчувствуя несчастья, согласились и дали слово.

На завтрашний день Петруся и меня прибрали и убрали отлично! Батенькины лучшие пояса, ножи с золотыми цепями за поясами, сабли турецкие в богатых оправках... фа! Такие молодцы мы были, что из-под ручки посмотреть! Маменька и Тетяся очень мною любовались. Повезли же нас в берлине, данном за маменькою в приданое, запряженном в шесть коней в шорах; один машталер управлял ими и поминутно хлопал бичом. Мы выехали из дому очень покойно, и я с маменькою и даже с Тетясею попрощался кое-как.

Дорогою мы рассуждали с братом, какой у господина полковника должен быть знатный банкет и как, при многих у него гостях, будут нам отдавать отличную честь, как прилично и следует знаменитым Халявским. Петрусь рассуждал, как он после обеда будет с панночками играть в короли, в жмурки, какие загадки будет загадывать; а я рассчитывал, как я знатно наемся на этом банкете и буду примечать, так ли хорошо выкармливаются птица у него, как у маменьки? В этих приятных мечтах подъехали мы к квартире полковника. Одним-одним часовой ходил у какой-то зеленой таратайки — и больше ничего.

Мы вошли в дом. Солдат сказал, чтобы мы в первой комнате, пустой, ожидали его высокоблагородие. Что прикажете делать? Мы, Халявские, должны были ожидать; уж не без обеда же уехать, когда он нас звал: еще обиделся бы. Вот мы себе ходим либо стоим, а все одни. Как в другой комнате слышим полковника, разговаривающего с гостями, и по временам слышим вспоминаемую нашу фамилию и большой хохот.

Ждем мы час, два, никто и не подумает нам подать что закусить. Поглядывая друг на друга, воображаем, что маменька в это время давно уже откушали и выпочивались, а мы еще и не завтракали, и никто об нас не заботится.

Гораздо после полудня вышел полковник к нам, и вообразите — в белом халате и колпаке. Уверяю вас! Мало того — не спял перед нами колпака и даже головою не кивнул, когда брат и я, именно я отвечивал ему с отклонением рук точно такой поклон, как, по наставлению незабвенного доmine Галушкинского, следовало воздать главному начальнику. Притом, как бы к большому неуважению, курил еще и трубку и, не вынимая ее изо рта, спросил: «Умеете вы писать?» Это вежливость? Это приличие? Уж бы, по крайней мере, спросил о здравьи маменьки, когда не позаботился спросить о нашем! Но это еще цветочки, погодите, что дальше будет!

На такой странный вопрос, конечно, мы отвечали утвердительно, потому что Петрусь писал бегло, четко и чисто — он был гений во всем — я тоже, как ни писал, но все же писал и мог мною написанное читать.

— Ну, когда умеете, так подпишите же эти бумаги, — сказал полковник и кликнул: — Тумаков! Скажи им, где и как подписать.

Подошел к нам, — я думал, что он доmine Тумаков и должен нас учить каким наукам, — однакоже это был просто Тумаков и, показав прежде Петрусе, что писать, потом приступил ко мне. «Пишите, — сказал он, — *к сему прошению...*» Я написал это убийственное, треклятое, погубившее меня тогда и во всю жизнь мою причинявшее мне беды, я написал и кончил все по методу Тумакова. Он собрал наши бумаги, и когда

господин полковник сказал ему: «Заготовь же приказ, да скорее», — он пошел от нас.

«Все это хорошо, что мы не много написали, — подумал я: — но что же из того? Где же обед, на который мы были приглашены и приехали так торжественно?» Как вот господин полковник, походивши по комнате и покуривши трубки, крикнул: — Давайте же обедать, уже второй час.

«О злосчастливая фортуна! Что ты делаешь с нами смертными! — воскликнул я сам себе (любимый возглас нашего реверендissime, когда он встречал какие неудачи). — Второй час, у нас дома уже полдничают, а мы еще и не пообедали!»

Но благодаря проворству слуг господина полковника я не успел еще хорошенько потужить, как стол уже был готов, — но какой это стол?! Все не попрержнему! Каждый особый прибор со всеми теперешними принадлежностями: рюмки, стаканы, карафины... с чем же бы вы полагали?.. С водою, ей-богу с водою!.. Как хотите, а правда.

Смотрю, стол накрыли на двенадцать приборов, а гостей нас всего пять с хозяином. Наконец поставили давно ожидаемый обед. Я чуть не расхохотался, увидев, что всего-навсего на стол поставили чашу, соусник и жареную курицу на блюде. Правду сказать, смешно мне было, вспомнив о нашем обыкновенном обеде, и взглянуть на этот мизерный обедик. «Но, — подумал, — это, может, первая перемена? Увидим».

Полковник вышел уже в сюртуке и гости за ним тоже — поверите ли? — в сюртуках... Но какое нам дело, мы будто и не примечаем. Как вот, послушайте... Господин полковник сказал: «Зовите же гг. офицеров»... И тут вошло из другой комнаты человек семь офицеров и, не поклонясь никому, даже и нам, приедем, сели прямо за стол. Можно сказать, учтиво с нами обращались! Может быть, они с господином полковником виделись прежде, но мы же званые... Но хорошо — уселись.

Начали подавать: во-первых, суп такой жиденький, что если бы маменьке такой подать, так они бы сказали, что в нем небо ясно отсвечивается, а другую речь поговоря, вылили бы его на голову поварке. Каков бы ни был суп, но я его скоро очистил и, чувствуя, что он у меня не дошел до желудка, попросил другую тарелку. Полковник и лучшие гости захохотали, а худшие посмотрели на меня с удивлением, а мне-таки супу не повторили. После супу подносили говядину с хреном: я взял довольно и тем утешился. Потом подали по два яичка в смятку, какой-то соус, которого только досталось полизать, не больше; да в заключение — жареная курица. Честью моей вас уверяю, что больше ничего не было на званом, для нас, обеде.

В продолжение стола перед кем стояло в бутылке вино, те свободно наливали и пили; перед кем же его не было, тот пил

одну воду. Петрусь, как необыкновенного ума был человек и шагавший быстро вперед, видя, что перед нами нет вина, протянул руку через стол, чтоб взять к себе бутылку... Как же вскрикнет на него полковник, чтобы он не смел так вольничать и что ему о вине стыдно и думать! «Посмотрели бы вы, господин полковник, — подумал я сам себе, — как мы и водочку дуем, и столько лет уже!»

Я, не могши пить воды и не видя на столе ничего из питья, спросил у человека, чтобы подал мне хоть пива... Полковник снова расхохотался, и гости за ним. С тем и встали от стола...

Так вот вам и банкет! Вот вам и званый обед! Мы располагали сейчас ехать домой, чтобы утолить голод, мучающий нас. Могли ли мы, можно сказать купавшиеся до сего в масле, молоке и сметане, быть сыты такими флеровыми кушаньями? Вот с того-то времени начал портиться свет. Все начали подражать господину полковнику в угощеньи, и пошло везде все хуже и хуже...

Пожалуйте же, еще не все! Как мы собираемся уехать, а тут полковник подписал какую-то бумажку и, отдав ее Тумакову, сказал нам:

— Ну, молодцы! Поздравляю вас царскими солдатами! Я знал, что ваша мать ни за что не согласится отпустить вас в службу, так я обманом вас залучил к себе. Ваш отец... (отец! что бы сказать батенька? да он и маменьку нашу величал просто — матерью) ваш отец был мне друг, и я умирающему ему дал слово спасти вас от праздной и развратной жизни, в которую вы уже вдалились и от которой погибли бы. Ступайте теперь служить. Ты, Петруша, если постараться, будешь человеком, — так мне кажется. Учись скорее службе и будь в ней исправен. А ты, брюхан (сказал он мне: правда, что у меня, по маменькиному попечению, пузко было порядочное, всегда их утешавшее), матушкин сынок, с тобою много хлопот будет. Но я тебя написал к такому капитану в роту, что тебя вышколит. Вот приказ. Тумаков, отправь их сего же дня по ротам, обмундировавши как должно.

Не знаю, если бы это вместо меня да были маменька и если бы это их определили в службу, они бы непременно сомлели. Я сам, бывши мужского пола, услышавши такое страшное назначение, чуть-чуть не свалился с ног. В первое мгновение я не придумал, что мне должно делать: отпрашиваться ли у полковника, чтобы он перестал гневаться на меня и не отдавал бы меня в службу, или заупрямиться и отбиваться руками и ногами и кричать изо всех сил, что не хочу. Прежде нежели я приступил к этим средствам, прежде нежели решился на что-нибудь, прежде нежели опомнился, как Тумаков схватил меня за плечо,

да так больно! вдруг поворотил к дверям и почти потащил меня за собою, потому что ноги мои, от расстройства головы, совсем не могли двигаться...

Когда я вышел из квартиры, воздух меня несколько освежил, и я собрался с мыслями, что мне должно было делать в такой крайности. Я начал плакать, реветь, призывать на помощь маменьку, бабуся... и всех, кого только мог из домашних вспомнить... Как жестокий мой, — точно «руководитель» (он чувствительно вел меня за руку, смеясь над моим страданием), до того забылся и так сделался дерзок — против кого же? — против урожденного благородной крови Халявского, — что начал меня толкать под бока, чтобы я шел скорее. Каково мне было все это терпеть уж верно не от благородного, а от простого, подлого роду Тумакова и одетого по-солдатски! Увы! — скажу и я, как говаривал английский милорд Георг в прекрасно написанной им истории своей...

Что я перечувствовал и как жестоко перестрадал, пока саженой через двадцать перетаскивали меня и ввели в какую-то избу, где все были солдаты. Я полагал наверное, что тут меня зарежут, застрелят, потому что видел тут много стоящих в углу ружей, шпаг или сабель — не знаю чего, а только все страшное... Но вместо того, когда Тумаков проговорил что-то по-своему, по-солдатски, вдруг меня схватили, посадили, и когда я еще не собрался с духом, как отпрашиваться, они меня остригли, взъерошили лавержет, — да и больно мне было, если правду сказать!.. Потом — тот за руки, другой за ноги и таким образом вдвинули меня в полный солдатский мундир. Тумаков дал двум солдатам какую-то бумагу и сказал: «С богом, сей же час!» Эти страшные усачи схватили меня под руки и таким побытом повели меня с собою.

Куда же повели меня? Прямо в поход за пятнадцать верст от того селения, где квартировал господин полковник! Меня, пана подпрапоренка Халявского, записанного в солдаты, одетого, как настоящего солдата, обедавшего весьма за скудным обедом, не полдничавшего... и повели пешком пятнадцать верст!!!

Привели в роту, под команду какому-то капитану, и начали меня учить службе... Буду же помнить я эту службу!.. Скажу вкратце: чтоб быть исправным солдатом, надобно стоять, ходить, поворачиваться, смотреть не как хочешь, а как велят! Ох, боже мой, и о прошедшем вспомнить страшно! Каково же было терпеть?

Как служил и что перенес брат Петрусь, я вовсе не знаю: меня с ним разлучили с самого дома его высокоблагородия, то есть господина полковника; иначе назвать и теперь боюсь, как будто господин капрал подслушивает. А эти мне господа капралы, сержанты, фельдфебели, ефрейторы... Вот беды мне было

с ними! Я хотел против них соблюсти всю вежливость и, помня золотые наставления нашего реверендissime, гласившего при ударении указательным пальцем правой руки по ладони левой: «Когда пожелаете оказать кому благопристойный респект, никогда не именуйте никого просто по прозвищу или рангу, но всегда употребляйте почтительное прилагательное: «домине». Вот я и высунулся к своему ближайшему начальству быть вежливым и вследствие того при первом случае отодрал: «домине капрал!» Буду же я помнить этого домине!.. Засмеяли меня, злодеи, на весь полк! Да что! В десяти толстых томах не опишешь, что я переносил от этой службы... А эти господа капралы с товарищи, когда сойдутся, так то и дело жалуются, что я их замучил. Не знаю, кто кого?..

Пожалуйте же. Вот тут и случилось со мною самое жалкое происшествие. Когда возвратился наш берлин домой пустой, без паньчей, то маменька прицли в безотрадное положение! Каково было их материнскому сердцу увидеть, как домине Галушкинский называл, сосуд пустой, а там сидевших сыновей не находить. Им подали письмо от господина полковника, но как некому было прочесть, — послали за дьячком-старичком, поступившим на место умершего пана Кнышевского... Тот пришел, но без очков, побежал за ними, а маменькино сердце все страждет от неизвестности. Наконец пришел пан дьяк и, прочтя письмо, объявил маменьке, что мы, ее любезные сынки, взяты в солдаты... Не знаю, как при этом маменька не сомлела навек?! Но первое их дело было послать приказчика к господину полковнику умоливать, упрашивать его, чтоб не губил прежде времени изнеженных, совсем не для службы рожденных ею детей, дал бы им на свете пожить и не обрекал бы их чрез службу на видимую смерть.

Господин полковник — а еще назывался другом батенькиным! — слышать ничего не захотел, еще рассмеялся и с тем отпустил посланного.

Тут маменька, увидевши, что уже это не шутка, поскорее снарядили бабуся с большим запасом всякой провизии и отправили ко мне, чтобы кормила меня, берегла, как глаза, и везде по походам не отставала от меня. Так куда! Командирство и слышать не захотели. Его благородие, господин капитан, приказал бабуся со всем добром из селения выгнать; а о том и не подумал, что я даже исчах без привычной домашней пищи! Но это еще не то большое несчастье, о котором хочу рассказать.

Хорошо! Бабуся возвратилась и рассказала все, не утаив, что видела меня и что я все плачу от службы и иссох, как щепка... Маменька вскрикнули, велели как можно скорее запряхь таратаячку легкую. НВ. В берлин они не могли влезть по причине узких дверей. Сели в нее и помчались, как стрела, все пригова-

ривая: «Посмотрю я, как этот дворовый индик меня не пустит к моей утробе!» (NB. Это индиком они в критику называли его высокоблагородие господина полковника. Им это можно было: они не были в службе.) Вот как маменька едут и поспешают, не успели проехать и пяти верст — их и подхвати колика, да какая! Кричат не своим голосом! Это все от непривычки ездить. Насилу довели домой, и тут ох да ох!.. Уж не набранились же они его высокоблагородия господина полковника! Да посреди таких занятий в десятый день преблагополучно и скончались... Ох, боже мой!..

Я совсем не знал об этом случае. Все тужу об одной службе, а того и не знаю, что мне еще надобно горше тужить, что я остался круглым сиротою, без батеньки и маменьки, да еще и в службе! Некому было меня ни обласкать, ни оплакать... После уже узнал я, что когда маменька скончались, то сестер забрала к себе наша одна тетушка, и Тетясю также, да там отдала сестру Софийку замуж и Тетясю также... А та, изменщица, охотно пошла из-за меня за другого. Правда, что и я не имел времени хорошенько подумать о ней: то ружье учился чистить, то ремни белить, то маршировать, и все — вот мучение было! — начинать с левой ноги...

Только теперь признаюсь, что я во многом лукавил, будто не могу выучиться. Его высокоблагородие сколько раз обещал пожаловать меня полным капралом, если я буду исправен и перейму все. Кто же бы мне велел сделать такую глупость, чтобы добиваться высшего чина? Когда солдату так трудно, а капралу — и не приведи господи! Сам знай все и учи другого. Нет, не на таковского напали! Однажды — смеялся я очень своей штуке! — для поощрения меня произвели в господины капралы. Хорошо. Я что делать? Взял да и начал, будто ничего не понимаю, все делать наизворот; как гляжу, отдают в приказе, что «капрал Халявский за леность, непонятность, нерадение к службе и вообще за нерассудливость разжалован в рядовые». Вот так их учи, как я!

Наконец пришел указ о вольности дворянства, по коему можно было оставить мне, как природному дворянину, службу. Я не знал, с какого конца приступить, чтобы вырваться поскорее на свободу; мне и посоветовали добрые люди отнестися к ротному писарю. Вот голова была! Я не знаю, в каких училищах он учился, только в десять раз был умнее домине Галушкинского, который, бывало, пяти слов не напишет, не исчернивши поллиста бумаги. Писарь же, напротив, разом и сочинял и переписывал набело, так что, — поверите ли? — двух раз не понюхал табаку, а уже готова бумага, и подает мне подписать.

— Что писать? — спрашиваю я: — растолкуйте мне, г. писарь!

— Пишите вот на этом месте: «к сему прошению».

— Батюшки-голубчики! — вскричал я, уронив перо из рук: — ни за что в свете не напишу этого ужасного слова! По этому слову меня приняли в службу...

— А теперь по этому слову вас отпустят, — так уговаривал меня г. писарь и сказал: — Оно хоть и одинаково слово, да умей только наш брат, писака, кстати его включить, так и покажет за другое. Не в слове сила, а в уменьи к месту вклеить его; а это наше дело, мы на этом стоим. Не бойся же, брат, ничего и подписывай смело. — Таким умными и учеными доказательствами убедил он меня наконец, и я, недолго думая, подмахнул и руку приложил.

К моему особенному счастью, его высокоблагородия господина полковника в то время, за отъездом в Киев, при полку не находилось, а попала моя бумага по какому-то случаю господину премьер-майору. Он призвал меня к себе и долго уговаривал, чтобы я служил, прилежал бы к службе, и коль скоро успел бы в том, то и был бы произведен в «фендрики» (теперь прапорщики), а там бы, дескать, и дальше пошел.

«Благодарен за благой совет! — подумал я: — хорошо в службе вашей, а дома мне будет лучше». Итак, не внимая никаким его советам как не нравившимся мне, я настоятельно просил о чистой отставке, которую я получил с награждением чином за службу более двух лет — отставного капрала.

Никакими словами не могу выразить радости моею, когда узнал, что я свободен во всякое время правою ногою выступать, ходить сторбясь, развалом и как мне вздумается и что могу выехать из своей роты! Тот же час поспешил панять лошадку и, не оглядываясь, покотил домой. К утешению моему, это недалеко было.

Что же я застал дома, так это ужас! Вся дворянша наша, некогда, при батеньке и маменьке, многолюдная, вся распушена; хлевы и сараи, где кормились птицы и другие животные, все разорено, запущено! Я собрал всех людей, поместил и определил к должностям, птиц и прочих тварей приказал запереть для корма, как было при маменьке. Любя обычаи предков, я установил завтраки, обеды, полдни и весь порядок, как было при незабвенных родителях моих. Я не очень смотрел на нововведения, заимствованные соседями у бывшего моего его высокоблагородия, господина полковника, и, не подражая ему, жил по своей воле. Да и отдыхал же и отъедался я после службы пресердно и месяца через два имел удовольствие заметить, что я отгелся и в сложении и вообще по комплекции моей стал на порядках.

Приводя себе на память все случившееся со мною в жизни, невольно рождается во мне — не знаю какое, философическое

или пиитическое — рассуждение — пусть господа ученые разберут: сравнить теперешних молодых людей с нами, прошедшего века паньчами. Какая разница! Мы думали о жизни, искали случаев насладиться ею, не упустили к тому ничего и блаженствовали на своей воле. Хотя сильные и утеснят нас, как меня господин полковник, определят в службу, заставят испытывать все тягости ее, замучат ученьем, изнурят походами, как меня каждые два месяца в поход из роты в штаб и обратно, а это ведь, как я сказал, пятнадцать верст в один конец; но все же найдутся сострадательные сердца, у кого маменька, у кого тетенька, а где и г. писарь, как мне, помогут, да и вырвут из службы — гуляй себе на все четыре стороны! Теперь же... Ох, боже мой!.. Чуть только на ноги схватился, уже думает, как бы определиться в службу? Ну, попал наконец; что же? С конюшни не выходит, всё занимается, как бы лучше вычистить лошадей; с солдатами не расстанется, ружья из рук не выпускает, все, чтобы усовершенствоваться ему в военном ремесле. Отказывается от отдыха, ни съест, ни сойдет чего со вкусом. Притом же одно у него желание — чтобы скорее была война, итти в поход, рубить, колоть неприятеля... Смотри — самого убили! А мы, подобно мне мыслящие, живем да поживаем, толстеем и богатеем да детками окружаемся. Кто больше выигрывает?.. Вот вам и новый порядок на свете! Так же идет и во всем...

Приведя себя и домашнее хозяйство в устройство, я начал жить покойно. Вставши, ходил по комнате, а потом отдыхал; иногда выходил в сад, чтобы поесть плодов, и потом отдыхал; разумеется, что время для еды у меня не пропадало даром. Окончив же все такие занятия, я ложился в постель и, придумывая, какие блюда приказать готовить завтра, сладко засыпал.

В таком приятном провозждении времени я, как-то прохаживаясь по комнате, начал против зеркала себя рассматривать и нашел, что я против прежнего крепко похорошел: сделался лицом бел, румянец во всю щеку, в комплекции плотен, одним словом... я себе очень понравился. «Зачем же пропадать так моей молодости? Мне девятнадцать лет, хорош собою, в службе отслужил два года с лишком, более не обязан мучиться. Служил не даром — при отставке награжден чином «от регулярной армии отставным капралом». Другие, по соседству мне известные, долее моего служили, а когда маменьки их выпрашивали в отставку, так вышли просто солдатами без награждения чина. Как же так сидеть сложа руки? Дай пушусь по соседям, буду влюбляться в панночек, высматривать невесту, а там и женюсь.

Сказано и сделано. Снарядившись, я пустился в путь. Прежде всего на моей двухколесной таратайке, на которой маменька езжали и на которой их растрясло насмерть, когда они ехали ко мне в полк, отправился я к тетке, где жили мои сестры.

Тетушка, кроме Софийки, успела выдать замуж и сестру Веру, обеих за ближних соседей, людей достойнейших: у каждого были свои хутора и много скота. Они, а потом и прочие две сестры, вышедшие за людей с такими же достоинствами, жили и поживали себе преслабополучно, окруженные деточками в количестве порядочном, судя по краткому времени их замужества. Тут же узнал я, что Тетяся, моя Тетяся, мною некогда страстно любимая Тетяся, самопроизвольно, без всякого принуждения и с полною охотою вышла замуж за какого-то пехотной армии офицера и также имеет более двух детей... О неверная!.. Вся кровь взволновалась у меня при этом известии.. Нынешние молодые люди! Если случится вам где в обществе или наедине с молодою девушкою выбирать пшеницу и ваши пальцы по какому-нибудь случаю сцепятся вместе, то, как бы та девушка ни была прелестна, не допускайте плутишку Амура поразить ваше сердце и не поддавайтесь его власти; пренебрегите столкновением ваших составов и не допустите разгореться любовному пламени, иначе постигнет и вас участь, подобная моей: она выйдет за другого, а вам останется одно воспоминание... Правда, воспоминание приятное, восхитительное о блаженных часах, но... как доmine Галушкинский говаривал: «Самое драгоценнейшее воспоминание ничтожнее самого слабого исполнения в настоящем». Более ни слова о неверной: все чувства к ней затаены в моем сердце.

Слегка только спросил я у тетушки совета, на ком мне жениться? И она насказала мне десятков несколько невест с различными достоинствами. Были одиночки, то есть одни наследницы значительным имениям, были сами-третьи, сами-семы, одна была сама-одиннадцата: свобода выбирать любую, а приданое все в одинаковой степени. Когда я говорю: невеста с достоинствами, то не воображайте, что я говорю применяя к теперешним понятиям, то есть что девица воспитана отлично, образована превосходно, обучена всем языкам, пляскам, музыкам разным и проч., — нет, мы понимали дела в настоящем смысле и вещи называли как должно; воспитана — означало у нас: вскормлена, вспоена, не жалея кошту, и оттого девка полная, крупная, ядреная, кровь как не брызнет из щек; образована — объясняло, что она имела во что нарядиться и дать себе *образ* или вид замечательный, в прочих же достоинствах разумелось недвижимое и движимое имущество, пуды серебра (тогда серебро не считалось на деньги, а на вес), сундуки с платьями, да платьями все глазетовыми, парчевыми, все это не теряющее никогда цены... Так вот достоинства, украшающие девушку! А умна ли или добра сама и какую душу и сердце имеет — об этом никто не заботился. Ум в супружестве для жены не нужен: это аксиома. Если и случилось бы жене иметь частичку его, она должна его

гасить и нигде не показывать; иначе к чему ей муж, когда она может рассуждать? Добра ли или бешена — все равно: муж на то муж, чтобы во всем вел ее по своей воле. А из-за всего этого скажите, пожалуйста, нужно ли образовать женщин? К чему им тогда мужья?.. В наше время справедливее на эту вещь смотрели, и прекрасно все шло. Только и заботились о полноте комплекции невесты, и если все было полно, то женихи и вились около таких.

Чего для поступил и я по сим благоразумным правилам и потому составил список известным невестам по количеству и качеству их достоинств. Сначала поставил я, правду сказать, одинок, потому что, признаюсь в моей слабости, не люблю делиться: хоть и немного достанется по смерти ее родителей; но все это мое, неотъемлемое. Честью уверяю вас, что этого правила мне ни маменька, ни батенька, ни доmine Галушкинский, ни в училищах, ни те господа капралы, что учили меня выступать с левой ноги, ни одно их благородие и даже высокоблагородие — никто мне не внушал; а видно, благодетельная натура вперила мне эти правила, которые, право, недурны и неубыточны.

Вот я и явился в первый по списку дом. Отец был бунчуковый товарищ, Гаврило Омелянович Перекрута; имел «знатные маетности и домашнего добра до пропасти» — так значилось в записке и добавлено: «и единочадная дочь Гликерия Гавриловна, лет взрослых, собою на взгляд опрятненькая, хотя смотрит сурово, но это от притворства, чтоб все боялись ее и повиновались». Приступая к сватовству, я сам сочинил себе рекомендацию и вытвердил ее наизусть. Приехав к пану бунчуковому товарищу, я начал говорить пред ним свой «диалог». Пан Перекрута терпеливо слушал, и где я переводил дух, он возглашал попеременно: «чи бачите!» — «чи видите!» Когда же я кончил все и заключил словами: «таковые мои достоинства ожидают вознаграждения согласиём вашим на законное вступление в брак мой с единоутробною доченькою вашею». Так он, сказав: «та й только?», вышел и оставил меня в восхитительном ожидании увидеть пред собою невесту. Как вдруг... хлопец отворяет дверь и подает мне большую тыкву, говоря:

— Се вам, паньчу, прислала панночка!

Осмеянный, я выбежал из дому, разумеется, не приняв тыквы, и поспешил выехать из такого негостеприимного дома. Обстоятельства требовали поспешить в другой дом, где еще не могли услышать о сделанном мне отказе, и я приказал, не оглядываясь, гнать к другому отцу, у которого по спискам значилась единородная дочь Евфимия.

Приезжаю; меня принимают ласково; я поспешаю объяснить причину моего приезда, говорю свой диалог. Хозяин выставил на меня глаза свои и сказал:

— Бог с вами, паньчу! Не одурели ли вы немного? У меня только и есть что единоутробный сын Ефим, а дочьрю не благословен и по сей день ни за что не имею. Как же за мужской пол выдать такой же мужской пол? Образумьтесь!

Я уже и не дослушал последних слов, а, стыда ради, выбежал, цепляясь за двери и пороги, стремя голову на крыльцо да в таратайку и покатил в третий дом по списку.

Да что долго рассказывать! Таким побытом я объездил все дома в окружности верст на пятьдесят; где только прослышивал, что есть панночки или барышни, везде являлся, везде проговаривал свой диалог... и если бы из всех полученных мною тыкв вымостить дорогу, то стало бы от нашего города Хорола до самого Киева. Конечно, это риторическая фигура, но все я пропасть получил тыкв, до того, что меня в околотке прозвали «арбузный паньч». Известно, что у нас тыква зовется арбузом.

За таким глупым сватаньем я проездил месяца три. Иной день, боюсь вам, был без обеда. Выедешь пораньше, чтобы скорее достигнуть цели, а получив отказ, поспешишь в другой... Да так от отказа до отказа и проездишь день, никто и обедать не оставит. Конечно, иногда, как возьмет горе, бросишь все, приедешь домой и лежишь с досады недели две; следовательно, не все три месяца я просватался, но были и отдыхи, а все измучился крепко. Потом, как распечет желание, опять пускался и все с тою же удачею.

Что мне было делать? Бросить мысль о женитьбе не могу: не засплю, не заем, а никто нейдет за меня. В самом деле, критическое было мое положение. В недоумении бросился к той же тетушке за советом.

— Не знаю, душка, что и делать тебе. Сватаешься ты, как долг велит: так и все наши паньчи сватаются. Так им есть удача, а тебе, может быть, заколдовано, но этому можно пособить. Сделай еще так: поезжай на все именины, свадьбы, похороны, где всегда много бывает панночек, да и влюби в себя которую из них... Вот она как сойдет по тебе с ума, так и скажет родителям: «Утоплюся или удавлюся, когда не отдадите за Халявского!» — то хоть и неохота, а отдадут. У нас так не одна выскочила за того, кого любила, хоть и вовсе негодный, да любовь не разбирает. Так и ты можешь напасть на судьбу свою. Ступай же, душка, не трать времени попустому.

Тут призвала свою женщину, которая искусна была все беды от человека отводить: та пошептала надо мною, умыла меня, «слизала с лица остуду», напоила наговорною водою, обошла трижды мою таратайку — я и поехал.

Первый мой выезд был на похороны одного богатого соседа. Там съезд был ужасный. Кому должно было, то плакали и ту-



жили, а мы, панычи и панночки, как не наше горе было, так мы занимались своим. Нас, обоего пола молодых, было до пятидесяти, и должны были прожить в печальном доме дней пять, пока родственники несколько утешат плачущих; потом придут другие семейства, и так смеются до шестинедельных поминок. Я как был себе одинок, то и мог прожить все время, не уезжая. И какой благоприятный случай мне был, чтобы влюбиться и в себя влюбить кого. Обыкновенно все степенные люди были неотлучны от сетующих, а молодым, которые привезены родителями затем, что не на кого было их дома оставить, отведут подалее особую комнату и просят заниматься чем угодно, чтоб только не скучали. Вот тут мы и занимаемся. Тут у нас жмурки, сижу-посижу, короли — и все, что только придумать можно. Ах, как весело было на похоронах или на поминках!

Не думавши долго, я пустился отличиться... Но что это за народ панночки или барышни — неизъяснимые!.. Вот подметишь одну и в игре ударишь ли ее сильнее перед другими или ущипнешь незаметно ото всех, она и ничего: отобьет или отщипнет еще сильнее. Думаешь: дело идет на лад. Где-нибудь в уголку станешь ее целовать — она и ничего: сама целует и заманивает в другой угол, где еще меньше есть примечающих, и там целуемся. Ну, думаешь себе, эта уж моя. Приищешь удобное местечко, подсядешь и шепнешь на ушко: «Я вас хочу взять за себя. Пойдете ли?» — «Цур вам! — почти вскрикнет: — не видала я такого нехорошего? Я пойду, сама знаю за кого.» Сказала — и ничего, и опять целуй ее сколько душе угодно, а итти, так нейдет. Поди ты с ними!

Верьте или не верьте, как хотите; но я и на этих и на других похоронах, на свадьбах, крестинах и других съездах (а признаться, на похоронах всегда было веселее и удобнее влюбляться) сколько влюблялся, сколько сватался — ни одна не согласилась итти за меня. Беда, да и полно!

Уже года полтора я так влюблял в себя барышень, и все вотще, как вот одна, не очень уже и завидная, к которой я пристал от крайности, чтобы шла за меня, так она мне глаза открыла, на предложение мое спросив: «А что же у вас, панычу, есть?» (разумея о достатке).

«Э, голубочка! — подумал я, обрадовавшись нечаянному открытию, — как порасскажу все, так прикусишь язычок». И начал исчислять все наши имения в селах, хуторах, числе душ, земли, скота, овец, серебра и всего. Она слушала без всякого внимания и потом равнодушно сказала:

— А сколько же вас братьев? Сему-тому отделить, что вам останется?

— И на мою долю останется много, — сказал я тогдашней своей любезной.

— Пожалуй, много, да неизвестно сколько. Отделитесь от братьев, так и будет видно, что ваше. Без того ни одна, хоть и дура, не пойдет за вас.

«Вот где истинное благоразумие! — подумал я, ударив себя в лоб. — А мне этого и в голову не приходило. Я все считал: мы богаты, но что я имею — вот что нужно для счастья.»

Обращаясь к теперешним молодым людям и спрашивая у них: не удачнее ли их сватовства идут, когда они могут сказать, что именно они имеют? Когда мы ищем в невесте нужных нам качеств и берем в соображение количество, то почему же и они не могут иметь права на том же основывать свое счастье? С этой стороны, кажется, свет не изменился вовсе и хорошо сделает, если и не оставит такого похвального обычая. Конечно, могут быть исключения, но их нельзя принять в основание. Хорош жареный гусь под капустою, но подчас и при обстоятельствах ешь того же гуся и без того.

Получив такой урок, и хотя дан был незавидною девушкою, я решил им воспользоваться: авось устрою судьбу. Но... почему знаешь, чего не знаешь! — мудрое изречение нашего времени.

Брат Петрусь пристрастился к военной службе и все служил. Уже он был подпоручиком и ходил по походам из угла в угол по всей России. А из меньших братьев одни были в полках, другие доучивались в шляхетном кадетском корпусе. Я писал к ним ко всем, чтобы для моего благополучия поспешили приехать в дом и разделиться имением. Долго отыскивался Петрусь, а я все бедствовал в холостой жизни! Барышни то и дело что выскакивали замуж. Какую намечу, даже переговорю, упрошу, чтобы ожидала меня, — хват! и полетела за другого. Сколько я перелюбил этих неверных!

Наконец приехал Петрусь в отпуск. И то-то как человек, имеющий ум необыкновенный! Я, живши дома, когда имел надобность в деньгах, посылал к приказчику и брал, сколько мне нужно было, например пятьдесят рублей: удовлетворя из них свои надобности, остальное возвращаю приказчику. Петрусь же поступил совсем иначе: он потребовал от приказчика всех денег, какие у него только за все эти годы собраны, сосчитал его (арифметику он знал отлично), насчитал много, обобрал, прогнал его и начал управлять всем имением сам. Как же по дальновидности своей рассчитал, что от имения больше может получить пользы, нежели от военной службы, то и подал в отставку.

В ожидании ее в один день предложил мне разделиться серебром и прочими родительскими вещами. Должен вам сказать, что маменька когда еще живы были, а я уже задумывал жениться, то они, бывало, заведут меня в большую кладовую, отопрут сундуки с серебряными вещами и прикажут мне

выбирать все лучшее, что мне понравится и сколько пожелаю взять. Я выбирал хотя и не фигурное, но что было потяжелее, — так влекла моя натура. Маменька было, все это отобравши, скажут: «Так как ты, Трушко, разумом плоховат, то тебя братья обидят. Так вот тебе особо от них». И тут же отобранное все своими руками уложат, увяжут — и как были неграмотные, то прикажут мне написать: «Пиши, Трушко, как я говорю: это тебе, без разделу». Я из слов маменькиных надписывал на этих кучах четко и ясно, со всею точностью, как приказывали маменька: «Это тебе, без разделу». Эти кучи лежали там же, в кладовой, и когда маменька померли, то все там же оставались. Возвратясь из походов, я, не имея в них надобности, оставлял их лежащими на месте.

Вошли мы с братом в кладовую. Уже разделились кое-какими вещами, оставляя по несколько и на часть братьям, разумеется всего, как отсутствующим, и меньше счетом и полегче весом. Вдруг брат Петрусь увидел мои связки, повертел их и спросил:

— Что это за серебро?

Я сказал о воле маменькиной.

— Что же это на них написано? Прочти-ка мне, — спросил Петрусь.

Я читаю громко и ясно: «Это тебе, без разделу».

— А, благодарю покорно, когда это мне! — вскрикнул Петрусь и отложил к себе все свертки. — Давай же остальным делиться.

«Вот что значит необыкновенный ум! — подумал я. — Кто бы мог так обработать? Вещи мои, а он их так искусно подтибрил, и будто и правильно». Но сколько я ни отдавал справедливости уму его, а все жаль мне было серебра очень! По крайней мере пуда два досталось ему от меня по моей оплошности. Зачем было мне читать? Он бы и сам мог прочесть.

Остальным — медною и оловянною посудю, равно и прочими мелочами — поделились мы бесспорно. Чтобы скорее достигнуть пламенного желания в брачном соединении уже с какою-нибудь барышнею, я просил брата Петруся скорее разделиться и маестностями, но он всегда мне отвечал, что еще будет время.

Батюшки, как он жил! Дослужась даже до от армии поручика, какой чин получил при отставке, он никого не почитал себе равным. Даже коляску венскую заказал сделать себе в Москве. И пошло: лошади — не лошади, упряжь — не упряжь, завел собак, музыкантов, лакеев, выписных поваров; да какие обеды задавал! Уж не прежним банкетам нашим чета! Конечно, кушаньев немного бывало, все пошли супы да соусы; даже и я, полухозяин, имевший свободу и досуг есть больше против прочих,

так и я голоден вставал от стола. Зато вино лилось рекою, и, кроме судацких, воложских, появились заморские. После обеда разливался шум... И никто не вспоминал, что это брата Павлуся изобретения напитков. Sic transit gloria mundi!..¹ Подавался и не любимый маменькою напиток — кофе. Правду сказать, было около чего пачкаться! Тьфу! — кстати здесь употребить маменькино изречение. И не опишешь всего, какая у нас во всем последовала перемена! Но уже не видно было прежней важности и меланхолии в обществе. Никто никому не отдавал преимущества. Петрусь, хотя бы самый мизерный гость был у него, он и его усаживал и заботился, чтобы тоже столько ел и пил, как и самый почетный гость. У него со всеми обхождение было ординарное. Так-то в короткое время свет и обычаи его изменились!

Что же далее? Насмотрелся он всего по походам в России: ему не понравился дом, где батенька жили и померли. Давай строить новый, да какой? В два этажа, с ужасно великими окнами, с огромными дверями. И где же? Совсем не на том месте, где был наш двор, а вышел из деревни и говорит: тут вид лучше. Тьфу ты пропасть! Да разве мы для видов должны жить? Было бы тепло да уютно, а на виды я могу любоваться в картинах. На все его затеи я молчал — не мое дело, — но видел, что и великие умы могут впадать в слабость!

Хорошо же ему: он так себе живет, веселится; меньшие братья присудут, наведаются — он им даст денег и отправит, а мне части из имения ни за что не выделяет. Уж мне наскучило; уж я и не напоминаю, а он все не выделяет. Годы проходят, а я и не женат.

Наконец под веселый час я заговорил ему о выделе имения. Как же он фыркнет на меня и прикрикнул: «Живи, когда живешь, а я тебе не дам ничего!»

Вот тебе и раз! Как-таки не дать мне ничего из родительского? Это меня смутило, и я начал советоваться с добрыми людьми. Кто скажет, что мне следует имение, что нужно хлопотать; другой скажет, пока выхлопочу, так и имения мне не нужно будет. Не знал я, на что решиться? Как вот и явился ко мне чиновник, какой-то губернии секретарь (он не объяснял какой, а просто писался губернский секретарь); а звали его — Иван Афанасьевич Горб-Маявецкий. Он был из наших, но ужасно бойкая голова! Верите ли: как начнет говорить и доказывать мое право, так годы у него сыплются, точно как орехи из мешка. Ничего не поймешь, а только и слышишь: тысяча такой-то, тысяча такой-то, и чисто докажет, что право мое неоспоримо.

¹ Так проходит слава мира (ред.).

Убедил он меня, и я решился начать тяжбу. Для этого нужны были деньги, а у меня их не было; но, — вот что значит умный человек! — он взял у меня все мои серебряные и другие вещи и договорился на свой кошт вести тяжбу. Я должен был выехать от брата и жить у Горба-Маявецкого. Домик у него хотя и небольшой, но нам не было тесно: он с женою да маленькая дочка у них, лет семи, Анисенька. Пожалуйте же, что после из этого будет?

Я переселился к ним — и потомок знаменитых Халявских, наследник по крайности двухсот пятидесяти дворов — что все равно, тысячи душ — должен быть и жить на иждивении секретаря Горба-Маявецкого. К чему пужда не приведет!

Расположивши все, мы приступили начинать тяжбу. Господи боже мой! Должно было начать несправедливым для меня словом: «к сему прошению». Я от него и руками и ногами, так никак не можно без него обойтись. Прошу заменить другим — говорит: не можно. Я вспоминаю ученейшего нашего наставника, домине Галушкинского: у него беспереводно были пряники в кармане; пряники и подобно значащие слова — когда ни спроси — у него всегда были. Он бы, конечно, помог мне в беде, но Горб-Маявецкий побожился, что с другим словом бумага не будет сильна.

Нечего делать. Опять я подписал это ужасное, треклятое, распроклятое слово! Да с того часа, как начал его писать, так верите ли? восемь лет с половиною писал его без умолку, не покладая рук, все писал. Иногда в день разов пять подмахнешь: то в нижний, то в верхний, то в уездный, то в губернский суд. Все суды закидали бумагами и везде слышали самые приятные обещания. Только я и заметил, что когда Горб-Маявецкий найдет, где занять мне денег за ужасные проценты на счет будущих благ, то наше дело очень быстро начнет подходить все выше и выше и уже дойдет до самого высокого в губернии. Тут же только что надо решить, в чью из нас пользу, а хватятся, у нас денег нет; тут по каким-то причинам дело — бултых! Паки в нижние суды. Принимаюсь опять писать: «к сему прошению» (зачем умел я его писать? О маменька! Вы правду говорили, что науки доведут меня до беды!). Горб-Маявецкий примется промышлять денег, и все пойдет по прежнему узору. И так было и шло восемь лет с половиною.

В это время я, не имея ничего, терпел крайность, а Горб-Маявецкий разживался порядочно. Купил новый дом, и лучший прежнего; жена стала наряднее, и даже коляска завелась; умножилась и детей; Анисеньку отдали в девичье училище (о маменька! Что если бы вы встали из гроба и узнали, что барышень учат в училищах, — как бы вы громко произнесли: тьфу! И посмотревши, что этакое зло делается во всех четырех концах

вселенной, следовательно, не знаяши, куда бы преимущественно плонуть, вы бы снова померли!).

Наконец в конце девятого года продолжения моей тяжбы Горб-Маявецкий объявил мне, что мое дело поступило в Санкт-Петербург (пожалуйста же, помните, что он именно сказал: в Санкт-Петербург) и что мне с ним необходимо ехать туда же. Он будет хлопотать по делу, а я — для того, чтобы подписывать: «к сему прошению». Признаюсь, каторжная работа — писать это ужасное слово.

Хорошо. Ехать в Санкт-Петербург. Что же это за Санкт-Петербург? Я не знал, что он так длинно выговаривается. Слышал, что есть Петербург, не больше; но далее не разыскивал. Теперь впервые услышал, что есть еще и Санкт-Петербург. От любопытства посмотрел в календарь; там стоит: Санкт-Петербург, столица. Нет никакого «или», следовательно, Санкт-Петербург само по себе, а Петербург само по себе.

«Что же? — подумал я, — ехать, так ехать! Увижу света, побываю в столице. У нас, взять на сто верст кругом, едва ли кто был в столице. А я буду, проживу, и как, верно, там не без барышень, а власть Амура так же владевает, как и в наших городах, то еще которая влюбится в меня и, не быв так образована, как наши деревенские, не рассчитывая вдаль, выйдет за меня, хотя и не получившего еще имени». Утешенный такими отрадными мыслями, я без дальнего страху собирался ехать в чужие люди. Наделал себе разного платья побольше; оправил маменькин приданный берлин, укрепил его во всех частях и обэкипировал своего верного Кузьму, парня, взятого маменькою из деревни ко мне для прислуги. Он был лет сорока пяти, умен, опытен, рассудлив, часто в стесненных обстоятельствах подавал мне полезные советы. Я без него, что называется, не мог съесть куска хлеба.

— Кузьма, мой любезный! — сказал я ему: — мне надобно ехать в Санкт-Петербург. Как хочешь, а я без тебя не поеду.

— А что же, панычу, и поедем, — сказал он, не думая долго. Привыкши же меня с детства звать панычем, он и в теперешнем моем возрасте так же называл меня. — Ездят люди, поедем и мы.

— Далеко, Кузьма.

— Теперь далеко, а как мы станем там, так будет близко. А от что вы мне, панычу, скажите: как мы там, между немцами, будем проживать? Вы таки знаете что-то по-латинскому, а я только и перенял от одного солдата: «мушти молдаванешти», но не знаю, что оно значит. А в чужой стороне добудем ли без языка хлеба?

— Да там сторона русская.

— Ну когда так, так и ничего. И лишь бы не морем ехать.

Этим замечанием он смутил и меня. Я боялся крепко моря, и мы тут на совете положили: если и трафится море на дороге, объехать его. Хоть и далее, зато безопаснее.

Итак, Кузьма, из усердия ко мне, оставил жену и пятерых детей, пускаясь, по нашему расчету, на край света. В отраду себе просил заказать ему платья, какие он сам знает, чтоб не стыдно было показаться среди чужих людей. Я ему дал полную волю.

Мой Горб-Маявецкий, кроме моего дела, имел еще несколько и других, по которым взялся хлопотать в Санктпетербурге, и потому он, имея надобность заезжать в другие города, поехал особо, а для меня приискал извозчика и подрядил его довести меня до Санктпетербурга за условленную плату. Я запасся в дорогу большим количеством хлебов, мясной и всякой провизии, даже воды набрал побольше. Сторона далекая, мне неизвестная, — так чтобы не бедствовать в дороге. Горб-Маявецкий дал мне на все то время, пока приедет ко мне, достаточное число денег, но советовал жить осмотрительно и обещался не далее как через две недели после моего приезда отыскать меня и дал записку, у кого я должен стать на квартире: то был приятель его.

Выехал я, наконец, в путь с Кузьмою и начал вояж благополучно. Скоро увидел, что не нужно было обременять себя таким множеством съестного. Везде по дороге были села и города, следовательно, всего можно было купить; но Кузьма успокоил меня поговоркою: «Запас беды не чинит — не на дороге, так на месте пригодится». Однакоже от летнего времени хлеб пересох, а прочее все испортилось, и мы должны были все кинуть. Находили, однакоже, все нужное по дороге, и Кузьма всегда приговаривал: «Абы гроши — все будет».

Много важных и больших городов я проехал, не видав их. Благотетельный берлин много мне сокращал пути. Он висел на пассах — рессор тогда не было — и качался, точно люлька. Только лишь я в него, тронулись с места, я и засыпаю до ночлега. Мы откатывали в день верст по пятидесяти.

Не знаю наверное, в которой губернии — я много их проехал, — а помню, что в городе Туле, когда извозчик поспешал довести нас до своего знакомого постоянного двора, при проезде через одну улицу из двора выбегает человек и начинает просить нас заехать к ним во двор. Я призадумался было и рассуждал, почему он меня знает и на что я ему? Но человек просит убедительно сделать милость, не отказать, — будете-де после благодарить.

— Кузьма! Заедем? — Во всем я всегда советовался с этим верным слугою.

— А что ж? Заедем, так заедем, — отвечал Кузьма.

Въехали. Нас ввели в большой каменный дом и провели в особые три покоя. Да какие? С зеркалами, со стульями и кроватями.

— Кузьма! Смотри: каково? — сказал я, мигая ему на убранство комнат.

— Нешто! — отвечал Кузьма, с удивлением рассматривая себя в зеркале.

Явился сам хозяин, должно думать, купец. Засыпал меня ласками и предложениями всего, чего душе угодно.

Сперва представил мне чаю. Я с жажды выпил чашек шесть, но ласковый хозяин убеждал *кушать* еще; на девятой я должен был забастовать.

Что же? После меня он к Кузьме и давай упрашивать его, чтобы также выкушал чайку.

Мне стало совестно; я просил ласкового хозяина не беспокоиться, не тратиться для слуги, что он и холодной воды сопьет; так куда? Упрашивал, убеждал и поднес ему чашку чаю. Кузьма после первой хотел было поцеремониться, отказывался; так хозяин же убеждать, нанес калачей и ну заливать Кузьму щедро рукою! Не выпил, а точно съел Кузьма двенадцать чашек чаю с калачами и, наконец, начал отпрашиваться.

Гостеприимный хозяин, оставя его, принялся снова за меня. Предложил мне роскошный обед; чего только там не было! И все это приправлено такими ласками, такими убеждениями! Поминутно спрашивает, не прикажу ли того, другого? Я то и дело что соглашаюсь; совещусь, чтоб отказом не огорчить его усердия.

Не только меня, Кузьму угощал нараспашку, но и об извозчике позаботился. Лошадей поставил на конюшню, задал им сена и овса, а сам поминутно ко мне: извозчик-де спрашивает того и того; прикажете ли отпустить? Я все благодарю и соглашаюсь.

Извиняясь перед хозяином, я просил его сказать: чем могу быть полезен?

— Ничем, батюшка! — отвечал он: — только и одолжите в обратный путь заехать ко мне и позволить вас так же угостить.

Я благодарил его и просил, чтоб он шел к другим гостям своим, коих шум слышен был через стену.

— И, помилуйте! — отвечал он: — что мне те гости? Они идут своим чередом; вот с вами-то мне надо хлопотать... — и вдруг спросил, не хочу ли я в баню сходить?

Я бы и не пошел, но Кузьма мой и губы развесил, начал соглашать меня, и хозяин сам бросился хлопотать о бане.

Когда он ушел, Кузьма от удивления поднял плечи и сказал:

— Полно, москаль ли он? А уж навряд! Наш только будет такой добрый.

— Верно он слышал, что я еду, — сказал я, — так и перенял нас на дороге, чтоб угостить. Добрый, добрый человек!

— Он точно думает, что мы какие-нибудь персоны, — сказал чванно Кузьма. — Какая нужда? А может, москали и в самом деле добрый народ! Вот так нам и везде будет. Не пропадем на чужой стороне! — заключил Кузьма, смеясь от чистого сердца.

Были мы и в бане, парились со всеми прихотями, а особливо Кузьма; чего уже он не затевал! После бани — сколько чаю выпито нами! Потом огромный ужин. Мы не знали, как управиться со всем этим.

Я хотел выезжать пораньше, так куда! Хозяин предложил, не лучше ли уже нам и отобедать у него? Совестно было огорчить отказом, и я остался. Завтрак и обед кончился; я приказал запрягать. Хозяин пришел проститься; я благодарил его в отборных выражениях, наконец обнял его, расцеловал и снова благодарил. Только лишь хотел выйти из комнаты, как хозяин, остановив меня, сказал:

— Что же, батюшка! А по счету? — и с этим словом подал мне предлинную бумагу, кругом исписанную.

Не понимая, в чем дело, я взял и думал, что он поднес какие похвальные стихи в честь мне, потому что бумага исписана была стихотворною манерою, то есть неполными строками, как, присматриваясь, читаю: за квартиру... за самовар... за калачи... и пошло — все за... за... за... Я думаю, сотни полторы было этих «за»...

— Что это такое, мой любезный хозяин? — спросил я, свертывая бумагу, все еще почитая ее вздорною.

— Ничего, батюшка! — отвечал он, потряхивая головою, чтобы уравнять свои кудри, спадающие ему на лоб. — Ничего-с. Это махенький счетец, в силу коего получить с милости вашей...

— Что получить? — спросил я все еще меланхолично.

— Семьдесят шесть рублей и шестьдесят две копейки, — сказал так же меланхолично гостеприимный хозяин, поглаживая уже бороду свою.

— Как? За что? — уже вскрикнул я.

— А вот, что забрато милостью вашею и что в счете аккурат вписано.

Дрожащими руками я развернул этот счет и — о канальство! — увидел, что все то, чем потчевал меня и Кузьму гостеприимный хозяин, все это поставлено в счет, и не только что на нас употреблено, но что и для извозчика и лошадей: не забыта ни одна коврига хлеба, ни малейший клочок сена, ни одна чашка чаю, ни один пруттик из венчика, коим меня с Кузьмою парили в бане. Это ужас!

Признаюсь, от такого пассажа вся моя меланхолия — или, как батюшка-покойник называли эту душевную страсть, мехлюдия — прошла, и в ее место вступил в меня азарт, и такой горячий, что я и принялся кричать на него, выговаривая, что я и не думал заехать к нему, не хотел бы и знать его, а он меня убедительно упросил; я если бы знал, не съел бы у него ни сухаря, когда у него все так дорого продается; что не я, а он сам мне предлагал все и баню, о которой мне бы и на мысль не пришло, а в счете она поставлена в двадцать пять рублей с копейками. Много, много говорил я ему, и говорил сильно, сверх ожидания, умно и доказательно...

Он же мне в ответ знай, поглаживая свою рыжую бороду, при переводе мною духа все твердит: «Станется-с... сбудется-с. Оно, конечно, так-с... а денежки пожалуйте... следует заплатить».

— Не дам, не дам и не дам! — кричал я, топая ногами. — Так ли, Кузьма?

Кузьма стоял, одеревенев от изумления и в разинutom рте держа кусок пряника, не успев его проглотить. Надобно знать, что этот пряник хозяин ему поднес, а в счет-таки поставил. Насилу Кузьма расслушал, в чем дело и что требуется его мнение. Проглотив скорее кусок пряника, он также начал утверждать, что платить не надо и что мы были у него гости.

— К чему мне было вас угощать? — говорил тем же голосом лукавый хозяин: — на что вы мне надобны? А коли денег не заплатите, так я ворот не отопру и пошлю к господину городничему...

Услышав такое его решение, я опустил руки и замолчал, а Кузьма побледнел и, переведя дух, сказал:

— Заплатите уже ему, паныч; цур ему! Ну, угостил нас москаль! Будем помнить!

Нечего делать: отсчитал я все деньги сполна и сунул хозяину. Он как будто переродился: бросался помогать выносить чемоданы, предлагал чего покушать, испить на дорогу... Но я уже все сердился, молчал и спешил выехать из такого мошеннического гнезда. Кузьма же отлил ему славную штуку. Сев на свое место, он сказал ему:

— Слушай ты, москаль, рыжая борода! У нас так не делают. Вы хоть и говорите, что мы хохлы, и еще безмозглые, да только мы проезжего не обижаем и не грабим, как ты, заманив нас обманом. Мы еще рады заезжего угостить, чем бог послал, а хлеба святого не продаем. Оставайся себе! Слава богу, что я не твоей, москальской, веры!

Хозяин же и ничего, все кланяется да просит:

— И напредки просим таких дорогих гостей!..

Тьфу! Подлинно, что дорогие гости для него.

Качание берлина скоро успокоило кровь мою, и я скоро отсердился, хотя и жаль мне было такой пропасти денег, на которые не только до Санктпетербурга доехать, но и половину света объездить мог бы; но делать нечего было, и я не только что отсердился, но, глядя на Кузьму, смеялся, видя, что он все сердится и ворчит что-то про себя; конечно, бранил нашего усердного хозяина. Когда же замечал я, что он успокаивался, то я поддразнивал его, крича ему в окошко берлина:

— А что, Кузьма! Угостили нас? — или: — А каков туляк? А? Кузьма?

И Кузьма начнет его перебранивать снова, а я хохочу.

Когда проезжаем было через какой город, то я и начну трунить над Кузьмою и кричу ему:

— Смотри, Кузьма, не зовут ли нас куда в гости, так заворачивай...

— А чтоб они не дождали! — отвечал всегда с сердцем Кузьма. — Здесь, как видно, все москаль наголо. С ними знайся, а камень за пазухой держи. Берегитесь вы их, а меня уже не проведут.

Таким побытом мы докатили до Москвы. Вот город, так так! Три наших города Хорола слепить вместе, так еще непоравняется. А сколько там любопытного, замечательного! Вообразите, что в нескольких местах лежат на скамьях, столах и проч. хлеба, калачи, пироги и всякой всячины съестной, и все это в один день раскупится, съестся — это на удивление!

Занимаясь такими мыслями, я проехал Москву, не заметив более ничего. Впрочем, город беспорядочный! Улиц пропасть, и куда которая ведет, ничего не понимаешь! Бог с нею! Я бы соскучил в таком городе.

Чем далее мы с Кузьмою отъезжали от Москвы и, следовательно, более подъезжали к Санктпетербургу, тем чаще спрашивали проезжие про меня у Кузьмы: кто я, откуда еду, не везу ли свою карету на продажу и все т. п. Но Кузьма отделявал их ловко, по-своему: «А киш, москали! Знаем мы уже вас. Ступайте себе далее!»

Если же случалось, что путешественники расспрашивали обо мне у самого меня, тогда я говорил им все о себе, и многие любопытствовали знать о малейших подробностях, до меня относящихся; карета моя также обращала их внимание, и они советовали мне — в Санктпетербурге, вывезя ее на площадь, предложить желающим купить. И я от того был непрочь, лишь бы цена выгодная за этот прочный, покойный и уютный берлин.

При одном случае отдыха вместе с другими путешественниками среди разговора я узнал, что мы в Петербургской губернии. Стало быть, мы недалеко уже и от Санктпетербурга, подумал я, обрадовавшись, что скоро не буду обязан сидеть целый

день на одном месте, что уже мне крепко было чувствительно. И сел себе в берлин, заснул, как скоро с места тронулись.

Долго ли мы ехали, не знаю, как Кузьма будит меня и кричит:

— Приехали — город!

— Что город, это я вижу, — сказал я, зевая и вытягиваясь, — а приехали ли мы, об этом узнаю, расспросивши прежде, что это за город.

Должно полагать, что Горб-Маявецкий, поверенный мой, предварил, сюда писавши, что я еду, потому что всех въезжающих расспрашивали, кто и откуда едет, и когда дошла очередь до меня, то заметно, что чиновник, остановивший всех при въезде в город, обрадовался, узнав мое имя. Усмехнувшись, когда я объяснил, что я подпрапоренко, регулярной армии отставной господин капрал, Трофим Миронов сын Халявский, — он записывал, а я между тем, дабы показать ему, что я бывал между людьми и знаю политику, начал ему рекомендоваться и просил его принять меня в свою аттенцию и, по дружбе, сказать чисто и откровенно, в какой город меня привезли?

— Кажется, и спрашивать нечего, — сказал чиновник, смотря на меня во все глаза, — вас привезли в Петербург.

— Видите! — вскричал я в изумлении и горестно смотря на Кузьму: — а мне надобно быть в Санктпетербурге.

— И, полноте, все равно, — сказал чиновник торопливо, спеша к другим.

— А побожитесь, что все равно: Петербург и Санктпетербург?

— Где вы остановитесь? — спросил чиновник с досадою и вовсе не думая рассеять мое сомнение.

— У Ивана Ивановича, — отвечал я спокойно, дабы он заметил, что и я на грубость могу отвечать грубостью.

— В какой части, в чьем доме? — уже прикрикнул чиновник.

— У него же в доме и остановимся. Он знакомый моему Ивану Афанасьевичу...

— Где дом его? Мне это нужно знать.

— Так бы вы и сказали, — отвечал я. — Вот записка... вот... где она?.. Кузьма! А где записка об доме? Не у тебя ли она?..

— А вы, видно, потеряли? — отвечал взыскательно Кузьма.

— Не потерял, а изорвал вместе с счетом туляка... помнишь?..

— Эге! Ищите же вчерашнего дня!

— Надоели вы мне здесь с своим... что это, слуга ваш, что ли? — спросил чиновник.

— Нет, это мой лакей, Кузьма, — сказал я.

— Ну, ступайте же себе в город скорее. Таких молодцов скоро все узнают.

— То таки узнают, — сказал я, сел в берлин и въехал в город...

Итак, это город Санктпетербург, что в календаре означен под именем «столица». Я въезжаю в него, как мои сверстники, товарищи, приятели и соседи не знают даже, где и находится этот город, а я не только знаю, вижу его и въезжаю в него. «Каков город?» — будут у меня спрашивать, когда я возвращусь из вояжа. И я принялся осматривать город, чтоб сделать свое замечание.

Не видав никого важнее и учнее, как доmine Галушкинский, я почитал, что он всех людей важнее и учнее; но увидев реверендиссима начальника училища, я увидел, что он цаца, а доmine Галушкинский против него — тыфу! Так и Петербург против прочих городов. Искренно скажу, я подобного от самого Хорола не видал. Вот мое мнение о Петербурге, так и мною уже называемом, когда я узнал, что это все одно.

— Где же вы остановитесь, барин? — спросил извозчик, остановясь среди улицы.

— У Ивана Ивановича, — сказал я покойно, разглядывая в окно берлина чудесные дома по улице.

— Да у какого именно? Здесь их не одна тысяча.

— Ну, когда не знаешь, расспроси: где дом Ивана Ивановича, приятеля моего Ивана Афанасьевича?

— Нет, барин! — сказал извозчик: — уж я спрашивать не пойду от лошадей, а пусть ваш хохол ходит по дворам да узнает. Мне не хочется, чтобы меня дураком сочли, да еще где? В Питере.

Пошел Кузьма, спрашивал всех встречающихся, наведывался по дворам — нет Ивана Ивановича. Все беда от того произошла, что я забыл то место, где его дом, и как его фамилия, а записку всердцах изорвал. Обходил Кузьма несколько улиц; есть дома, и не одного Ивана Ивановича, так все такие Иваны Ивановичи, что не знают ни одного Ивана Афанасьевича. Что тут делать? А уже ночь на дворе.

Извозчик, увидев, что не отыщем скоро, кого нам надобно, сказал, что он нас свезет, куда сам знает.

— Куда же это? — спросил Кузьма. — Может, к какому туляку? — В понятии Кузьмы туляк и плут было все одно: так поразил его случай в Туле.

— Нет, — сказал извозчик, — свезу вас в Лондон.

— Куда нам в этакую даль? — вскричал я, видя, что уже стемнело, и зная по перочинным ножичкам, что подписанный на них Лондон — город чужой и не в нашем государстве: так можно ли пускаться в него к ночи?

— Да нет, барин. Там трактир преотменный, там все господа въезжают, — сказал извозчик и, не слушая моих расспросов, поехал, куда хотел.

Во весь проезд я все рассуждал: «Этих людей не поймешь: у них Санктпетербург и Петербург — все равно; трактир и город Лондон — все едино. Не там ли, может, ножички делают?..»

А Кузьма, идучи пешком возле берлина, заглядывая в окно, все твердил мне:

— Берегитесь, панычу, пуще всего, чтоб в этом городе не попасть в руки туляка.

— Не бойся, Кузьма! Не на таковских напали.

Наконец дотащились мы и до Лондона. Что же? Дом как и всякий другой-прочий. Дали нам комнату; объявили, сколько за нее в сутки, почем обед, ужин, вино и все, и все, даже вода была поставлена в цене.

— Хитрый город! Любит деньги! — сказал я Кузьме.

А он мне отвечал:

— Нешто!

— Наперед объявляют, что ничего даром не дают, а все за деньги, — сказал я. — Хитрый, хитрый город: любит деньги!

Зато же и обед нам подали — объедение! Довольно вам сказать, что я и Кузьма не могли всего съесть. Поневоле лишнее платишь, что много всего.

Отдохнувши хорошенько, я, нарядившись поприличнее, приказал нанять лошадей в мой берлин и поехал осматривать город. Я рассудил, чтобы прежде насмотреться всего, а потом уже, отыскав моего Горба-Маявецкого, приняться за дела. Я приказал найти такого извозчика, который бы знал все улицы и вывозил бы меня по ним. Кузьма стал сзади берлина в новой куртке синего фабричного сукна с большими белыми пуговицами; шаровары белые, из фландского полотна, широкие, и красным кушаком подпоясан. На голове шапка высокая, серая, баранья, с красным верхом; усы длинные, толстые; на голове волосы подстрижены в кружок. Кузьма видел так одетых лакеев у одного помещика близ Переяслава, и ему очень понравилось, почему и себе заказал все такое же. Теперь он в этом наряде трясся за берлином, где сидел я, также разряженный. Я забыл вам сказать, что в то время в наших местах все уже из казацкого перерядились в немецкое, а потому и на мне был немецкий кирпичного цвета кафтан с 24-мя пуговицами; в каждой из них была нарисована красавица, каждая особо прелестна и каждая — чудо красоты. О! Я таки сообразил, что еду в столицу. Разрядясь так щегольски, я поехал, развалиясь в моем берлине. Берлин же мой был отличный и сделан по случаю маменькиного замужества в Батурине по фасону старинного берлина его ясно-вельможности пана гетмана; и отделка была чудесная, с золо-

чеными везде шишечками, коронками и проч., правда, уже потертыми; но видно было, что была вещь. Да вот как, я вам без обиняков скажу: во все время бытности моей в Петербурге я и подобного моему берлину ничего не видал. Не знаю, после моего отъезда, может, и показались, спорить не хочу. Немудрено подражать!

Не могу умолчать, как мгновенно весь город узнал о моем приезде. Или чиновник, записавший приезд мой, оповестил жителей, или видевшие меня въезжающего узнали о моем пребывании — только весь город подвинулся ко мне. Явились перукахеры стричь, чесать меня; предлагали модные парики с буклями, вержетами, прививными косами; цирюльники предлагали свое искусство брить, портные — шить платья; сапожники принесли сапоги; нанесли продажных продуктов: ваксы, мыл разных, духов всяких, шуб, плащей, часов, книг, карандашей, нот и... вот смех!.. вставных зубов, уверяя меня, что эти зубы очень легко вставить и никто не отличит от настоящих; что здесь, в Санктпетербурге, редко у кого собственные зубы, а все ложные, подобно как и волосы на голове... Чудный город! — подумал я, — как его внимательнее рассмотрю, так, может, и много ложного найду... Нечего скрывать: все мастерства, какие были в городе, все явились услужить мне, слыша — так говорили все пришедшие — о моем вкусе, что я знаток в прекрасном и люблю щегольски наряжаться. Откуда они это узнали?

Даже тайные домашние дела мои были в Санктпетербурге более известны, нежели в нашем Хороле. Дома еще мне случилось иногда подать бедному какую-нибудь безделицу. Что же? И это не скрылось в Санктпетербурге. Не успел я, приехавши, расположиться, как явилась вдова пребеднейшая с пятью деточками, мал-мала меньше. В поданном ею письме она пишет: «Высокородный господин! (Вот как должно нас величать!) Узнав о везде прославляемых добродетелях ваших (удивительно, как везде меня знают!), я поспешила прибегнуть к вашему сострадательному сердцу и объяснить свои беды...» Тут и объяснила «всякие несчастья», постигшие ее, бедную, с сироточками... Но я, не дочитав, облегчил ее бедствия: плакав сам, утер слезы ее... И малютки пошли мною довольны...

За нею явилась девушка. В письме своем ко мне (конечно, она давно ожидала меня, потому что письмо было все истерто и довольно засалено) она описывала, что в ней течет кровь высокоблагородная; что один злодей лишил ее всего; что она имеет теперь человека, который, несмотря ни на что, хочет взять ее, но она не имеет ничего, просит меня как особу, известную моими благотворениями во всех концах вселенной (каково? вселенная знает обо мне!), пособить ей, снабдив приданым... И она не раскаялась, что прибегнула ко мне...

Сделав подобных несколько благодеяний прибегавшим ко мне, я не хотел огорчить усердствующих мне мастеровых и других, принесших свои продукты; я хотя и вовсе не нужных мне вещей накупил несколько, кроме парика и зубов, в чем, за имением собственных, не нуждался. Они все предлагали мне еще из своих мебели, но я не мог их удовлетворить, потому что мне оставалось денег очень немного! Надобно было отыскивать Ивана Ивановича и дом его: город я уже осмотрел; теперь пойду пешком и, спрашивая от дома до дома, конечно, найду. Итак, я взял да и пошел в препровождении Кузьмы своего.

Я заметил, что жители Петербурга очень любопытный народ. В первый день, когда я объезжал в своем берлине город, заметил ясно, что их занимал мой экипаж. Все останавливались, смотрели, указывали пальцами на берлин и Кузьму и что-то с жаром говорили. Я утешался их недоумением и с удовольствием наблюдал, как я поразил их моим сосудом, говоря словами доmine Галушкинского. Теперь же хотя и пешком пошел, но удивление встречающихся было не менее вчерашнего. Все останавливались против меня, осматривали меня с ног до головы, старались познакомиться со мною, спрашивали: какой портной шьет на меня?.. Другие желали знать: не в кунсткамеру ли я иду и слугу веду для показу? Я всем им скромно отвечал, что знал, и всех оставлял довольными... Так идучи, вдруг увидел реку, да какую? Чудесную! От изумления остановился и с восторгом глядел на нее.

Через полчаса места, придя несколько в себя, был у меня с Кузьмою, также пораженным удивлением и стоящим разинув рот, следующий разговор:

— Кузьма! — сказал я: — видишь?

— А тож, — отвечал он, не смотря на меня и не сводя глаз с реки.

— Вот река, так так!

— Нешто.

— Может быть, будет против нашей Ворсклы? — сказал я аллегорическим тоном.

— Куда ей!

— Вот бы на ней плотину сделать да мельницу поставить. Дала бы хлеба!

— Пожалуй! А какая это речка? Как ее зовут?

— А кто ее знает!.. Не знаю, голубчику! Пойди расспроси.

И Кузьма пошел; а я даже сел, продолжая рассматривать чудесную реку.

Кузьма возвратился скоро и сказал, что реку зовут «Нева». «Ну, так и есть, — подумал я, — как мне было не догадаться, что ее так зовут. Вот Невский монастырь, а тут Невский проспект

(так называется одна улица); стало быть, река, что подле них течет, от них должна зваться Нёва».

— Пойди, Кузьма, — сказал я ему после часу времени, — пойди, разыскай дом Ивана Ивановича; а я сегодня никуда не пойду, буду рассматривать Нёву: у нас такой речки нет.

Кузьма пошел и часа через четыре — чего только я в это время не передумал! — возвратился и рассказывает, что не отыскал дома. Как я глядь на него — и расхохотался поневоле!.. Вообразите же: вместо прекрасной казацкой шапки, бывшей у него на голове, вижу предрянную безверхую оборванную шляпенку!.. Нахохотавшись, начал его осматривать, гляжу — у него на спине написано мелом: «Это Кузьма, хохол!»

— Кто тебя так отделал? — спросил я у него, нахохотавшись.

— Никто, как приятели, — так рассказывал он. — Только что вошел я вон в ту улицу, как несколько человек и пристали ко мне: «Здравствуй, земляк, здравствуй, Иван!» — говорит один. «Может, Кузьма, а не Иван», — сказал я от досады, что он меня не так зовет. «Так и есть, так и есть! — закричал он же: — я, давно не видавшись с тобою, уж и позабыл». А черт его знает, когда я с ним и виделся. А другой сказал: «Да какой спесивый стал, и не кланяется.» — Да тут же и приподнял мою шапку... Эге! Фить, фить! — посвистал Кузьма и продолжал: — Вот в то же время видно, как он мою шапку приподнял, а другой, схвативши ее, надел на меня эту гадость... а я и не спохватился. Ну, тут они начали меня обнимать один перед одним; после пустили и просили к себе в гости. Чорт их знает только, где они живут; я пошел бы к ним за моею шапкою!.. — При сих словах Кузьма побледнел, как полотно... Он хватился — приятели вытащили у него рожок с табаком, платок и в нем двадцать копеек, что я дал ему на харчи...

Бедный Кузьма не находил слов, как бы сильнее разбранить своих приятелей, так его обобравших! Попросил бы он брата Петруся. Вот уже — хотя я с ним и в ссоре, а скажу правду — мастер был на это! Кузьма ругал их нещадно, вертел в ту сторону, куда они пошли, пребольшие шиши и все не мог утешиться... И от горя пошел домой, проклиная своих приятелей.

«Хитрый город!» — подумал я и продолжал любоваться рекою. Гляжу, подле меня какой-то мужчина, пристойно одетый. Слово за слово, мы познакомились, подружились, говорили о том, о сем; я рассказал ему, кто я, зачем здесь, как отыскиваю дом Ивана Ивановича, не зная какого, и про все ему рассказал. Он, расспрашивая меня, все что-то записывал, а я и не подозревал ничего. Поговоривши очень долго, он советовал мне посмотреть в городе то и се, чего я и не расслушивал порядочно, и что все там найду любопытнее, чем самая река. «Вряд ли!» —

думал я, но соглашался с ним из дружбы. После советовал мне сходить в театр, что я там много найду любопытного для себя, и просил меня приходить сюда в такие-то дни и часы, куда и он будет приходить и будет расспрашивать, что я замечу. С тем и ушел, весьма довольный мною. Я же и не подозревал его ни в чем.

«В театры, — подумал я. — В театрах показывают различные комедии и дают дули (шиши)». А вот с какого побыту я так рассуждал.

В юности моем или чуть ли еще не в отрочестве слышал я от батеньки справедливую повесть, которая была самая истинная. Думаю, что и теперь есть люди, помнящие рассказы стариков; так они не дадут мне солгать, что это было настояще так. Вот как батенька рассказывали.¹ Не стало глуховского пана полковника. Надобно было избрать нового. Кроме других прочих, желали получить полковничество глуховское два магната из первых фамилий по знатности и по богатству. Забыл их фамилии: для различия назову одного Азенко, другого Букенко. Оба хлопотали, оба подбирали себе голоса; а как пришло к выбору, так и выбрали Азенка, а Букенко остался ни в сех, ни в тех. Нечего делать: подавился полковничеством и замолчал... Будто бы. Был весел, на праздниках, по случаю элекции пана полковника, участвовал, и никто бы на него ничего не подумал. Так и ничего, все прошло. Пожалуйте же, что тут выйдет?

Через полгода места в Глухове ярмарка. Купечества съехалось много, и старшины прибыло довольно, даже из других полков. Открылось после, что пан Букенко крепко хлопотал о большом съезде, всех приглашал, а некоторым дал способы приехать. В начале ярмарки объявились приезжие комедианты, по-нынешнему, а тогда их называли «комедчики», и, явсья у его ясновельможности пана полковника глуховского Азенка, испросили дозволение «пустить комедию не однажды или дважды, но и многожды». Пан полковник, народного ради смеха, дозволил и отвел им для игрища большой сарай. Вот комедчики и начали там чинно все устраивать; сделали все, что должно; намостили, где им комедии пускать и где сидеть желающим на эти диковины смотреть. Потом заперлися, никого из любопытствующих более не впускали в комедный дом или сарай, а слышно было, что там стучали, работали под политикою, то есть секретно.

Народ и нужды нет. Полагая, что они готовят там что ни на есть «комедное», оставляли их в покое, дабы не мешать и скорее насладиться зрелищным удовольствием. В городе Глу-

¹ Истинное происшествие, в то время бывшее.

хове все умирало, то есть так только говорится, а надобно разуметь — мучились от нетерпения увидеть скорее представительную потеху.

Как вот и настал игрательный день. На сарай взлез человек с необыкновенным горлом и прокричал во всеуслышание, что в тот день будет знатная комедия; просил приходиться к вечеру и деньги за вход приносить, кажется, по пятаку... По тогдашнему времени это была сумма порядочная. В городе закипела новость, а к вечеру у комедного дома подвинуться не можно было: такое множество собралось народу. Большая часть, или, почитай, и все, не видали вовсе комедий и, как их пускают, понятия не имели; так и простительно было их любопытство.

Батенька, — они в те поры находились в Глухове, — не были охотники вечером сидеть, а рано ложились опочивать; но тут, любопытства ради, поохотились пойти; пошли и насилу влезли за теснотою в дверь; заплатили своего пятака и уселись на скамейке.

Перед сидящими развешано было большое полотнище, из чистых простынь сшитое (так рассказывали батенька), и впереди того горело свечей с десяток. В вырытой нарочно перед полотнищем яме сидели музыканты: кто на скрипке, кто на басу, кто на цимбалах и кто с бубном. Когда собралось много, музыка грянула марш на взятие Дербента, тогда еще довольно свежий. Потом играли казачка, свадебные песни, а более строились. Собравшиеся, наслушавшись музыки, желали скорее потешиться комедным зрелищем.

Как вот полотнище — да прехитро! — так рассказывали батенька — не упало, не спустилось, а поднялось кверху, а как и отчего — никто не мог догадаться... Но хорошо: поднялось себе.

Взору представились деревья с листьями, воткнутые в землю по обеим сторонам, а посредине чисто, гладко и ничего нет. Вот все и смотрят себе.

Как вот и вышел человек совсем не по-комедному одетый, а так просто, якобы казак. Не поклоняясь никому, начал во все стороны рассматривать, присматриваться, глаза щурит, рукою от света закрывается и все разглядывает...

— Чего ты так смотришь? — спросил один из кучи сидящих.

— Смотрю, все ли собрались? — отвечал этот. — Пусть будет, — сказал, почмыхивая.

— Да все, все, давно все собрались. Пускай свои комедии! — закричало несколько голосов: — ноги помлели от сиденья.

— А пан Азенко тут? — спросил казак, все приглядываясь.

— Да тут, тут, давно тут! — кричали голоса.

— А где же вы, ваша ясновельможность? Я что-то вас не рассмотрю, — говорил казак, заслоня свет рукою.

— Да вот я! Вот! — изволили отозваться сами пан полковник, указывая на себя пальцем.

— Так и есть. Это вы, пан полковник! — сказал казак и, подняв руку, сказал прегромко: — нате же вам, пане Азенко, дулю! — и с этим словом протянул к нему руку с сложенным шишом... Переднее полотнище, как некоею нечистою силою, рассказывали батенька, опустилось и скрыло казака с шишом и все прочее зрелище.

Трудно и описать, что в сей момент произошло в комедном доме. Это был неслыханный пассаж! Смех, хохот, крики заглушали гневные слова пана Азенка! Все бывшие тут (как их в Петербурге называют, зрители) встали с своих мест и с шумом толпились у выхода. Его ясновельможность пан Азенко чуть не лопнет от гнева и в бешенстве приказывает своим «сердюкам», заведенным и у него, наподобие как и у наияснейшего пана гетмана, схватить, поймать полковничихульца, дерзнувшего при всякой старшине и посполитстве тыкнуть, почитай, к самому его ясновельможности носу преогромнейшую дулю. Сердюки бросились, но ни того казака и ни одного комедчика даже следа никакого не осталось. Искали, искали, весь город обыскали, всю ярмарку перешарили — нет как нет, и по сей день нет! Как в воду все кануло...

Батенька-покойник, рассказывая, бывало, валяются от смеху, что пан Азенко привсенародно скушал такую большую дулю, а пан Букенко, все это придумавший и распорядивший, потешался крепко своим методом к отмщению за помешательство в выборе его в глуховские полковники.

Поверьте, что все это была истинная правда.

Пожалуйте, к чему же это я начал рассказывать? Да! Это по случаю заключенной мною приязни с неизвестным мне человеком, предлагавшим мне сходить в театры.

«Хорошо, — подумал я, — увижу, что здесь в комедном действии делается. Пойду». И пошел прямо, по расспросу, к театру; а комедного дома, сколько ни спрашивал, никто не указал; здесь так не называется. Это я и в записной книжке отметил у себя.

Хорошо! Вот я и пришел к театру, чтобы узнать, будут ли в тот день пускать комедию? Я думал, что и здесь крикун взлезет на крышу, да и станет кричать. Куда! Петербург город хитрый! Рассчитали, где взять такого горлана, который бы кричал на весь Петербург, который, должно знать, несравненно пространнее Глухова. Вот и умудрились: напечатают листочков, что будет, дескать, комедия, и рассылают по городу. Вот народ и знает и валит на комедию. Таким побытом пришел и я. Вижу, люди покупают билетки... Я в расспрос. Изволите видеть: в театре есть ложи, кресла, места за креслами и еще кое что.

Вот, будь я бестия, если лгу! Я подумал: ложа? Это ложе; как мне, приедем, никому не известному, прийти в театр с тем, чтобы лежать на ложе? Не хочу. Я знаю политику. Кресла? Я и не помню, сидел ли я в жизни на кресле? И как мне сидеть в кресле, когда люди важнее меня берут билетки за креслами. Я и заключил, что это мне приличнее. Была не была — взял билетик и заплатил полтора рубля. Справился с другими покупателями — точно: не обманули в цене, взяли, как и с других, и сдачу верно дали. Любопытствующих около меня пропасть! Все рассматривают, спрашивают. Любопытный народ! Я тут же свел много знакомств с неизвестными мне людьми и был ими очень ласкаем. Рассказы мои их много веселили, и приятели мои не отпускали меня от себя.

Сяк-так, только я и в театре. Тыфу ты пропасть, вежливость какая! Лакей встречает, провожает, место указывает; надобно же вам знать, что я не один гость там был. Слуга всем успевал услужить. Уселся я. Тыфу ты пропасть! Знати, знати! И все общество было отличное! Уж насмотрелся. А тут музыка дерет, да какая? И флейты и скрипки! Да так жарят, что с соседом и не думай говорить! Услаждение чувств, да и полно. Зрение пресыщается: одно то, что светло-пресветло; всех в лицо ясно видишь; а другое — сколько тут особ! О людях и говорить нечего, я их пропускал и не обращал внимания, но все смотрел на почтенных особ. Столько вдруг не увидишь их в нашем Хороле. И то правда, город городу рознь: Хорол и Петербург. Более же всего меня прельщал и пленял прекрасный пол, которого тут были кучи, как стадо какое. И все прекрасны, без исключения, и все прелесть до того, что меня при взгляде на них мороз подирал по коже. Конечно, были на разные вкусы, смотря по комплекциям любующихся ими. «Были корпорации дебелий, были и утонченной», как выражался некогда домине Галушкинский; следственно, для всех было приятно любоваться ими. Уж так, что насладился! Не жаль мне было уже и полутора рублей. Да чего? Скажи он мне про это такое наслаждение и запроси два рубля? Дал бы; каналья, если бы не дал!

Наслушавшись к тому еще и музыки, когда — скажу словами батеньки-покойника — как некоею нечистою силою поднялась кверху бывшая перед нами отличная картина, и взору нашему представилась отдельная комната; когда степенные люди, в ней бывшие, начали между собою разговаривать: я — одно то, что ноги отсидел, а другое — хотел пользоваться благоприятным случаем осмотреть и тех, кто сзади меня, и полюбоваться задним женским полом; я встал и начал любопытно все рассматривать.

Вдруг от задних и боковых моих соседей услышал вежливые приглашения: «Не угодно ли вам сесть?.. Садитесь, пожалуй-

ста!» Я, им откланиваясь, все говорю: «Покорнейше благодарю! Я и здесь насиделся и сюда не пешком пришел... Покорно благодарю: устал сидя, разломил всего». Куда? Они не отстают; все упрашивают садиться, а я знай откланиваюсь и благодарю за честь, а чтоб они яснее слышали о моей учтивости, я во весь голос отказываюсь. Все бывшие тут обратили внимание на мою вежливость. Как вот пробирается чиновник, подумал я, важный, в мундире, и прямо ко мне; и он с предложением, чтобы я садился.

«Что за вежливый город! — подумал я, — как ласкают заезжего! Все принимают участие. Но не на таковского напали! Я им покажу, что и в Хороле политика известна не меньше Петербурга!» И по такому побыву еще больше начал благодарить и сказал паотрез:

— Ей-богу не сяду, а еще больше — при вас...

— Так садись же! Или я тебя вон выведу! — почти закричал вежливый чиновник и с этим словом почти бросил меня на стул. — Когда пришел сюда, должен, как зритель, наблюдать порядок и делать все то, что и прочие «зрители» делают. — И тут же ушел от меня.

«Ага! Так это я теперь зритель? — подумал я, — понимаю теперь. Я должен «зреть» на них и за ними все делать. Хорошо же, это немудрено». И уселся себе преспокойно. Гляжу на всех, что они делают? Ан они «зрят» на особо разговаривающих. Давай и я «зреть»: ведь я зритель.

Вперив свое зрение на разговаривающих, я невольно стал вслушиваться в их разговоры и только лишь понял сюжет их материи и ждал, далее что будут объяснять, как вдруг... Канальская картина некоею нечистою силою опустилась и скрыла все...

— Фить-фить! — невольно просвистал я от изумления... Но видя, что все около меня сидевшие зрители встали, встал и я; они вышли, вышел и я. Они вошли в комнаты с разными напитками, вошел и я. Они начали пить напиток, пил и я... И тотчас узнал, что это вещество изобретения брата Павлуся — пунш, которого я терпеть не мог и в рот, что называется, не брал; а тут, как зритель, должен, наблюдая общий порядок, пить с прочими... зрителями, как назвал их вежливый чиновник; но я рассудил, что, по логическим правилам знаменитого домине Галушкинского, должно уже почитать их не зрителями, понеже они не зрят, а пителями или как-нибудь складнее, понеже они пьют...

Но делать нечего; они выпили — и я выпил; они заплатили, заплатил и я; ни в чем не отставал от порядка. Посмотрите же, что это за хитрый город Петербург? Выпивши, они собираются итти, собираюсь и я и спросил их: куда же нам теперь должно итти?

— Разумеется, в театр, скоро начнут, — сказал один и поспешил.

«Начнут! — подумал я. — Что начнут? — спросил я сам себя. — Конечно, начнут пускать комедию? То было совещание у них между собою, а теперь примутся за дело. Итти же в театр!» Подумал так, да и пошел; взял снова билет, заплатил снова полтора рубля; вошел и сел уже на другое место, указанное мне услужливым лакеем. Поднялась опять картина.

Скука смертельная! Сидят старики и рассказывают молодому человеку чорт знает о чем — о добродетели, самоотвержении и подобном тому вздоре. Молодой человек так и видно, что горячится; того и гляди, что даст им шиш, и — баста! — картина невидимую силою упадет, и нас распустят по домам. Ничего не бывало! Говорят себе да сердятся, но все с вежливостью. А мы скучаем.

Не занимаясь пустыми разговорами, я задумался о своем: о Хороле, о маменьке-покойнице, о кормленной ими птице и тому подобных миновавших радостях, как вдруг ногу мою что-то оттолкнуло... Глядь я — подле меня сидит прекрасный пол... То есть одна, должно быть, особа, а не простая, потому что была корпорации дебелий и с обнаженными привлекательностями, не так, чтобы совсем, а прикрито несколько флеровою косыночкой. Вот как она оттолкнула меня, да и говорит, впрочем, довольно меланхолично:

— Вы истолкали мне все коленки! Чего вы это толкаете?

Тут я только заметил, что, предавшись сладким мечтам, не заметил женской натуры, подле меня сидевшей; свободно соединил мое колено с ее и преаккуратно поталкивал, сам не зная, какой ради причины. Увидя следствие моей задумчивости, я настоятельно начал извиняться и утвердительно доказывал, что я толкал ее без всякого худого намерения.

— Еще бы я позволила вам иметь какие-либо намерения!..

Дальнейшее наше знакомство тут и прекратилось, потому что картина упала перед нами. Все встали, встал и я; все пошли, пошел и я в прежнее место. Но мои соседи по зрительству были люди другой комплекции, нежели прежние: они не пили пуншу, ели яблоки, кои и я ел, обтирались, вышедши из душевой залы, обтирался и я. «В театр, в театр!» — закричали они и побежали. Пошел и я медленно, рассуждая: «Ну, уж этот театр! Буду его помнить!» Купил снова билет и снова заплатил полтора рубля.

Вошедши в залу, сел; смотрю... у меня по соседству нет прекрасного пола, все мужской: не опасно, хоть и толкну кого.

Опять разговоры, только уже не комедчики, а жены и сестры их. «Бабьего болтанья нечего слушать, — подумал я, — тут жди сплетней и ссор. Буду свое думать», — и начал.

Удивительное я тут заметил! В бумажках, коими приглашались гости в театр, запрещалось стучать ногами и палками! Так они что выдумали? Давай хлопать руками в ладоши; да как приударят дружно, так что ваша музыка! Я так и захохот от удовольствия, а они как нарочно дразнят комедчиков да хлопают, и конечно, от досады, что нельзя стучать ногами и палками; даже плачут, да знай плещут. Это меня в комедии только и потешило.

Уже в четвертый раз брал я билет — что делал всегда, как выходил из театра, — четвертый раз платил полтора рубля, что мне очень досадно было, и я не вытерпел, спросил у купчика, продающего билеты:

— Скоро ли вы нас распустите? Долго ли вам мучить нас?

— Это в вашей воле, — сказал он: — отчего же, сударь, вам театр так скучен?

NB. Он счел меня, конечно, за особу, что все величал «сударь».

Я ему объяснил, что мне все три театра, данные в этот вечер, понравились очень, а наиболее музыка и зрелища прекрасного пола; но ежели еще это все продолжится хоть одним театром, то я не буду иметь возможности чем платить. С этого слова, разговорясь покороче, мы стали приятелями, и он мне сказал, что я напрасно брал новые билеты на каждое «действие». NB. Тут он мне рассказал, как что должно называть и как поступать в театре.

«Хитрый, хитрый город!» — подумал я тихонько.

Слово за слово мы разговорились, и очень. Он мне сказал, что он из нашей малороссийской подсолнечной и родом из Переяслава, учился в тех же школах, где и я, и знает очень домине Галушкинского. Слыхал о нашей фамилии и сказал, что счастье мое, что я попался ему в руки, как земляку, а то другие нагрели бы около меня руки.

Когда мы так дружески разговаривали, то там, в театре, музыка гремела ужасно, и прочие, то есть зрители, слушая актерщиков, коих я прежде по незнанию называл «комедчиками», хлопали в ладоши без памяти...

«Хитрый город! Нечего сказать, — думал я. — Нет того, чтобы приезжому все рассказать и объяснить, а тем и удержать его от роскоши платить за билетки на каждый театр. Будь этакий театр у нас, в Хороле, и приехали бы к нам из петербургских мест гости, я все бы им объяснил и не дал бы им излишне тратиться. Хитрый город! Но вперед не одурачите».

В заключение беседы нашей приятель мой, Марко... Вот по отчеству забыл; а чуть ли не Петрович? Ну, бог с ним! Как был, так и был; может, и теперь есть — так он-то советовал мне

ежедневно приходиться в театры: тут-де, кроме что всего насмотришься, да можно многое перенять. Причем дал мне билетик на завтра, сказав, что будет прелестная штука: царица Дидона и опера. Я обещался; с тем и пошел.

Когда, пришедши домой, рассказал все случившееся со мною Кузьме, так он выходил из себя от сердцов — и всех актерчиков и всех зрителей, кроме меня, бранил наповал туляками, братьями, дядьями и даже отцами того хозяина, что нас угощал в Туле.

Я, однакоже, долго не мог уснуть. Все мне мерещился прекрасный пол, бывший со мной в театрах. Фу! Да и красавицы же! Откуда их столько навезено сюда?..

Утро провел я любуюсь рекою и до обеда не сходил с места. Любуюсь и не налюбуюсь! Меня занимала мысль все одна: что если бы эта река да у нас в Хороле? Сколько бы добра из нее можно сделать? Мельницы чудесные, винокурни прелестные! А здесь она впусе течет.

Признаюсь, театры меня занимали, и я пошел туда пораньше. Я уже все знал: вошел бодро и смело, поклонился превежливо на все стороны, к верхним и нижним дамам, зная, что все это были особы. Что же? Поверите ли? — а я будь гунтсват, если лгу! — хоть бы кто-нибудь кивнул мало головою, шаркнул ногою! А чтобы сказать: «Здравствуйте-де, милости, дескать, просим!» — об этом никто и не подумал. Так вот город! Вот та столица! Вот где вся политика должна заключаться! О, посмотрели бы они, уж я не говорю о Хороле, ступайте даже в Кобеляки... Так подумаете — ничего? На сухих вас примут? Нет, батюшка! Там замучат вас ласками и надоедят вам приветствиями, знают ли вас или не знают. Но ведь разница: Петербург и Кобеляки!

Оставя все, я сел негляже ни на что, и по совету вчерашнего приятеля, советовавшего мне ничем не заниматься и ничего не слушать, кроме актерчиков, я так и сделал. Как ни редела музыка, как ни наяривал на преужасном басы какой-то проказник, я и не смотрел на них, и хоть смешно было, мочи нет, глядеть на этого уроды-басы и как проказник в рукавице подзадоривал его реветь, но я отворотился от него в другую сторону и сохранил свою пассиву.

Начался, однакоже, театр. Вот театр, так театр, — я вам скажу! В этот раз я не был олухом, как вчера; я, по совету моего приятеля, смотрел и занимался только тем, за что деньги заплатил, то есть театром; и, правду сказать, было чем заняться и наохотаться.

Это был не просто театр, а история; не умею вам сказать, выдуманная ли или настоящая. Только и выйди к нам на глаза сама Дидона... Фу! Баба отличная, ражая! Да убранство на ней,

прелесть! Эта баба и расскажи всем, при всех, что она любит — как говорится, до положения риз — какого-то Энея: он, конечно бы, и молодец, но не больше, как прудиус, так, живчик; и я подметил, что он... так, а не то чтобы жениться. А напрасно. И я и всякий посоветовал бы ему: одно то, что на ней убранства и богателей столько, что было бы чем век прожить. Так нет же! Надобно-де ему куда-то уехать. Может, была другая сударка, ну, так и извинительно. Надобно же на беду, что в эту бабу, Дидону, не знаю далее, как звали ее, да влюбись... ну, урод! Мурза! Арап! Да как влюбился? Так на нож и лезет! Как он станет расписывать свои лютые страсти тут при всех при нас... я так и ложусь от смеха!.. Не вытерпит никто, так смешно вдавали, то есть комедию пускали, или, как должно говорить, «представляли».

Видите ли, я сперва думал, что это идет по натуре, то есть настоящее, да так и принимал и потужил немного, как Дидона в огонь бросилась. Ну, думаю, пропала душа, чорту баран! Ан не тут-то было! Как кончился пятый театр, тут и закричали: Дидону, Дидону! Чтоб, дескать, вышла напоказ — цела ли, не обгорела ли? Она и выйди как ни в чем не бывало, и уборка не измята.

Тут я и отлил штучку, которая много всех позабавила. Видите ли, вчерашний приятель сказал, что будет театр: Дидона и опера. Вот я и вижу и слышу, что эту бабу зовут Дидоноу, а тут другая при ней, кое-что прощепечет, как канареечка, да и спрячется домой. Я и заключи, что это «опера». А девчоночка — целое канальство: бела, румяна... ну, одним словом, приглянулась мне. Как она выйдет к нам, я сам не свой. Грешное дело и прошлое дело, признаюсь: мне показалось, что она взглянула на меня, да так — bestия! — нравственно, что я никак не выдержал, подмигнул ей, не очень, а так, деликатно, с маленьким приклонцем. Не знаю, заметила ли, но только уже не выходила. Почувствовав позыв и стремительное желание хоть взглянуть на нее, я, когда отпотчевали Дидону сделанием ей чести, отшлепав триумфально в ладоши, я тут, узнав способ выкликать и свой предмет, закричал как обваренный:

— Опера, опера! Выйди ж, опера, хоть на часочек!

Я ведь думал, что имя ей опера, по словам приятеля моего.

Смех, крик, хохот не дали мне усилить еще крику. Все обратились ко мне, обступили, спрашивают, кто я, как я, чего кричал, и обо всем хотели знать. Натурально, мне таиться не в чем было, а особливо, что они так интересно хотят все знать. Я и распустился перед ними и открыл им все, что было на душе и за душою. Без лести скажу: все были в восторге и не наслушались меня; усадили меня некоторые между собою и искренно

подружились со мною. Растолковали мне, что опера не женщина и не девушка, а так, показание одно, вид, — не знаю, как яснее сказать, — и что вот будут сейчас перед нами пускать и оперу.

Ну, да и в самом деле! Как выпустили оперу с мужчинами, с девушками, да какими красотками, да с песнями отличными, при всей гармонии, так я и не знал, где я и что я. А особенно одна!.. Посмотришь, снасть все мужская, а она девка, да еще какая! И вдавала всесветного тирана, раздавателя мук и радостей, каналью Амура, да как живо! да как хитро! Кто смотрит на нее, подумает — она натуральна, ан нет: одета вся, а это так, обманно, подделано под натуру... ну, не умею рассказать и изъяснить, скажу только, что я заливался от хохоту и что чувствовал, выразить не умею.

Новые мои приятели восхищались моим восторгом и не натешились надо мною; расспросили, где я живу и проч.; я все им дружески открывал. С тем и расстались, что они обещали за мною заехать.

— Туляки! — знай твердил мой Кузьма, когда я рассказывал ему, что я видел в тот вечер и что со мною происходило. — Доходитесь по этим комедиям до того, что и есть нечего будет. Скоро ли приедет Иван Афанасьевич и где-то мы его отыщем? Я как рассмотрелся, так этот город не Хорол, а лес; нет ни входу, ни выходу. И людей много, а не можем отыскать дома Ивана Ивановича. Так пока найдем, а вы знай будете ходить по комедиям да по полтора рубля им носить, надолго ли станет? Уже всего у нас денег дня на три; а как сходите завтра, так послезавтра и сядем голодом. — Так высчитывал мне Кузьма, а я ему, наоборот, рассчитывал, сколько я уже имею знакомых; не доведут до нужды и помогут отыскать дом Ивана Ивановича, где квартирует Иван Афанасьевич.

Кузьма же на все только и говорил: «Глядите, так ли кончится?»

Однакоже он нагнал мне было раздумья, и я чуть-чуть не решил отложить проходок в театры, но как вспомнил оперу, то есть уже настоящую, вообразил девуку, что была Амуром; привел на память, как она поет разные штучки и на высшие тоны как взлезет, как задробенчит, так что твои колокола, в которые звонил было брат Павлусь, покойник!

Все это живо вообразивши, я махнул рукою и сказал громко: «Хоть голодом сидеть буду, а театрами буду потешаться». С сими мыслями и уснул сладко.

Что же? Так и вышло. Не успел проснуться, как вчерашние мои театральные знакомые и прибежали за мною, и едва я успел прифрантиться по-своему, как и схватили меня да к себе. Пошли ласки, угощения; все были мною очень довольны, не отходили

от меня, расспрашивали об моих сокровенностях, то есть житейских, и я им все, от самого детства, рассказывал дружески, то есть прямо.

Я и обедал с ними, если можно назвать петербургские обеды обедами. Это не обед, а просто так, ничто, тьфу!, как маменька покойница говаривали и при этом действовали. Вообразите: борщу не спрашивай, потому что никто и понятия не имеет, как составить его. Подадут тебе на тарелке одну разливную ложку супу — ешь и не проси более; не так, как, бывало, в наше время: перед тобою миска, ешь себе молча, сколько душе угодно. Между прочим злом, вошедшим в состав жизни нашей и называемым французским, выпустили они, плуты, еще свой соус. Что же этот за соус? Кушанье, что ли? Совсем напротив: по-нынешнему называется «блюдо». И в самом деле: блюдо-то есть, одно блюдо, да на блюде почитай ничего нет. Пахнет, правда, задорно; но начини получать порцию, так прямо по блюду скребешь и ничего не захватишь. Такими-то обедами петербуржцы потчевают заезжих гостей. Такими обедами лакомили и меня. Что же? Едва существовал, а жить — и не говори. По моему заключению, тот человек живет и наслаждается жизнью, кто услаждает свой вкус и желудок. Еще в юношестве, а чуть ли и не в отрочестве ли еще я сочинил такое рассуждение, и тогда доmine Галушкинский, выслушав, сказал: «Вене, доmine Трушко!» Следственно, мысль моя неоспорима.

Вот на таких-то обедах посидевши я голодным совсем было исчах и решил поддержать силы и здоровье своим произведением. Заказал в этом чудном Лондоне, где я по необходимости квартировал, свои собственные блюда: борщ с молодой индейкою, поросенок в хрену, сладкое, утку с рыжиками, гуся жареного с капустою и вареники. Только вообразите же! Глупый кухарь отказался готовить, что у него таких продуктов нет, а о варениках он и понятия не имел.

— Кузьма! А что? — после долгого осматривания кухаря, стоявшего передо мною, спросил я своего Кузьму.

— Тула, туляки!.. — сказал меланхолично Кузьма, стряхивая посредством щелканья с пальцев табак, понюханый им.

— Да, так! — отвечал я ему после долгого думанья.

Кухарь ушел, а Кузьма, конечно сжался над моим патриотизмом, вызвался накормить меня варениками, сказав:

— Не велика штука! Я и сам их налеплю; был бы достаток.

— За достатком дело не станет, — сказал я и пошел покупать, чего нужно; а Кузьма принялся доставать муки.

Ну, хитрый же город этот Петербург! Пошел я по лавкам вдоль. Так что же? Выбегают, бестии, и почти за полы хватают,

тащат к себе в лавку и кричат: «Пожалуйте, господин приезжий!» NB. Надобно знать, что я известен был всему городу Петербургу и где бы ни являлся, тотчас меня спрашивали, давно ли я из Малороссии? Так вот даже и купчики знали; с полною охотою предлагали свои услуги и, почитая меня богатым, рекомендовали свои товары: тот бархат, атлас, парчи, штофы, материи; другой — ситцы, полотна; оттуда кричат: вот сапоги, шляпы! и то, и се, и все прочее, так что если бы я был богат, как царь Фараон, так тогда бы только мог искупить все предлагаемое мне этим пространным купечеством. Но что же? И тут не без хитростей. Уговорят, убедят, упрелят зайти непременно в лавку, уверяя, что все у них найду; зайдешь, спросишь, чего мне надо... а мне нужно было сыру на вареники... спросишь, так и надуются и «никак нету-с, мы этим не торгуем!» скажет, отворотился и пошел других зазывать.

Ну уж народец! Послушайте далее.

Выморившись порядочно от ходьбы по лавкам, насилу имел удовольствие услышать: «У нас-де продается сыр; сколько вам его угодно?»

— Я и сам не знаю, сколько мне угодно, а отвесь, голубчик, сколько нужно на две персоны для вареников! — сказал я, желая полакомить нашею земельскою пищею верного моего Кузьму.

Купец был так вежлив, что предоставлял мне на волю взять, сколько хочу, и я приказал подать... Что же?.. И теперь смех берет, как вспомню!.. Вообразите, что в этом хитром городе сыр совсем не то, что у нас. Это кусок — просто — мыла! Будь я бестия, если лгу! Мыло, голое мыло — и по зрению, и по вкусу, и по обонянию, и по всем чувствам. Пересмеявшись во внутренности своей, решил взять кусок, чтобы дать и Кузьме понятие о петербургском сыре. Принес к нему, показываю и говорю:

— Кузьма! А что это?..

Он, не думавши, тотчас и решил:

— Мыло. А на что оно нам?

— На вареники, — говорю я аллегорично.

Он стоял долго, выпуча на меня глаза, потом сказал:

— А давно мы стали собаками, чтоб нам есть мыло?

— Отведай! — говорю я.

Он отведал.

— А что? — говорю я.

— Чорт знает что: ни мыло, ни сало! — сказал он решительно.

Долго мы, советовавшись, не придумали, как с этим сыром делать вареники. После того уже узнали, что в Петербурге, где все идет деликатно и манерно, наш настоящий сыр назы-

вается «творог». Но уже нас с Кузьмою не поддели, и мы решились оставаться без вареников. То-то чужая сторона!

Пожалуйте же! Я, кажется, совсем отбился от материи; обращаюсь к своей цели. С этими приятелями и другими, подружившимися со мною, я проводил время преприятно. Каждый раз они водили меня с собою в театры, и там я так привык, как будто дома. Не боялся вовсе чертей, в адском пламени горевших; не любовался и не прельщался актерщицами; я знал, что это не натура, а так, вдают только. Черти такие же люди, как и я; пламя их не жгущее; красота актерщиц не истинная, а так, красками подведено для нравственности мужчинам. Все это узнавши, я до того в театрах бывал бодр и смел, что, заложив руки в боковые карманы моего необходимого платья, прохаживался себе бодро и негляже ни на кого.

Объявили, что будет театр «Коза» и какая-то «Пара». Дай посмотреть и этого дива! Приятели меня привели. Правда, козы не было, но зато и штука была преотменная. Верите ли? Как запюют актерщицы, так даже в ушах звенит. Прелесть! А тут выскочит к нам актерщик, да и станет подлаживать под их; да как стакаются, он и пойдет басовым голосом, а тут музыка режет свое; так я вам скажу: такая гармония на душе и по всем чувствам разольется, что невольно станет клонить ко сну. Невольно чмокаешь и губы утираешь. Да мало ли чудес видел я в этом подлинно комедном доме, что должно называть «театр»! Вдруг сад; не успеешь налюбоваться, глазом мигнуть, уж и дом, а там город, пустыня, море... как это делается — и теперь, хоть сейчас убейте меня, не объясню вам, потому что не понимаю ничего!.. А балеты? Вот высокая прелесть! Это, изволите видеть, танцующие действуют, а действуя танцуют... Но и танцы ничего; а вот плясуньи, танцорки, так это, будь я бестия! сойти с ума. Молодо, ужасно красиво, да как высоко одето, да как живо, вертляво!.. А как скакнет, закружится, поднимет ножку... высокая, самая высокая прелесть!.. Канальи, да и полно! Через силу оставишь театр, придешь домой — плясуньи в глазах; ляжешь — плясуньи тут, и продумаешь всю ночь о высоких прелестях бесподобных плясуньев, которых у нас, в Хороле, и не говори когда-либо увидеть! Куда!

В один театр, только что мои милые со всем усердием расплясались в лесу, я слушаю, восхищаюсь и был готов вздремнуть; везде все тихо, будто и все уснуло; вдруг сзади нас раздался громкий резкий голос: «Панычу, гов!» Все засуетилось, всполошилось; многие вскочили, актерщицы замолкли, музыка смешалась... слышен шум; кого-то тискают, удерживают, а он барахтается и кричит: «Та гетьте, пустите, я за панычем!» Все смотрят туда, и я за ними... глядь! Ан это бедный мой Кузьма попался в истязание!..

Жалость меня взяла; я бросился на выручку моего верного Кузьмы, а его уже подхватили под руки и ведут, не слушая моих уверений, что это мой Кузьма... Куда! Так и исчез в глазах моих!

Уж мне было не до театров и не до актерщиц; пропадай все, жаль одного Кузьмы. Мы с ним двое заезжие были, теперь я один остался, а его, может, запроторят на край света. В таких чувствительных мыслях отправился я домой... глядь! В квартире сидит у меня Иван Афанасьевич, мой поверенный Горб-Маявецкий...

Вот как это случилось, что он меня неумышленно нашел.

Приехавши в этот Петербург, он прямо к Ивану Ивановичу... меня нет и не было. Принялись они разыскивать; стояло в записке, что я въехал, но где остановился, никто из начальствующих не заботился. Меня и без того все знали. Горб-Маявецкий подумал было, что я и совсем пропал, и недоумевал, как без меня начинать дело, потому что некому было отхватывать: «к сему прошению...» Как вдруг попадаетея ему книжечка, да не такая, чтоб книжечка настоящая, а так, чедуха. Изволите видеть: Петербург хитрый город, и люди в нем живут на все руки. Некоторые и примутся за особый промысел. Дело не дело, правда не правда, слышал или выдумал, да все это в строку; напишет, отпечатает в книжечку, да и рассылает по городу и по всему свету. Состряпавши одну, принимается за другую, и так через весь год; а за все это денешки и лупит. Как же надобно, чтоб застоя не было, так он в своих книжечках дует, что зря. Там и любовь всех сортов, и всякая механика, и про пирожное, и про актерщиц, и про сапоги... одним словом, про все, что этому проказнику на мысль придет. Как же не всегда у человека мысли бывают, так он и пустится по улицам; что подметит, а что, ходя, выдумает, да тотчас и в список, что при себе так и носит.

Хитрый город!

В один день этот публичный балагур и прииди к реке; увидя меня, и познакомясь со мною; вот как я рассказывал, да все мои речи, что я тогда, сидя над рекою Невою, ему по дружбе говорил, умные и так, расхожие, все в список, за пазуху, да и домой; а там в свою книжечку, да в печать, хватавши, правду сказать, многое и на душу ради смеха, да и ославь меня по всей подсолнечной. Пошли читать все.

Эта книжечка, какова ни есть, попадись в руки моему Горбу-Маявецкому. Прочитал и узнал меня живьем. Принялся отыскивать; отыскал петербургский Лондон, а меня нет, я люблюсь актерщицами. Он Кузьму за мною призови, дескать, его ко мне. Кузьма отыскал театр, да и вошел в него. Как же уже последний театр был, и на исходе, то никто его и не остано-

вил. Войдя, увидел кучу народу, а в лесу барышни гуляют; он и подумал, что и я там где с ними загулялся. Вот и стал по-своему вызывать.

Недешево достался ему этот вызов! Его потащили и заперли в преисподнюю пока до завтра, а тогда в расспрос. Пошел Кузьма городить околесную! Он говорил дело, да его не понимали. Он правильно отвечал, что приехал из Хорола с панычем с Трофимом с Мироновичем с Халявским; что я ему нужен был и потому он и звал меня. Ему дали *памятное* наставление, чтобы он вперед иначе отыскивал своего господина; а Кузьма, этим не удовлетворившись, начал спорить и доказывать, что когда паныч ему нужен, так он везде пойдет и будет кричать, отыскивая его. Чтобы убедить его, что он ошибается, ему поручили чистить улицы и вечером, не накормивши, прислали его ко мне. Но досталось же и притеснителям его. Куда! Кузьма целый вечер ругательски их ругал и, лежа в своей конурке, все вертел шиши и посылал в ту сторону, где его так поучили. И поделом им! Так напасть на безвинного человека и обругать его!

Радость наша при свидании с Иваном Афанасьевичем была неописанна. Он радовался тому, что отыскал меня; а я радовался, что нашел его. Он боялся за меня, что меня, неопытного, не знающего света, одного в чужих людях, оберут, обманут (NB. Не на таковского напали! Только и обобрали в Туле, да в театре за лишние билетки, да за сапоги, что я купил себе, щегольские, смазные, и подошвы были не пришиты, а приклеены; обобрали еще меня разные парикмахеры, цирюльники и проч.; издержал много денег для вспоможения бедным; но это в счет нейдет. Вот только и лишнего расхода. Куда меня обмануть кому-либо!); я же обрадовался, нашедши Ивана Афанасьевича, потому что у меня не оставалось вовсе денег и на завтра; не только обедать, но и в театры итти не с чем было.

Спасибо ему: он рассчитался за меня с хозяином Лондона и хотя много шумел, что лишнего много было на меня приписано, чего я и не употреблял вовсе, но должен был заплатить и вывез меня в дом к Ивану Ивановичу, приятелю своему.

Прошу же покорно отыскать дом Ивана Ивановича, когда он был очень далеко и в таком глухом месте, что и достигнуть к нему не можно было! Но домик очень порядочный, комнат шесть, и в нашем Хороле он был бы из первых.

Ивану Афанасьевичу ничто не нравилось в моем одеянии и во всей наружности: вследствие чего обшит я был с головы до ног снова. Фу ты, канальство! Что за фронт вышел из меня! Сапоги со скрыпом, фалды у кафтана так и болтаются, в кармане платок белый, чистенький на каждый день, с красными краешками. Все было мило и щегольски. Я не мог налюбоваться собою. Давал мне деньги и на радости жизни, например в театры, на

апельсины и другие лакомства. Сам же он занялся по моему делу, а я обязан был раз пять в день подписывать ненавистное мне («к сему прошению»). Один раз повез меня к судьям, у коих было мое дело, без надобности, а так, для блезиру, напоказ. Каждый из судей заговаривал со мною меланхолично, и при мне говорили, что я жалкий молодой человек, без образования. Не знаю, что они разумели; но я был очень хорошо образован: платье все по последней моде, волосы на голове завиты, взъерошены, распудрены... Какого же образования? Больше я к ним не пожелал ездить, и Иван Афанасьевич не находил в том надобности.

Получивши отличное, щегольское образование и не имевши чем заняться, я не хотел попусту сидеть дома. Притом же возгорелась во мне прежняя мыслишка, чтобы женить себя. Где удобнее это сделать, как не в Петербурге? Женского пола тьма тьмущая, и каждая — красавица, и каждая имеет все необходимое показаться в свете, потому что вечно увидишь их кучи на улицах или гуляющих, или по делам своим идущих. Выберишь только любую. Но я располагал иначе. Выбрать на улице из встречающихся — это никуда не годится, и мне ли, пану Халивскому, так жениться? Хотя, беспристрастно сказать, страстишка велика была как бы ни жениться, да жениться; но я помнил все, чем обязан был роду своему. Я хотел, чтобы моя жена имела тон в обществе, то есть голос звонкий, заглушающий всех так, чтобы из-за нее никто не говорил; имела бы столько рассудка, чтобы могла говорить беспрестанно, хоть целый день (по сему масштабу, — говаривал доmine Галушкинский, — можно измерять количество разума в человеке: глупый человек не может-де много говорить); имела бы вкус во всем, как в вареньи, так и в солении, и знала бы тонкость в обращении с кормленюю птицею; была бы тщательно воспитана и потому была бы величественна как в объеме, так и в округлостях корпорации. Худых не только жен, но и вообще людей худых не люблю, по неоспоримому — все же доmine Галушкинским избретенному — силлогизму: что худо, то и нехорошо.

Положивши на мере, какой комплекции мне нужна жена, я полагал: пусть лучше в меня несколько из них влюбится, и тогда из десятка можно будет избрать для меня симметрическую. На таков конец, раздевшись самым щегольским штилем, я ходил из улицы в улицы... Скажу без лести, многие на меня посматривали, и тут я должен был проходить несколько раз мимо тех же окон, но предмет страсти моей скрывался, а на ее место выходил слуга и без всякой политики говорил, чтобы я перестал глазеть на окна, а шел бы своею дорогою, иначе... ну, чего скрывать петербургскую грубость?.. иначе, — говорит, — вас прогонят палкою. Подумаешь — и это Петербург? У нас в Хороле не так!

Бывал и в таких улицах, где не только на меня смотрели, — кланялись, приглашали к себе. Но... каких только людей в Петербурге нет! Во всех частях хитрый город!

Я все ходил, но к женитьбе не подвинулся нимало; а Иван Афанасьевич покончил все свои дела и выиграл мою тяжбу. Присуждено было принадлежащую мне часть возратить всю сполна, как движимого, так и недвижимого, и уплатить за все годы следующую мне часть дохода. А что, Петрусь? Что, взял? Я теперь, как выражаются у нас, целою губою пан. Роду знатного: предок мой, при каком-то польском короле бывши истопником, мышь, беспокоившую наияснейшего пана круля, ударил халявою, то есть голенищем, и убил ее до смерти, за что тут же пожалован шляхетством, наименован вас-паном Халявским, и в гербовник внесен его герб, представляющий разбитую мышь и сверх нее халяву — голенище — орудие, погубившее ее по неустрашимости моего предка. Итак, прямая, чистая, благородная кровь обращалась в жилах моих; сам собою я был очень недурен, даже хорош; обороты мои и все ухватки щегольские; кланялся значительно, ходил важно и все-таки хорошо. Что небольшого чина, это ничего: хоть мал чин, но заслуженный. А достаток? Тьфу ты, канальство! Достаток такой, что на да поди! Сколько душ, земли, домашней богатели!.. Будь я гунстват, что если бы не выехал так скоро из Петербурга, то, верно, такую бы сударку подхватил, что из-под ручки посмотреть.

Но надобно было оставить Петербург. А что я в нем видел и каким его заметил? Опишу свое мнение.

Санктпетербург город большой, обширный, пространный, многолюдный. Пышный, огромный, великолепный, красивый — все правда; но хитрости в нем на каждом шагу; так там люди заучены. Будто и знакомятся, будто и дружатся с вами, а это с тем, чтоб от вас воспользоваться. Я сам делал так. Пока отыскал своего Горба-Маявецкого и был без денег, то нарочно старался отыскивать побольше приятелей, чтобы они меня звали с собою обедать и в театры водили. Обед совсем не обед, а лишь бы деньги содрать. На театрах нет природы, а все выманки денег: черти не черти, а наряженные люди; будет королева, а смотри — она жена актерщика. Все актерщицы вовсе не красавицы, а так, подправлены. В театр приглашают, прося сделать честь своим посещением, а денежки берут. На них глядя, и многие хозяева домов просят знакомых пожаловать откушать; вот и накормил, да потом как завинтит их в карточки, и обед с лихвою завертится. Прекрасный пол точно прекрасен, даже бывает и *очень* красен от неумеренности в придаче себе красоты или краски. Во все не любовного сложения, на мужской пол никогда не глядят с любезностью: это я на себе испытал. Таких балагуров, как меня в книжечке описал, немало: будто для потехи других

сбывают свои книжечки — пустое! Они за них деньги приобретают; иначе что бы ему за охота ночь и день мучить себя выдумываньем да писаньем. И все так, все так, до последнего. Так вот этот Санктпетербург! Правда, таков был при мне, а я в нем был давно; может, теперь и переменялся, как и все на свете изменяется.

Но каков бы он ни был, а я в нем находился — что формально и доказал Лаврентию Степановичу, нашему-таки соседу. Он было вздумал отвергать, что я-де не был в столице, а это, дескать, я, наслышавшись от других про Неву, про театры, про слона и другие драгоценности, выдаю за виденное самим. Как же я припустил на него! И начал ему доказывать — и все петербургским штилем, каким у нас не могут говорить, — что я именно видел, что за деньги, а что и без денег: мосты, дома, крепости, корабли и все и все. Так он и язык прикусил. Тот же!

Надобно сказать правду, как мне трудно было, приехавши из Хорола, переучивать свой язык на петербургский штиль и говорить все высокопарными словами, коими я описывал выше жизнь мою в столице: так тяжело мне было переучиваться на низкий штиль, возвратясь в Хорол. Вот с этой точки Петербург неизъяснимо хорош. Сколько в нем людей, говорящих по часу без умолку, да так отборно, да так высоко, что не поймешь предмета, о чем он говорит и что хочет сказать. Завидно! А как этакая голова да испишет свои мысли на бумагу да собьет с того книжечку? Ах ты боже мой! Не растался бы с нею, не выпустил бы из рук. Мастерство необыкновенное! Именно чудно. Буквы и слова русские, да прошу толку доискаться? И не говори! Глубина премудрости, да и только. Полюбивши этот метод, я позанился им и довольно-таки успел. Где надобно, при okazji, блеснуть, я и распущу свою философию... слушают голубчики-провинциалы развеса уши и удивляются моему уму; а мне это и не стоит ничего: напорол дичи петербургским штилем и — знай наших!

Пустились мы с Иваном Афанасьевичем в обратный путь; Кузьма сидел со мною, и тут-то он мне порассказал, каков ему показался Петербург! Это чудеса. Я умирал со смеху. Он обо всем судил превратно и иначе, нежели я. Когда проезжали через Тулу, я не забыл его подразнить услужливым хозяином; а Кузьма сердился и ругал его всячески.

Без всяких приключений совершили мы путь, потому что Иван Афанасьевич все распорядил, и благополучно прибыли в свой Хорол. Мой знаменитый родительский берлин безжалостный Горб-Маявецкий променял на веревочные постромки, необходимые в дороге. Лишась покойного экипажа, я всю дорогу трясся в проклятой кибитке и должен был пролежать целую

неделю, пока исправилось все растрясшееся существо мое и поджило избитое во многих местах.

Горб-Маявецкий не отпустил меня от своего дома, пока-де не окончу дела и не приму следующего вам имени. Пожалуй. Мне очень недурно было жить у него. Его дочь, прежде бывшая Анисенька, а ныне ставшая Анисья Ивановна, потому что была девушка уже со всеми формами и в полной комплекции, требуемой для невесты. Она мне после дороги очень приглянулась, и я старался увиваться около нее на петербургский фасон. Анисья Ивановна, заметно было, от того непрочь: но как девица, воспитанная в пансионе, так все действовала с маленькою меланхоличностью и ужимками. Например, когда мы оставались вдвоем и со всею страстью я смотрел ей в глаза, то и она делала мне симметрию и улыбалась так же мне, как и я ей; но я вздохну, а она молчит; я хочу взять ее руку, а она спрячет ее под фартук. Занимаясь с нею долго сиденьем вдвоем и молча, я, ради скуки, предложу ей итти в проходку, она наморщится и скажет: «Это неприлично». Странные суждения были у нее: предпочитала битых два часа сидеть со мною и молчать, а на прогулку не решалась. Может быть, она находила первое великим для себя удовольствием? Я же напротив: я не влюблялся в нее и не был к тому расположен, а так, действовал по натуре и искал нравственности. Но что значит судьба и кто может итти против предела ее? Вот увидите, что тут выйдет.

Горб-Маявецкий, возвращаясь от своих по судам занятий домой, всегда, бывало, подшутит надо мною и скажет: «А наш молодец все около барышни?», то жена его и промолвит: «Это что-то недаром. Уж нет ли чего?» Я же, чтоб показать вежливость и что бывал на свете, шаркну по-петербургски и отпущу словцо прямо, просто, по-дружески: «Помилуйте, это просто без причины, пур пасе летан». Они на такое петербургское приветствие, не поняв его, и замолкнут.

Хорошо. В один день Иван Афанасьевич, возвратясь из судов, начал мне объяснять довольно аллегорически, что и здесь все дела мои кончены и велено мне принять от брата имение.

— Так видите ли, — заключил он, — какую вы мне благодарностью обязаны? Я, один я все вам это обработал.

Тут я начал со всею искренностью и довольно меланхолически благодарить его и показывать ему свою готовность отблагодарить его, чего он пожелает.

— Мне персонально ничего не нужно, — перервал он, — но я отец; мне дорого счастье моей дочери. Она, я вижу, страдает; я боюсь... и должен вам открыть... — Тут он нюхал табак и не находил, что сказать.

Я очень ясно понял, в чем дело, и, полагая, что не его, а дочь должен отдарить за труды, им понесенные, рассудил

подарить Анисье Ивановне золотой перстень, который маменька, очень любя, носили во всю жизнь до самой кончины, и на нем был искусно изображен поющий петух. Полагая, что такой подарок будет приличен, сказал, право, без всякого дурного намерения:

— Мое главное желание устроить ее счастье (разумея перстнем), и если мое счастье такое...

— Право? — воскликнул Горб-Маявецкий: — так обними же меня, любезнейший зять! — и с сим словом обнял меня крепко, производя даже икоту, и, не допуская меня ничего сказать, закричал относительно:

— Анисенька! Иди, обними своего жениха.

Судьба, видно, так устроила, что их Анисенька стояла в это время за дверью, потому что при первом слове нежного родителя она уже и тут, и — скок! — прямо мне на шею, и обвила своими руками, и вскрикнула:

— Твоя навеки!..

Никому бы не поверил, если бы не испытывал сам, что значит сила любви и сила судьбы. Я говорил, что не был влюблен в эту Анисеньку, и скажу без меланхолии, прямо: есть ли она, нет ли — для меня было все равно, и если и допускал ей куры, так чтобы не быть для нее скучным. Причем, как в деле прошлом, фундаментально сознаюсь, что когда обнял меня Иван Афанасьевич и назвал зятем, я хотел объяснить ему все дело и что я вместо своего сердца подношу перстень с петухом и сказал бы, точно сказал бы; но тут кстати слова стихотворца:

Знать судьбины так желали!

и я не сказал ни полслова. А тут Анисенька как прищемила меня своим сердцем к своему сердцу, сделалось столкновение наших сердец, а тут, конечно, явился и незванный раздаватель любовного пламени, сам Купидон, или Амур, и поразил своею пламенною стрелою мое сердце, которое так и запылало! Не думано, не гадано, я очутился страстно влюбленным в Анисеньку, и — будь я бестия! — если не от одного только ее прикосновения!.. Вот кровь моя взволновалась, в глазах зарябело, ничего ясно не вижу, а кого-то целую и не пойму, кто и меня целует... Для меня это была восхитительная минута...

И слова ее в существе своем так, флегматические, но как произнесены были ею со всею силою любви, то отозвались во всех пружинах души моей до того, что и я невольно провозгласил: «Твой навеки! Как я счастлив!..»

— Нет, я счастлива, что вы избрали меня в подруги своей жизни, — так сказала она, приклоняя к моему плечу... О! Она была многому обучена, как окажется после; знала всю иностранную мифологию, оттого и отвечала с такою остротою.

Чтоб показать себя, что я недаром жил в большом свете, я начал шаркать и хотел было отпустить какое-нибудь петербургское «банмо», которых у меня запасено было порядочное количество... но тут открылась новая трогательная картина...

Когда мы упражнялись в открытии родившейся в нас любви и сообщали друг другу сладостные первоначальные объятия, тут явились родители моей Анисеньки, отныне ставшие уже и моими; начали нас благословлять и называть сладкими именами: «сын... дочь... дети... любите друг друга, будьте счастливы!..» Я не мог утерпеть и пролил несколько радостных, скорбных слез! От сильного чувства я отошел в сторону и предался размышлениям. «Кто бы поверил, чтобы я так был счастлив? Насилу нашлась же девушка, которая полюбила меня до того, что без принуждения выходит за меня. Да еще какая девушка?» Тут я начал смотреть на нее глазами страстного любовника и нашел в ней все совсем противное от первых моих на нее воззрений. Все то, что было в ней нехорошо и даже не нравилось мне, совершенно исчезло, и на то место все явилось прелестно. На что ни погляди, как ни осматривай, все восхитительно! Вот какова сила судьбы и сила любви! Кто Трофим Миронович Халявский и кто Анисья Ивановна Горб-Маявская? Восток и Запад. Где был я и где она? На Севере и Юге. А теперь судьба, все это судьба свела и соединила воедино. Судьба, судьба! Кто против тебя?!

После первых восторгов и поздравлений новые родители мои начали устраивать благополучие наше назначением дня соединения судьбин наших в одну; им хотелось очень поспешить, но Иван Афанасьевич сказал, что ближе не можно, как пока утвердился раздел мой с братьями. Нечего было делать, отложили.

Во все это время я был неотступен от Анисеньки. И сколько я открыл в ней достоинств? Тьфу ты мои батюшки! Во-первых, она бегло читала всякую российскую книгу; скоропись — середка на половине, но, протвердивши, уже не запиналась. Играла на клавире несколько штук и подчас на вариации поднималась. Чуть было только выйду к ней, она за музыку и примется; не отвечает мне ничего, а все услаждает меня песенками. В такой степени была любовь ее ко мне! Но когда, с громом музыки, начнет петь, то... о природа! я ничего разительнее не слыхал! До того чувства мои оледенятся, что я нечувствительно усну и сплю крепко близ нее; вселенную забуду! Разбужают уже к обеду; а по обеду опять те же занятия наши. Подумаешь, как сильна любовь в человеческих сердцах!

Странное, однакож, дело. Когда я сижу близ своей Анисеньки, точно как Амур близ Венеры, тут я чувствую всю силу любви, страстный пламень жжет меня, и я сетую на медленность

в совершении нашего брака. Готов был бы в тот же день все покончить. Эти чувства владели мною при ней. Но лишь спускал ее с глаз, чувствовал в себе довольно равнодушие. Даже и не влекло меня к ней никакого внутреннего стремление. Что же? Я забывал даже, что я сговорен и обладаю такою прелестною невестою; но лишь выйду к утру из вежливости, глядь на нее, и как порох вспыхну... к ней — и не отхожу от нее вплоть до вечера. Это, конечно, было во мне борение природы с любовью. Когда я оставлял любовь при Анисеньке и уходил от нее, тогда природа торжествовала; когда же я встречался с Анисенькою, тогда любовь, неотлучная спутница ее прелестей, нападала на меня и прогоняла или усыпляла природу. Другой дефиниции, по методу Галушкинского, я не мог вывести.

Скажу признательно, то есть по совести: брак этот казался мне унижительным для текущей во мне знаменитой крови древнего благородством рода Халявских. Изволите видеть: Иван Афанасьевич был прежде Иванька и по проворству в своих оборотах отдан был помещиком своим Горбуновским (древнего рода) в научение одному ходоку по делам, сиречь поверенному, для приучения к хождению по тяжбыным делам, коих у пана Горбуновского по разным судам была бездна; для хождения по коим хотелось ему иметь своего собственного поверенного, на коем он мог бы взыскать в случае проигрыша какой тяжбы; поелику наемные поверенные часто предавались противникам пана Горбуновского и разоряли его нещадно разнородными требованиями. Иванька Маяченко скоро набил руку в делах до того, что товарищи его по ремеслу боялись состязаться с ним. Тяжбы своего пана Горбуновского размножил он до невероятности. Из каждого процесса, кои десятками считались, он развил по шести, по семи. Столетия нужны для окончания всех их.

При подписании сотен прошений Иванька Маяченко подсушь пану Горбуновскому отпускную себе в роды родов и на вечные времена; а тот, не читав, да и подмахни. Хорошо... Вот Иванька и определись в какую-то канцелярию и выслужил чин и стал уже Иван Маявецкий. Пан Горбуновский за своими процессами этого и не знает, знай подписывает, да вместе и подпиши, что Иван Маявецкий происходит от одного с ним рода благородной крови, в древности именовавшегося Горб, по коему он и пишется Горбуновский; а другая отрасль, от одного Горба происходящая, пишется Горб-Маявецкие, от коих истинно и бесспорно произошел сей «Иван Афанасьевич Горб-Маявецкий» и есть ближайший ему родственник. С такою бумагою Иван Афанасьевич пролез в дипломные дворяне и бросил все тяжбы своего господина.

Пан Горбуновский, узнав все дело досконально, схитрил, зазвал к себе бывшего поверенного, принял его чинно, полю-

бопытовал видеть дипломы, положил их на скамью и на них расположил своего поверенного... да как отчистил!.. что тот насилу встал. Пан Горбуновский прочитал тогда все бумаги, признал и подтвердил правильность их, назвал его своим родственником и чинно отпустил во-свояси. Вот ход дела, по коему Иванька Маяченко сделался из крестьян пана Горбуновского сам Иваном Афанасьевичем Гorb-Маявецким и новым моим родителем.

Такое происхождение меня крепко щекотало, и что бы сказали батенька, если бы от них зависело согласие на мой брак? Ни за что бы не согласились смешать кровь свою с холопскою. А если бы и маменька вздумали дожить до сего времени? Те бы уже и руками и ногами забрыкали, не соглашаясь, чтобы их невестка «была письменная». О маменька, маменька! Встаньте хоть на часок из гроба и рассмотрите дело! Вы увидите, что уже необходимо женскому полу иметь ум. Без того нельзя. Необходимо знать и науки. Нынче они уже не занимаются вашими благодатными предметами, предоставили это своим служанкам-экономкам, а сами... Но что говорить! Их не переучишь на старый лад.

А таким-то побытом, на Анисеньке ли бы я женился или на другой какой, все бы жена была умная и ученая. В наше время неизбежно зло — иметь такую жену.

Все это я соображавши в уме своем, когда был без Анисеньки, следовательно, вне любви моей, крепко морщился от неравенства брака, и иногда подчас приходили разные мыслишки: то написать письмо и изложить все препятствия и причины к моему нехотению; или уехать, не сказавши, куда и зачем; заехать подальше и жить там, пока судьбина с Анисенькою не устроит иначе. Первое средство было для меня тяжело и неудобноисполнимо: я не мог терпеть никакого писанья. Последнего же не мог исполнить, потому что не имел ни копейки денег на дорогу, а без того нельзя. Такие мысли колебали меня в моем одиночестве; но когда я выходил в нашу компанию, Анисенька взглядывала на меня своими чёрными блестящими глазками, я целовал ей на добрый день ручку, вспоминал, что скоро всеми этими драгоценностями буду обладать бесспорно, вся моя меланхолия и пройдет, и я запылаю прежним пламенем. Подумаешь, как любовь сильна и всемогуща! Она не смотрит на неравенство рода, на низость крови; все равняет, заставляет презреть все и искать одних наслаждений своих.

Не всегда мы занимались музыкаю в нашем любовном обращении. Когда наскучит Анисеньке бренчать на клавире, она и пристанет ко мне: «Полноте дремать; поговоримте, как мы будем жить?»

Тут я ободрюсь и пушусь в рассуждения. По всем предметам у нас будет итти ладно; но в одном мы не соглашались тогда,

и даже в супружеской жизни: это дети. Анисенька уверяла, что очень хорошо и должно иметь детей побольше, разных полов, потому-де, что сыновья переженятся, дочери выйдут замуж, семейство будет большое; съедутся, будет весело — игры, пляски и разные потехи. NB. Анисенька была веселой комплекции, любила танцовать и хорошо плясывала. Уж как отожжет «казачок» и все двенадцать фигур как орешек раскусит... О! Она в пансионе воспитывалась. Так вот пожалуйста же, обратимся к нашей материи. Я же, напротив, желал небольшого количества детей: две-три штуки — и баста! Знаю по себе, сколько нас было у батеньки: шум, писк, визг! Куда за всеми присмотреть, приодеть их? А вырастут? Шалости, проказы, своевольства... Не хочу большого числа детей.

Анисенька было и рассердится, а я тут и поддамся; начну аллегорически соглашаться, а тут свое думаю. Поддался ей и помирился. В один день среди таких нежностей она спросила у меня, если так страстно люблю ее, то чем это докажу? Я доказательство любви моей обещал выразить на бумаге и завтра представить ей. Она обрадовалась несказанно, даже поцеловала меня и с гримасою, на петербургский штиль, сказала мне:

— Так папенька и маменька говорят, что нужно меня обеспечить насчет моего вдовства...

Я, занятый моим проспектом, спешил удалиться от нее и не очень взял в толк слова ее, почитая их за влияние нежностей; пошел себе и расположился думать... в чем по времени и успел. А вот что: все уверения, все клятвы, все нежности к живой жене, все можно принять за лесть, за аллегорию, за критику. Нет, голубушка! Умри! Вот тут-то я истощусь в горести, распотешу тебя моим отчаянием! Но как ты будешь уже мертва, следовательно, не увидишь и не узнаешь меры моей горести, так лучше я опишу теперь же, как буду по тебе сходить с ума, сколько волос оборву и как лютому отчаянью предамся. Читай и плачь о будущей моей горести. Так положивши, я приступил к делу: по методу доmine Галушкинского составил мерку на стихи, схватил бумагу, перо и пошея писать!.. У, как я писал! И что ни стих, то все мужской, а там женский; и так все вперемежку, и ни один стих не перешел через мерку; все в обрез. Рифмы же были самые богатейшие: дешевле полтины и не спрашивай. А вот и сюжет.

Начинаю просьбою, чтобы она умерла, и скорее, дабы я мог доказать любовь свою горестью такою, такою скорбью, отчаянием таким и таким, и пошел, пошел, все чем далее, тем все выше тоном, все выше тоном, и наконец дописался до того, что пишу — «умер и сам».

На другое утро торжественно отнес ей свою — как бы назвать по-ученому? — не песнь... ну, эпиграмму. Она прочла

и при первых строчках изменилась в лице, бумагу изодрала, — а у меня и копии не осталось, — побежала к новой моей родительнице; но та, спасибо ей! была женщина умная и с рассудком; она, не захотевши знать, за что мы поссорились, приказала нам помириться и так уладила все дело.

Ставши опять на любовной точке, мы сдружились снова, и тут моя Анисенька сказала, что она ожидала другого доказательства любви моей, а именно: как я-де богат, а она бедная девушка, а в случае моей смерти братья отберут все, а ее, прогнавши, заставят по миру таскаться: так в предупреждение того не худо бы мне укрепить ей часть имения...

Я с радостью тотчас согласился, но все же аллегорически, как и о количестве детей, а думал свое, чем и успел совершенно обратить ее ко мне и поставить на прочном основании.

Новый родитель мой, желая поспешить устройением счастья моего, предварительно оканчивал раздел наш. На таков конец просил предводителя миротворством кончить между нами. Предводитель созвал нас, всех братьев, бывших на ту пору дома, и начал нам говорить все умное и дельное. Какая добрая душа была у него, так и сохрани бог! Самых честнейших правил человек! Начал с того, что нам, родным, не должно ссориться, а разделиться по согласию; а затем и приступил к расписанию жеребьев и предложил нам взять их. Мы вынули жеребьи, и всякий из нас остался доволен своею частью.

Следовало брату Петрусю удовлетворить нас каждого доходами на часть всякого брата, потому что он один пользовался всем, а нам давал иному мало, а иному, как и мне, вовсе ничего. Батюшки! Какая пошла тут резня! Меньшие братья, если бы не при предводителе, на кулаки готовы были выйти! Посмотрите же, что может один благоразумный человек сделать с разгорячившимися. Часа через два насилиу он уломал и Петруся и нас всех подписать бумагу, сколько кому следует получить. На мою долю приходило значительное количество тысяч рублей.

Надобно еще обратиться за несколько времени вперед. Один из ближайших сродственников батенькиных, быв человек отличного от нашего времени ума, много путешествовал по всем пределам Российского государства и что подметит любопытненькое, то и купит. Таким побытом он приобрел довольно количество трубок и табакерок различных сортов, седел, ошейников собачьих, перочинных ножичков, шляп курьезных, пуговиц всяких комплекций и других подобных тому курьезных вещей. На что и для чего? — Кроме его, никто не скажет; но надобно отдать справедливость: все эти вещи были отличной доброты и фасона. Кроме того, он, по комплекции своей, очень любил книги. И каких книг не насобирав он?! Это прелесть!

Теперь таких книг и у разносчиков не отыщешь. Как теперь несколько помню, там были: Похождение Клевеланда, побочного сына Кромвеля; Приключения маркиза Г.; Любовный Вертоград Камбера и Арисены; Бок и Зюльба; Экономический Магазин; Полициона, Храброго Царевича, и Херсона, сына его, и разные многие другие отличных титулов. Да все книги томные, не по одной, а несколько под одним званием; одной какого-то государства истории да какого-то аббата книг по десяти. Да в каком все переплете! Загляденье! Все в кожаном, и листы от краски так слепившиеся, что с трудом и раздерешь.

Вот этот родственник все эти вещи и книги тщательно хранил и уложенных в короба никогда не разворачивал, боясь подвергнуть все это изъяду, и в таком положении умер. Как же был бездетен, то, по мере любви своей, отказал сродственникам по назначению вещи. По особенной аттенции своей к моему батеньке отказал им свое книгохранилище. Когда это все привезено было к батеньке, то они сначала разозлились было очень за такой, по их размышлению, вздор; а походив долго по двору и рассудив со всех сторон, решили принять, сказав: «Может, мои хлопцы — то есть мы, сыновья его — будут глупее меня, не придумают, чем полезнейшим заняться, как только книгами. Спрятать их бережненько». Вот это книгохранилище и запрятали в погреб, где стояли бочки с наливками. Там оно и пробыло до теперешнего момента раздела.

Разделившись всякою рухлядью, у нас дошло и до книг. Как ими делиться, вопрос был нерешимый. Петрусь, как гений ума, тотчас меланхолично предложил: выбрать ему следующее количество книг, по числу всей массы; за ним выбираю я столько же, и так далее, до последнего брата, коему останется остаток. Меньшие братья мои, быв натуральны, за книгами не гонялись и, чтоб показать нравственность старшему брату, тотчас и согласились; но я, я, санктпетербургский жилец, следовательно, почерпнувший и тамошние хитрости, я предложил новый метод делиться книгами, едва ли где до нас бывавший и весьма полезный по своей естественности и который должны принять за образец все братья, разделяющие отцовское книгохранилище. Вот мой метод:

— Брат Петрусь! Вы у нас старший, вы берите первый том; я, по старшинству за вами, возьму второй, за мною берет Сидорушка третий, Офремушка четвертый и Егорушка пятый. Это книги томные. А одиночки и оставшиеся из томных, за недостающим числом братьев, поставить по порядку и брать каждому по книге, начиная с старшего брата.

Метод мой очень понравился предводителю; он от удовольствия так и прыснул и залился смехом и очень похвалил мою

выдумку. Так Петрусь же на стену полез! Кричит, спорит и требует, чтоб интересная книга не была разделяема.

— Покорный слуга! Так это и отдай всего Клевеланда, а самому «тюти»? Нет, любезнейший братец! Книга редкая, интересная, и я хоть частичку ее желаю иметь. Что за нужда: вторая ли, четвертая; без начала ли повесть, без развязки, да Клевеланд — мое, мне по праву наследства принадлежащее. Не уступлю ни за какие предложения.

Так я резал брату Петрусю. И хотя он гений, а я петербур... не знаю, как дописать? — геэ или жеэ? — он с умом, а я с хитростью, я и переспорил его; а меньшие братья шли по ветру: кто громче кричал, они с тем и соглашались. Настоящая маменькина комплекция была у них, а особенно в предмете, не интересующем их; начни же обсчитывать их в рубле, тут вспыхнет батенькина природа, и резаться готовы.

Таким побытом удержав свое право, я из всех отличных книг получил вторые и седьмые томы. Брат Петрусь, пересмотрев свои, как взбегается, что у него не полные сочинения. Меньших братьев тотчас и одурил; предложил им первые томы отличного песенника, сочиненного Михайлом Чулковым, и Российского Феатра, сочинения Веревкина; те по глупости и обменялись на какие-то хозяйственные. Захотел было и меня «надуть», как говаривал доmine Галушкинский. Крепко ему хотелось отжигить доставшиеся мне вторые части: Экономического Магазина, не помню, чьего сочинения, и Мирамонда, сочинения знаменитого и навсегда бессмертного Ф. Эмина. Предлагал мне какую-то архитектуру с рисунками. А на чорта мне она? Я не плотник; а хорошенькое, ради скуки, люблю и сам прочитать. Сколько брат ни бился, сколько ни просил, но я твердо помнил правило, постановленное у нас на случай разделов: чего брату хочется, не уступай ни за какие предложения, ни за какие просьбы; благо имеешь случай причинить досаду тому, кто берет у тебя следующее тебе. Не будь его на свете, тебе не нужно бы и делиться. И я удержал книгу за собою, к немалому увеселению нашего почтенного предводителя, который во все время похвалял как выдумку, так и твердость мою и довольно хохотал.

Оставался еще один спорный пункт. Был один особнячок, десятин двадцать, и на нем лесу строевого двенадцать десятин, и в нем сад из отличных прищеп различных сортов. Батенька-покойник с большим тщанием доставали из Опошни прививок плодовых и сами своими руками щепали и окулировали. Одним словом, сад был чудесный! В саду пасека ульев до двухсот; при нем пруд с рыбою и мельница, дававшая доход. Местечко это нравилось всем нам, и ни один из братьев не соглашался уступить другому ни полступня. Крику и упрекам не было конца.

Бедный предводитель, уговаривая нас, выбился из сил. За меня стоял новый родитель мой, Иван Афанасьевич, и какими-то словами так спутал братьев всех, что те... пик-пик!.. замялись и это место вот-вот досталось бы мне, как брат Петрусь, быв, как я всегда говорил о нем, человек необыкновенного ума и в случае неудачи бросающий одну цель и нападающий на другую, чтоб смешать все, вдруг опрокидывается на моего нового родителя, упрекает его, что он овладел моим рассудком, обобрал меня и принуждает меня, слабого, нерассудливого, жениться на своей дочери, забыв то, что он, Иван Афанасьевич, из подлого происхождения и бывший подданный пана Горбуновского...

Господи! Как же взбесится мой новый родитель! Тотчас запротестовался вначале Петрусе произнести личную ему обиду, а тут и начал упреками, укорами, доказательствами в таких делах, что это прелесть! С грязью его смешал! И пошло, пошло! Кстати тут сказать, что и я вступился за свою обиду. Как-таки публично назвать меня нерассудливым, а будущую жену мою — подлого рода? Мы с ним имели процесс и выиграли его. Стоило нам каждому до пяти сот, а присудили Петруся заплатить новому родителю моему бесчестья два рубля пятьдесят копеек, а против меня быть впредь скромнее. А что, Петрусь? Что, взял? Победа была на нашей стороне. Но это дело особь сторона: рассказана пятилетняя тяжба для блезиру. Обратимся к нашему предмету.

Как ни мучился предводитель с нами, но ничего не успел; а мы, досадуя один на другого и не желая, чтоб кто из нас получил выгоду от того хуторка, решили: лес и сад изрубить, пчел перебить и медом разделиться, плотину уничтожить. Каждый из нас торжествовал и в глаза шикал друг другу: «А что, взял? Воспользовался садочком, медком от пчел? Вот возьмешь!» Предводитель насилу нас разнял и, кончив дело, почти прогнал от себя. На этом мире мы больше перессорились, нежели до того были, и уже никогда не были в ладу, исключая встречающейся надобности одного в другом. Тогда нуждающийся и придет, примирится аллегорически; да как успеет в своем желании, снова зассорится, насмехается, что тот поверил ему, — и пошло попрежнему.

Я очень удивился, когда Петрусь, при предложении удовлетворить меня в неимении дома, предложил мне жить в своем доме. А каков этот дом, так это картина! Каменный, в два этажа, под железом, не бойся ничего. В каждом этаже по двенадцати комнат. Чудо! Это такой дом сварганил брат Петрусь. Необыкновенный ум! Вот он с первого слова дает мне целый этаж, да еще верхний, парадный, отлично изукрашенный, и дает с тем, что каждый из нас есть полный хозяин своего этажа (Петрусь оставил за собою нижний, а мне, как будущему женатому, па-

радный) и имеет полное право по своему вкусу переделывать, ломать и переменять, не спрашивая один у другого ни совета, ни согласия. Хорошо. На том кончили, подписали бумаги и потом все статьи вместо примирения кончили, как я описал. Предводитель даже перекрестился, проводив нас, и потом везде описывал нас весьма невыгодно. Ему извинительно. Он пришел к нам из другой губернии, и это первое встретилось ему казусное дело наше. Потом он прикусил язык. Где дележ, там и ссора. Богатые ссорятся, что есть чем делиться; а бедные ссорятся, что нечем делиться. Это не нами выдуманно.

Еще вот в чем чуден мне предводитель. Слышал я, что он, по сторонам рассказывая о нашем дележе, винил моих батеньку и маменьку, что не заботились о нашем воспитании и не поселили в нас благородных правил. Наше воспитание было всем видимо; своими же детьми не мог похвалиться: сухие и тощие, точно щепки. А правила нам преподавали и пан Кнышевский и домине Галушкинский по всем предметам. Какие же другие правила были бы у нас, кроме благородных, когда мы самые благороднейшие и в нас течет древняя дворянская кровь? Не правилось предводителю то, что мы за свое резались и при лишнем рубле забывали, что дело имеем с родными братьями. Так это, по его правилам, что брату только понравилось, так и уступай ему, а сам довольствуйся его нежными обниманьями? Нет, прошу погодить! Это они вводят такой метод, а будет ли он полезен частно, еще увидим. По моему рассуждению: брат ли он мне, сват, а своего, на нож готов, а не поступлю. Много можно бы об этом наговорить, но нынешние люди не поймут нас. За молчим и обратимся к приятнейшему сюжету.

С окончанием раздела пресекались все препятствия к судьбе моей. Новый родитель мой вывел счет, что стоила поездка в Санкт-Петербург, жизнь там и здесь у него в доме, все расходы по делу, и на все это требовал от меня заемного письма — это primo.¹ Потом, находя необходимым, чтобы моя жена принесла мне отличное приданое, заказал все доставить из Полтавы и из Роменской ярмарки, все же на мой счет. А в заключение тестюшка мой расчислил, сколько придется на часть жене моей, если я умру, из движимого и недвижимого, и на все это поднес мне для подписания бумагу, укрепляющую ей все это заживо при мне. Но нет, новый мой батенька! Я вам не Горб, прежний ваш помещик, с которым вы что хотели, то и делали; я вам не поддамся.

Посмотрев бумаги и разочтя, я увидел, что Анисенька будет для меня очень недешева. За всю сумму, платимую за нее, можно бы купить порядочную деревню, а тут я беру одну только штуку.

¹ Во-первых (ред.).

Сообразивши все это, я начал не соглашаться и деликатно объяснить, что не хочу так дорого платить за жену, которая, если пришлось уже правду сказать, не очень мне-то и нравится (Анисеньки в те поры не было здесь, и потому я был вне любви), и если я соглашался жениться на ней, так это из вежливости, за его участие в делах моих; чувствуя же после поездки в Санкт-Петербург (тут для важности я выговаривал всякое слово особо и выразно) в себе необыкновенные способности, я могу найти жену лучше его дочери, — и все такое я объяснял ему.

Новый, или, лучше сказать, сомнительный, батенька мой сконфузился крепко от моих объяснений чистосердечных, вспотел, утирался и, собравшись с духом, начал — да как? — и грозил судом, исканием бесчестья, вечным процессом: но я, как гора, был тверд и уже начинал было разгорячаться, а избави бог мне разгорячиться! Тут я никого и ничем не уважаю; не слушаю ничего, наговорю такого, что и в душу не полезет; но в отвращение всего этого вдруг, где ни возьмись — Анисенька! Кажется, отец мигнул, чтоб за нею сходили. Она, в легком убранстве, как-то располагающая к любви, вдруг выскочила и сломя голову прямо мне на шею... плутовка! знала силу своих прелестей!.. и ну меня обнимать, прижимать, ласкать, целовать и разными невинными именами называть. «Он подпишет, — то и дело кричит: — он подпишет; он умница, он душенька, он красавчик...» и се и то, все от чистого сердца мне твердит: «Он подпишет!..»

Бух!.. Осыпaeмый ее ласками, нежностями, не возражая ничего, я освободил из ее рук свою и подписал все, что мне ни подложили. И кто бы не подписал даже смертного на себя приговора, если бы побуждала его к тому молоденькая девушка в утреннем платице, полузакрывающем все заветное, охватившая своими ручками, целующая вас... не она, так канальские прелести ее убедят, как и меня. Я ни о чем не думал, ничего не расчислял, а только глядел... Нет! Скажу прямо: велика сила любви над нами смертными!..

Как скоро я подписал все, так все приняло другой вид. Анисенька ушла к себе, а родители принялись распорядиться всем к свадьбе. Со мною были ласковы и обращали все, и даже мои слова, в шутку; что и я, спокойствия ради, подтверждал. Не на стену же мне лезть, когда дело так далеко зашло; я видел, что уже невозможно было разрушить. Почмыхивал иногда сам с собою, но меня прельщали будущие наслаждения!

Не замедлило все устроиться. Приданое все привезли — и что за отличное было! — сшили, уладили все, сложили, назначили день свадьбы и пригласили ровно сорок человек гостей.

Надобно вам сказать, что новая моя родительница была из настоящей дворянской фамилии, но бедной и очень многочислен-

ной. Новый родитель мой женился на ней для поддержания своей амбиции, что у меня-де жена дворянка и много родных, все благородные. Тетушек и дядюшек было несметное множество, а о братьях и сестрах с племянничеством в разных степенях и говорить нечего. Оттого-то столько набралось званых по необходимости.

Как ни заботился мой новый батенька, чтобы ни перед кем из званых не упустить ничего из вежливости, дабы не навлечь себе неприятностей, но не остерегся. Пославши ко всем письма от одного числа, к одной двоюродной племяннице писал уже на завтрашний день. Та, узнав о такой ошибке, прислала к нам с большим упреком, что Иван Афанасьевич и все его глупое семейство уважает троюродных больше, нежели двоюродных, что прислал к ней приглашение после всех; что после этого будь она проклятая дочь, если не только на свадьбу, но и никогда к нам не будет; знать нас не хочет и презирать будет вечно.

Одной тетушкой у меня стало меньше — что делать!

Настал день свадьбы. С вечера еще съехались все гости и гуляли на девичнике без всяких счетов. Анисенька моя была весела, чем и возбуждала любовь мою, отчего и я был в кураже и старался знакомиться с новыми родными; но от множества их путался в именах и называл одного вместо другого. Угощение было всем равное и отличное.

В день же, назначенный для перемены судьбы моей, я разрядился как только можно лучше, по самой последней моде, в Санктпетербурге мне сшитой, и притом добавил чем только мог, чтоб казаться совершенно санктпетербургским франтом. От восхищения собою и от того, что я, наконец, женюсь, и земли не слышал под собою; не оставлял ни одного зеркала, чтобы не полюбоваться собою; беспрестанно оборачивал голову, любуясь мотающимся у меня назади пучком, связанным из толстой моей косы. Прическа волос была на мне отлично устроена перукумахером городничего, в малолетстве учившимся также в Санктпетербурге. Я также любовался стальными пуговицами на кафтане и беспрестанно наводил их на солнце, чтобы отсвечивали на стену. Камзол у меня был вышит разными шелками, да как искусно! Пряжки на ногах и далее блестящие... одним словом, совершенный петиметр!

Когда собрались все гости и уселись чинно, тогда вывели — не Анисеньку уже — а Анисью Ивановну. Тьфу ты батюшки! Что за деликатес! Как пава выплыла.

Убранство на ней было все преизрядное и драгоценное!

«Брильянт!» — воскликнул я сам себе, глядя на нее. В самом деле, было на что посмотреть! Не умею описать, как она была убрана, а знаю, что блеску много было. Я утопал в восхищении, зная, что это все мое и для нее купленное,

Нас благословили и обвенчали, как водится. Один из родных был одет маршалом, украшен цветными перевязями и с преобладающим жезлом, также изукрашенным развевающимися разноцветными лентами. Шесть шаферов, с алыми бантами на руке, исполняли все его препоручения. Эти чиновники предшествовали нам к венцу и от венца.

Должно полагать, что я был очень хорош, когда стоял под венцом. Все тут присутствовавшие девушки смотрели на меня с удовольствием и тихо перешептывались между собою. Нельзя же иначе. Во мне была тьма приятностей.

По совершению моего счастья, когда мы возвратились в дом родителей наших, они встретили нас с хлебом и солью. Хор музыкантов из шести человек гремел на всю улицу. Нас посадили за стол, и все гости сели на указанные им места, по расчету маршала.

Не успели порядочно усесться, как одна из гостей — она была не кровная родственница, а крестная мать моей Анисьи Ивановны; как теперь помню ее имя, Акимья Борисовна — во весь голос спрашивает мою новую маменьку:

— Алена Фоминишна! Когда я крестила у вас Анисью Ивановну, в какой паре я стояла?

— В первой, как же? В первой, — отвечала моя теща.

— А вот эта сударыня? — сказала Акимья Борисовна, указывая на даму, сидящую выше ее.

— Во второй.

— Отчего же это, когда дело дошло до почета, так я ступай на запятки, бог знает к кому? Зачем она у вас выше почтена?..

— Кроме того, что она и кума, хотя и во второй паре, — отвечала теща, — но она жена моего троюродного брата, так потому...

— Так потому? Ни за что в свете не вытерплю такой обиды! — закричала Акимья Борисовна. Глаза ее расплывались, она вскочила со стула, бросила салфетку на стол и продолжала кричать: — Кто-то женился бог знает на ком и для чего, может, нужно было поспешить, а я терпи поругание? Ни за что в свете не останусь... Нога моя у вас не будет... — и хотела выходить.

Как та сударыня, которая сидела выше Акимьи Борисовны, вдруг вскочила да за руку ее и ну кричать:

— Пойдите! Почему я сударыня? Почему я бог знает кто? Почему я спешила замужеством? Докажите! Гости любезные! Прошу прислушать. Я на нее подам прошение. Батюшка Иван Афанасьевич, защитите обиженную у вас в доме. Вы на то хозяин... — та-та, та-та... и пошла схватка!

Обе барыни сцепились между собою и кричали обе вместе. Сколько их хозяин и маршал ни унимали, сколько ни уговари-

вали, но не могли ничего сделать. Они обе уехали от обеда, поклявшись не быть никогда у нас.

Еще двумя тетушками с костей долой.

По уходе их все успокоилось и пошло чинно. Вместе с раздачей горячего начались питья здоровья. Начали с нас, новобрачных. Весело, канальство! Когда маршал стукнет со всей мочи жезлом о пол и прокричит: «Здоровье новобрачных, Трофима Мироновича и Анисьи Ивановны Халявских!» Я вам говорю, восхитительная минута! Если бы молодые люди постигали сладость ее, для этого одного спешили бы жениться.

После наших здоровьев пили здоровья родителей родных, посаженных; потом дядюшек и тетусек родных, двоюродных и далее, за ними шла честь братцам и сестрицам по тому же размеру... как в этом отделении, когда маршал провозгласил: «Здоровье троюродного брата новобрачной Тимофея Сергеевича и супруги его Дарьи Михайловны Гнединских!» и стукнул жезлом, вдруг в середине стола встает одна особа, именно: Марко Маркович Тютюн-Ягелонский, и, обращаясь к хозяевам, говорит:

— Любезнейший дядюшка Иван Афанасьевич и любезнейшая тетенька Алена Фоминишна! Благодарю вас всепокорнейше за хлеб-соль и угощение, а особенно за почет вашего двоюродного племянника. А от дальнейшего угощения прошу великодушно увольнить!

— Как? Почему? — спросили новый мой батенька. — Разве?..

— Честь моя требует выйти от стола, где дан преферанс предо мною троюродному вашему племяннику; а я, кажется, двоюродный...

— Так что ж что двоюродный? — с прикриком сказали батенька. — Но ты холостой человек, а Тимофей Сергеевич женатый; ты еще без чина, а он майор. Посиди, будем пить и твое здоровье.

— В свиной голос? — сказал азартно Тютюн-Ягелонский: — благодарю за честь! Неужели я должен быть, когда во мне вашей супруги кровь, и унижен за то, что у Тимофея Сергеевича пузо в золоте?

Тимофей Сергеевич как майор имел на себе камзол с позументами и был пузаст.

Майор так и вскипел было за честь свою, но вдруг одумался и сказал:

— Но я не баба, чтоб из пустяков портить аппетит. Дообедаю и поговорю с тобою.

— Не беспокойтесь ожидать, — сказал Тютюн-Ягелонский: — я отказываюсь не только от обеда, но и от родства. Нога моя не будет у вас, и не признаю вас дядею за оскорбление моей чести. — С этим словом ушел и он.

Вот и братец один со счета вон.

Полагаю, если бы обед еще продолжался и пили бы вновь здоровья, то все бы родные наши причины почитать себя униженными, рассердились и оставили бы нас одних оканчивать свадебный пир.

Но остальная часть обеда кончена благополучно, и все здоровья, по расписанию, допиты покойно. После обеда пошли пляски. Надобно было видеть меня в польском, как я манерно выступал с своею новобрачною! После нее я сделал честь всем дамам и барышням, проплясал с ними польский, и потом открылись веселые танцы. Тут уже отличилась моя Анисья Ивановна, и какими фигурами она выводила каждую пляску, так это на удивление! Я мог бы и сам пуститься выплясывать, хотя и не учился вовсе, ступить не умел; но мне, бывшему в Санктпетербурге, все сошло бы с рук; если бы и фальшь какая замечена была, не почли бы за фальшь; подумали бы, что так должно выкидывать ногами по-санктпетербургски. И так я все сидел с скромными старичками и занимался разговорами. Я им рассказывал о Санктпетербурге, о тамошних обычаях, что слышно было там во время моего пребывания. Слушающие смотрели на меня с отличным уважением. Да, у нас не просто смотрят на того, кто побывал в столичном городе Санктпетербурге. Зато же и говори — не бойся; наври чего хочешь, всему поверят. Они почитают, что там-то все необыкновенное. Издали так; а побывай, вот как и я побывал, осмотри все с таким примечанием, как и я, так право... ну, лучше замолчу.

Какую же отлил со всеми нами штуку брат Петрусь, так на удивление! Быв ума необыкновенного и духа предприимчивого, вздумал так всех нас обидеть, что никому бы подобное и на мысль не пришло.

Среди развалу нашего веселья, когда молодые танцуют, а степенные люди сидят и угощаются жидкостями, вдруг подают письмо моему новому батеньке. Они, полагая, что есть нечто важное, при всех распечатывают; прочтя несколько раз, бледнеют, комкают письмо, бросаются схватить посланного, но его и духу нет, словно исчез. Оправившись не скоро от своего смущения, потом показали мне это ужасное письмо... и что же? Какой-то Терешка Маяченко, якобы дядя Ивана Афанасьевича, моего нового родителя, пишет к нему и пеняет, что не позвал его, как ближайшего своего родственника, на свадьбу своей доченьки Ониськи и прочее такое.

Ни этого дяди нет на свете, никто и письма не писал; а это брат Петрусь отлил такую штуку, чтобы уязвить моего батеньку и меня. Ему, конечно, досадно было, что я и моложе его, но уже наслаждаюсь брачною жизнью, а он сидит в холостых. Вот он и за насмешки. Почерк его я тотчас узнал и сказал новому

батеньке. Они было взбесились сначала куда как! Письмо приобщить к делу, подать новое на Петруся прошение, просить о бесчестии... но потом и присели, затихли и замолчали, а письмо уничтожили; видно, боялись, что по следствию открылось бы, что Терешка в самом деле ближайший нам родственник...

Затейливый дух Петруся этим не удовольствовался: он еще придумал новое нам огорчение. Утром очень рано на другой день свадьбы, когда я еще в «храме любви», то есть в парадной спальне, покоился на роскошной постели и погружен был в сладкий сон, вдруг услышал я страшный стук в дверь, запертую от нас. Испуганный бросился я к дверям и, не отпирая, спрашивал: кто стучит и зачем?

— Трофим Миронович! — сказал громко грубый голос: — скажите подданной пана Горбуновского, Аниське, что теперь у вас, чтобы скорее поспешила к своему барину на кухню мыть посуду...

Поспешно схватил я верхнее платье, отпер дверь, бросился за дерзким, кликнув людей; но нигде не могли его найти, а сказывали, что у ворот останавливалась тройка и в повозке сидел брат Петрусь. Его великого ума была эта новая мне обида, о которой я не сказал ни батеньке, ни даже моей Анисье Ивановне. Она была в глубоком сне и ничего не слыхала.

Утром, после обыкновенных поклонений родителям, поднесения им от меня подарков, ими же для себя купленных, и приняв от них кучи желаний здоровья, благополучия, многочадия и всего, всего со всею щедростью желаемого, мы приступили обдаривать новых моих родственников. Но как ни заботились, чтобы каждому было приличное и соразмерно степени родства, но не предусмотрели всего и навлекли неприятности.

Майору подарили серебряного газету на камзол. Он, рассмотрев, швырнул его в глаза Анисье Ивановне, сказав: «Нейдет, голубушка, серебра дарить мне на камзол, когда я выслужил золотой». Он был пехотный майор и носил красный камзол с золотыми галунами.

Особливо от женского пола было много упреков: одна сердилась, что подаренная ей материя вовсе будет не к лицу и она будет казаться старше, нежели есть; другая швыряла свой подарок с презрением затем, что дальней родственнице поднесли лучше, нежели ей, ближайшей. Были расчеты и в том, кому прежде и кому после поднесли подарок. Пожилая девушка, обидясь, что ей дарили темного цвета материя, а не светлого, швырнула мне, новому родственнику, и сказала: «Возьмите назад себе: как умрет ваша жена, так покройте ее этою дрянью».

Вот такова-то от всех была благодарность если не за усердие, так за долг наш, исполненный нами весьма неохотно, а в особенности мною, потому что все это накуплено было на мой счет,

Спор, упреки, обидные слова слышимы были от них во все утро, и все эти обиженные родные после обеда (а обедать остались-таки) тотчас и разъехались.

Мы не были этим огорчены, постигая, что они так поступили от аллегории: притворно обижались, чтобы не соблужности политики и не отдаривать нас взаимно. Мы ожидали такого пассажа от них.

Отдохнув немного после свадебного шуму, новые мои родители начали предлагать мне, чтобы я переехал с женою в свою деревню, потому что им-де накладно целую нас семью содержать на своем иждивении. Я поспешил отправиться, чтоб устроить все к нашей жизни, — и, признаться, сильное имел желание дать свадебный бал для всех соседей и для тех гордых некогда девушек, кои за меня не хотели первоначально выйти. Каково им будет глядеть на меня, что я и без них женился! Пусть мучатся!

Фу, какой знатный дом брат Петрусь взбудоражил, так это на удивление! И верхний этаж мой!.. Да какие комнаты, какое убранство!.. Туда пойдешь, там зеркало и кресла; сюда помотришь, тут софы и столы... да чего? Все и везде было аккуратно, и я, как бывший в столице, тотчас заметил, что все по санкт-петербургскому методу. Чрезвычайно меня восхитил дворецкий, сказав, что хотя все эти вещи и убранства барина его Петра Мироновича, но как их некуда снести, то они останутся в моем распоряжении до времени, с тем однакож, чтобы все было в целостности сдано и бесспорно. Я охотно согласился и секретно благодарил брата за такое снисхождение. Где бы я мог достать столько отличных вещей и в такое короткое время?

Осмотрев все в доме, я озаботился рассмотреть и расчислить, буду ли иметь возможность дать желаемый бал? К удовольствию моему, все было в порядке и ни в чем не было недостатка. Птицы и прочей живности, по методу маменьки-покойницы выкормленной, равно и прочего всего было в изобилии; оставалось закупить вин и всего нужного, и я был в состоянии все это сделать: денег хотя издержал много, но брат Петрусь должен мне был более того, и векселек от него лежит у меня за пазухою. Я решился блеснуть. Новый мой батенька зазывали сорок персон, а я катнул на восемьдесят. Знай наших Халявских! Целый вечер, и даже за полночь, я, все от скуки без жены, писал зазывные письма и только к свету уснул.

Что же? В самое то время, когда я находился в приятнейшем положении и, говоря по-ипитическим, божок Морфей осыпал меня маковыми цветами, то есть когда я со всею нежностью спал сладким сном, вдруг разбужен был страшным ревом и гулом!.. От сна мне показалось, что это новая моя родительница шумит со служанками, что я, живши у них, слышал каждое

утро; но нет; прислушавшись, нашел, что все еще грубее и сильнее. Посылаю человека узнать, что это такое? И мне говорят, что это брат Петрусь забавляется, приказав своим псарям трубить во все рога изо всей мочи. Мало того: туда же приведены были собаки, кои подняли ужасный вой.

Я рассердился ужасно и послал Петрусе сказать, чтоб он унялся с своею чортовою музыкою и не мешал бы мне спать.

«Он в своей половине дома может делать, что хочет, а я в своей поступаю по своей воле», — был ответ Петруси — и гул рогов усилился, собаки снова завыли, и прибавилось еще порсканье псарей. Что прикажете делать? Петрусь имел право поступать у себя, как хочет, и я не мог ему запретить. Подумывал пойти к нему и по-братски поискать с ним примирения, но амбиция запрещала мне унижаться и кланяться перед ним. Пусть, думаю, торжествует; будет время, отомщу и я ему.

Я с ним не встречался; но когда, распорядивши все, собирался ехать к своим, то — нечего делать! — послал к нему сказать мой поклон, что я дня через три буду с моею женою, а в следующее воскресенье будет у меня здесь свадебный бал, и что гости уже званы, так чтобы сделал мне братское одолжение, не трубил бы по утрам и ничем бы не беспокоил нас по ночам и во время бала, за что останусь ему вечно благодарным.

К удивлению моему, он поручил мне отвечать деликатно, что во все время, пока проживет здесь любезнейшая его невестушка, он ни ее, ни гостей моих не беспокоит ничем.

Я поехал покойнее и хотя сомневался, чтобы он сдержал слово, но нечем было переменить: гости все званы были прямо в эту деревню, и у меня в виду не было другого места для бала. Положась на честь брата Петруся, я удалял беспокойные мысли.

В доме новых родителей мы скоро уложили свое приданое и отправили в деревню — поверите ли? — на сорока подводах! Конечно, размещено на каждую было всего понемногу, но все же сорок! Все видевшие этот обоз с любопытством спрашивали, что везут, и, узнав, восклицали: «Вот Горб-Маяведкий какой богатый, что столько за одною дочерью дает! Да, видно, и пан Халявский (до женитьбы моей меня, как обыкновенно, называли только панычем, а с того времени целым «паном» величать начали) себе на уме, что такую подхватил!» А того и не знали, что приданое было на мой счет сделано, но суждения их тешили мой гонор и амбицию.

Прибыв в деревню, я располагал всем устройством до последнего: назначал квартиры для ожидаемых гостей, снабжал всем необходимым, в доме также до последнего хлопотал: а моя миленькая Анисья Ивановна, что называется, и пальцем ни до чего не дотронулась. Лежала себе со всею нежностью на роскошной постели, а перед нею девки шили ей новое платье для

балу. Досадно мне было на такое ее равнодушие; но по нежности чувств моих, еще несколько к ней питаемых, извинял ее.

Скажу вам о нашей перемене. С самого дня свадьбы Анисья Ивановна перестала быть ко мне ласкова и не оказывала вовсе нежностей, коих я ожидал и как бы следовало от новобрачной жены. А оттого, как я рассказывал вам про свою комплекцию, что без ее ласк не чувствовал к ней любовного влечения, то теперь, по совершении брака, я заметил, что при ее холодности ко мне и я делался холоднее. Видно, реверендissime Галушкинский как во всем, так и в этом говорил правду. Он риторически доказывал, что божок Амур есть великий шалун и большой мучитель человеческого рода, тешащийся страданиями нас, влюбленных. Возжет обоюдное пламя и, соделав нежно любящихся счастливыми чрез любовь, миг улетает, исторгнув и самые стрелы из пронзенных сердец, и тогда на этих любовников с их любовью — хоть наплевать. Видно и мы стали такими. Посмотрим на последствия.

Ночи мы проводили покойно, то есть со стороны брата Петруся не было ни трубления в рога и никакого шума, как он и обещал; но все же не пришел познакомиться с своею любезнейшею невесткою, как долг от него требовал по респекту к прекрасному полу. Правда, ведь он не был в Санктпетербурге, как, например, хоть бы и я.

Все к балу уже было устроено. Не было уже у нас городского «кухаря», как в оное время, при жизни покойников, моих истинных родителей; повара ученого я у себя не имел, и за собою жена в приданое не привела... Ох, мне это приданое! Придало оно мне много долгу и потом беспокойств — выплачивать его!.. Но не о том речь. И так как простые куховарки, готовившие нам кушанья, не могли скомплектовать нам «званого обеда», или, как называлось это во дни батенькины, «банкета», то я и должен был отыскать известного своим талантом повара. Таковой был у нашего предводителя. Он учился у отличных, по этой части, немцев — и во время открытий наместничеств в нашем крае был при кухне наместника. Славился знающим свое дело и разумеющим кондитерское. Он был приглашен мною; спросил, на сколько персон готовить; договорился в цене и потребовал дать ему во всем волю. При договоре я спросил у него, на сколько перемен он располагает стол? Но он посмеялся над бывшим временем, покритиковал прошедшее, похвалил теперешнее и начал требовать продуктов целые горы.

Вот уже и пятница. К вечеру приехали наши дражайшие родители. Мы их встретили со всею политикою и чванно. Они были нами довольны. Хвалили все. Новый мой батенька поощряли меня прилежнее наблюдать за хозяйством и извлекать большие доходов; а новая моя маменька настаивали, чтобы я не

копил денег и, не жалея их, доставлял бы удовольствия, каких пожелает жена моя, «яко в целом мире единственный друг мой». В таких полезных нам и приятных, в особенности для жены моей, а их дочери, советах и разговорах проведши весь вечер, легли покойно спать.

В субботу мне понадобилось встать поранее и сойти вниз. Я поспеваю на парадную лестницу... и вообразите мое удивление! Не нахожу лестницы: она исчезла... сломана от самого низу до верху, и признака не осталось, чтобы она существовала!.. Не имея времени размышлять, отчего и как это случилось, я побежал на домашнюю лестницу... и, о ужас! и там то же. Ни малейшего признака лестничного!.. Я пришел в неизъяснимый восторг! Как? Я, жена и новые мои родители остались одни в пустом доме, как на необитаемом острове. Мы одни, то есть одни наши персоны были здесь, а все, без изъятия все, в чем и до чего мы могли иметь нужду, все осталось в кладовых и вообще внизу. Как пройти туда? Как сойти вниз? Как добраться куда нам надобно? К вечеру же начнут приезжать гости; как мы их введем без лестниц к себе? Не на веревках же их поднимать вверх и опускать вниз?

После таких запутанных идей и жестокого беспокойства мне пришло на мысль: отчего же это лестниц нет? Не сломал ли кто их? И кто бы это так наштукатурил? Стесняемый и мыслями и всем, я начал сперва ворчать, потом говорить, а далее уже кричать, стуча от гнева сильно ногою.

Не увидел, откуда явился внизу брат Петрусь и отозвался ко мне будто и чистосердечно, с приветствием:

— А, здравствуй, любезный Трушко! (Прилично ли женатого человека называть полуименем? Подите же с ним!) Здравствуй! Здорова ли моя вселюбезнейшая невестушка? Не угодно ли вам, по-родственному, пожаловать ко мне чаю напитокся?

Я, по собственной моей комплекции не подозревая, что он говорит аллегорикою, с признанием отвечал ему, что охотно бы пожаловал я и жена моя, но у нас лестницы ни одной не стало...

— Ничего, братец! — сказал он: — можно прыгнуть. Оно не так высоко, как кажется.

— Хорошо туда; а оттуда как? Ты мне, братец, скажи, где девались наши лестницы?

— Лестницы... — сказал меланхолично, как будто бы спрашивал себе стакан воды испить: — Я приказал их сломать обе.

— На что? — вскрикнул я, уже начиная приходить в азарт.

— Они были мне вовсе не нужны, так я и приказал их сломать. — Сии слова он произносил с великим смехом, что меня еще более оконфузивало.

— Как же вы смели их сломать? Как же мне быть без лестницы? Как мне сойти вниз?

— А мне что до того за дело? Нижний этаж и в нем что ни есть все мое собственное: я властен распоряжаться.

Как сказал он эти слова, у меня дух замер. Точно так. По разделу, при предводителе сделанному, так точно было постановлено. Теперь я все семейно пропал в этом ужасном доме, откуда ни нам сойти, ни к нам никому прийти не можно. А темперамент Петрусин мне совершенно был известен; он ни за что не сжалится над нами, что бы тут с нами ни случилось.

Но, оставляя в стороне всю мою ссору с братом Петрусею и все, что вытерпывал я от теперешней его штуки, скажу аккуратно, что этакий пассаж могла произвести только его голова. Разберите в тонкость, сколько тут необыкновенного ума! Уверю вас, что он и ногою не был в Санктпетербурге, а какова его хитрость, а? Приватно уверю вас, что жилец санктпетербургский, родившийся и выросший в этом хитром городе, едва ли бы выдумал такую интермедию! Это прелесть сколько ума! Конечно, действие злое, но очень хитрое, и при всем том он имел законное право так поступить. Низ, то есть нижний этаж, есть его собственность.

Мою досаду сменила справедливость, а потом, как будто в чужом теле, взял меня смех, видя, в каком жалком положении мы остаемся.

Брат Петрусь продолжал издеваться над моим положением и преспокойно предлагал мне спрыгнуть сверху. Но, оставив его шуточки, я начал опасаться, если не придумаю пичего к нашему исходу, что последует с нами? Как вот явились мой новый батенька, без всякого убранства, и над местом, где была лестница, стали, опустя руки и свеся голову вниз, со всею готовностью посвистать от такого необыкновенного казуса.

Вскоре явился и наш женский пол, осужденный вместе с нами на бедствия. Это были жена моя и маменька ее. Они не могли выговорить ни слова, но плакали тихо, а охали громко!..

Новый мой батенька, кажется, стояли просто, но изобрели решимость. Они с большою запальчивостью начали кричать на брата Петруся, все внизу стоявшего и утешавшегося нашим неописанным мучением.

— Ты изверг... ты убийца... ты умышляешь на жизнь нашу... ты расстраиваешь здоровье наше!.. — Во множестве собравшаяся от бешенства во рту их пена не позволила им объяснить дело в подробности.

А Петрусь префлегматично стоял себе внизу, хохотал и только знал, что на все наши требования и оханья прекрасного пола отвечал: «А мне что за дело?.. Мне все равно... мне нужды нет!..»

Наконец новому моему батеньке, по сродному им благоразумию, которого у них, правду сказать, была куча, пришла, из

сожаления к нам и собственно к себе, счастливая мысль: поддобриться к брату и поддеть его разными хитростями, чтобы дал способ свободно сходить сверху.

Сколько ни подпущал Иван Афанасьевич разных ему лестей, сколько ни упрашивал, как ни сильно доказывал, что он это делает нехорошо, глупо, подло и бесчестно, но Петруся ничем не урезонил; наконец сказал ему:

— Ну, возьми с нас хотя деньги, только устрой сообщение.

Брат Петрусь обрадовался этому — и начался торг. Как, впрочем, ни шумели, как ни настаивали новый мой батенька, чтобы Петрусь что-либо уступил, но не успели ничего, и Петрусь не отступил от своего требования: уничтожить бумагу, по которой он должен мне уплатить несколько тысяч за доходы, им полученные. Дорого, правда, обходилась нам свобода; но я, если бы Петрусь потребовал, я бы и один из хуторов придал ему за свободу.

Что делать? Мы находились в самых стесненных обстоятельствах. Долго споря и ссорясь, решились мы с батенькою разорвать вексель Петрусин; но для этого надо было сделать условия, обеспечивающие нас во всех предметах. Полдень приближался, гости скоро начнут приезжать, а у нас ничего не распоряджено, и мы не только не завтракали, но и горячего не пили. Для уничтожения этих неприятностей мы, бывшие в осаде, объявили осадившему нас Петрусю, что сдаемся на условия, им предложенные, но для приведения всего в ясность нужно Ивану Афанасьевичу слезть вниз и кончить все дело.

Приставили лестницу и по ней, как условлено было, спустили одного Ивана Афанасьевича. Брат Петрусь дал обязательство немедленно уставить лестницу, как и была она, и во все время бала и даже никогда не снимать ее и, одним словом, не причинять нам и гостям нашим никакого беспокойства. Тогда уничтожен был и его вексель.

Лестницы, которые не были разорены, а только разобраны, мигом поставили и уладили, и мы скоро имели удовольствие воспользоваться свободою; но чего нам это стоило? Беспокойство замучило меня, если все не устроится к приезду гостей! Принявшись, однакоже, со всем усердием за распоряжения, я уладил все прежде, нежели начали съезжаться гости.

Никто не отказался от приглашений, и экипажи поминутно въезжали и разводимы были по квартирам, прежде для каждого семейства назначенным. Там они вырядившись вечером собрались к нам и время проводили в приятных разговорах.

Как хозяин, я обязан был заводить разговоры, чтобы не скучали гости. Любимейшею и твердою материею было у меня — вояж мой в Санктпетербург, и я немедленно начинал описывать его от самого дому, чрез каждую станцию, до самой столицы.

О тульском и некоторых других пассажах, постигших меня даже в Санктпетербурге, я умалчивал; зато уже санктпетербургскую жизнь, и в особенности театры, объяснял гостям со всем моим красноречием и все петербургским штилем, примешивая часто модные слова. Признаюсь, весело было моему честолюбию рассыпаться в рассказах того, чего никто из моих гостей не слышал и о чем понятия не имел. Все они слушали меня разинув рты, а некоторые и дремали.

Так удовольствием проведя вечер и поужинав не парадно, расстались до утра. Надобно сказать, что все гости сделали мне честь, пожаловав со всеми деточками малейшими и даже грудными. Кроме гостей, должно было угостить и всех кормилиц, мамушек и нянюшек привезенных детей, прислужниц разных и всякого народа. А сколько было гостиных лошадей? Иные забрали все свои конюшни, привезли даже и заводских жеребцов, под предлогом похвастать ими на таком съезде.

Будет памятью мне мое тщеславие! Эти три дня угощения, конечно, равнялись с трехгодовую жизнью обыкновенного помещика. Но нечего было делать: обычаев нам переменять не должно. А сколько собственно мне было хлопот! Моя возлюбленная супруга не вмешивалась ни во что; все занималась своими нарядами и мало сидела с гостями: посидит, посидит, да и уйдет понежиться, как говорила она, полежать. Она уже начинала чувствовать себя нездоровою. Везде я один хлопотал.

После рассылки по квартирам каждому семейству транспортов чаев и кофеев, гости, разряженные в пух, вовсе не санктпетербургски, а каждая по своему вкусу, собрались на бал.

Не успел окончиться огромный завтрак, как поспел и обед. Убил меня собачий сын, этот выписной повар, своим обедом! Кроме чрезвычайных издержек, послушайте, сколько было мне конфузу.

Когда отворили дверь в столовую, то подлинно пышность и нарядство стола изумили всех. Что правда, то правда. Что хорошо, не потаю и не похуюю. Я на правду — чорт! Представьте себе длинный стол, покрытый чистыми скатертями, уставленный восьмьюдесятью приборами, украшенный карафинами с разноцветными винами, и все в пестроту. Картина чудесная! Но посреди стола... вот штука! была сделана зеленая гора, украшенная разными цветочками, а наверху этой горы чашечка, а из этой чашечки бьет красное вино струею вверх на поларшина. Это удивление, да и полно! Пожалуйте же, это еще не все.

У подножия этой горы посажены были две куколки, мужчина и женщина; он на нее возлагает венок, а она на него возлагает такой же, и обе эти куколки смотрят друг другу в глаза и улыбаются. У ног мужчины был вензель Т. Х., а у ног жен-

щины — А. Х. Мужчина изображал меня, Трофима Халявского, а женщина представляла жену мою, Анисью Халявскую. Сверх же нас, то есть куколок, представляющих нас, чорт его знает как он умудрился невидимо за что укрепить и повесить божка Амура, державшего над нами пылающие сердца. А сказать правду, этот плут, растравивши наши сердца, давно улетел от нас. Но все-таки мысль была богатая и чудесно устроена.

Этого мало. По концам стола стояли две стеклянные банки, завязанные золотою бумагою. Но что в банках было? Прелесть. Вода, правда, и простая, но в этой воде плавало несколько живых разных рыбок. Премило было смотреть на это украшение.

Затем стол был устроен двумя чашами горячего, шестью блюдами с разными холодными, двенадцатью соусниками, шестью разными жаркими и к ним солеными овощами, а в заключение красовалось четыре пирожных. Все это, уставленное симпатически, делало вид превосходный, возбуждающий к еде.

Когда вошли в залу, я просил дорогих гостей, как всех равно для меня милых и почтенных, усаживаться за стол по старшинству лет. «Пусть, — думал я, — считаются между собою сколько угодно, а мое дело сторона. Не окажу преферансу ни свату, ни брату, и претензий не будет на меня». Пошли старички и старушки между собою пересаживаться, а холостые, приношенные мужчины, имеющие еще греховные помышления, склоняющие их к браку, те садились так, середка на половине, к старикам не доходили и от молодых не отставали. Девушки же, так те без зазрения совести бежали на самый конец и старались захватить последние места.

— И выкинул же штучку хозяин! — говорил один гость другому, не видя меня, идущего за ними. — Уж как ловко распорядил.

— Видно, что был в Петербурге, — отвечал ему товарищ его.

— То-то и есть. И сам бы что выдумал, так ничто и в голову нейдет. — Сказав это, они пошли к своим местам; а я, потирая руки от восхищения, чувствовал неизъяснимое наслаждение, видя с таким блеском все устроенное у меня.

Когда же все уселись и музыка, коей было шесть человек, грянула что-то вроде марша, тут я невольно вздохнул и почти громко сказал: «О любезнейшие мои настоящие батенька и маменька! Встаньте из гробов своих! Придите, посмотрите, как ваш сын, Трушко, ваш, маменька, пестунчик, какие пиры задает! Могут ли ваши банкеты сравниться с его балом? У вас была простота, а здесь какое великолепие, пышность... канальство! У вас пищали сурмы и стучали бубны, а у меня гремит хор музыки неумолкаемо: две скрипки, бас, флейта, цимбалы и бубен. Катай! У вас только и знали подавать меда, пива да

наливки; а у меня разливною рекою льются вина таких наименований, что я и выговорить не умею. Знай наших!..» Но тут же и пресекаюсь мой восклицания, и я впал в жесточайшее уныние от постигшего меня позора.

Тысячу раз благодарю натуру, что она не исполняет человеческих желаний. Что бы с меня было, если бы мои настоящие родители, сиречь покойники батенька и маменька, серьезно встали из гробов и пришли на наш пир? Что бы случилось с ними, если бы они увидели, что за таким пышно убранном столом, усеянным по виду отличными яствами, гостям нечего было кушать? О! Если бы они только встали и, от непривычки ходить по нашим лестницам, кое-как взобрались бы в залу, я бы, боюсь вам! тут же их за ручки и повел бы обратно, да и сам с ними лег бы в могилу на вечное время!.. Будь я бестия, если бы не сделал такой штуки! Так-то поддобрехотало мне все, и этот зазывной кухмистра, и эти заморские напитки, и все, таки все.

Вообразите, что происходило! Открыли горячие — о fortuna! Тонко, жидко, и, по словам маменьки-покойницы, «небо видно». Разнесли; некоторым недостало; кто же и получил, не кушают, холодное, как вчера с очага. Холодные — ни се, ни то: все на горчице, на уксусе, а существенного, мяса, не спрашивай! Соусы — нечто вроде мазей; ложкою нечего захватить, и в них обжаренные косточки, кое-откуда собранные. Жаркие — надсырь, и то все застылое. Пирожные бы и порядочные, но как верхние гости брали побольше, то низшим и недостало. Я горел от стыда!

К довершению огорчения, штука, забавлявшая гостей, испортилась. Винная струя иссякла, и делаемое ею увеселение прекратилось. Как же текущее вино струилось по горе и подтекло под куколку, представляющую Анисью Ивановну, отчего приклейка подмокла, и куколка, шатаясь, вдруг... чубурах! повалилась со всех ног и упала неблагоприятно!.. За нею вскоре последовал и прелестный божок по той же причине, и из всех прелестей остался один я, или куколка моего имени, с улыбкою на лице и с венком в руке. Гости, видя сие, производили веселый смех...

В дополнение конфуза по винной части оказались большие злоупотребления. Хорольский винопродавец не мог доставить требуемого мною числа бутылок вин; чего для решился наполнить их всякою бурдою, засмолил и привесил ярлыки с разными надписями: Французское, Рейнское, Лондонское, Петеште — и прочих нелепых наименований нагородил. Я, не зная в винах толку, знай подношу гостям и упрашиваю выкушать по полной. Никто в рот не берет. Наконец уже один из гостей по-дружески шепнул мне, что все вина мои — просто галиматья и их употреблять не может никакая натура.

Я думаю, от самого сотворения мира ни один хозяин при потчевании гостей не испытал подобного поражения! Я оцепенел, как окаменелый мрамор!.. Вдруг подбегает лакей и спрашивает меня, пора ли разрезать жаркие? Я позволяю: но, зная, что это разрезывание долго будет продолжаться, приказываю добавлять соусы. Мне говорят, что уже все подносили. Я принялся ревизовать соусники, которые, после подноса, должны были опять поставиться, как и прочие блюда, на стол, чтобы не портить симпатии; осматривая, дохожу до одного, открываю... и что же?.. В нем сыр, или, говоря по-петербургски, творог, и недоеденные ломти хлеба... Видевшие это гости захохотали, но я чисто по фамильной комплекции, следуя маменькиной натуре, готов был сомлеть, но удержался, имея в первой горячности мысль точно бежать на могилу, вмещающую в себе прах нежнейших моих родителей, и теням их жаловаться на нововведения, осрамившие меня с ног до головы. И я побежал было... но в передней попался мне злодей, выписной кухмистра, наделавший мне столько конфузных ударов. Я чуть, в пылу гнева, чуть не прибил его, но уже бранил громко.

Что же мошенник? Ведь оправдался. Мода требует выставлять все блюда до одного на стол; пока установят, первые простынут; а пока разнесут, остальные застынут. У них, у отличных кухмистров, есть замечание, что из десяти персон один отказывается от блюда, и так, готовя на восемьдесят, он недодавал на восемь персон. Еще есть у них правило: готовить большое количество блюд, но как не выдумаешь полного комплекта соусов, то должно в соусники положить чего попало, лишь бы стоял и не расстраивал порядка.

— Теперь, — прибавил он, — ваша глупая старина, чтобы только обкормить гостей, прошла; теперь требуется только для глаз.

«Вот тебе и нововведения!» — думал я, возвращаясь к столу и почесывая свою фигурную прическу до того, что пудра сыпалась с меня, как с мельника мука.

Сяк-так, с грехом пополам, гости пообедали и, встав, благодарили меня за отличное угощение; но я, зная, что это они делают аллегорически, для одной оригинальности, я такими же учтивствами благодарил их за сделанную мне честь. Не оставил, впрочем, чтоб не открыть некоторым, что все эти погрешности были не от конфуза, но что того требует мода. Многие, разобрав хорошенько и подробно, нашли, что эта мода и правила новых кухмистров чрезвычайно выгодны. Не нужно-де заботиться об изящности стола, а наготовить чего-нибудь попроще и подешевле; все равно — гости не будут ничего кушать. Многие из хозяев решились ввести у себя такое положение; и точно: скоро все переняли эту моду, и человеку с порядочным аппетитом, вот

хоть бы и я, негде было пообедать порядочно. Теперь уже, в это время, этот метод брошен, и с удовольствием вижу, люди вспомнили, что они созданы и живут для того, чтоб есть и пить, и, помня краткость бытия человеческого, спешат насладиться сим благом. Хвала им за исправление беспорядка, введенного нашим средним веком!

Пожалуйте, обратимся к своему предмету. Моя Анисья Ивановна не участвовала со мною ни в угощении, ни разделяла моих огорчений от конфуза: она очень часто, чувствуя различные дурности, выходила из-за стола, прося двух молодых людей поддерживать ее. Впрочем, я замечал, что этот метод ее был хитростный: она возвращалась без всякого повреждения в лице, но все больше и больше «разгардеробливалась» и под конец стола была совершенно полуодета. Только и занималась этими молодыми людьми, а с прочими вела себя негляже ни на кого.

После обеда музыка заревела, и начались пляски и танцы. Молодых людей, за выбелью их по полкам, было мало, а кто и был, так те не умели танцовать, а особливо кондратанцов, кои затеяли барышни, обучавшиеся в пансионах и потому могшие производить их безошибочно. Как же сказал я, что в танцорах был недостаток, то барышни танцевали между собою. Тут опять вышел неловкий пассаж: умеющих прыгать кондратанцы было немного, то прочие и сидели безо всего и только, по обычаю, повертывали пальчиками. Когда же танцующие переплясали все, умеемое ими, то, нечего делать, принялись за «горлицы, метелицы, санжаровки» и другие веселые, живые танцы, на которые смотревши только душа прыгала и дух вертелся вместе с танцующими. До того пляс всех восхитил, что многие, сперва засидевшиеся холостяки, потом женатые степенные, а далее и самые барыни бросились туда же, в кружок, вертеться, прыгать, скакать, что называется, до упаду.

Нарушилось было наше веселье умными изобретениями брата Петруся. Вдруг, среди скоков, раздался громкий звук от рогов, в которые брат приказал трубить внизу. Но некоторые из бывших тут гостей, приятелей его, пошли к нему и убедили его умолкнуть — что он и сделал, к немалому удовольствию общему. Хорошо, что унятие рогов на сей раз не стоило мне ничего. Если бы не приятели его, то я бы должен был итти к нему и купить у него тишину.

Веселье наше продолжалось до времени ужина, и когда стали накрывать стол, то все уселись играть в «фанты». Это тоже — род королей, как бывало и на прежних банкетах, но уже с вариациями. *Ох, болит! сердце* и проч. такие двусмысленности занимали нас очень. Молодежь не унывала, целовались между собою преисправно, все шло по прежнему обычаю, как вдруг гаркнула вестовая пушка — и все бросились к окнам. То

было приготовление к «фейварку». Как быть балу без такой потехи? Загорелись ракетки и полетели вверх. Шипение их, тресканье, хлопанье, а в комнатах крик, визг пугливых из прекрасного пола, хохот, рассказы мужчин делали превосходную гармонию. Одних ракет было пущено с пятьдесят; потом колеса, шутихи, бураки и прочего такого потешного штук до двадцати. Потом вдруг запылал огонь и явился «шлейф» мой и Анисья Ивановны, искусно сплетенный и ярко пылающий!.. Все от восторга захолопало в ладоши, что мне напомнило санктпетербургский театр и миленьких тамошних актерщиц... музыка грянула «много лета», а пушки бухали салют, и нас все поздравляли. Вслед за ним прошены все были к ужину.

Лучше бы этот ужин исчез прежде своего изготовления! Вообразите, вместо горячего подносят гостям чайные чашки... Я думал — чай, кофе, пунш или что подобное, а потому взял меня большой конфуз!.. Но открылось, что это, по новой моде, тот же суп подавали в чайных чашках!.. Я дал кухмистру полную волю дурачиться по моде и, не вмешиваясь, смотрел, как вместо должных блюд подносили какие-то винегреты, сделанные из того и сего, а больше из пустяков; пирожки, жаркое — и чорт знает, на что все это было похоже! Я только сжимал руки, сидя в стороне, и потихоньку приговаривал: «Маменька!.. О маменька!..»

На другой день — терпения моего не стало! Выписного кухмистра взашей, приказал куховаркам своим изготовить обед по старине, и гости покушали у меня все преисправно и разъехались, благодаря со всем чистосердечием, без малейшей аллегорички.

Когда мы остались с моею Анисьею Ивановной, вот возобладала нами скука! Представьте, двое нас только; как говорить не о чем, то мы сидим по углам и молчим, а еще и месяц не прошел после нашего соединения. Она уже в разговорах с знакомыми перестала меня называть по приличию, а придавала мне одно местоимение: он. Каково! Но я, чтобы заставить ее образумиться и удержаться от употребления, даже в глаза, «ты», я из политики всегда называл ее деликатно: «вы». Но ничто не помогало. Она не отвечала даже на мои вопросы.

Не знаю, что бы из такой сладостной жизни нашей произошло, если бы не последовала перемена. Уже мы доживали медовый месяц нашего счастливого супружества, и я, быв в поле, то на гумне, возвращался домой с таким расположением духа, как, во дни оны, подходил с невыучонным стихом к пану Тимофтею Кышпёвскому. Как вдруг посетили нас один за другим те молодые люди, на коих облакачивалась Анисья Ивановна во время делавшейся ей дурности на нашем свадебном бале. Что же? Как рукой сняло. Анисья Ивановна стала веселенькая, губки складывает на улыбочку, часто уходит к себе

для перемены шейных или грудных платочков и все у зеркала фигурился. Даже со мной сделалась ласкова; не употребляла грубого местоимения: «ты» или «он», но всегда с прикраскою нежности и вдобавок междометия, например: «Ах, друг мой!.. Ох, он мне милее всего на свете!..» Признаюсь в слабости моего темперамента! Я, выслушивая все это, таял от восторга и почитал себя счастливейшим из смертных. Скажите, пожалуйста, много ли человеку надобно? Упоенный ожившим счастьем, я не выходил из гостиной, увивался около жены и, почитая, что бывшая мрачность происходила в ней от ее положения... радовался, что по вкусу пришлись ей гости и она вошла в обыкновенные чувства; а потому, питая к ним благодарность за проезд их, я бесперестанно занимал их то любопытным рассказом о жизни моей в столице Санктпетербурге, об актерщиках и танцовщицах, то водил их на гумно или чем-нибудь подобным веселил их. Как друг жена моя, не оставляя местоимений и междометий, прибегла к предлогам:

— Ах, друг мой! Ты сегодня не был в поле! Ох, смотри, купидончик, не расстрой здоровья своего! Поезжай, проездись часочка три... Ох, вы не знаете, — это она говорила во множественном числе к гостям, — вы не знаете, как он мне дорог! Его здоровье только меня и живит. Поезжай же, мой тютинька! — это уже ко мне относилось. А почему я был тютинька, по сей час не знаю! Не сокращенно ли Трофим? Быть может.

Слыша такие нежности, я не только ехать, но согласен бы лететь, как сизокрылый голубок в угодность своей белогрудой голубке; но для политики обратился к пристойности и сказал:

— Как же, душечка (нежнее этого нарицательного я не придумал!), а гости же как?..

— О, мой друг! Гости ничего.

— Мы у вас без церемонии, — сказали оба, опережая один другого словами.

— Когда так, так так, — сказал я, благодаря мысленно, что фортуна послала гостей, отложивших все церемонии. После чего сел себе в свою таратайку и поехал осматривать поля и наблюдать, как сплет хлеб.

Я, сохраняя с своей стороны здоровье, проездил более назначенного времени и при возвращении встречен был женою со всеми искренними ласками и обоими гостями. Они, спасибо им, прожили у нас несколько дней, в кои я поддерживал свое здоровье прогулкою по полям и, возвращаясь, имел удовольствие находить жену всегда веселую, приятную и ласковую ко мне, а не менее также и гостей моих.

Пожили гости, пожили, да и уехали, и хотя обещали часто бывать, но все без них скучно нам было. Жена моя испускала только междометия, а уже местоимений с нежным прилагатель-

ным не употребляла. Как вот моя новая родительница, присылая к нам каждый день то за тем, то за другим, в один день пишет к нам за новость, что к ним, в Хорол, пришел, дескать, квартировать Елецкий полк и у них стало превесело...

ТЬфу ты пропасть! Что за житье мне пошло? Уж не только самые сладкие нарицательные и восхитительные междометия полились рекою, но моя милая Анисья Ивановна не выпустила моей шеи из своих объятий, пока я не согласился переехать в город на месяц... «Только на один месяц!» — так упрашивала она меня. Прошу же прислушать и помнить.

Сам не знаю, как мы скоро уложились и собрались? Не успел я опомниться, как уже обоз отправлен был, как уже наша венская коляска у крыльца, моя милая Анисья Ивановна сидит в ней и торопит меня скорее садиться, да все с ласками, с приглубливанием.

В городе мы наняли квартиру, пристойную фамилии и состоянию нашему. Жена моя не отходила от окошек и все любовалась военными. Как ими и не любоваться! Кроме того, что много было в полку отличных красивых молодцов, разумеется, из их благородий, — наши братья — сержанты, капралы и прочие господа в порядочный счет не идут, — но главное, что все они защитники наши и отечества; как же прекрасному полу не иметь к ним аттенции? Как не отдавать им преферансу? Как не завлекать их в знакомство, дабы они в обществе с прекрасным полом забыли все трудности и неприятности походной жизни?

Так рассуждала жена моя, и я с нею от души был согласен. По ее руководству, бывая в других домах, знакомился с военными и приглашал их к себе.

Сначала пришел один; жена моя прибула ножки в новенькие башмачки. Этот один впоследствии привел другого; жена моя стянула платице. Пришли еще три, жена вздела платочки из приданных, еще не надеванные. За этим и пошло... пошло... Каждый день мы с женою доставляли удовольствия защитникам нашим беседою, в коей я, правда, редко участвовал, быв посылаем женою к соседкам за разными потребностями; но все же гостям нашим, конечно, было приятно у нас, потому что они не оставляли нашего дома.

Скоро очень моя милая Анисья Ивановна с ласками заметила мне, что и среди удовольствий не нужно оставлять хозяйства без присмотра, почему и просила меня поехать в имение, осмотреть все части хозяйства, дожидаться доходов и привезти побольше денег, потому что в городе они очень-де нужны... да как при этом поцеловала!.. канальство!..

Со всем усердием поехал я в деревню, погряз весь в хозяйстве и то и дело что высылал моей Анисье Ивановне деньги. Только лишь извещу, что скоро обрадую ее скорым возвраще-

нием, а н глядь! она шлет новые мне порученности: то к соседке верст за двадцать съездить, то дожждаться, когда выбелится ее заказной холст, или что-нибудь такое, то я и не еду, а все хозяйничаю. Наконец, когда уже срок нашей месячной квартиры начал сближаться, я отправил подводы, чтобы забрать из города мой и ее фураж и прочее все домашнее, и сам отправился, чтобы привезти в деревню мою милую жену и быть с нею неразлучно. Но лишь объявил ей о том, как она и слышать не захотела и объявила мне, что я как хочу, а она не переедет, договорила-де квартиру на год и иначе жить не может, как в городе.

Удивился я крепко, но должен был замолчать и согласиться с нею. Однакоже из любопытства начал примечать, что бы ее так веселило в городе? Примечать, примечать, как вот и не скрылось: у нас от раннего утра до позднего вечера набито офицеров, и она, моя сударыня, между ними и кружится, и вертится, и юлит, и франтит, и смеется, и хохочет...

Ага-а-а-а!..

Офицеры же как подобраны! Молодец в молодца, и молодцы, и красивые, проворны, веселы... и все наголо поручики!..

Я не знаю, зачем эти поручики в армии существуют? Всех бы их либо произвести, либо чины снять, лишь бы истребить этот ненавистный для меня сорт людей. Я не скажу ничего больше, но я их терпеть не могу!..

Еще того мало. Возвратясь один раз из деревни, куда я уже и без посылок жены часто ездил и проживал, жена моя, как-то неумышленно оставшись со мною одна, вдруг сказала мне:

— А я без тебя обновку получила.

— Какую? — спросил я, романически вздохнув.

— Истерику.

— Поздравляю, — сказал я, обрадовавшись чистосердечно, и от удовольствия захотел поцеловать ее руку.

— Ах, как ты глуп! — вскрикнула она, покосясь на меня. — Поздравлять с болезнью! Неужели и до сих пор не знал, что так называется одна из болезней?

— Не знал, душечка, будь я бестия, если знал! Да и от кого же мне знать французские названия болезням? — Тут принялся я расспрашивать, какого свойства и комплекции эта болезнь.

— Вот увидишь! — сказала она меланхолично.

И подлинно увидел!

Скоро начали собираться поручики и окружили ее. Она была весела, игрива и что-то кстати одному из них сказала пресмешное баню. Все захохотали, и я, полный удовольствия от ее остроумия, захохотал, а подошедши к ней близехонько, по праву мужа, хотел поцеловать ее в ручку... Батеньки мои! Вдруг она: ги-ги-ги-ги!.. ну, словно кликуша, и пошла на разных го-

лосах... да чебурах! — на руки одному поручику. Тот не сдержал, да и спустил ее на диван, а она и глазки закрыла да кликала, кликала, а там и замолкла! Поручики же все сбежались, кричат: «воды, воды, уксусу... перья...» и разбежались все. Я преспокойно вынул из кармана бумажку, свернул ее трубкою и остреньким кончиком к носу ей — и вознамерился пощекотать в носу... Она вскочила как встрепанная и, обозрев, видит, что поручиков-голубчиков нет около нее ни одного, напустилась на меня и даже вскрикнула:

— Убирайся со своими глупостями! Не смей мне никогда этого делать.

— Но как же, душечка? — начал я говорить романически, — это у вас наследственный припадок от моей маменьки-покойницы. Они, бывало, часто хотят сомлевать, да и ничего; а как не удержатся, сомлеют наповал, настояще, так батенька-покойник им бумажкою в носу пощекочут — и как рукой снимут...

— Ги-ги-ги! Га-га-га! — и пошли из грамматики все междометия, и ахти, и ахи, и у! и о! и все такое кричала она, пока поручики, как по барабану на тревогу, явились — и ну ей помогать... а она, голубушка, и глазок не может открыть, только все рукой машет на меня и со стоном говорит:

— Прочь... прочь его от меня!.. Он говорит про покойников... Скорее, скорее удалите его от меня!..

Мигом два поручика схватили меня под руки и увели в кабинет и начали, впрочем очень вежливо, убеждать, чтобы я целый день не показывался на глаза дражайшей моей супруге, иначе произведу в ней опять истерику...

Нечего было делать, просидел преспокойно и безвыходно в одной комнате целый день. Хотя скоро имел удовольствие услышать, что она и поручики с нею громко хохочут, но боялся показаться к ней, чтоб не сбить ее с ног еще. Притом не без причины полагал, что, может, и поручики заистеричились от нее...

Что вам далее рассказывать? От появления у нас в доме этой проклятой истерики, которую я называл и «химерикою», потому что она ни с чего, так, всегда почти при моем приближении, нападала на Анисью Ивановну; называл ее и «поруческою болезнью», потому что Анисья Ивановна будет здорова одна, и даже со мною, и говорит и спрашивает что, но лишь нагрянули поручики, моя жена и зачикает и бац! на пол или куда попало! Так вот с появления-то этой модной болезни жизнь моя изменилась совершенно. Для своей супруги я сделался совершенно чужим и даже ненавистным!.. Лишь поручики в дом — я из дому и скитаюсь один. В деревню поеду — скука, и хозяйство надоело; в городе же, — купивши дом, мы, по воле жены, поселились навсегда, — сижу безвыходно в своей комнате, чтоб не причинять истерики жене.

А тут, ни отсюда, ни оттуда, дети кругом осыпали. Сам не знаю, откуда они уже брались! На свободе как-то сосчитал наличных, так ужас! Миронушка, Егорушка, Фомушка, Трофимушка, Пазенька, Настенька, Марфушка и Фенюшка — ну, прошу покорно! Ведь поставила же на своем Анисья Ивановна! Исполнила намерение, положенное еще до замужества ее, и я не переспорил ее.

Ну, и нужды бы нет. Дети и дети, — не на улицу же их выкидывать. Я было хотел, чтобы они все дома росли... куда! Как это можно? Когда этакие болваны будут около меня вертеться, так меня будут почитать сорокалетней старухой... Не хочу их видеть! А не то... ах, ах, ги-ги-ги! — и заистеричала! Надобно знать, что и поручики давно ушли в поход, а эта химерика все осталась при ней. Весела, печальна, заговорили, замолчали... и она, бац! и сомлела. Так, без ничего, сомлевала, и — ох! и теперь у нее такой темперамент. Даже в старости истеричничает.

Нечего делать! Надобно было уважать желание больной жены; не дать же истерике задушить ее. Развез сыновей по разным училищам. А сколько было хлопот при определении их! Подай свидетельства о законном их рождении, о звании, и все, все это должен был достать — и так определил.

Думаете же вы, что я насладился радостями семейной жизни? Ничего не бывало! Мои повесы все до одного, — не знаю только, по ком пошли, — все вдались вглубь наук. Домой неохотно ездили, все над книгами; зато как испытые!

И науки кончивши, не образумились. «Пустите нас отличаться на поле чести или умереть за отечество». Тьфу вы, головорезы! По несколько часов бился с каждым и объяснял им мораль, что человек должен любить жизнь и сбергать ее, и се и то им говорил. В подробности рассказывал им, что я претерпел в военной службе по походам из роты к полковнику... ничто не помогло! Пошли. Правда, нахватили чинов, все их уважают... но это суета сует.

А что женились! Так уж так! Совершенные иностранки — жены их! Слова не скажут без форбье. И детей так ведут. Дитя, дескать, не должно слышать русского слова. Ах вы, мамзели, мамзели! Отнять бы у вас детей; вы их иметь-то недостойны. Увидим впоследствии.

Поверите ли? Отца, мать, богом данных им родителей и богом повеленных чтить и уважать, они вместо нежного нарицательного: «батенька, маменька», иначе не кличут, как «папаша, мамаша!» И точно «кличут» — как собак кличут. Кто их поймет? В критику им я своего старого пуделя прозвал «папаша»; что же? — Эти щенята, то есть внуки мои, не совестятся горланить: «Папаша, папаша!» Отец-дурак — между нами будь

сказано — и откликается: «Чего, дескать, Тиня?» (и это, возьмите в резон, это христианское имя Тимофей, а по-ихнему, чорт знает по-какому — Тиня!). А молокосос и заливается след за дураком!.. И мамаше та же честь бывает; в глаза смеются! По-моему, когда уже допустит мое рождение говорить мне в глаза «ты», так очень легко услышать от него: «ты, папаша, дурак! ты, мамаша, глупа!» И не сердитесь, нежнейшие папаша и мамаша! Настаивал я, правда, во власти моей родоначальника, чтобы эта мелюзга с малых ногтей приучалась уважать родителей; так куда? «Фи! Это по-русски; тошно». Надобно же знать, что и это их «фи!» есть подобно значительно маменьки моей: «тьфу!» Подите же с ними: все изменили!

При ребятишках инспекторов, подобно как при нас был домине Галушкинский, нет, а есть «гувернеры». Оно одно и то же; только те бывали в халатах и киреях, а эти во фраках; те назначали жалованье себе в год единицами рублей, а эти тысячами; те боялись своих хозяев, робели пред ними и за несчастье почитали прогневать их, а эти властвуют в домах, где живут, и требуют исполнения своих прихотей. Польза же от них одна и та же: Галушкинские ничему не учили, не зная сами ничего, а преподавали один бурсацкий язык, а гувернеры не учат ничему за незнанием ничего, а преподают один французский язык. Одно, одно и то же: все иностранный диалект, и польза от обоих одна и та же.

Анисья Ивановна моя, — несмотря ни на что, все-таки «моя», — так она-то хитро поступила, несмотря на то, что в Санктпетербурге не была. Ей очень прискорбно было видеть сыновей наших женившихся; а как пошли у них дети, так тут истерика чуть и не задушила ее. «Как, дескать, я позволю, чтобы у меня были внуки?.. Неужели я допущу, чтобы меня считали старухой? Я умру от истерика, когда услышу, что меня станут величать бабушкой!»

— Не беспокойтесь, маман! — сказала старшая невестка. — Мои дети будут отлично воспитаны: они слова не будут знать по-русски и вас не иначе будут кликать, как «гран-маман»...

— Вздор! — закричала хитрая Анисья Ивановна: — я не позволю себя уронить; я сама придумаю приличное себе наименование.

И в самом деле придумала. Да как хитро! Совершенно по-санктпетербургски: «бушечка!» Каково? Оно и не грубое «бабушка», а еще нежнее самой бабушечки, бабушки и проч. «Бушечка»!.. Подите вы с нею: совершенно в новом вкусе и сходно с теперешнею атмосферою, то есть с понятием обо всем.

Один я остался неперекрещенный. Дедушка — и полно. А кто иначе назовет или осмелится мне тыкнуть, тому я за-

ранее объявил: мое проклятие, исключение из роду Халявских и лишение наследства.

— Последнее только и опасно, — сказал с критикою «Гого», или Гриша, двенадцатилетний внук мой, щенок, явный фармазон! Вот нынешние дети! Каковы будут люди?

Из числа гувернеров есть один: ну, так собаку съел. Я рассказывал уже, кто он и как полезен для второй невестки. Но его надобно послушать, когда он, при чае, за пуншем (он иначе не пьет чаю, как с прибавлением), начнет говорить, так есть чего послушать! И резонно, и наставительно, и для всех нравственно. Например:

— К чему, — он говорил, и говорил отборным, высоким стилем, а я буду передавать по-своему, — к чему молодых людей, детей, птенцов, изнувать ученьем? К чему время, данное им благодетельною природою для узнания жизни и чтобы воспользоваться всеми наслаждениями ее, обращать в скуку, в стеснение, в досаду? Воспитав столько юношей, я на опыте знаю, что все науки для них во время учения непонятны, а в жизни бесполезны, от непонятия их молодости. Оставьте юношу поступать по воле его, следовать всем его желаниям и не удерживайте его от исполнения хотений его. Познав их все в подробности, он пресытится ими, возненавидит их и будет удаляться, словно от пресыщения ботвиньи, составляемой у русских из их глупого квасу. Ум человеческий есть полновластный господин. Он не любит стеснений, принуждений; он имеет некоторые капризы: начнете наполнять его познаниями, он будто принимает их и сохраняет, но разом выкинет все переданное ему так, что и с свечою и лоскутков не найдешь. Дайте ему волю; пусть покоится, нежится, бездействует; но как он есть «ум», то в случае надобности он просыпается, принимается действовать и производить то, чего учившийся всему не в состоянии произвести и в десять лет.

«Правда твоя, мусье!» — восклицал я тогда внутренно, слушая его, и теперь говорю: правда! Ну что из того, что мой ум с самого детства всеми науками наполняли и пан Книшевский и доmine Галушкинский? Пожалуй, мой ум и притворился, что все постигнул: и быстрый разбор словотитл, и латинские вокабулы, и синтаксис, и Пифагорову таблицу умножения; но как только я возмужал, так мой ум, раскапризившись, все и выкинул из себя. Подите же теперь! Лишь только понадобится что нужненькое к моему уму, он тут и проснулся и действует. Сколько было периодов в моей жизни, где если бы ум во мне не действовал, так чего бы я не набедокурил сам по себе? И теперь спасибо уму моему: вот и описал жизнь мою все по его милости. Куда бы мне самому отделать двести страниц? Нужен мне расчет экономический: что мне в арифметике, которой мой ум и знать

не захотел. Мы с ним запремся вдвоем, нарежем бумажек, раскладываем, рассчитываем и так верно все приведем, что люли!

Нет, губернёр резонно говорил. Его метод очень нравится нынешним молодым людям.

Другое он говорил: «К чему служить в какой бы то ни было службе? Мало ли в России этих баранов-мужиков? Ну, пусть несут свои головы на смерть, пусть рожются в бумагах и обливаются чернилами. Но наследникам богатых имений это предосудительно! Как ставить себя на одной доске с простолюдином, с ничтожным от бедности дворянином? Ему предстоит высшие чины, значительные должности. Несведущ будет в делах? Возьми бедного, знающего все, плати ему деньги, а сам получай награды без всякого беспокойства».

Правда, правда, тысячу раз правда твоя, господин мусье! Ну что было бы из меня, если бы я продолжал военную службу? Мучился бы, изнемогал, а все бы не дошел выше господина капрала. Теперь же — даже губернатором могу быть! Состояние у меня отличное, могу найти двух-трех с большими познаниями людей, буду им платить щедро и служил бы отлично. Подите же вы с теперешнею молодежью! И слышать не хотят. Все бы им самим служить, не как предки наши... Портится свет!

Еще мусье говорит: «Уважение к заслугам, чинам, достоинствам, а в особенности к старости — вздор, ни с чем не сообразно, не должно быть терпимо даже. Каждый должен себя ценить выше всего и смотреть на всех как на нечто, могущее быть только терпимо. Старики же? Фи! Они не должны требовать никакого к себе внимания. Ведь они старики: а что старо, то не годно к употреблению. Глупое правило у русских: уважать родителей есть также вздор. И что это родители? — Те же старики!..»

Тут я приходил в запальчивость; я не мог переносить таких кривых толков; но как я не мог остановить мусье губернатора, потому что все мое поколение, с жадностью слушавшее его, восстало бы против меня, так я молча вскакивал, звал своего папашу-пуделя и уходил с ним в свою комнату размышлять, тужить и повторять восклицание, коим и начал описание моей жизни:

— Тьфу ты пропасть! Не наудивляешься, право, как свет изменяется!..

М. Н. Загоскин

1789 ~ 1852

ТРИ ЖЕНИХА



ТРИ ЖЕНИХА

(ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ)

I

Тому назад — так точно! — не более двух или трех лет... Но прежде, чем я расскажу вам эту историю, мне хочется спросить вас, живали ли вы когда-нибудь в провинции? Не в деревне, не в маленьком уездном городке, но в губернском городе, — среди людей, которые говорят с гордостью, и почти всегда на французском языке, о своем большом свете, о своем хорошем и дурном тоне, даже о разных кругах, на которые разделяется их общество. Если вы никогда не живали в этих, подчас довольно забавных, образчиках нашей матушки Москвы белокаменной и желаете знать хоть поверхностным образом, что такое провинциальный город — не двадцать лет тому назад, но теперь, в наше время, — так слушайте.

Далеко отсюда в низовом губернском городе в Дворянской улице, — почти в каждом губернском городе есть улица, которую зовут «Дворянскою», — возвышается крытый железом двухэтажный кирпичный дом, на самом том месте, где года два тому назад вращались в землю деревянные хоромы, выстроенные, как говорят старики, еще до Пугачева. Они тянулись в длину сажен шестнадцать, не считая двух подъездов с холодными сенями и небольшой пристройки, в которой помещалась русская баня с двумя предбанниками. Этот дом занимал всю глубину обширного двора, который с двух сторон был застроен развалившимися службами, а с третьей отделялся от улицы почерневшим от времени решетчатым забором. Сзади к самому дому примыкал большой плодовый сад, поросший высокой травой и почти непроходимый от бесчисленного множества кустов колючего крыжовника, барбариса и смородины. Разумеется, эти хоромы не были ни окрашены, ни обшиты тесом, и на дощатой их кровле росла преспокойно мурава шелковая и пробивались кой-где украдкой цветы лазоревые.

Однажды вечером в начале мая месяца, который, несмотря на восторги наших поэтов, почти всегда хуже апреля, погода

стояла самая осенняя, дождь лил как из ведра, и хотя еще не было восьми часов, однако на дворе сделалось так сумрачно, что в одном из окон развалин, описанных мною, замелькал огонек. Он светился в диванной, в которой хозяйка, пожилая вдова, статская советница Анна Степановна Слуккина, сидела за ломберным столом и раскладывала гранпасьянс; насупротив ее, расположась покойно в широких креслах и понюхивая табак из огромной серебряной табакерки, сидел человек лет шестидесяти в коричневом долгополом кафтане, с бронзовою медалью в петлице и в черных плюсовых сапогах. К ним спиною подле растворенного окна стояла миловидная девушка лет семнадцати в простом белом платье. Широкий пояс с стальной пряжкой обхватывал гибкий стан ее; светлорусые волосы, завитые и убранные à l'enfant¹, рассыпались густыми кудрями по ее плечам, полным и белым, как пушистый снег в перевозимье. Попытаюсь, удастся ли мне описать вам наружность хозяйки. Не совсем еще увядшее лицо выказывало не более сорока пяти лет. Большие черные глаза, довольно правильные черты, прекрасный цвет лица — все это заставило бы подумать каждого, что она была некогда очень хороша собою: но вот беда — эти большие черные глаза походили на красивые фонари без свеч, а румяное ничего не выражающее лицо ее было просто

бело и красно —
И точно херувим на вербе восковой!

Впрочем, я ошибся, сказав, что лицо ее ничего не выражало: нет, в нем заметно было беспрестанное усилие казаться «горькой, беззащитной вдовою», какое-то подленькое притворное смирение, едва прикрывающее невежественную спесь и чванство провинциальной барыни пятого класса. Эта беззащитная вдова успела, по собственным словам ее — при помощи господ бога и добрых людей, укрепить за собою две тысячи душ покойного своего супруга, выиграть три процесса, пустить по миру несколько сирот, разорить вконец родного брата и выплакать себе шестьсот рублей пожизненного пенсионера.

Самый пошлый мадригал щеголя Демутье, столкнувшись нечаянно с самой высокой творческой мыслью великого Ньютона или Гердера, не представил бы такой резкой противоположности, какую представляло почти безобразное лицо пожилого господина в коричневом кафтане с румяным и правильным лицом хозяйки: огромный нос Николая Ивановича Холмина, — так звали этого гостя, — его изрытые оспой багровые щеки, его узкие калмыцкие глаза, крутой лоб, покрытый морщинами, и в то же время ум и веселость, которые блистали

¹ По-детски (*ред.*).

в его маленьких серых глазах, и улыбка по временам насмешливая, но всегда добродушная, и приятный звук голоса, и то, чему нет названия, — это неизъяснимое *что-то такое*, что пленяет нас с первого взгляда, — все это вместе составляло одну из тех загадочных физиономий, которые нравятся, не спросившись у эстетики и вопреки всем условным понятиям о красоте и безобразии человеческого.

— Опять не вышло! — сказала Анна Степановна, бросив с досадою карты, которые остались у нее на руках: — а все этот проклятый валет! Нейдет, как нейдет!.. Эй, девка! Дашка!.. Поди сюда, подыми платок! Возьми, положи карты в комод, в третий ящик!.. Да что это, мать моя? Никак в корсете? Смотри, пожалуй, уж и они стали затягиваться!.. Эй, мальчик! Сними с свечи... Дурак! Чуть не погасил!.. Варенька!

Девушка в белом платье вздрогнула и обернулась торопливо к своей мачехе.

— Ну что, мой друг? — продолжала Анна Степановна: — дождик перестал?

— Перестал, маменька!

— Так на дворе прочистилось?

— Прочистилось, маменька!

В эту самую минуту проливной дождь загудел сильнее прежнего, и в соседнем покое вода, пробив оштукатуренный потолок, с шумом полилась на пол.

— Помилуй, матушка! — вскричала Анна Степановна: — дождь ливнем льет, а ты говоришь... Да что ты, ослепла, что ль? Эй, мальчик! Андрюшка!.. Ну, что стоишь? Ведро в гостиную! Подставить там, где протекло. Да верно на чердаке нет ушатов? Вот я вас, разбойники!.. То-то вдовье дело! Обо всем изволь сама думать... Смотри, пожалуй, — прочистилось! Дождь нейдет! Да чего ж ты в окно-то смотрела, сударыня?

Варенька вспыхнула и не отвечала ни слова, а гость как будто бы не нарочно повернулся и взглянул на окно, подле которого она стояла. Прямо через улицу в небольшом домике мелькал огонек и хотя слабо, но вполне освещал гусарский кивер, небрежно кинутый на окно. Николай Иванович улыбнулся.

— Что это, Анна Степановна, — сказал он, обращаясь к хозяйке: — никак против вашего дома военный постой?

— Да, Николай Иванович! Вон в том домике дней пять тому назад отвели квартиру гусарскому офицеру... как бишь его?.. Дай бог память!.. Да! Тонскому!

— Александру Михайловичу? Отличный молодой человек!

— И, батюшка! Да что ж в нем отличного? Конечно, собой он молодец изрядный — говорят, не пьет, в карты не играет: да и то сказать, что ему, сердечному, проигрывать? Ведь, чай,

за ним души нет христианской — гол, как сокол: а как поглядишь иногда, так, господи боже мой, весь облит золотом! Ну, право, фунта три выжиги будет! А небось, дома перекусить нечего. Вот то-то и есть! Служил бы себе да служил в пехоте. Так нет, все в гусары лезут!

— Он не так беден, как вы думаете. Его дядя, Александр Алексеевич Тонской, оставил ему небольшое, но прекрасно устроенное именье.

— Право? А сколько душ, батюшка?

— Конечно, немного. Душ тридцать...

— Тридцать душ! И ты, Николай Иванович, называешь это имением?

— Да они дают без малого две тысячи рублей в год доходу.

— Две тысячи? Ну, батюшка, подлинно несметное богатство!

— Нельзя же всякому, как вам, Анна Степановна, иметь тысяч пятьдесят в год доходу. Разумеется, в сравнении с вами Тонской беден, но зато какой образованный, воспитанный малый...

— Да, Николай Иванович! Что правда, то правда: воспитан хорошо, знает себя и понимает других. Вот хоть со мной: всегда обходится весьма политично — и, нечего сказать, услужлив! Прошное воскресенье кабы не он, так не знаю, что было бы со мною: на руках вынес из собора.

— А что такое с вами было?

— Вот что, батюшка Николай Иванович. Я прошное воскресенье была, как следует всякой христианке, у обедни в соборе; сам преосвященный изволил служить, и хоть в трапезе было довольно просторно, но зато в настоящей, а особливо кругом амвона и сказать нельзя, что за давка была. Ну нельзя же, мой отец, статской советнице стоять позади бог весть кого! Вот я где бочком, где локотками продралась и стала впереди. Тесно, батюшка, душно, а делать нечего — стою! Вот под конец голова стала у меня кружиться, и начало в глазах зеленеть, — а я все-таки стою! Когда преосвященный вышел с крестом, я, пропустя мимо себя губернаторшу, хотела было по моему чину вслед за нею, как вдруг откуда ни возьмись дворянская предводительница — шмыг из-под меня — да шасть первая вперед! Коллежская ассессорша!.. Ну, батюшка! Хоть я и беззащитная вдова, хоть за меня, круглую сироту, вступиться некому, а уж не стерпела бы я ни от кого такого афрона: и если б это было не в соборе, так подняла бы такую аларму, что и боже упаси! А тут, — делать нечего, — смолчала: да уж каково-то было моей душеньке! Начало меня подергивать, подкатилось к сердцу, схватило удушье, и если б не

подвернулся этот Тонской, дай бог ему здоровье, так я бы со всех ног грянулась о пол.

— Знаете ли, Анна Степановна, — сказал Холмин, помолчав несколько времени, — что если б Александр Михайлович Тонской был побогаче, так этакого жениха поискать!

— Да; если б у него было тысяч тридцать в год доходу.

— Погодите, будет и больше. Он отличный офицер, служить охотник и пойдет далеко.

— Статься может, батюшка! Да ведь это еще буки.

— Я уверен, что и теперь любая невеста в нашем городе за него пойдет.

— Любая не любая, а может быть, и найдутся охотницы. Ведь дураков и дур везде много, Николай Иванович! Их не орут, не сеют, а сами рождаются.

— Знаете ли что? — продолжал Холмин вполголоса: — я иногда думаю — что, если б вышла за него ваша Варвара Николаевна?

— Что, что, батюшка?

— То-то была бы парочка!

— Эх, Николай Иванович, охота тебе такой вздор говорить!

— Почему же вздор? Он не богат, зато у вас прекрасное состояние.

— Что ты, что ты? Перекрестись, батюшка! Тридцать душ!.. Да этак всякий однодворец жених моей падчерицы.

— Так, Анна Степановна, так, не спорю: по состоянию Тонской не жених Вареньке; но если б он успел ей понравиться...

— Что? Понравиться?.. Без моего ведома?.. Да если б она смела подумать об этом! Если б только заикнулась! Да сохрани ее господи! Да разве она может выступить из моей воли? Разве не я ее опекуншею? Да хоть бы за нее вся родня вступилась! Да хоть бы сам покойник встал из гроба!..

— Ну, полноте, матушка, полноте, не сердитесь! Ведь это один только разговор.

— Добро бы еще он был в чинах — четвертого или пятого класса: а то простой офицерик, нищий... Да чему же ты смеешься, батюшка?

— А тому, что мне удалось вас рассердить. Эх, матушка Анна Степановна, ну как вы могли подумать, чтоб я стал сватать не шутя вашу Вареньку, мою крестную дочь, за какого-нибудь гусарского поручика с тридцатью ревизскими душами потому только, что он умен, молодец собою, добрый малый?

— Ну то-то же, мой отец! А то было я совсем перепугалась. Да и я дура! Как будто бы не знаю, что ты всегда подшучиваешь. А мне бы надобно с тобой о серьезном поговорить, батюшка: да вот видишь ты какой — опять начнешь балагурить! Варенька! Что ты, мой друг, иль забыла, что мы сегодня с визитами

едем? Поди, матушка, надень свое гриделеновое платье... Ну, что стоишь? Ступай, сударыня! Теперь, Николай Иванович, поговорим-ка о деле.

— Поговоримте, Анна Степановна.

— Ох, дети, дети! — продолжала хозяйка, смотря вслед за уходящей Варенькой. — Сколько с ними горя и хлопот! Вот говорят, мачехи не заботятся о своих падчерицах: неправда, мой отец! Видит господь бог — только и думаю о том, как бы пристроить Вареньку. Ты человек умный, батюшка, — посоветуй мне: что ты, родной мой, скажешь, так тому и быть.

— Даже и тогда, Анна Степановна, когда мой совет будет не согласен с вашей волею?

— И, батюшка! Да разве у меня есть какая-нибудь воля? Что скажут добрые люди, то и делаю. Вот изволишь видеть: твоя крестная дочка уж на возраст.

— А что, разве вы хотите ее выдать замуж?

— Цора, мой отец. Ведь уж ей скоро семнадцать лет.

— Да это что за года, Анна Степановна!

— Полно, полно, Николай Иванович! Я сама по четырнадцатому году за первого мужа вышла замуж: так что тут говорить! да и не об этом речь.

— А что, разве кто-нибудь сватается?

— Кто-нибудь, — повторила с гордой улыбкой хозяйка. — Нет, батюшка! — продолжала она, поправляя свой чепец: — женишки-то давно уже около нас увиваются, и встарину бы мне от свах отбою не было. Вот теперь дело другое: за это ремесло взялись наши сестры дворянки. Да полно, лучше ли? Бывало, от свахи узнаешь всю подноготную, отберешь все до копейки и коли заметишь, что она начала лисой лисить да переминаться, так ее, голубушку мою, в три шеи со двора долой: ведь дело-то было торговое. А теперь, прошу покорно: сама губернаторша приедет сватать; с ней много говорить не станешь, — верь на честное слово. «У такого-де, сударыня, тысяча душ, да столько-то доходу, да то, да се». А попробуй сказать — нельзя ли матушка, ваше превосходительство, документики сообщить? — так пойдут истории, претензии, расстанешься навсегда домами, и нашей сестре, беззащитной вдове, от этой губернаторши и всех ее прихвостниц житья не будет.

— А что, разве губернаторша делала вам предложение?

— Вот то-то и есть, батюшка! Она говорила мне о своем племяннике.

— Об Иване Степановиче Вельском?

— Да, Николай Иванович! Я уж давно заметила, что этот отставной камер-юнкер имеет виды на мою Вареньку. Конечно, он человек порядочный — с лишком тысяча душ — прекрасный дом, отличная услуга, музыка — все это хорошо, — да

вот о чем его тетушка не рассудила со мной распространиться: говорят, что у него до пятисот тысяч рублей долга, так это почти все равно, что он ничего не имеет.

— Следовательно, вы ему отказали?

— Уж тотчас и отказать! Погоди, батюшка; пусть посвадается порядком. Ведь его тетушка стороной только мне об этом намекала. Вот как он сделает формальное предложение и весь город будет знать, что он ищет в Вареньке, так успею еще и тогда. Небольшая беда, если станут говорить, что у нее много женихов было.

— Так какого же, матушка, вы просите у меня совета?

— А вот постой, мой отец: это еще один жених.

— А кто ж другой?

— Алексей Андреевич Зорин.

— Председатель гражданской палаты?

— Да, батюшка.

— Пожилой вдовец...

— Да, батюшка.

— С большой семьей...

— Так что ж?

— Да кстати ли ему свататься за Вареньку? Она ему в меньшие дочери годится.

— Это ничего, Николай Иванович! И мой покойник был вдвое меня старше. Да вот что худо: ведь у него наследственного имения нет, а все благоприобретенное! Куплено было на имя покойной жены; так он из него только и может взять законную седьмую часть, то есть много-много душ сто. Конечно, он человек умный, нажил бы еще: да времена-то не те, батюшка! Ко всему придираются! Судья возьмет по дружбе какой-нибудь подарочек, а его назовут взяточником. Не бери ничем, ни деньгами, ни натурой: да этак скоро вовсе служить нельзя будет!

— И, матушка Анна Степановна, ну что господа бога гневить! И теперь еще так-то себе деревеньки и домики наживают, что на поди!

— Да, небось, ты скопил именице? Шесть лет был дворянским предводителем, сколько раз заседал в рекрутском присутствии: а что нажил?

— Да покамест честное имя, Анна Степановна.

— Честное имя! Да ведь честное-то имя доходу не дает; его ни продать, ни в Опекунский совет заложить нельзя: так с ним далеко не уедешь. А сверх того, вы все честные люди — гордецы, а гордым бог противится... Ну что ухмыляешься?

— Радуюсь, матушка Анна Степановна, что вы так хорошо знаете и так ловко толкуете священное писание.

— Да что об этом говорить! Всякий молодец на свой образец. Скажи-ка лучше, что мне делать? Я сама вижу, что Зорин не жених Вареньке.

— Так откажите ему.

— А про мое тяжёлое дело-то, батюшка, ты, верно, забыл?

— Нет, помню. Так что ж?

— А то, что коли испортят его здесь в палате, так еще бог весть, поправишь ли в Москве. Нет, мой отец, успею ему отказать и тогда, как дело будет решено в мою пользу.

— Ну вот, уж два жениха забракковано. Нет ли еще третьего?

— Есть, Николай Иванович, есть женишок! Да и дело-то почти совсем слажено.

— Вот что? Как же мне Варенька ничего об этом не намекнула?

— Да она еще сама не знает.

— Право? Так вы заранее уверены, что этот жених ей понравится?

— Как ему не понравиться, батюшка? Ведь у него — легко вымолвить — четыре тысячи душ.

— Четыре тысячи? Так это...

— Князь Владимир Иванович Верхоглядов. Что, батюшка, каков женишок?

— Да хорошо ли вы знаете этого человека?

— Я знаю, батюшка, наверно, что у него четыре тысячи душ и ни копейки долгу.

— Конечно, после этого и говорить нечего. Вот если бы у него не было ста тысяч в год доходу...

— Полтораэта, батюшка.

— Неужели?.. Смотри, пожалуй! Так что ж это говорят, будто он самый пустой человек; будто у него нет никаких правил; будто он на словах сумасшедший либерал, а на деле трехбунчужный паша; будто он толкует беспрестанно о потребности века, о вышних взглядах, о правах человечества, и разоряет своих крестьян; будто у него давно уже ум за разум зашел и что рано или поздно ему не миновать опеки?

— И, что ты, мой отец! Да разве отдают под опеку людей, у которых полтораэта тысяч в год доходу и ни копейки долгу?

— Вот то-то и есть. Говорят также, что будто бы у него такой причудливый и скверный характер, что с ним ужиться нет никакой возможности.

— Вздор, батюшка, вздор! То же самое говорили и про моего покойника: да ведь жили же мы кое-как? Ну, конечно, как без того? Бывало, пошумим, погрыземся, а все-таки он, — дай бог ему царство небесное, — сделает, так делает по-моему.

Нравный муж не беда, мой отец: лишь только не поддавайся да кричи громче его, так все пойдет своим чередом.

— Правда, Анна Степановна, правда: это самый лучший способ жить в ладу с мужем. Дурака запугаешь, умному надоешь, так и тот и другой будут поневоле делать все, что жена захочет. Да Варенька-то, кажется, у нас не такого характера: она уступчива, добра, самого кроткого нрава...

— Переменится, мой отец, переменится. Ведь нужда чему ни научит!

— Конечно, Анна Степановна, конечно. Да и материнские ваши советы, быть может, на нее подействуют. Так это дело кончено: племяннику губернаторши Вельскому...

— Я ничего решительного не сказала; однакоже, признаюсь, надеждою польстила.

— Председателю палаты Зорину...

— Его поневоле приголубиваю, батюшка: вот так изредка намеки делаю, обинячки говорю.

— А князю Владимиру Ивановичу Верхоглядову?

— И ему еще формального слова не давала.

— То есть, вы обнадежили разом трех женихов?

— Эх, батюшка, батюшка, да когда же мне и поломаться-то, как не теперь? Пока я не совсем еще порешилась, так мне житье-то славное. Посмотри в собрании, на балах, кому такой почет, как мне? Один слугу отыщет, другой салоп подаст, третий с лестницы сведет: не успеешь откланиваться. А как в вистик-то с ними засяду, батюшка, в вистик! Житье, да и только! Ренонс сделаю — никто не видит; без двух фигур сочту четыре онера — молчат. И даже этот скопидом Зорин не зайкнется сказать, что я ошиблась. О! Уж об этом не говорю, сколько других прочих мелких женишков мне в глаза-то забегают: ну так и рвутся один перед другим, чтоб мне услужить!

— Не спорю, Анна Степановна: теперь вам весело, да весело ли будет тогда, как женихи узнают, что вы их дурачили?

— Так что ж, батюшка? Посердятся, посердятся, да будут таковы. Один Алексей Андреевич Зорин мог бы мне хлопот наделать, если б узнал об этом: да, к счастью, дело мое слушают на будущей неделе. Ты сам знаешь, батюшка, — резолюции переменить нельзя: так что ж мне помешает тогда выдать Вареньку за князя Владимира Ивановича?

— Хорошо разочтено, Анна Степановна! Вы только забыли одно, что от этого может пострадать репутация вашей дочери.

— А это как, батюшка?

— Да так: станут говорить, что Варенька сама заводила всех женихов, что она с ними кокетствовала, что обманывала с вами заодно. Мало ли что злость может придумать!

— Помилуй, да с чего бы это взяли?

— Знаю, Анна Степановна, что в этом и на волос не будет правды: но зачем давать повод к злословию? Ведь клевета как уголь — не обожжет, так замазает.

— И, полно, мой отец! Стану я бояться всех людских речей. Да мало ли что и про меня грешную говорили: и обобрала-то я покойного моего мужа, и пустила по миру родного брата, да и бог весть что! Всего, батюшка, не переслушаешь. А! Вот и Варенька. Ну что, оделась, мой друг?.. Побудь покамест с твоим крестным, а я пойду и сама принаряжусь. Пора ехать с визитами.

Варенька, оставшись одна с крестным отцом своим, села подле него и, не говоря ни слова, не смея поднять глаза, перебирала в руках концы своего газового эшарпа. Щеки ее то пылали, то покрывались бледностью. Холмин также молчал. Он смотрел с нежностью и приметным состраданием на бедную девушку, которая несколько раз пыталась начать разговор, но каждый раз чувствовала такое сильное замирание сердца, что слова исчезали на устах ее.

— Бедненькая! — сказал наконец Холмин, положив руку на ее плечо.

Варенька подняла глаза, взглянула робко на своего крестного отца и бросилась к нему на шею.

— Ну что, мой крестный папенька? — прошептала она едва слышным голосом. — Говорили ли вы?

— О чем, мой друг?

— Ну... о том.

— О том? — повторил с улыбкою Холмин. — Нет, мой ангел, я ничего не говорил *о том*.

— Неправда! Вы что-то говорили; я слышала сама, что вы называли его по имени.

— Да о ком ты говоришь, Варенька?.. Ну полно, полно, не гневайся! Да, мой друг, я говорил об нем.

— Ну что ж маменька?

— И слышать не хочет.

— Ах, боже мой!

— Она решилась выдать тебя замуж за князя Владимира Ивановича...

— Что вы говорите? — вскричала с ужасом Варенька.

— Чего ж ты испугалась, мой друг? Не бойся, на святой Руси насильно никого не венчают. Послушай, моя душа. Ты уж не ребенок и должна иногда думать о будущем. Ты любишь Тонского, и он достоин этого счастья. Но у князя полтора ста тысяч в год доходу, а Тонской почти ничего не имеет. Ты также, мой друг, без всякого состояния, или, что почти одно и то же, оно совершенно зависит от твоей мачехи. Покойный твой

батюшка был человек истинно добрый, но под старость так ослабел и телом и душою, что не имел репительно собственной своей воли. Ты знаешь, Варенька, что всем его именем владеет по жизнь Анна Степановна и что хотя по духовной покойного ты имеешь право требовать в приданое за собою тысячи душ, но только тогда, когда выйдешь замуж за того, кого она сама назначит: в противном случае одно только добровольное ее прощение может возратить тебе это право. Теперь ты видишь, мой друг, что у тебя ничего нет. Анна Степановна никогда не согласится выдать тебя замуж за Тонского и никогда не простит тебя, если ты выйдешь за него против ее воли.

— Ах, боже мой, да какая ей прибыль, если я выйду за этого князя?

— Пребольшая, мой друг. Засадить тебя вечно в девках она не может: это было бы уже слишком явным и слишком гнусным доказательством ее жадности. Ты сирота: правоительство может взять тебя под свою защиту, а сверх того, и самые бездушные люди боятся общего мнения. Князь Владимир Иванович берет тебя без приданого: я это знаю, хотя почтенная Анна Степановна заблагорассудила умолчать об этом, говоря со мною. Теперь видишь ли, мой друг...

— Так что ж? — перервала с живостью Варенька. — Неужели вы думаете, что Тонской не откажется также от моего приданого?

— О, я не сомневаюсь в этом!

— И разве богатство может сделать наше счастье?

— Не о богатстве речь, мой друг. Полтора ста тысяч в год доходу не сделают тебя ни на волос счастливее; но бедность... Ах, Варенька, Варенька, мы живем не в Аркадии! Куст розанов, шалаш и милый друг — все это прекрасно в романсе, который ты поешь, сидя за фортепиано; но в шалаше и холодно и тесно; розы цветут только весною; милый друг не вечно будет ворковать подле тебя: он захочет есть, ты также, а там — семья, дети... Нет, мой ангел, если счастье наше не всегда бывает следствием хорошего состояния, по крайней мере оно помогает нам сносить терпеливее все житейские горести и напасти, которые при бедности становятся еще несноснее. Подумай хорошенько: если ты выйдешь за князя, то все желания твои, все прихоти будут исполняться. Ты очень молода, мой друг: тебя еще, без всякого сомнения, пленяют и щегольской экипаж, и модные платья, и тысячи других блестящих безделок, которые стоят так дорого, хотя и не служат ни к чему. Придет время, когда все это тебе надоест, не спору; но пока еще лета и горький опыт не отучат тебя забавляться этими игрушками взрослых людей, ты станешь тосковать об них. Сколько раз ты будешь плакать от зависти и досады, сравнивая свой простенький

московский бур-де-суа с каким-нибудь колокольцовским платком или турецкой шалью прежней твоей подружки, встречая на каждом шагу знакомых, которые станут давить тебя своим богатством и роскошью! Ты поневоле сделаешься подозрительной; дружба богатых людей будет тебе казаться обидным покровительством, а каждое ласковое слово милостынею, которую подают тебе из сострадания. Что, если тогда встревоженное твое самолюбие и эта тяжкая необходимость отказывать себе почти во всем расхолодят прежнюю любовь твою? Что, если ты начнешь горевать о том, что не вышла за богатого князя, и бедный муж твой отгадает, наконец, причину этой горести?..

— Муж мой? — перервала с жаром обиженная девушка: — тот, кого выбрало мое сердце? И вы можете так дурно думать о вашей крестной дочери? Щегольской экипаж? Турецкая шаль? Боже мой!.. Да! И я стала бы плакать о турецкой шали, если бы в ней показалась милее моему мужу; и я стала бы завидовать богатому экипажу, когда бы могла им потешить моего мужа; но желать всего этого для себя, грустить, что богатый муж не закутает меня, как куклу, в турецкие шали, горевать о том, что я не принадлежу этому князю, которого ненавижу... Да, да!.. Ненавижу...

— Да за что же, мой друг?

— За то, что он хочет быть моим мужем! И вы могли мне советовать?..

— Я ничего тебе не советую. Когда дело идет об участи целой жизни, тогда трудно, мой друг, советовать. Впрочем, если любовь твоя к Тонскому не одно только минутное предпочтение, не какая-нибудь романическая, безотчетная страсть, но искренняя, душевная привязанность, то, без сомнения, с ним и бедность будет для тебя счастьем. Но прежде, чем ты решительно откажешься от супружества, которое свет стал бы называть блестящим, я должен был описать тебе все невыгоды твоего замужества с человеком небогатым. Тебе самой никогда бы не пришло в голову и подумать о вашем будущем домашнем быте, о необходимом прожитке, о расходе и приходе, одним словом, о всем том, что господа поэты называют земным и прозаическим, но без чего и поэзия становится подчас прескучною прозою. Теперь я исполнил мою обязанность, и если непрерывные лишения и бедность тебя не пугают, если любовь точно может для тебя заменить все, вот тебе рука моя — ты будешь женою Тонского. Не богат, Варенька, но все, что имею, будет принадлежать вам... Не благодари меня, мой друг. Я был искренним приятелем отца твоего и люблю тебя, как родную дочь. Покойный твой батюшка, умирая на руках моих, повидимому раскаялся в своем необдуманном поступке: но духовной переменить было уже невозможно. За несколько минут до своей

кончины он крепко сжал мою руку и устремил свой потухающий взор на твой портрет, который висел над его изголовьем. Он не мог уже говорить, но я понял его, — и мой бедный, обманутый друг умер спокойно: он знал, что дочь его не останется круглой сиротой...

Варенька опустила голову на плечо крестного отца своего и горько заплакала.

— Полно, полно, мой друг! — сказал Холмин. — Ты и так довольно погоревала. Ба, ба, ба! Да никак и я расплакался? — продолжал он, утирая глаза. — Куда мне это должно быть к лицу!.. Послушай, мой друг. Хороший генерал никогда не считает себя побитым до тех пор, пока не истощит всех средств, чтобы вырвать победу из рук неприятеля. Ты выйдешь за Тонского, это решено; но если в то же время и состояние ваше будет обеспечено, так, кажется, это ничего не испортит.

— Да вы сами говорите, что Анна Степановна никогда не согласится...

— Без всякого сомнения, не согласится. Но дело не в том, чтоб она была твоей посаженной матерью, а только бы после свадьбы вас простила. У меня кой-что бродит в голове. Что, если бы?.. Почему же нет! А как бы это было забавно! — примолвил Холмин, и глаза его, выражавшие за минуту глубокую чувствительность, заблестали веселостью. — Но вот, кажется, Анна Степановна кончила свой туалет, — продолжал Николай Иванович. — Вы едете сегодня с визитами: я также сделаю завтра поутру несколько визитов, и может быть... Но вперед загадывать нечего. Прощай, Варенька. Прощай, мой друг!

II

На другой день Николай Иванович Холмин часу в девятом утра надел свой коричневый кафтан, накрыл голову белым пуховым картузом и, опираясь на высокую «натуральную» трость с костяным набалдашником, отправился пешком — сначала в дом председателя гражданской палаты Алексея Андреевича Зорина. Но прежде, чем я открою читателям причину его посещения, мне должно их предупредить, что вместо рассказа я намерен предложить им для прочтения несколько отдельных драматических сцен из этой комедии, которую мы называем «общественною жизнью» и которая, глядя по тому, как на нее смотришь, и забавна и скучна, и смешна и печальна, а иногда, — не погневайтесь, — не только вовсе не утешительна, но даже гадка и возмущает душу. Может быть, я ошибаюсь;

но мне кажется, что эта глава будет менее утомительна, если я дам ей форму совершенно драматическую. А *посему*, прерывая мой рассказ, прошу почтенных читателей превратиться в почтеннейших зрителей и вообразить, что перед ними театраль-
ный помост, на котором происходит *нижеследующее*.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Довольно опрятная комната, оклеенная зелеными обоями. По стенам висят астампы в почерневших золоченых рамках, шпага без темляка и пилпа с белым плюмажем. Между двух окон покрытый красным сукном стол, заваленный бумагами. В одном углу несколько полок с толстыми книгами. Перед столом широкие кресла, обтянутые черною кожей, которая прибита по краям: кругом гвозди с медными головками. На креслах сидит Алексей Андреевич Зорин в бухарском халате, тафтяном зеленом наглазнике и красных шитых золотом сапожках. Подле него с бумагами стоит секретарь.

З о р и н (*подписав одну бумагу*)

Ну что, Андрей Пахомыч, что говорят присутствующие о деле Анны Степановны Слукиной? Ведь оно на будущей неделе пойдет в доклад.

С е к р е т а р ь

Да что, ваше высокоблагородие! Советник все еще ломается. Никаких резонов не принимает! А когда я стал ему докладывать, что, в силу сепаратного указа тысяча семьсот восемьдесят первого года, можно дать резолюцию в пользу челобитчицы вдовы статской советницы Слукиной, так он наговорил мне столько, что и сказать нельзя: и новые, дескать, указы уничтожают силу предыдущих, и случайное-де изменение закона, сделанное не в пример другим и в пользу одной особы, не может служить основанием для судейского приговора, и то, и се. Вот я было намекнул ему, что штрафа бояться нечего, — во-первых, потому, что палата во всяком случае может отозваться, что судила по крайнему своему разумению, — а во-вторых, потому, что всякое денежное взыскание будет обеспечено со стороны просительницы: но лишь только я это вымолвил, как он закричит, господи боже мой! Верите ль, ваше высокоблагородие?.. Не знал, куда деваться.

З о р и н

Чудак!.. Хорошо, хорошо. Я с ним сам об этом поговорю. (*Дверь из лакейской потихоньку растворяется.*) Кто там?

С е к р е т а р ь

Андрюшка сапожник.

А н д р ю ш а (в синем сюртуке и кожаном фартуке. В одной руке шило, в другой сапожное голенище)

Николай Иванович Холмин.

З о р и н

Проси. А ты, братец, Андрей Пахомыч, подожди покамест в столовой. Быть может, у нас завяжется серьезный разговор. Ведь он крестный отец Варвары Николаевны.

(Секретарь кланяется и выходит в боковые двери.)

Х о л м и н (входя в комнату)

Здравствуйте, Алексей Андреевич!

З о р и н (идя к нему навстречу)

А, почтеннейший! Добро пожаловать! Какими судьбами?.. Пропу покорно! (Подвигает стул.)

Х о л м и н (сидясь)

Давно хотелось с вами повидаться. Ну что? Как поживаете?

З о р и н

Плохо, батюшка Николай Иванович, плохо! Когда хозяйки нет в доме, так какое житье?

Х о л м и н

Хозяйки нет — так что ж? Вы, Алексей Андреевич, не в таких еще годах, чтоб вам оставаться вдовцом. Я думаю, вам и пятидесяти нет.

З о р и н

Да... с небольшим.

Х о л м и н

Так за чем же дело стало? Неужели за невестою?

З о р и н (улыбаясь)

Невеста, быть может, найдется...

Х о л м и н

Вот что? Поздравляю! А кто, если смею спросить?

З о р и н

Полноте, почтеннейший! Полноте подшучивать! Чай, вы давным-давно знаете.

Х о л м и н

Право нет.

З о р и н

Да перестаньте! Как вам не знать! Вы у них человек свой.

Х о л м и н

У кого, Алексей Андреевич?

З о р и н

Да хоть у Анны Степановны.

Х о л м и н

Слукиной? Так вы на ней хотите жениться?..

З о р и н

И, нет, батюшка! Анна Степановна ни за кого не пойдет замуж. Да и на что ей? Вот дело другое — девица безродная, без отца, без матери...

Х о л м и н

Как! Так дело-то идет о моей крестной дочери?

З о р и н

Что ж вы этому так удивились, Николай Иванович? Конечно, мы с ней неровни...

Х о л м и н

И, что вы? Не о летах речь. По мне, чем старше муж, тем лучше. Да и чего ждать путного, если б такой ребенок, как Варенька, вышла замуж за какого-нибудь мальчишку!

З о р и н

Конечно, конечно.

Х о л м и н

Когда девушка по сиротству или какой ни есть другой причине выходит прежде двадцати лет замуж, так ей надобен муж не ветрогон, не слеток какой-нибудь, а человек зрелых лет, опытный и благоразумный.

З о р и н

Совершенная правда.

Х о л м и н

Хороши муж и жена, которые оба еще в куклы играют! Ведь страсть — пустое дело, Алексей Андреевич. И к молодому и к старому мужу приглядишься. Любовь пройдет, а дружба и уважение остаются.

З о р и н

Правда, истинная правда!

Х о л м и н

Нет, батюшка, я знаю, какой муж ей надобен. Человек умный (*Зорин кланяется*), солидный (*Зорин кланяется*); который не станет учиться, а других может поучить, как дом вести (*Зорин кланяется*); который ее приданого не промотает, да и своего имения не проживет (*Зорин ухмыляется*); по милости которого жена будет занимать не последнее место в губернии (*Зорин бросает довольный взгляд на свою шляпу с белым плюмажем*); который мог бы в одно и то же время быть ее супругом и наставником. Одним словом, такой муж, как вы, Алексей Андреевич!

З о р и н (*кланяясь и пожимая руку Холмина*)

Помилуйте!.. Мне, право, совестно! Так вы непрочь от этого?

Х о л м и н

Кто? Я! Да если бы это от меня зависело, так я и думать бы не стал; но вы знаете, что ее мачеха...

З о р и н (*улыбаясь*)

С ней-то мы как-нибудь поладим.

Х о л м и н

Право? А что, разве уж об этом речь была?

З о р и н

Как же! Сначала мы говорили все обиняками да намеки друг другу делали; а третьего дня я просто напрямик и сказал.

Х о л м и н

Ну, что ж она?

З о р и н

Почти слово дала; только просила пообождать и до времени не говорить никому.

Х о л м и н

Вот что? Ай да Анна Степановна!.. Ну!!!

З о р и н

А что такое?

Х о л м и н

Так, ничего! Что мне в эти сплетни мешаться! Когда они от меня секретничают да не хотят со мною посоветоваться, так мое дело сторона.

З о р и н

Да что ж. вы такое знаете?

Х о л м и н

Что я знаю?.. *(Помолчав несколько времени.)* Послушайте, Алексей Андреевич. Мне вас учить нечего, а на вашем месте я знал бы, как поступить. Все эти секреты да отсрочки ни к чему не ведут. Я настоятельно бы стал требовать помолвки, да не по-домашнему, а публично, торжественно, чтоб весь город знал, что вы женитесь на Вареньке. И мальчишке лет в двадцать остаться с носом вовсе не забавно: а как нашему брату, пожилому человеку, забреют затылок, так признаюсь!..

З о р и н

Забреют затылок?.. Так вы полагаете, что Анна Степановна изволит надо мною потешаться?

Х о л м и н

Я не говорю этого. И как подумаешь, так на что бы, кажется, ей вас обманывать?.. Э! Да ведь у ней есть тяжёбное дело, и если оно должно скоро решиться...

З о р и н

Ну, нет еще! Очередь не за ним. А позвольте вас спросить: разве у ней есть еще какие-нибудь женишки на примете?

Х о л м и н

Женишки? Да в нашем городе, кажется, женихов довольно. Вот хоть Иван Степанович Вельской.

З о р и н

Э, э, э! Губернаторский племянник!

Х о л м и н

Да этого также обракуют. *(Поглядев вокруг себя и вполголоса.)* А разве князь Владимир Иванович...

З о р и н

О, о! Вот что? Так и он также сватается за Варвару Николаевну?

Х о л м и н *(значительно улыбаясь)*

Не знаю!

З о р и н

Ну, если так, то позвольте, Николай Иванович... И по-
длинно, это дело надо привести в ясность.

Х о л м и н

Однакож, смотрите, не выдавайте меня.

З о р и н

Не беспокойтесь.

Х о л м и н

Ну то-то же! Пожалуйста, чтоб это осталось между нами.

З о р и н

Да уж будьте уверены! Тут и умерло.

Х о л м и н

Правду сказать, мне бы вовсе не след мешаться в эти
сплетни. Да и что мне в голову пришло? Вот то-то и есть: язык
мой — враг мой! *(Вставая.)* Ну, добро, прощайте, Алексей
Андреевич. Да смотрите же!

З о р и н

Не бойтесь! Мы люди присяжные, молчать умеем. Да
что ж вы так изволите торопиться? Не угодно ли закусить
чего-нибудь?

Х о л м и н

Нет, я никогда не завтракаю.

З о р и н

Не прикажете ли «Донского»?.. Рюмочку мадеры?

Х о л м и н *(уходя)*

Покорнейше вас благодарю.

З о р и н *(проводив его до дверей
передней)*

Гм! Гм! Так вы, матушка Анна Степановна, финтить со
мною изволите?.. Нет, моя благодетельница! Прошу не прогне-
ваться, мы вас выведем на чистую воду: а покамест... *(Подхо-
дит к дверям.)* Андрей Пахомыч! Пожалуй сюда! *(Секретарь
входит.)* Так ты говоришь, что советник никак не соглашается
с твоим мнением?

Секретарь
Касательно дела госпожи Слукиной?

Зорин
Да!

Секретарь
И слышать не хочет.

Зорин
А что, любезный, — как ты думаешь, — ведь оно в самом деле...

Секретарь
Что греха таить! Плоховато, ваше высокородие.

Зорин
То-то и есть! Не худо бы его еще разок, другой прочесть со вниманием. Да время-то коротко: ведь мы слушаем его на будущей неделе?

Секретарь
Можно и отложить.

Зорин
Нет ли справок каких?

Секретарь
Как не быть! И если вы прикажете...

Зорин
Да, да! Не мешает. Ступай-ка, любезный, да похлопочи об этом.

Секретарь
Слушаю-с. *(Кланяется и уходит.)*

СЦЕНА ВТОРАЯ

Роскошный кабинет, отделанный в готическом вкусе. Он освещается двумя окнами: одно из них с узорчатыми рамами, в которые вставлены разноцветные стекла. Пол обит цельным ковром. На длинном столе с витыми ножками множество бронзовых вещей; коллекция обделанных в золото и перламутр щеточек, гребешочков, лорнетов и трубочек; полный прибор инструментов для чищения и подстригания ногтей и несколько чернильниц без чернил, готических, китайских, фантастических, из бронзы, хрусталя, фарфора. Стены оклеены французскими насыщенными обоями. Вместо

картин и эстампов вделанные в четырехугольные дощечки из черного дерева миниатюрные портреты мамзель Марс, Тальони, Зонтаг, г-жи Пасты и многих других знаменитых артисток. В одном углу этажерка с дюжиною альбомов, кисеков и альманахов в тисненых, сафьянных и бархатных перешлесах; в другом на мраморной колонне ваза из прозрачного алебастра и прочая и прочая. Иван Степанович Вельской почти лежит в широких украшенных резьбою креслах; на нем сверх фланелевой фуфайки надет халат из терно. Против него на стуле с высокой готической спинкою сидит Холмин.

В е л ь с к о й *(зевая)*

Извините! Я не смел вас не принять... Но если б вы знали, как я измучен! *(Зевает.)* Вчера я имел дурачество сесть после ужина по пятидесяти рублей в каску с этим несносным Волгиным. Ах, какой злодей!.. Полчаса думает, полчаса держится за карту, двадцать раз ее меняет. Поверите ли, мы кончили нашу партию без свечей!

Х о л м и н

А что вы сделали?

В е л ь с к о й

Проиграл.

Х о л м и н

Немного?

В е л ь с к о й

Так, безделицу! *(Зевает.)* Рублей триста или четыреста — не помню.

Х о л м и н

Вы, кажется, всегда проигрываете?

В е л ь с к о й

Почти.

Х о л м и н

Так зачем вы играете?

В е л ь с к о й

Для того, чтоб как-нибудь убить время. Мне надобно было приехать сюда, чтобы устроить мое имение, и вот уж я два года занимаюсь хозяйством. Это очень забавно, не спорю. Когда я до обеда порядком пошумлю с моими приказчиками, одного похваляю, другого выбрану; выгоню их наконец из моего кабинета, отобедаю, отдохну, — вот, кажется, и день прошел, слава богу! — а с вечером-то что прикажете делать? Неужли ехать в здешний театр, который, хоть мне это казалось и невозможным, право еще хуже московского.

Х о л м и н (*улыбаясь*)

Нет, шутите!

В е л ь с к о й

В самом деле. Виноват! Здесь иногда в трагедии я смеюсь, а там... о боже мой! Но в Москве есть французский спектакль, в Москве есть даже общество: а здесь, если вас не посадят за карты, так смею спросить, как вы проведете ваш вечер? Говорить! — О чем? С кем?.. С Хопровой, — что ее горничная девка свела любовную связь с вице-губернаторским лакеем? С Елецким, — что у него взбесился полвопегий кобель и перекусал всю стаю? С губернским доктором фон Раухом, — что он делает из собственного своего табаку отличный кнастер? С Вельдюзовой, — что у ней сманили третью мадам?.. Конечно, все это имеет свою забавную сторону в первые три дни: но два года!! Нет, Николай Иванович, холостому человеку, который ищет рассеяния в обществе, невозможно жить в провинции; а если ему придется по своим обстоятельствам заживо схоронить себя в каком-нибудь губернском городе, то он должен непременно...

Х о л м и н

Жениться, не правда ли?

В е л ь с к о й

Разумеется. Расчет самый верный: с хорошей женою ему будет весело и дома; с дурной он станет беспрестанно ссориться: следовательно, во всяком случае не умрет от этой проклятой муки (*зевает*), которая душит меня с утра до вечера.

Х о л м и н

Так что ж, Иван Степанович! Лекарство у вас, кажется, под руками.

В е л ь с к о й (*значительно улыбаясь*)

Вы думаете?

Х о л м и н

Да мало ли у нас невест? Вот, например, Катерина Федоровна Радугина: восемнадцать лет, собой недурна, состояние хорошее, воспитана...

В е л ь с к о й (*перерывая*)

Прекрасно! Двух слов не умеет сказать сряду и одевается как прачка. Помилуйте! Да ее стыдно будет в люди показать.

Х о л м и н

Я думаю, вы не скажете этого о Катеньке Лидиной. Она воспитана в Смольном монастыре, ловка, мила, собою прелесть..

В е л ь с к о й

То есть молода. Впрочем, конечно, она довольно презентабельна, и если б я что-нибудь к ней чувствовал, так уж верно бы не остановился затем, что у нее ничего нет. Я не хлопочу о богатстве, однакож...

Х о л м и н

Понимаю. Так вам бы жениться на единственной дочери первого винного заводчика нашей губернии, у которого, как говорят, есть лежащих до полумиллиона. Конечно, Степанида Алексеевна Салковская не красавица...

В е л ь с к о й

Салковская! Что вы, что вы? Да разве мой дом кунсткамера? Салковская? Побойтесь бога! Да ее можно возить по ярмаркам, чтоб за деньги показывать.

Х о л м и н

Ну вот то-то и есть: на вас не угодишь.

В е л ь с к о й

Да вы бог знает кого называете.

Х о л м и н

Как бог знает? Я назвал вам первых здешних невест.

В е л ь с к о й

А для чего вы ни слова не говорите о вашей крестнице?

Х о л м и н

О Вареньке?

В е л ь с к о й

Да; о Варваре Николаевне.

Х о л м и н

Для того, что, по моему мнению, одна и та же девушка не может быть в одно и то же время невестою двух женихов.

В е л ь с к о й

Двух женихов! Что вы хотите сказать?

Х о л м и н

Не погневайтесь! Это еще покамест семейная тайна. По настоящему мне бы не должно было и намекать об этом.

В е л ь с к о й

Ах, сделайте милость!..

Х о л м и н

Послушайте, Иван Степанович. Я могу вам сказать только одно, и то под большим секретом: не сватайтесь за мою крестницу, — она почти помолвлена.

В е л ь с к о й

За кого?

Х о л м и н

Извините, этого я не могу вам сказать.

В е л ь с к о й

Вы меня удивляете! Третьего дня тетушка говорила обо мне с Анной Степановной, и она не только не отказала, но даже подала ей большую надежду.

Х о л м и н

Что вы говорите?

В е л ь с к о й

Уверю вас.

Х о л м и н

Ну, это нехорошо, очень нехорошо! Эх, Анна Степановна! Вечно надделает глупостей.

В е л ь с к о й

Так поэтому вы уверены...

Х о л м и н

Теперь и сам не знаю, что подумать, — кого она дурачит, меня или вас?

В е л ь с к о й (*неволью приподымаясь с кресел*)

Меня!.. Да нет, это невозможно! (*Садится опять.*)

Х о л м и н

Со мною, кажется, ей хитрить нечего, — так воля ваша! А мне кажется, она дурачит вас.

В е л ь с к о й (*с приметной досадою*)

Меня? Oh, ceci est trop fort! ¹ Я не люблю, чтоб меня дура-

¹ О, это чересчур! (*ред.*).

чили женщины и помоложе Анны Степановны. Впрочем, я во всяком случае благодарен, что вы мне это сказали. Теперь я знаю, как мне должно поступить.

Х о л м и н

Постойте, постойте! Что вы хотите делать?

В е л ь с к о й

Не беспокойтесь, я вас не скомпрометирую; но сегодня же эта статская советница скажет мне решительно, принимает ли она мое предложение или нет. Я знаю, что замужество Варвары Николаевны зависит от ее воли; но если она для того, чтоб продолжать грабить свою падчерицу, будет под разными предложениями отделяться от решительного отзыва, то дядя мой как начальник губернии и, без сомнения, наш предводитель дворянства вступятся в положение этой несчастной сироты, тем более что искания мои, как видно по всему, не противны Варваре Николаевне.

Х о л м и н

В самом деле?

В е л ь с к о й

А вот послушайте. Недели три тому назад мой дядя давал бал; я приехал поздно, потому что должен был завернуть к Александру Михайловичу Тонскому — вот к этому гусарскому офицеру — вы, кажется, с ним знакомы?

Х о л м и н

Да! Немножко.

В е л ь с к о й

Он также приглашен был на бал и просил меня заехать за ним в моей карете. Тетушка рассказала мне после все. До моего приезда на бал ваша крестница была печальна, задумчива, рассеянна, беспрестанно смотрела на двери и как будто кого-то дожидалась; но лишь только я показался на бале, она в ту же самую минуту стала весела, разговорчива — словом, совершенно переродилась. Ну, что вы на это скажете?

Х о л м и н

Да; это недаром.

В е л ь с к о й

В прошлую субботу на *déjeuner-dansant*¹ у княгини Ландышевой, когда в котильоне к ней подводили два раза меня и Топ-

¹ Завтрак с танцами (ред.).

ского, — то как вы думаете, кого она каждый раз выбирала?.. Да не забудьте, что это было в глазах ее мачехи; не забудьте также, что Тонской танцует лучше меня и, как кажется, старается очень с ней любезничать. Меня, Николай Иванович! Оба раза меня! Смею спросить, что это значит?

Х о л м и н

О, это явное предпочтение!

В е л ь с к о й

Когда я стал в первый раз говорить ей о любви моей, так она побледнела и до того смешалась, что не могла отвечать ни слова. Конечно, не всякий постигнет настоящую причину этого испуга; но тот, кто имеет некоторый опыт, кто успел уже разгадать женское сердце, — тот без труда поймет, что значит такая необычайная робость.

Х о л м и н

Ну, Иван Степанович, исполать вам! Да я вижу, вы настоящий профессор в этом деле.

В е л ь с к о й *(улыбаясь)*

Опыт, Николай Иванович, опыт! Женщины имели всегда такое сильное влияние на судьбу мою! В жизни моей было столько необычайных случаев, что я... Да вы, верно, знаете французскую поговорку — *à force de forger...*¹

Х о л м и н

Как не знать! Однакож я с вами чересчур заговорился: мне еще надобно кой-куда зайти, а уж теперь, я думаю, час первый?

В е л ь с к о й

Едва ли. Да постойте, выпейте со мною чашку шоколаду.

Х о л м и н

Я его никогда не пью. *(Вставая.)* Прощайте. Только сделайте милость! Если у вас дойдет до какого-нибудь изъяснения с Анной Степановной, так прошу вас, чтоб я был совершенно в стороне.

¹ *A force de forger on devient forgeron* (франц. поговорка) — по мере того как куешь, становишься сам кузнецом.

В е л ь с к о й (*проводяя его несколько шагов*)

Не беспокойтесь. Я коммеражей не люблю, а особенно с тех пор, как живу в провинции. Все то, что слишком обыкновенно, становится скучным. Прощайте. До свиданья.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Обширная комната. Кругом большие шкафы с книгами. В одном углу на столе модели разных машин, воздушный насос и полный гальванический прибор; в другом коллекция медалей и образчики разных минералов. По стенам развешаны эстампы, гравированные с картин Вернета, и портреты Лафаста, Мавюэля, Виктора Гюго, Мирабо, Байрона и леди Морган. Все шкафы и этажерки уставлены бюстами Вольтера, Руссо, Дидерота и других философов прошедшего столетия. Везде, на окнах, в простенках, на столах, бюсты и статуи Наполеона, большие, маленькие, бронзовые, фарфоровые, из слоновой кости, во всех возможных видах и положениях. Посреди комнаты огромный стол; на столе ящик с сигарами, переплетенные в юфть фолианты, один том Conversations-Lexicon'a, романы Жюль-Жанена, Евгения Сю и Жоржа-Занда; «Journal des Débats» и «Revue de deux mondes». Под столом несколько листов «Франкфуртского журнала» и целые кипы русских периодических изданий. К ножке стола привязан веревкою оборванный мальчик лет двенадцати. Князь Верхоглядов сидит в откидных вольтеровских креслах. Он держит в одной руке исписанный лист бумаги, а в другой толстый хлыст. Холмин стоит в дверях кабинета.

К н я з ь (*не замечая Холмина и обращаясь к мальчику*)

Глупое создание! Грубая порода! Ничего не помнит! Ничего не понимает! Да я вколочу в тебя просвещенные понятия! Мало ли я, дурак, толковал тебе об этом?.. Ну, чем человек отличается от медведя?

М а л ь ч и к (*привязанный к ножке стола*)

Человек отличается от медведя образованностью.

К н я з ь

Следовательно, первая обязанность всякого человека...

М а л ь ч и к

Первая обязанность всякого человека...

К н я з ь

Быть кротким и человеколюбивым... Ну!

М а л ь ч и к (*переминаясь*)

И не поступать, как... не поступать, как...

Князь (*бьет его хлыстом*)

И поступать с другими кротко... и сердобольно!

Мальчик (*кричит и плачет*)

Ай, ай!.. Кротко и сердобольно... больно... больно.

Холмин

Что это вы, князь Владимир Иванович, какую науку преподаете?

Князь (*вставая*)

Ах, это вы, Николай Иванович!

Холмин

Извините, что я вошел к вам без доклада: в лакейской никого нет.

Князь

Как никого? Возможно ли! (*Бежит к дверям и вдруг останавливается.*) Да, да! Совсем забыл. Вы знаете, что я либерал, европеец; что я ненавижу эту азиатскую роскошь и никогда не держу более четырех слуг: вчера я должен был двух прогнать в деревню...

Холмин

А третьего я сейчас повстречал: он, кажется, ведет четвертого в кабак, чтоб утешить его в горе после острастки.

Князь

Негодяй!.. Закоренелый невежда! Как вы думаете? Он не только не хотел мне верить, но даже осмелился спорить со мною, когда я стал ему толковать, что у нас нет еще ни одной книги... (*Отвязывает мальчика.*) Пошел в лакейскую!.. Да если ты выйдешь за ворота!.. (*Мальчик уходит.*) Прошу покорно садиться. Ну что, не слышали ли чего-нибудь нового? Правда ли, что в Петербурге входят в большое употребление артезианские колодцы?

Холмин

Нет, не слышал. Да для чего бы это?

Князь

Какой вопрос! Помилуйте, Николай Иванович, да будем ли мы когда-нибудь европейцами?

Холмин (*улыбаясь*)

А разве европеец непременно должен пить воду из артезианского колодца?

Князь

О святая Русь!.. Да неужели вы не постигаете, что отвергать все улучшения, держаться во всем старины, стоять на одном месте, когда вся Европа движется вперед, есть самый верный признак непросвещения.

Холмин

Нет, князь, я постигаю, что хорошее перенимать вовсе не стыдно; да только вот беда — не все хорошее равно хорошо для всех. Перенимать, не думая о том, полезна ли будет эта новость собственно для нас; передразнивать иностранцев только для того, чтоб сказать: «Я иду за веком, я европеец!», воля ваша, а это, по мне, просто пускать пыль в глаза и увлекаться одними фразами, громкими словами, которые, конечно, имеют свою цену после сытного обеда и рюмки шампанского, но которые на тощий желудок никому не годятся.

Князь

Да почему же вы полагаете, что хоть, например, введение артезианских колодцев...

Холмин

Чрезвычайно будет полезно в степных и безводных местах, — в этом, конечно, никто с вами спорить не станет: но в Петербурге, где подчас от воды не знают куда деваться, смею вас спросить, какую пользу принесут эти артезианские колодцы?

Князь

Пользу? Пользу? Вы только думаете о пользе! Да знаете ли, сударь, что эти-то меркантильные расчеты и убивают все на свете. Прошу говорить о просвещении, вышних взглядах с людьми, которые считают копейки!

Холмин

Что ж делать, князь! Каждый думает по-своему. По мне, всякое новое изобретение, служащее к улучшению общественного быта, тогда только достойно подражания, когда оно приносит действительную пользу не одному человеку, не одному и малочисленному классу людей, а целому обществу. Все то, что не облегчает труда рабочих людей, не улучшает состояния простого народа, не оживляет торговли, не уменьшает расходов на первые и необходимые потребности человека, одним словом, что не доставляет существенной и общей пользы, едва ли может быть предметом безусловного подражания. Я удивляюсь изобретательному гению человека, который придумал артезианские колодцы, и стал бы еще более удивляться тому,

кто нашел бы способ извлекать из воздуха чистую речную воду; но верно бы не решился тратить и время и деньги на то, чтоб для вседневного употребления добывать воду посредством химического процесса, когда могу просто зачерпнуть ее в реке. Вот, я очень понимаю всю пользу канала, который устраивается теперь близ древней нашей столицы для соединения Москвы реки с Волгою: когда барки с товаром не должны будут отправляться из Москвы в Нижний, чтоб попасть в Петербург, так тут не трудно понять, для чего правительство учреждает это водяное сообщение.

К н я з ь

Водяное сообщение! И, Николай Иванович, кто в наше время станет заботиться о водяных сообщениях! Да разве вы не знаете, что чугунные дороги давно уже убили все каналы?

Х о л м и н

Может быть; но до тех пор, пока у нас нет еще чугунных дорог...

К н я з ь

Да что у нас есть! Степи, леса, болота. Нам еще надобно многому учиться у иностранцев, много перенять... Нет, Николай Иванович: я совершенно согласен с одним из наших мыслителей, что мы до тех пор не поумнеем, пока не перейдем не только обычаев, но даже одежды иностранцев.

Х о л м и н

Вот что! Вероятно, князь, это касается до нашего простого народа, потому что мы с вами давно уже носим фракы. А что вы думаете? В самом деле, наш русский мужичок точно поумнеет, если вместо своего теплого овчинного тулупа наденет, а особенно зимою, холодный немецкий камзол или холстинный блуз французского крестьянина. Хоть, по правде сказать, я не очень вижу, почему наш толковый простой народ глупее французского, и когда в тысяча восемьсот четырнадцатом году мне удалось побывать во Франции...

К н я з ь *(перерывая с досадою)*

Да! Вы были в Париже точно так же, как были в нем целые поколения башкирцев, но что от этого прибыли, когда вы смотрели на все сквозь призму этого — извините! — кислого патриотизма, которого душа моя выносить не может. Нет, почтенный Николай Иванович! Вы человек умный, не без познаний, много читали; но несмотря на это — признайтесь — вы очень, очень отстали от нашего века.

Х о л м и н (*улыбаясь*)

Статься может, князь. Я человек пожилой, бегать не мастер, да и боюсь: как раз спотыкнешься.

К н я з ь

Мы этого не боимся.

Х о л м и н

И, полноте, князь! Будто бы вы никогда и ни в чем не ошибались? Несмотря на премудрость, *глубину* и либерализм нашего века, мы точно так же, как прежде, рабы своих собственных страстей: следовательно, ошибаемся, делаем глупости и всегда восстаем против здравого смысла, если он противоречит нашему образу мыслей. Встарину закоренелые невежды называли благоразумного человека вольнодумцем, а нынче его же, и может быть те же самые люди, назовут старовером, отсталым и варваром. Нет, Владимир Иванович, люди всегда останутся людьми. Да одна любовь сколько глупостей заставляет нас делать не только в молодых летах, но в годах зрелого рассудка; и если, князь, вы когда-нибудь любили...

К н я з ь

Я?.. Если я любил!.. И вы это спрашиваете?.. У меня?

Х о л м и н

Ого! Да вы, кажется, и теперь любите?

К н я з ь

С безумием, с неистовством!

Х о л м и н

Ай, ай, ай!

К н я з ь

Как Ромео любил свою Джульетту, как Дюмасов Антоний свою... свою...

Х о л м и н

Невесту?

К н я з ь

Нет. Жену другого.

Х о л м и н

Ах, батюшки! Да неужели и вы так же?..

К н я з ь (почти с горем)

О нет! Она свободна.

Х о л м и н

Слава богу! Да кто же эта красавица, которая, как видно, к крайнему вашему прискорбию, может законным образом принадлежать вам?

К н я з ь

Она? Это фантастическое создание пламенного юга? Эта полувоздушная Пери? Эта Сильфида?.. О, как она прекрасна! Какое блаженство летя из-под ее сладострастно опущенных ресниц! Она... Да неужели вы не отгадали, о ком я говорю?

Х о л м и н

Нет, князь. Это пиитическое описание вовсе меня с толку сбило.

К н я з ь

Виноват! Я позабыл, что ваш идеал красоты не может быть сходен с моим. Вы любите русскую красоту. По-вашему, была бы только бела да дородна, да румянец во всю щеку. А так как ваша крестная дочь бледна и худощава...

Х о л м и н

А, так вы это говорите о Вареньке?

К н я з ь

Да о ком же, Николай Иванович? Кого мог бы я назвать Сильфидою?

Х о л м и н

Вот что. Вероятно, и вы, князь, ей также нравиться?

К н я з ь

О, мы давно уже понимаем друг друга. С месяц тому назад я приехал поутру к Анне Степановне; в гостиной никого не было; но на столе лежало рукоделье и белый платок, он был смочен — вымыт слезами.

Этот платок был ее!

Я невольно прижал его к груди, и чувство сладостное и горькое, чувство, вовсе до того мне не знакомое, как дикий зверь впилося в мое сердце. О, сколько поэзии было в этом брошенном платке!

Этот платок был целая поэма.

Она вошла в гостиную, наши взоры встретились — и все было кончено.

Х о л м и н

Так вы даже не говорили с ней об этом?

К н я з ь

Нет! Один взгляд сказал мне все: я прочел в нем и настоящий ад ее положения и будущий рай моего блаженства. Мне нужно было только переговорить с ее мачехою. Тут земной язык был необходим: мы с ней поладили, и, может быть, недели через две вы поздравите меня женихом.

Х о л м и н

От всего сердца. Но зачем же через две недели? Зачем не прежде?

К н я з ь

Вот уж об этом меня не спрашивайте. Анна Степановна никак не хотела согласиться на мои просьбы и даже требовала, чтоб я от всех скрывал это, как государственную тайну.

Х о л м и н *(значительным голосом)*

Право? Послушайте, князь, делайте, что хотите, но, по моему, чем скорее будет ваш сговор с Варенькою, тем лучше.

К н я з ь

Вы думаете?

Х о л м и н

И имею полное право так думать. Отвечайте откровенно: как вы полагаете, — выдавая за вас свою падчерицу, что имеет в виду Анна Степановна, ее счастье или собственную свою выгоду? Да не церемоньтесь, говорите прямо.

К н я з ь

Ну, если вы хотите, так я думаю, что дело идет вовсе не о счастье вашей крестной дочери.

Х о л м и н

Вот видите! Вы теперь поладили с Анной Степановной; а если кто-нибудь другой поладит с ней еще более... Вы меня понимаете?

К н я з ь

Понимаю. Но разве вы имеете причины подозревать, что кто-нибудь другой...

Х о л м и н

Я не скажу вам ничего. Только советую не соглашаться ни на какую отсрочку. Эй, князь, куйте железо, пока оно

горячо! Вы не знаете Анны Степановны: она готова объявить торги и с аукциону продать свою падчерицу.

Князь

Что вы говорите?

Холмин

То, что внушает в меня искреннее желание выдать мою крестную дочь за человека, который ее достоин и за которым она, верно, будет счастлива.

Князь

Мне чрезвычайно приятно слышать, Николай Иванович. Я вам очень благодарен.

Холмин

Не беспокойтесь, князь. Вам, право, не за что меня благодарить.

Князь

Так вы думаете, что я должен...

Холмин

Настоятельно требовать, чтоб все было решено, и как можно скорее. Да оно, впрочем, и натурально. Вы сами говорите, что любите без ума Вареньку, а любовь всегда нетерпелива. Это знают все. Это даже поймет и Анна Степановна: ведь всякий из нас любил хоть раз в своей жизни.

Князь

Любил? И, полноте! Да знают ли у нас, что такое любовь? Могут ли холодные сердца, воспитанные на квасе, понимать это чувство, исполненное жизни и энергии? Взгляните на изображение этой неукротимой страсти во всех произведениях юной европейской словесности, — и если дыхание не сопрется в груди вашей, если волосы ваши не станут дыбом, если вы не постигнете всей прелести этих судорожных восторгов, этих неистовых порывов страсти, этой адской пытки и райского наслаждения, то сделайте милость, Николай Иванович, — кушайте на здоровье ваши соленые огурцы, живите две трети года по уши в снегу, заведите, если хотите, хозяйкою: только, бога ради, не говорите ничего о любви!

Холмин

Слушаю, ваше сиятельство! Впрочем, если за мои грехи господь бог пошлет на меня горячку с пятнами, так, может быть, тогда...

Князь (*почти с презрением*)

Не будемте говорить об этом! Скажите-ка лучше, увижу ли я вас сегодня вечером у княгини Ландышевой?

Холмин

Не думаю.

Князь

Я постараюсь приехать к ней поранее. Вот женщина, с которой еще можно провести без скуки несколько часов. Не правда ли, что она вовсе не походит на нашу русскую барыню?

Холмин (*улыбаясь*)

А мне так кажется, что очень походит. Однакож прощайте, князь: мне пора домой!

Князь (*провожая его несколько шагов*)

Очень вам благодарен. До свиданья!

III

Начиная эту повесть, я, кажется, говорил уже моим читателям, что почти в каждом губернском городе дворянское общество разделяется на несколько кругов. Надобно прибавить к этому, что ни в одной из столиц этот раздел не наблюдается с такою строгостью, как в провинции. Можно было бы сравнить эти отдельные круги с индийскими кастами, если бы иногда, в табельные дни за обеденным столом у губернатора и на балах Благородного собрания, не сливались они в одно общество; но и в этих редких случаях самый высший круг отличается обыкновенно от других и туалетом и французским языком, а более всего тем свободным обращением и насмешливою улыбкою, которые, как клад, не даются деревенским мелкопоместным барышням и дочерям ассессоров, стряпчих и секретарей.

Молодая вдова княгиня Ландышева занимала первое место в числе этих блестящих созвездий городского общества. Дом ее был сборным местом всех модных дам высшего круга и молодых фешенебельных людей всей губернии. Княгиня Ландышева имела весьма хорошее состояние, наружность приятную и столько ума, чтоб с первого взгляда не показаться глупою: она знала наизусть множество красноречивых фраз, в которых

не было здравого смысла, и все то, чего не понимала, называла «тривиальным»; говорила весьма хорошо по-французски, не делала никогда *des liaisons dangereuses*¹ и выговор имела самый чистый. Но это еще ничего: она два раза ездила в Карлсбад, провела целое лето в Дрездене и сверх того, — о господи, помилуй нас грешных, — два месяца жила в Париже! Ожесточение, с которым она преследовала все русское, было бы очень забавно, если б она не так часто прибегала к этому средству выказывать европейское просвещение. Впрочем, надобно сказать правду, в этом отношении ей нечем было похвастаться перед своими приятельницами. Конечно, и наши московские барышни, — дай бог им доброго здоровья, — не упустят случая сделать обидное сравнение между чужим и своим отечеством, но у них бывают иногда минуты милосердия и справедливости: случается, что они похвалят отечественного художника, прочтут с удовольствием русскую книгу и даже, к ужасу своих почтенных матушек, решатся подчас назвать глупцом француза, если он точно пошлый дурак: но наши провинциальные молодлицы!..

Жестокие созданыя!
Они не знают состраданья
И душат сряду всех.

Небольшой круг, которого главою была княгиня Ландышева, называл сам себя обществом людей «высокого полета», — извините, не умею лучше перевести французского выражения *de la haute volée*. В числе этих высоколетающих господ, разумеется, первые места занимали князь Владимир Иванович и Вельской, а между дамами отличались особенно высоким полетом Анна Ивановна Златопольская и Глафира Федоровна Гореглядова. Первая — женщина лет тридцати пяти, с томными глазами, глубокой чувствительностью и огромным носом, который, *par procédé*,² называли греческим. Она жила большую часть года в своем городском доме, ездила по балам для того, чтоб поддерживать знакомство, давала у себя вечера для своей дочери, которой еще никуда не вывозила, и не мешала заниматься хозяйством своему мужу, который жил почти безвыездно в деревне, пахал землю, курил вино и ездил с собаками. Вторая, то есть Глафира Федоровна Гореглядова, лет двадцати двух, весьма приятной наружности, ловкая стройная женщина, которая так грациозно приседала, входя в комнату, и так мило припрыгивала, когда подходила целоваться с хозяйкою дома, что все девицы и молодые женщины низшего полета смотрели на нее с каким-то благоговением и удивлялись ей со

¹ Опасные связи (*ред.*).

² По установившемуся обычаю (*ред.*).

страхом и трепетом. Старик муж ее, человек богатый, но скупой и месяпев десять в году прикованный подагрой к своим вольтеровским креслам, жепился на ней для того, чтоб не сидеть одному дома, а она вышла за него потому, чтоб разъезжать с утра до вечера по гостям. Сначала он сердился; потом, как следует, перестал; и чтоб не умереть от скуки, бил хлопущую мух, выводил канареек и играл в марьяж с своим дворецким. Весь город дивился их согласию, и все называли старика Гореглядова отменно счастливым.

Часу в седьмом вечера в тот самый день, в который поутру Николай Иванович Холмин сделал три визита, описанные в предыдущей главе, княгиня Ландышева в ожидании гостей, которые и в провинции не съезжаются прежде девятого часа на вечер, сидела в гостиной с приятельницами своими, Златопольской и Гореглядовой. Перед ними на столе лежали две французские книги в синей красивой обертке: это были «Сцены из приватной жизни», сочинение г. Бальзака.

— «Сцены из приватной жизни!» — сказала Гореглядова (разумеется, по-французски), перебирая листы первого тома. — Это название не много обещает.

— Я получила их сегодня, — прервала княгиня. — Говорят, что они очень интересны.

— Но уж, верно, не так, как романы моего милого Дарленкура, — подхватила Златопольская, закатив под лоб свои чувствительные глаза.

— И я сомневаюсь в этом, — сказала княгиня. — Кто написал «Неизвестную», «Ренегата», «Инсибоэ»...

— А «Пустынника!» — вскричала Златопольская: — А «Пустынника!» Fuis, fleuve de la vallée!..¹ О Дарленкур! — Я читала, однакож, — продолжала княгиня, — в одном русском журнале, что этот Бальзак...

— Ах, перестань, ma chère!² — прервала Златопольская. — Что может сравниться с Дарленкуром... Fuis, fleuve de la vallée!

— Это правда, — прибавила Гореглядова. — Кто читал «Инсибоэ», «Ренегата»...

— И знает наизусть «Пустынника», — сказала Златопольская, — тому не скоро поправится какой-нибудь Бальзак. Да он же и старый писатель! Я еще ребенком слыхала об нем от нашего французского учителя. Какая разница мой милый Дарленкур... Oh, fuis, fleuve...

— Ольга Федоровна Зарецкая! — сказал громким голосом лакей, отворяя двери гостиной.

¹ Теки, река долины (ред.).

² Моя дорогая (ред.).

— Ольга Федоровна! — вскричала княгиня, вставая с канапе. — Так она приехала из Москвы?.. Ах, chère amie, ¹ как я рада, что вы опять с нами! — продолжала она, идя навстречу к пожилой даме, разодетой по последней моде, с преогромными браслетами на руках и колоссальным током на голове.

После обыкновенных лобызаний и отрывистых фраз, которые, разумеется, должны всегда выражать искреннюю радость, хозяйка и гости уселись вокруг стола, и между ними начался следующий разговор:

Княгиня. Ах, ma chère, какие у вас чудные рукава! Comme c'est joli! ²

Зарецкая. Да. Это самая последняя мода. Мадам Лебур поклялась мне, что этим фасоном первое платье сделано для меня.

Златопольская. Ах, как мило!

Гореглядова. Прелесть! А косынка?.. Посмотрите!

Зарецкая. Их только что привезли из Парижа. Это шали.

Княгиня. Шали... Да, да, знаю! C'est délicieux! ³

Гореглядова (*тихо Златопольской*). Как все это пестро!.. А этот ток! Боже мой, в пятьдесят лет!.. Elle est d'un ridicule achevé. ⁴

Княгиня. Ну что, ma chère? Вы очень веселились в Москве?

Зарецкая. О, не говорите мне! Я умирала с тоски.

Княгиня. Неужели?

Зарецкая. Ах, ma chère, что за общество! Что за тон! Я вообразить себе не могла, чтоб в городе, который называется столицей, было так мало хорошего тона. Одни названия улиц выведут всякого из терпения, например я остановилась у моей родственницы в собственном ее доме — как вы думаете, где? — на Плющихе!!!

Златопольская. На Плющихе? Dieu! Comme c'est vulgaire! ⁵

Зарецкая. А как живут, ma chère! Вот однажды пригласили меня на бал в один дом, помнится, за Москвой-рекой, на Зацепе...

Гореглядова. На Зацепе? Боже мой, какие *тривиальные* названия!

Княгиня. Согласитесь, что это может быть только у нас.

¹ Дорогой друг (*ред.*).

² Как это красиво (*ред.*).

³ Это восхитительно (*ред.*).

⁴ Она невероятно смешна (*ред.*).

⁵ Боже! Как это вульгарно (*ред.*).

З а р е ц к а я. И только в Москве. Вот мы ехали, ехали какими-то огородами, Крымским Бродом... Ужас! И что ж, вы думаете, нашли на этом бале?.. Хозяйку, которая заговорила с нами по-русски, голые деревянные стены и сальные свечи в запачканных хрустальных люстрах.

К н я г и н я. Нет, шутите!

З а р е ц к а я. Уверю вас. По этому вы можете судить о прочих. Я была на публичном бале только однажды, на масле. Зала недурна: но что за тон! что за манеры! Молодые люди ходят взад и вперед, никто не обращает на вас никакого внимания, и если вы не хотите сидеть на скамейке, то уж, конечно, не догадаются подать вам стула. Я это испытала на себе.

К н я г и н я. А театр, та с^hère?

З а р е ц к а я. Французский — прелесть; но зато русский!.. Вы не можете себе представить!.. Что за актеры, какие названия у этих актеров! Щепкин, Репкин. Ну, поверите ли, тошно слышать! А как они играют!.. Меня уговорили однажды посмотреть какую-то оперу; кажется, «Волшебного стрелка». Ну, та с^hère, признаюсь; мне стало стыдно, что я русская. Но это еще ничего: подле меня в ложе какой-то господин, которого называли графом, начал говорить с своими дамами и хвалить игру актеров, декорации, костюмы, словом, все, и даже уверять их, что он видел эту оперу в Париже и что она дается там не лучше, чем в Москве. Как вы думаете? Эти дамы, которые, впрочем, одеты были недурно и, казалось, принадлежали к хорошему обществу, слушали его, как оракула! Такое невежество вывело меня совершенно из терпения, и чтоб показать этому господину, как мне гадко было слушать его наглухо ложь, я вскочила, накинула шаль и тотчас уехала из театра.

К н я г и н я. Признаюсь, и я на вашем месте не усидела бы спокойно.

Г о р е г л я д о в а. Вы меня удивляете, Ольга Федоровна.

К н я г и н я. Ах, та с^hère, чему тут удивляться! Да разве прошлого года не были у нас приезжие из Москвы? Помнишь этого князя Брянского и еще какого-то ученого? Ну вот этих, которые... ха, ха, ха!.. которые преважно объявили, что вояжируют по России. Они не хотели сблизиться с нашим кругом, — а с кем были знакомы? С Волгиными, с Дубровиным, с Закамским, с этим невежею Холминым. Помнишь, что они говорили: «Вот почтенные люди! Вот настоящие русские дворяне! Вот истинно просвещенные помещики!» Просвещенные! А первый Дубровин говорит по-французски так, что без смеха нельзя слышать.

З а р е ц к а я. Ну, та сhèге, я в Москве видела двух вояжеров англичан, которые еще хуже Дубровина коверкают несчастный французский язык.

К н я г и н я. И, та bonne amie! ¹ Да зато они прекрасно говорят по-английски.

З а р е ц к а я. Да; это правда. Да что это за князь Брянской, та сhèге? Я что-то никогда не слыхала этой фамилии. Что он такое?

К н я г и н я. Как что? Он принадлежит к лучшему московскому обществу — я это знаю.

Г о р е г л я д о в а. О, если так, то, кажется, нам нечего перенимать у Москвы.

З л а т о п о л ь с к а я. Нам перенимать? Нет, та сhèге, не мы у Москвы, а Москва должна перенимать у нас.

К н я г и н я. Да, да! Не мешало бы ей поучиться здесь хорошему тону и спросить у нас, что значит образованный вкус.

З а р е ц к а я (*которая между тем взяла в руки одну из книг*). Ах, боже мой! Бальзак!

К н я г и н я. Вы его знаете, та сhèге?

З а р е ц к а я. Бальзака? Какой вопрос! Вся Москва от него без ума.

Г о р е г л я д о в а. Неужели?

З л а т о п о л ь с к а я. Однакож, верно, Дарленкур...

З а р е ц к а я. Фи, та сhèге, что вы говорите? Дарленкур! Да его уж никто не читает, все над ним смеются. Но Бальзак!.. Ах, Бальзак!! В Москве нет ни одной порядочной женщины, которая не знала бы его наизусть.

К н я г и н я. В самом деле?

З а р е ц к а я. Да, та сhèге. Когда на масленице я была в Благородном собрании, кто-то сказал, что Бальзак в Москве. Потом стали говорить, что он в собрании. Боже мой, как все дамы засуетились, какая пошла тревога, шум, расспросы, и одного молодого человека, который с виду походил на француза, совсем было задушили. К счастью, он заговорил по-русски: это его спасло.

З л а т о п о л ь с к а я. Ах, та сhèге, вы, верно, дадите мне прочесть эти книги.

Г о р е г л я д о в а. И мне, та bonne amie!

К н я г и н я. С большим удовольствием... когда прочту их сама.

С л у г а (*растворяя дверь*). Анна Степановна Слукина!

К н я г и н я. Ну так! Всегда первая!.. Как она мне надоела! (*Идет к ней навстречу.*) Вот одолжила, Анна Степановна!

¹ Дружок (*ред.*).

Это по-приятельски. Чем ранее, тем лучше... А, Варвара Николаевна! Bon soir, mon enfant! ¹

Через полчаса в гостиной княгини Ландышевой играли уже на трех столах в вист, а в зале музыканты настраивали свои инструменты. Иван Степанович Вельской и Алексей Андреевич Зорин были налицо; но Анна Степановна не взяла карточки, потому что недоставало князя Владимира Ивановича, чтоб составить ее всегдашнюю партию. Четвертого игрока найти было нетрудно, да только, может быть, он не стал бы прощать Анне Степановне ренонсы и не позволил бы ей приписывать онеров. Вот уж в гостиной стало тесно. Вот загремела музыка, и несколько вежливых кавалеров с проседью *подняли* с полдюжины почетных дам и первых чиновниц общества. Переваливаясь с ноги на ногу, они потащились в залу, чтобы, как водится, открыть бал неизбежным польским. Молодые люди нехотя пристали к ним, и длинный ряд танцующих, изгибаясь и изворачиваясь в разные стороны, начал прохаживаться по зале и всем открытым комнатам. В третьей паре Вельской вел Анну Степановну, которая с приметным нетерпением посматривала вокруг себя.

— Что это наш князь Владимир Иванович не едет? — сказала она, наконец, своему кавалеру. — Охота же ему терять золотое времечко! Да не сесть ли нам, батюшка Иван Степанович, втроем? Я буду играть парти-фикс с болваном.

— Князь скоро будет, — отвечал сухо Вельской, — а между тем я хочу воспользоваться его отсутствием и спросить вас — слышали ли вы, что говорят в городе?

— А что такое?

— Вы, верно, не забыли, зачем приезжала к вам третьего дня моя кузина. Вы почти дали ей слово; а несмотря на это, говорят, будто бы имеете какие-то другие виды на Варвару Николаевну. Я не хочу этому верить; но согласитесь, что такие слухи очень неприятны, особливо для человека, который, смею вас уверить, не привык играть жалкую роль всесветного жениха. Так извините, Анна Степановна, если я попрошу вас не откладывать моего благополучия и объявить решительно, что вы принимаете мое предложение.

— Что вы, что вы, Иван Степанович? Подумайте! Место ли здесь?..

— Да я и не прошу вас делать помолвку здесь, на бале, а если позволите, приеду к вам послезавтра с моей кузиной.

— Послезавтра? То есть в пятницу? Помилуйте, что за экстра такая и к чему так торопиться?

— Да хоть бы для того, сударыня, чтоб уронить эти вздор-

¹ Добрый вечер, дитя мое (*ред.*).

ные слухи, столько же обидные для вас, сколько и для меня. Впрочем, я не хочу никак вас женировать, — извольте, я приеду к вам не в пятницу, а в субботу; но тогда уже попрошу у вас позволения известить всех родных и приятелей о моей помолвке. После того, что вы изволили говорить моей кузине, я не смею и сомневаться...

— Помилуйте, да что ж я такое говорила? — прервала с большим смущением Анна Степановна. — Конечно, я сказала ее превосходительству, что для меня весьма приятно, что я очень буду рада...

— Следовательно, вы согласны? И позвольте вам сказать, Анна Степановна, что после этого всякое с вашей стороны затруднение будет явным доказательством, что вы хотели нас дурачить, смеяться надо мною, над моей кузиной, над всем нашим семейством... Но, виноват! Я вижу, что уж одно это обидное предположение вас огорчает. Итак, в субботу! Вот и польский кончился. Теперь я в ваших приказаниях, и если вам угодно играть втроем в вист...

Но Слукиной было не до виста: она отказалась и села в зале между матушек, тетушек и старших сестриц. Поиграв еще несколько минут польский, музыка перестала, и из толпы нетерпеливых танцовщиков, между которыми было человек пять военных, раздалось, наконец, давно жданное восклицание: «Вальс!» Музыканты заиграли вальс из «Волшебного стрелка», и этот исполненный жизни, веселый и невинный танец начался...

Невинный! Какая пошлая ирония! Какая старая, избитая насмешка! Извините, я вовсе не шучу; и повторяю еще раз без всякой иронии, что этот танец точно так же невинен, как и все прочие — как шеголеватая французская кадриль, как блестящая мазурка, как давно забытые экосезы и даже как древний чопорный менуэт. Английские писатели, а вслед за ними французские, а вслед за французскими наши немилосердно клеветают на бедный и, право, безвинный вальс. Послушайте их, как сердце девушки бьется почти в одной груди с сердцем того, кто с ней танцует, как дыханья их сливаются, как шелковые волосы красавицы касаются его пылающих щек, как, рука в руку, душа в душу, они не летают по гладкому паркету, а отделяются от земли, живут в другом мире и прочая. Ну, прошу после этого верить печатному! Я спрашиваю всех молодых людей, что может быть невиннее этого удовольствия и приходит ли кому из них на ум в то время, когда он вальсирует с какой-нибудь красавицей, что она почти лежит в его объятиях? Чувствует ли он какое-нибудь особенное удовольствие от того, что рука ее покоится на его плече, и не предпочтет ли он праву обвивать свою рукою ее талию и вертеться с нею в каданс дозволение просто, без

всяких танцев, и украдкой взять ее за руку? Почему правверный мусульманин, не имеющий никакого понятия о наших обычаях, отвернется с отвращением от самой добродетельной женщины, которая подойдет к нему с открытым лицом, и-почти-точно будет смотреть на какую-нибудь Нинон Ланкло, если она окутает свою голову вуалью? Потому, что наши дамы, даже и не очень красивые, не прячут ни от кого своих лиц, а на Востоке без покрывала ходят одни только женщины, принадлежащие к самому последнему и презрительному разряду общества. Почему какая-нибудь краса Востока, пламенная черноглазая турчанка, трепещет и дрожит, как преступница, почему сердце ее замирает от восторга и ужаса, когда она откидывает назад свое покрывало перед мужчиною? Потому, что, открывая лицо свое, она делает все то же самое, что сделала бы наша русская барышня, если б сказала мужчине: «Я люблю тебя и хочу быть твоею». Теперь видите ли, что в нашем житейском быту не самое действие, но мысль, которую мы к нему привязываем, делает его или совершенно невинным, или решительно преступным в глазах наших? И вот почему я называю невинным танец, который, несмотря на все пиитические описания, не может возбуждать в нас никаких дурных помыслов: потому, что право обнимать гибкий стан девушки и держать в руке своей ее руку принадлежит не исключительно одному, но всем, то есть каждому, кто танцует, и по этой самой причине не говорит ничего нашему воображению, не ведет нас ни к чему и, следовательно, не значит ничего.

Но, виноват! Заступаясь за бедный, оклеветанный вальс, я забыл совсем про мою, не столь невинную, Анну Степановну. «В субботу! — повторяла она про себя: — в субботу! А дело мое слушают еще на будущей неделе... Нет, батюшка Иван Степанович, хоть вы и родня нашему губернатору, а не прогневайтесь! Своя рубашка к телу ближе. Не хотелось бы мне ссориться с ее превосходительством... Ну, да делать нечего!»

В эту самую минуту обе половины дверей перед ней запахнулись, и губернаторша, в провожании двух дам, вошла в залу. Она сказала что-то мимоходом хозяйке и, не замечая никого, прямо подошла к Слукиной; расцеловалась, села подле нее на стуле и наговорила ей столько приятных вещей, что бедная статская советница совсем одурела, особливо когда губернаторшины ассистентки принялись одна перед другой уверять ее в своей дружбе, любви и уважении. Вся твердость ее поколебалась. «Ах ты, господи боже мой! — думала она, когда губернаторша уселась с своим причетом за ломберный столик. — Да что же мне делать? Итти на явную ссору с ее превосходительством после таких ласк? Теперь я почти первый человек на бале... а тогда! И взглянуть-то на меня никто не захочет.

Ох, да ведь они требуют приданого... непременно потребуют! А мое дело?.. Ахти! Беда, да и только».

— Здравствуйте, матушка Анна Степановна! — сказал председатель гражданской палаты Зорин, усаживаясь подле Слукиной. — Рад сердечно, что могу с вами словечка два перемолвить. Да где же Варвара Николаевна?

— Здесь, батюшка Алексей Андреевич! Разве не видишь, танцует вот с этим гусарским офицером... как его?

— С Тонским.

— Да, батюшка. Да что ж она с ним так растанцовалась!.. Не видит, что ты здесь, а то давно бы кончила, чтоб подойти к нам. Уж как она тебя уважает, Алексей Андреевич, как любит!.. Варенька, поди сюда, мой друг. Ну вот, ты все спрашивала — да будет ли сюда Алексей Андреевич? Да придет ли он? Вот он, налицо. Ну что, успокоилась?

Бедная Варенька поглядывала с удивлением на свою мачеху, краснела, приседала и не знала, что ей отвечать.

— Как вы изволили вспотеть, Варвара Николаевна! — сказал с вежливою ужимкою Зорин, целуя у ней руку. — Слово розан раскраснелись. А что? Верно, очень устать изволили?

— Нет-с! — отвечала рассеянно Варенька, поглядывая в ту сторону, где стоял прекрасный собою молодой человек в гусарском виц-мундире.

— Вы, как вижу, отменно любите танцы, — продолжал Алексей Андреевич.

— Да-с.

— Угодно вам французскую кадрили? — сказал, шаркнув ногою, долговязый недоросль с огромным хохлом и накрахмаленными брыжами.

Варенька подала ему руку, а Зорин снова обратился к Анне Степановне.

— Сегодня, матушка, я целое утро занимался вами, — сказал он вполголоса.

— Мною, Алексеей Андреевич?

— То есть вашей тяжбою.

— Покорнейше вас благодарю.

— Ох, Анна Степановна, надели вы мне петлю на шею!

— Как так, батюшка?

— Да ведь дело-то ваше больно плоховато.

— Что ты, мой отец? Дело чистое, святое!

— Нет, матушка Анна Степановна, пополам с грешком. Конечно, можно бы повернуть его иначе, да чтоб оглядок не было. Ведь решение уездного суда не закон, а голословные доказательства вашего права не документы, матушка Анна Степановна!

— Ну, Алексей Андреевич! Не думала я, чтоб ты...

— Да что ж мне делать! — прервал председатель. — Я вам докладываю, что дело ваше очень плоховато. Конечно, один бог без греха: что и говорить, как подчас не покривить душой для родного человечка!..

— Ну вот то-то и есть, батюшка!

— Да ведь мы еще с вами не родня, Анна Степановна!

— Я тебе говорила, мой отец, возьми терпенья недельки на три.

— Так и вы уж, матушка, потерпите.

— Как потерпеть? А не ты ли мне сказал, что на будущей неделе?..

— Мало ли что говорится, сударыня! Да ведь я же вам не перед зеркалом это объявил, и мои слова в протокол не записаны.

— Ну, батюшка Алексей Андреевич, покорнейше благодарю!

— Да что, Анна Степановна, из пустого в порожнее переливать! Не угодно ли вам этак денька через три помолвку сделать: так я за ваше дело примусь порядком. А там, как свадебку сыграем, так на другой день и резолюцию подмахну.

— Что ты, что ты, мой отец? Через три дня помолвка! Да ведь это не что другое, около пальца не обведешь. Через три дня! Да в уме ли ты, батюшка?

— Как угодно, Анна Степановна! Ваш разум, ваша и воля.

— И где видано? Пристал как с ножом к горлу!

— И, матушка Анна Степановна! Давно ли вы сами проволочек не жалуете? Так за что же и мне их любить?.. Но извините, господин Вельской сказал мне, что вы от партии отказались: так я взял карточку, и, чай, меня дожидаются. Подумайте хорошенько, матушка. Денька через два я сам у вас побываю. Честь имею кланяться!

Анна Степановна не успела еще образумиться от такого неожиданного нападения, как вдруг худощавый мужчина высокого роста, с усами, густыми черными бакенбардами, которые, сходясь под галстуком, обхватывали, как рожками, бледное лицо его, явился перед нею и молча устремил на нее свои блестящие глаза.

— Ах, князь Владимир Иванович! — вскричала Слукина. — Это вы?

— Да, сударыня, это я, — прошептал князь, продолжая смотреть на нее с этой «горькой» байроновской улыбкою, о которой так много говорят новейшие французские писатели. — Это я! — повторил он тихо, но таким мрачным и глухим голосом, что у статской советницы сердце замерло от ужаса.

— Ах, батюшка, ваше сиятельство! — сказала она с беспокойством. — Да что с вами сделалось?

— Ничего! Безделица, самый обыкновенный случай. Представьте себе, что мне бы вздумалось понтировать и счастье всей моей жизни поставить на одну карту.

— Эх, князь, напрасно! Что вам дался этот банк? Играли бы себе да играли в вистик...

— Да! — продолжал князь, не слушая Слукиной. — Да, все блаженство, все радости, все, что привязывает нас к земле, поставлено на одной карте, и вы думаете, что я позволю банкомету передрнуть?.. Вы меня понимаете?

— Нет, батюшка, не понимаю.

— Скажите мне, Анна Степановна, знаете ли вы, что такое любовь?

— Как не знать, Владимир Иванович! Я очень любила покойника.

— Любили? То есть поплакали, когда он умер; износили черное фланелевое платье и построили деревянный голубец над его могилою?

— Да, князь! Я все это выполнила, как следует.

— Как следует! Нет, Анна Степановна, я говорю вам не об этой любви.

— О какой же, батюшка?

— О той, которая наполняет мою душу; о той, которая не знает и не хочет знать никаких приличий, никаких условий света, которая... Но я вижу, что мне должно говорить с вами определительнее. Эта любовь, сударыня, походит на булатный кинжал черкеса: он гладок, светел и красив, но им играть опасно. Вы меня понимаете?

— Нет, батюшка, не понимаю!

— Послушайте. Я люблю Варвару Николаевну, и если бы кто-нибудь осмелился забавляться этой страстью, шутить счастьем всей моей жизни; если б вы, Анна Степановна...

— Ах, батюшка, ваше сиятельство, что вы, что вы?..

— Я вас спрашиваю, для чего она до сих пор не принадлежит мне? Для чего все эти отсрочки? Кажется, между нами все кончено. Мы сторговались...

— Опомнитесь, князь! Что вы говорите?

— Не прогневайтесь, Анна Степановна! Я ненавижу эту притворную вежливость, которая хочет все на свете усыпать розами. Я люблю называть вещи собственными их именами и повторяю еще раз — мы сторговались, и теперь вы не имеете никакого права продавать эту несчастную сироту с публичного торга, как продают невольниц на базарах Востока. Она моя!

— Тише, князь! Бога ради, тише! Что вы это?..

— Скажите одно слово, и я замолчу.

— Да что это с вами сделалось? Помилуйте! С чего вы взяли, что я отступлюсь от моего обещания? Но ведь надобно также подумать и о Вареньке. Дайте ей хоть немножко к вам привыкнуть, — а то долго ли до беды? Как больно круто повернем да девка-то заупрямится...

— О, об этом не беспокойтесь!

— Ну, бог весть! Ведь она еще молода, глупа, не вдруг поймет, что жениха с четырьмя тысячами душ не встретишь на каждом перекрестке.

— Фи! Что это такое? Да кто вам говорит о душах, Анна Степановна? Я вижу, мы вечно не пойдем друг друга. Послушайте: быть может, вы имеете причины откладывать нашу свадьбу, но я их не имею и говорю вам решительно: или завтра же вы меня примете как жениха Варвары Николаевны, или весь город узнает, как вы торгуете вашей падчерицей.

— Завтра! Как завтра?

— Извольте, я дам вам двое суток на размышление. Слышите ли, Анна Степановна? Двое суток. То есть, — прибавил князь, посмотрев на свои часы: — в пятницу ровно в полночь Варвара Николаевна назовет меня женихом своим, а вы, — как вам угодно, — вы можете меня не называть своим сыном: я об этом не хлопочу.

Сказав это, князь кивнул слегка головою Анне Степановне и пошел отыскивать хозяйку дома.

— Да что ж это такое? — прошептала статская советница. — Что они все, прости господи, белены, что ль, объелись? Ну как они вздумают стакнуться да все трое разом ко мне пристанут? Ах, господи, нет!.. Нет! Уберусь-ка, за добра ума, поскорей домой и завтра чем свет пошлю за Николаем Ивановичем: авось он придумает что-нибудь?.. Варенька! Варенька!.. Не слышит! Да что у ней за шуры-муры с этим Тонским?.. Варвара Николаевна!

— Что вам угодно? — сказала Варенька, подойдя к Анне Степановне.

— А то, сударыня, чтоб вы не изволили перебивать с каждым сорванцом, который танцует с вами на бале. О чем ты, матушка, тараторила полчаса с этим офицериком... а? Уж не подпускает ли он тебе каких-нибудь турусов на колесах? Ну то-то, у меня смотри, сударыня! Да изволь-ка взять свою шаль: мы сейчас едем.

— Как, маменька? Так рано!

— У меня голова очень разболелась.

Когда Слукина сошла с крыльца, чтоб ехать домой, она почувствовала, что кто-то подсаживает ее в карету. Этот вежливый кавалер был Тонской.

— Покорно вас благодарю, батюшка! — сказала она очень сухо: — напрасно изволили трудиться!

Карета застучала по исковерканной мостовой, и кто-то через минуту проскакал мимо нее на дрожках.

— Да что ж это такое? — продолжала Слукина, помолчав несколько времени. — что этот усач, словно осенняя муха, так в глаза мне и лезет? Куда я не люблю этих подлипал!

— А он очень вас любит и уважает, — сказала робким голосом бедная девушка.

— Право?.. А что мне, матушка, в его любви? И на какую потребу уважение этого нищего? Я и сама заметила, что он что-то не путем умильно на меня посматривает. Уж не хочет ли денег попросить взаймы?.. Пожалуй, чего доброго, прикинется, что влюблен в меня. Ведь эта голь хитра на выдумки; на обухе рожь молотит и с камня лыки дерет.

— Вы напрасно, маменька, так дурно об нем думаете. Он очень честный и хороший человек.

— Ась?.. Что, мать моя?

— Я говорю, что он честный и хороший человек.

— Право? Да что ты так за него заступаешься! Что это значит, сударыня?

— Так, маменька; ничего.

— То-то ничего. Правда, я до нынешнего дня не замечала, чтоб ты с ним пускалась в большие разговоры, да и не думаю, чтоб этот однодворец осмелился... Но как бы то ни было, а прошу вас, сударыня, вперед с ним не фамильярничать: я этого не люблю. Да вот уж мы и приехали. Ну что сидишь? Вылезай, матушка!

Варенька выпрыгнула из кареты, и, когда обернулась назад, сердце ее забилось от радости: насупротив, в маленьком домике, светился огонек, и подле открытого окна сидел Тонской.

IV

— Голубчик, Николай Иванович! Батюшка! Будь отец родной! Приставь голову к плечам! — так говорила Анна Степановна Слукина, когда на другой день рано поутру Холмин вошел в гостиную, в которой она его дожидалась.

— Что с вами сделалось, Анна Степановна? — спросил он, садясь подле нее на канапе.

— Ох, беда, кормилец! Сушая беда! Всю ноченьку не спала: уж я вертелась с боку на бок, думала, думала!.. А что проку? Как ни кинь, все клин!

— Да что такое?

— Что, батюшка, худо! Все женихи мои взбеленились.

— Как так?

— Да так; словно заговор какой. Вчера, — да еще, слава богу, что поодиночке, — пристали ко мне: «Реши да реши!» Я и так и сяк. Куда те! И слышать не хотят. Поверишь ли, никто больше трех дней сроку не дает! Этот франт, шематон, губернаторский племянничек, так закидал меня словами, что я чуть было сама не поверила, что выдаю за него Вареньку. А красивое-то семя, выжига проклятая, Зорин, как будто бы ему чорт на ухо шепнул! Формально объявил мне, что дело мое до тех пор не будет решено, пока я сама с ним не порешусь. И даже этот шальной князь, Владимир Иванович: ну, вот так и напирает — да какие речи говорит! Господи боже мой, уши вянут, батюшка!

— Ну, матушка, не предсказывал ли я вам?..

— Эх, Николай Иванович! Брани меня, ругай, да только выручи.

— Выручи! Это легко сказать, Анна Степановна. Как ни вертись, как ни хитри, а надобно объявить, за кого Варенька идет замуж.

— Да лишь только я объявлю, так Зорин и Вельской...

— Что и говорить: житья вам не будет! А особливо Вельской и его семейство...

— Ох, беда, батюшка! Живую съедят. Ведь ты знаешь, какая семейка-то!

— То-то и есть. Впрочем, что ж в самом деле: не за того, так за другого, а надобно выйти замуж. Оно досадно, спору нет: да ведь нельзя же и Вареньке разорваться. Посердятся, посердятся, да перестанут. А вот чего никогда вам не простят — что вы их обманывали, водили за нос, зазнамо дурачили.

— Так, батюшка, так!

— Ну, пусть Варенька выйдет за князя Владимира Ивановича, это еще ничего: только бы вас-то как-нибудь выгородить.

— В том-то и дело, отец мой. Постарайся, родной! Придумай что-нибудь.

— Постойте-ка!.. А что, в самом деле, Анна Степановна! Ведь вы тогда только будете в ответе, когда отдадите сами Вареньку замуж?.. Ну а если она убежит и обвенчается без вашего ведома?..

— Как убежит?

— Ну да! Если ее увезут.

— Увезут? Кто увезет?

— Разумеется, князь Владимир Иванович.

— А, понимаю! Только воля твоя, что ему за радость увозить Вареньку, когда он и без этого может на ней жениться?

— Что за радость? Так вы вовсе его не знаете! Да он, я думаю, с тоски умирает, что должен жениться таким обыкновенным и пошлым образом. О, поверьте мне, Анна Степановна: лишь только я ему намекну, что он может и даже должен увезти свою невесту, так он запрыгает от радости. Да, впрочем, это уж мое дело: не беспокойтесь.

— Но я думаю, мне надобно прежде поговорить об этом с Варенькой?

— Что вы, что вы? Напротив, она должна думать, что все делается без вашего ведома. За скромность мою я вам ручаюсь, но я никак не поручусь вам ни за Вареньку, ни за будущего ее мужа, с которым, вероятно, она секретничать не станет. Вы, я думаю, понимаете всю важность этой тайны. И малейшее подозрение может вас совершенно погубить в общем мнении. А если на беду откроется вся истина, то вы совсем погибли. Весь город на вас обрушится: чего доброго, эту невинную хитрость назовут, пожалуй, подбором, стачкою, фальшивым поступком, вмешают правительство: а вы знаете, Анна Степановна, как судят дворян за фальшивые поступки?..

— Ох, знаю, батюшка, знаю! Лишат чинов и дворянства. Да только, воля твоя, где ж тут фальшивый поступок?

— Как где! Да разве вы не должны будете принести жалобу губернатору? Разве не станете кричать, что Вареньку увезли; что она обвенчалась без вашего ведома и согласия?.. Ведь чем более вы наделаете шуму, тем невиннее будете казаться в глазах тех, которые по милости вашей останутся в дураках.

— Правда, мой отец, правда!

— Не мешайте только мне, а уж дело будет сделано. Да где Варенька?

— У себя, батюшка, на антресолях.

— Так я пойду и переговорю с нею, а вы подождите меня здесь.

Часа через полтора Холмин вошел опять в гостиную.

— Ну что, мой отец? — спросила торопливо Анна Степановна: — уладил ли ты наше дельце?

— Кой-как уладил. Да уж чего же мне это стоило! В одном я не ошибся. Варенька точно равнодушна к князю; но убежать с ним и обвенчаться без вашего ведома никак не хотела.

— Вот что!

— Я объявил решительно, что вы никогда не выдадите ее замуж за того, кого она любит.

— Ну!.. Что ж она?

— Заплакала, а бежать не соглашалась. Я сказал ей, что она не родная ваша дочь и не обязана вам слепым повиновением.

— Ну, ну! Что ж она?

— Согласилась со мною, а бежать не хотела. Я стал ей доказывать, что это один способ выйти замуж, что она вечно останется в девках, если будет дожидаться вашего благословения...

— Ну!

— И в этом не спорила со мною; а убежать никак не решалась.

— Этакая упрямая девчонка! Батюшкин нрав, что и говорить. Да чего ж она хотела?

— Чтоб я дал честное слово, что вы ее простите. Нечего было делать: я побожился ей, что вы, торжественно и при всех, ее простите. Теперь смотрите же, Анна Степановна, не введите меня в слово.

— Так она очень этого добивалась? А не знаешь ли, батюшка, на что ей мое прощение?

— Она говорит, что ей стыдно будет на людей смотреть, если вы навсегда от нее отступитесь.

— Право? Так у ней нет ничего другого на уме?

— А что такое?

— Так, ничего! Впрочем, мы с князем на этот счет уже объяснились; и у меня есть кой-какие документки.

— Документы? Какие документы?

— Так, батюшка, так! Вот изволишь видеть: дело мое вдове; сохрани господи, навяжется зять ябедник, затаскает по судам. Ведь за меня, сиротинку, вступитья некому. Так Варенька хочет непременно, чтоб я ее простила?

— Да, Анна Степановна, и я в этом дал ей честное слово.

— Ну, хорошо! Однакож как ты думаешь, батюшка: все-таки надобно поломаться?

— Немножко, да! Но много не советую: это будет ненатурально. Вы всегда так любили Вареньку, ваша нежность к ней всем известна, и если вы хоть крошечку пересолите, злые люди тотчас скажут, что вы играли комедию.

— Хорошо, батюшка, хорошо! А когда же?

— Чем скорее, тем лучше; а то, бог знает, неравно ваши женихи как-нибудь изъяснятся между собою, так и выдумка наша ни на что не будет годиться. Я думаю, сегодня ночью.

— Сегодня?..

— Да. Скажите, что у вас голова болит. Вареньку спать не укладывайте, а сами часу в десятом лягте почивать. Она скажет своей девушке, что у ней бессонница, и этак часу в двенадцатом пойдет гулять по саду. В задней улице подле калитки будет стоять карета, а я в моей деревне, — знаете, что верст пять отсюда, — стану их дожидаться в приходской церкви. Да уж не беспокойтесь: все будет улажено. Вы, Анна Степановна, не извольте вставать ранее обыкновенного; а как встанете да

хватитесь Вареньки, так и подымите штурм; сейчас карету, к губернатору; ревите, плачьте. Да что вам толковать! — прибавил Холмин, раскрывая свою серебряную табакерку. — Ученого учить, лишь только портить.

Слукина улыбнулась и, понюхав табаку вместе с Николаем Ивановичем, сказала с видом глубокого смирения:

— И, батюшка, где нам! Ведь я человек глупый; что на уме, то и на языке. Да делать нечего: попробую, прикинусь как-нибудь.

— Только смотрите! — продолжал Холмин, вставая. — Если губернатор вас спросит, на кого вы имеете подозрение, не вздумайте намекнуть на князя: он изо всех Варенькиных женихов самый выгодный. Следовательно, тотчас может родиться подозрение, что тут есть с вашей стороны какая-нибудь хитрость и подбор. Стойте в одном — знать не знаю, ведать не ведаю!

— Слушаю, батюшка.

— Прощайте же, Анна Степановна. Я отправляюсь теперь к князю; а там к себе, в деревню. Мне сегодня дела будет много: так не погневайтесь, если я к вам уж не заеду.

Николай Иванович отправился. Вот прошло утро. Вот уж буфетчик Филька в своем засаленном сюртуке вошел в гостиную и доложил, что кушанье готово. Анна Степановна села вдвоем с своей падчерицей за стол. Они обе молчали. Как ни старалась Варенька казаться спокойною, но яркий румянец, который выступал по временам на ее бледных щеках, рассеянные взоры, смущенный вид — все изобличало необыкновенное состояние души. Анна Степановна была также не очень спокойна; кушала очень мало, то есть не за троих, вертелась на своем стуле и беспрестанно поглядывала на стенные часы с курантами, которые висели в столовой.

— Что это поделалось с нашей барыней? — шептали меж собой слуги. — Словно в воду опущенная! Словечка не вымолвит! Да и барышня-то не краше ее.

— Посмотри-ка, Парфен! — сказал буфетчик, сдавая повару непечатое блюдо: — что за диковинка такая? Барыня не изволила сегодня и левашников кушать.

— Да, брат, это недаром! — заметил повар, поглядывая с удивлением на любимое «хлебное» Анны Степановны. — Все до одного целехоньки! Ну!..

Так прошел весь день. Часу в девятом Анна Степановна стала жаловаться на головную боль, повязалась намоченным в уксусе полотенцем и беспрестанно нюхала одеколон.

— Ах, как у меня голова расходилась! — промолвила она наконец болезненным голосом. — Лягу пораньше, авось сном пройдет. А вы, голубушки, смотрите, — продолжала она, обращаясь к своим горничным девушкам, — прошу не мешать

мне спать; что бы ни случилось, не смей никто меня будить. Слышите?.. Ах, господи, словно молотками в виски колотит. А все оттого, что совсем моциону не делаю. Да и ты, Варенька, вовсе не ходишь; все сидишь за рукоделем. Ну что хоть теперь: вечер славный, пошла бы себе гулять по саду. Эх вы, барышни, барышни! Толку-то в вас нет: или всю ночь танцуете до упаду, или целый день сидите на одном месте. В твои годы я, бывало, такую теплую ночь напролет гуляю. Ступай-ка, мой друг, ступай. Как обойдешь раз двадцать все дорожки, так завтра будешь как встрепанная. А я прилягу: авось пройдет! Ох, батюшки светы, что за боль такая! Так голова и трещит. Прощай, Варенька, прощай, мой друг.

Прошло еще около двух часов. Вот в столовой заиграли куранты, и громкий колокольчик прозвенел одиннадцать раз сряду.

— Не дожидайся меня, Дуняша, — сказала тихим голосом Варенька, — мне что-то не спится; я пойду гулять по саду и разбуду тебя, когда ворочусь назад.

Дуняша, толстая девка лет тридцати, у которой давно уж глаза слипались, вышла в другую комнату, помолилась богу, прилегла на свою постельку и заснула мертвым сном. Варенька закутала голову платком, накинула на себя бархатную кацавейку и сошла по девичьему крыльцу на двор. Кругом все было тихо: один только дремлющий сторож постукивал от времени до времени в чугунную доску и лаяла изредка цепная собака. Робко озираясь кругом, Варенька растворила решетчатые дверцы сада и пустилась по длинной заросшей травой аллее. Ночь была лунная, но свет от полного месяца едва проникал сквозь частые ветви огромных лип, которыми обсажены были дорожки. О, как билось, как замирало сердце бедной девушки! Через несколько минут участь ее должна была навсегда решиться. Каждый шорох приводил ее в трепет: зашелестит ли ветерок между деревьями, хрустнет ли сухая ветка под ее ногою, вскрикнет ли кузнечик — все заставляло ее вздрагивать и озираться.

Случалось ли вам, — я спрашиваю это у моих читателей, а не читательниц: женская скромность помешает им отвечать откровенно, — случалось ли вам, во-первых, любить?.. Но поймите меня хорошенько: не так любить, как любят многие, как любят все, во второй, десятый, сотый раз; а так, как мы любим в первый раз жизни, со всей непорочностью юной, девственной души, когда честь и добродетель той, которую выбрало наше сердце, дороже нам самой жизни, когда мы не верим, а веруем и в дружбу и в любовь. Если вы испытали это чувство, если когда-нибудь, поздно вечером или в тихую весеннюю ночь, вы дожидались вашей любезной в тенистой роще, и дожидались

для того только, чтоб в миллионный раз повторить ей и, может быть, в первый услышать от нее: «Я люблю тебя!», то скажите мне, что происходило тогда в душе вашей? Не замирало ли сердце, не перерывалось ли ваше дыхание, когда, после многих и напрасных тревог, вы услышали наконец знакомый для вас шорох и вдали между деревьев замелькало белое платице? Если вы не забыли еще, какое производили над вами действие эти мучительные и в то же время неизъяснимо приятные ощущения, то легко можете себе представить, что почувствовала Варенька, когда в недалеком от нее расстоянии раздался внятный шелест шагов. В конце аллеи, по которой она шла, две густые черемухи, сплетаясь ветвями, составляли небольшой свод, сквозь который виднелись, как в окно, светлоголубые усеянные звездами небеса. Вдруг что-то темное заслонило этот отдаленный просвет. «Это он!» — шепнула Варенька, прислонясь к дереву, чтоб не упасть на землю. Вот опять замелькали вдали звезды; опять что-то их застигло. Этот темный предмет, бросая перед собой длинную тень, быстро подвигался вперед. Вдруг светлый луч месяца прорвался сквозь частые ветви лип и облил своим мирным и тихим светом закутанного в серую шинель высокого мужчину. Варенька хотела сделать шаг вперед, но ноги ее подогнулись, и она упала почти без чувств в объятия Тонского.

— Это вы!.. Это ты, мой друг!.. — вскричал с восторгом молодой человек. — О, я не смею верить моему счастью! Мне все кажется... Да, мой друг, да, я боюсь проснуться!

Варенька не говорила ни слова, но голова ее лежала на груди Тонского, и крупные слезы текли по ее пылающим щекам.

— Ах, если вы когда-нибудь перестанете любить меня! — прошептала она прерывающимся голосом.

— О, никогда, никогда!

— Меня некому было благословить, — продолжала Варенька, рыдая. — У меня нет ни отца, ни матери...

— Они видят мое сердце, — перервал Тонской, — и, верно, в эту минуту благословляют нас обоих. Но пойдем, мой друг! Твой крестный отец дожидается нас в церкви. О, поспеши, поспеши сказать, что ты навсегда будешь принадлежать мне!

Опираясь на руку Тонского, Варенька вышла из аллеи на обширный луг, который начинался от самого дома и оканчивался забором. Она невольно оглянулась назад, и ей показалось, что одно из окон спальни ее мачехи до половины было растворено. Между тем Тонской отпер калитку. Она опять захлопнулась, и коляска, запряженная четверкою лихих коней, помчалась, как из лука стрела. На минуту оживилась молчаливая улица, — вдали раздался оклик полусонного будочника, —

еще далее залаяли встревоженные собаки, — там стук от звонкой мостовой стал все тише и тише, — вот раздался еще один едва слышный оклик часового, — и вскоре все замолкло по-прежнему.

— Ну, слава богу, уехали! — сказала Слукина, затворяя окно. — Ух! Как гора с плеч!

Она поправила свой ночник, легла на постель и, мечтая о двух тысячах душ, которые теперь на всю жизнь и нераздельно останутся в ее единственном владении, заснула самым сладким и спокойным сном.

V

— Девка, девка!.. Малашка!

Горничная девушка отворила потихоньку дверь в спальню Анны Степановны и остановилась на пороге.

— Который час?

— Семь часов, сударыня.

— Как я заспалась сегодня! Да что ты там стоишь? Войди!

Горничная вошла. За нею перевалилась за порог старуха Кондратьевна, нянюшка Анны Степановны. За Кондратьевой тащилась ключница Мавра. За Маврой две пожилые сенные девушки, из-за которых виднелись головы трех или четырех прачек: они не смели войти в опочивальню их барыни и стояли в уборной. На всех лицах изображались страх, смущение и какое-то робкое любопытство.

— Что вы, что вы!? — вскричала Слукина. — Зачем?

Нянюшка посмотрела на ключницу. Ключница поглядела на сенных девушек. Сенные девушки поглядели друг на друга. Но никто не отвечал ни слова.

— Ну, что ж вы молчите? Зачем пришли? — повторила грозным голосом Слукина.

— Ах, матушка Анца Степановна! — прохрипела наконец Кондратьевна.

— Родная ты наша! — завопила ключница.

— Да что такое сделалось? — спросила Слукина, вставая с постели и накидывая на себя шлафрок.

— Беда, матушка! — завизжала одна из сенных девушек. — Такой грех, что и доложить не смеем.

— Да скажете ли вы мне, проклятые? — закричала Анна Степановна. — Говори хоть ты, Кондратьевна.

— Что, матушка! Несчастье, да и только. Варвара Николаевна без вести пропала.

— Как пропала?

— А так, кормилица! Сгинула да пропала. Вчера около полуночи она изволила пойти гулять в сад; Дуняшке приказала себя не дожидаться, а та сдуру-то прилегла соснуть, да и прохрапела до самого утра, окаянная. Как проснулась — глядь, барышни нет! Постель не измята! Она в сад: и там никого. А калитка отперта! Вот как она увидела, что дело-то худо, — ко мне! Мы подняли всю дворню на ноги, обшарили все мышинные норочки: нет как нет!

— Ах, боже мой, да что ж это значит? Неужли Варенька убежала с каким-нибудь пострелом? Быть не может!

— Ох, кормилица, видно так! — промолвила ключница. — Я сейчас ходила купить французских хлебов к немцу булочнику, вон, что живет позади нашего сада. «Все ли у вас здорово?» — спросил он у меня. «А что, Франц Иваныч?» — «Да так! Вчера этак в полночь подле калитки вашего сада стояла коляска, и я сам видел, какой-то высокий барин с барыней вышли из саду, сели в нее, да и по всем по трем!»

— Ах, господи! Так в самом деле? — вскричала отчаянным голосом Слукина. — Так точно, она ушла! Карету, карету! Одеваться, скорей, сейчас! Ах, срам какой! Бегите к Николаю Ивановичу! Скажите ему, что я поскакала к губернатору. Вот до чего дожила! Что стоите? Ступайте вон!.. Антон и Филька поедут за каретою... Ах, батюшки мои светы, что это! Малашка, черное платье!.. Да поворачивайся, негодная!.. Государи мои, что это! Белый чепец!.. Да, бога ради, карету, скорей карету!

Карету подвезли. Два дюжих лакея посадили в нее Анну Степановну, у которой с горя ноги подкосились и чуть-чуть голова держалась на плечах. Кучер ударил по лошадям, и они взяли с места рысью, — что обыкновенно случалось в одних только важных и «экстренных» случаях. Анна Степановна была очень сострадательна к животным и особенно берегла своих лошадей: правда, она кормила их одним сеном; но зато всегда ездил шагом. До губернаторского дома было далеко, и Слукина успела обдумать все и приготовиться к своей роли. Она сдернула на одну сторону чепец, растрепала волосы, перевернула наизнанку свою турецкую шаль и до тех пор нюхала скляночку с нашатырным спиртом, пока глаза ее налились кровью, а веки распухли и покраснели. Вот, наконец, усталые кони остановились у подъезда губернаторского дома. Антон и Филька вынули свою барыню из кареты, почти внесли ее на руках на лестницу; потом ввели под руки в столовую и посадили в кресла, которые подал ей вежливый губернаторский камердинер, сказав, что его превосходительство сейчас ее примет. Минут через пять двери из гостиной отворились, и вышел Николай Иванович Холмин.

— Губернатор просит вас к себе, — сказал он.

— Ах, это ты, мой отец! — вскричала Слукина. — Помоги мне, родной. Ох, батюшки мои!.. Ноги нейдут.

Николай Иванович пособил ей подняться и, введя под руку, прошептал:

— Славно, Анна Степановна! Славно! Нельзя лучше. Только, пожалуйста, не так налегайте: тяжело, матушка.

В гостиной встретил их губернатор; подле него стояли дворянский предводитель и доктор фон Раух.

— Успокойтесь, сударыня, — сказал губернатор, усаживая Слукину на канапе.

— Ах, батюшка, ваше превосходительство! — завопила она. — Отец ты наш! Помоги, спаси!

— Успокойтесь. Будьте уверены, я сделаю все, что от меня зависит. Я сейчас узнал от Николая Ивановича, что Варвара Николаевна...

— Вот, ваше превосходительство, до чего я дожила! Какой позор! Уйти из моего дома! Убежать бог знает с кем!

— Как? Так вы не знаете?..

— Нет, ваше превосходительство! Как бог свят, не знаю.

— И не имеете даже подозрения?

— Не имею. Видит бог, не имею! Да и кого я могу подозревать? Как могло прийти мне в голову, чтоб дочь покойного моего Николая Степановича решилась на такое дело? Ах, господи, да неужели бы я стала противиться ее склонности? Уж я ли не любила, я ли не тешила ее, неблагодарную? На всех пошлюсь: в глаза ей смотрела, сдувала с нее каждую порошинку. И чем же она мне отплатила? Ах, я несчастная! Ох, тошно!.. Батюшки мои, тошно!.. Смерть моя!..

Анна Степановна закрыла глаза, голова ее скатилась на грудь, и она упала *без чувств* на канапе.

— Воды, скорей воды! — закричал губернатор. — Ей дурно!

— Однакож она вовсе не побледнела, — заметил предводитель.

— Позвольте! — сказал доктор фон Раух, взяв за руку Слукину. — Гм, гм! — промычал он, нахмутив брови. — Пульс очень высок, весьма высок... Сильный прилив крови к голове... Посмотрите, как горит ее лицо! Э, да это может иметь серьезные последствия. Сей же час надобно пустить кровь.

— Вы думаете? — сказал Холмин.

— Да, да! Позвольте. Со мною, кажется, есть ланцет. Гей, человек, тарелку!.. Полотенце! Скорей! Скорей! Не надобно терять ни минуты. Потрудитесь, Николай Иванович, заворотить рукав; хотя на правой руке... все равно!

Анна Степановна очнулась.

— Что вы, что вы? — вскричала она, отталкивая фон Рауха.

— Ничего, сударыня, ничего! Потерпите одну минуту. Вам надобно непременно пустить кровь.

— Ах, батюшка, зачем? На что? Подите прочь, подите прочь!..

— Как вы себя чувствуете? — спросил губернатор.

— Крошечку получше. Ох, батюшка, ваше превосходительство, что мне делать? К чему приступить?.. Надоумите меня, посоветуйте мне!

— Если вам угодно знать мое мнение, так вот оно. Вероятно, Варвара Николаевна уже обвенчана: следовательно, этого переменить нельзя. На вашем месте я простил бы ее.

— Как, батюшка, ваше превосходительство? Вы мне советуете...

— Да вы сами говорили, что не стали бы противиться ее склонности.

— О, конечно бы не стала!.. Но рассудите милостиво!

— Я не оправдываю поступка вашей падчерицы: она дурно сделала, что не имела к вам доверенности; вы так ее любите...

— Как родную дочь! Видит бог, как родную дочь!

— А если так, сударыня, — сказал предводитель, — так будьте же до конца нежной матерью: простите ее!

— В самом деле, Анна Степановна, — прибавил Холмин, мигнув украдкой Слукиной, — ведь, снявши голову, о волосах не плачут. Добро бы дело-то было поправное, а то что толку и себя надирать и их мучить? Эх, матушка, простите ее!

— Ну, если все меня просят, — сказала с глубоким вздохом Слукина, — так, видно, пришлось простить...

— Но может быть, — промолвил губернатор, — тот, за кого она вышла замуж...

— Да кто бы он ни был! — перервала Слукина, — все равно! По-моему, батюшка, ваше превосходительство, прощать, так прощать. Он муж ее, так я и его буду любить, как родного сына.

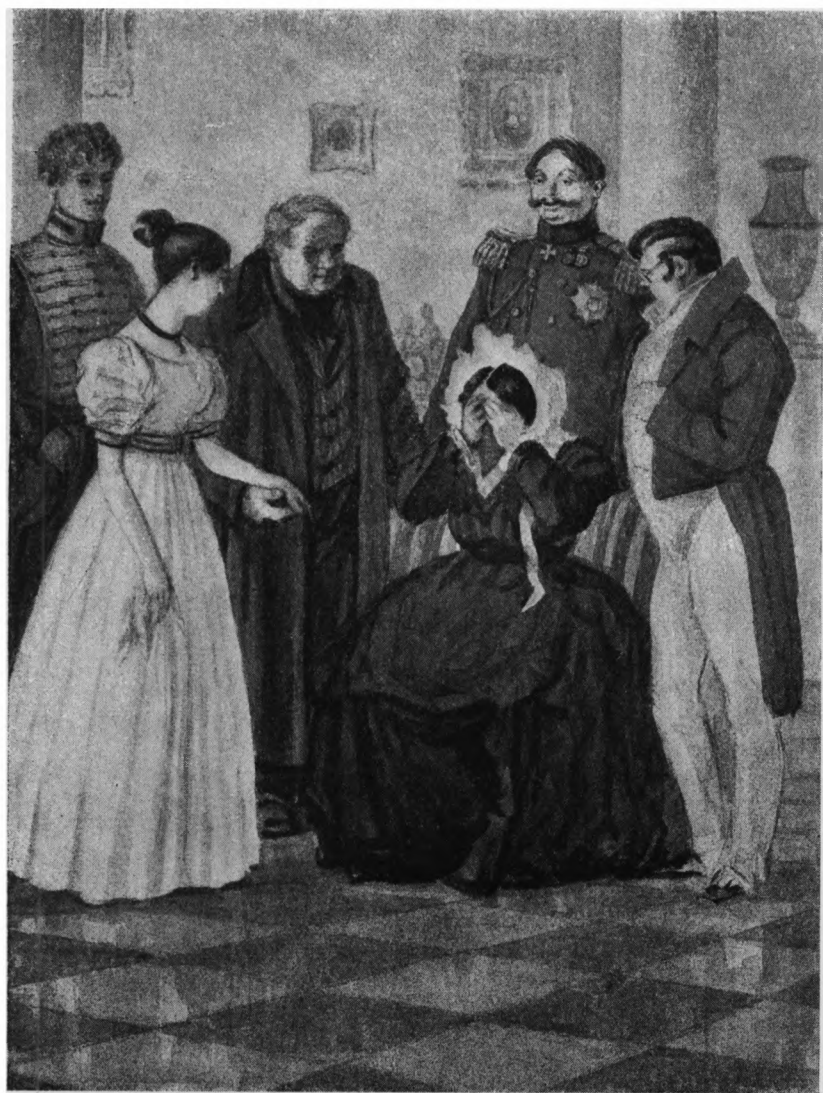
— Как вы добры, Анна Степановна! — сказал предводитель.

— Что ж делать, Николай Иванович! Знаю сама, что это слабость: да уж у меня натура такая!

— Вы слышите, ваше превосходительство? — сказал вполголоса Холмин, обращаясь к губернатору. — Госпожа Слукина добровольно, по одному побуждению своего доброго сердца, прощает мою крестницу. Варенька здесь, Анна Степановна; и если вы позволите ей войти...

— Ох, постой, батюшка, постой! Дай собраться с духом... Сердце-то у меня, сердце!.. Вот так выскочить хочет.

— Право, вам не мешает пустить кровь, сударыня, — шепнул доктор фон Раух. — Вы в таком волнении...



— Не ваше дело, батюшка! — вскричала Слукина. — Ну, пусть войдет, — продолжала она, закрывая лицо обеими руками. — О господи, укрепи меня грешную!

Боковые двери открылись, и молодые вошли в гостиную.

— Вот она! — сказал Холмин, подводя к Слукиной свою крестницу.

— Ну, Варенька, бог тебе судья! — проговорила Анна Степановна, стараясь всхлипывать. — Огорчила ты меня на старости! Ну, да так и быть. Господь с тобой! Я прощаю тебя, мой друг!.. Да где же твой муж?

— Вот он, маменька.

Слукина подняла глаза: перед нею стоял Тонской.

На этот раз она не шутя упала в обморок, и доктор фон Раух добился своего: он пустил ей кровь.

* * *

Недели через две после этого приключения в собрании общества людей «высокого полета» происходил такой разговор:

Княгиня Ландышева (*обращаясь к Вельскому*).
Так князь Владимир Иванович сегодня к нам не будет?

Вельской. Нет, княгиня. Я уговорил его отправиться в деревню.

Гореглядова: Что это вам вздумалось?

Вельской. Так вы не знаете? Князь хотел резаться с Тонским.

Златопольская. Ах, боже мой! Дуэль?

Вельской. Да! И вы не можете себе представить, какого мне стоило труда доказать ему, что он навсегда делается смешным, если станет драться с этим молокососом — и за кого же? — за какую-то Варвару Николаевну Тонскую, урожденную Слукину!

Княгиня. Да неужели он в самом деле был влюблен в эту девочку?

Вельской. До безумия.

Княгиня. Впрочем, у ней очень хорошее состояние. Надобно сказать правду, Анна Степановна поступила с ней весьма благородно: она дала за ней в приданое тысячу душ.

Гореглядова. Право? О, так я понимаю, что Тонской мог в нее влюбиться. Но князь!! Боже мой! Да что он нашел в ней хорошего! Une petite sottise!¹

Зарецкая. Худа, бледна, как смерть.

Гореглядова. Стекланные голубые глаза...

Княгиня. Серые, ma chère.

¹ Маленькая дурочка (*ред.*).

Гореглядова. Серые или голубые, только в них вовсе нет души.

Златопольская. А нос, та chère, нос?.. (*Взглянув украдкой в зеркало.*) Надеюсь, его никто не назовет греческим?

Вельской. И, полноте! Охота вам говорить об этой алебастровой кукле? Мне все кажется, как будто бы ее сейчас на лотке носили.

Зарецкая. Comme vous êtes méchant! ¹

Гореглядова. Для меня этот Тонской несравненно лучше своей жены. (*Взглянув исподлобья на Вельского.*) Il est assez joli garçon! ²

Вельской. Кто, он? Да, конечно, он был бы прекрасным тамбур-мажором.

Княгиня. Да; это правда, он недурен собою, но так обыкновенен! Такие *иньобильные* формы!..

Зарецкая. Бел, румян...

Златопольская. Светлые волосы... Фи! Настоящая русская физиономия.

Вельской (*улыбаясь*). Вы, кажется, не всегда это думали.

Златопольская (*коверкаясь*). Ай! Что вы это говорите? Полноте!

Вельской (*обращаясь к Зарецкой*). Да мне помнится, что и вы...

Зарецкая (*ломаясь*). Кто?.. Я?.. Quelle idée! ³

Вельской. Если не ошибаюсь, так было время, что даже и вы, княгиня...

Княгиня (*взглянув пристально на Вельского*). Я?

Вельской. Да, да! Признайтесь, что он вам очень нравился.

Княгиня. Может быть. Я даже вам скажу, когда это было... Да, точно так! В то самое время, когда вы сватались за эту алебастровую куклу.

Гореглядова (*вспыхнув*). Как? Вельской, вы хотели на ней жениться?

Вельской (*с приметным замешательством*). Кто? Я?.. Жениться на Слукиной? Помилуйте!..

Княгиня. Да вы почти при мне ей делали предложение.

Гореглядова (*не скрывая своей досады*). Прекрасно!

Вельской (*тихо Гореглядовой*). Полноте. (*Громко.*) Как вам не стыдно, княгиня!

¹ Как вы злы (*ред.*).

² Он довольно красивый малый (*ред.*).

³ Что за мысль (*ред.*).

Княгиня. А, Вельской, вы любите шутить над другими!

Гореглядова. C'est bien, monsieur! C'est très bien! ¹ Так вы хотели жениться?.. (Ее начинает подергивать.)

Княгиня. Qu'avez-vous, ma chère?.. ² Что вы?..

Гореглядова. Ничего!.. Dieu!.. ³ Спазмы! Мне душно!..

Княгиня. Человек! Человек!.. Спирту, воды!

(Все суетятся около Гореглядовой.)

Гореглядова (Вельскому). Laissez-moi!.. ⁴ Ах, я задыхаюсь!.. Oh, les hommes, les hommes! ⁵

Вельской. Это ничего. Пройдет! (Тихо княгине.) Какая неосторожность!

Златопольская (тихо Зарецкой). Как она себя компрометирует!

Зарецкая. Да, ma chère! Мне очень ее жаль! Elle est si bopne!.. ⁶ (В сторону.) Поеду сейчас рассказать об этом моей кухне!

¹ Это хорошо, мосье! Это очень хорошо (ред.).

² Что с вами, моя дорогая (ред.).

³ Боже (ред.).

⁴ Оставьте меня (ред.).

⁵ О мужчины, мужчины (ред.).

⁶ Она так добра (ред.).

В. И. Даль

18.01 ~ 1872

БЕДОВИК



БЕДОВИК

ГЛАВА I

Евсей Стахеевич еще не думает ехать в столицу

В одном из губернских городов наших, положим хоть в Малинове, настало воскресенье; Евсей Стахеевич Лиров, благовидный, хотя и не слишком ловкий молодой человек, а по чину и званию своему птица невысокого полета, отстояв в пятиглавом соборе обедню, пустился, по неизменному местному обычаю, в объезд по всем лакейским и передним, поехал развозить карточки за собственноручною подписью своею и расписываться у начальников и старших на засаленном листе бумажки.

Евсей Стахеевич вырос в уезде, а ныне, и то недавно только, попал в губернский город; поэтому он и привык уже сызмала ко всем обрядам и обычаям, вошедшим в губерниях и уездах наших в законную силу; но Евсей при всем том никак не мог помириться с этими заповедными объездами, к которым необходимо было приступать снова каждый воскресный и табельный день, то есть до 75-ти раз в году, если не более. Он свято исполнял этот обряд; но каждый праздник, доставая белый воротничок и воскресную жилетку, пускался снова в рассуждения о бесполезности этого тунеядного обычая.

Евсея Стахеевича беспокоило при этом всего более то, что он не видел этому делу никакого отрадного конца: это бездонная бочка Данаид — и только; даже детям и внукам нашим не будет легче от наших объездов с почтением: мы их работы не переработаем, а им придется начинать, на свой пай, сызнова. Не успел покончить сегодня, отдохнуть день, другой, поработать — принимайся опять за то же, и так до скончания века. «А кто поблагодарит меня за это, — думал Евсей Стахеевич, — кому от визитов моих легче и теплее? Ни посетителю,

ни посещаемому, ни гостю, ни хозяину; а между тем нельзя и отстать. Я сам наперед слышал, как прокурор наш, например, попенял очень недвусмысленно одному из подчиненных своих за невнимательность эту по службе: «Вы, сударь, — сказал прокурор, — с супругою своею под ручку разгуливаете, это мы видим; а начальства своего по воскресеньям не уважаете... Что же тут станешь делать? Поедешь поневоле».

Так рассуждая, Лиров побывал уже у губернатора, вице-губернатора, у начальника своего, председателя гражданской палаты, и был на пути к председателю уголовной. Привычные поездки эти, ответы: у себя, принимают, или: выехали-с, не принимают, а затем столь выразительное шарканье, думное молчание или замысловатый разговор о погоде, поворот налево кругом или молчаливая отдача в лакейской своего доброго имени — все это нисколько не мешало Евсею Стахеевичу продолжать рассуждать про себя, тем более что он был мастер своего дела, не визитов то есть, а мыслей и думы. Он продолжал круговую по целому городу и продолжал себе думать, не занимаясь мыслями ни на одном пороге.

«И как это глупо, бестолково, — так думалось ему, — ну пусть бы уже раза два, три в году, коли это необходимо, коли ведет к чему-нибудь, а то — каждое воскресенье, каждый божий праздник».

«Всякому, без сомнения, глупость эта надоела не меньше моего, а каждый связан и опутан этими тенетами и пеленками условных приличий; спрашиваю, можно ли принять с повального согласия общее правило и постановление, которое всем вообще в тягость и никому не приносит пользы? Когда, бывало, учитель сек нас в уездном училище, то уверял всегда и приговаривал во все время секуши: «Не я бью, сам себя бьешь». То же самое хочется мне и теперь высказать иногда хозяину, к которому случится приехать не во-время. Он морщится, и я морщусь, — а между тем, как быть? Коли пойду наперекор обычаям и заведениям, я же буду виноват, потому что по службе нашему брату нет отговорок. И пусть бы еще наш брат, мелочь ездила к начальникам с почтением да на поклон, чтобы на глаза показаться, чтобы не сказали: «Вы по воскресеньям не уважаете начальства», а то нет, и друг к другу, и к равным себе, и к посторонним, к знакомым и к незнакомым, словом, где только есть ворота да три окна на улицу, туда и заезжай сподряд. И этим-то мы занимаемся каждый праздник от обедни и до самого обеда! А сколько тут еще бывает недоразумений, сколько толков, пересудов, начетов и недочетов, сколько причин к неудовольствиям, обидам, сплетням...» В это время Евсей Стахеевич, в числе пяти других чинов, приветливо и почтительно раскланивался, и шаркал, и нагибался перед супругой председателя

уголовной и продолжал себе, нисколько не смущаясь, думать: «Например, объедешь не по чинам, не по званию, как я прошлое воскресенье приехал вот сюда, побывав уже у полицеймейстерши, потому что туда было по пути заехать, гnevаются; или, например, начальник не принимает, да позабудешь записаться, как я же в вербное воскресенье, так уже на тебя смотрит этак, приподняв нижнюю губу, дескать не уважает начальства, зазнается; да, есть с чего нашему брату, подлинно! Или приедешь попозднее, потому что как ни бейся, а ко всем вдруг не поспеешь, да запишешься в конце листа, говорят: важничает, приезжает по-барски, словно к ровне; а приедешь пораньше, на почин, да запишешься на листе в самом заголовке — так и это не по чину, того и смотри, что опять-таки неладно, а норови и попадай в свою артель. Намедни, например, наш советник, приехав к губернатору, вымарал подпись мою и поставил ее под свою; да с сердцов еще так черкнул меня, бедняка, что только брызги посыпались. Что будешь делать! Или, например, войдешь в переднюю да кинешь вторых плащ на какую-нибудь прокурорскую шубу, как случилось это со мною, опять-таки по перстам тебя рассчитают, что с умыслу, да и только. Или, например...» Евсей Стахеевич, распроставшись с уголовною, сидел уже опять на столбовых дрожках своих, как первый член межевой конторы, объезжая его на щегольской паре, поднес словно нехотя руку к шляпе и закричал: «Что это вы опять делаете сегодня, Евсей Стахеевич? Вы развозите чужие билеты!» Лиров поглядел за ним вслед, опустил руку в боковой карман, достал и развернул пучок билетов и крайне изумился, увидев, что перед ним налицо действительно карточки чужие, всех цветов и величин, с разноцветными каемочками, с позолотою, с цветочками, даже с амурчиками и с восклицательными знаками, по вкусу и выбору господ хозяев. Этого мало: перебирая их, Евсей увидел, что женских билетов было почти наполовину, и один, между прочим, с буквами внизу: р.р.с., pour prendre congé,¹ которые Стахеевич в простоте своей принял за русские и истолковал словами: разъезжаю ровно сумаспешдая. Но наконец Лиров опомнился и спросил кучера своего, который остановился у подъезда одного из советников: «Власов! Где ты взял билетки эти?» Корней Власов Горюнов оглянулся, спросил еще раз: «Которы? Эвти?» — и на ответ: «Да, эти, эти самые», — начал рассказывать преколичественную быль, как вице-губернаторские мальчишки, соседи Лирова,¹ выбирали билетки из сору да стали было раскидывать их по улице, как Власов разогнал пострелов, подобрал билетки, завернул и положил их на окно барина и наконец, видно невзначай, подал их сегодня вместо

¹ Проститься (ред.).

беленьких. Разговор этот у подъезда советника продолжался бы, вероятно, еще несколько времени, если бы полковник Плахов не наехал сзади четверней и выносной мальчишка не взвизгнул пронзительным голосом, которому кучер с высоты козел своих вторил грубым и нахальным басом. Корней Власов продернул скорехонько до угла, а Лиров соскочил тут и побежал назад к подъезду.

Отпустив поклон и заветное поздравление с праздником, то есть с еженедельным воскресеньем, Лиров стоял у косяка дверей в переднюю, глядел во все глаза на занимательную беседу прокурора с полковником о здравии его превосходительства господина губернатора и ее превосходительства супруги его; о наступающих новых дворянских выборах и ожидаемых по этому поводу новых стачках, разладицах, сплетнях, ссорах и мировых; об открытом на днях рекрутском присутствии, причем полковник делал кочковатые, резкие, топорной работы замечания, а прокурор с простодушным хохотом уверял: «Слава богу, что эта часть до меня почти не относится, право, ей-ей, слава богу; по крайности избавлен от всякого греха и искушения, и совесть чиста и спокойна». На все это глядел Евсей Стахеевич, но почти ничего не слышал; у него была привычка, принявшись в раздумьи за какой-нибудь предмет, вертеть его во все стороны, обходить его кругом, осмотреть внутри и снаружи, переминать его как жвачку, поколе не спознается с ним, как с родным братом. Поэтому Евсей продолжал думать, как в приемной прокурора, так и усевшись опять на столбовые дрожки свои, таким образом:

«И слава богу еще, что я — не член рекрутского присутствия, — это таки само по себе, но слава богу еще, что я не женат. Можно ли вынести равнодушно весь этот бессмысленный быт, эту убийственную жизнь нашего женского круга, этот великолепный житейский пустозвон и пустоцвет!.. Визиты, с большим расчетом и разборчивостью, с осмотрительностью, по чинам, по званию, по служебным обстоятельствам и отношениям мужей, и здесь также составляют почти всю лицевую сторону, хазовый конец приятельских и дружеских сношений, то есть собственно внешнюю жизнь; на этом вертится все, этому одному посвящают время и безвременно, досуг и недосуг, а остальную часть дня размышляют и советуются о том, кому и какой визит отдать, и когда поехать, и сколько посидеть. Вновь приезжая барыня, или, как ее называют, дама, — а почему бы не краля? — обязана объехать все 38 домов, составляющие вышее общество города; младшие по чину, званию, богатству и значению в обществе спешат на другой же день засвидетельствовать ей свое почтение и готовность служить, на первый случай столиком, парой стульев, ухватом, кочергой; равные

побывают в течение какой-нибудь недели, а чем барыня выше и почетнее, тем далее откладывает она обратное свое посещение. Между тем все они друг другу, одна одной и в особенности новоприезжей, смотрят отвесно в горшок и в кастрюлю и чрезвычайно заботятся о том, когда у кого бывает ботвинья, когда щи, суп или борщ; это, так сказать, еще одни цветочки созерцательной жизни их, а ягодки бывают впереди, когда изо всего этого выходит, наконец, огромный клубок или моток сплетен, которых не развяжет и не распутает и сам... Виноват», — сказал Евсей Стахеевич, взявшись среди улицы за шляпу и думая, что проговорился при людях и вслух. Но как, повидимому, никто, ниже и сам Горюнов не подслушали на этот раз Евсея — то проказник наш, отправляясь с крыльца на крыльцо, из передней в переднюю, все еще продолжал рассуждать про себя: «Коренные старые жительницы не менее того обязуются объехать, по крайней мере на святой неделе и в Рождество, каждая все 38 домов и, кроме того, явиться и показаться в первобытном виде своем после каждого шестинедельного домашнего заключения. Чем благосклонная посетительница выше саном, тем короче так называемый визит ее; иногда в буквальном смысле она успеет войти, чмокнуться, присесть, встать, откланяться и уехать — в полминуты, в тридцать секунд; наемдни я видел это сам, поверив по часам своим визит вице-губернаторши. Визиты эти делаются вообще между 11-ти и 2-х часов; и в это время в великаторжественные дни четверка за четверкой, пара за парю гонятся взад и вперед, вдоль и поперек по всем улицам и переулкам; все встречаются, здороваются, разъезжаются и спешат развозить билеты свои, покуда никого нет дома. Но если вы спросите у советницы нашей, знакома ли она с предводительницей, то она вам скажет: «нет», несмотря на то, что они обе честят и утешают себя и друг друга взаимно визитами; знакомы те только, которые ездят друг к другу посидеть. И это знакомство, посиделки, разделяется еще на два разряда: иные навещают друг друга по какому-нибудь первоначально случайному обстоятельству только по утрам и говорят: «Я была у такой-то посидеть утром»; другие — и вот это уже приятельницы настоящие, задушевные — сидят одна у другой по вечерам; это связь самая короткая, тесная, которая обыкновенно обходит поочередно кругом весь город; мы знакомы; маленькая неприятность расстроит знакомство наше — мы спешим врознь, прижимаясь теснее каждая к новой приятельнице своей, с рассказом странного поведения бывшей подруги, которая не сказала дома, или приняла меня холодно, или там-то сказала обо мне вот то-то; весть о разводной обегает в сутки змейкой и молнией по всем 38-ми дымовьям и очагам и наутро возвращается, с привесками и отметками на полях, к двум бывшим приятельницам,

о которых теперь говорят: они уже больше не знакомы. На другой и на третий день после каждой подобной размолвки вы можете держать zakład, что у подъезда той и другой почтенной барыни стоит карета или коляска: это поступившие на упраздненные места подставные подружки, это заботливые искательницы, подружившиеся и поссорившиеся уже в свою очередь с уволенной ныне от службы и дружбы подругою; это торопливо услужливые новые приятельницы, утешающие одиночество и сиротство покинутых и обманутых. Новые подружки эти спешат передать вчера только сызнова добытым приятельницам, с коими, впрочем, также когда-то уже были знакомы и опять незнакомы, в приязни, в размолвке и ныне вот опять в самой тесной дружбе, — спешат передать, что говорят об этом в городе. Вот это я называю ягодками, потому что в них есть и семечки, от которых пойдет дремучий и непроходимый лес новых вздоров или, по крайней мере, не одна добрая десятина заглухнет бурьянником, репейником и сорными травами).

«А именины? — подумал про себя Евсей Стахеевич, вошедши в низкую, грязную, тесную, заваленную всякими дорожными припасами комнатку состоятельного помещика Козьмы Сергеевича Мукомолова, который только что накануне приехал по домашним делам в город и угощал теперь поздравителей нынешнего дня ангела своего. — А именины? Это уж бог весть что такое! Можно ли ввести во всеобщее употребление обычай — поздравлять весь город своевременно с именинами и дать этому бестолковому тунейдному обычаю силу житейского закона! Другое дело, — продолжал Евсей про себя, раскланиваясь с Мукомоловым и имея честь поздравить его с днем ангела его, — другое дело сходить и поздравить старого приятеля, с которым я давно и коротко знаком, которого люблю и уважаю; а какая мне нужда до именин каких-нибудь ста особ, и можно ли требовать от человека, если он не в комитете по утапыванию мостовой, чтобы знал и помнил все именины мужей, и жен, и подростков, — чтобы мало-мальски порядочный человек занимался таким бессмысленным вздором? Неужели и в самом деле обзаводиться академическим календарем для того только, чтобы знать, в котором часу солнце заходит в Петербурге, какого вероисповедания папа римский, и чтобы отмечать на пробелах: 10-го апреля гремел первый гром; 11-го именины Кузьмы Панкратьевича, а 12-го — Макара Андреевича?»

— Какая мне нужда, — проговорил Евсей Стахеевич, забывшись, вслух, раскинув руки врознь, — какая мне нужда до именин целого города и могу ли я их знать и помнить?

Проговорив это, Лиров стал как вкопанный и не решался даже поднять шляпу, которую в испуге выронил; он потерялся и вовсе не знал, как отвечать в лад и в меру на приглашение

раскохотавшегося хозяина хлебосола: *хоть закусить*. Лиров подошел, не помня себя, к треугольному столику, покрытому синею измаранною ярославской салфеткой, у которой четыре измятые продольными складками угла неоспоримо свидетельствовали, что она исправляла также должность дорожного чемодана; робко взглянул на печатные ярлыки *medoc S-t. Julien* и *Lafit, très-qualité*, выпил рюмку желудочной и потогонной, которую поднес ему сам хозяин, поклонился, схватил шляпу, растоптанную между тем вбежавшим спросонья человеком, выскочил без памяти на крыльцо, едва нашел ощупью и по слуху дрожки свои, едва проговорил: «домой!» и кряхтел, кашлял, морщился, и отплевывался во всю дорогу, и дышал на ветер, и отворачивался, потому что Евсей Стахеевич отроду в первый раз отведал водки, и на этот первый раз закатил полную большую рюмку *дорожной отрады* Мукомолова, у которого Перепетуя Эльпидифоровна славилась хозяйством своим по всему околотку, лечила по лечебникам Килиана и Енгальчева, как кто пожелает, и сама перегоняла тайком от откупщиков спирт и делала желудочную и потогонную, после которой ину пору покрякивал и сам Козьма Сергеевич Мукомолов.

Таким образом кончились на этот раз и визиты и размышления нашего Евсея Стахеевича.

ГЛАВА II

Евсей Стахеевич думает ехать в столицу

Надобно, однакоже, сказать вам, кто таков был Евсей Стахеевич, и как он попал в Малинов, и прочее.

Отец Евсея, или нет, лучше начнем с деда, — дед Евсея был воронежский мещанин, который нажил порядочное состояние скорняжным ремеслом, выучился в зрелых летах грамоте у староверов и стал подписываться: *Онуфрий Рылов*, тогда как доселе прозвание это, по-воронежскому, полу-украинскому обычаю, изустно произносилось просто *Рыло*. Поколение меньшого безграмотного брата Михея и поныне осталось при необлагороженном прозвании своем *Рыло*.

Но человечество совершенствуется с каждым шагом: у Онуфрия был сын Стахей, воспитанный во всей строгости раскольничьего изуверства; да лих не пошло впрок ни воспитание Онуфрия, ни даже найитое отпом его добро; из Стахея вышел бойкий, разбитной детина, который семнадцати годов уже по грамотной части заткнул за пояс весь Воронеж. Он пошел в контор-

щики, наследовал отцовскими тридцатью тысячами, был потом секретарем в уездном магистрате, да одолела своекоштная болезнь, пошел пить запоем, месяца по три, по четыре сряду, и держался на месте своем, поколе не издержался; а когда он прокутил и прогулял все, то его устранили, и Стахей, с чином губернского, пытался было еще раза три приютиться, но уже не мог ни устоять на ногах, ни усидеть на месте; и потому, открыв в себе дар сочинять просьбы и писать стихи, Стахей не удовольствовался тем, что давно уже подписывался не Рылов, а Рылев, — это казалось ему и приличнее и благозвучнее, — а уверил себя к тому еще, что прозвание Рылев происходит от украинского: *Рыле*, а Рыле не что иное, как искаженное *Лири*; поэтому Стахей и стал подписываться и именоваться отныне Лиров; а послышав в себе от пиитического прозвания этого пиитическое призвание, стал заниматься уже исключительно только вольным письмом. И у него была, правда, привычка ставить точку каждый раз, когда, бывало, захочется понюхать табак или сказать слово постороннему человеку, а принимаясь снова за перо, расчеркиваться прописною буквою с закорючками; то же самое случалось иногда и посреди слова, если веселая мысль одолевала и душа просилась на простор; но все это не было помехой письменному красноречию Стахея, равно как не мешали этому и перенос слова в другую строку на любой букве, перестановка букв *ять* и *есть*, излишнее употребление буквы *з*, которая встречалась в творениях Стахея каждый раз после буквы *в* как неотъемлемая ее принадлежность; и, наконец, сплошное замещение буквы *ферт* *фитю*, потому что *ф* была, по мнению Стахея, буква вовсе неблагопристойная. Стахей одевался по воскресеньям всегда очень чисто, писал по заказу просьбы, письма, сделки и договоры, а нередко и стишки вроде следующих:

Офицерик молодой
с нею время препровел.

Писал, писал, гулял и женился, наконец, на дочери одной знаменитой просвирни, искавшей зятя, которого бы можно было продержать первые две, три недели после свадьбы в бесчувственном состоянии. Сваха взяла ответ и страх на свою голову и поручилась за исполнение необходимой меры этой, и Стахей, сочинив сам на свадьбу свое премилое поздравительное послание, был форменно учтив и вежлив с невестою своею как на обряде смотрения, на смотринах, так и на помолвке и, наконец, после венца. Что было потом — это он не запомнил; напоминает однакоже, что у него болела голова.

Родился сын, был назван Евсеем, рос, обучался в уездном училище грамоте, поступил канцелярским служителем в зем-

ский суд, где и происходил чинами; вел он себя отлично хорошо, знал дело и работал неутомимо; наконец, после разных приключений, был он переведен, по ходатайству председателя, в гражданскую палату. Отца Лирова, Стахея, теща увезла, как необходимую домашнюю утварь, в свой город, где он, по слухам, дошедшим до бедного Евсея, волею божиею помре.

Виноват ли был этот бедный Евсей, что он родился от таких родителей? Но свет этого не разбирает; у него как на визиты, которые Евсей наш так от души ненавидел, так и па всё свои обычаи, условные приличия, уставы и обыкновения. Светские предрассудки, которые вырастили, выпоили и вскормили нас, так всеильны, что и читатели мои готовы откинуться от сына распутного магистратского секретаря и дочери просвирни, как будто он может отвечать за грехи предков своих! Разве мало дела человеку держать ответ за себя?

Евсей Стахеевич был необыкновенно честный и трудолюбивый человек, то и другое по какому-то редкому врожденному свойству, в котором не мог отдать ни другим, ни себе самому отчета. За это благородное, бескорыстное направление духа он был обязан... но об этом после; довольно того, что мысль и чувство вложены были в него природою, а развиты женщиною. Под всегдашним гнетом судьбы и людей, в неравной борьбе своей с людьми и с судьбою, Евсей, несмотря на здравый ум свой и необыкновенное терпение, был несколько малодушен; он вырос и возмужал в каком-то унижении: обстоятельства не дали развиться в нем силе и самостоятельности. Он был тих, скромн, потворчив, робок и до того снисходителен, что, казалось, не видел ничего там, где присутствие его могло быть для других обременительно, не слышал ни слова, если около него происходил разговор, который мог или должен бы ввести разговаривающих в краску. Словом, Евсей был необыкновенно самый безвредный свидетель. Что он видел, слышал, то знал про себя, про себя об этом и рассуждал и не поверял никому на свете чужих тайн. Он сам был честен, благороден, добр, но никогда не искал этих свойств и качеств в других, никогда не удивлялся, если находил противное. Если он не проговаривался вслух, что случалось, впрочем, с ним не слишком часто, то никому ни в чем не мешал и никогда не прекословил. Ко всему этому привык он еще с тех инстанций, где вокруг него нюхали табак, доставая тавлинку из-за голенища, и где для хозяйственного сбережения должность клетчатого платка нередко исправляли бумажные обрезки.

Заметим, как дело у нас на Руси не последнее, в особенности коли речь идет о чиновнике, что Евсей был человек грамотный; он писал самоучкой ясно, просто, гладко, коротко и даже довольно сильно. Если бы вы увидели его, как он робко и не-

смело подавал председателю своему для подписи бумаги своего письма, и если бы иногда прочитали одну из бумаг этих, то изумились бы видимой наружной противоположности сочинителя и сочинений. Но Евсей писал так же смело, как думал про себя, а вслух заговорить не осмелился бы и сотой доли того, что писал. При всем этом он не требовал и не ожидал от других такой же грамотности. С неизмеримым благодушием читал и понимал он донесение исправника, что «такой-то противозаконно застрелился, отчего ему от неизвестных причин приключилась смерть; а при освидетельствовании оказалось: зубы частью найдены близ науличного окна, прочие же челюсти как будто из головы вовсе изъяты и находятся на отверстии лба; потолок на второй половине прострелен дырою, имея при действии своем напряжение на север, ибо комната эта имеет расположение при постройке на восток». ¹ Или что «такой-то, едучи на телеге по косогору, при излишнем употреблении горячих напитков споткнулся и от нескромности лошади был разбит»; что «такой-то от тяжких побоев, не видя глазами зрения, впал в беспамятство»; что «в таком-то уезде статистических сведений не оказалось никаких, о чем и имеет счастье всепочтительнейше донести», — и прочая, и прочая, и прочая; все это, а иногда и хуже того, читал Евсей и понимал по навыку; никогда вслух не жаловался на бессмыслицу и думал только иногда про себя, если не мог вовсе добиться толку, а принужден был, не перекладывая таких речей и оборотов на русский язык, держаться одних бессмысленных слов и передавать их в этом же виде и порядке, думал только иногда: «Создатель мой! Для чего люди не пишут запросто, как говорят, ² и выбиваются из сил, чтобы исказать и язык и смысл! Почему и за что проклятие безграмотства доселе еще тяготеет на девяти десятых письменных и как это объяснить, что люди, которые говорят на словах очень порядочно, иногда даже хорошо, по крайней мере чистым русским языком, и рассуждают довольно здраво, как будто перерождаются, принимаясь за перо, пишут бестолочь и бессмыслицу, не умеют связать на бумаге трех слов и двух мыслей и ни за какие блага в мире не могут написать самую простую вещь так, как

¹ Для любопытных я храню донесение это в подлиннике.

² Евсей Стахеевич, конечно, никогда не ожидал, что через несколько лет после этой скромной думы, собственно ему принадлежавшей, явится столь знаменитый поборник разговорного языка. Впрочем, хотя и тот и другой, один мысленно, про себя, другой громко, гласно и всепародно, советовали писать, как говорим, но понятия их об этом разговорном языке, как видно, не совсем согласны. Смее поручиться, что Евсей Стахеевич никогда не писал так, как пишет и даже печатает знаменитый совместник или соревнователь его; сей последний смело может приписать разговорный язык свой собственно себе, не уступая никому, ни даже Евсею Стахеевичу, ни былинки, ни пылинки своего избречения.

готовы во всякое время пересказать ее на словах? Почему это общий наш недостаток, что мы пишем гораздо хуже, чем говорим, и исключения из этого общего правила так редки? Отчего не только люди маленькие и темные, а порядочные, неглупые и деловые, не только заседатели, которых бог простит, а, например, и сам даже», — Евсей оглянулся и продолжал думать тише прежнего — а что, неизвестно: голова его сомкнулась, и мысль замерла в ней, как дерзкая мошка в цветке неотроге.

Нам, однакоже, за отрывистыми и уносчивыми думами Евсея Стахеевича не угодиться; остается еще только сказать, сверх всего, о чем мы уже знаем, что бедного Евсея преследовала, казалось, с давних времен какая-то невидимая вражья сила. Евсей так к этому привык, что никогда беде своей не удивлялся, никогда не равнял себя в этом отношении с прочими людьми, считал себя каким-то пасынком природы и с покорностью представлял повинную свою мечу и секире: но тогда меч и секира его щадили, и дело принимало обыкновенно более смешной, забавный оборот. Есть же такие бедовики-неудахи на свете! Мелочные отношения суетной жизни, обычаев, обрядов и приличий беспрестанно сталкивались с Евсеем — или он с ними — локоть об локоть и выбивали его из привычной колеи. Губернатор любил его как работающего, делового чиновника, употреблял его нередко, когда он, Лиров, служил еще в губернском правлении; но и губернатор не понимал его и, следовательно, не мог оценить. А к какому роду из числа высших гражданских сановников принадлежал и сам губернатор, это видно из следующего происшествия, относящегося также к числу неудач нашего Евсея. Лирову было однажды поручено следствие; он его окончил совестливо, разобрал и очистил пресложное, запутанное дело и ждал спасибо. Но пронырливые ходатаи успели наущничать наперед, оборотить губернатора лицом в лес, а затылком в чистое поле, и Лиров, воротившись и пришедши с донесением, встретил угрюмое чело, в котором одна знакомая ему продольная морщина, проходя косвенно к правой брови, показывала неудовольствие. Оно так и вышло.

— Ваше прев — во, — сказал Лиров, чувствуя себя в полной мере правым и собравшись с необыкновенным духом, — ваше прев — во, позвольте мне объясниться; отношения мои к вашему прев — ству всегда были доселе самые откровенные; я имел счастье пользоваться...

— Какие отношения, сударь, — спросил губернатор, приподняв густые брови на целый вершок, — какие, сударь, отношения? Я думаю, рапорты!..

И бедный Евсей, вздохнув и прикусив язык, замолчал, не оправдываясь, не объясняясь и вовсе даже не удивлялся

этому неожиданному обороту отношений своих к губернатору; казалось, Евсей был уже готов всегда и во всякое время услышать это или что-нибудь подобное. Этот случай рассказал я для примера, как судьба играла обыкновенно Лировым, и подобная неудача ожидала его на каждом шагу.

Между тем председатель гражданской палаты вѣходил Лирова себе; здесь также шло довольно хорошо; Евсей был счастлив, как вдруг опять случилось вот что: гражданская палата, по малому числу дел, была соединена с уголовною, как и доньше, например, в Астрахани; поэтому Лиров, оставшись за штатом, был уволен в отставку, с выдачей ему единовременного годового оклада жалованья.

Лиров носился мыслями бог весть где, но сидел уже целую неделю после отставки в Малинове и не знал, на что решиться. В таком положении были дела, когда дворянский предводитель дал вечер по случаю избрания его на второе трехлетие: событие, непосредственно связанное с понятием об анненском кресте; и предводитель созвал весь город, а в том числе и отставного чиновника гражданской палаты — пригодится.

И он явился и стал скромненько в углу, и опять, по всегдашней привычке своей, молчал и обходил взорами кругом все собрание, и раскланивался и думал про себя так:

«Сошлись все в одно место, или съехались, потому что в Малинове ходят пешком только прачки и кантонисты, — съехались в одно место, а глядят врознь. Да, люди — это настоящее китайское: *сложи да подумай, casse-tête*;¹ казалось бы, и немудрено сложить да пригнать полдюжины треугольничков, четыреугольничков — да нет; угол за угол заевает, ребро попадает на ребро — не укладываются! Горе, да и только». Потом Евсей, у которого, как у всех чудачков этого разбора, мысли и думы метались иногда с предмета на предмет без всякой видимой связи или сношения, вздохнул, окинул глазом собрание и еще подумал: «Давно сказано, что в лице и в складке каждого человека есть сходство с каким-нибудь животным; но и по душе, по чувствам, по норову и нраву все мы походим на то либо другое животное. Вот, например, лошадь: коли кормишь ее овсею да коли кучер строг, — работает хорошо, везет; но лягается, если кто неосторожно подойдет, и обмахивает мух и мотает головой. Вот легавая собака: знает немного по-французски, боится плети, и поноску подает, и чует верхним чутьем, и рыскать готова до упаду; вот... — Мое почтение, — сказал Евсей, нижайше откланиваясь, — мое почтение, Петр Петрович, — и думал про себя: — Вот кошка! Гладок, мягок, хоть ощупай его кругом, кланяется всем, даже и мне, гибок и

¹ Головоломка (ред.).

увертлив, ластится и увивается и сладко рассуждает хвостом, — а когти в рукавицах про запас держит... а вот борзой: ни ума, ни разума, а как только воззрится да увяжется, так уже не уйдешь от него на чистом поле, разве только в лес: там ударится об пень головою да остановится. А вот настоящий бык: дороден, доволен и жвачку жует, а работает, словно воз сена прет, пьет по целому чану враз... а вот это хомячок — то и дело в свое гнездышко, в норку свою запасец таскает, все, что ни попало, — в норку, да и сам юркнул туда же, и след простыл. А вот и коршун: это сущая гроза крестьян, этот советник казенной палаты; ни курица, ни утица не уйдут от него на мужицком дворе — видит зорко и стережет бойко — это коршун... А это скопа, иначе назвать его не умею; скопа он за то, что хватает все и где попало: и с земли, и с воды, и рыбу, и мясо, где что найдется».

«Можно даже, — подумал Евсей, — взять один известный род или вид животных, богатый породами, и сделать такое же потешное применение. Например, не во гнев сказано или подумано — собаку. Вы найдете в числе знакомых своих мосек, меделянских, датских собак, ищейных или гончих, найдете мордашек, которые цепляются в вас не на живот, а на смерть; таксика или барсучью, которая смело лезет во всякую норку и выживает оттоле все живое; найдете дворяшек, псовых, волкодавов, шавок и, наконец, матушкиных сынков, тонкорунных болонок; а легавого и борзого мы, кажется, уже нашли: вот они, один причуевает что-то, раздувает ноздри, другой скучает, застоялся, сердечный, а гону нет».

Евсей Стахеевич повел глазами по красному углу, по хазовому концу гостиной, где малиновские покровительницы сияли и блистали шелком, блондой, золотом, тяжеловесами и даже алмазами, и еще подумал про себя: «А женский пол наших обществ, цвет и душу собраний, надобно сравнивать только с птицами: женщины так же нарядны, так же казисты, так же нежны, легкоперы, вертлявы и голосисты. Например, вообразим, что это все уточки, и посмотрим, к какому виду этого богатого рода принадлежит каждая: председательша наша — это кряковая утица, крикуша, дородная, хлебная утка; прокурорша — это широконосок, царградская, или так называемая саксонка; вот толстоголовая белоглазая чернеть, а вот чернеть красноголовая; вон докучливая лысуха, которая не стоит и заряда; вон кархаль хохлатый, вон и гоголь, рыженький зобок; вон остроносый нырок, или запросто поганка; вон красный огневик, как жар горит и водится, сказывают, в норах в красной глине; а это свистуха, и нос у нее синий; а вот вертлявая шилохвость! Ну а барышни наши — все равно и это уточки; вот, например, рябенький темнорусый чирочек, вот золотистый чирок, в бле-

сточках; вот миленькая крошечная грязнушка, а вот луточек, беленький, шейка тоненькая, с ожерельем самородным, чистенький, стройный, красавица-уточка; вот к ней подходит и селезень, который за все победы и удачи свои обязан гладеньким крылышкам да цветным зеркальцам, коими судьба или наследство его наделили! Он берет грудью, как сокол, потому что, независимо от вишнево-лилового фрака, жилет его — неизъяснимого цвета, нового, какого нет в составе луча солнечного, и палевые к нему отвороты и серебряные пуговички с прорезью составляют главнейшие наступательные орудия разудалого хвата. Конечно, вихор и расчищенные по голове дорожки и изящная отчаянная повязка бахромчатого ошейника немало способствуют успехам его; но победоносный знает неодолимую силу своей жилетки и поэтому ходит обыкновенно по залам — видите, как теперь, заложив большие персты обеих рук за крайние рукавных жилеточных проемов и придерживая очень искусно шляпу свою правым локотком. Молва идет, что он и умывается даже в перчатках. И с каким самоотвержением и душевным удовольствием подает он дружески руку свою, всегда первый, если, как теперь, встречается с человеком в чинах и в крестах! Это не то, что, например, Иван Ефимович, советник уголовной, — тот всегда не доверяет, кажется, и приятелю, и глядит каким-то следственным приставом, и протягивает руку, словно пистолет, вот этак...» Евсей Стахеевич, забывшись, вдруг протянул руку свою, как протягивает ее Иван Ефимович, и пырнул в бок проходящего со всего разгону лакея с огромным подносом. Лакей повихнулся, едва не уронил подноса, с удивлением и недоумением взглянул на Евсея Стахеевича, который предпочтительно перед ним раскланивался и извинялся.

— С такими странностями мудрено служить в губернии, — сказал какой-то остряк вполголоса, — надобно ехать в столицу, себя показать и на людей посмотреть.

Евсей слышал это; несколько не думая сердиться, он повторил про себя: в столицу! и новая мысль блеснула молнией в замысловатой голове его. «В столицу? — подумал он. — В столицу — нет, совсем не для того, чтобы чудачку или бедовику было место в столице, а так просто, как ездят туда и живут там другие люди, — что, если бы я съездил и нашел там местечко? Что, если мне там повезет, если найду могучего покровителя... ведь я теперь вольный казак, единовременного жалованья на прогони станет, — что, если бы?»

Между тем малиновские молодцы отплясали уже не одну французскую, охорашивались, однакож, еще и выправляли плечи, между тем как девицы, которые, как вы знаете, всегда и везде милы и любезны, стояли махровыми пучочками и проха-

живались, сплетаясь цветистыми, пестрыми веночками. Неужели же, спросят, может быть, кроме девиц, которые так милы и любезны, все прочие жители и служители Малинова были одни животные, какими писало их своенравное воображение Лирова? Совсем нет, друзья, — по дело в том, что у нас у всех, не только у малиновских жителей, свои причуды, странности, недостатки и пороки — у одного более, разумеется, у другого менее. Если вы, вошедши на этот раз в состав китайской игры, о которой я упомянул, усаживаясь и размещаясь, попадете на беду локтем на локоть, упретесь коленом на колено, ребром в ребро, — ну, тогда беда; соседи ваши для вас не годятся, как и вы для них; нет сомнения, что можно бы разместить всех нас и так, чтобы углы за углы не задевали. Едва ли есть такой негодяй на свете, которому бы не было приличного и сродного ему места. Возьмите людей с одного конца, посмотрите на них с известной точки — все негодяи, все животные, один — меньше, другой — больше! Подойдите с другого конца, рассмотрите с иной точки — все люди, а иные, право, люди очень порядочные. Что же, наконец, собственно до девиц, то это статья иная; Евсей Стахеевич, при всей видимой неловкости и нелюдкости своей, кой на что нагляделся и кой до чего додумался. Он был того мнения, что девицы все милы, все любезны, потому собственно, что они девицы; что на них смотреть должно вовсе с иной точки зрения и на одну доску с другими людьми не ставить; почему? — потому, что они — ундины; свойства и качества придут со временем, когда придет душа. Вот какой чудак был наш Евсей! Но он слышал или читал где-то финскую либо шведскую пословицу, которую припоминал часто и никак не мог выбить из головы, хотя она нередко ему досаждала. Пословица эта гласит: «Все девушки милы, все добры — скажите же, люди добрые, откель берутся у нас злые жены?» А в самом деле, господа, откуда берутся у нас злые жены?

Поймав вовсе новую для него доселе мысль о возможности поездки и службы в столице, где в мечтах открывался ему новый мир, Лиров уже не расставался с нею во весь вечер, и на что бы он ни глядел и что бы он ни говорил, а думал все одно и об одном. Когда же, наконец, знаменитый съезд кончился, пыльные лица, мутные с поволокой очи, усталые ноги, расклепавшиеся прически и помятые кружева и блонды стали убедительно проситься домой, на отдых, то Лиров накинул плащ свой наизнанку, забыл и оставил в прихожей калоши и подумал про себя: еду. Слово «еду» отозвалось так ясно и положительно во всем составе тела Евсея Стахеевича, что он, испугавшись, оглянулся кругом; но, повидимому, слово это сказано было не вслух или гостям было не до него: все озабочены были одеваьем и обуваьем; отрывистым тонким голосочкам: «мой

салоп, ваш клок, платок» вторили тенором и басом: «шинель, плащ, калоши», лакеи у подъезда звонким голосом запевали: «такого-то карету!», на улице то тут, то там подхватывали: «здесь!» А между тем уже кучера и выносные резко и зычно кричали и заливались, отгоняя впотьмах быстроногих пешеходов из-под лошадей. Спокойной ночи!

ГЛАВА III

Евсей Стахеевич подмазал повозку

Нам надобно познакомиться теперь с новым чудачком, который связан был с Евсеем узами дружбы и службы: это Корней Власов Горюнов, который за 80 рублей на монету в год, выговорив себе еще товару на две пары сапог да головы и подметки, служил Евсею Стахеевичу верою и правдою, как прослужил 25 лет в Семиградском пехотном полку. Корней ходил за баринем в комнате, варил ему щи да кашу, по воскресным дням подавал и пирог, а иногда и битки, которые выучился готовить в походах по недостатку поварского стола на любом колесе, на шине полкового обоза. Корней ездил за кучера, как сам он выражался, стирал белье и отмечал сверх того мелком под полкой все расходы и приходы барина своего, который в этом отношении был безграмотен и верил всегда Власову на слово, когда этот, пересчитав и поверив все черточки свои по десяткам, приходил докладывать, что деньги все и расход верен. И в самом деле, Корней Горюнов был в одно и то же время честнейший человек, благороднейшая душа и плут и мошенник. Он скорее готов был прибавить свою гривну, если никем неверяемый меловой счет под полочкой у него не сходился, чем утаить грош у барина своего; но обмануть постороннего человека, обчитать торговку, даже стащить что-нибудь на стороне при какой-нибудь крайней нужде — этого он вовсе не считал за грех, не называл воровством. Вор и мошенник в глазах его были люди презренные, и Корней был бы готов полезть с вами на драку, если бы вы стали уверять его, что и он бывал когда-нибудь вором и плутом. Он сам рассказывал, когда хвалился, что служил в полку верой и правдой, отродясь не обманывал начальников своих — сам рассказывал, что считал непременною обязанностью украсть на днежке деревянную ложку или разбить горшок, если хозяин его дурно накормил. Но зато, напротив, разговаривал он с мужиком, у которого был на постое, и особенно с хозяйкою, чрезвычайно вежливо, нередко честил его «вы» и «почтенный»,

если хорошо кормили, и тогда уже старался угодить и отблагодарить чем мог; и если ложка эта была ему необходима, то он отправлялся за нею на другой конец села. Кого Корней признавал другом, приятелем, товарищем или начальником своим, того берег и стерег пуще, чем себя самого и свое добро: но зато всех прочих признавал он неприятелями, в военном смысле, куда причитались некоторым образом и все чужие и незнакомые ему люди. С этими-то понятиями согласовались и все действия и поступки Горюнова.

Евсей Стахеевич так привык к дядьке своему, что не мог без него жить, и ничего не делал, ни за что не принимался, не посоветовавшись наперед с Корнеем Власовым. И Корней Власов никогда не призадумывался, всегда советовал и подкреплял советы свои поучительными примерами и привык держать барина своего в руках, хотя ни он, ни сам барин этого не замечали. Вот почему необыкновенная решимость Евсея Стахеевича, которая, казалось, низошла на него вчера вечером каким-то наитием, поколебалась; он почувствовал, что надобно сперва посоветоваться с Корнеем Власовым, который тогда только беспрекословно соглашался с предположениями барина своего, когда они непосредственно относились к уменьшению расходов и сбережению барской казны: в противном случае Корней Горюнов объявлял без обиняков, что это «пустяки, сударь», и подкреплял решительный отказ свой присказками и разной бывальщиной. Так, он недавно еще не пустил барина своего на какую-то загородную пирушку или гулянье, куда был приглашен и Лиров; не пустил потому, что и это также были «пустяки», на которые требовалось из казны ведомства Корнея пять рублей. Власов в продолжение шестилетней службы своей при Лирове мог бы, казалось, убедиться, что барин его не только никогда не пьет лишней рюмки вина, но что обыкновенно не пьет его вовсе; несмотря, однакоже, на это, Горюнов всегда увещевал барина своего не пить, понимал слова: гулянье, пирушка, вечер, по-своему и говорил: «Что толку в гуляньи этом? Только что деньжонки рассоришь, там еще завтра и голову разломит, а надо итти на службу». Так рассуждал Горюнов и тотчас же подводил примеры: «Вот у нас в полку был такой-то и сделал то-то» и прочее. Если же самому Власову раза два, три в год действительно случалось погулять, то он винулся уже беспрекословно и вслед за тем предлагал барину своему повеселиться с товарищами и приятелями, уверяя, что денег еще осталось довольно, а треть на исходе и скоро будут выдавать жалованье. Корнею нужды мало до того, что барин его во все шесть лет службы при нем, Корнее, не веселился с товарищами и приятелями ни одного раза; что он никогда не бывал на попойках и вел без всякого принуждения самую трезвую и воздержную

жизнь. Корней обо всем держался своих понятий и думал: «Ну, благодаря бога, вчера не пил и нынче не пьет, а что завтра будет — бог весть!» Когда же Лиров журил порядком старика, даже и за то, что этот изредка погуливал, журил и спрашивал: «Как же ты в полку служил, Власов, неужели ты и там также пил?» — и на ответ: «Всяко бывало», продолжал: «Да как же ты, старый хрыч, не боялся, ведь там бьют за это?» — то Корней Горюнов объяснял бесстрашие свое таким образом: «Первую выпьешь — боишься; вторую выпьешь — боишься; а как третью выпьешь, так и не боишься».

Но у Корнея Власова была одна еще слабость, на которую Евсей Стахеевич, при нынешнем предприятии своем, крепко надеялся: страсть к походам и разездам. Корней не любил засиживаться на одном месте и в былое время охотно снарядил барина своего в путь из уезда в уезд, а наконец, и в губернский город. «Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше, — это была любимая поговорка Горюнова. — Мы, слава богу, не мужики, не присосли к земле да к избе, а видывали свету не только что в окне». Поэтому Евсей и предложил ему смело и прямо умысел свой, и вот каким образом и с каким успехом.

Л и р о в. А что, Власов, поедем в столицу?

В л а с о в. Куда, сударь? В Питер? Извольте, поедем; известно, человек ищет, где глубже... тово, рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. А знатный город, уж сущая, сударь, столица. Мы и сами ездили с покойным барином, как последние четыре года службы жил я в денщиках, так стояли мы там, в Питере, по набережной; вот этак начальствующие генералы, этак мы, а вот этак прочие господа.

Лиров слышал только: «в Питере», а более ничего не слышал. Одно слово это сбило его с пути и с ладу; он по привычке своей пустился думать и позабыл уже, о чем было заговорил; а Власов, которому обычай барина не мешать старику разговаривать чрезвычайно нравился, Власов долго еще продолжал разговор свой один.

«В Питере», — подумал про себя Евсей, стараясь доискаться, почему слово это его так озадачило, и, наконец, опомнился и успокоился, когда сообразил, что он о Питере и не думал, а думал только о Москве. В Питер! Почему же не так?

— А разве в Питере, — спросил он Власова, — разве там лучше, чем в Москве?

В л а с о в. Как же, сударь, не лучше! В Москве только что купцы богатые живут да дворяне, а в Питере все большие господа. Да и лавочки, например, в Питере мелочные и овощные лавки почитай что в каждом доме есть, все, что угодно, все

найдешь, дальше угла и не ходи, и, пожалуй, еще на фатеру тебе принесут: а в Москве уж этого нет; там далече до всего, и все посылают, вишь, в город; а это что самая ни на есть Москва, это у них, стало быть, и не город.

Л и р о в. Да в Питере, говорят, трудно добиться до места.

В л а с о в. Отчего трудно? Пустяки. Вот у нас в полку майор вышел в отставку, поехал, и ничего, и слава богу живет. Вот и капитана одного у нас из полка перевели в Образцовый полк; как приехал, так и определили его, и служил себе. Там только обыкновенно уже известно, коли приедет кто, коли из военных, так в ордонанс-гауз, к коменданту, отбирают подорожную, уж там ее и ищи; а коли из гражданских, так туда, в канцелярию генерал-губернатора, там уж и будет.

Л и р о в. Я говорю, Корней, что в Питере нашему брату трудно добиться до чего-нибудь, коли не привезешь с собою каких писем да не заступится большой человек.

В л а с о в. Да уж на это, сударь, нет чуднее Москвы: там, уж и сам наш полковой аудитор сказывал, а он из писарей был пожалован, и сказать уж, что грамотный человек и свету повидал; так он, вишь, сказывал, что чужому человеку в Москве нет и ходу; все одни племяннички, говорит, служат; и на мое, говорит, место определили какого-то цыганенка аль калмычонка, что ли, что вышел от больших господ; так и определился, говорят, с собачонкой, которая табак нюхала; так, говорит, нюхала, что, бывало, покою не даст, поколе ей не отсыплешь. Шавка, говорит, была белая вся.

Такой неожиданный оборот дела поставил Евсей в крайне затруднительное положение, он не знал, на что решиться. Мысль об одной Москве уже кружила ему голову, так что когда Корней подал щи да кашу, а Лиров достал без всякой надобности часы из кармана и поглядел на них, не заметив вовсе, который час, то вслед за тем поднес было часы эти ко рту и едва не перекусил их пополам, воображая, что держит в руках ломоть хлеба. А теперь две столицы, как два сказочных видения, обетованные призрака, манили его направо и налево, и обе таили под золотыми сводами и расписными потолками своими грядущую судьбу нашего доброго Евсея.

Разложив перед собою карту и водя пальцем взад и вперед, между Питером и Москвою, смотря по тому, куда переносился мысленно, Евсей Стахеевич остановился, съездив уж раз десять взад и вперед, на Твери, — взглянул влево, гдѣ Малинов, и опять уже, как это так часто с ним случалось, напал на богатую мысль. Он решился выехать на Тверь, подумать дорогою, сообразить дело в Твери и своротить направо или налево —

в Москву или в Питер — по обстоятельствам. Решено и сделано; хотя, впрочем, и не совсем, как мы увидим это после.

Выходив согласие и одобрение Корнея Власовича, Евсей собрался и снарядился в поход. Когда пришлось ехать однакоже, то он расстался не без грусти даже и с Малиновым. Правда, у него остался теперь там один только дом, в котором он был дома, а именно: собственное его жилище; семейство, к которому он было приютился и привязался, оставило Малинов навсегда уже за несколько перед этим времени. Но Евсей при всем том, уезжая навсегда из города, где жил несколько лет, немножко призадумался. «Если бы только, — подумал он про себя тихонько, — если бы люди эти были немножечко, чуть-чуть иначе, если бы не видеть своими глазами на каждом шагу, как всякая правда живет подчас правдою, да кабы они еще немножко поменьше сплетничали и надоедали и себе и друг другу, — так можно бы и жить и служить с ними; а этак, ей-богу, трудно. Был у нас председатель такой, что брал; нынешний, может быть, не берет, а все-таки правда наша держится только на убедительных доводах за подписью кн. Хованского, и выходит одна только путаница, что ину пору не знаешь, куда оборотиться, кому кланяться, кого просить и куда итти».

Так думал про себя Евсей и объехал по способу малиновских прачек и кантонистов все 38 домов, потому что он кобылку свою уже продал. Он прощался со всеми и благодарил всех чистосердечно и от души: а прощаясь с председателем своим, через силу перекусил и подавил упрямую слезинку. Правда, что прощание это и в самом деле кончилось некоторым образом плачевно; председатель изволил кушать чай на крыльце, в холодке, а Евсей, собираясь встать, все отдвигался со стулом своим назад, покуда, наконец, не полетел вместе со стулом тычком и навзничь с крыльца, передувив с полдюжины поросят, которые в Малинове пользуются полной свободой и довольствуются подножным кормом. Председательша, впрочем, успокоила испуганного Евсея в то же время, сказав: «Ничего, ничего, это не наши, это Пелагеи Ивановны, и я давно ей говорила, чтобы она не распускала поросят своих по всем дворам и по целому городу, а велела бы дворовым ребятишкам пасти их по пустырям». Перепетуя Эльпидифоровна, о которой упомянули мы выше, случилась тут же в гостях и сделала также с своей стороны все, что могла, в пользу нашего бедовика: она советовала ему, если хочет лечиться по Килиану, натереть ушиб запросто пенником и тереть байкой досуха; если же он более доверяет Енгалычеву, то положить по равной части вина и уксуса и прибавить щепоть свинцового сахара.

Евсей Стахеевич поехал в Петербург

Евсей Стахеевич, укладываясь и усаживаясь в дорогу, был необыкновенно досужен, толков, распорядителен и заботился о вещах, которые, бывало, лежали вовсе вне круга его забот. «Не будет ли трястись, — спросил он у Власова, — крепко ли уложил ты съестной кузовок свой?» Власов потрянул его раза два и с замечанием: «Малое толико движение дает» — поставил опять на место и приткнул сбоку дорожным, розовой лайки, кисетом своим, на котором изображен был какой-то вершник в латах и гора-горой головы зрителей, с подписью: *турнил*. На художническом произведении, на кисете этом, не взыщите за отступление, употреблено было все имя одного почтенного московского цензора.

Перепетуя Эльпидифоровна, рассудив, что молодой человек может пострадать по легкомыслию своему и от небрежения, прислала Лирову две бутылки с примочками. Власову, который отведал и ту и другую, килиановская показалась гораздо лучше; энгалычевская кислвата и вяжет рот, килиановская, по мнению Власова, была родом из турецкой крепости Килии, во уважение чего он и нашел ей место между кузовочком и кисетом. В это самое время Козьма Сергеевич Мукомолов вспомнил и рассказал супруге своей, заливаясь хохотом, как Евсей Стахеевич поздравил его намеренно с именинами, объяснившись при этом начистоту, что ему нет никакой нужды до чужих именин; и Перепетуя Эльпидифоровна в ту же минуту Елеську — бегом догонять посланного с примочками Ваньку и воротить его. Но Елеська опоздал; бутылки были уже вручены. Посланцы, и тот и другой, стояли, сняв шапки, поодаль от повозки Лирова и перешептывались, не зная, как тут быть? Наконец решились они просить Корнея Власовича возвратить им примочки. Горюнов охотно отдал им энгалычевскую, но с килиановскою расстаться не хотел, а потому и объяснил, что она уже истерлась и почитай вся. Перепетуя Эльпидифоровна рассуждала об этом происшествии очень много и рассказывала и трезвонила по целому городу, между тем как нашему бедному Евсею икалось от какой-то поганой окрошки уже за Вязьмой. Пелагея Ивановна, супруга командира гарнизонного батальона в Малинове, прислала, однакоже, фельдфебеля своего еще во-время: Евсей только что заносил другую и последнюю ногу свою в телегу. Пелагея Ивановна приказала кланяться, велела просить целковый за два искалеченных поросенка. Не удивляйтесь этому: Пелагея Ивановна, как известно целому городу, незадолго до этого взыскала три рубля без вычета на ассигнации с неосто-

рожного соседа своего за хохлатую и мохноногую курочку, которую задушила его борзая. Лишь только Евсей достал худощавый кошелек свой и запустил туда пальцы за целковым, как запыхавшийся слуга дворянского предводителя, в ливрее, без шапки, подал, кланяясь и улыбаясь и желая счастливого пути, вычищенные в лоск старые истоптанные калоши, которые Лиров позабыл наемни после бала. Все это происходило на счет выданного Евсею единовременного годового жалованья. Корней ворчал вслух, а все-таки нашел место и калошам, а именно: между кузовочком, кисетом и примочкой. Наконец Корней Горюнов взлез на телегу, сел, перекрестился, надел шапку, ямщик свистнул, тряхнул вожжами — и колокольчик зазвенел.

Все жители Малинова вдоль Песчаной улицы, как значилась она на чертеже, или Вице-губернаторской, как обыкновенно ее называли, ложились в растворенные окна и высовывались по самые чресла, чтобы посмотреть, кто поехал или приехал. Кто не поспевал на зов колокольчика во-время к окну или не мог признать Лирова в лицо, посылал тотчас же за справкою к соседям или на почту. Вице-губернатор советовал супруге своей, которая ожидала в это время сына в отпуск из армии и очень испугалась, нечаянно послышав колокольчик, — советовал было послать за инспектором врачебной управы; но она, то есть вице-губернаторша, предпочла написать Перепетуе Эльпидифоровне французскую записку, которую ни сам Мукомолов, ни супруга его не могли разобрать, потому что они оба вместе и каждый порознь не знали ни слова по-французски. Перепетуя Эльпидифоровна, однакоже, с помощью ближнего дозналась, что вице-губернаторша просит капель от испуга, и сама отвезла ей Килиановы мятные и Енгальчева эфирные капли. Мокрида Роховна или Роговна, как ее обыкновенно звали, полуполька, супруга инспектора врачебной управы, узнала об этом событии и при первом случае не оставила колынуть как вице-губернаторшу, так и в особенности лекарку, Мукомолову; та сказала где-то в оправдание свое, что инспектор управы переморил уже более людей, чем у него седых волос на голове, что опять в свою очередь дошло до Мокриды Роховны, и вот с чего обе дамы эти разошлись очень нехорошо, так что, не говоря уже о бывалых вечерних посещениях, полтора года сряду не почтили даже друг друга визитом и помирились только по вновь предстоявшему рекрутскому набору. Кто загадки этой не понимает, тому надобно напомнить, что Мукомолов зажиточный помещик, а инспектор врачебной управы не последнее лицо при приеме рекрут; в нынешний набор, который на беду случился вскоре после ссоры дам, Перепетуя Эльпидифоровна дорого поплатилась: и очередные и подставные, все с забритыми затылками воротились во-свояси, и Козьма Сергеевич всех мужиков своих

возил поочередно за полтораста верст на выбор в рекрутское присутствие. Инспектор управы, обрусевший венгерец, был один из тех людей, у которых так называемая голова была особенного устройства: где едят — пошире, а где думают — поуже; собственно же голова его, не в переносном, а в прямом смысле, заключалась, как у рака, в желудке. Несмотря на это однакож, как мы это сейчас видели, его на управление своею частью доставало.

Что подумал и заговорил Малинов о Евсее Стахеевиче по отъезде его? Евсей был не великой спицей в колеснице, но все-таки отъезд его из Малинова составляет некоторым образом событие, потому что в тесном кругу стесняются и мысли; политической мои малиновцы не занимались вовсе, за что я их от души похваляю; а между тем каждый божий день надобно же было о чем-нибудь поговорить! Общего во мнениях и разговорах об этом предмете было только то, что Евсей был всегда чудак, и это без всякого сомнения вина виноватая. Но к этому прибавляли разные разное: губернатор сказал как-то, что Лиров был хороший чиновник, но иногда забывался. Не знаю, как понять это выражение: если его отнести к забывчивости и рассеянности Лирова, то и это некоторым образом справедливо; если же почтенный губернатор хотел намекнуть на недоразумение, возникшее когда-то по поводу отношений и рапортов, то губернатор опять-таки прав, потому что Евсей, видно, в отношениях своих горько ошибался. Инспектор врачебной управы говорил, что это такой человек, с которым нельзя ни связываться, ни знаться. Советники поглядывали с недоумением друг на друга и на подчиненных, как будто кого-то не доискивались. Души, крещенные в чернилах, повитые в гербовой бумаге, молчали и, кажется, даже ничего не думали. Мы отплатим им тем же. Только председатель гражданской палаты, служивший по выборам и уезжавший теперь опять в свои поместья, говорил: «Да, если бы я оставался на службе, я бы этого человека не упустил». Для барынь Евсей Стахеевич был какой-то неловкий, темный молодой человек, который самым неприличным образом и без всяких обиняков бегал от партии, то есть не от виста, — к этому уже привыкли и было много охотников и без него, — но от пары, от невест, а и пуще того от свах. Для девиц, которые, как вы уже знаете, всегда и везде очень сострадательны, Лиров был какой-то жалкий молодой человек, но не противный. Изо всего этого вы ясно видите, что думы свои Лиров берег, большею частью по крайней мере, про себя и увез их с собою; иначе, вероятно, был бы он помянут не тем и не так.

Теперь, когда мы уже знаем, что именно малиновцы думают о Евсее Стахеевиче и что думает Евсей Стахеевич о малиновцах, последних оставить на несколько можно вре-

мени в покое и заняться опять первым. Я вам могу сказать приблизительно наперед, по местным соображениям, что между тем сбудется и произойдет в Малинове. Единственный в городе булочник, который пек сухари и так называемый французский хлеб, вскоре уезжает, и потому оборотливое предприятие Перепетуи Эльпидифоровны посадить в Малинове своего хлебника, обучавшегося в Москве, увенчается полным успехом; во-вторых, новый чепец, или, если не ошибаюсь, накладка, которую выписывает вице-губернаторша прямо из Петербурга, дорогою растряслась, ящик разбит, и накладка приедет в самом отчаянном положении. За это почтмейстерше не миновать разных колкостей; тут уже, не входя ни в какие разбирательства и не принимая никаких отговорок, станут бранить в глаза и за глаза губернского почтмейстера, или, что еще основательнее, его супругу. А наконец, полицеймейстерша, вероятно, вскоре раззнакомится с супругою первого члена межевой конторы; по крайней мере я так догадываюсь, судя по слухам, дошедшим до меня через губернскую повивальную бабу, которая одарена в высшей степени прозорливостью и соображением и знает многое, чего мы не знаем. Аптекарьша наша не так основательна: заключения и выводы ее нередко бывают опрометчивы, потому что она все прикидывает на свой ревельский аршин.

О поездке Евсея от Малинова до Твери занимательного можно сказать немного: чем ближе подъезжал он к московской большой дороге, тем чаще доставал кошелек, тем дороже обходился каждый привал и перегон; а наконец, если не ошибаюсь, в Борисковом, где прождал он час лошадей, не спросив ничего, кроме стакана воды, заплатил хозяйке четвертак за *беспокойство*. До самой Твери потешливая судьба, казалось, потеряла из виду всегдашнюю игрушку и забаву свою, бедного Евсея; но в самой Твери она опять выследила его, привела голодного и усталого в изрядную гостиницу и заставила съесть какой-то биток, который подается, сказывают, в обертке — совсем с бумажкой. Евсею никогда не случалось видеть блюдо это; он привык есть сплошь и подряд все, что ему ни подавали, и заканчивал обыкновенно на том блюде, которое заставляло его сытым; и если бы котлетку эту подали не только в обертке, но даже в корешке и в переплете, то он, вероятно, искрошил, изрезал и съел бы ее так же точно, как и теперь. Но случай этот заставил много хохотать притомных свидетелей, несколько молодых офицеров. Через две минуты вся дивизия, с киями и трубами и стаканами в руках, входила поочередно из биллиардной и рассматривала заезжего уездного чудака, который съел котлетку с бумажкой. Подученный офицерами слуга, переменяя тарелку, объяснил Евсею с лакейской вежливостью и приемами, что он изволил ску-

шать бумажку. Евсей слушал его преспокойно, уставив на него выразительные черные глаза свои, и сказал только наконец:

— Так сделай милость, братец, подавай мне, покуда я голоден, одно съедомое: бумагами сыт не будешь, это я уже знаю давно.

Между тем рядом, в бильiardной, раздавалось только сквозь шум и говор и хохот: 7 и 21; 9 и 25, да остроты преусатого корнета, который замечал каждый раз, когда билья не была сделана: «А, этот широк в плечах, не полез в лузу!» В промежутках же то один, то другой заглядывали опять в боковую дверь на уморительного чужестранца, не утомляясь одними и теми же чередными остротами насчет бумажной котлетки. Евсей почувствовал, что он как-то не в своей тарелке, опомнился и рассудил, что ему в Твери искать вовсе нечего, и велел закладывать.

По московской дороге в лошадях остановки не бывает никогда, даже и без подорожной, а платят тогда только вместо восьми по десяти копеек с версты и с лошади; но староста спросил Корнея Власова, куда ехать? потому что из Твери лежит в разные стороны шесть почтовых дорог, и чередные права ямщиков требуют этого сведения. Горюнов, ни на одну минуту не призадумавшись, отвечал: «Куда? Разумеется, в Питер». Староста, оборотясь к ямщикам, сказал: «На Медное». Повозку заложили, Евсей сел и поехал и тогда только вспомнил, что он из-за бумажной котлетки, которая столько ему досадила, не опомнился еще и не успел решиться, ехать ли в Москву или в Петербург. На вопрос его: «Куда же мы поехали?» Власов отвечал так же спокойно, как и прежде: «Куда? Разумеется, что в Питер», — и Евсей замолчал, решась предоставить участь свою судьбе и Корнею Горюнову.

ГЛАВА V

Евсей Стахеевич поехал в Москву

Лилов впервые ехал по московской дороге и испытал почти всю тягость своевольных и крайне бестолковых ямщичьих обычаев и условных постановлений. Почти всю, потому что Лилов ехал на перекладных, а следовательно, нельзя было ни впрягать лишних лошадей, ни, обступив толпою коляску, отвертывать и раскачивать винты и гайки, чтобы потом указать барину: вот у вас, видно, винт-от потерян, — и заставить заплатит целковый за ту же самую, перекаленную только в огне, гайку.

Неопытному ездоку на московской большой дороге беда: дорога эта преддверье обеих столиц, мужики и ямщики на этом огромном распутьи сделались уже какими-то прощелыгами и мастерски обирают и осударивают проезжих. Даже весь порядок на ямах, эти запутанные очереди или круга, как называют их ямщики, потом бесконечные споры, крик, шум, жеребьи, кусанные или меченые гроши и мерянье по постромкам, передачи или столь известные слазы, которые состоят в том, что при каждом колокольчике сбегаются десятка два, три ямщиков и, решив после долгого спора, за кем очередь, начинают торговаться, продавать и покупать седока, — все это может истощить терпение самого кроткого, миролюбивого человека. Покуда бесконечные сделки и проделки эти не кончились, вам лошадей нет, хотя их на яму, может быть, стоят до сотни троек; при каждом приезде и на каждой станции открываются при вас снова эти торги и переторжки, и тут уже не действуют ни просьбы ваши, ни угрозы, ни даже волшебное в других обстоятельствах «на водку», потому что, покуда не решено еще, кому ехать, никто гривенником вашим не прельстится. Его взять возьмут, но дело от того вперед не подвинется. Спрашивайте сто раз старосту — и его не выдают: он стоит тут же — в этом вы можете быть уверены — и кричит громче всех; но вам отвечают, что он пошел наряжать ямщиков и что его нет. Смотрители не хотят, да и не могут совладать с этими нахальными горлодраями и не имеют обыкновенно никакого на них влияния. Прибавьте к этому еще, что у них идут всегда какие-то две очереди вдруг, и есть, кроме того, какой-то вольный, передаточный круг, от которого вас да избавит бог, и вы согласитесь, что это бестолковщина и путаница в высшей степени.

Евсей Лиров попадал в ловушку на каждом шагу, несмотря на все старания и хлопоты Корнея Горюнова, который, наконец, уже и сам выбился из сил, спасовал и пошабашил, потому, как уверял он, что не военному и еще не по казенной надобности ездить не годится. Евсея передавали с рук на руки, торговались и продавали на каждой станции, после каждого перегона сызнова, рядились всегда до какого-нибудь города, вымаливали и выманивали хотя половину прогонов наперед, чтобы его не беспокоить ночью к расчету, а после заставляли уплачивать сверх прогонов все привески и недовески, которые, по взаимным расчетам, скоплялись на последней станции, и, уверяя нахально в глаза, что это было по ряду и в уговоре, не везли дальше, между тем как тот, с кем Евсей рядился, покинул его на том же месте, продал, взял слазу, и после того смешилось уже на том же основании пять или шесть человек.

Таким образом Евсей Стахеевич наконец добился до Чудова, за пять только станций от Петербурга, как вдруг проняла

его дрожь, когда прочитал он на столбе, что осталось всего 111 верст. Странно было подумать нашему Евсею, что через какие-нибудь полсутки будет он в столице, в этом вихре, водовороте, в этом исполинском смерче кипучей жизни, где всё и все ему чужие, все, от первого до последнего. Куда там приютиться, каким путем начать искать место, куда, к кому обратиться... «Стой, — подумал Евсей, — надобно пособраться с силами и с духом, приготовиться да сообразиться, дела этого рода так не вершатся. Я думал ехать в Москву, меня повезли в Петербург, и я не успел еще опамятоваться». И, покинув повозку свою у чудовского почтового дома и верного стража, неизменное копьё свое при ней, отправился он пешком, куда глаза глядят, пройтись и подумать.

Корней Горюнов выпался, потом встал, умылся, набил трубочку свою, присел у подъезда, начал преобширный разговор с ямщиками и рассказал им почти всю службу свою, с начала и до конца. Началось тем, что слуга гостиницы спросил, где ночевали, а Власов отвечал преспокойно и не оглядываясь: под шапкой; потом разговорились, зачем и куда едут, и вот Корней Власович уже рассказывает слушателям своим, что прежние времена не нынешние; что прежде бывало много дивного, а нынче — чтó и прочее.

Между тем, однакоже, настал вечер, смерклось, Корней Власов давно уже покончил рассказы свои, а барина его нет. Стемнело вовсе, и Власов начинает уже крепко беспокоиться: «Это, — говорит, — дивное дело, о сию пору, хоть бы и потонул, прости господи, где-нибудь, так бы уже давным-давно на воду всплыл; а его таки все нет да нет; диковина, да и только!»

Но диковина, как это почти всегда случается, объяснилась очень просто. Евсей задумался тугою думою, пустившись по дороге направо, в село Грузино, шел да шел и все думал да думал. Ему как-то тесно стало на чужбине; он вспомнил о семействе, к которому было так крепко привязался, стал припоминать все былое и минувшее, хотел забежать и заглянуть вперед, что будет, чего ожидать, — наткнулся мысленно опять на всегдашнюю участь свою, не блестящую, не завидную, и догадался, что он просто бедовик, которому, видно, на роду написано маяться и перебиваться до последнего дня своей жизни. Хорошо, если бы нам дозволялось заглядывать таким образом иногда вперед, в конечные страницы таинственной книги судеб; хорошо, а может быть, и очень худо, если бы можно иногда предугадывать назначение свое и участь; но как бы то ни было, а Лиров думал, что заветная тайна перед ним раскрылась, что ему почти нечего искать, нечего ожидать. Эту грустную думу донес он, наконец, до села Грузина, куда дошел без умысла,

без намерения; но дошедши туда и оглянувшись и услышав, что это село Грузино, Евсею, согласитесь сами, можно было и подумать и призадуматься. У него в голове стало тесно, в груди душно. Утомившись до крайности, нашел он, наконец, на обратном пути своем мужика, который его подвез до места; и вот почему Лиров явился в Чудове уже близко полуночи.

Около того же времени приходит в Чудово и петербургский дилижанс.

Когда Лиров возвратился, два дилижанса, четырехместная карета и огромная шестиместная колымага стояли под крыльцом почтового дома, а ямщики закладывали. Погода была очень тепла и хороша; месяц на убыли взошел с час тому назад, и три женщины прогуливались взад и вперед мимо крыльца в ожидании запряжки. Лиров остановился рядом с верстовым столбом, и отныне, более чем на четверть часа времени, у Чудовой станции стояли не один, а два столба. Мы знаем уже обычай Лирова, созерцательную способность его стоять, и глядеть во все глаза, и думать про себя, и больше ни о чем не заботиться; поэтому нас два столба эти не удивят: ни тот, который стоит уже многие годы в неизменном пегом кафтане своем и не думает, вероятно, ни о чем, ниже другой, в черном скюртуке, с острыми карими глазами, который столько досаждал и себе и другим всеми странностями своими и затяжную думою.

Наконец мужчина средних лет со звездой подошел звать барынь в карету и взглянул при этом на притаившегося соседа своего, на Лирова, так незастенчиво, что недоставало к этому только вопроса: «А тебе чего тут надобно?» Потом, оборотясь к попутчикам своим, спросил по-французски: «Не попросить ли и его также в карету?» В это самое время Корней Власов, не видя еще впотьмах барина своего и приложившись с отчаянья и нетерпенья к килиановской, рассказывал ребятам, что, бывало, в походе идут они, то есть пехота, в страшную слякоть, в дождь, да месят грязь по колено, а конница и пуще того кирасиры обходят их подбоченьясь да только знай покрикивают на них: «Не пылить, ребята, не пылить!» Бедный Евсей вздохнул втихомолку и применил рассказ старого служивого к себе и к надменному, насмешливому звездоносцу. «Что я ему мешаю? Разве и солнце и луна не для всех нас равно светят, куда бы луч ни упал? Разве природа освещает лучом этим предметы исключительно для каких-нибудь избранных любимцев и баловней своих, а не ради всякого, кому чадолюбивая дала зеницу ока? Неуместная зависть и горькая, несправедливая насмешка! Что трудовой и бедовой пехоте отвечать на это надменное: «не пылить?»»



Так-то заносился думами наш Евсей Стахеевич и все еще стоял на одном и том же месте, когда и карета, и кавалер ордена звезды, и предмет, на котором Лиров созерцал так благоговейно отражающийся лунный луч, давно уже умчались из вида. Колымага еще стояла все тут же; одна барыня, из числа клади, занемогла и упросила спутников своих дать ей часа два отдыху и покою.

Власов непритворно обрадовался, увидав, наконец, своего барина, и рассказам и объяснениям Корнея не было конца. Раз десять принимался он рассказывать, как он дивился, что нет барина; что за пропасть, фу ты пропасть — эка подумаешь и прочее. Евсей отвечал на все это мало, почти ничего и, задумавшись, пустился было опять по образу пешего хождения, как изъяснялись в Малинове, и пустился прямо по дороге туда, куда покатила карета. Но Власов поймал его за полу, снял перед ним шапку и побожился, что не пустит его более никуда; потом выпустил из правой руки полу и перекрестился, побожившись еще раз, что не пустит, а после всего этого уже стал уверять и божиться, что пора ехать, что их в Питере, чай, давно уже ожидают и так далее. Не знаю, поверил ли Евсей последнему обстоятельству, но по крайней мере он не мог противиться решительным мерам Корнея Горюнова; понял слова: «ей-богу не пуцу, вот те Христос не пуцу» — и воротился назад. А вошедши в гостиницу, он и сам немало изумился, когда один из старых и давнишних знакомых его, о котором поговорим после, вскочил со стула и вне себя от радости обнял и облобызал его с восторженными восклицаниями и иступленными возгласами. Малинов, Москва, Петербург, Грузино, карета, луна на ущербе, новый приятель — все это сбилось и смоталось в голове Лирова в огромный клубок, которым, казалось, голова его набита туго-натуго, так что ни для какой думы не было более места, иначе Евсей Стахеевич был бы почти готов подумать хорошенько. Власов ли, или уж не сам ли он, Лиров, приложился сегодня с горя к килиановской? Между тем, чтобы говоривши долго да коротко кончить, все это вместе, и Чудово, и Питер, и Москва, и Малинов, и Грузино, и карета, и луна, и дилижанс, и новый приятель — все это снова распуталось и приняло в уме и памяти Лирова настоящий толк и смысл, когда он, Лиров, уже около рассвета сладко дремал, сидючи в том же самом дилижансе, который стоял перед Чудовым почтовым домом, а теперь ехал в Москву. Итак, Корней Власович, поворачивай оглобли да поезжай в Москву; а в Питере еще подождают.

Евсей Стахеевич поехал в Петербург

Вот изволите ли видеть, как дурен этот обычай делать наперед уже надпись или заголовок перед каждой главой! Евсей Стахеевич только что отправился с дилижансом и старым приятелем своим в Москву, а тут, вслед за тем, уже поневоле пророчишь, что он опять поедет в Петербург. Надобно, однакож, пояснить еще первое обстоятельство; и вот как все это случилось.

Евсей Стахеевич вошел в первую комнату гостиницы Чудовой, как вдруг невысокий черноволосый мужчина в зеленом мундирном сюртуке с желтыми пуговицами, с дорожною трубкою в руках кинулся его обнимать. Лиров узнал старого своего сослуживца тех инстанций, о которых мы уже говорили, упомянув о тавлинках и бумажных платках. Это был запросто Иван Иванович, и даже по прозванию только Иванов, бывший писец и бесчиновный — чтобы не сказать бесчинный — служитель жировского земского суда. Ивану Ивановичу стало тесно в земском суде, — да, признаться, ему и письмо как-то не давалось; он вышел на простор, пошел искать счастья по белому свету и попал, как видно, на большую дорогу. Лиров с тех пор потерял его из глаз и из памяти; встреча эта при нынешних обстоятельствах все-таки обрадовала Евсея; по крайней мере знакомое лицо, если смею назвать так Иванова; а Евсею уже тяжело становилось на чужбине и грустно. Он, разумеется, полюбопытствовал узнать звание и место бывшего сослуживца своего, который разъезжал себе так важно в дилижансе между обими столицами, так развязно, так ловко принял старого знакомого и распоряжался в почтовом доме как дома, приказав уже подать на радости бутылку лучшего вина, — слово за словом, и Евсей услышал собственными своими ушами, что Иван Иванович, которого он считал по виду, по осанке, по обращению по крайней мере титулярным советником, если не коллежским асессором, что Иван Иванович просто-запросто кондуктор, проводник дилижанса. «О, — подумал Евсей про себя, — при всем уважении моем ко всякому состоянию и ремеслу, даже к званию проводника дилижансов... но если попытка уездного жителя видеть свет и служить в столице сулит такое или подобное этому блестящее поприще, тогда... тогда...» Но Иван Иванович тряхнул Лирова за локоть, которым этот подперся было, повесив голову, — тряхнул, раскачал и растолкал его дружески, понуждая выпить чудное вино. Но Лиров заметил презрительную улыбку старика трактирщика, колченогого голштинца, в ответ на запрос Иванова и прочел на ярлыке, хотя и мало смыслил толку

в винах, что цена этому чудному вину назначена была восемь гривен. Между тем Иванов, не спросив даже того, за чье здоровье опорожнил уже полбутылки этого красного ротвейна, то есть Лирова, куда и зачем он едет, где служит, как служил доселе и прочее, принялся сам рассказывать ему о кунсткамере, которую теперь, к сожалению, разорили, и о Грановитой палате, которую привели в положение; о памятнике Петру Великому, Минину и Суворову с Пожарским; о самородковом столпе Александра Благословенного; о царь-колоколе, выставленном недавно на фундамент, и об Английской набережной, на которой лежат две свинки, огромные, как значится и в самой на них надписи; о Красной площади и об Эрмитаже, — и везде он был, и все видел, и везде принят как дома. Он продолжал в этом духе, покуда, наконец, староста пришел доложить, что ямщики не хотят долее дожидаться и просят позволения, коли господу не поедут, отпрячь лошадей. Между тем и Власов доносил, что повозка давным-давно заложена и что пора, ей-богу пора ехать. Иванов вскочил, побежал опрометью и прилетел с известием, что больной барыне полегче и что она собирается в поход. Лиров стал прощаться, но Иванов не хотел этого слышать. «Сошлись, — говорил он, — через восемь лет и старые товарищи и приятели, а теперь разбежаться врознь! На что это похоже?» И при этих восклицаниях размахивал он руками, словно мельница, и сшиб со стола кожаным картузом своим порожнюю бутылку. Лиров невольно отскочил и наступил на ногу держателю гостиницы, старому подагрическому немцу, который подкрался было к столу, чтобы прибрать роковую бутылку эту, и теперь раскричался, разохался и расстонался, как будто настал его последний час. А бедный Евсей уже стоял, и кланялся, и просил, и извинялся.

— Ну полно, полно, — продолжал Иван Иванович, — ведь Иван Иванович не сердится, я его знаю, он тезка мой и старый приятель! Послушай же меня, Стахей Сергеевич, так, кажется, зовут тебя? Не откажи другу, поедем вместе!

— Да послушай же и ты, — отвечал Лиров, — я еду в Петербург, а ты в Москву; как же нам ехать вместе?

— Да зачем же ты едешь в Петербург?

— Искать места, хочется попытаться, не удастся ли пристроиться.

— Где? В Петербурге? Место? Пристроиться? Да какие там в Петербурге места?

— Какое найду; побьюсь, поколочусь, мне не привыкать стать; авось добыюсь.

— Где, в Питере? Да какие там места, говорю я тебе, какие места в Питере? Нет ни одного; кто ж там у тебя есть, дядя сенатор, что ли?

— Хоть бы лавочник какой был, так я бы и за то спасибо сказал; было бы у кого пристать. Нет, я так еду, на вывози господь; у меня нет там никого.

— Шут ты прямой, да и только! И нашел же где искать места, в Петербурге! Стало быть, у тебя нет там никакого дела больше, никакой нужды?

— Да, никакой больше, дай бог и с этой одной управиться.

— Так полно бредить, коли так, поедем вместе, у меня в моем дилижансе и четвертые места оба порожние; садись да поедем; все равно, чем ехать порожняком, подвезу, да уж за то на выбор дам тебе место в Москве, какое захочешь. Да! В Питере нашел место!

Евсей подумал: «Врет-то он врет, что место даст, это я знаю; коли сам в проводниках, так, видно, и у него нет дяди в сенаторах; да ведь правду сказать, мне что Москва, что Петербург — оба равны; коли человек берет с собою, и еще даром, и знакомит меня, может статься, хоть с кем-нибудь в Москве, — почему уж не ехать? А говорят, действительно трудно найти место в Питере, да я и сам говорил это наперед Власову; сверх всего этого, мне как-то душа говорит, что мне надо бы ехать в Москву...» Тут луна на ущербе и что-то темное, неясное, несвязное мелькнуло в воображении Лирова, но он решительно ничего об этом не думал, не рассуждал, а сказав сам себе: «Нет, все это вздор; доехав за сто верст до Петербурга, было бы слишком смешно и глупо воротиться в Москву, когда и тут и там виды и надежды мои одинаковы: поеду в Питер». Сказав это сам себе, спросил он только Иванова, вовсе сам не зная, что говорил:

— Да как же быть, у меня телега заложена и со мною человек...

— О, об этом не заботься, это мое дело. Это мигом уладим.

И Лиров не успел ни опомниться, ни очнуться, как Иванов велел отложить телегу его, дал Власову какую-то записку на место в сидейке, которая должна была прийти, по словам г-на кондуктора, через час или полтора, обнял и усадил Евсея с заднего крыльца в рыдван свой, и кони уже мчали его на Спасскую Полесь, в Москву.

Евсей распустил на досуге поводья вольной вольнице своей, этой докучливой для нас уносчивой думе, прищурил глаза и после проходки в Грузино и беспокойной ночи заснул на зыбком рыдване мертвым сном и проспал два или три перегона до самого Новгорода. В крепком и продолжительном сне прошел он снова все инстанции своего служения, подавал секретарю и членам огня и набивал трубки, наливая чернил, между тем как сторож отбирал у двух товарищей его, по приказанию секретаря, сапоги; потом перепечатывал, как наборщик, бумаги,

глухо и слепо, не заботясь о содержаниях их, потом сидел уже сам за зеленым сукном и так далее. Но все это было озарено каким-то новым таинственным светом; везде и всюду видел он теперь в углу в ките, на обычном месте, какую-то ангельскую головку, которая завесила душеспасательные очи свои темными ресницами; Лирову хотелось помолиться, но откуда он к ней ни заходил, никак головка эта не хотела на него взглянуть, упорно потупив взоры. Вот около чего вертелись грезы его во всю ночь. Спросите, пожалуйста, снотолковательниц ваших, что значит этот сон?

Дилижанс остановился в Новгороде, и Евсей, проснувшись и потянувшись, стал ощупываться и оглядываться, припоминая все, что над ним сбылось: казалось, все было хорошо и благополучно, а между тем Евсею как будто чего недоставало, было что-то неладно или нездоровилось. Для приведения этого обстоятельства в ясность он объяснился сам с собою откровенно, и по справке оказалось, что он был просто-запросто голоден. Итак, он позавтракал в гостинице, а доставая деньги на расплату, увидел, что с ним была только одна мелочь, а бумажник хранился у казначея, Корнея Горюнова. «Надобно, — подумал Евсей, — рассчитать, чтобы стало до Москвы». В Валдае, однакоже, довольно пригожая девушка уговорила его еще купить колокольчик с надписью: «Купи, денег не жалея, со мною ездить веселей»; а другая с приговорками: «Ты мой баринушка, красачик мой», втерла на двугривенный баранок. Отроду в первый раз Евсея назвали красавцем; ему это показалось так забавно, что он купил баранки и грыз их дорогою, улыбаясь выдумке затейливой продавщицы. Но в Вышнем Волочке Евсей пожалел уже о своем мотовстве, потому что вспомнил еще одно неприятное обстоятельство: где найдет его Корней Горюнов в Москве и скоро ли еще до нее доволочется? Власову вовсе не сказано было, где искать барина, да и барин еще сам этого не знал. Поэтому Лиров проехал Торжок не торговавшись, а притворясь спящим, не купил ни одной пары гнилых бараньих сапожков, хотя они продавались за козловые и были ему очень нужны. Лиров был один из тех людей, которые иногда целый год не думают мотать, даже не решаются купить и необходимое; но зато, пустившись однажды в покупки, готовы закупить все, что ни видят глазами. В Твери Евсей забыл вовсе о бумажной котлетке, вошел в гостиницу и спросил было поесть. Но когда в бильярдной раздалась во всеуслышание весть, что «уморительный чужестранец, который съел бумажку, опять прибыл», — то Лиров воротился в дилижанс и завалился спать. Долго слуга гостиницы ходил и высматривал и искал барина, который спрашивал закусить; но Евсей сам себя не выдавал и поел уже в Городне.

В Черной Грязи, то есть на последней станции к Москве, словоохотливый Иванов, наконец, счел нужным объясниться с Лировым. Взяв его под руку и отшед в сторону, сказал он:

— Послушай, дружище, я взял тебя так, на свой страх — понимаешь, не на счет конторы, а от себя, по дружбе и на порожнее место: так уж ты, сделай милость, в Москве где-нибудь на дороге слезь, а в контору нашу не ездь, или не останешься ли, может статься, здесь, в Черной Грязи? Смотритель мне человек знакомый, да отселе и недалече, попадешь в Москву, когда захочешь.

«Приятное предложение, — подумал Лиров, — и самое приятельское!»

— Да помилуй, не ты ли сулил мне не только довести меня до Москвы, но пристроить к месту? По крайней мере сдержи хоть первое обещание да довези; ведь я не напрашивался, а ты сам меня угостил!

— Ну, не вдруг же все, любезный; не горячись, место — это легко сказать, да и место месту рознь. Пожалуй, мало ли мест и даром дают, да никто не берет, что в них? Будет тебе и место и все, только погоди; я ведь, видишь, по службе, по должности своей всегда разъезжаю взад и вперед промежду столиц, Москвы то есть и Питера, и есть у меня основательные друзья и тут и там, — и я тебя не забуду; но рассуди сам, как же мне везти тебя в контору свою? Тогда все труды и беспокойство мое пропадут задаром, там с тебя сорвут, а уж мне ничего не достанется; а не две же шкуры с тебя сымать!

«Эге, — подумал Евсей, — да как же он вытерся и намелтался!»

— А где же я найду после всего этого человека своего, — спросил он, — помилуй, что ты со мною делаешь?

— Человека? Э, он не пропадет! Язык до Киева доведет, да и кроме того, братец, верь, по записке моей, — ведь сидейки от нас же ходят, — по записке моей его на руках принесут, свяжут да привезут, коли заупрямится, а на месте будет, об этом не заботься.

— Да место-то велико: где я его найду в Москве?

— Да, в Москве! Ну то-то, видишь, поэтому тебе и лучше выждать его здесь; с ним вместе и отправишься!

— А, так мне сидеть ночь и день на перепутьи и выждать сидейки, чтобы не проглядеть ее! Хорошо и это! Спасибо, друг Иван Иванович! Ну, а что если я тебе еще скажу, что при мне теперь налицо состоит только два двугривенных, коли еще не один пятиалтынный — не видать точек, — и что деньги мои остались у человека?

— Экой же ты шут подновинский, ей-богу шут! Да кто же этак ездит? Ты думаешь проехать от Жирова до Малинова?

Нет, брат, тут без рубля нет и копейки, не как там, без копейки рубля! Ну, хорошо, что наткнулся ты на старого приятеля, на товарища, а другой бы на это не посмотрел...

Евсей Стахеевич устал от привычке своей глаза на Ивана Ивановича, сложил руки и начал думать, так, про себя; а отвечать не отвечал уже более ничего. Но он этим не отделался от старого приятеля и товарища: Иванов полез шарить с заднего крыльца в дилижанс, вытащил оттуда старый плащ Лирова и колокольчик, то есть все, что там было, стал развешивать и разглядывать, сперва плащ, и заметил вслух, что он уже очень поношен.

— Так уж отдай мне, Евсей Стахеевич, — продолжал Иванов, — отдай до времени на дорогу хоть шинелишку эту, я поберегу тем часом свою от пыли, ведь моя стоит без малого сто рублей! — И не выжидая ответа, сложил он плащ и перекинул его на левую руку, а правую поднял повыше колокольчик и прочитал по складам: — «Купи, денег не жалей, со мною ездить веселей», — позвонил, прислушался и продолжал: — Экой проказник, Стахей Евсеевич, да с какой погудкой выбрал, да заувывный какой! На чорта же он тебе? Теперь, чай, уж и без колокольчика доедешь, недалече, отдай уж мне и его, нашему брату, дорожному человеку, пригодится!

Заметив, что Евсей Стахеевич на все это, повидимому, соглашается беспрекословно, что он был тих, и смирен, и кроток, и в лице у него «ни тени злобы», Иванов подошел к нему, потчевал его трубкой, убрав уже на место и плащ и колокольчик, и в ответ на отказ Лирова, который сказал, что не курит, заглянул как бы мимоходом Евсею за воротник и спросил:

— Да сюртучишко у тебя никак сверх фрака надет аль нет?

— Нет, любезный товарищ и дорогой приятель, — отвечал Лиров довольно положительно, — не две же шкуры с меня сыпать, как сам ты сказал; сюртука я тебе не дам.

— Экой чудак! — сказал Иванов, захохотав, прикусив роговой наконечник пружинного чубука своего, свернутого узлом, и почесывая затылок. — Экой чудак! Да кто же об этом говорит? Ты уж и сейчас и бог знает что подумал! Полюбо горевать, — продолжал он, потрепав его по плечу, — приезжай-ка в Москву, так гляди как заживем, и местечко найдется, да еще и служить будем вместе; что ты задумался, а?

И затем Иванов раскланялся дружески с Лировым, обнял его, полез в кожаный мешок свой подле козел — и дилижанс покатился. А Лиров остался в Черной Грязи.

Евсей Стахеевич действительно поехал в Петербург

И потому еще нехорошо угадывать наперед в заголовке каждой главы рассказа содержание ее, что не всегда угодишь да утрафишь; шестую главу, например, поместили мы: «Евсей Стахеевич поехал в Петербург», а выходит, он не поехал, а сел в Черной Гязи; поедет же, коли поедет, — в седьмой.

Евсея в нынешнем безотрадном, истинно отчаянном положении его безотчетно тянуло в Москву, и он бы, верно, отправился туда по способу малиновских прачек и кантонистов; но что будет с Корнеем Горюновым? Евсей просил зрителя убедительно сказать ему, если бы ночью пришла сидейка, но получил ответ, что сидейки останавливаются на селе у ямщиков и что укараулить их трудно. Оказалось также, что все знакомство Иванова со зрителем Черной Гязи ограничивалось тем только, что Иванов занял у него в наемный проезд свой полтинник и теперь отдал в уплату долга отнятый у Лирова колокольчик.

Чтобы не терять времени попустому, Евсей пустился думать, прохаживаясь по Черной Гязи; потом, опомнившись, пошел добиваться толку у ямщиков, где пристают сидейки, потом, не добившись толку, потому что сидейки разных хозяев приставали в разных дворах, пошел опять думать. Так время шло незаметно между делом и бездельем, и, судя по известной пословице, Евсей Стахеевич разве от этого только не сошел с ума, потому что положение его было в самом деле крайнее. Он заложил уже у содержателя гостиницы часы свои, которых Иванов, видно, не доглядел, и все еще не знал, как, где и когда сойдется с верным своим Корнеем.

На третье утро Лиров сидел на крыльце и думал: «Так, так! Я знаю, что я бедовик, и знаю, что мне суждено, может статься, для назидательного примера другим терпеть и пить горькую чашу весь свой век. Чем же я провинился и за что все это валится на мою бедную головушку? Говорят, в Испании или Португалии во время народных зрелищ в театрах бьют негра палкой по голове, чтобы сосед его, дворянин, оглянулся, и тогда говорят этому вежливо: «Извольте сидеть чинно». Может быть, и я родился на свет, чтобы служить таким же назидательным примером для других. При всем том — нечего делать, мне не учиться стать терпеть; выждем конца; любопытно увидеть, чем все это кончится, какие искушения суждены еще бедному потомку воронежского скорняка и какими путями приведет его судьба на общую сборную точку бедовиков и баловней своих, в этот знаменитый ларец Фамусова, на свидание... да с кем?»

Так размышлял Лиров на свободе, носился от нечего делать, закусив повод, и смирялся поневоле, как еще один дилижанс прибыл из Петербурга же в Черную Грязь... Глядя на расторопного кондуктора, который званием и мундирным сюртуком своим рождал неприятные для Евсея воспоминания, он услышал, что тот осведомлялся, когда прошел дилижанс № 7 и не было ли там Лирова? Этот встал, подошел и к неизъяснимой радости своей получил записку от Корнея Власова. Горюнов писал чужою рукою, потому что был безграмотен, вот что:

«Ваше благородие, Евсей Стахеевич! Связались вы, сударь, бог весть с кем, а старика своего и верного слугу покинули на распутье. Обманул он меня, обманет и вас. А на сидейку в Чудове не приняли меня по записке его, говорят, мы его и знать не хотим, а заплатить 25 рублей я не посмел, так отправился за вами пешком, а чемодан и вещи все покинул в Чудове у смотрителя, в чем и взял с него расписку, что не станет требовать за это с вашего благородия ничего, а взял по своей воле, из чести. Так уж побойтесь бога да обождите меня, старика, а мне вас, сударь, не нагнать; и ноги не те, да и спина не служит; либо уж накажите кому-нибудь под Москвой на последней станции, либо оставьте записку, где наша будет фатера. Москва не Малинов, и таких, как мы с вами, сударь, там много. А деньги ваши все целы; несу с собою, чай по них соскучились; да не сказывайте, сударь, никому об деньгах, чтобы меня, старика, какой-нибудь гуртовщик за них не уходил; затем остаюсь вашего благородия — и прочее».

Вот какую весть свежий дилижанс привез Лирову: легче ли стало ему от нее? Что тут было делать и как быть? Чемодан и вещи в Чудове — Корней Горюнов бог весть где, тащится с деньгами пешком, а Евсей Лиров в Черной Грязи, в долгу как в шелку... Искать Корнея, так как бы с ним не разминуться; сидеть тут — долго просидишь, покуда старик отмеряет без малого пятьсот верст; что тут делать? Евсей наконец решался было уже раза два ехать назад искать старика своего, да за малым делом стало: и часы уже почти проел без хозяйки и казначея своего, а ни ехать, ни даже пешком — не с чем. Так просидел Евсей еще три дня; три дня в таком положении стоят иных трех лет; не ручаюсь, чтобы Евсей, при всей беспечности своей и уносчивости воображения, не поседел на 28-м году от роду, если просидит тут еще с неделю.

Но где нужда, тут и помощь; и удивляться этому, как делают многие, вовсе не из чего, потому что без нужды не может быть и помощи. Из Москвы ехал один из благородных, доблестных по сердцу бояр наших в Питер; ехал с семьею и нанял

целый дилижанс. Прибыв в Черную Грязь, узнал он через со-
страдательного зрителя о положении Лирова, выспросил его
в подробности, пожалел и сжалился над ним от души, хотя
в то же время не мог удержаться и от смеху, за что, впрочем,
добрый Евсей вовсе не гневался. Затем боярин выручил бедо-
вика нашего из тисков: уплатив незначительные долгишки его,
предложил он ему место в дилижансе своем, и Евсей тем охотнее
воспользовался снисходительным предложением, что почтенное
семейство ехало медленно, со всеми путевыми удобствами, по-
стоянно останавливаясь для ночлегов; поэтому опасность объ-
ехать Власова и разминуться с ним значительно уменьшалась.
Лирову указали было место в самой карете, рядом с воспита-
тельницаю, или так называемую гувернанткую; но он испросил
разрешения сесть на порожнее открытое место впереди, потому
что ему отсюда гораздо половчей было окидывать глазом всю
дорогу впереди и стеречь своего дядьку. Лиров был весел, до-
волен и совершенно счастлив. Благодарное сердце его таяло
в беспредельной признательности к этому благородному се-
мейству, которое, удостоив Лирова однажды своего покрови-
тельства, обходилось с ним уже как с родным и почти успело
его уверить, что одолжение тут было на его стороне, а не на их.

На одном из перегонов, неподалеку Вышнего Волочка, рано
утром Евсей Стахеевич, как делал это уже во весь путь, не
спускал глаз с бесконечной, по шнуру отбитой дороги, как
вдруг закричал таким диким голосом, что все спутники и спут-
ницы его вздрогнули. Дилижанс остановился, и — Корней
Горюнов стоял, сняв шапку, и глядел недоверчиво на рыдван;
потом вдруг смуглая, старая, поношенного товара рожа его
прояснилась красным солнышком, и он, узнав барина своего,
не мог надивиться, нарадоваться, наговориться. Лиров хотел
было тут же вылезть и откланяться, заговаривая несвязно о веч-
ной благодарности, но его попросили сесть теперь в карету,
а старика усадили на передок. Горюнов так радовался неожиданной
развязке этой, что забыл все прошлое горе свое, забыл,
сколько бедовал и горевал на пути своем, и, сидя рядом с про-
водником, рассказывал ему уже, как он, бывало, в полку, когда
молодые ребята, измаявшись на тяжком переходе, начнут от-
ставать, брал по ружью на каждое плечо, по ранцу на грудь и
на спину и с присвистом пускался вперед по дороге вприсядку.

— Вот, — говорит Корней, — каков я был; послужил я в
свое время богу и великому государю; бывало, кто отстанет ли,
нет ли от рядового 1-й мушкатерской роты Корнея Горюнова,
а Корней Горюнов уже от других не отстанет. Теперь не то:
одолела поясица.

Воспитательница, с которою сидел теперь Лиров, была,
к удивлению его, русская, женщина умная и образованная,

бывшая воспитанница одного из благотельных казенных заведений наших. Кто бы тогда подумал, что маловажное обстоятельство это, то есть что Лирова посадили в карету, и именно на это самое место, независимо от спутников и милой соседки его, будет для него собственно так важно и богато последствиями?

Вельможа дорогою познакомился с Лировым поближе, познался с ним и, узнав нужды, виды и желания его, обещал ему в самых скромных выражениях свою помощь. Лиров возносился уже на седьмое небо, с совершенною доверенностью к новому счастью своему, когда случилось вот что.

Доехав еще засветло до рокового Чудова, где Лиров приехал в целости все вещи свои и, несмотря на расписку, представленную Власовым, отблагодарил услужливого смотрителя тароватым полтинником, покровитель Лирова решил ехать далее, потому что погода была очень хороша и ночь светла; а как прошло уже от известного нам похождения в Чудове две недели, то луна была на прибыли. Поехали. Евсей, колыхаемый зыбкими пружинами колымаги и упоительными грезами услужливого воображения, заснул на полпути до Померанья, спал сладко, натешился и упился досыта какими-то удивительными и небывалыми снами и вошел в Помераньи в гостиницу с намерением опохмелиться, как русский человек, после этой неумеренной, разгульной пирушки. Выпив полбутылки меду, Евсей воротился впотьмах с какою-то самодовольной улыбкой благополучия на устах и, почти не разводя обремененных блаженными грезами век, полез опять в дилижанс на свое заветное местечко, приклонил головушку на правую сторонушку, и как ему показалось, что спутница, отделенная от него только на ширину сиденья переборкою, почивала, то он, продолжая жмуриться и шуриться, сидел тише воды, ниже травы. Дилижанс скоро покатил, и Евсей, который никогда еще не был так близок к конечному исполнению своих надежд и желаний, мечтал и уносился бог весть куда, когда, услышав вдруг людской говор и лай собак, раскрыл глаза и увидел, или, лучше сказать, ничего не увидел, потому что молодая луна уже закатилась и он сидел в непроницаемых потьмах. Но вслед за тем блеснула какая-то зарница и мелькнуло видение, от которого Евсей, в сладостном изнеможении не смея пошевелиться, сидел или почти лежал, как разбитый параличом. С полминуты спустя — еще раз то же: его обдало зарницей; Евсей быстро раскрыл глаза и успел еще уловить мельком, на лету, то же самое неизъяснимо милое видение, которого и самый след исчезал скорее молнии.

Перед сомкнувшимися очами Лирова играли во мраке какие-то вьюны и змейки из едва видимых точек; бахромчатые кисти распускались багровым маком и изумрудными махровыми цветками, между тем как Евсей, не смеядохнуть, старался сообра-

зять: что такое с ним случилось? С полгодинины сидел он как дряхлый старик, с онемелыми членами; наконец опомнился, приподнялся, перевел дух тихо и протяжно, глядел во все глаза и во все стороны — и ничего не видел, ничего не понимал. Все это ему казалось так странно, так непонятно, что он долго еще сидел с открытыми глазами, прислушиваясь к однообразному стуку колес и крику ямщика. Заметив, что соседка его не спит, решил он сказать ей что-нибудь и с тем вместе убедиться, жив ли он еще или, по крайней мере, не спит ли и сам и не видел ли то, что видел, во сне?

— Так вы, сударыня, воспитывались в Смольном? — спросил он голосом провинившегося школьника и, кроме того, очень кстати.

— Нет-с, в Патриотическом институте, — отвечал робкий, но послушный голосок.

Лиров приподнял брови и уши почти на самую макушку, глядел на невидимку во все глаза и опешил вовсе. Голос чужой и незнакомый и вовсе не тот, которым говорила обыкновенно милая его соседка, воспитанная, как он давно уже знал наизусть, в Смольном. Бедный Евсей сидел в этом положении несколько минут и, наконец, опять решил спросить:

— И давно вы уже оставили это заведение?

— Шестого числа будет семь месяцев, — отвечал тот же несмелый и покорный голосок.

Евсей опустил руки, поднял вверх голову, прислонился к заспинке и в этом положении сидел, уже решительно не смеядохнуть, до самого Чудова, где над ним совершалось уже второе чудо. Какое же второе? — спросите вы. — Да разве это не чудо, что, выехав из Чудова, он опять воротился в Чудово? Дилижанс остановился, подали фонари, и Лиров увидел, к величайшему изумлению своему, что двери рядом с ним растворились и что вышел оттуда — тот же самый мужчина со звездой, который с лишком за две недели на этом же самом месте насмешливо спрашивал спутниц своих: «Не попросить ли этого товарища в карету?» Так часто мы пророчим на свою голову, так часто сбывается неожиданное, неправдоподобное; неожиданное вчера, а сегодня быточное и вероятное! Думал ли человек со звездой, что через две недели этот неказистый чудак в изношенном сюртуке своем действительно будет сидеть в одном с ним дилижансе, который был взять им весь и, следовательно, принадлежал ему, звездоносцу, исключительно? Думал ли это и сам Евсей? И наконец, думал ли он же, когда сидел в Малинове и водил нерешительно пальцем по карте между Москвою и Петербургом, что ему суждено будет скитаться на самом деле и не пальцем только, а всею особою своею несколько недель сряду туда и сюда и, наконец, не побывать ни в Москве, ни в Петербурге?

ГЛАВА VIII

Евсей Стахеевич поехал в Москву

Увидев человека со звездой и вовсе незнакомого кондуктора, который высаживал этого большого барина под руки, услышав еще, как звездоносец, оборотясь к дверям, откуда вылез, сказал, взглянув на часы: «Мы с рассветом будем в Спасской Полести», — Евсей прижался в угол, с нетерпением выждал только, чтобы кавалер звезды и проводник отошли подалее от кареты, отворил сам дверцы свои, выскочил и отбежал, не оглядываясь, шагов на сто; потом остановился он и начал опять медленно подходить, как посторонний человек, который любопытствует посмотреть на новоприезжих. Евсей взглядывался и всматривался, сколько темнота ночи позволяла, в дилижанс, в окружающих его людей, в почтовый дом, в кондуктора, в смотрителя и убедился наконец, что опять стоял в Чудове; дилижанс, в котором он приехал, отправлялся в Москву; женщины не выходили, но ведь он видел сам — во сне или наяву? — видел два раза мельком ту же ангельскую головку, которая озадачила его уже раз здесь же, в Чудове, и потом опять являлась ему в грезах, за киотами, в покоях разных степеней его служения; мужчина же был явно тот самый, который, проезжая Чудово недели две тому с лишком, повстречал здесь Лирова и обошелся с ним так по-господски — и еще, помните? похитил в глазах его эту ангельскую головку, закинутую немного назад, когда разглядывала она луну на ущербе, а Лиров в то же время расположился еще, как противень или дружка, рядом с верстовым столбом. Успел ли, нет ли наш бедный Евсей доследиться до горестного для него заключения, что он сел в Помераньи не в свои сани, во встречный дилижанс, на случайно порожнее место, которое с левой стороны, то есть то же самое, которое досталось ему по отводу в дилижанс московского покровителя его; не успел он, говорю я, сообразить все это, как кавалер звезды сел уже снова в карету, и она покати-лась на Спасскую Полесь. Тогда только, и то исподволь, густой туман в голове Стахеевича стал понемногу проясняться. Бедовик наш, догадавшись, в чем дело, счел уже почти излишним удивляться этому довольно странному приключению, убедившись только еще положительнее, что норовистая судьба также нашла дорогу из Малинова до московской дороги, на которой теперь снова так жестоко и неотвязчиво преследовала свою игрушку.

«Что я стану делать, создатель мой? — подумал Евсей, сложив руки, повесив голову и стоя впотьмах на распутии. —

Что я стану делать? Здесь, в Чудове, мне нельзя и показаться; подумают, что я рехнулся; да притом зачем и к чему показываться? Что мне здесь делать, чего искать тут? А что между тем подумает благодетель мой и как разгадает, куда я девался? И что теперь делает мой Власов и где он? Ну что, если его увезли в Питер, а я опять остался с двумя двугривенными, из которых, может быть, один даже пятиалтынный?»

Так бродило долго в голове Лирова; десять раз подходил он украдкой к почтовому дому и глядел на сальный огарок в окно; наконец рассудил однакоже, что не сидеть же в Чудове в ожидании третьего чуда, поглядел вокруг, вздохнул и отправился по образу пешего хождения вперед, в Померанье.

Он шел, заложив руки в карманы, повесив голову, потупив очи, потому что смотреть впотьмах было не на что, думал и, наконец, стал вовсе втупик; остановившись, поднял он голову, начал припоминать видение свое, и дрожь пробежала по всем хребтовым позвонкам его, как неразумные пальцы какого-нибудь малоумного по костяным клавишам фортепиано. Евсей помотал головой, пожал плечами и пошел вперед. Теперь только ему пришло в голову, что он мог бы по крайней мере справиться у проводника, кто таков этот загадочный сановитый кавалер звезды и какие с ним едут барыни, а следовательно, и узнать... Но глубокий и трепетный вздох остановил дерзкую думу эту, и Евсей опять уже был готов сойти с ума при одной мысли о неизъяснимом видении своем.

А видение это явилось так просто, так естественно, как делается все на свете; и Лиров так же точно плутал, как люди обыкновенно делают при подобных случаях. В дилижансе, изволике ли видеть, против каждого места приделано зеркало; проезжая в темную ночь селение, свет из окна избы иногда ударяет прямо в зеркало против вас: тогда обдает вас зарницей, и если вы во-время взглянете в зеркало и приняли притом надлежащее положение, то можете увидеть призрак вашего соседа, отделенного от вас только полупереборкой; а если сосед этот или соседка бесконечно мила и дремлет, закинув головку на подушку и разметав кудри свои, то все это явится вам и в видении, которое промелькнет только молнией и исчезнет. Если вам случится ехать в таком зеркальном дилижансе, то можете испытать все это на деле. Итак, Евсей сидел рядом с существенностью этого видения; просидел рядом в темную ночь и глаз на глаз часа три и успел только узнать, что она институтка и что шестого числа будет семь месяцев, как она увидела свет — не в том смысле, как говорится это о новорожденном, не лучи солнечные, а мир, то есть не тишину и спокойствие, а, напротив, суету светской жизни, пыль, дым и чад. Да, всего этого не знала

и не ведала она, когда сидела неоперившимся птенцом, в пушку, под заботливым крылышком своей доброй маман в Патриотическом институте на Васильевском острове, против Морского кадетского корпуса, где прозябали и мы когда-то, давно, — а русская пословица старого поминать не велит. Итак, Лиров только это и узнал и в продолжение таинственной поездки своей больше ничем не воспользовался.

Между тем Евсей все шел да шел и все думал — и, наконец, сказал вслух:

— И возможно ли, сбыточное ли это дело, чтобы я просидел с нею рядом целую ночь и догадался и узнал об этом уже тогда, как тащусь голодный, и усталый, и измученный целый перегон пешком и с каждым шагом вдвойне от нее удаляюсь! Неужели все это истина и я не сплю, не во сне, не в бреду и не сошел с ума? Или весь свет оборотился вверх дном и обрушился на меня, бедовика? — Это проговорил он вслух, да некому было подслушать его: все вокруг мертво, темно и тихо!

Да, Евсей Стахеевич, если бы вы подстерегали, что теперь говорит верный слуга и сподвижник ваш Корней Власов, так вы бы опять присказку его применили к себе, как наемни, когда он, ломая из себя кирасира, подбоченился и кричал прерзительно: «Не пылить, пехота, не пылить!»

А Корней Власович, сидя в раздумьи в Помераньи и рассуждая о том, что он потерял барина своего и что не надо было пускать его ни на шаг, ни на пядь от кареты, прибавил еще к этому вот что: мужик видел во сне горячий кисель, да не случилось ложки, нечем было похлевать; на другую ночь мужик догадался, лег спать да взял с собою ложку, так уже не видал киселя. И вот эту-то присказку Евсей Стахеевич применил бы теперь, может статься, к себе, если бы ее услышал. Но присказка говорилась с вечера, а Лиров пришел уже в Померанье, выбившись почти вовсе из сил, часу в десятом утра; смотрит, у подъезда, где всегда становятся дилижансы, все пусто, ни колеса, ни полоза; один только Корней Горюнов сидит, подгорюнясь, на крыльце почтового дома и вздыхает тяжело и глубоко, будто везет на себе воз сена, и охает и крестится, поминая без вести пропавшего барина своего, с которым, то есть с пропавшим, не знал, как быть и что делать.

Лиров узнал, что дилижанс ушел уже с рассветом; боярин, принявший такое родное участие в судьбе Евсея, очень по нем заботился и беспокоился, прождал до рассвету, рассылал верховых во все стороны, но наконец, рассудив, что человек в своем уме не может же провалиться сквозь землю, и выслушав рассказ Власова, что барин его и наемни выкинул было такую же штуку, отправившись ни с того ни с сего пешком в Грузино, — сказал: с таким чудачком, а может быть, и полоумным,

мудрено будет справиться, да и ждать его мне, право, недосуг; и затем уехал. Корней Горюнов, теряясь в догадках, рассказал, правда, для примера быть, что у них в полку солдат пропал было без вести, да отыскали его в передней на лавке, где он был завален с ног до головы шинелями; он был хмелен, говорит Власов, да прилег, его впотьмах и завалили; но пример этот не слишком утешил нашего боярина, который думал еще, может быть, видеть в этом намек на незнакомую ему доселе слабость Лирова. Вот как наш Власов поправляется из кулька в рогожку и вот что называется по-русски: простота хуже воровства.

Лирову стало так совестно перед благородным человеком, которому был столько обязан, так совестно, что он уже никак не мог решиться ехать за ним вслед в Петербург; Евсею казалось, что происшествие это должно было, как блаженные памяти в граде Малинове, наделать в столице столько шуму и тревоги, что его, Лирова, верно ожидают уже у Московской, в Петербурге, заставы и от самой заставы этой по всем улицам и переулкам будут встречать и провожать любопытные с насмешливой улыбкой и поклонами. Сверх этого, как показаться на глаза благодетелю своему и опять как, будучи в Питере, не показаться? Словом, он из этой ловушки не видел лазейки и, несмотря на волчий голод свой, принялся за поданный ему завтрак в самом отчаянном расположении духа. Смотритель как человек опытный, наглядевшийся на проезжих всякого покроя, тотчас угадал, что этот не погнушается вступить с ним в беседу; подсел, начал мотать разговор на свой лад и, рассказавши, что прослужил в незапамятные времена девять лет вахмистром, что был потом в Москве квартальным поручиком, поймал в 1812 году семь возов миродеров, то есть мародеров, с семью возами клади, что за это не поровну досталось, а кому чин, кому блин, а ему, квартальному поручику, клин; что он, не клин, то есть, а квартальный, был во всех сражениях и в разных командировках, не раз жизнь терял и прочее и прочее, — нашатнулся случайно опять на беду бедовую Евсея Стахеевича и никак не мог понять, каким образом это могло приключиться такое происхождение, — и в десятый раз стал допытываться: «По знакомству ли Евсей Стахеевич пересел в другой дилижанс или от погрешности?» И Лирову теперь только вошло в голову спросить смотрителя, не знает ли он, кто таковы были проезжие, к которым бедный Евсей подсел незваным гостем.

— Кому же знать, коли не нам, — отвечал смотритель самодовольно. — Генерал этот высокородный, по-нашему, по-старинному, бригадир, а по фамилии прозывается он господин Оборотнев. Уж он вод на одном месяце другой раз взад и вперед проехал, видно по делам каким; а он, говорят, опекуном у ба-

рынь этих, да никак еще и жених, как сказывал наперед чело век его, так с ними вот все и ездит.

Долго мялся и таился Евсей, но наконец, раздумав и рассудив основательно, что чин и прозвание опекуна и жениха никак не могут вести к заключению о звании и прозвании опекаемых, то есть находящихся у него под опекою, решил, да, решил налить полный стакан квасу, поднести его вплоть ко рту, спросить скороговоркою, упершись глазами в стакан: «А кто таковы барыни эти, вы, чай, не знаете?» — и вслед за этим осушить бычком, без расстановки, весь стакан. Когда же смотритель объявил с прежним самодовольствием, что это была помещица Голубцова с дочерью, — то я уже то неожиданное обстоятельство, что стакан не выкатился из рук Лирова и не расшиб стоявшей под ним тарелки, приписываю тому, что преследующая Лирова злая судьба едва ли не натешилась над бедовиком нашим досыта и едва ли не хочет уже ныне исподволь над ним смиловаться. В самом деле, удивление Лирова, изумление, испуг и поражение его были свыше всякого описания; Евсей так быстро изменился в лице, что даже и смотритель привстал со стула своего и не договорил последнего слова. Лиров повторил тот же вопрос, едва не заставил старика смотрителя присягнуть, не только побожиться, дал ему за неожиданную и, повидимому, добрую весть целковый; потом походил взад и вперед по комнате, схватил с карниза печки лучинку, остановился, разглядел ее пристально, будто еще колебался, как с нею быть; лицо его загорелось; в нем сильно выразился переход к какой-то геройской решимости: быстрым и сильным движением рук Евсей переломил заветную лучинку надвое, развел концы, поглядел на них, кинул и вдруг объявил с твердостью, которая совсем к нему не шла, что он едет назад, в Москву. Вслед за тем начал он торопить смотрителя, преследуя его шаг за шагом, пуще всякого фельдъегеря. Смотритель, повторяя на ходу: «сейчас, сейчас», поглядывал искоса на Лирова, как глядят на человека, у которого на вышке обстоит неблагополучно или по крайней мере сомнительно, а красноречиво могучее: «пустяки, сударь», которым Корней Горюнов хотел уgomонить и озадачить барина своего, ударило как горох в стену и не удостоилось даже ответа. Это в свою очередь озадачило и сбilo с толку Власова; получив повторительное приказание укладываться, он уже не нашелся, особенно когда серые вопросительные глаза его встретились с положительным ответом темнокарих очей Лирова. Власов, вздохнув, вышел укладывать амуницию барина в повозку и ворчал при этом вслух:

— Вяжи да путай, верти да кутай, мотай да плутай — авось до чего-нибудь доездимся. Пожалуй! Мне все равно: я не пропадаю, завези меня куда хочешь; да уж пешком не пойду его

искать в другой раз по белому свету, хоть тони, хоть гори! — И всердцах выкинул порожнюю бутылку от килиановской прищочки, чего бы в полном и здравом уме своем, конечно, никогда не сделал. Видно, оба они повихнулись: и хвост и голова, и барин и слуга, или оба добились до ума.

Телегу подали, Евсей сел, поскакал и гнал и в хвост и в голову.

ГЛАВА IX

Евсей Стахеевич до чего-нибудь доездили

Поведение Лирова перед отъездом его из Померанья в самом деле было очень странно. Что какая-нибудь нечаянная и неожиданная весть его изумила, что он, опомнившись и сообразившись, вдруг решился ехать назад и догонять во что бы ни стало дилижанс, из которого сам накануне выскочил и бежал как от огня, — все это еще понять и объяснить кой-как можно; хотя при всем том весьма сомнительно, чтобы он догнал на шестистах верстах дилижанс, который ушел уже верст за сотню вперед; но что значит гаданье это или ворожба на лучинке, и можно ли было предполагать в Лирове, с которым мы ознакомились уже довольно коротко, такое ребячество или суеверие? Но об этом после; поспешим теперь за Лировым: он скачет сломя голову, и если мы от него отстанем, то, может быть, нам так же трудно будет догнать его, как и ему теперь ушедший от него таинственный дилижанс.

Корней Горюнов молчал или ворчал про себя и дал барину своему уходить, проскакав с ним во всю ивановскую без одной двадцать станций, то есть до самого Клина, и дивился только и смотрел, откуда взялась рысь! Прежде, бывало, коли Власов не придет доложить, что лошади готовы, так барин просидел бы да продумал бы, пожалуй, хоть до вечера; а теперь — и мечется, и суетится, и упрасивает, и бранится, да еще и сорит деньгами; что это за диво? Этак, пожалуй, проскакать можно еще раз пяток от Клина до Померанья, коли хватит единовременного жалованья, да что ж в этом будет проку? На каждой станции Власов собирался требовать в этом ответ и отчет у барина своего; но этот был всегда так неуслужлив и недосужен, что ни разу не дослушал и половины предисловия Власова, когда этот подходил, прокашлявшись, и начинал: «Евсей Стахеевич! Служил я верой и правдой царю государю своему 25 лет...» или: «У нас, сударь, в полку был...» и прочее. Поэтому Власов заглянул еще раз в бумажник и в кошелек, решился и положил, что барину

его Клин клином пришелся, чтобы тут кончить и развязать дело во что бы то ни стало. А потому, когда Евсей лег потянуть разбитые хрящи и кости свои на столь знакомый всем проезжим кожаный диван, на котором днем можно еще лежать довольно безопасно, то Власов, проворчав предисловие свое на дворе и на крыльце, вошел и начал прямо с дела так:

— А что, сударь Евсей Стахеевич, долго мы будем еще этак ловить чорта за хвост, гоняться без толку промеж Питера и Москвы, словно нас кто с тылу жегалом ожег?

Л и р о в. Недолго. Поди спроси, давно ли проехал дилижанс с Оборотневым.

В л а с о в. Чего, сударь, спрашивать, помилуйте, да он давно в Москве; и ямщики все говорят и смотритель говорит, что давно в Москве. Власть ваша, Евсей Стахеевич, а это, сударь, пустяки, ей-богу пустяки!

Л и р о в. Не ворчи же, старый хрыч, ты мне надоел; вот тебе полтинник, поди выпей да ляг в телегу и спи.

В л а с о в. Не видал я, сударь, вашего полтинника! Да я, сударь, украду его у чужого человека, а от вас не возьму даром; полтинник! Да вы, сударь, уж 17 рублей с полтиной моих проездили, так что мне полтинник ваш!

Л и р о в. Как — твоих проездил?

В л а с о в. Да так, сударь, проездили, да и только. Я еще в Твери докладывал вам, что деньги все, а вы знай молчите; что ж я стану делать? Тут дело дорожное, помечать негде, а уж я их не украл, мне вашего не надо. Тут, вы думаете, по-нашему? Нет, сударь, двугривенный за миску щей, а щи хоть портянки полощи, да еще и хлеба не дает, собака, и никому даже не уважает!

Л и р о в. Как все, братец? Неужто — не деньги — мелочь, а что было в бумажнике — неужто они все?

В л а с о в. Да вот он, сударь, бумажник: извольте считать, много ли найдете! У меня своих никак рублей со сто шестьдесят наберется — и будем ездить, поколе до чего-нибудь не доездимся; ваша власть.

«Кой чорт, моя власть», — подумал Лиров, вскочил с дивана и принялся ходить по комнате. Да, подлинно, в Клине ему свет клином сошелся, в Черной Грязи посидел он в грязи; одно только Чудово озарило его чудом, да и то не знает еще, чем оно кончится и куда потянет, не то опять в грязь, не то на чистую воду, — а Евсей, чай, боится и того и другого.

Евсей наш думал, думал — и ничего не выдумал. «Теперь уже все равно, — рассудил он наконец, — торопиться некуда, уж я их не нагоню; переночую — а видно, нечего больше делать, как пуститься искать их по Москве. Искать! А где искать? И чем доехать и чем там прожить?» Стало смеркаться. Евсей не смел спросить и чаю, а велел подать стакан воды. Власов поставил

его на окно и вышел, а барин его, походивши, хотел выпить воду эту, да хлебнул фонарного масла и чуть не подавился поплавок ночника, который был устроен в стакане же и стоял на окне рядом со стаканом воды. Евсей выплюнул, запил водою и пошел на крыльцо; а здесь одна из почтовых красавиц, поигрывая, как кошка в сумерки, лукнула поперек крыльца в ящичков метлой, и бедный Евсей, подвернувшись, не успел даже закрыться от нее рукой. Изо всего этого Евсей заключил, что недобрый, который обошел его, видно, при самом рождении, все еще его не покинул и что надобно, собравшись с духом, выжидать конца, утешаясь поговоркою наших калмыков, которые говорят в таком случае только: «что делать, она его так не будишь, она его как-нибудь да будишь». Евсей знал по опыту, что всякая большая беда сказывалась ему наперед бездельными досадами и неприятностями и, наоборот, всякое несчастье отзывалось еще несколько времени докучливыми мелочными перекорами; поэтому он и был уверен, что все это делается теперь или на новую беду, или в помин старой, которая выпроводила его в недобрый час на московскую большую дорогу, протаскала взад и вперед, туда и сюда и наконец отвела самый бестолковый ночлег в Клине, заставив издержать преждевременно все поскребыши своей казны. А если бы Евсею теперь вздумалось сделать заем, то, верно, пришлось бы, по примеру Испании, обеспечить заем залогом и платить еще 49 со ста.

Перед светом прибыла на станцию из Москвы коляска с каким-то камер-юнкером, и Евсей, проснувшись от возни и стуку, узнал в прислуге проезжего приятеля и сослуживца своего, отставного писца, а ныне отставленного кондуктора дилижансов Иванова. Лиров притворился спящим, но этим не отделался; Иванов облобызал его сонного, подсел и заговорил до смерти. Не станем повторять вслед за ним всех пошлостей, уверений в любви и дружбе, обещаний ходатайства в обеих столицах, а наконец и простодушного предложения, не угодно ли выкупить теперь плащ свой, — а перейдем к главному: Иванов истязал и мучил бедного Евсея до того, что этот, сколько ни отмалчивался, как ни отнекивался, а наконец высказал ему таки, что едет в Москву отыскивать Голубцову.

— Голубцову? — спросил Иванов. — Помилуй, братец, да она уже бог весть где: она теперь уже в Крыму.

Лиров за словом отворотился от приятеля своего и замолчал, но тот преследовал его сыщиком, цеплялся за него репейником, увивался около него вьюном.

— Да как ее зовут, Голубцову твою? — спросил он наконец, повторил вопрос свой сто раз, не отвязывался, не отставал, так что Евсею уже ничего не оставалось, как отвечать, что ее зовут Марьей Ивановной.

— Ну, так и есть: чему же ты дивишься тут, я не понимаю, — продолжал Иванов, — коли я тебе говорю наверное, что Марья Ивановна Голубцова уехала с дочерьми своими в Крым?

— Да помилуй, братец, она только что приехала из Петербурга, может быть вчера, не прежде!

— Ну да, знаю, и прямо проехала в Крым. Чему же тут дивиться? Да коли не веришь и коли обстоятельство это для тебя важной относительности, так спроси поди вот у моего камер-юнкера, с которым я поехал по пути; он знает ее и знает, что она уехала в Крым.

Обстоятельство это было для Лирова точно важной относительности, говоря языком Иванова; и Евсей решил узнать лично от камер-юнкера, не врет ли попутчик его.

— Какая Голубцова? — спросил тот, — я, сколько помню, не знаю и не знавал ни одной.

Иванов подскочил, сорвал с головы кожаный картуз свой и пояснил:

— Та самая, ваше благородие, что еще на фоминной неделе приезжала просить, чтобы выхлопотать наскоро отпуск племяннику, который служил у Ивана Петровича, — изволите припомнить, в черном платье, — я на ту пору случился у вашего высокородия с извещением об отбытии дилижанса.

— А, помню, — сказал камер-юнкер, — да, я только не знал, как ее зовут. Да, она и просила об отпуске племянника в Крым. Помню.

«Коли так, — подумал Лиров, отступая почтительно и повиснув карманом своим на дверной ручке или на ключе, — коли так, то, видно, я до чего-нибудь доездили, как пророчил мне Власов». — И насилу распутав карман свой, насмешил камер-юнкера и пошел себе опять думать. Ему и в голову не пришло спросить камер-юнкера, когда именно женщина в черном платье уехала с племянником своим в Крым; Евсей услышал бы, что этому уже три или четыре недели, а следовательно, Иванов врет начисто; но Евсею весть эта так озадачила, что он пошел ходить и думать обо всем на свете, только не о деле. «Судьба, — подумал он, — это одно пустое слово. Что такое судьба? В зверинце этом, на земле, все предварительно устроено и приспособлено для содержания нашего; потом мы пущены туда, и всякий бредет, куда глаза глядят, и всякий городит и пригораживает свои избы, палаты, чердаки и землянки, кашканы, ловушки, верши и учуги, роет ямки, плетет плетни, где кому и как вздумается. Кто куда забредет, тот туда и попадет. Мир наш — часы, мельница, пожалуй, паровая машина, которая пущена в ход и идет себе своим чередом, своим порядком, не думает, не гадает, не соображает, не относит действий своих к людям и животным, а делает свое, хоть попадайся ей под колеса и полозья, хоть

нет; а кто сдуру подскочил под коромысло, того тят по голове, и дух вон. Коромысло этому не виновато, у него ни ума, ни глаз; оно ходило и ходит взад и вперед, прежде и после, и ему нет нужды ни до живых, ни до убитого. Не для меня определяла контора дилижансов выжимки эти, Иванова, в проводники; не для меня её и протурила, чтобы он встретился опять со мною в службе камер-юнкера; не для меня Оборотнев оставил порожнее место в дилижансе своем, а я его занял сам; я влез в гатиматью эту, проторил себе туда колею, и покуда не выбьюсь из нее, не кинусь в сторону, вся беда эта будет ходить по мне; отойди я, и все это пойдет тем же чередом и порядочком, да только не по моей голове. Поэтому судьба пустое слово; моя свободная воля итти туда, сюда, куда хочу, и соображать и оглядываться, чтобы не подставлять затылка коромыслу».

«А если и коромысло и вся махина — невидимка, — подумал про себя Лиров, — так что мне тогда в свободной воле моей и в хваленем разуме, коли у меня звезды-путеводительницы нет и я иду наугад? А если сверх этого, при всем посильном старании и отчаянном рвении моем, куда бы я ни кинулся, всегда попадаю на шестерню, на маховое колесо, под рычаг, на запоры и затворы или волчьи ямы? Тогда что, тогда как прикажете назвать причину неудач моих и плачевной моей доли?»

«Я просто бедовик; толкуй всяк слово это, как хочет и может, а я его понимаю. И как не понимать, коли оно изобретено мною и, повидимому, для меня? Да, этим словом, могу сказать, обогатил я русский язык, истолковав на деле и самое значение его!»

Евсей все думал и все-таки опять не мог понять, как он просидел ночь напролет рядом с головкой в кюите, в одной карете с Марьей Ивановной, и — и — и только. Но головка эта не давала ему покою: забывшись, он несколько раз обмахивался рукой и наконец проговорил в совершенном отчаянии: «Да отвяжись, несносная!» Но она, видно, отбилась вовсе от рук и не думала слушаться его, и Лиров прибегнул к крайнему в таких случаях, у него по крайней мере, средству. Он принялся записывать какие-то отметки на лоскутке; потом встал, вышел, завернул в бумажку эту камешек и закинул как можно дальше через тын. Хорошо, что никто проделки этой не видал: камешек угодил в окно соседней избы и расшиб его вдребезги. Когда стекло брякнуло, то Лиров, при всей честности своей, ушел без оглядки в комнату, потому что ему и заплатить за окно было теперь нечем.

Надобно пояснить эту загадочную проделку: она, извольте видеть, принадлежала к одному разряду с ворожбою на лучине. Если Лиров хотел окончательно и положительно решиться на важное для него дело, если он хотел, чтобы дело это было кончено и решено без всяких оглядок, решительно и положительно,

то он брал прутик, лучинку, щепку и, вообразив себе, что перед ним в виде лучинки этой лежит нерешенное дело, вдруг, с усиленным напряжением, ломал ее или, еще лучше, рубил ее пополам; тогда, глядя на обломки или обрубки, он убеждал самого себя, что изменить решения уже невозможно, переделать дела нельзя, так же точно как никоим образом нельзя уже обратить в первобытное состояние расколотую щепку. Прибегнув к этому крайнему средству, Евсей уже был непоколебим и даже многосильное «пустяки, сударь» Корнея Горюнова произносилось безуспешно. Если же у Лирова что-нибудь лежало слишком тяжело на сердце, удручало и мучило его, не давало ему покою, тогда он писал беду и горе свое загадочными словами на лоскутке бумажки и, собравшись с духом, напрягая воображение свое самым усиленным образом, бросал бумажку в огонь или закидывал так, чтобы ее уже более не видеть. Это, по основанному на опыте убеждению, помогало; Евсей воображал, что скинул ношу свою с плеч, что закинул ее и уничтожил. Что же, наконец, до разбитого окна, то это уже обстоятельство случайное, не входящее вовсе в предначертание каббалистики Лирова.

Камень с запиской наделал, однакоже, в избенке много тревоги, даже независимо от разбитого окна; зрителю принесли бумажку и просили прочитать; этот с величайшим трудом разобрал: «Головка твоя с плеч моих, аминь»; потом еще несколько таинственных знаков — и только. Бабы побежали за каким-то знахарем, который отчитывал порчу, потому что в этом только смысле могли понять содержание записки. Легко вообразить, в каком страхе сидел, и вертелся, и прохаживался бедняк Евсей, покуда все это кончилось и успокоилось и никто его не видал и не видал — не заподозрил и не подозревал. Итак, Евсей попал в кудесники; недаром по крайней мере он поворожил!

ГЛАВА X

Евсей Стахеевич в ожидании будущих благ сидит на одном месте

«У собаки души нет, а один только пар», — говорил Корней Горюнов, рассуждая с кем-то, и Евсей, пустившийся, как мы видели, от нечего делать в размышления и рассуждения, стал разбирать сам про себя, что такое душа? Он был уже очень близок к окончательному выводу, когда Власов задал ямщикам другую загадку: «Десять плеч, пять голов, а четыре души; десять рук, десять ног, сто пальцев, а ходит лежа, на восьми»

ногах; пойдет сам-пять, воротится сам-четверть: что за зверь?» Загадка эта мучила и пилила Евсея так, что он на время забыл даже неотвязчивую головоку, которую закинул в окно соседа, забыл все, бился и маялся, но не хотел спросить объяснения у Корнея, который сказал бы ему, что это покойник, которого несут вчетвером в могилу. В таком положении мы можем на время оставить Евсея, потому что думы Стахеевича бывают иногда довольно плодovitы, а дожидаться конца их долгонько; итак, отправимся на час места в Малинов. Я, признаться, нарочно заставил Корнея задать барину сперва вопрос душесловный, а потом загадку: читатели увидели из этого, как легко Евсей наш уносился думою своею в любую сторону и как упорно увязывался за всяким предметом, за которым пускалось уносчивое воображение его.

И в самом деле! Что делают между тем малиновцы наши и каково-то они поживают?

Все слава богу; а происшествия были тем временем в Малинове разные — чем богаты, тем и рады.

Во-первых, тот самый коллежский асессор, которого Лиров называл лошадью, отправился наемдни куда-то, где продавались оставшиеся после умершего вещи с молотка. У лошади этой была похвальная, но не всегда уместная привычка походя спать; он весьма нередко засыпал сидя где-нибудь на стуле или прислонившись к стенке, к печи. То же самое случилось и здесь; а когда стукнули в последний раз молотком, продажа кончилась, все начали шаркать, шуметь и расходиться, тогда Иван Фомич проснулся и спросил поспешно: «А что я выиграл?» Он думал спросонья, что пришел на лотерею.

Во-вторых, в Малинове было подано явочное прошение о бежавшем, где было сказано: «В какой день означенный Колесников самопроизвольно и неизвестно отлучился, не учиня, впрочем, ничего противозаконного: кроме того, что на нем был поддевок серого сукна, шаровары полосатые да сапоги выворотные». А жировский городничий, вследствие требования губернского статистического комитета, отношением своим уведомлял, что по графе *нравственность* в статистических таблицах сделано надлежащее распоряжение, а именно: «Как оной нравственности в городе не оказалось, то и отнесено к исправнику, не окажется ли таковой в уезде». Отношение городничего было принято комитетом к сведению.

В-третьих, с Онуфрием Парфентьевичем, о котором Лиров говорил, что он похож телом и душою на вола, сыграли шутку. У Онуфрия был старый серого сукна сюртук, лет десять знакомый всем жителям Малинова. Сюртук этот по случаю нездоровья Онуфрия Парфентьевича провисел с неделю на вешалке. У Онуфрия был еще, кроме этого, какой-то племянничек, недавно при-

бывший в Малинов на попечение старика, вольношатающийся из дворян. Этот повеса, воспользовавшись отдыхом сюртука, намочил ему воротник хорошенько водою, посеял крес и поливал его очень прилежно два раза в день. Разумеется, что крес взошел, вырос, и в Малинове рассказывали, будто Онуфрий Парфентьевич сослепу не разглядел этого обстоятельства и явился в присутствие с кресовым воротником.

Затем соображения мои и догадки повивальной бабки нас не обманули; дело относительно известного читателю хлебника или булочника пошло очень удачно, и у Перепетуи Эльпидифоровны был по этому случаю выход, где все поздравляли ее с вожделенным успехом и многие уверяли и божились, что посылают за сухарями всегда к ее только хлебопеку; почтмейстерше также досталось порядком за измятую наколку вице-губернаторши, тем более что торги на поставку вина были уже кончены, а наколка притом вовсе упущена из виду. Заметим мимоходом, что вице-губернаторша все наряды свои выписывала из Петербурга, потому что в Москве господствует какая-то пестрота и безвкусица. За это вице-губернаторша была решительно первая барыня в Малинове.

Далее, полицеймейстерша действительно разошлась с супругою первого члена межевой конторы; это было на гуляньи под Каменной горой: полицеймейстерша пошла в одну сторону, а супруга первого члена в другую. Более они не встречались, потому что полицеймейстерша наказала строго дочери своей Оленьке, чтобы она быстрыми глазенками своими следила неотступно супругу первого члена во все гулянье, и на другое и на третье воскресенье тоже, и давала бы знать матери, если неприятельница угрожает с которой-нибудь стороны фланговым движением или нападением в тыл. Между тем, однако же, губернаторша, предвидя грозу, сказала шутя полицеймейстеру:

— Смотрите, Иван Осипович, чтобы у вас на гуляньи сегодня не вспыхнул пожар.

Иван Осипович, вскочив с места, вытянулся в струнку и спросил не призадумавшись:

— А не прикажете ли, ваше превосходительство, привезти пожарные трубы? — и вследствие ответа рассмеявшейся губернаторши: — О, это, конечно, было бы гораздо безопаснее.

Малиновские пожарные трубы стояли смиренно, поникнув хоботом, на гуляньи под Каменной горой и ожидали пожара. Это крайне забавляло и утешало гуляющих; все подходило поочередно смотреть и удостовериться собственными глазами, в самом ли деле Иван Осипович привез в ожидании пожара трубы свои на гулянье; было много хохоту и смеху, и все потешались исправностью своего городничего. Как бы то ни было,

а трубы эти действительно предохранили вспышку и взрыв между двумя озлобленными неприятельницами: до обеих дошла стороною весть о назначении пожарной команды; и обе, будто условились, кончили, как мы видели, тем, что разошлись в разные стороны. Говорят даже, будто полицеймейстерша прогнала было в город брандмейстера, но Иван Осипович, выезжая из городу верхом, встретил его, воротил и сам в полном параде привел на гулянье. Говорят также, что у Ивана Осиповича пожарная команда в самом деле в отличном состоянии, но что удачное ее употребление обыкновенно бывает, как и на сей раз, дело слепого случая.

Между тем часу в седьмом вечера в воскресенье же на вечернем толчке, на малиновском рынке, толпилось довольно народу; кто покупал, кто только приценился, кто продавал, а кто просто толкался, потому что вечерний базар, или толчок, этот настоящий, коренной источник всех новостей и слухов, составляет любимое гулянье значительной части малиновского народонаселения. Если, например, губернатор думал ехать по губернии, то на малиновском рынке знали это уже тремя сутками ранее, чем в губернском правлении. Этого мало: на рынке знали иногда такие вещи, которые происходили накануне за 500 или 1000 верст; так, например, уверяют положительно, что весть о петербургском наводнении в 1826 году разнеслась по малиновскому толчку, а потом и по целому городу на другой же день ввечеру. Каким образом это делается — объяснить не умею.

Итак, на вечернем толчке в Малинове стояла, словно долбленный резной истукан, торговка, обвешанная с ног до головы всякими проказами. На голове офицерская шляпа, на ней чепец, к нему приколоты с боков ленты, перчатки, косынки, на плечах валеные чулки и носки; в руках канарейка в клетке, изломанные счеты, Антенорово путешествие, вторая часть, а за плечами — знаменитые картины из романа «Павел и Виргиния», четыре времени года, четыре возраста в лицах, Малек-Адель; через руки перекинута платя, истасканные большие платки, до которых малиновские барышни, извините за отступление, большие охотницы, потому что под большим платком не нужно застегивать платя; словом, на торговке этой было все как на украинской ярмарке Грицька Основьяненка, даже охотничья сумка через плечо и в сетке пенковая трубка и старый шандал.

Торговка эта стояла словно чучело и смиренно позволяла каждому прохожему перелистывать и разбирать разнородный товар свой, как подошла к ней пожилая женщина в довольно поношенном шелковом платье, в вишневых атласных башмаках, в простой бумажной большой косынке и в нарядном чепце, на котором широкие и плотные ленты явно изобличали подарок

вице-губернаторши: по крайности, знаток заметил бы, что ленты были не московские. Женщина эта поздоровалась с торговкой, назвала ее по имени и отчеству, рассматривала, так, из любопытства, товар ее и расспрашивала о новостях. Судя по продолжительному разговору и по выражению бездушного лица, она забранными вестями и справками осталась довольна. Простившись с торговкой, подняла она неказистую голову свою, начала оглядываться кругом и, увидав в крытых дрожках Перепетуя Эльпидифоровну, которая, собираясь на гулянье, заехала сюда посмотреть, как идет пшеница ее, — женщина в атласных башмаках и в чепце вице-губернаторши стала кивать Мукомоловой приветливо головой, назвала ее по имени, протолкалась к ней, низко поклонилась у приступка дрожек и, нагнувшись над ней, стала что-то рассказывать. Дело показалось Мукомоловой так любопытно, что она пригласила вестовщицу к себе на дрожки, приказала кучеру ехать шагом и во всю дорогу, до самого жилища спутницы своей, переговаривалась с нею чрезвычайно дельно и прилежно. У низенькой лачужки дрожки остановились; одна вышла, а другая, раскланиваясь с нею, говорила:

— Ну, спасибо вам, спасибо, Афимья Спиридоновна. Да что это вы, право, какие спесивые, никогда не зайдете! Ну хорошо, что я встретила вас теперь; а не попадись я вам, ведь вы бы и не подумали зайти да поделиться новостями, и весь город узнал бы прежде меня. Хоть пришлите, я давно призапасла для вас мерочку пеклеванной муки! — И с тем, приняв поклоны и благодарность записной наушницы и вестовщицы, которая извинялась тем, что всякому-де хочется послушать новостей, не всегда успеешь зайти, куда бы и хотелось, — Мукомолова отправилась на гулянье под Каменную гору.

Запоздав немного, Перепетуя Эльпидифоровна прибыла на место в самое то время, когда губернатор сказал громко, обоготясь к полицеймейстеру:

— Какой вы всегда вздор делаете, Иван Осипович, так уж это, право, ни на что не похоже! Не поверите, как вы надоели мне своею исправностью. Отпустите сейчас домой пожарную команду.

Иван Осипович отвечал:

— Слушаю-с, — прокомандовал звучно и громко: — Садись, шагом — марш, — и брандмейстер, который состоял у Ивана Осиповича на правах эскадронного командира, отправился обратно в город.

— Видишь ли, что я права, — сказала полицеймейстерша супругу своему, — и что ты всегда вздор делаешь?

Иван Осипович только прокашлялся и сделал движение, будто поправился в седле, хотя шел рядом с супругою своею пешком.

Перепетуя Эльпидифоровна, встретив мужа, погладила его по щеке, взяла под руку и принялась ему рассказывать. Он было захотел во все горло, не стал верить, но она побожилась, как Корней Власов, три разу сряду, и Мукомолов, перестав смеяться, подобрал брыле, скорчил деловую рожу и пригнул голову набок. Затем супруги разошлись, он пошел к своим, она к своим, и оба начали передавать весть по принадлежности. Может быть, весть эта и долго еще не дошла бы до нас, потому что Перепетуя Эльпидифоровна говорила все только шопотом, каждой барыне поодиночке, часто даже на ухо; но Мукомолов не любил тратить слов и времени попустому, он знал одну только тайну и держал ее крепко, а именно: когда, кому и сколько и по каким процентам отдано было им денег. Все остальное говорил он вслух. Встретясь с несколькими мужчинами, проревел он зычным голосом: «Господа, поздравляю! Лиров женится на Мелаше Голубцовой и едет назад в Малинов!» Затем следовало удивление, хохот, споры, подробности, доказательства, опровержения: один верил, другой не верил, третий знал это наперед, и вскоре под Каменной горой ни о чем более не говорили, как о свадьбе Лирова с Мелашей Голубцовой. Всякий судил, рядил, поздравлял, утешал и утешался, кто как мог и умел.

Здесь остается еще пояснить, какое лицо или существо была женщина в атласных башмаках и бумажном платке. Это, извольте видеть, особенное сословие малиновских жительниц, необходимое и полезное, как мха и рожки и сытовая роса для урожая, как червоточина в яблоке. Это, собственно, так называемые вдовушки, а иногда они называют себя также сиротами; это вдовы бывших чиновников, женщины, принадлежавшие когда-то более или менее к свету, но утратившие вместе с мужем и доходное место, и честь, и славу, и вес, и значение. Они теперь стараются быть вхожими кой в какие дома, чтобы сказать: «была я у такой-то, пила чай у такой-то» и приобретать поильными трудами подмогу бедности своей и подпору сиротству. Для этого им открыта верная дорога: ходить из дома в дом и разносить вести. Откуда вести эти берутся — иногда, право, трудно разгадать; так, например, спрашиваю вас, откуда могло взяться известие о возвращении Лирова и о свадьбе его с Голубцовой? Вы скажете, вероятно торговка слышала и передала слухи и толки эти Мукомоловой, — очень хорошо; но я спрашиваю, откуда взяла их торговка? Чудное дело, ей-богу чудное! Отыщем поскорее своего Евсея и убедимся, что на этот раз малиновские вестовщицы превзошли сами себя донельзя; они оставили далеко за собою всех ясновидящих целого мира, и Брюсов столетний календарь им в подметки не годится.

Корней Горюнов не согласен жениться

И в самом деле, посмотрим да поглядим, что делает теперь Евсей Стахеевич: если где-нибудь можно добиться толку, распутать и размотать слышанные нами об нем в Малинове новости, то, вероятно, у него самого; надобно по крайней мере полагать, что делу без него не обойтись и что он знает об этом если не более, то по крайности и не менее малиновской торговли, вдовушки или сироты и даже самой Перепетуи Эльпидионовны.

Ну, а что же вы скажете, почтенные читатели, если я вам докажу на деле, что Евсею Стахеевичу вовсе ничего об этом не известно и что малиновцы наши, которые, говоря вообще, гораздо более подходят к породе легавых, нежели борзых, потому что чуют верхним чутьем, — что малиновцы наши дела этого рода знают гораздо и весьма заблаговременно и всегда прежде тех, до коих они непосредственно относятся.

Итак, отправляемся из-под Каменной горы, из Малинова, прямо в Клин и навещаем Евсея в ту самую минуту, когда Мукломов на вечернем воскресном гуляньи победоносным голосом первого вестовщика восклицает: «Поздравляю, господа: Лиров женится на Мелаше Голубцовой и едет обратно в Малинов!»

Мы в это мгновение застаем Лирова все в той же гостинице и в той же комнате; он расхаживает себе взад и вперед и рассуждает про себя, проговариваясь иногда вслух: «Чудное дело! Не могу опомниться, не могу очнуться! Кажется, я все еще дремлю впотьмах в роковом дилижансе и вижу перед собою то, что видел тогда и чего увидеть никогда более не чаял; надобно же, чтобы я метался, как безумный, взад и вперед по московской дороге, чтобы покинул невзначай благодетеля своего, чтобы избоина эта, Иванов, меня обманул, уверив, что она уехала в Крым, — и все это и сотня других неожиданных, маловажных и бездельных случайностей сошлись и столкнулись над бедной моей головой и чтобы из этого всего вышло и составилось событие — да, событие; в тесном кругу жизни моей это событие не менее важное, как потоп и столпотворение для всемирной истории. Гонимый судьбою, сидя в крайнем бедствии и самом отчаянном положении здесь, в Клине, вдруг встречаю я боготворимую Марью Ивановну...» Тут мечты стали играть в голове Лирова так несвязно, уносчиво и с таким отсутствием всякой логики и последовательности, что уловить и изложить их не берем. Евсей кинулся в изнеможении на известный нам кожаный диван и закрыл глаза рукою.

Корней Горюнов входит, покашливает, поглядывает, переступает, как сторожевой журавль, с ноги на ногу и говорит, почесываясь:

— А что, сударь Евсей Стахеевич, чай что-нибудь да делать надо; так не сидеть же!

Л и р о в. Покуда само делается, так не надо.

К о р н е й. Пожалуй, делается! Вот у нас был один такой в полку: бывало, загуляет, так пошел да пошел — и проплет с себя все до рубашки; так будто это хорошо?

Л и р о в. Задача, Корней Власович, — дай подумать! Ну что же, ты боишься, чтобы и я не стал пить? Небось, не стану!

К о р н е й. Нет, сударь, бог миловал покуда, что вперед будет; а я, сударь, говорю только, что служил и богу и великому государю 25 лет верой и правдой и отродясь начальства не обманывал; а это что такое, сударь, что вы делаете, этого не видал и старик нигде! Выехали на большую дорогу да гонимся, прости господи, не знать за чем; и деньги все проездили, и пешком всю дорогу исходили, да и сели и сидим теперь, да так, видно, и будем сидеть сиднем сидячим?

Л и р о в. Коли сидеть не будет нам хуже нынешнего, так на что же и куда ехать, Корней? Дай бог посидеть этак всякому!

К о р н е й. Дай бог, сударь, сидеть этак турке да французу, да еще кто похуже того, а не нам! Это, стало быть, уж я знаю, Евсей Стахеевич, стало быть, хотите жениться, да только все это пустяки, ей-богу пустяки.

Л и р о в. Это ты откуда взял? К какой стати приплел ты тут женитьбу? — И за словом Евсей наш расхохотался.

К о р н е й. Да уж известно, коли изволите говорить, что хорошо сидеть этак, так хорошо вам, стало быть, подле барышни; а пустяки это, сударь, все. Деньги прогуляли, ни Питера, ни Москвы в глаза не видали, за чем поехали, позабыли, — скоро, сударь, ведь и моих не станет, — тогда что будем делать? Я, сударь, не хочу попрекать вас, избави меня господь; мне, старику, могила, а не деньги; где лягу — все равно, уж мне родина не там, где родился, а где закопают меня, старика; да тогда что делать станем с вами... Я, сударь, сами изволите знать, взят на службу из Сибири, шестнадцати годов от роду; сказали там: «Нужды нет, что он невелик, поколе дойдет до места, так подрастет». Покинул я молодую хозяйку, а детей, признаться, еще не было. Прослужил я верой и правдой 25 лет, только на последние четыре года, как уже поясница стала одолевать меня, пошел я в денщики к майору, да и то, сударь, плакал, как с ружьем да с сумой пришлось расставаться, на безвременьи словно, и они по мне и я по ним соскучился; а дай бог здоровья майору — и майор добрый был мне господин и верил завсегда,

бывало: уж знает, что я его не обману. Вышла мне и чистая, так и тут, видно, согрешил я пред богом и великим государем, что не пошел охотой на другой срок — и нашивку бы дали, и таскал бы ранец, поколе не задавил бы меня где-нибудь; так уж был бы один конец: а то одно то, что в денщиках уже был, другое, что спина не служила, да и домой-таки захотелось: все, думается, дома лучше. Ну что ж, пошел, сударь, и домой — и в другой раз состарился, поколе дошел; год без малого плелся, да уж своего гнезда не застал: словно та же чужбина; только что тошней прежнего стало. Изба, сударь, уж не на том месте стояла, не то чтобы ворота не на тех веревках ходили; да и шапку нашел я после своей на нашести чужую; у хозяйки моей шестеро ребят, трое переросли уже меня, и в казаках все они, да такие молодцы, один урядником; и службу как у них хорошо знают и все построения — даже ездят, сударь, на мундштуках; это не то, например, сибирские казаки наши, что донские; это все равно, что любой конно-егерский полк, только что народ еще порасторопнее будет да удалее. Что ж, известно, бабье дело, хозяйка реветь, да целовать, да в ноги; запела во всю улицу: «Ты ненаглядный мой; ты мой ясный сокол!» Что народ со всего села сбежался — и все уж казаки. И хозяин новый вышел, и фуражку снял, поклонился мне, старику, и стоит, сердечный, призадумавшись, словно виноватый какой. А меня, вишь, давным-давно в покойники записали они: где, дескать, жить ему, давно убит, чай, где-нибудь — за помин души отслужили, да и дело в шапке. Завопила, сударь, хозяйка: «Ты мой ясный сокол, ненаглядный ты мой»; а я, подумавши, и говорю: «Нет, хозяйюшка, наглядись ты на ненаглядного своего, коли так честишь, да не бесчести поминою ясного сокола: был таков, поколе калена стрела да и пуля свинцовая не подшибли летков молодецких, — а был, сударь, я ранен и стрелой на Кавказе, — да поколе долгая година да непогодица не обломала перья правильные! Теперь стал я сова куца, ощипанная, и глядеть тебе, хозяйюшке моей, не на что!» Так я словно на побывку пришел, пожил с неделю да отдохнул и внука еще крестил у второго пасынка своего, у урядника, и крест тельный ему подарил, с себя сняв, который всю службу со мной служил, и в пятидесяти сражениях бывал, и боронил меня от смерти, хоть и ранен был я раз шесть; так тут уж и старики все говорили, что будет-де крестник удалой казак, станет бить и киргизцев и куканцев. А сам я, перекрестясь, и поехал оттуда назад в Россию с баринном, который в Сибирь нашу за чином ездил да отправлялся обратно в Москву. Так вот, сударь, что проку жениться-то? Ничего нет толку, одни только пустяки; только что греха, может статься, на душу возьмешь и другого на грех наведешь; а что проку?

Ли́ров преспокойно выслушал старика своего до конца, чтобы увидеть, чем все это кончится и куда его занесет; но потом спросил, привстав с дивана:

— Да кто же тебя настроил, старик, и откуда ты взял вести свои? Не говори, ради бога, пустяков этих: ведь люди услышат, так подумают, что тут есть какая-нибудь правда; откуда ты взял, что я сватаюсь?

В л а с о в. Да известно, человек ищет, где глубже... тово, где лучше, рыба, где глубже; да только пустяки все это, сударь, ей-богу!

Ли́р о в. Да пустяки же и есть; и я тебе говорю, что пустяки, и ты говоришь, что пустяки, так о чем же мы толкуем?

В л а с о в. Ну, пустяки так пустяки; их в сторону. Так пожалуйте, сударь, просит вас к себе барыня Марья Ивановна, приходила от нее девка.

Ли́р о в. Экий чудак ты, старый хрен, право чудак! Что же ты мне целый час сказки сказывал, а не сказал, как вошел, что меня зовут?

— Да я только хотел, то есть, доложить вам наперед, — переминался Горюнов, — чтобы не вышло, то есть, опосля каких пустяков...

Ли́ров вскочил и вышел.

— Послушайте, — встретила его Марья Ивановна, — я хочу просить вас вот о чем: мы поедем вместе с вами до Твери; а там, как вам нет никакой надобности ехать теперь же в Москву, то вы и не откажетесь быть провожатым нашим до Малинова; не так ли?

Ли́р о в. Душою был бы рад, матушка, если бы я вам хоть на это пригодился, только...

М а р. И в. Что только? Нет, вы мне в этом не откажете. Дайте, однакоже, сказать вам еще другое слово — притворите-ка дверь, чтобы дети не слышали: мне надо спросить вас, не знаете ли, откуда это вышло, будто вы сватаетесь на Мелаше?

Ли́р о в. Так и вы уж об этом слышали? Вы меня знаете, матушка, и поверите мне, если я вам скажу, что сплетня эта меня за вас очень огорчила, но что я знаю об ней, вероятно, еще менее вас; сейчас только старик мой рассказал мне все похождения и приключения свои, прежде чем позвал сюда, и вплел туда, бог знает к чему, предполагаемое им сватовство мое; более я не знаю решительно ничего. Я просил его убедительно не говорить такой вздор, но не мог от него добиться — чьи это догадки и откуда они взялись.

М а р. И в. Ну, бог с ними, оставим это; я только хотела высказать вам все, что у меня на душе. Слушайте же, я вам открою настоящее мое положение и буду ожидать от вас помощи.

Михайло Степанович, которому мы, как опекуну, много обязаны, человек, для меня по крайней мере, самый непонятный. Без всякого дурного намерения, вероятно, он сделал меня и детей мучениками своими, и у меня уже недостает более ни сил, ни терпения. Сам же он, видно, вовсе не понимает, в чем дело; его нельзя ни вразумить, ни убедить, ни умолить — он сам оценивает услуги и одолжения свои и требует за них такую признательность, в которой я должна была отказать ему наотрез: счастьем детей я жертвовать для него не могу. Он, как видно, давно уже решил, что женится на Мелаше; он навещал детей еще в институте и, к несчастью, а может быть, и к счастью, там уже сделал невыгодное на них впечатление; они объявили мне об этом с самого начала принятым у них довольно решительным выражением: «Он такой злой, маменька, мы его презираем». Я пожурила их за это, растолковала им, что, не зная его почти вовсе, им нейдет и осуждать его; что, кроме того, он у них заступает место отца. Мягкие сердца их каялись уже в слезах и почти собирались «обожать» Оборотнева, как этот при нынешних поездках своих с нами из столицы в столицу, где приводили мы в порядок дела по опекунским советам, и в других местах сам обращением своим все испортил и поставил меня в самое затруднительное положение. Он, видите, так странно обходится с ними, особенно с Мелашей, что бедненькие стали вовсе втупик, не знают, что делать и как показать ему свое детское уважение и признательность; они хотят видеть в нем второго отца, а он ухаживает за ними, очень незастенчиво, женихом — и не щадит при этом никого. Я говорила с ним об этом не раз, но он меня не понимает или не хочет понять и продолжает мучить беспощадно бедных девушек. Я давно видела, что он ни в каком отношении не может быть парой для Мелаши, но не могла сказать ему это прямо, потому что он доселе еще не сватался. Наконец нынешнее утро бог послал нам вас; я узнала в вас сына, а Оборотнев — соперника. Да, соперника; не знаю как и почему, но он приступил с час тому ко мне с изъяснением и был так неосторожен, что даже начал говорить об этом при детях. Я выслала их и принуждена была сказать ему, что вы, сколько мне известно, не угрожаете ему соперничеством своим, но что я доселе считала поведение его одною только загадочною шуткою; что я никогда не стану приневоливать дочери к замужеству за немилого и что, даже и по моему мнению, он Мелаше, а она ему не пара. Благодарность благодарностью, но этого я на душу не возьму. Теперь бедненькие сидят и плачут, а Михайло Степанович вышел от меня очень недовольным; мы сидим и ждем, сами не зная чего, тогда как нам давно бы пора ехать. Вероятно, он охотно с нами расстанется, и мы прибегаем под ваше покровительство; вы довезете нас домой.

Лиров, поперхнувшись слезой, долго глядел молча на Марью Ивановну, которая спросила его еще раз:

— Так вы поедете с нами? Мы остаемся одни, и вы нас не покинете!

— Не покину, матушка, — отвечал Лиров, проснувшись, — если вы этого хотите; но нехорошо делаю, что не покидаю, нехорошо, что не покинул уже раньше, нехорошо даже, что встретился с вами!

— Я вас не понимаю, — отвечала Марья Ивановна, глядя на Лирова, — а это, вы знаете, редко случалось; что это значит?

— Это значит вот что, матушка: я — отъявленный бедовик; со мною никому не будет ни добра, ни радости, ни счастья; мой цветочный путь — еще и не засеян, я привык ходить босиком по отцветшим незабудкам, а это, как вы знаете, одни колючки. Я боюсь, не перенести бы мне к вам, в семейство ваше, мою судьбу-гонительницу, — а это бы меня убило!

— Послушайте, — сказала Марья Ивановна, — я не видала вас никогда еще столько малодушным, хотя знала вас, как мне кажется, гораздо в худшем положении, чем ныне. Я воображаемого вами несчастья не боюсь: по крайней мере, если оно суждено мне, то, конечно, не от вас. Первое свидание с вами, кроме душевного удовольствия, доставляет мне еще, в крайне неприятном положении моем, помощь и спасение; вы меня можете выручить теперь...

— О, не просите же меня так убедительно, матушка, — отвечал быстро Лиров, — мне совестно пред вами и стыдно. Делайте, что хотите, везите меня, куда угодно: ваш ответ, если... если...

— Что если? — спросила Марья Ивановна. — Что ж? Вы покинули Малинов, где вас знали как хорошего, честного и дельного человека; вы поехали, бог знает зачем, на чужбину без средств, без пособий, даже без денег; может быть, это и неблагоприятно, но я очень понимаю и уважаю чувство, которое вас к этому побудило; и беды тут, впрочем, еще нет никакой; вы немного узнали свет, а это было вам нужно. Теперь вы воротитесь в Малинов для меня и сообразите там в другой раз, ехать ли вам опять за бедой или оставаться там, где вас знают и потому, верно, всегда дадут вам место. Подумайте хорошенько и вы согласитесь, что я говорю правду.

— Как всегда, матушка, так и теперь говорите вы совершенную правду, — сказал Лиров, поцеловав руку Марьи Ивановны, — я это вижу и понимаю; вижу также, что мне нельзя не ехать с вами; но, матушка, более я не могу вам сказать ничего: я не могу еще опомниться, сердце у меня как-то сжимается, здесь, в горле, давит, промеж глаз, во лбу стучит — я чего-то боюсь и очень боюсь — а сам не знаю чего! Еду с вами, еду;

я ведь весь ваш, давно уже сын ваш, и бог мне даст силу перенести все, не спотыкаясь, не обрушиваясь всею тяжестью этого бедоносного чела ни на кого! О! От этого избави меня, боже, и дай мне силу и крепость.

Когда Лиров, взволнованный темными, безотчетными чувствами, ушел, Марья Ивановна долго еще глядела молча за ним вслед, потом, вздохнув, подумала: «Добрая душа! Я понимаю тебя, хоть и не смею тебе этого сказать. Нет, я этого не боюсь; я знаю тебя, как сына, и не пугаюсь тебя, что бы из этого ни вышло. То, чего ты, из скромности и уничижения, боишься, — было бы, может статься, утешением моим, если бы было так угодно богу; но я в дело это не мешаюсь: матери дозволено только устранять Оборотневых, а что дальше будет — власть господня».

ГЛАВА XII

Евсей Стахеевич наездился и воротился

Итак, любезные читатели, мы видели, что делалось в одно и то же время, в воскресенье вечером, в Малинове и за 500 верст от него, в Клине; спрашиваю еще раз, как малиновские вдовушки, торговки или кто бы то ни был могли знать то, что, как сметливые и прозорливые читатели мои, чай, догадываются, со временем могло бы и случиться, но чего, по крайней мере доселе, еще вовсе не было? Стало быть, малиновцы наши, как я вами наперед уже докладывал, были в высшей степени одарены ясновидением; стало быть, они видели и слышали из-под Каменной горы своей или с этого знаменитого рынка, с базару, все, что делалось в то же самое время в Клине, и, как люди очень догадливые, вывели из этого свои заключения; иначе я этого дива, ей-ей, истолковать не умею.

Марья Ивановна Голубцова была хозяйкой того самого дома, о котором Лиров вспоминал почасту во сне и наяву; он, если не ошибаемся, говорил как-то и в рассказе нашем, что семейство, к которому он было привязался, как к родному, давно уже оставило Малинов. Голубцова, овдовев, поехала в Петербург за дочерьми, которые были отданы уже прежде в Патриотический институт; она не располагала было вовсе воротиться в Малинов, но, приведя дела свои, обще со звездистым опекуном, в порядок, не успела, однакоже, продать выгодно малиновское имение свое, передумала и решилась основаться снова жительством в том же губернском городе.

Лиров знал Мелашу и Любашу детьми и нашивал их на руках; он был в доме свой, и Голубцова почти, можно сказать, воспитала Лирова, по крайней мере образовала, перевоспитала его, хотя он был и в то время уже не ребенок, руководила занятиями его, снабжала книгами и выучила двум языкам. Она любила его, как сына, и он не называл ее иначе, как матушкой. Лиров был ей одной обязан образованием своим и лучшими, утешительными минутами безотрадной жизни своей, которая, особенно в первых степенях его служения, была горька и тошна. Можете себе вообразить радость нашего бедовика, когда во время отчаянного сидения его в Клине вдруг прикатила из Москвы карета, из которой, в глазах его, вышла Марья Ивановна с дочерьми. Оборотнев, которого тревожил и беспокоил один вид незнакомого ему вовсе Лирова, взглянул было на него через плечо: Евсей стоял опять уже, как будто на него нашел столбняк, когда Марья Ивановна первая его узнала, и радостям не было конца. Оборотнев хотя и был только, как выражался смотритель в Помераньи, высокородный бригадир, со звездой св. Станислава второй степени, не знал, однако, куда деваться от глупой надутой спеси, которая играла у него на лице во всех жилках, отзывалась во всех ухватках, в каждом слове, даже в чиханьи и кашле... У этих господ на все свои особые приемы. Оборотнев о сю пору был холост, потому что выжидал с благим терпением известное число чинов и крестов, чтобы уже выбрать невесту вполне по желанию и вкусу, не стесняясь никакими условиями. Оборотнев был совершенно убежден, что статскому советнику благовидной наружности и важной осанки, да еще и со звездой, нет препоны, ни помехи, нет сопротивления, ни отказа; всякая и каждая, вспыхнув фимиамом признательности и подъявля на неоцененного жениха взоры благодарности и умиления, полетит с отверзтыми объятиями ему навстречу; где честь, думал Михайло Степанович, там и счастье, а он в завидной особе своей соединяет и то и другое. Между тем, однакоже, *шпакватость* — то есть скворцовая масть головы его — убедительно и настойчиво докладывала, что пора приступить к делу. Бог знает с чего и почему, выбор Оборотнева пал на Мелашу, с покойным отцом которой он был довольно короток. Но какая-то грубость, смешная самонадеянность, глупая спесь, не прикрытая даже и видом приличия, ограниченность ума и очень неловкое обращение отклонили от него заблаговременно чувства Мелашы, которая *обожала* или *презирала* всегда вместе с целым классом. Оборотнев при частых посещениях своих сделал такое неприятное впечатление на робкие девственные умы или чувства, что было положено целым классом презирать его, потому что он такой недобрый. И темное, безотчетное чувство, руководимое ни опытом жизни, ни привычною прозор-

ливостью, отгадало истину; потому что безотчетная приязнь и ненависть также имеют свое значение.

Оборотнев был, по завещанию Голубцова, опекун осиротевшего семейства его, хлопотал теперь в Москве и в Петербурге по разным его делам; ездил, как мы видели, с Марьей Ивановной взад и вперед и старался при этом сблизиться с Мелашей, которую называл уже, в глаза и за глаза, невестой своей. Несмотря на своекорыстную цель этой услуги, он ценил ее, однакоже, так высоко, что позволял себе быть против Голубцовой грубым, взыскательным и повелительным, чего, конечно, маломальски порядочный человек никогда бы себе не позволил. Мы уже видели, чем все это кончилось: затем его высокородие надулся, уехал, почти не простившись с Голубцовой, в Петербург, а Лиров отправился с нею и с дочерьми ее в Малинов, чего бедняк, не без причины может быть, столько боялся.

Что сказать вам теперь о девицах, о Мелаше и Любаше Голубцовых? Вероятно, вам случалось встретить где-нибудь одно из этих милых созданий, в которых, если говорить о каждой порознь, хотя и нет еще до времени души, — мы следуем здесь душесловию Лирова, — но которые все вместе составляют одну душу? Вы знаете, что они в Патриотическом институте своем все сами зовут друг друга ангелами, прибавляя к этому только номер на кровати, и даже пишут на записочках: «Милый ангел 147, ангельчик 59» и прочее. Если вы спросите у них: «Любите ли вы своего почтенного законоучителя?», то они отвечают вам в голос: «Как можно-с, мы его обожаем!» Если спросите: «А обожаете ли вы такого-то учителя?», то они отвечают: «Нет-с, мы его не обожаем, младший класс его обожает». Если спросите: «Плакали ль вы сегодня, когда прощались с такою-то классной дамой, которая уходит?», то они, сложив руки на передничке и глядя вам прямо в глаза, отвечают: «Плакали-с поутру и после обеда будем плакать». Таковы точно были и Мелаша с Любашею; бесплотные жилицы блаженных островов Макарийских, как гласят народные предания наши, перенесенные на эту грубую, плотскую и вещественную землю, на отжившую, обессиленную почву большого света, в которой нет уже ни соку, ни туку, на которую не канет благодатная капля дождя, а туман утренний стоит туманом и не рассыплется слезистою росой. Мелаша и Любаша слышали однажды о труднобольном, который, будучи безнадежен, очень страдал; они пришли перед вечернею молитвою к маменьке своей и просили с ангельскою улыбочкою на устах, с пречистою слезинкою в очах своих: «Как прикажете молиться, маменька, об этом больном, чтобы он жил еще или чтобы уже бог прекратил страдания его и взял его к себе?» Вот каковы были они, Мелаша и Любаша, чистые, праведные души, к которым еще свет не прикасался

грязными когтями своими, не отравлял еще младенческой непорочности тлетворным, нечестивым дыханием своим. О, как тяжело бывает иногда бедняжкам этим обжиться снова в родительском доме, который они помнят только как несвязные грезы о колыбельной песенке! Как тяжело им иногда приурочить себя сызнова к почве и климату, в котором нет и самого отдаленного сходства с благотворным воздухом и тучным черноземом родной им теплицы, где сквозь чистые стекла так утешительно и так приветливо улыбалось им все: и небо, и земля, и люди, и громады дворцов, где сотни приемышей жужжат пчелками вокруг заботливой матки своей, не зная ни нужд, ни забот, ни потребностей, ни страстей!.. А выйдут в свет — все станет иначе; вы жили в мечтательном мире, поживите же теперь в настоящем и обживетесь с ним, если сумеете.

Читатели мои сами видят, что поэтому большой разницы между обеими сестрами быть не могло; но как у творца нашего нет даже и двух совершенно однообразных былинки и все однородное основано на одном только подобии, как, в свою очередь, самое подобие — на разнообразии, то и Мелаша с Любашей, у которых было столько общего в чертах, в стане и в приемах, равно как и в нравственных и умственных качествах, были два отдельные существа. Лиров наш в этом отношении, конечно, судья не беспристрастный; но и я, как посторонний человек, гляжу на Мелашу как на создание более полное и совершенное, в котором уже все как-то более приурочено к восприятию ожидающей его души. Может быть, это потому только, что Любаша была еще полудитя, между тем как Мелаша более дозрела и, как по крайней мере казалось, обещала понять со временем чувство, о котором Любаша не имела ниже отдаленнейшего понятия. Впрочем, несмотря на замечание это и несмотря на бесконечную любовь Лирова, самое существование которой ангельская головка его еще долго, долго даже и не подозревала, — к ней очень кстати можно применить одну из любимых присказок Корнея Горюнова: слепой спросил зрячего товарища своего: где был? В гостях у кума. Что ел? Кашу с молоком. Что такое молоко, как оно бывает? Сладкое и белое. Да какое же белое? Да белое, ровно гусь. А гусь что такое? Какой он бывает? А вот такой, — отвечал товарищ: и, согнув ему руку клюкой, представил из нее гуся, — вот какой бывает гусь. Слепой обшупал руку его кругом и сказал: а, теперь знаю. И если бы меня спросили, какое понятие есть в Мелаше об этом загадочном чувстве, с которым светские девицы наши знакомятся так преждевременно, убивая цвет в самой еще почве, то я бы вам сказал: такое же, как и в слепом Власова о молоке, которого он не видал, не едал, а слышал от товарища, что оно белое, как гусь, а гуся знает только ощутив согнутую костылем

руку. — И всякая неуместная попытка объяснить Мелаше, что такое любовь, кончилась бы присказкою Корнея Горюнова в лицах. Оставим же ее, бедняжку, в покое; у нее есть теперь свой доморощенный учитель. Недолго стоять затиши и под этим зыбким челном — взволнуются и эти тихомирные воды, и общая доля их не минует: один миг чистого блаженства — и годы томительной суеты.

Затем останется мне только еще сказать вам, что Лиров, примкнувши к Голубцовым, повидимому не навлек на них, как опасался, гнева потешавшейся доселе над ним судьбы; неукротимая, своевольная и своенравная, шаловливая, причудливая и всемогущая обратила, видно, потешный самострел свой на кого-нибудь иного, выследила себе другую погрешку, другого бедовика и, как казалось, причислила доброго Евсея по сказкам своим к семейству Марьи Ивановны, на котором, видимо, почивала благодать божия. По крайней мере все они доехали до Малинова без всяких лирических похождений, а новый председатель палаты, человек, вникнувший во все дела с беспримерною в летописях Малинова прозорливостью и самостоятельностью, прочитывая от начала до конца не одно бесконечное *слушали* и *приказали*, часто спрашивал у советника: «Да скажите, Петр Петрович, кто же у вас писал, например, этот доклад?» и на ответ: «Это бывший чиновник гражданской палаты Лиров», — продолжал, пожимая плечами: «Странное дело, что вы этого человека не умели удержать, тогда как теперь некому сделать даже и самой простой выписки из журнального постановления, а приходится поневоле рассылать во все места точные с них списки толщиною в целую десь!»

Поэтому Лиров не успел прибыть в Малинов, как председатель навел на него сам, распросил подробно обо всем и предложил ему место секретаря в палате, присовокупив, что ожидают со дня на день новое положение о преобразовании палат, по коему жалованье Лирова должно было значительно возвыситься. Благодетельное постановление это, как всем нам известно, действительно состоялось, и Лиров может теперь жить в Малинове не местом, а жалованьем.

Предоставляю читателям потешаться мысленно истинно достойным любопытства удивлением малиновцев, их шумными и нестройными возгласами, невольными напоминающими гагаканье гусиного гурта на столь знаменитом малиновском базаре. Слышите ли при этом победоносные клики тех, которые все это пророчили и знали и видели наперед? Слышите ли гул извинений и оправданий тех, которые сомневались, спорили и не верили? Слышите ли также этот средний резкий голос вестовщиц и вестовщиков, которые не спорят о прошедшем, потому что заняты донельзя и набиты от пяток по самое темя будущим и

настоящим? Да, друзья мои, все это шло и прошло своим чередом; все, наконец, свыклись с неожиданным оборотом дела, потому что старое уже не может быть новостью; языки поуспокоились или пошли выплетать каймы да оборки к новым слухам и новостям — и дела пошли опять своим чередом и порядком.

А чтобы не упрекнули меня, будто я умышленно набрал и выставил у позорного столба каких-то уродов и чудаков и выказал одну только слабую сторону города Малинова, я опять-таки ухвачусь за притчу нецененного для меня Корнея Власовича Горюнова:

«Кочка видна по дороге издали, мечется в глаза поневоле и досаждаёт всякому; а по гладкой дороге пройдешь — и не спохватишься, что пришёл».

ПРИМЕЧАНИЯ

Н. А. Полевой

(Биографическая справка)

Николай Алексеевич Полевой родился в семье купца в Иркутске в 1796 г. Систематического образования Полевой не получил, учился он самоучкой. В молодости переезжал из одного города в другой, в связи с неудачными коммерческими предприятиями отца. Постоянные разъезды помогли ему изучить русскую жизнь.

Впервые в печати Полевой выступил в 1817 г., поместив в «Русском вестнике» стихи и статьи на темы о 1812 г. Поездки в Петербург позволили ему сблизиться с литераторами. В 1822 г. он переезжает в Москву и окончательно отдается литературной деятельности, расцвет которой падает на период издания «Московского телеграфа» (1825—1834 гг.) — одного из ведущих прогрессивных журналов того времени. В этот период написаны лучшие повести Полевого (вышедшие отдельным изданием в 1834 г. под названием «Мечты и жизнь»), роман «Клятва при гробе господнем», «История русского народа» и др.

Переломным моментом в жизни и творчестве Полевого явилось запрещение «Московского телеграфа», последовавшее в 1834 г. Причиной запрещения явилась общая направленность журнала, непосредственным поводом — помещенная на его страницах отрицательная рецензия на монархическую драму Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла». После запрещения «Телеграфа» наступает постепенное идейное перерождение Полевого как писателя и журналиста и в итоге окончательное его падение. Переехав в Петербург, Полевой сближается с Булгаринным и Гречем, редактирует «Северную пчелу» (1837—1840 гг.) и пишет сочинения в духе реакционного псевдопатриотизма (за который прежде он сам осуждал Кукольника и других). В критических статьях, написанных в этот период, Полевой враждует с Белинским. Однако после смерти Полевого, последовавшей в 1846 г., великий критик выступил со статьей, в которой дал высоко положительную оценку деятельности Полевого в период издания «Московского телеграфа».

РАССКАЗЫ РУССКОГО СОЛДАТА

Печатаются по тексту, опубликованному в сборнике повестей Полевого «Мечты и жизнь», часть I, СПб., 1834.

Стр. 10.

Под ташами — под палатками (таша — нарез из холстин).

Стр. 11.

Торов рог скандинавской Эдды. — Тор — в скандинавской мифологии бог грома. Эдда — памятник скандинавской мифологии.

Стр. 13.

Монтольё, Паулина Изабелла (1751—1832) — французская писательница.

Август Лафонтен (1759—1831) — немецкий писатель, автор многочисленных сентиментальных романов, рисующих идиллические и нравоучительные сцены семейной жизни.

«Мальвина» — роман французской писательницы Марии Коттен (1801).

Делиль Жак (1738—1813) — французский поэт, автор описательно-дидактических поэм.

Хмельницкий Богдан (род. в конце XVI века, ум. в 1657 г.) — вождь освободительной войны украинского народа в XVII веке против польских помещиков. Способствовал присоединению Украины к России (в 1654 г.).

Голицов Иван Иванович (1735—1801) — историк, автор «Деяний Петра Великого».

Рубан Василий Григорьевич (1742—1795) — писатель, автор хвалебных од и надписей. Издал ряд сочинений по истории и географии (в том числе об Украине).

«Энеида» Котляревского. — Котляревский Иван Петрович (1769—1838) — украинский писатель, автор комической поэмы «Енеида Вергилия, перелицованная на малорусскую мову» (1798) и др.

«Мои безделки» — сборник стихотворений Карамзина.

Стр. 40.

Иверни (иверень) — осколки, черепки.

Александр Васильевич Рымникский — знаменитый русский полководец Суворов. Прозвание «Рымникский» Суворов получил в честь победы над турецкими войсками, одержанной русскими под командованием Суворова в 1789 г.

Под Кинбургом. — Здесь подразумевается победа русских войск под командованием Суворова, одержанная над турками 1 октября 1787 г. под крепостью Кинбурн.

Стр. 41.

Алексей Григорьевич Орлов — один из вельмож времен Екатерины II. Под его командованием русские войска истребили при Чесме турецкий

флот в 1770 г. и захватили Архипелаг. В честь этих побед Орлов получил титул «Чесменский».

Синее море — старинное название Азовского моря.

Хвалынское море — древнерусское название Каспийского моря.

Железные ворота — Дербент.

Граф Зубов Валериан Александрович — брат фаворита Екатерины II Платона, в 1796 г. был главнокомандующим в войне с Персией.

Русский мясник — подразумевается Минин-Сухорук Кузьма Минич, нижегородский купец, организатор нижегородского народного ополчения с целью изгнания поляков из пределов России в 1611 г.

Стр. 42.

Король Федор Федорович — Фридрих II, прусский король (1712—1786).

Цесарский император — австрийский император.

Стр. 47.

Фурлейты — солдаты, находящиеся при военных фурах или обозах.

Под Липским. — Липск — древнеславянское название города Лейпцига. Здесь речь идет о сражении под Лейпцигом в октябре 1813 г., окончившемся победой над Наполеоном.

Стефан Яворский (1658—1722) — иерарх, противник одного из сподвижников Петра I, Феофана Прокоповича, проповедник и автор ряда религиозных сочинений.

Сохатый — созвездие Большой Медведицы.

Кычиги — созвездие Орион.

Стр. 48.

Тильзитово — Тильзит, город в восточной Пруссии. В июле 1807 г. здесь был заключен мир между Россией, Францией и Пруссией.

Бениксонов (Бенигсен) Леонтий Леонтьевич (1745—1826) — русский генерал, участник Отечественной войны 1812 г.

Стр. 50.

Все на полночь... — на север.

Война с шведом — русско-шведская война 1803—1809 гг. Закончилась присоединением Финляндии к России.

Кульнев Яков Петрович (1763—1812) — русский генерал, участник войны со Швецией 1808—1809 гг. и герой Отечественной войны. В 1812 г. был смертельно ранен при Клястицах.

Стр. 51.

Ведеты — ближайшие к неприятелю часовые в передовой цепи.

Стр. 57.

Розембергов (Розенберг) Андрей Григорьевич (1730—1813) — русский генерал, участник итальянского похода Суворова и других войн.

Антоний Погорельский

(Биографическая справка)

Антоний Погорельский — псевдоним Алексея Алексеевича Перовского, писателя, жившего в 1787—1836 гг. Погорельский был так называемым «побочным» сыном графа А. К. Разумовского. Получил образование в Московском университете. Участвовал в Отечественной войне 1812 г. Впоследствии был попечителем учебного округа в Харькове, затем служил в Министерстве народного просвещения.

Повесть Погорельского «Лафертовская Маковница», напечатанная в 1825 г., имела большой успех и вызвала восторженный отзыв Пушкина (см. во вступительной статье). Погорельский сблизился с пушкинским окружением, вследствие печатался в «Литературной газете». В 1828 г. выпустил книгу «Двойник или мои вечера в Малороссии» (2 части), куда вошла также и повесть «Лафертовская Маковница». В 1829 г. вышла сказка «Черная курица или подземные жители, волшебная повесть для детей». Во всех этих произведениях фантастика переплеталась с изображением реального быта. В 1830—1833 гг. Погорельский напечатал роман «Монастырка». Здесь реалистические черты жизни провинциального дворянства и повествование о судьбе воспитанницы Смольного монастыря совмещаются с элементами сентиментализма, идущими от XVIII века. В отзыве на роман «Монастырка» «Литературная газета» отметила «живость картин, верность описаний», «прекрасный слог».

ЛАФЕРТОВСКАЯ МАКОВНИЦА

Впервые напечатано в 1825 г. в «Новостях литературы», кн. XI. Печатается по тексту, включенному в книгу Погорельского «Двойник или мои вечера в Малороссии», 1828, ч. 2.

Стр. 74.

Роспуски — длинные дроги, употребляемые для перевозки тяжестей.

Стр. 78.

Маркигант — человек, следующий за войсками в военное время и торгующий съестными припасами и проч.

В. Ф. Одоевский

(Биографическая справка)

Владимир Федорович Одоевский родился в 1803 г. в Москве. В 1822 г. он окончил Благородный пансион при Московском университете. В 1826 г. Одоевский переехал в Петербург, где служил в цензурном комитете, а с 1828 по 1838 г. — в департаменте духовных дел, участвуя одновременно

в редактировании «Журнала Министерства внутренних дел» и «Сельского чтения». С 1846 г. Одоевский служил помощником директора Публичной библиотеки и заведующим Румянцевским музеем. В 1861 г. Одоевский переехал в Москву, где и умер в 1869 г.

Литературная деятельность Одоевского началась еще во время пребывания его в пансионе — в 1820—1821 гг. В 1822—1823 гг. в «Вестнике Европы» появляется несколько его «Писем к Лужницкому старцу», где говорится о невежестве высшего света. Одно из этих писем («Дни досад») привлекло внимание Грибоедова и послужило поводом сближения его с Одоевским. Одоевский в начале 20-х годов был связан с литературным кружком Раича и являлся одним из виднейших членов «Общества любителей». В 1824—1825 гг., совместно с В. К. Кюхельбекером, Одоевский издавал альманах «Мнемозина», на страницах которого велась борьба за создание самобытной русской литературы. В 30-е годы Одоевский сближается с Пушкиным и его кругом. Выступая как музыкальный критик, Одоевский ведет активную борьбу за создание русской национальной самобытной музыки, отстаивая творчество Глинки от нападок Булгарина и ему подобных. В области литературного творчества он во многом также стоял на передовых позициях, хотя противоречивость его мировоззрения и сказалась в приверженности к идеалистической философии, что наложило известный отпечаток на ряд его произведений (подробнее см. во вступительной статье).

Одоевский выступал также как автор научно-популярных книг для народа, статей по вопросам воспитания. Кроме того, он написал ряд сказок и повестей для детей, получивших высокую оценку Белинского.

Входящие в сборник сказки были напечатаны в книге, вышедшей в 1833 г. под названием «Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных ученых обществ, изданные В. Безгласным».

Печатаются по собранию сочинений Одоевского, изд. 1844 г.

СКАЗКА О ТОМ, КАК ОПАСНО ДЕВУШКАМ ХОДИТЬ ТОЛПОЮ ПО НЕВСКОМУ ПРОСПЕКТУ

Напечатана впервые в альманахе «Комета Белы» за 1833 г.

Стр. 85.

Мариина баня — лабораторный прибор для нагревания какого-либо вещества.

Мадам Жанлис (1746—1830) — французская писательница. Романы ее отличались сентиментальностью, правоучительностью и напыщенным стилем.

Честерфильд, Филипп (1694—1777) — английский писатель, автор «Писем к сыну», излагавших нормы поведения с позиций узколобого практицизма и карьеризма.

СКАЗКА

О МЕРТВОМ ТЕЛЕ, НЕИЗВЕСТНО КОМУ ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ

Стр. 91.

Сивиллина книга — собрание пророчеств и изречений, которые появились в VI веке до н. э. в Риме и хранились в Капитолийском храме. К этим книгам римляне обращались за советом в критические минуты общественной и частной жизни.

Стр. 93.

Бова Королевич — герой одноименной русской богатырской сказки.

Позождения Ваньки Каина — известная в XVIII веке история знаменитого грабителя и сыщика, литературная обработка которой принадлежит М. Комарову.

Путешествие купца Коробейникова в Иерусалим. — Трифон Коробейников, московский купец, автор сочинения «Трифона Коробейникова, московского купца, с товарищи, путешествие в Иерусалим, Египет и к Синаяской горе в 1583 г.»

«...взяли город Трои... а Царьград уступили туркам. — Здесь подразумевается воспетое Гомером в «Илиаде» сказание о Троянской войне, закончившейся после десятилетней осады разрушением Трои. Царьград (Константинополь) был взят турками 29 мая 1453 г.

Гнилое море — залив Азовского моря.

Процессия погребения кота — «небылица в лицах», популярная лубочная картинка, изображавшая, как мыши кота хоронят.

Птица Стробокамил — страус.

Стр. 97.

Бистурий (бистури) — употребляемый для хирургических целей нож.

ИСТОРИЯ О ПЕТУХЕ, КОШКЕ И ЛЯГУШКЕ

Впервые опубликовано в «Библиотеке для чтения», 1834, т. II, под заглавием «Отрывок из записок Иринья Модестовича Гомозейки» и с посвящением Д. В. Путьяте. Печатается по собранию сочинений Одоевского, СПб., 1844, ч. III.

Стр. 99.

Фортиция — крепость.

Стр. 107.

Кадаверы — трупы.

Стр. 108.

Лаврентий Гейстер (1683—1758) — врач, анатом и хирург.

«*О предчувствиях и видениях*» — книга Бургава (1668—1738), голландского врача.

КНЯЖНА МИМИ

Впервые напечатано в 1834 г. в «Библиотеке для чтения» (т. VII). Печатается по собранию сочинений, СПб., 1844.

Стр. 116.

Гинекей — женский покой в греческом доме.

Афродита — в греческой мифологии — богиня красоты.

Стр. 121.

Глубокомысленные описатели нравов — иронический намек на Ф. Булгарина, реакционного журналиста и писателя, автора бульварных правоописательных романов, среди которых наибольшей известностью пользовался «Иван Выжигин».

Каньзу — корсаж.

Стр. 124.

Г-н N и г-н D — персонажи из комедии Грибоедова «Горе от ума», распространившие сплетню о сумасшествии Чацкого.

Стр. 126.

«*Антони*» — на шумевшая в 30-х гг. XIX в. любовная драма французского романиста и драматурга Александра Дюма (отца) (1803—1870).

Роберт, ренонс — термины карточной игры.

Стр. 127.

Нынешняя литература. — Речь идет о французских романтиках, представителях так называемой «неистовой школы».

Стр. 128.

Прочти хоть Брантома. — Здесь подразумеваются мемуары Пьера Брантома, обрисовавшего французские придворные нравы XVI века.

Тредьяковский Василий Кириллович (1703—1769) — поэт и ученый. «*Поездка на остров любви*» — переведенный им роман французского писателя Таллемапа.

Лафатер Иоганн-Каспар (1741—1801) — немецкий писатель, автор «*Физиогномических фрагментов*» (1772—1778), книги, в которой собраны портретные характеристики.

Стр. 130.

Марс и Венера — бог войны и богиня любви у древних римлян, опутанные сетью ревнивого мужа Венеры Гефеста в минуту тайного свидания.

Стр. 135.

Для большей верности в костюме. — Здесь в смысле: для большей верности обычаям данной среды.

Стр. 137.

Парни — французский поэт XVIII века, писавший на любовные темы.

Бентам Иеремиа (1748—1832) — буржуазный английский писатель по вопросам права.

Стр. 138.

Спермацет — светлая маслянистая жидкость, твердеющая на воздухе: применялась в медицине и парфюмерии.

Стр. 143.

«Племянник Рамо» — произведение Дени Дидро (1713—1784), французского просветителя, энциклопедиста, одного из наиболее радикально настроенных представителей французского Просвещения.

КНЯЖНА ЗИЗИ

Напечатано впервые в 1839 г. в «Отечественных записках», т. I. Печатается по собранию сочинений Одоевского, изд. 1844 г.

Стр. 151.

Мадам Жанлис — см. выше, стр. 589.

Стр. 152.

Эшарп — шарф.

Странствия аббата Лапорта. — Лапорт Франсис (1810—1880) — французский естествоиспытатель. Изучал местную фауну и собирал обширные коллекции в Америке, Азии и Австралии.

«Вестник Европы» — журнал, издававшийся в Москве с 1802 по 1830 г. Основан Карамзиным.

«Кларисса Гарлоу» (1748) — роман английского писателя Ричардсона, автора многотомных «семейно-правоучительных» романов.

Стр. 154.

Фалбала — оборка.

Стр. 166.

Классик — приверженец классицизма — литературной школы, которая в начале XIX века боролась со школой романтической, отстаивая старую традицию.

Стр. 171.

Сильвио Пеллико (1789—1854) — итальянский поэт и политический публицист; преследовался за близость к революционным повстанцам.

Газетные правописательные статьи — статьи Ф. Булгарина.

Стр. 173.

Залис (1762—1834) — швейцарский поэт, автор «философических» и любовных стихов.

КАТЯ ИЛИ ИСТОРИЯ ВОСПИТАННИЦЫ

Печатается по тексту, впервые опубликованному в альманахе «Новоселье» на 1834 г. (ч. II). Роман остался незаконченным.

Стр. 191.

Раут — званый вечер в светском обществе.

Стр. 192.

Гетевы слова о Гамлете. — Подразумевается характеристика, которую Гете дал Гамлету в «Вильгельме Мейстере», как существу с тонкой духовной натурой, неспособной сопротивляться трудностям жизни.

Стр. 193.

Басон — тесьма.

Стр. 196.

Бранвилле — маркиза Бранвилле, известная в XVII веке своей жестокостью (отравила отца и братьев).

Стр. 197.

Сочинители Барнава и Саламандры. — «Барнав» — роман Жюль Жанена (1831); «Саламандра» — роман Евгения Сю (1832). Оба романа отличаются загадочными ситуациями и романтическими эффектами, рассчитанными на то, чтобы «поразить» читателя.

Стр. 201.

Итальянская кавалетта (кабалетта) — музыкальная фраза, повторяемая в конце каватины или арии.

Стр. 202.

Леоние Фелисите-Роберт (1782—1854) — французский писатель-богослов.

Стр. 203.

Провелитам — преданность новым убеждениям.

Стр. 204.

Карло-Долчева Цецилия. Карло Дольчи (1616—1686) — флорентийский художник. Здесь имеется в виду одна из его картин — «Цецилия, или органистка».

ЧЕРНАЯ ПЕРЧАТКА

Впервые опубликовано в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», 1838, № 1, с датой 1835 г. и посвящением Ю. М. Дюгамель (Козловской). Печатается по собранию сочинений 1844 г. (ч. II).

Стр. 205.

Франклин Вениамин (1706—1790) — американский политический деятель, писатель и ученый.

Стр. 206.

Бентам — см. выше, стр. 592.

Томсон Джеймс — английский поэт XVIII в., автор описательной поэмы «Времена года», в которой любовь к природе противопоставлена городской жизни.

Палей — английский консервативный богослов и публицист XVIII в.

Стр. 220.

Аббат Гальяни (1728—1787) — итальянский философ и публицист.

Стр. 225.

Якобиты (яковиты) — приверженцы изгнанных в 1689 г. из Англии представителей королевской династии Стюартов.

ЖИВОЙ МЕРТВЕЦ

Впервые опубликовано в «Отечественных записках», 1844, т. XXXII, с датой 1838 г. и посвящением Е. П. Раstopчиной. Печатается по собранию сочинений 1844 г., где указана дата 1839 г.

Стр. 227.

Лета — река забвения, протекавшая, по поверьям древних греков, в подземном царстве.

Стр. 228.

Прогоны — плата за проезд на лошадях от одной станции до другой. Ехавшим по делам службы прогоны полагались соответственно чину и званию.

Стр. 233.

Кяхта — пригородная торговая слобода в Забайкалье на речке Кяхте. Была основана для торговых сношений с Китаем.

Стр. 235.

Афенский язык — условный воровской язык, состоявший из переименованных русских слов.

Стр. 239.

Наша газета. — Здесь намек на реакционную газету «Северная пчела», издававшуюся Булгариным и Гречем (1825—1859).

Стр. 240.

«Волшебная флейта» — опера Моцарта (1791).

ЖИВОПИСЕЦ

Печатается по тексту, впервые опубликованному в «Отечественных записках», 1839, т. VI.

Стр. 250.

Фаун — бог лесов и полей, покровитель пастухов и защитник их стад у древних римлян. Подобно греческим сатирам, изображался безобразным — рогатым и козлоногим.

Теньер (1610—1690) — живописец фламандской школы.

Стр. 252.

Гудошник — музыкант, играющий на гудке.

Г. Ф. Квитка-Основьяненко

(Биографическая справка)

Григорий Федорович Квитка родился в 1778 г. в селе Основе возле Харькова (отсюда псевдоним Основьяненко), умер в 1843 г. Отец его был состоятельным дворянином. Квитка с детства был записан в гвардейский полк, в 1806 г., во время войны с французами, отправился на военную службу. С 1807 г. и до конца жизни жил в селе Основе и в Харькове, за исключением кратковременных поездок в Киев, Москву и другие города. Занимался преимущественно общественной и литературной деятельностью.

Квитка-Основьяненко писал на украинском и на русском языках. Как беллетрист он пользовался большой популярностью. Начало литературной деятельности Квитки связано с изданием первого харьковского журнала «Украинский вестник» (с 1816 г.), в котором Квитка принимал участие, печатая статьи и фельетоны о харьковской общественной жизни под псевдонимом Фалалея Повитухина. Одновременно он печатал свои стихотворения в «Харьковском демокрите». В 1820—1822 гг. Квитка помещал под разными псевдонимами фельетоны в «Вестнике Европы». В 1827 г. Квитка написал комедию «Приезжий из столицы или суматоха в уездном городе». В 1829—1830 гг. Квитка написал комедии «Дворянские выборы», «Шельменко-денщик» и другие. Первая из них была запрещена к постановке. Комедии «Шельменко-денщик» и «Шельменко — волостной писарь» имели немалый успех; имя пройдохи Шельменко стало нарицательным. Драма Основьяненко «Искренняя любовь» в переводе Островского ставилась неоднократно на петербургской сцене. Первая повесть Квитки напечатана была в «Телескопе» в 1832 г. в переводе Подолинского («Харьковская Гануся»); в альманахе «Утренняя заря» за 1833 г. напечатан был рассказ «Солдатский портрет»: здесь Квитка впервые выступает под псевдонимом Основьяненко. Следующие повести его печатаются, главным образом, в «Отечественных записках» Краевского и в «Современнике» Плетнева. Многие повести Квитка писал на украинском языке, а потом сам переводил на русский. Содержание большинства повестей заимствовано из народного быта.

Большим успехом пользовался роман Основьяненко «Пан Халявский» (написанный на русском языке), в котором дано художественное и разностороннее изображение пустой жизни и умственного убожества патриархального провинциального дворянства. Белинский неоднократно отзывался положительно об этом романе. В частности, он отметил в статье «Русская литература в 1843 г.», что между повестями Основьяненко «особенно замечателен «Пан Халявский» — сатирическая картина старинных нравов Малороссии». Меньшим успехом пользовался роман «Жизнь и похождения Петра Степановича Столбикова».

ПАН ХАЛЯВСКИЙ

Впервые напечатано полностью в 1840 г. в двух томах. Две части были опубликованы в «Отечественных записках», 1839, т. IV. Печатается по прижизненному изданию 1840 г., с небольшими сокращениями.

Стр. 260.

Цылюрык — цирюльник, выполнявший в те времена, кроме стрижек и бритья, некоторые хирургические операции.

Горофяники — гороховые лепешки.

Стр. 263.

Саж — хлев или перегородка для откорма птицы или свиней.

Стр. 265.

Рыж — рис.

Родзынки — изюм.

Подкапок — приспособление из твердой бумаги, надеваемое на голову для того, чтобы придать нужную форму головному платку.

Глазет — парча с шелковой основой.

Моревый — шелковый с переливчатым отблеском.

Кунтуш — род верхней одежды, иногда на меху, со шнурками, с откидными рукавами.

Сутой — пышный, великолепный.

Запаски — полосы материи, накладываемые в виде передника.

Стр. 266.

Очипок — женский головной убор.

Намиста — мониста, ожерелье.

Еднус — золотая монета, вставленная в ожерелье.

Плахта — юбка.

Берлим — карета.

Машталер — кучер.

Стр. 267.

Бунчуковый товарищ — один из чинов в старом казацком войске, сопровождавший гетмана в походах; позже — отставной войсковой старшина.

Стр. 268.

Карафины — графины.

Стр. 271.

Сарачинское пшено — рис.

Стр. 272.

На потуху — в заключение.

Стр. 273.

Присбы — заваленки.

Стр. 276.

Мышеловка — здесь: щипцы для раскалывания орехов.

Стр. 277.

Уконтентовать — уболагодворить.

Стр. 278.

Универсал — указ или грамота.

Стр. 280.

Зась! — Нет, не смей!

Стр. 286.

Угобзисься — окажешься способным.

Стр. 288.

Повагом и не борзяся — внушительно и не торопясь.

Полагал шуйцею брата... на ослон — бросал левую руку брата на лавку.

Стр. 289.

Ирмолой (ирмологий) — церковная книга, содержащая ирмосы.

Ирмос — вступительный стих, показывающий содержание прочих стихов песенной молитвы.

Догматик — церковная песнь.

Стр. 290.

Кафиама — название каждого из двадцати отделов, на которые разделена псалтырь в обиходе православного богослужения.

Оксия — надстрочный знак церковной грамоты, означающий ударение.

Стр. 291.

Негляже — неглиже, т. е. небрежно, не обращая ни на что внимания.

Стр. 293.

Окселентующий голос — вторящий голос.

Стр. 300.

Пан на всю губу — очень богатый пан.

Стр. 301.

Кондиция — временное место домашнего учителя в отъезд.

Стр. 302.

Домине — господин.

Патер ностер кви ест ин целис — «Отче наш...» (молитва).

Стр. 304.

Пифагор (580—500 до н. э.) — греческий математик.

Стр. 305.

Аллианс — союз.

Стр. 306.

Зуска — кукиш.

Реверендиссима — достопочтеннейший.

Стр. 310.

Ментор — учитель.

Стр. 311.

Решпект — уважение, почтение.

Стр. 313.

Статестическим — эстетическим (искажено).

Стр. 315.

Блакитный — голубой.

Куншитики — здесь в смысле «рисунки».

Пенаель — кисть.

Стр. 317.

Кирея — верхний кафтан.

Стр. 319.

Фриштык — завтрак.

Стр. 320.

Силлогизм — в логике: рассуждение из трех предложений — большой и малой посылки и заключения.

Стр. 321.

Поль-де-кок — спутано со словом «оподельдок» (мазь для втирания от ревматизма).

«*Гимназия*» — спутано со словом «магнезия».

Гунстват — негодяй, каналья.

Стр. 324.

Кишень — карман, мешочек.

Стр. 326.

Инфима — низший класс семинарии.

Стр. 327.

Халдейская премудрость. — Халдеи — народ, проживавший в устье Тигра и Евфрата; халдейские жрецы славились знанием недоступной для других науки. Здесь это понятие употреблено в смысле «непреодолимая премудрость».

Стр. 329.

В conclusio — в заключение.

Стр. 337.

Сицевая — такая.

Окцет — уксус.

Стр. 338.

Репрамант (реприманд) — выговор.

Стр. 341.

Прононциация — здесь в смысле проницательность.

Стр. 352.

Квадра луны — квадратура луны: фазы, при которых луна представляется в виде полукруга.

Гарпасия — пасьянс.

Стр. 356.

Стикс — главная река подземного царства, по поверьям древних греков.

Стр. 368.

Флеровые кушанья — здесь в смысле «легкие».

Стр. 369.

Милорд Георг — герой популярного авантюрного романа «Английский милорд», переведенного в XVIII веке М. Комаровым.

Лавержет, вержет — вихор, высокая прическа.

Стр. 382.

Мушти молдаванешти — «не знаю по молдавански» (искажено).

Стр. 383.

Вояж — путешествие.

Пассы — ремни.

Стр. 388.

Аттенция — внимание.

Стр. 392.

Кунсткамера — хранилище коллекций, основанное в Петербурге Петром I в 1714 г.

Стр. 394.

Элекция — выборы.

Стр. 396.

При посполитстве — всенародно.

Сердюки — гетманская гвардия; здесь в смысле «охранители».

Стр. 397.

Корпорация — здесь перепутано со словом «комплексия».

Стр. 401.

Дидона — имя мифической основательницы Карфагена, которая покончила самоубийством из-за измены Энея. Здесь имеется в виду одна из опер на этот сюжет.

Стр. 402.

Эней — герой Троянской войны, спасшийся из горящей Трои; скитания его описаны в поэме Вергилия «Энеида».

Стр. 406.

Будет театр «Коза» и какая-то «Рапа». — Подразумевается итальянская опера «Cosa гага» («Редкая вещь») композитора Мартини.

Стр. 410.

Круль — король.

Стр. 412.

Пур пасе летан — от нечего делать.

Стр. 414.

Банмо (бонмо) — острое словечко, остроумие.

Стр. 415.

Дефиниция — определение.

Пролез в дипломные дворяне — получил звание дворянина.

Стр. 420.

Песенник Чулкова — «Собрание разных песен» (1770) — сборник народных песен.

Российский Феатр Вевеккина. — Вевеккин Михаил Иванович (1732—1795) — писатель, автор комедии «Так и должно» и др.

«Мирамонд» Эмина. — Федор Александрович Эмин (1735—1770) — автор многочисленных романов.

Стр. 425.

Маршал — здесь главный распорядитель торжества.

Стр. 426.

Преферанс — предпочтение.

Стр. 439.

Кондратанцы — контрданс (кадриль).

Стр. 445.

Форбье — искаженные французские слова *fort bien* (очень хорошо).

Стр. 447.

Вокабулы — иностранные слова, выписываемые с переводом на родной язык для заучивания наизусть.

М. Н. Загоскин

(Биографическая справка)

Михаил Николаевич Загоскин родился в 1789 г. в семье пензенского помещика. Загоскин служил в различных ведомствах. В 1812 г. вступил в петербургское ополчение и сражался до конца войны. По окончании войны выступил в литературе с несколькими комедиями: «Проказник», «Богатонов или провинциал в столице» и др. Слава Загоскина началась историческим романом «Юрий Милославский или русские в 1612 г.», изданным в 1829 г. Сама тема борьбы русских за национальную независимость, живость отдельных образов и эпизодов, известная занимательность рассказа, легкость языка — все это обеспечило успех произведения. Пушкин одобрительно отзывался о романе в «Литературной газете», но отметил, что «дарование г. Загоскина заметно изменяет ему, когда он приближается к лицам историческим», то есть упрекал автора в отсутствии подлинного историзма. Белинский, признавая, что в свое время «Юрий Милославский» был «замечательным литературным явлением», указал также, что «исторического в этом романе нет ничего, все лица его списаны с простолюдинов нашего времени». При отмеченных выше литературных достоинствах роман содержит, однако, отчетливые реакционные тенденции — идеализацию патриархальной старины, «благонамеренное» истолкование исторических событий. Эти тенденции проявились с еще большей силой в следующих романах Загоскина — «Рославлев или русские в 1812 г.», «Кузьма Рощин» и др.

Литературная известность Загоскина способствовала его служебному продвижению: некогда скромный чиновник и библиотекарь становится с 1831 г. директором московских театров. Умер Загоскин в 1852 г.

В соответствии с задачами настоящего сборника Загоскин представлен здесь произведением, в котором реалистические элементы его творчества проявились в относительно наибольшей степени, — повестью «Три жениха», впервые опубликованной в 1835 г. в «Библиотеке для чтения», т. X.

ТРИ ЖЕНИХА

Печатается по сборнику Загоскина «Повести», М., 1837.

Стр. 452.

Мадригал — галантное стихотворение, восхваляющее даму.

Демутье — французский салонный поэт XVIII века.
Гердер (1744—1803) — немецкий философ, поэт и критик.

Стр. 454.

Выжига — серебро или золото, добываемое выжиганием из поношенных галунов и т. п.

Афрон (афронт) — позор, посрамление, неудача.

Аларма — тревога, переполох.

Стр. 455.

Не орут — не пашут.

Стр. 461.

Аркадия — центральная страна древнегреческого Пелопоннеса, ставшая символом идиллической, патриархальной жизни.

Стр. 462.

Бур-де-суа — вид французской шелковой ткани.

Стр. 464.

Эстамп — резная или травленая на меди или стали и отпечатанная на бумаге картина.

Стр. 472.

Кнастер — курительный табак.

Стр. 477.

Коммеражу — сплетни.

Conversations Lexicon — словарь.

Journal des Débats, Revue de deux mondes — французские журналы.

Стр. 486.

Тривиальный — пошлый.

Стр. 487.

Марьяж — карточная игра.

Дарленкур (1789—1856) — французский романист, писавший «ужасные», фантастические произведения, посвященные временам феодализма.

Стр. 489.

«*Волшебный стрелок*» — опера Вебера (1821 г.).

Стр. 492.

Женировать — стеснять, затруднять.

Стр. 493.

Нинон Ланкло (1615—1705) — француженка, прославившаяся своей красотой.

Стр. 495.

Зерцало — треугольная призма с написанными на ее гранях указами (Петра I), стоявшая в присутственных местах. Служила символом закона.

Стр. 499.

Шематон — мот, вертопрах.

Стр. 502.

Левашники — жареные пирожки.

Стр. 510:

Иньобильные — неблагоприятные.

В. И. Даль

(Биографическая справка)

Владимир Иванович Даль, этнограф, лексикограф и беллетрист, родился в 1801 г. в местечке Лугани б. Екатеринославской губернии (отсюда псевдоним его «Казак Луганский»). 14-ти лет Даль поступил в морской кадетский корпус, окончил его в 1819 г. и служил в Черноморском флоте, а затем в Балтийском. В 1826 г., выйдя в отставку, он прошел курс медицинского факультета в Дерптском университете и в 1829 г. получил степень доктора медицины. В качестве военного врача Даль участвовал в войне с Турцией в 1828 г. В 1831 г. он участвовал в польской кампании. С 1832 г. Даль работал в петербургском военно-сухопутном госпитале и вскоре завоевал славу выдающегося хирурга и окулиста. В 1833 г. Даль навсегда оставил медицинскую практику и затем поступил на службу в качестве чиновника особых поручений при главном начальнике Оренбургского края. В 40-х годах Даль служил в Министерстве внутренних дел, в 1849 г. он переехал в Нижний-Новгород в качестве управляющего удельных имений.

Выйдя в отставку в 1856 г., Даль все свое время посвятил окончанию работы над своим знаменитым «Толковым словарем». Еще во время пребывания в морском корпусе он начинает интересоваться вопросами языка и живой народной речи. Начиная с 1819 г. он записывает пословицы, сказки, песни, народные поверья и обряды. Кочевая жизнь, которую он вел, способствовала накоплению материала для его капитального труда — «Толкового словаря».

Первый его литературный опыт был напечатан в 1830 г. на страницах «Московского телеграфа». Уже здесь, а также и в последующих произве-

дениях сказалось его знание народной речи. В 1832 г. появились его «Русские сказки», изданные им под псевдонимом «Казака Луганского». Цель написания этих сказок, по словам автора, заключалась в том, чтобы «познакомить земляков с народным языком и говором, дать образчик народных слов, о которых мы вовсе не заботимся, между тем как рано или поздно без них не обойтись». Сказки имели большой успех. Пушкин подарил Далу «Сказку о рыбаке и рыбке» с надписью: «Твоя от твоих. Сказочнику Луганскому сказочник Александр Пушкин». Сочувственно встретил сказки Даля и Гоголь. Однако иной прием оказал сказкам Даля реакционный лагерь: Булгарин нашел их «грязными и неприличными», III отделение взяло Даля под арест, сказки его были подвергнуты изъятию и запрещению. В 1833—1839 гг. появились «Были и небылицы казака Луганского». Одновременно Даль принимает активное участие в различных повременных изданиях. Так, в «Отечественных записках», начиная с 1839 г., Даль поместил ряд повестей («Бедовик», «Колбасники и бородачи» и др.), которые доставили автору широкую известность. В 1862 г., после долгих цензурных осложнений, выходит сборник Даля «Пословицы русского народа». Другой капитальный труд Даля, «Толковый словарь живого великорусского языка», выходил постепенно, начиная с 1861 г. до 1868 г. Работая над словарем, Даль в 60-х годах продолжает издавать беллетристические произведения. Умер Даль в Москве в 1872 г.

БЕДОВИК

Впервые опубликован в «Отечественных записках», 1839, т. IV, печатается по полному собранию сочинений, СПб., 1861, т. III.

Стр. 515.

Бочка Данаид. — Данаиды, дочери царя Даная, по сказаниям древних греков, в наказание за убийство своих мужей бесконечно трудились в подземном море, наполняя водою дырявую бочку.

Стр. 518.

Выносной мальчишка — мальчик, сидевший при запряжке цугом на передней лошади.

Хазовый конец — показная сторона (хаз — конец ткани, который делается почище, напоказ).

Стр. 521.

Килиан Конрад — врач, с 1810 г. жил в Петербурге в качестве врача-консультанта при Александре I. Написал много сочинений, имевших в свое время успех.

Енгальчев Порфирий Николаевич (1769—1829) — член новиковского кружка, автор «Простонародного лечбника».

Стр. 524.

Поборник разговорного языка. — Здесь подразумевается Карамзин, ратовавший за введение в литературу разговорного языка светского общества.

Стр. 529.

Ундина — русалка.

Стр. 533.

Ордонанс-гауз — комендантское управление.

Стр. 534.

За подписью князя Хованского. — Подразумеваются незаконные методы — подкупа и т. п.

Стр. 539.

Биллия — бильярдный ход.

Стр. 545.

Самородковый столп Александра — Александрийская колонна, установленная в Петербурге на Дворцовой площади в 1834 г.

Свинки — сфинксы.

Стр. 546.

Сидейка — повозка.

Стр. 550.

Ларец Фамусова. — Фамусов — герой комедии Грибоедова «Горе от ума». Ларец он хотел подарить горничной Лизе.

Стр. 562.

Лукнуть (лукать) — метать, бросить, швырять.

Стр. 570.

Брюсов... календарь — календарь Якова Брюса, изданный в начале XVIII века и содержащий предсказания событий (Брюс прослыл колдуном и чернокнижником).

Стр. 573.

Мундштуки — железные удила.

Куканцы (кюканцы) — жители «Кюканского ханства», находившегося в Средней Азии.

СОДЕРЖАНИЕ

Н. А. ПОЛЕВОЙ

Рассказы русского солдата	5
-------------------------------------	---

АНТОНИЙ ПОГОРЕЛЬСКИЙ

Лафертовская Маковница	61
----------------------------------	----

В. Ф. ОДОЕВСКИЙ

Сказка о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту	83
Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадле- жащем	90
История о петухе, кошке и лягушке	98
Княжна Мими	111
Княжна Зизи	148
Катя или история воспитанницы	191
Черная перчатка	205
Живой мертвец	227
Живописец	249

Г. Ф. КВИТКА-ОСНОВЬЯНЕНКО

Пан Халявский	259
-------------------------	-----

М. Н. ЗАГОСКИН

Три жениха	451
----------------------	-----

В. И. ДАЛЬ

Бедовик	515
-------------------	-----

Редактор В. Петушков

Переплет, титульные листы

Д. Двоскина

Технический редактор

А. Кукуричкина

*Корректор О. Семенова-Тян-
Шанская*

Подписано к печати 15/VI 1950 г.
М-13045. Тираж 30 000 экз. Бу-
мага 60 × 92¹/₁₆. Уч.-изд. л. 37,1.
Печ. л. 38=19 сум. л. +10 вклеек.

Цена 11 р. Заказ № 595.
2-я типография «Печатный Двор»
им. А. М. Горького Главполи-
графиздата при Совете Минист-
ров СССР. Ленинград, Гатчин-
ская, 26.

